



СТЕФАН  
ЦВЕИГ

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# STEFAN ZWEIG

*Stefan Zweig*

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений

Том 10

СТИХОТВОРЕНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МИНИАТЮРЫ  
ПУБЛИЦИСТИКА  
КРИСТИНА  
ХОФЛЕНЕР



МОСКВА  
«ТЕРРА»—«TERRA»  
1997

УДК 82/89  
ББК 84 (4 А)  
Ц26

Внешнее оформление  
И. САЙКО

**Цвейг С.**

Ц26      Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10: Стихотворения; Исторические миниатюры; Публицистика; Кристина Хофленер: Роман из литературного наследия / Пер. с нем. — М.: ТЕРРА, 1997. — 736 с.

ISBN 5-300-00447-2 (т. 10)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В десятый том Собрания сочинений вошли стихотворения С. Цвейга, исторические миниатюры из цикла «Звездные часы человечества», ранее не публиковавшиеся на русском языке, статьи, очерки, эссе и роман «Кристина Хофленер».

УДК 82/89  
ББК 84 (4А)

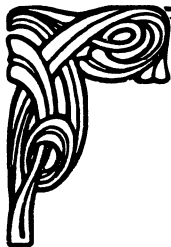
ISBN 5-300-00447-2 (т. 10)  
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997



СТИХОТВОРЕНИЯ





## ЛУЧЕЗАРНАЯ НОЧЬ

Небесный купол в искрах звездной пыли  
Объял ночную землю, и цветы  
Благоуханье вешнее пролили  
В простор, не ведающий темноты.

Земля прекрасна в платье подвенечном:  
Покоясь в ожиданьи спелых грозд,  
О празднике вздыхает бесконечном,  
Об исполненье полудетских грез.

И сердце после тягостных скитаний  
Откликнулось на эту благодать:  
Оно отыщет путь в страну мечтаний  
И перестанет наконец блуждать.

## ГИМН ПУТЕШЕСТВИЮ

Рельсы, железные синие вены  
По миру как сеть, в них запутался он.  
Сердце, в дорогу! Покинь эти стены.  
В пути не догонят нас власть и закон.

И, тяжести тела в полете не чуя,  
Душу свою предоставим судьбе.  
Страннице этой простора хочу я:  
Ведь только на воле верны мы себе.



Видишь — рывок! Как от крыльев шумящих  
Срывается вихрь с железной груди.  
Родина в ропоте рощ, уходящих  
В даль прошлого. Новое ждет впереди.

Со звоном стеклянным дробятся границы,  
В многоязыкий сливаются хор  
Народы Европы, дороги, столицы,  
Страны — единством объятый простор.

В этом стремленье душа вырастает,  
Взор прояснится, исчезнет печаль.  
Мир, будто в танце кружась, пролетает  
В царственной музыке в звездную даль.

## НЕЖНОСТЬ

Я первой нежности люблю возникновенье,  
Когда еще мечты и чувства полускрыты.  
Потом нам суждены лишь бурные мгновенья,  
На жизненном пути они, как версты, врыты.

В ней дуновенье; двух кровей, текущих разное,  
Прикосновение, очей и рук игра.  
Но уж поблескивают искорки соблазна  
И разлетаются, как ночью у костра.

Тем и мила она, что детская забава,  
Но скоро налетит любовный непокой.  
Трепещет на ветру весенняя дубрава  
И гнется под его безжалостной рукой.

## ЖЕЛАНИЕ

Бывают дни — меня томит желанье  
Огня и страсти, дикой красоты  
Жен, алчных, словно алые цветы  
Кровавых роз, чьи бурные лобзанья  
Теснят, смутив, поток моей мечты.

Но в глубине пустой мечты мятежной  
Живет мечта иная — о простом  
Спокойном счастье, тихом и святом.  
Мне пел о нем далекий голос нежный  
Давно, в сиянье детства золотом.

## БРЮГГЕ

Чертоги старинных домов одевает  
Здесь вечер задумчивым флером своим.  
На улицах пусто, как в праздник бывает,  
Когда толпа шумных гостей исчезает  
Вдали, поглощенная мраком ночным.

Давно уж ворота со ржавым засовом  
Закрты глухим одиночеством дней,  
Верхи колоколен под мгlistым покровом  
Поникли в своем разрушеньи суровом  
В глубокое море печали своей.

А в нишах фигуры из камня седого,  
К стенам прислонились, сливаясь с их тьмой,  
И в тайной беседе средь мрака немого,  
Безмолвные, шепчут сказанья былого  
В глубь улиц, проникнутых тяжелой тоской.

## БРЮГГЕ

На старые замки дома здесь похожи, —  
Накрыта пустынной вечернею тьмой,  
Уснувшая улица кажется строже, —  
Так тихо, как будто последний прохожий  
С веселого бала вернулся домой.

Ржавым затвором столетья скрепили  
Резьбу величавых ажурных ворот,  
В сером тумане церковные шпили  
Засеребрились от ветра и пыли,  
В грустный уйдя небосвод.

В траурных нишах — немой соглядатай  
Над сединой мостовых —  
Вам открывает камень щербатый  
Давние думы ветшающих статуй —  
Тайну легенд вековых.

## ОСЕННЯЯ ФЛЕЙТА

В облачном кубке заката  
Таит солнечный мед.  
Пустынными долами чья-то  
Флейта грустно поет.

Близко, далеко ль, не знаешь —  
Еле внятн мотив —  
И все же ее постигаешь  
В скорби скошенных нив.

## ОСЕННИЕ СТРОФЫ

Летят давно по золотым ступеням  
Дни лета. Греет поздний блеск поля.  
Ложатся тени, голубея,  
С дерев на плечи вечера опять.

Еще блестят с ветвей, напряжены под ветром,  
Последние листы. Но грудь земли нага,  
И пробегут на запад неприметно,  
Утешив небо, облака.

Над облетающими лесами  
Дрожит полет встревоженных стрижей,  
Здесь все — приметы дней осенних.

А склонишься над книгою полей,  
И заблестит из пестрых букв над вами  
Любимое у жизни слово — тлен.

## БЛАГОДАРНОСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО

Сумрак льнет легко и сладко  
К стариковской седине.  
Выпьешь чашу без остатка —  
Видишь золото на дне.

Но не мрак и не опасность  
Ночь готовит для тебя,  
А спасительную ясность  
В постиженье бытия.

Все, что жгло, что удручало,  
Отступает в мир теней.  
Старость — это лишь начало  
Новой легкости твоей.

Пред тобою, расступаясь,  
Дни проходят и года —  
Жизнь, с которой, расставаясь,  
Связан ты, как никогда...

## СНЕЖНАЯ ЗИМА

Когда лежит на кровлях плат пуховый,  
И кружит снежный вихрь в пустых полях,  
И стонут деревья в ночи суровой,  
О той мечтаю я, что лаской новой  
Смирить сумеет мой безумный страх,

О легких пальцах, чьи прикосновенья  
Умерят жар чела и в тишине  
Сведут на нет все скорби, все сомненья,  
Покуда не созреют сновиденья  
Весенние из слов любви во мне.

## ПАМЯТНИК КАРЛУ ЛИБКНЕХТУ

Один,  
Как никто никогда  
Не был один в мировой этой буре, —  
Один поднял он голову  
Над семьюдесятью миллионами черепов,  
обтянутых касками.

И крикнул  
Один,  
Видя, как мрак застилает вселенную,  
Крикнул семи небесам Европы  
С их оглохшим, с их умершим богом,  
Крикнул великое, красное слово:  
«Нет!»

## ДИРИЖЕР

*Густаву Малеру*

Театр похож на золоченый улей:  
Ячейки сот полны людьми,  
И все жужжит, как раздраженный рой;  
Потоки света заливают зал,  
Народ теснится, ожиданья полон,  
И мысли всех стремятся неотступно  
Туда, к темнеющей стене: за нею  
Сокрыты сны.

Внизу кипит котел;  
Опаснейшая магия созвучий  
В нем бродит; сотни разных голосов  
Клокочут бурно, пенятся, бушуют;  
Порой они мелодии обрывок  
Выплескивают. Хрупкий, он дрожит  
В пространстве зала и, как бы сломавшись,  
Ныряет вновь в пучину голосов.  
И вдруг — звонок. Свет гаснет, и кольцо  
Пространства размыкается в безбрежность.  
Нисходит ночь. Все музыкою стало.  
(Она, в родной безбрежности блуждая,  
Стыдливо прячет свой бесплотный лик  
От жадных взглядов и от рук простертых —  
От века сестры музыка и тьма.)  
И голоса, которые недавно  
Теснились робко на пространстве узком,  
Взлетали в одиночку, боязливо,  
Теперь слились и, пенясь с новой силой,  
Потоком льются через край из бездны:  
Они, как море, что порою бьет,  
Как кулаками, волнами о берег,  
Порой его ласкает, как дитя,  
И вечно рвется к звездам, ввысь.

Теперь оно взметает брызги звуков  
И плещет ими нам на сердце. Но  
Все медлит сердце: ибо кто же, кто  
Опасным и неведомым страстям  
Отдастся без боязни? Все же море  
Нас увлекает силою слепой,  
И в нем мы превращаемся в поток  
Бесплотный, закипающий волной  
Блаженного восторга; но она  
Разбилась белой пеной, и на нас  
Нахлынула внезапною печалью  
И погрузила в изумрудный сумрак.  
Еще недавно разобщали нас  
Судьба, случайность, тайные влечения, —  
Теперь мы все слились в единый вал  
Трепещущего наслажденья. Мы  
Забыли о себе: нас всех уносит  
В своих волнах прилив бурлящих чувств.  
Без воли, без дыханья, без сознания  
Сквозь нашу жизнь несемся мы, и нас  
Захлестывают волны звуков.

Там

Высоко, над волнами, на крылах,  
Подобный черной чайке, вьется кто-то,  
Парит над бурей, мчит над возмущенной,  
Живою, безымянною стихией  
И бьется с ней. Нырнет вниз, как будто  
Хватает жемчуга со дна, потом  
Над дико хлещущим водоворотом,  
Над музыкой взмывает, как дельфин.  
Когда нас всех поток влечет бессильно,  
Лишь он один — сам ветер и волна —  
Вступает в бой с разнузданной стихией.  
Он ею укрощен, и все же звуки  
Ему подвластны. Палочка в руке —

Не та ль, которой некогда Просперо  
Наслал на острова свирепый шквал?  
И кажется, магнит в руке могучий  
Вспять повернул расплавленную медь  
Звучаний. Вал, в котором мы тонули,  
Бежит к нему. В его горячем сердце  
Смятенный хаос обретает ритм,  
Мелодией становится стихия.  
Но кто волшебник тот? Одним движеньем  
Разверз он сумрак занавеса плотный.  
Завеса исчезает, прошуршав;  
За ней встают виденья: небо, звезды,  
Дыханье ветра и людей подобья.  
Нет, нет, то люди! Ибо вот теперь  
Он поднял руку, подал знак кому-то —  
И у того тотчас полился голос  
Из раны на растерзанной груди.  
За ним — второй. Страданием и страстью  
Полны они. И все — как он велит.  
Глядите: звезды гаснут, облака  
Зажглись огнями нового рассвета,  
Восходит солнце, с ним встают виденья.  
Все окропляет музыкаю он,  
Которую в невидимом потоке  
Зачерпывает полными горстями.  
Ночь стала днем.

Откуда у него

Такая власть, чтоб звуки покорить,  
Людей заставить лить напев, как кровь,  
Повергнуть нас, дыханье затаивших,  
В тревожный сон и сладким ядом звуков  
Нас одурманить? Чтобы ощущал я,  
Как взмах его руки в моей груди  
Какие-то натянутые струны  
Вдруг разрывает?



О, куда, куда  
Влечет он нас? На тихих лодках сна  
Скользим мы по невиданным протокам  
Все дальше в мрак. Сирены золотые  
Склоняются у нас над головами,  
Но правит дальше он, зажав в руке  
Надежное кормило. И скользим мы,  
Скользим к лесистым островам безбурным...  
Как долго? Час прошел, иль день, иль год?  
Кто знает ?

Плотный занавес упал,  
И лодка стала. Словно от испуга,  
Проснулись мы. Нас принял мир реальный.  
Но где же тот, кто нас держал в руках,  
Стоявший неподвижною звездой  
Над бурно возмущенными волнами?  
Неужто тот поток, которым он  
Повелевал, унес его во мрак?  
О нет! Мелькнула тень, и быстрый взгляд  
Успел ее поймать.

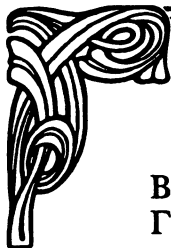
Уже вокруг  
Вскипает шум взволнованный. Толпа  
Разбилась вдруг на тысячу осколков,  
Отдельных лиц, рассыпалась словами.  
Восторг растет. Везде зажглись огни.  
На берег вышли мы, и грезы скрылись.





**ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МИНИАТЮРЫ**





## ВОСКРЕСЕНИЕ ГЕОРГА ФРИДРИХА ГЕНДЕЛЯ

*21 августа 1741 года*

**В** полдень 13 апреля 1737 года слуга Георга Фридриха Генделя сидел у окна в квартире дома на Брук-стрит и занимался весьма странным делом. Он только что с досадой обнаружил, что остался без крошки табака, но, опасаясь своего вспыльчивого хозяина, не решался выйти из дома за свежим кнастером, хотя до лавочки его подружки Долли было всего каких-нибудь два небольших квартала. Георг Фридрих вернулся с репетиции домой разъяренный, с лицом багровым от прилившей крови, с набухшими на висках венами, с треском хлопнул входной дверью и вот сейчас ходил взад-вперед по комнатам бельэтажа с таким ожесточением, что пол под его ногами сотрясался. Слуга отлично слышал эти шаги. В такие часы было бы неблагоприятно проявлять небрежность в работе и отлучаться из дому.

Изнывая от скуки, лишенный возможности развлекаться, выпуская причудливые кольца голубого дыма, слуга, поставив возле себя чашку с мыльной пеной, стал выдувать из своей короткой глиняной трубки мыльные пузыри, отливающие всеми цветами радуги, выгоняя их один за другим на улицу. Прохожие останавливались, иной разбивал пролетающий пу-

---

В раздел «Исторические миниатюры» включены произведения из цикла «Звездные часы человечества», ранее не публиковавшиеся на русском языке. «Воскресение Георга Фридриха Генделя» было опубликовано в журнале.

зырь тростью, иной посмеивался, кивая чудаку, но никого не удивляла такая забава. От этого дома на Брук-стрит можно было ожидать все, что угодно: то ночью внезапно загремит чембало\*, то из окон услышишь рыдания или плач девицы, которую холерический немец ругательски ругал за то, что она взяла ноту на осьмую тона выше или ниже, чем это положено. Давно уже жители Гросвенор-сквера считали дом № 25 на Брук-стрит домом для умалишенных.

Уютно устроившись у окна, слуга с завидным терпением пускал разноцветные пузыри. Мастерство его все более совершенствовалось, пузыри стали тонкостенными, достигли огромных размеров; раскраской своей напоминая мрамор, они поднимались все выше и выше, все легче парили, иные из них перелетали даже стоящие напротив невысокие дома. Но внезапно весь дом содрогнулся от глухого удара. Стекла задрезжали, гардины заколыхались, вероятно, на верхнем этаже упало что-то тяжелое и большое. Прыгая через ступеньки, испуганный слуга бросился в кабинет.

Кресло, в котором хозяин обычно сидел за работой, было пусто, комната, казалось, была пуста, и слуга поспешил было дальше, в спальню, но обнаружил Генделя на полу, недвижно лежащего с открытыми, невидящими глазами. Стоя перед хозяином, потрясенный слуга слышал глухое тяжелое хрипение. Тучный человек лежал на спине и стонал или, вернее, что-то стонало в нем — короткими, слабеющими толчками.

Умирает, подумал перепуганный слуга, и быстро наклонился, чтобы помочь хозяину, находящемуся в полуобморочном состоянии. Он попытался поднять его, чтобы перенести на софу, но тело огромного человека было слишком тяжело для него. Он развязал сжимающий горло шейный платок, и хрипение тотчас же прекратилось.

Но тут с нижнего этажа прибежал Кристоф Шмидт, фамулус, помощник маэстро; он снимал копии нот, когда и его

---

\* Чембало (клавичембало) — итальянское название клавесина. — *Примеч. пер.*

испугал внезапный глухой удар. Вдвоем они подняли тучного человека — руки его повисли бессильными плетьюми — и уложили в кровать, высоко подняв изголовье.

— Раздень его, — крикнул Шмидт слуге, — а я побегу за врачом. И опрыскай его водой, чтобы пришел в себя.

Кристоф Шмидт без сюртука (надеть его у него не было времени) побежал по Брук-стрит в направлении к Бонд-стрит, пытаясь остановить кебы, проезжающие мимо торжественной рысцей, но кучера не обращали никакого внимания на полного небрежно одетого задыхающегося человека. Наконец остановился один экипаж, кучер лорда Чандоса\* узнал Шмидта. Забыв этикет, фамулус рванул дверцу экипажа. «Гендель умирает, — крикнул он герцогу, которого знал как большого ценителя музыки и поклонника любимого маэстро. — Нужен врач». Герцог усадил его в экипаж, подбодренные кнутом лошади помчались.

Доктора Дженкинса нашли в его квартире на Флит-стрит, он занят был исследованием мочи одного своего пациента. В своем легком двухколесном экипаже врач сразу же поехал со Шмидтом на Брук-стрит.

— Всему виной бесконечные неприятности, — жаловался фамулус в пути, — эти проклятые певцы-кастраты, эти пачкуны-критиканы, все эти противные копошащиеся черви, они его замучили до смерти. Четыре оперы написал он в этом году\*\*, чтобы спасти театр, а что делают те? Болтаются по дамским салонам, околачиваются при дворе, и сверх того этот итальянец, этот проклятый кастрат, этот кривляка-плакса свел их с ума.

Боже мой, что сделали они с нашим славным Генделем! Все свои сбережения вложил он в театр\*\*\*, десять тысяч фунтов, а

---

\* У герцога Чандоса была капелла, для которой Гендель сочинял музыку. — *Примеч. пер.*

\*\* «Аталанта» (август, 1736), «Джустино», «Арминио» (октябрь, 1736), «Беренисе» (декабрь, 1736).

\*\*\* В середине 30-х годов Генделю был передан в аренду «Ковент-Гарден». — *Примеч. пер.*

они мучают его долговыми обязательствами и вот — затравили. Не было на земле человека, столь преданного прекрасно-му, отдавшего ему всего себя, но такое свалит с ног и колосса. О, что за человек! Гений!

Доктор Дженкинс сдержанно слушал и молча курил. Прежде чем войти в дом, он еще раз затыкнулся и выбил пепел из трубки.

— Сколько ему лет? — спросил он.

— Пятьдесят два, — ответил Шмидт.

— Скверный возраст. Работал как вол. Но он и силен как вол. Ну, посмотрим, что можно сделать.

Слуга держал миску, Кристоф Шмидт поднял руку Генделя, врач пустил кровь. Она брызнула, светло-красная, горячая кровь, и уже мгновение спустя вздох облегчения вырвался из-за закушенных губ. Гендель глубоко вздохнул и открыл глаза. Усталые, они смотрели и не видели окружающих, блеск глаз был притушен.

Врач перевязал руку. Больше ему делать было нечего. Он уже хотел было встать, но заметил, что губы Генделя шевелятся. Очень тихо, едва слышно Гендель прохрипел:

— Все со мной... все... нет сил... не хочу жить таким...

Низко наклонившись к нему, Дженкинс заметил, что жизнь теплилась в одном левом глазу, правый глаз был неподвижен. Он приподнял руку и отпустил ее, она упала как плоть. Тогда он приподнял левую руку и отпустил, она осталась в этом положении. Теперь доктору Дженкинсу все стало ясно. Он вышел из комнаты; испуганный, растерянный Шмидт последовал за ним к лестнице.

— Что с ним?

— Апоплексия. Правая сторона парализована.

— А как... — слова застряли в горле Шмидта, — он поправится?

Доктор Дженкинс аккуратно взял щепотку нюхательного табака. Он не любил вопросы подобного рода.

— Может быть. Все возможно.

— И он останется парализованным?

— Вероятно, если не случится чуда.

Но, преданный мэтру душой и телом, Шмидт не отступал.

— Но сможет ли он, сможет ли он, по крайней мере, снова работать? Ему не жить без творчества.

Дженкинс уже стоял на лестнице.

— Нет, никогда, — сказал он очень тихо. — Человека нам спасти, возможно, и удастся. Музыканта мы потеряли. Удар повредил мозг.

Шмидт неподвижно уставился на собеседника. Такое глубоко отчаяние было в его взгляде, что врач почувствовал смущение.

— Я уже сказал, — повторил он, — если не произойдет чуда. Впрочем, мне такое видеть еще не случалось.

Четыре месяца Георг Фридрих Гендель не мог творить, а творчество для него было жизнью. Правая сторона тела была мертвой. Он не мог ходить, не мог писать, не мог извлечь пальцами правой руки ни одного звука на чембало. Он не мог говорить. После ужасного удара, поразившего его, губа отвисла, слова, произносимые им, были глухи и неразборчивы.

Если услышанная музыка доставляла ему радость, в левом глазу появлялся отблеск живой жизни, тяжелое, неповоротливое тело шевелилось, словно во сне, пытаясь следовать услышанному ритму, воспроизвести его, но страшное оцепенение сковывало его, как мороз, сухожилия, мускулы не слушались человека; великан, он чувствовал себя беспомощным, замурованным в невидимой могиле.

Едва музыка кончалась, веки тяжело закрывались, и он вновь становился неподвижным, словно труп. Хотя врач считал, что у мэтра никаких надежд на излечение нет, он для очистки совести порекомендовал отправить больного в Аахен, может быть, горячие источники принесут хоть какое-то облегчение.

Но, подобно таинственным горячим подземным источникам, под застывшей, неподвижной оболочкой жила непостижимая сила — воля Генделя, исполинская энергия его существа; разрушительный удар не коснулся этой силы, не желая



ющей бессмертное отдать смерти. Он, этот колосс, не считал себя побежденным, он еще хотел жить, хотел творить, и, преодолев законы природы, эта воля совершила чудо.

Врачи Аахена постоянно предупреждали его, что в горячих водах нельзя находиться более трех часов подряд, сердце не выдержит, такое может убить его. Но воля шла ва-банк: или жизнь, полная счастья творить, или смерть. К ужасу врачей, Гендель ежедневно лежал в ванне по девять часов, и вот постепенно в нем стали накапливаться силы. Через неделю он уже мог сам добрести до ванны, через две недели начал двигать рукой и — неслыханная победа воли и глубокой убежденности в том, что он добьется своего, — вырвался из парализующих пут смерти, чтобы обнять жизнь более горячо, более страстно, чем когда-либо раньше, с той несказанной радостью, которая известна лишь выздоравливающим.

В день отъезда из Аахена, полностью господин своего тела, Гендель пришел в церковь. Никогда не отличался он особой набожностью, но теперь, поднимаясь так счастливо возвращенной ему свободной походкой на хоры, где стоял орган, он чувствовал, что управляет им, Генделем, ведет его нечто Великое.

Пробуя, он нажал клавиши пальцами левой руки. Чистые, светлые звуки заполнили помещение, замершее в их ожидании. Помедлив, он взял аккорд правой рукой, длительное время лишенной жизни. Но и под этой рукой, словно серебряный источник, рассыпались чудесные звуки. Он начал играть, импровизировать, и потоки звуков увлекли его за собой. Удивительно, как громоздились, а затем выстраивались тесные камни звуков, как росли и росли воздушные строения его гения, как поднимались ввысь, не отбрасывая тени, бесплотная ясность, звучащий свет.

Внизу потрясенно слушали его монахини и молящиеся прихожане. Никогда до сих пор не слышали они такой земной музыки. А Гендель, смиренно склонив голову, играл и играл. Он вновь обрел свой язык, на котором обращался к Богу, к вечности, к людям. Он вновь мог играть, он вновь мог творить. И только теперь почувствовал он себя выздоровевшим.

Лондонскому врачу, который не мог скрыть своего удивления перед медицинским чудом, Георг Фридрих Гендель сказал гордо, выпятив грудь, раскинув руки:

— Из Аида вернулся я.

И с полной отдачей сил, со всей яростной, неистовой энергией, с удвоенной жадностью тотчас же бросился в работу.

Вновь обрел боевой азарт прежних лет пятидесятилетнелетний человек. Он пишет оперу, — замечательно послушна ему выздоровевшая рука, — вторую, третью, большие оратории «Саул» и «Израиль в Египте», «L'Allegro, il Penseroso»; словно из молчавшего долгое время источника льется неиссякаемая радость творчества.

Но время против него. Смерть королевы прерывает театральные постановки, затем начинается испанская война\*; правда, в общественных местах ежедневно собираются толпы поющих, кричащих людей, но театр пустует, а долги растут и растут.

Затем приходит суровая зима. В Лондоне так холодно, что замерзает Темза и по ее зеркальной поверхности скользят санки с колокольчиками; в эти дни все залы закрыты, никакая ангельская музыка не может противостоять такому холоду в помещениях. Затем начинают болеть певцы, приходится отменять одно представление за другим; все хуже и хуже становится и без того тяжелое положение Генделя. Кредиторы напирают, критики высмеивают, публика остается безразличной и безмолвствует; и вот отчаявшегося борца оставляет мужество. Правда, представление с бенефисом спасает его от долговой тюрьмы, но какой стыд, словно нищему, покупать себе жизнь!

Все больше замыкается Гендель в себе, все мрачнее и мрачнее становятся его мысли. Нет, наверно, менее страшно, когда парализована часть тела, а не душа! В 1740 году опять чувствует себя Гендель побежденным, проигравшим бой человеком, стоящим на пепелище своей прежней славы. С большим

---

\* Англия объявила войну Испании в 1739 г. — *Примеч. пер.*

напряжением, используя ранее написанные отрывки, он создает небольшие произведения, но искромётного фейерверка нет в них, пропала исполинская сила, истощился могучий источник в исцеленном теле, впервые за всю свою жизнь он чувствует себя усталым, этот колосс, впервые — побежденным, этот замечательный боец, впервые иссяк поток радости созидания, вот уже тридцать пять лет затопляющий мир.

Вновь оказался он на пороге творческой смерти. И он знает (или ему кажется, что он знает, этот вконец отчаявшийся человек): на этот раз — уже безвозвратно. «Зачем, — вздыхает он, — зачем Бог поставил меня на ноги, спас от болезни, если люди вновь готовят мне могилу? Лучше умереть, чем, оставаясь собственной тенью, прозябать в пустоте и холоде этого света». И в гневе иной раз бормочет слова того, кто висел на кресте: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?»

Потерянный, отчаявшийся человек, уставший от самого себя, утративший, возможно, даже веру в Бога, бродит Гендель в те месяцы вечерами по Лондону. Лишь в сумерки решается он выйти из дому, ибо днем у дверей ждут его кредиторы с долговыми обязательствами, а на улицах ему противны взгляды людей, безразличные или презрительные.

Иной раз ему приходит мысль: а не бежать ли в Иорданию, где-еще верят в его звезду (ах, они и не подозревают, что силы в его теле сломлены), или в Германию, или в Италию; может, там, под ласковым южным ветерком, оттаит заледеневшее сердце, вновь зазвучит мелодия, вырвется из плена каменной пустыни душа. Нет, ему, Георгу Фридриху Генделю, не вынести этого поражения. Иной раз он задерживает свои шаги у церкви. Но он знает: слова не принесут утешения.

Иной раз он заходит в какой-нибудь кабачок, но того, кому ведомо высокое опьянение, — святое и чистое творчество, — того воротит от сивухи. А иной раз, опершись о перила моста, пристально смотрит на черные немые воды ночной Темзы и размышляет: а не лучше ли разом со всем покончить? Только бы освободиться от груза этой пустоты, только бы не испытывать ужас одиночества, когда ты покинут Богом и людьми.

Вновь и вновь бродит он по ночным улицам города. 21 августа 1741 года был паляще-знойный день. Словно расплавленный металл, чадное и душное небо обложило со всех сторон Лондон; лишь ночью Гендель вышел в Грин-парк подышать свежим воздухом. Там в загадочной тени деревьев, где никто не мог его увидеть, никто не мог его мучить, он сел усталый, усталость эта угнетала его словно болезнь — усталость говорить, писать, играть, думать, усталость чувствовать, усталость жить. Ибо — к чему жить, для кого? Словно пьяный, пошел он домой вдоль Пэл-Мэл и Сент-Джеймс-стрит, движимый единственной мыслью тяжелобольного человека: спать, спать, ни о чем более не думать, отдохнуть и, лучше всего, навсегда.

В доме на Брук-стрит уже все спали. Медленно, — ах, как он устал, как замучили они его, эти люди! — поднялся он по ступенькам, под каждым тяжелым шагом скрипит дерево. Наконец добрался он до комнаты, высек огонь и зажег свечу у пульта: сделал он это механически, не думая, как делал все эти годы перед тем, как сесть за работу. Ибо тогда — меланхолический вздох произвольно сорвался с губ — с каждой прогулки приносил он домой мелодию, тему, каждый раз торопливо записывал ее, чтобы не потерять так счастливо найденное. Теперь стол был пуст. Не лежали на нем нотные листы. Священное мельничное колесо недвижимо стояло в замерзшей реке. Нечего было начинать, нечего — заканчивать. Стол был пуст.

Впрочем, нет, не пуст! Не светится ли на полутемном уголке стола какая-то бумага! Пакет. Гендель схватил его и почувствовал: в нем — рукопись. Он быстро сломал печать. Рукопись и письмо от Дженненса, поэта, написавшего ему текст для «Саула» и «Израиля в Египте». Поэт пишет, что посылает ему новое произведение и надеется, что высокий гений музыки, *phoenix musicae*, снизойдет к его жалким словам и поднимет их ввысь на своих крыльях в небесные просторы бессмертия.

Генделю стало противно, как если бы он коснулся рукой

чего-то гадкого. Неужели Дженненс издевался над ним, почти покойником, человеком с парализованной душой? Порвал письмо, скомкал, бросил на пол, стал топтать. «Негодяй, подлец», — рычал он; этот растяпа растравил его рану, возмутил до глубины души, вызвал жестокий приступ ярости. Серdito погасил он свет, раздраженный, побрел в спальню и бросился на постель. Слезы внезапно хлынули из глаз, все тело тряслось в бешенстве бессилия. Горе миру, в котором над ограбленным насмеваются, в котором страдающих мучат! Почему его еще призывают, когда сердце уже оцепенело и сил больше нет, почему его все еще вынуждают к работе, когда душа уже парализована и чувства утратили силу? Заснуть, как засыпает тупое животное, забыться, перестать существовать! Грузный, лежал он на своем ложе, сбитый с толку, потерянный человек.

Но заснуть он не мог. Беспокойство было в нем, взбудораженное гневом, словно море — штормом, недоброе, таинственное беспокойство. Он ворочается с боку на бок, бессонница не покидает его. Может, все же следует встать и прочесть присланный текст? Нет, какую силу имеет над ним, полумертвым, слово? Нет никакого утешения ему, если Бог низринул его в бездну отчаяния, если Бог лишил его дара творчества, этого бесценного тока жизни!

И все же — все еще билась в нем сила, таинственно любопытствующая, торопящая его, и его бессилие не могло его защитить. Гендель поднялся, вернулся в кабинет, трясущимися от возбуждения руками вновь зажег свечу. Не подняло ли его уже однажды чудо, не спасло ли от смертельного недуга? Возможно, Бог и душу может исцелить, может дать ей утешение. Гендель подвинул свечу к листам рукописи: «The Messiah!» было написано на первом листе. Опять оратория! Последние не удались. Но, беспокойный, он перевернул лист и начал читать.

Первое же слово поразило его. «Comfort ye», так начинается текст. «Утешься!» — словно волшебным было это слово, нет, не слово: ответ был это, данный Богом ангельским гласом из заоблачных высей его отчаявшемуся сердцу. «Comfort ye» —

как великолепно звучало, как потрясало это творящее, создающее слово его оробевшее сердце. И уже едва прочитав, едва прочувствовав прочитанное, Гендель услышал музыку этого слова, парящую в тонах, зовущую, пьянящую, поющую. О счастье, врата распахнулись, он вновь чувствовал, вновь слышал музыку!

Руки его дрожали, когда он переворачивал лист за листом. Да, он был вызван, был призван, каждое слово с непреодолимой силой захватывало его. «Thus saith the Lord» («Так говорит Господь») — разве не ему это сказано, не ему одному, и не та ли самая рука, которая поразила его, бросила его на землю, сейчас так счастливо поднимает его с земли? «And He shall purify» («Он очистит тебя») — да, с ним это произошло; внезапно развеяны тучи, бросавшие черную тень на его сердце, пробилась ясность, кристальная чистота звучащего света.

Кто же, кто водил пером этого бедняги Дженненса, этого рифмоплета из Копсалла, когда тот писал сии вдохновенные слова, если не Он, единственный знающий его, Генделя, горе: «That they may offer into the Lord» («И они жертву принесут Господу») — да, зажечь жертвенный огонь из пылающих сердец так, чтобы языки пламени поднялись до небес, дать ответ, ответ на этот чудесный зов.

Ему это было сказано, к нему одному обращен был этот «Зов Твоих слов с силой» — о, произнести это, произнести с силой гудящих тромбонов, бушующего хора, с громами органа, чтобы еще раз, как и в Первый день, Слово, священный логос, разбудило людей, всех их и тех, других, которые, отчаявшись обрести надежду, бредут в темноте, ибо действительно, «Behold, darkness shall cover the earth», еще мрак покрывает землю, еще не знают они о блаженстве спасения, которое дается им в этот час.

И не прочтена еще рукопись, а уже рвется его душа в восторженной благодарности «Wonderful counsellor, the mighty God» — да, именно так следует славить Его, Чудесного, Который знал, какой совет дать, как действовать. Его, Который принес мир растерянному сердцу! «Ибо ангел Господа

пришел к вам» — да, с серебристыми крыльями спустился на землю, коснулся его и спас. Как же не благодарить, как не ликовать и не радоваться тысячами голосов и в то же время — одним, присущим именно тебе, как же не петь, не восхвалять: «Clory to God!»\*.

Гендель наклонил голову над листами рукописи, как бы сопротивляясь мощному напору ветра. Усталости как не бывало. Никогда не чувствовал он так свою силу, никогда не испытывал столь глубокую радость от процесса творчества. А слова как бы затопляли его токами спасительного теплого света, каждое слово обращалось к его сердцу, изгоняя злых духов, освобождая! «Rejoice» («Радуйся») — как великолепно вырвалось вперед это хоровое песнопение, — непроизвольно приподнял он голову и раскинул руки. «Он — истинный помощник!» — да, именно это он хотел засвидетельствовать, так как никто из живших до него на земле этого не сделал, и поднять хотел он свое свидетельство над миром, как скрижаль со светящимися письменами. Лишь тот, кто много страдал, знает, что такое радость, лишь тот, кто испытан, чувствует конечное блаженство прощения, его это долг — ради пережитой им смерти свидетельствовать людям о воскрешении.

Когда Гендель читал слова «He was despised» («Он был презираем»), к нему вернулись тяжелые воспоминания, он слышал темные гнетущие звуки. Похоже, они уже победили его, похоже, уже похоронили его живую плоть, преследуя его насмешками — «And they that see him, laugh» — они насмеялись над ним, увидев его. «И не было никого, кто дал бы утешение страдальцу». Никто не помог ему, никто не утешил его в беспомощности — но удивительная сила — «He trusted in God», он доверился Богу, и вот, Тот не оставил его в могиле — «But thou didst not leave his soul in hell». «Нет, не в могиле его отчаяния, не в преисподней его бессилия», ему, скованному, ему, исчезнувшему, сохранил Бог душу, нет, Бог призвал

---

\* Слава Тебе, Боже (англ.).

его еще раз, чтобы он нес благую весть людям. «Lift up your heads» («Поднимите ваши головы») — как ликующе звучало, как рвалось из него это великое повеление о возвещении! И внезапно ужас объял его, далее в тексте рукой бедняги Дженненса было написано: «The Lord gave the Word»\*.

У него перехватило дыхание. Случайный человек сказал здесь правду: Господь дал ему Слово, свыше оно было объявлено ему. «The Lord gave the Word»: от Него исходило слово, от Него шла музыка, от Него — милость! К Нему оно должно возвращаться, к Нему — поднятое токами сердца, Ему с радостью должен петь хвалу всякий творящий. О, постигнуть это слово, удержать его, поднять и дать ему сил для воспарения, расширить его, растянуть, чтобы оно стало таким огромным, таким же необъятным, как мир, чтобы оно охватило, вобрало в себя все ликование бытия, чтобы оно стало таким же великим, как Бог, Который дал это Слово, о, Слово смертное и преходящее, красотой и бесконечной страстностью вновь обращенное в вечность.

И вот — оно написано, оно звучит, это Слово, бесконечно повторяемое, вот оно — «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Да, все голоса этой земли следует объединить: мужские — светлые, темные, твердые, и женские — податливые, мягкие; они заполняют все пространство, растут, меняют тональность, они переплетаются и освобождаются в ритмичном хоре, они поднимаются и опускаются по лестнице Иакова, они успокаивают улаживающими прикосновениями смычков к струнам скрипок, воодушевляют резкими звуками фанфар, бушуют и грохочут в громах органа: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! — из этого Слова, из этого благодарения следует создать ликование, которое с этой земли вернется назад к Творцу вселенной!

Слезы застилают глаза Генделя, так он потрясен прочитанным, пережитым. Еще не все прочитано, оставалась третья часть оратории. Но после слов «Аллилуйя! Аллилуйя» он чи-

---

\* Господь дал слово (англ.).



тать более не мог. Он был переполнен звуками этого ликования, звуки расширялись, напрягались, вызывали боль, словно поток огня, жалящий течь, не могущий не течь. О, как тесно было этим звукам, они рвались из него, стремились назад, к небу. Торопливо схватил он перо, записал: с волшебной быстротой, один возле другого, громоздились знаки. Он не мог удержаться, его гнало и гнало, подобно тому, как буря гонит корабль под парусами. Вокруг молчала ночь, над большим городом лежала влажная немая темнота. Но в нем, в Генделе, лились потоки света и неслышно гремела музыка мироздания.

Когда утром слуга осторожно вошел в комнату, Гендель сидел за столом и писал. Он не ответил, когда Кристоф Шмидт робко спросил его, не может ли он быть полезен копированием, композитор лишь заворчал глухо и угрожающе.

Никто не решался больше войти к нему, и эти три недели он не покидал комнату, а когда ему приносили еду, он левой рукой отламывал хлеб, правой же продолжал писать. Остановиться он уже не мог, это было как опьянение. Если он вставал и шел по комнате, громко напевая и размахивая руками в такт, глаза его ничего не видели; когда с ним заговаривали, он испуганно вздрагивал и ответ его был неопределенен и сбивчив.

Это были тяжелые дни для его слуги. Приходили кредиторы, требовали погашения долговых обязательств, приходили певцы просить у маэстро праздничные кантаты, приходили посыльные, чтобы пригласить Генделя в королевский дворец; всем должен был слуга отказывать, так как, раз обратившись к увлеченному работой человеку, он в ответ услышал львиный рык гнева.

В эти недели Георг Фридрих Гендель потерял представление о времени, он не различал более дней и ночей, он жил в некоей сфере, где время проявляется лишь в ритме и такте, он плыл в потоках все более и более страстно рвущихся из него по мере того, как произведение приближалось к своей быстрине, к порогам, к своему концу. Замурованный самим собой,

мерял он созданную им самим темницу топающими, подчиняющимися такту произведения шагами, он пел, подбегал к чембало, брал аккорд, затем вновь возвращался к столу и писал, писал, пока пальцы не сводила судорога; никогда в жизни на него не нисходил такой экстаз, никогда не жил он так, не страдал так, растворившись в музыке.

Наконец, через три недели — непостижимо и сегодня еще, и навечно! — 14 сентября произведение было закончено. Слово стало звуком, неувядаемо цвело и звучало то, что было сухой, холодной речью. Подобно тому как ранее свершилось чудо воскрешения парализованного тела, сейчас свершилось чудо воли — вспылала душа. Все было написано, были созданы и развернулись в мелодиях и взлетах образы, — не хватало одного лишь последнего слова оратории — «Аминь». Но это слово, эти два маленьких слога заставляли Генделя построить из них звучащую лестницу к небу. Он бросил на это один голос и — в чередующемся хоре — другой; он растягивал их, эти два слога, и отрывал их друг от друга, чтобы вновь сплавить; словно дыхание Господне, проникла его страсть в это заключительное Слово великой молитвы, обширным как мир было оно и полно было полнотой мира.

Это одно, это последнее слово не отпускало его, и он не мог расстаться с ним; великолепной фугой выстроил он это «Аминь» из первого звука, из звонкого А, основного звука начала; пока тот не стал кафедральным собором, гудящим и заполненным людьми, шпилем своим возносящимся в небо все выше и выше, рушащимся и вновь взмывающим вверх и, наконец, схваченным силой объединившихся голосов, бурей органа, он вновь и вновь взмывал вверх, заполняя собой все сферы, и, казалось, к торжественному гимну благодарности присоединились ангелы, и балки перекрытий раскалывались от этого вечного «Аминь! Аминь! Аминь!»

С большим трудом Гендель поднялся. Перо выпало из руки. Он не знал, где находится. Он ничего не видел, ничего не слышал. Только усталость чувствовал он, безмерную усталость. Ему нужно было держаться за стену — так кружилась

голова. Силы покинули его, тело смертельно устало, мысли путались. словно слепой, брел он вдоль стены. Упал в постель и заснул как мертвый.

Трижды в первой половине дня слуга тихо приоткрывал дверь в спальню. Маэстро спал; недвижимым, как изваяние из серого камня, было замкнутое лицо. В полдень, войдя в комнату в четвертый раз, слуга попытался разбудить его. Он громко кашлянул, шумно передвинул кресло. Но в бездонную глубину этого сна не проникал звук, сознания спящего не достигло ни одно слово. После полудня слуге на помощь пришел Кристоф Шмидт. Гендель все еще оставался неподвижен. Фамулус наклонился над спящим; словно мертвый герой на поле брани после победы, лежал он, пораженный усталостью после несказанно великого свершения.

Но ни Кристоф Шмидт, ни слуга ничего не знали ни о свершениях, ни о победе, их обуял ужас при виде этой зловещей неподвижности; они испугались, не поразил ли маэстро второй удар. И когда вечером, несмотря на все попытки растолкать его, Гендель не проснулся, — уже семнадцать часов лежал он недвижим, — Кристоф Шмидт побежал к врачу. Он не сразу нашел доктора Дженкинса. Тот, воспользовавшись мягким вечером, вышел на Темзу поудить; найденный там, он стал ворчать, недовольный досадной помехой отдыху. Но услышав, что дело касается Генделя, быстро собрал свои рыболовные снасти, взял — на это ушло немало времени — хирургический инструмент, чтобы было чем, если понадобится, отворить кровь, и, наконец, пони с обоими седоками зарысил в направлении к Брук-стрит. Но навстречу им, размахивая руками, выбежал слуга.

— Он встал, — кричал он им, — и ест, как шестеро портовых грузчиков. Половину йоркширского окорока умял, четыре пинты пива выпил и просит еще.

И действительно, Гендель, словно Бобовый Король, сидел за столом, уставленным снедью, и, подобно тому, как за три бессонные недели проспал кряду без малого сутки, он теперь пил и ел на радость своему гигантскому телу, как бы желая

принять в себя все, что израсходовал за эти недели, творя свое произведение.

Увидев доктора, он засмеялся и постепенно этот смех перерос в чудовищно громкий, гремящий, гиперболический хохот; Шмидт вспомнил, что за все эти недели он не видел даже улыбки на губах Генделя, только напряженность и гнев. Теперь же присущая натуре композитора веселость вернулась к нему, веселость гудела, словно прилив, ударяющийся о скалу, она пенилась и билась клокочущими звуками, — никогда в своей жизни Гендель не смеялся так, как сейчас, увидев врача, спешащего к нему на помощь в час, когда он чувствовал себя здоровым как никогда и радость бытия переполняла его.

Высоко поднял он кружку, приветствуя Дженкинса. «Лопни мои глаза, — поразился доктор. — Что с вами произошло? Какой эликсир вы выпили? Жизнь так и прет из вас! Что стряслось с вами?» Гендель смотрел на него, смеясь, с горящими от возбуждения глазами. Затем постепенно успокоился, стал серьезным. Он медленно встал, подошел к чембало. Подсел к инструменту, руки сначала прошлись по клавишам, не издавая звуков. Потом он повернулся, как-то особенно усмехнулся и начал тихо играть, говоря и напевая мелодию речитатива «Behold, I tell you a mystery» («Слушайте, я поведаю вам тайну») — это были слова из «Мессии», и подал он их поначалу шутливо.

Но едва начав, он уже не мог не продолжить. Играя, Гендель забыл все вокруг, да и себя также. Вдохновение захватило и понесло его. Внезапно он оказался вновь в своем произведении, он пел, он играл последнюю партию хора, которую создал в сомнамбулическом состоянии, как бы во сне; бодрствуя, он слышал ее сейчас впервые: «Oh death, where is thy sting» («Смерть, где жало твое»), внутренне чувствовал это, пронизанный пламенем жизни, и голос его обретал все большую и большую силу, и вместе с ним хор, ликующий, торжествующий, и далее, далее играл он и пел до «Аминь, Аминь, Аминь», и казалось, вот-вот рухнет здание, такова была сила звуков, такова была их мощь.

Доктор Дженкинс стоял словно оглушенный. И когда Гендель наконец поднялся, сказал смущенно, восхищенный, только для того, чтобы что-то сказать: «Ну, ничего подобного я никогда не слышал. Вы просто одержимы дьяволом».

Но тут покраснело лицо Генделя. И он испугался своего произведения и той милости, что снизошла на него, как во сне. И стыдно стало ему. Он повернулся и сказал тихо, так, что находящиеся в комнате едва слышали его: «Напротив, я думаю, что со мной был Бог».

Несколько месяцев спустя в Дублине в дверь дома на Эббистрит, где остановился приехавший из Лондона благородный гость, великий композитор Гендель, постучались два хорошо одетых господина. Они обратились к нему с почтительной просьбой. В эти месяцы маэстро обрадовал столицу Ирландии своими великолепными произведениями, многие из которых прозвучали здесь впервые. Однако им стало известно, что он хочет исполнить здесь также недавно написанную им ораторию «Мессия», и, выбрав Дублин, а не Лондон для этого первого исполнения оратории, маэстро оказал столице Ирландии большую честь. Поэтому следует ожидать, что концерт этот даст особенно высокий сбор. Вот они и пришли спросить, не согласится ли маэстро — щедрость его общеизвестна — деньги за это первое исполнение оратории передать благотворительным учреждениям, которые они имеют честь представлять.

Гендель дружелюбно смотрел на них. Он любил этот город, потому что его здесь любили, сердце его было открыто дублинцам. Он охотно соглашается на это предложение, заметил он, посмеиваясь, им следует лишь сообщить, какому благотворительному учреждению надлежит передать выручку от концерта. «Общество помощи заключенным в различных тюрьмах», — сказал добродушный седовласый господин. «И больным госпиталя Милосердия», — добавил второй. Но само собой разумеется, уточнили они, великодушный дар — лишь деньги за первое исполнение, деньги за все последующие остаются маэстро.

Но Гендель возразил. «Нет, — сказал он тихо, — никаких денег за это произведение. Никогда не буду я брать деньги за исполнение оратории, никогда, я вечный должник за эту ораторию. Эти деньги всегда будут принадлежать больным и заключенным. Ибо сам я был больным и исцелился, творя это произведение. И узником был, а оно меня освободило».

Оба господина удивленно переглянулись. Они не все поняли из сказанного. Но, горячо поблагодарив, откланялись, спеша распространить по городу радостную весть.

7 апреля 1742 года была проведена последняя репетиция. Слушателями оказались немногие родственники хористов обоих кафедральных соборов; экономии ради помещение концертного зала на Фишембл-стрит было освещено скудно. На пустых скамьях тут и там сидели они небольшими группками и в одиночку, пришедшие слушать новую ораторию маэстро из Лондона. Темно и холодно было в большом зале. Но едва, подобно звонким водопадам, начали бушевать хоры, произошло нечто поразительное.

Сидящие в разных концах зала люди стали непроизвольно придвигаться друг к другу и постепенно сбились в единую массу, изумленную, обратившуюся в слух; как будто каждому в отдельности из сидящих в зале было слишком много этой музыки — музыки, подобной которой никогда им слышать не приходилось — очень уж велика была сила этой музыки, и они боялись, что она вот-вот смочет их и унесет. Все больше и больше жались они друг к другу, и было это, как будто они слушали музыку единым сердцем, словно единая религиозная общность воспринимали они Слово глубокой веры, которое, каждый раз иначе сказанное, иначе сформированное, выбрасывалось им навстречу из сложнейшего переплетения голосов. Бессильным чувствовал себя каждый из них перед этой первобытной силой и в то же время счастливым тем, что подхвачен и несом ею, и трепет восторга пронизывал их всех как некое единое тело.

И когда впервые загремело славословие «Аллилуйя!» — оно потрясло слушателей и в едином порыве все поднялись;

они чувствовали — нельзя жаться к земле; подхваченные необоримой силой, они встали, чтобы своими голосами хотя бы на дюйм приблизиться к Богу и, служа ему, выказать ему свое благоговение. А потом, когда кончился концерт, они пошли и стали рассказывать каждому встречному, что только что прослушанная ими оратория не имеет себе равных на земле. И город был потрясен этим сообщением, и многие, очень многие желали услышать этот шедевр.

Шесть дней спустя, 13 апреля вечером, огромная толпа собралась у дверей концертного зала. Дамы явились не в кринолинах, кавалеры — без шпаг, с тем чтобы в зале могло поместиться больше людей; семьсот человек (никогда столько людей не собиралось в этом помещении) втиснулось в зал, такова была разнесшаяся о произведении слава; когда же началось его исполнение, люди затаили дыхание. Но тут низринулись хоры своей ураганной силой и сердца слушателей затрепетали.

Гендель стоял у органа. Он хотел следить за исполнением своего произведения, вести его, но оторвался от него, потерялся в нем, оказался чужим ему, как будто никогда не создавал, не формировал его, никогда раньше не слышал его, и вот, оказался вовлеченным в созданный им самим поток звуков. И когда началось пение «Аминь», он непроизвольно запел с хором, и пел так, как никогда до сих пор в жизни не пел. Но затем, когда бурные восторги слушателей заполнили зал, он тихо отошел в сторону, чтобы поблагодарить не людей, желавших выразить ему свою глубокую признательность, а Милосердие, даровавшее ему это произведение.

Шлюз открылся. И вновь годы и годы течет звонкий поток. Ничто не могло заставить отныне Генделя склониться, ничто не могло воскресшего поставить на колени вновь. Опять созданное им в Лондоне Оперное товарищество становилось банкротом, опять травили его кредиторы, но он не терял мужества, он выстоял, беззаботно шел, шестидесятилетний, своим путем, отмерял жизненный путь, словно придорожными столбами, своими произведениями. Ему чинили препятствия, но

он легко преодолевал их. Возраст брал свое, силы иссякали, — парализовало руку, подагра изуродовала ногу, но душа не знала усталости, он творил и творил. Он стал терять зрение и, когда писал своего «Иеффая», ослеп. Но и незрячий — подобно Бетховену, пораженному глухотой — он продолжал творить, неутомимый и непобедимый, тем смиреннее перед Богом, чем прекраснее были его победы на земле.

Как все настоящие, требовательные к себе художники, свои произведения он не превозносил. Но одно из них он очень любил — «Мессию». Он любил это произведение из благодарности, оно спасло его от гибели в пропасти, спасло его в самом себе. Из года в год исполнял он ораторию в Лондоне, каждый раз с неизменным успехом, каждый раз переводил он после исполнения «Мессии» всю выручку от концерта (пятьсот фунтов) больницам для недужных и в тюрьмы — для облегчения участи тех, кто томился в оковах.

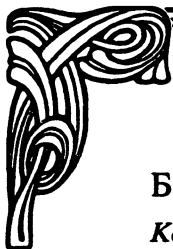
Именно этим произведением, которое помогло ему выбраться из Аида, он пожелал и проститься с публикой. Шестого апреля 1759 года уже тяжелобольной семидесятичетырехлетний композитор вышел еще раз на подмостки «Ковент-Гардена». И вот стоял он, слепец-гигант, среди своих преданных друзей, среди музыкантов и певцов; его безжизненные, угасшие глаза не видели их. Но едва в великом, бурном порыве на него накатились волны звуков, едва ликование сотен голосов омыло его, усталое лицо композитора осветилось, прояснилось. Он размахивал руками в такт музыке, он пел так серьезно и истово, как если бы торжественно стоял у изголовья собственного гроба, молился вместе со всеми о своем спасении и о спасении всех людей. Лишь однажды, при зове «The trumpet shall round» («Пусть гремят трубы»), когда резко вступили трубы, он вздрогнул и посмотрел своими невидящими глазами вверх, как бы говоря этим, что уже сейчас готов предстать перед судом Всевышнего; он знал, что свою работу сделал хорошо. Он мог с поднятой головой предстать перед Богом.

Взволнованные, вели друзья слепца домой. И они чувствовали: это было прощание. В постели он тихо шевелил губами.



**«На страстной пятнице хотел бы умереть», — шепнул он. Врачи дивились, они не понимали — почему, не знали, что страстная пятница в этом году приходилась на тринадцатое апреля, на день, когда тяжелая десница повергла его в прах, на день, когда его «Мессия» впервые зазвучал для мира. В день, когда все в нем умерло, он воскрес. В день, когда он воскрес, он хотел умереть, чтобы быть уверенным, что воскреснет для новой жизни.**

**И действительно, эта поразительная воля имела власть не только над жизнью, но и над смертью. Тринадцатого апреля Генделя оставили силы. Он не видел ничего, ничего не слышал, недвижимым лежало огромное тело в подушках, брэнная оболочка отлетающей души. Но подобно тому, как полая раковина шумит грохотом моря, так и в нем звучала неслышная музыка, незнакомая и более прекрасная, чем та, которую он когда-либо слышал. Волны этой музыки медленно отпускали из изнуренного тела душу, стремящуюся вверх, в бесконечность. Поток вливался в поток, вечное звучание — в вечную сферу. И на следующий день, еще не проснулись пасхальные колокола, как умерло то, что оставалось смертным в Георге Фридрихе Генделе.**



## БЕГСТВО К БОГУ

*Конец октября 1910 г.*

### ВВЕДЕНИЕ

**В** 1890 году Лев Толстой начинает работать над автобиографической драмой. Не законченная им, она была опубликована после его смерти и затем ставилась театрами под названием «И свет во тьме светит». Эта драма (ее незаконченность видна уже по первой сцене) является не чем иным, как интимнейшим описанием семейной трагедии художника, и написана им, по-видимому, как оправдание задуманной попытки бегства и одновременно как извинение перед женой, то есть представляет собой произведение, написанное в условиях предельной душевной раздвоенности.

Себя Лев Толстой представил в прозрачно автобиографическом образе Николая Ивановича Сарынцова, и конечно же трагедию нельзя принимать как художественный вымысел. Несомненно, создавая ее, Лев Толстой искал пути разрешения противоречий, перед которыми его поставила жизнь. Но ни в этом произведении, ни в своей жизни (ни в 1890 году, ни десятью годами позже, в 1900 году) Толстой не нашел в себе сил выбрать форму разрешения этих противоречий, мужества завершить жизнь в согласии со своим учением. И из-за этой резиньяции воли, покорности своей судьбе художник так и не завершил драму — герой совершенно растерян, он простирает руки к Богу, умоляя небесного отца заступиться за него, покончить с раздвоенностью его личности.

Последний акт трагедии Толстой так и не написал, но — а

это намного важнее — он пережил его. В последние дни октября 1910 года колебания души, терзавшие писателя четверть века, завершились кризисом освобождения. После нескольких чрезвычайно драматических столкновений Толстой уходит из семьи, уходит как раз вовремя, чтобы найти ту прекрасную и идеальную смерть, которая освятит его судьбу, даст ей совершенную форму.

Ничто не кажется мне более естественным, чем присоединение прожитого, пережитого писателем конца трагедии к ее написанному фрагменту. Это, только это пытался я сделать, соблюдая максимальную историческую достоверность, храня глубокое благоговение перед фактами и документами. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя способным завершить этим эпилогом исповедь Льва Толстого, я не дописываю произведение, нет, я просто хочу служить ему. Мою попытку не следует рассматривать как завершение, это самостоятельный эпилог незаконченного произведения, эпилог незавершенного конфликта, предназначенный единственно для того, чтобы дать незаконченной трагедии торжественный заключительный аккорд. И если это удалось, то задача решена, усилия потрачены не зря.

Если этот эпилог пожелают поставить на сцене, следует иметь в виду, что между четвертым актом драмы «И свет во тьме светит» и этим эпилогом лежат шестнадцать лет. Это должно быть видно по внешнему облику Льва Толстого. Образцом могут служить прекрасные портреты последнего года его жизни, особенно тот, который сделан во время пребывания писателя в монастыре (Шамардино) у сестры, а также его фотография на смертном одре. И рабочая комната во всей своей потрясающей простоте должна быть воспроизведена исторически точно. С чисто сценической точки зрения я хотел бы, чтобы этот эпилог (где Толстой не скрывается более за образом своего двойника Сарынцова) шел за четвертым актом фрагмента «И свет во тьме светит» после относительно большого антракта. Самостоятельная постановка эпилога представляется мне нецелесообразной.

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ЭПИЛОГА

Лев Николаевич Толстой (на восемьдесят третьем году жизни).

Софья Андреевна Толстая, его жена.

Александра Львовна (Саша), их дочь.

Секретарь.

Душан Петрович, домашний доктор, друг Толстого.

Иван Иванович Озолин. Начальник станции Астапово.

Кирилл Григорьевич. Полицеймейстер станции Астапово.

1-й студент.

2-й студент.

Три пассажира.

Действие двух первых сцен протекает в последние дни октября 1900 года в рабочей комнате дома Толстых в Ясной Поляне, последняя сцена — 31 октября, на вокзале станции Астапово.

## СЦЕНА ПЕРВАЯ

*Конец октября 1910 года в Ясной Поляне.*

Рабочая комната Толстого, простая, без украшений, в точном соответствии с известными ее фотографиями. Секретарь вводит двух студентов. Они одеты по-простонародному, в черные косоворотки, молоды, с энергичными лицами. Двигаются очень уверенно, скорее самоуверенны, чем застенчивы.

Секретарь. Садитесь, пожалуйста, Лев Николаевич сейчас выйдет. Но прошу вас, не забывайте о его возрасте! Лев Николаевич так любит спорить, что часто забывает, что это утомляет его.

1-й студент. У нас к Льву Николаевичу мало вопросов — один, собственно, правда, очень важный и для нас, и для него. Обещаю вам быть немногословным — если только мы сможем говорить свободно.

**Секретарь.** Безусловно. Чем меньше церемоний, тем лучше. И не говорите ему «ваша светлость», он терпеть этого не может.

**2-й студент (смеясь).** Этого вам опасаться не следует, все что угодно, только не это.

**Секретарь.** Он уже поднимается по лестнице.

Толстой входит быстрыми, легкими шагами, он нервен, несмотря на возраст — подвижен. При разговоре от нетерпения, в поисках нужного слова часто вертит в руке карандаш или мнет лист бумаги. Быстро подходит к студентам, протягивает им руку, остро и пронизательно вглядываясь в лицо каждого, затем садится напротив них в клеенчатое кресло.

**Толстой.** Это вас, не правда ли, прислал ко мне комитет... *(Он просматривает письмо.)* Извините, забыл ваши имена...

**1-й студент.** Наши имена не имеют значения. Мы пришли к вам — двое от сотен тысяч.

**Толстой** *(пристально всматриваясь в их лица).* У вас есть вопросы ко мне?

**1-й студент.** Один вопрос.

**Толстой.** А у вас?

**2-й студент.** Тот же самый. У нас у всех к вам только один вопрос, Лев Николаевич, у нас, у всей революционной молодежи России, — другого вопроса нет: почему вы не с нами?

**Толстой** *(очень спокойно).* Думаю, я очень ясно объяснил это в книгах и в некоторых письмах, доступных общественности. Я не знаю, читали ли вы мои книги?

**1-й студент** *(взволнованно).* Читали ли мы ваши книги, Лев Николаевич? Странно, что вы нас об этом спрашиваете. Читать — это не то слово. С самых детских лет мы жили вашими книгами, а едва повзрослели, ваши книги пробудили наши сердца. Никто иной, именно вы научили нас видеть несправедливость распределения материальных благ между людьми — ваши книги, именно они оторвали наши сердца от государства, церкви, царя, который поощрял бесправие, а не

защищал людей от него. Вы, именно вы побудили нас жизнь отдать делу уничтожения несправедливости на земле.

Толстой (*хочет прервать и говорит*). Но не силой...

1 - й студент (*не сдерживаясь, перебивает*). С тех пор как мы научились русскому языку, нет у нас человека более близкого, чем вы. Когда мы спрашивали, кто покончит с этим бесправием, то отвечали: Он! Когда мы спрашивали, кто уничтожит эту низость, мы отвечали: Он сделает это, Лев Толстой. Мы были вашими учениками, вашими слугами, вашими рабами, и наверно, я готов был тогда умереть по малейшему вашему знаку, и если бы несколько лет назад я решился вступить в этот дом, то пал бы ниц перед вами, как перед святым. Вот кем всего несколько лет назад были вы для нас, Лев Николаевич, для сотен тысяч, для всей русской молодежи — и мне, всем нам бесконечно горько, что с тех пор вы отдалились от нас, едва ли не стали нашим противником.

Толстой (*мягче*). И что, полагаете, должен я сделать, чтобы остаться близким вам?

1 - й студент. Я не настолько самонадеян, чтобы поучать вас. Вы сами знаете, что отдалились от нас, от всей русской молодежи.

2 - й студент. Что ж, почему б и не сказать, что думаем, ведь наше дело слишком серьезно, чтобы обмениваться одними любезностями. Откройте, наконец, глаза, не будьте безразличны к чудовищным преступлениям правительства, творящего беззакония. Встаньте, наконец, из-за письменного стола и открыто, безоговорочно перейдите на сторону революции. Вы знаете, Лев Николаевич, с какой жестокостью подавляется наше движение, людей, гниющих по тюрьмам, теперь больше, чем листьев в вашем саду. А вы, вы смотрите на все это, пишете, вероятно, так говорят, время от времени в английскую газету какую-нибудь статью о святости человеческой жизни. Но сами-то вы знаете, что слова против этого кровавого террора уже не помогают, знаете так же хорошо, как и мы, что теперь нужна только революция, только полный переворот, и ваше слово может дать этой революции целые

армии. Вы сделали нас революционерами, а теперь, когда час настал, плод созрел, деликатно отворачиваетесь и тем самым оправдываете силу!

**Толстой.** Я никогда не оправдывал насилие, никогда! Вот уже тридцать лет как оставил я свою работу только для того, чтобы бороться с преступлениями всех власть имущих. Вот уже тридцать лет — вас еще на свете не было — я требую более решительно, чем вы теперь, не только улучшений, но совершенно нового порядка в социальных отношениях.

**2-й студент (прерывая).** Ну и? Что дало вам это, что дали нам эти тридцать лет? Плети духоборцам, передавшим ваше послание, и шесть пуль в грудь. Что улучшилось в России под воздействием ваших кротких увещаний, под воздействием ваших книг и брошюр? Неужели вам не ясно, что, внушая народу смирение и терпение, вселяя в него надежды на пришествие Христа, вы помогаете притеснителям? Нет, Лев Николаевич, бесполезно призывать к любви этих заносчивых людей. Они, эти царские холопы, и рубля не вытащат из кармана Христа ради, пяди земли не уступят, пока мы не схватим их за глотку. Более чем достаточно ждал народ их братской любви. Мы не намерены ждать еще, пробил час для дела.

**Толстой (волнуясь).** Я знаю, в своих прокламациях вы называете это даже «святым делом», святым делом — «возбуждать ненависть». Но я не знаю ненависти, я не хочу знать ее, даже ненависти к тем, кто виноват перед нашим народом. Ибо свершающий зло более несчастен в своей душе, чем страдающий от зла, — я жалею его, ненавидеть же не могу.

**1-й студент (гневно).** А я ненавижу всех, кто творит несправедливость, — ненавижу каждого из них беспощадно, как кровавых извергов. Нет, Лев Николаевич, никогда не научите вы меня жалости к этим преступникам.

**Толстой.** И преступник — мой брат.

**1-й студент.** И даже будь он моим братом, сыном моей матери, его, виновного в страданиях человечества, я убил бы как бешеную собаку. Нет никакой жалости к тем, кто безжа-

лостен! И покоя на русской земле не будет, пока трупы царя и его приближенных не лягут в нее; ни человеческого, ни нравственного порядка не будет, пока мы не победим их.

**Т о л с т о й.** Насилием не добиться никакого нравственного порядка, так как любое насилие неизбежно порождает опять насилие. Едва захватив оружие, вы тотчас же создадите новую деспотию. Не разрушите вы ее, а укрепите на вечные времена.

**1 - й студент.** Но против насилия иного средства, кроме разрушения его, нет.

**Т о л с т о й.** Допустим; но никогда нельзя применять средство, которое ты осуждаешь. Истинная сила, поверьте мне, отвечает на насилие не насилием, она делает его своей мягкостью беспомощным. В Евангелии сказано...

**2 - й студент (перебивая).** Ах, оставьте Евангелие. Попы, словно водкой, давно одурманивают им народ. Вот уже две тысячи лет — и еще никому это не помогало, иначе мир не был бы залит кровью, не страдал бы непереносимо. Нет, Лев Николаевич, библейскими изречениями не перебросить мосты через пропасть между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между господами и рабами: слишком много горя разделяет их. Сотни, нет, тысячи верящих в правду, готовых помочь близким людям томятся в тюрьмах и на каторжных работах в Сибири, завтра их будут тысячи, десятки тысяч. И я спрашиваю вас, должны ли миллионы всех этих ни в чем не повинных людей продолжать страдать ради горстки виновных?

**Т о л с т о й (сосредоточенно).** Пусть лучше страдают они, чем вновь прольется кровь; в страданиях невинных — добро, эти страдания могут убить несправедливость.

**2 - й студент (крайне возбужденно).** Добром называете вы бесконечные, тысячелетие длящиеся страдания русского народа? Пройдите по тюрьмам, Лев Николаевич, спросите тех, спины которых исполосованы нагайками, тех, кто голодает в наших городах и деревнях, действительно ли добром является страдание.

**Т о л с т о й (гневно).** Конечно, оно лучше, чем ваше насилие. Неужели вы действительно считаете, что с вашими бом-



бами и револьверами на этой земле можно окончательно искоренить зло? Нет, тогда в вас самих коренится Зло, и, повторяю вам, несравненно лучше страдать за убеждения, чем убивать за них.

1 - й студент *(тоже гневно)*. Ну, если уж так хорошо и полезно страдать, Лев Николаевич, так почему же вы сами не страдаете? Почему вы всегда превозносите мученичество других, а сами сидите в собственном теплом доме, еду подают вам на серебре, а ваши мужики — я видел это — ходят в лаптях и, полуголодные, мерзнут в холодных избах? Почему духоборцев секли кнутами и мучили из-за вашего учения, а не вас? Почему не бросите, наконец, этот графский дом, не пойдете на дорогу в мороз, в пронизывающий ветер, в дождь, чтобы познать якобы восхитительную нужду? Почему вы все время только говорите, вместо того чтобы самому поступать, как предписывает ваше учение, почему не подадите наконец-то своим поведением пример?

Толстой *(отшатнулся. Секретарь подбегает к студенту и хочет сердито одернуть его, но Толстой уже взял себя в руки и мягко отстраняет секретаря)*. Перестаньте! Вопрос, обращенный этим юношей к моей совести, был правильно... был правильным, отличным, действительно нужным вопросом. Я постараюсь искренне ответить на него. *(Делает небольшой шаг к студентам, медлит, едва сдерживает себя, голос у него хриплый.)* Вы спрашиваете, почему я сообразно с моим учением и моими словами не беру на себя страдания? Отвечаю вам на это с величайшим стыдом: потому, что до сих пор я уклонялся от выполнения самого святого моего долга, потому... потому, что... слишком труслив я, слишком слаб или слишком неискренен, потому, что я низкий, ничтожный, грешный человек... потому, что Бог до сегодняшнего дня не дал мне сил свершить то, что следует сделать безотлагательно. Ужасное говорите вы моей совести, юноша, незнакомый мне человек. Я знаю, что не сделал и тысячной доли того, что требуется сделать, со стыдом признаю, что уже давно должен был покинуть роскошь этого дома, бросить жалкий образ жиз-

ни, который, чувствую, греховен, мне давно следует именно так, как вы сказали, странником пойти на дорогу, и нет у меня иного ответа, как то, что я до глубины души стыжусь и угнетен своей низостью. (*Студенты отступили на шаг и, пораженные, молчат. Пауза. Толстой продолжает еще более тихим голосом.*) Но возможно... возможно, страдаю я все же... возможно, страдаю я как раз потому, что не могу быть сильным и достаточно честным для того, чтобы выполнить свое слово перед человечеством. Возможно, страдания моей совести именно потому более ужасны, более мучительны, что Бог именно этот крест приуготовил мне, пребывание в этом доме сделал более мучительным, чем нахождение в тюрьме с кандалами на ногах... Но вы правы, эти страдания другим пользы не приносят, ведь испытываю их только я один, да и к тому же еще чванюсь этими страданиями, горжусь ими.

**1 - й студент (пристыженный).** Прошу прощения, Лев Николаевич, если в пылу спора перешел на личности.

**Т о л с т о й.** Нет, нет, напротив, я благодарен вам! Тот, кто будит нашу совесть, даже кулаками, делает нам добро. (*Молчание. Толстой продолжает спокойно.*) Есть у вас еще вопросы ко мне?

**1 - й студент.** Нет, это был единственный вопрос. Какое несчастье для России и всего человечества, что вы отказываете нам в помощи. Никому, кроме вас, не предотвратить этого переворота, этой революции, и я чувствую, она будет ужасной, несравненно более ужасной, чем те, которые когда-либо свершались на земле. Люди, которым определено ее совершить, будут людьми твердыми, людьми без милосердия. А если бы вы возглавили нас, то ваш пример вдохновил бы миллионы и жертв было бы меньше.

**Т о л с т о й.** Но если б я оказался повинен в смерти одного лишь человека, я никогда не смог бы оправдаться перед своей совестью.

Раздаются удары домашнего гонга.

**Секретарь (Толстому, пытаясь закончить разговор).** Приглашают к обеду.

Толстой (с горечью). Да, есть, болтать, есть, спать, отдыхать, болтать — так проводим мы нашу праздную жизнь, а другие тем временем работают и служат этим Богу. (Он вновь поворачивается к молодым людям.)

2-й студент. Значит, ничего, кроме вашего отказа, мы нашим друзьям не принесем? И вы не скажете нам ни слова ободрения?

Толстой (внимательно всматриваясь в него, подумав). Скажите от моего имени вашим товарищам следующее: я люблю и уважаю вас, молодые люди России, за то, что вы так сильно страдаете вашим братьям и готовы отдать свою жизнь, чтобы облегчить их жизнь. (Его голос становится суровым, резким и сильным.) Но я не могу следовать за вами и отказываюсь быть с вами, потому что вы отрицаете братскую, человеческую любовь ко всем людям мира.

Студенты молчат. Затем 2-й студент решительно выступает вперед и говорит резко.

2-й студент. Мы благодарны за то, что вы приняли нас, благодарны за вашу откровенность. Я никогда, верно, не встречусь с вами больше — так разрешите мне, маленькому, неизвестному человеку, сказать на прощание откровенные слова. Вы заблуждаетесь, Лев Николаевич, думая, что отношения между людьми могут улучшиться сами через любовь, может быть, это и справедливо для богатых. Но голодающие с детства, всю жизнь томящиеся под властью своих господ, устали ждать, пока с христианского неба снизойдет на них эта самая братская любовь, они более верят своим кулакам. И на пороге вашей смерти скажу вам, Лев Николаевич, так: мир еще захлебнется в крови, не только господа, но и дети их также будут перебиты, разорваны на куски для того, чтобы и от них земля не могла более ожидать зла. Пусть вас мйнет судьба увидеть своими глазами плоды вашего заблуждения, я желаю вам это от всего сердца. Пусть Бог ниспошлет вам спокойную смерть!

Толстой отшатывается, он испуган резкостью пылкого юноши. Затем берет себя в руки, подходит к нему и говорит очень спокойно.

Толстой. Благодарю вас, особенно за ваши последние слова. Вы пожелали мне то, о чем я вот уже тридцать лет с тоской грежу — смерть в мире с Богом и всеми людьми. *(Оба студента кланяются и уходят; Толстой долго смотрит им вслед, затем начинает возбужденно ходить взад и вперед, говорит восторженно секретарю.)* Что за удивительные юноши, как смелы, как горды и сильны эти молодые люди России! Как великолепно эта верящая, пылкая молодость! Такими я знал их под Севастополем, шестьдесят лет назад; именно с таким свободным и дерзким взором шли они на смерть, на любое опасное дело — упрямо готовые с улыбкой умереть за какой-нибудь пустяк, отдать свою жизнь, юную, удивительную жизнь за полый орех, за пустые слова, за ложную идею, из одной лишь увлеченности. Удивительна эта вечная русская юность! И служит она ненависти и убийству, как святому делу, со всем жаром своим, всеми своими силами! И все же они сделали мне добро, эти юноши, они действительно правы, мне надо наконец собраться с духом, освободиться от слабости, стать хозяином своего слова! В двух шагах от могилы, а все медлю! Действительно, истине можно учиться только у юности, только у юности!

Дверь распахивается, в комнату, подобно резкому сквозняку, врывается возбужденная, раздраженная графиня. Движения ее неуверенные, глаза беспокойно перебегают с предмета на предмет. Чувствуется, что, говоря, она думает о другом и сдает ее какое-то внутреннее беспокойство. Она намеренно смотрит мимо секретаря, он для нее — пустое место, и говорит, обращаясь только к мужу. За ней быстро входит Саша, ее дочь, создается впечатление, что следует она за матерью, оберегая ее.

Графиня. Бил гонг к обеду, вот уж полчаса внизу ждет редактор «Daily Telegraph» по поводу твоей статьи против смертной казни, а ты заставляешь его ждать из-за этих студентов. Что за бестактный, бесцеремонный народ! Внизу, когда слуга спросил их, приглашал ли их к себе граф, один ответил: «Нет, нас никакой граф не приглашал, Лев Толстой пригласил нас». И ты разговариваешь с такими самонадеянными молокососами, с мальчишками, которые хотят такой же не-

разберихи в мире, что в их головах! (*Беспокойно осматривает комнату.*) Какой здесь беспорядок, книги на полу, пыль кругом, действительно стыдно, если войдет порядочный человек. (*Подходит к креслу, трогает его.*) Совершенно порвана клеенка, просто срам, нет, невозможно смотреть на это. К счастью, завтра здесь будет обойщик из Тулы, он сразу займется этим креслом. (*Никто ей не отвечает, она беспокойно осматривается.*) Пойдем, пожалуйста! Нельзя так долго заставлять его ждать.

Т о л с т о й (*бледный, очень взволнованно*). Я сейчас приду, мне тут надо... кое-что сделать... Саша поможет мне. Займи, пожалуйста, гостя, извинись за меня перед ним, я очень скоро приду.

Г р а ф и н я уходит, окинув комнату подозрительным взглядом. Едва она выходит, Толстой бросается к двери и быстро закрывает ее на ключ.

С а ш а (*испуганная его порывистостью*). Что с тобой?

Т о л с т о й (*в чрезвычайном возбуждении, прижав руку к груди, запинаясь*). Обойщик завтра... Слава Богу, еще есть время... Слава Богу.

С а ш а. Что случилось?

Т о л с т о й (*взволнованно*). Нож, скорее нож или ножницы...

Удивленный секретарь берет с письменного стола ножницы для бумаги и передает их ему. Толстой с нервной поспешностью, время от времени боязливо поглядывая на дверь, начинает расширять рваный участок обшивки кресла, затем беспокойно шарит руками в конском волосе набивки и, наконец, вытаскивает опечатанный конверт.

Т о л с т о й. Вот — не правда ли?.. просто смешно... смешно и невероятно, прямо как в скверном французском бульварном романе... стыд и срам... Я, находясь в здравом уме, должен на восемьдесят третьем году жизни, в собственном доме прятать самые важные для меня бумаги, потому что в моей комнате все что-то ищут, потому что за мной всегда кто-то шпионит, каждое мое слово подслушивают, каждую тайну выслеживают. Какой стыд, какой ад для меня в этом доме, какая ложь кругом! (*Немного успокоившись, вскрывает конверт и читает письмо; Саше.*) Тринадцать лет назад я написал это пись-

мо, тогда, когда должен был уйти от твоей матери и из этого адского дома. Это было прощание с ней, прощание, на которое у меня тогда недостало мужества. *(Письмо шуршит в его дрожащих руках, он читает вполголоса, для себя.)* «...Но нельзя далее продолжать жизнь, которую я веду уже шестнадцать лет, жизнь, в которой, воюя против вас, я озлобляю вас. Поэтому я решил поступить так, как должен был бы поступить давно, уйду из дома... Если бы я сделал это открыто, то мы наговорили бы друг другу много обидных слов. Я, вероятно, не выдержал бы и отказался от выполнения задуманного, хотя отказываться от этого мне не следовало бы. Простите меня, прошу вас, если мой шаг причинит вам боль, и особенно ты, Соня, отпусти меня добровольно из своего сердца, не ищи меня, не обвиняй меня, не осуждай меня». *(Тяжело вздохнув.)* О, тринадцать лет прошло с тех пор, тринадцать лет продолжал я мучиться, и каждое слово этого письма — истинная правда, как тогда, и нынешняя моя жизнь такая же малодушная и плохая. Все еще, все еще не ушел я, все еще жду и жду, и не знаю чего. Всегда я все ясно знал и понимал и всегда поступал неправильно. Всегда был слишком слаб, всегда с ней безволен. Письмо я спрятал здесь, словно гимназист грязную книжонку от учителя. А завещание, в котором я просил ее тогда подарить человечеству право на мои произведения, передал ей в руки только потому, что хотел иметь мир в доме, вопреки миру с моей совестью.

Пауза.

Секретарь. Лев Николаевич, разрешите задать вопрос... Как вы считаете, если бы... если бы Бог призвал вас к себе... было бы исполнено это ваше последнее, настоятельное желание, чтобы семья отказалась от прав на ваши произведения?

Т о л с т о й *(испуганно)*. Само собой разумеется... то есть... *(беспокойно)* нет, не знаю... Как думаешь ты, Саша?

Саша отворачивается и молчит.

Т о л с т о й. Боже мой, я недумал об этом. Или нет — опять,

опять я правдив не до конца — нет, я только хотел не думать об этом, опять я уклонился, как всегда уклоняюсь от любого ясного и прямого решения. *(Он пристально смотрит на секретаря.)* Нет, я знаю, определенно знаю, и жена, и сыновья так же мало будут уважать мою последнюю волю, как сейчас не уважают мою веру и мой духовный долг. Они будут спекулировать моими произведениями, и после моей смерти я окажусь лжецом перед человечеством. *(Он делает решительный жест.)* Но этого не должно быть, этого не может быть. Наконец-то должна появиться ясность. Как сказал сегодня этот студент, этот правдивый, искренний человек? Действий требует мир от меня, предельной честности, ясного, чистого, недвусмысленного решения — это был знак! В восемьдесят три года нельзя более, закрывая глаза, прятаться от смерти, надо смотреть ей в лицо и ответственно принимать решения. Да, хорошо предостерегли меня эти чужие люди: бездеятельность прячет за собой только трусость души. Ясным следует быть и правдивым в восемьдесят три года, когда вот-вот пробьет твой последний час. *(Повернувшись к секретарю и дочери.)* Саша и Владимир Георгиевич, завтра я пишу завещание, в котором ясно, однозначно и бесспорно будет сказано, что все доходы от моих сочинений, все нечистые деньги, деньги, которые можно на них нажать, я дарю всем, всему человечеству — никакого торгашества не должно быть со словом, сказанным или написанным мною всем людям, продиктованным им моей совестью. Приходите завтра утром со вторым свидетелем — мне нельзя более тянуть, смерть в любой момент может остановить мою руку.

С а ш а. Папá, нет, я не хочу тебя отговаривать, но боюсь трудностей, если мама увидит нас здесь вчетвером. Она сразу заподозрит неладное и, возможно, поколеблет в последний момент твою волю.

Т о л с т о й *(подумав)*. Ты права! Нет, в этом доме мне не сделать ничего чистого, ничего правильного, вся жизнь здесь становится ложью. *(Секретарю.)* Будьте завтра в одиннадцать утра в лесу перед Грумонтом у большого дерева, что слева

за ржаным полем. Я выеду верхом на прогулку, и мы встретимся там. Приготовьте все, и, надеюсь, Бог даст мне крепости, я освобожусь, наконец, от последних оков.

Вновь слышны удары обеденного гонга.

**Секретарь.** Но графиня не должна ничего заметить, иначе все пропало.

**Толстой** (*тяжело вздохнув*). Ужасно вечно притворяться, вечно прятаться. Хочешь быть правдивым перед миром, хочешь быть правдивым перед Богом, хочешь быть правдивым перед самим собой и не можешь быть правдивым перед женой и детьми! Нет, так жить невозможно, так жить невозможно!

**Саша** (*испуганно*). Мама!

Секретарь быстро поворачивает ключ в двери, Толстой, чтобы скрыть свое волнение, идет к столу и становится спиной к входящей графине.

**Толстой** (*со стоном*). Ложь в этом доме отравляет меня — ах, если б хоть раз можно было быть правдивым до конца, правдивым хотя бы перед лицом смерти!

**Графиня** (*поспешно входит*). Почему вы не идете? Всегда ты опаздываешь.

**Толстой** (*поворачивается к ней, лицо его почти спокойно, он говорит медленно, с многозначительностью, понятной лишь посвященным*). Да, ты права, я всегда и во всем опаздываю. Но важно только одно, что у человека остается все же время поступить правильно.

## СЦЕНА ВТОРАЯ

Та же комната. Поздняя ночь следующего дня.

**Секретарь.** Вам следовало бы сегодня лечь раньше, Лев Николаевич, вы устали от волнений и длительной поездки верхом.

**Толстой.** Нет, я совсем не устал. Усталым делают человека только колебания и неуверенность. Каждое действие освобождает, даже плохое действие лучше бездействия. (*Ходит по комнате.*) Не знаю, правильно ли я сегодня вел



себя, мне следует спросить у совести. То, что я отдал свои произведения всем, сняло с души тяжелый камень, но, наверно, мне следовало сделать завещание не тайно, а открыто, перед всеми, мужественно и убежденно. Возможно, я сделал недостойно то, что ради правды надо было сделать открыто, но, слава Богу, это уже сделано, еще один шаг в жизни, еще на шаг ближе к смерти. Теперь остается самое тяжелое, последнее: в нужный час забраться в лесную чащу, забраться, как зверь, когда приходит конец; в этом доме моя смерть будет несправедливой, как и жизнь. Мне восемьдесят три года, а все никак, все никак не собраться с силами вырваться из плена земного, и, возможно, я упущу этот нужный час.

**Секретарь.** Кто знает свой час! Знали бы люди его, все было бы хорошо.

**Толстой.** Нет, Владимир Георгиевич, совсем не хорошо было бы это. Слышали вы старую легенду, мужик один рассказал мне, как Христос отнял у человека знание своего смертного часа? Раньше каждый знал, когда умрет, и вот Христос, придя на землю, увидел, что иные мужики не работают на своей земле и живут словно грешники. Он стал упрекать одного в лени, но бедняга ворчал одно: для кого сеять, если до жатвы он не доживет. И понял Христос, что это плохо, когда люди заранее знают о своей смерти, и лишил их этого знания. С тех пор должны мужики ухаживать за своей землей до последнего часа, как будто они будут жить вечно, и это правильно, так как только в работе человек обретает свою частицу вечности. Вот и я хочу сегодня тоже (*он показывает на свой дневник*) обработать свое каждодневное поле.

Слышны энергичные шаги, входит **Графиня**, уже в капоте, бросает сердитый взгляд на секретаря.

**Графиня.** Ах, вот что... я думала, ты наконец один... я хотела поговорить с тобой...

**Секретарь** (*с поклоном*). Я уйду.

**Толстой.** Прощайте, дорогой Владимир Георгиевич.

**Графиня** (*едва за ним закрывается дверь*). Вечно он

возле тебя, словно репейник, висит на тебе... а меня, меня он ненавидит, он хочет отдалить меня от тебя, этот скверный, коварный человек.

**Толстой.** Ты несправедлива к нему, Соня.

**Графиня.** Я не желаю быть справедливой! Он втерся между нами, украл тебя у меня, отдалил тебя от твоих детей. С тех пор как он появился в доме, я уже ничего не значу и ты сам принадлежишь всему миру, только не нам, твоим близким.

**Толстой.** Если б это было так! Ведь Бог хочет, чтобы все принадлежало всем и чтоб человек ничего не оставлял себе и своим.

**Графиня.** Да, но это он внушает тебе, этот вор, похищающий добро у моих детей, я знаю, он настраивает тебя против всех нас. Поэтому я не желаю более терпеть в доме этого подстрекателя, не желаю видеть его.

**Толстой.** Но, Соня, ты же знаешь, он нужен мне для работы.

**Графиня.** Ты найдешь сотню других! *(Отклоняюще.)* Я не выношу его близости. Я не желаю, чтобы этот человек был между мной и тобой.

**Толстой.** Соня, хорошая моя, прошу тебя, не волнуйся. Иди сюда, садись, давай поговорим друг с другом мирно — как в те времена, когда наша совместная жизнь только начиналась. Подумай, Соня, как мало хороших слов остается нам сказать друг другу, как мало хороших дней нам осталось! *(Графиня беспокоится оглядывается и дрожа садится.)* Послушай, Соня, мне нужен этот человек — может быть, только потому, что я слаб в вере, ведь, Соня, я не так силен, как мне хотелось бы. Правда, каждый день убеждает меня в том, что многие тысячи людей во всем мире разделяют мою веру, но пойми, таково наше земное сердце: чтобы сохранить уверенность, ему нужна живая, зримая, осязаемая, осязаемая любовь хотя бы одного человека. Возможно, святые в стародавние времена и могли жить в своих кельях без помощников, не падать духом без сострадающих им, но, видишь ли, Соня,

я-то ведь не святой — я всего лишь очень слабый и уже старый человек. Мне нужно, чтобы возле меня был человек, который разделяет мою веру, ту веру, которая является сейчас самым дорогим, самым ценным в моей старой, одинокой жизни. Конечно, самым большим счастьем для меня было бы, если б ты сама, ты, которую я вот уже сорок восемь лет глубоко почитаю, если б ты разделяла мои религиозные убеждения. Но, Соня, ты никогда не хотела этого. На то, что мне более всего дорого, ты смотришь без любви и, боюсь, даже с ненавистью. (*Графиня делает протестующее движение.*) Нет, Соня, ты должна меня понять, я не упрекаю тебя. Мне в миру ты дала то, что могла дать: много материнской любви, забот. Неизменно доставляя окружающим радость, могла ли ты чем-то пожертвовать ради убеждений, которых ты не принимаешь душой? Как могу я обвинять тебя в том, что ты не разделяешь порывы моей души, — ведь всегда духовная жизнь человека, его сокровенные мысли являются тайной. И вот, смотри, наконец-то в мой дом пришел человек, который сам страдал до этого в Сибири за свои убеждения и разделяет теперь мои, помощник и дорогой мне человек, помогает мне, поддерживает меня в моей внутренней жизни, — почему ты не хочешь оставить его мне?

**Графиня.** Потому что он отдалил тебя от меня, а я не в силах это вынести, не в силах вынести. Это сводит меня с ума, делает меня больной, так как я чувствую, что все, чем вы занимаетесь, все это против меня. И сегодня опять, в полдень я увидела его прячущим какую-то бумагу, и никто из вас не мог смотреть мне в глаза: ни он, ни ты, ни Саша! Все вы что-то скрываете от меня. Да, я знаю, я знаю, вы сделали что-то недоброе мне.

**Толстой.** Я надеюсь, что Бог уберезет меня, стоящего у могилы, от того, чтобы я сознательно сделал кому-нибудь зло.

**Графиня** (*со страстью*). Значит, ты не отрицаешь, что вы сделали тайком... что-то против меня. О, ты же знаешь, что не можешь лгать мне, как другим.

**Толстой** (*сильно вспыхив*). Я лгу другим? И это гово-

ришь мне ты, из-за которой я предстал перед миром лжецом. (*Сдерживая себя.*) Но я надеюсь, что сознательно грех лжи я не совершил. Возможно, мне, старому человеку, не дано все время говорить только правду, но все же, думаю, что лжецом, обманщиком людей я из-за этого не стал.

Графиня. Тогда скажи, что вы сделали, что это было за письмо или бумага... не мучай меня более...

Толстой (*очень мягко, подходя к ней*). Софья Андреевна, не я мучаю тебя, ты сама мучишь себя, потому что больше не любишь. Была бы у тебя любовь ко мне, было бы и доверие ко мне — доверие даже тогда, когда уже не понимаешь меня. Софья Андреевна, я прошу тебя, всмотришься в себя: сорок восемь лет живем мы с тобой вместе! Может быть, эти многие годы нашей совместной жизни не прошли бесследно, может быть, у тебя все еще сохранилось немного любви ко мне: теперь возьми, прошу тебя, эти искорки и раздуй огонь, попытайся опять стать такой, какой так долго была для меня, любящей, доверчивой, нежной и преданной; так как иногда, Соня, мне становится страшно, так изменилось твое отношение ко мне.

Графиня (*потрясенная и взволнованная*). Я не знаю, какой я стала. Да, ты прав, уродливой стала я и злой. Но кто смог бы выдержать такое, видеть, как ты терзаешь себя, стараясь быть больше чем человеком — наблюдать это яростное, это греховное стремление жить с Богом. Так как грехом, да, грехом является это — высокомерие, надменность, а не смирение — желание слишком приблизиться к Богу и искать истину, в которой нам отказано. Раньше, раньше все было хорошо и ясно, мы жили как все другие люди, честно и чисто, у нас была своя работа, было свое счастье, дети росли и наступающая старость не пугала нас. И внезапно, тридцать лет назад, поражает тебя это ужасное ослепление, эта вера, которая делает несчастным и тебя, и всех нас. И как мне быть, если я и сейчас не понимаю, какой смысл в том, что ты топишь печь, и носишь воду в дом, и шьешь скверные сапоги, ты, которого мир любит как великого писателя. Нет, у меня никак не укла-

дывается в голове, почему наша ясная жизнь, трудолюбивая и экономная, тихая и простая, почему она внезапно стала грехом перед другими людьми. Нет, не могу я это понять, не могу, не могу.

**Толстой** (*очень мягко*). Видишь ли, Соня, как раз это я и говорил тебе: там, где мы не понимаем, именно там должны мы силой любви доверять. Это справедливо и в отношениях с людьми, и в отношениях с Богом. Неужели ты думаешь, я приписываю себе знание конечной правды? Нет, я верю лишь тому, что то, что так честно и истово делается, из-за чего так жестоко страдают, то не может совсем не иметь смысла и значения перед Богом. Так попытайся и ты, Соня, немного поверить мне в том, что ты уже более не понимаешь, доверься, по крайней мере, моей воле к правде, и все, и все станет сразу хорошо.

**Графиня** (*беспокойно*). Но ты скажешь мне тогда все... ты расскажешь мне все, что вы сегодня делали?

**Толстой** (*очень спокойно*). Все расскажу, ничего не хочу более скрывать и делать тайно в те немногие дни, что осталось мне прожить. Я жду лишь, когда Сережа и Андрей вернутся, тогда я всем вам откровенно скажу, к какому решению пришел в эти дни. А пока оставь свои подозрения, не шпионь за мной — это моя единственная просьба, Софья Андреевна, выполнишь ли ты ее?

**Графиня**. Да... да... непременно... непременно...

**Толстой**. Благодарю тебя. Смотри, как все хорошо, если быть откровенным и верить. Как хорошо, что мы говорим мирно и дружелюбно. Ты опять согрела мне сердце. Послушай, когда ты вошла в комнату, на твоём лице лежала тень подозрения, своим беспокойством и ненавистью оно было мне чужим, я не узнал тебя, такой ты никогда прежде не была. А теперь лицо твоё просветлело, я опять узнаю твои глаза, Софья Андреевна, они стали девичьими, как прежде, добрыми, расположенными ко мне. Иди, отдохни, любимая, уже поздно! Благодарю тебя от всего сердца.

Он целует ее в лоб, графиня уходит, у двери она еще раз взволнованно оборачивается.

**Графиня.** Но ты мне все скажешь? Все?

**Толстой** (*все еще совершенно спокойный*). Все, Соня. А ты помни свое обещание.

Графиня медленно уходит, бросив беспокойный взгляд на письменный стол. Толстой ходит по комнате, затем садится к письменному столу, пишет несколько слов в дневник. Встает, ходит взад и вперед, вновь подходит к столу, задумчиво листает дневник, вполголоса читает написанное.

**Толстой.** «Я стараюсь быть как можно более спокойным и твердым по отношению к Софье Андреевне и думаю, что мне более или менее удалось успокоить ее... Сегодня я впервые увидел возможность добротой и любовью добиться от нее уступок... Ах, если бы...»

Он кладет дневник, тяжело вздыхает, переходит в соседнюю комнату и зажигает там свет. Затем возвращается вновь, с трудом стягивает с себя тяжелые мужицкие сапоги, снимает блузу. Гасит свет и идет в широких штанах и рабочей рубашке в смежную комнату, свою спальню. Некоторое время в комнате тихо и совершенно темно. Никого на сцене нет. Глубокая тишина. Медленно, тихо-тихо открывается дверь в кабинет. Кто-то идет босиком по совершенно темной комнате, в руке потайной фонарик, бросающий узкий луч света на пол. Это графиня. Она боязливо оглядывается, прислушивается у двери в спальню, затем, по-видимому успокоившись, крадется к письменному столу. Графиня (видны лишь ее дрожащие руки) сначала хватается отложенную рукопись, волнуясь, начинает читать дневник, затем осторожно вынимает из ящика письменного стола одну за другой бумаги, все поспешнее роется в них, не находя нужной. Наконец, судорожным движением вновь берет фонарик и бредет обратно. Едва она закрывает за собой дверь, Толстой распахивает дверь своей спальни. В руке у него свеча, она дрожит, так сильно возбужден старый человек: он наблюдал за женой. Сначала он пытается ринуться за ней вдогонку, уже берется за ручку двери, но внезапно заставляет себя повернуться, сдержанно и решительно ставит свечу на письменный стол, идет к двери комнаты, расположенной рядом с его спальней, тихо и осторожно стучит в нее.

**Толстой** (*тихо*). Душан... Душан...

**Голос Душана** (*из соседней комнаты*). Это вы, Лев Николаевич?

**Толстой.** Тише, тише, Душан! И выходи скорее...

Душан выходит из соседней комнаты, он тоже полуодет.

**Толстой.** Разбуди дочь, Александру Львовну, пусть сразу же приходит сюда. Потом беги на конюшню и прикажи Григорию запрячь лошадей, пусть делает он это тихо, чтобы

никто в доме не заметил. И сам не шуми. Не надевай ботинки, последи, чтобы двери не скрипели. Мы уезжаем немедленно — нельзя терять ни минуты.

Душан быстро уходит. Толстой садится, решительно натягивает сапоги, берет свою блузу, поспешно надевает ее, ищет какие-то бумаги и торопливо собирает их. Его движения энергичны, но порой лихорадочны. Даже теперь, когда он у письменного стола набрасывает несколько слов на листе бумаги, плечи его судорожно подергиваются.

С а ш а (*бесшумно входит*). Что случилось, папá?

Т о л с т о й. Я уезжаю, бегу... наконец... наконец-то это решено. Час назад она клялась доверять мне во всем, а сейчас, в три часа ночи, тайком пробралась в мою комнату, чтобы рыться в бумагах... Но это хорошо, это очень хорошо... не ее воля была это, это была воля другого. Как часто молил я Бога, пусть подаст мне знак, что время пришло, — и вот знак дан, и теперь я имею право оставить ту, которая покинула мою душу.

С а ш а. Но куда хочешь ты, папá?

Т о л с т о й. Не знаю, не хочу знать... Куда-нибудь, только прочь от неправдивости этой жизни... куда-нибудь... Есть много дорог на земле, и где-то ждет уже охапка соломы или постель, на которой старый человек сможет спокойно умереть.

С а ш а. Я поеду с тобой.

Т о л с т о й. Нет. Ты должна пока остаться, успокоить ее... ведь она потеряет голову... о, как будет она страдать, бедная!.. И виновник этих страданий — я... Но я не могу по-другому, я не могу более, иначе я задохнусь здесь. Ты останешься здесь, пока не приедут Андрей и Сережа. Только тогда поедешь вслед за мной, сначала поеду в Шамардино, в монастырь, чтобы попрощаться с сестрой, так как чувствую, пришло время прощаний.

Торопливо возвращается Душан.

Д у ш а н. Лошади запряжены.

Т о л с т о й. Теперь собирайся сам, Душан, захвати с собой эти бумаги...

С а ш а. Но, папá, ты должен взять шубу, ночью очень холодно. Я сейчас быстро соберу тебе теплую одежду...

Т о л с т о й. Нет, нет, ничего больше не нужно. Боже мой, нам нельзя медлить... я не желаю больше ждать... двадцать шесть лет жду я этого часа, этого знака... быстрее, Душан... нас может кто-нибудь задержать, помешать нам. Вот бумаги, возьми их, дневник, карандаш...

С а ш а. А деньги? Я сейчас принесу...

Т о л с т о й. Нет, никаких денег! Я не хочу более касаться их. Меня знают на вокзале, мне дадут билет, а потом поможет Бог. Душан, быстрее, идем. (*Саше.*) Слушай, передай ей это письмо: это мое прощание, да простит мне она его! И напиши мне, как она перенесла мой отъезд.

С а ш а. Но, папá, как же писать тебе? Едва я назову на почте твое имя, они сразу же узнают, где ты находишься, и помчатся за тобой. Тебе надо взять какое-нибудь другое имя.

Т о л с т о й. Ах, вечно лгать! Вечно лгать, вечно унижать свою душу всякими тайнами... но ты права... Пойдем же, Душан!.. Как хочешь, Саша... Это только к добру... так как же мне называться?

С а ш а (*задумываясь на мгновение*). Все депеши я буду подписывать фамилией Фролова, а тебя буду называть Т. Николаевым.

Т о л с т о й (*в лихорадочной спешке*). Т. Николаев... хорошо, хорошо... Ну, будь здорова (*обнимает ее*). Т. Николаев, говоришь, так должен я называться. Еще одна ложь, еще одна! Ну, Бог даст, это будет последней моей неправдой перед людьми.

Торопливо уходит.

## СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Через три дня (31 октября 1910 г.). Зал ожидания вокзала на станции Астапово. Справа большая застекленная дверь ведет на перрон, слева дверь поменьше — в квартиру начальника станции, Ивана Ивановича Озолина. На деревянных скамьях у стен и вокруг стола сидят пассажиры, ожидающие скорого поезда из Данкова: бабы в платках спят, мелкие торговцы в тулупах,



несколько человек из городских, чиновники, купцы.

1 - й п а с с а ж и р (*читает газету, внезапно произносит громко*). Это он отлично проделал! Замечательную штуку выкинул, старик! Никто от него такого не ожидал уже.

2 - й п а с с а ж и р. Что случилось?

1 - й п а с с а ж и р. Удрал он из своего дома, Лев Николаевич, и никто не знает куда. Ночью собрался, натянул сапоги, надел шубу и так вот, ничего не взяв с собой, ни с кем не попрощавшись, уехал со своим доктором, Душаном Петровичем.

2 - й п а с с а ж и р. А старуху оставил дома? Не шутка для Софьи Андреевны. Ему, должно быть, сейчас восемьдесят три. Кто бы мог подумать о нем такое, и куда, говоришь ты, он поехал?

1 - й п а с с а ж и р. Это хотели бы знать и его домашние, и газетчики. Теперь они телеграфируют во все концы. Один будто видел его на болгарской границе, а другие говорят о Сибири. Но никто не знает правды. Здорово обделал он это дельце, старик!

3 - й п а с с а ж и р (молодой студент). Как говорите вы? Лев Толстой уехал из дома? Дайте, пожалуйста, газету, я сам прочту. (*Просматривает газету.*) Это хорошо, очень хорошо, наконец-то он решился.

1 - й п а с с а ж и р. А чего здесь хорошего?

3 - й п а с с а ж и р. Потому что стыдно стало ему жить вопреки своим убеждениям. Долго принуждали они его корчить графа, лестью душили его голос. Наконец-то сможет теперь Лев Толстой говорить с людьми свободно, от всего сердца, и, Бог даст, мир узнает от него, что происходит здесь в России с народом. Да, это хорошо, счастье для России, что этот святой человек наконец-то спас себя.

2 - й п а с с а ж и р. А возможно, все, что болтают здесь, и неправда, возможно... (*оглядывается, не подслушивает ли его кто-нибудь, и шепчет*), возможно, они просто так подстроили с газетами, чтобы сбить всех с толку, а на самом деле арестовали его и выслали...

1 - й п а с с а ж и р. А кому надо убирать Льва Толстого?..

2 - й п а с с а ж и р. Им... всем тем, кому он встал поперек дороги, всем им, и синоду, и полиции, и военным, все они боятся его. Такое случалось. Некоторые исчезали именно так — за границу, говорили потом. Но мы-то знаем, что эта «заграница» означает...

1 - й п а с с а ж и р (*тоже тихо*). Может быть, может быть...

3 - й п а с с а ж и р. Нет, на это они не решатся. Он одним своим словом сильнее их всех, нет, на это они не решатся, ведь они знают, мы своими кулаками выручим его.

1 - й п а с с а ж и р (*торопливо*). Осторожно... остерегайтесь... Идет Кирилл Григорьевич... уברי-ка газету...

Через застекленную дверь, ведущую на перрон, входит полицеймейстер Кирилл Григорьевич, он в мундире. Пересекает сцену, подходит к двери, ведущей в квартиру начальника станции, и стучит.

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и (*Иван Иванович Озолин, выходя в форменной фуражке*). Ах, это вы, Кирилл Григорьевич...

П о л и ц е й м е й с т е р. Мне нужно безотлагательно переговорить с вами. Ваша супруга в комнате?

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и. Да.

П о л и ц е й м е й с т е р. Тогда лучше здесь. (*К проезжающим, резким начальственным тоном.*) Скорый поезд из Данкова сейчас подойдет; освободите зал ожидания, выходите на перрон. (*Все встают и поспешно выходят. Полицеймейстер обращается к начальнику станции.*) Только что получены важные шифрованные телеграммы. Установлено, что Лев Толстой позавчера приехал к своей сестре в Шамардино, в монастырь. Есть основания полагать, что он оттуда собирается ехать дальше, и теперь все поезда из Шамардина в любом направлении находятся под наблюдением полицейских агентов.

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и. Но объясните мне, батюшка Кирилл Григорьевич, почему, собственно? Он не смутьян какой-нибудь, Лев Толстой, он наша гордость, сокровище нашей земли, этот великий человек.

П о л и ц е й м е й с т е р. Однако вносит больше беспокойств

ва, представляет большую опасность, чем целая шайка революционеров. Впрочем, меня заботит одно, мне дано указание проверять каждый поезд. Но в Москве желают, чтобы наш надзор был негласным. Прошу вас, Иван Иванович, пройти на перрон вместо меня, меня каждый узнает по мундиру. Как только поезд подойдет, из него выйдет агент тайной полиции и сообщит вам свои наблюдения на участке. А я тотчас же передам их далее по инстанции.

**Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и.** Будет исполнено.

Слышен шум приближающегося поезда.

**П о л и ц е й м е й с т е р.** Разговаривайте с агентом, как со старым знакомым, по возможности не привлекайте внимания пассажиров. Они ничего не должны заметить, надзор-то негласный. Если нам повезет, мы с вами, пожалуй, и крестики получим, ведь каждое донесение идет в Петербург, в самых верхах читать будут.

С грохотом подходит поезд. Начальник станции быстро выходит на перрон. Через некоторое время через застекленную дверь в зал ожидания входят пассажиры, мужики и бабы с тяжелыми узлами и корзинами, громко переговариваются. Некоторые остаются в зале ожидания отдохнуть или перекусить.

**Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и** *(неожиданно появляется в дверях. Возбужденно кричит находящимся в зале ожидания).* Немедленно очистить помещение! Все! Немедленно!

**Л ю д и** *(недоумевая, недовольные).* Почему? Мы заплатили... почему нельзя оставаться в зале?.. Мы ждем пассажирский поезд...

**Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и** *(кричит).* Немедленно, говорю я, немедленно все вон. *(Он торопливо вытесняет замешкавшихся, возвращается к застекленной двери, широко распахивает ее.)* Сюда, пожалуйста, сюда!

Входит Толстой. Его ведут под руки (слева — дочь Саша, справа — Душан); идет он медленно, с трудом. Воротник шубы поднят, вокруг шеи шаль, и все же видно, что все его укутанное тело мерзнет, он дрожит от холода.

За ним теснятся пять-шесть человек.

Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и  (к теснящимся сзади). Не входите!

Г о л о с а. Но позвольте... мы хотели бы быть полезны Льву Николаевичу... может быть, чай, немного коньяку...

Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и  (крайне возбужден). Никого не должно быть здесь. (Он силой оттесняет их назад и запирает застекленную дверь; но все время в стекла двери видны проходящие, иные с любопытством смотрят в зал ожидания.) Не желаете ли, ваше сиятельство, немного отдохнуть? Присядьте, пожалуйста.

Т о л с т о й. Не ваше сиятельство... Слава Богу, уже не сиятельство... и никогда более, до конца. (Возбужденно оглядывается, замечает людей за стеклами двери.) Прочь... прочь этих людей, хочу остаться один... всегда вокруг люди... хоть наконец-то остаться одному...

С а ш а спешит к двери и торопливо завешивает ее своим пальто.

Д у ш а н (тихо, начальнику станции). Надо сразу же уложить его в постель, в поезде у него неожиданно начался приступ лихорадки, думаю, у него сейчас температура за сорок, ему очень плохо. Есть здесь поблизости гостиница с двумя приличными комнатами?

Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и. Нет, ничего здесь нет. В Астапове нет гостиницы.

Д у ш а н. Но ему нужно немедленно в постель. Вы видите, как его лихорадит. Это очень опасно.

Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и. Я почел бы, разумеется, за честь предложить Льву Толстому свою комнату, здесь рядом... но, извините меня... она так убога, так проста... служебное помещение, первый этаж, узкая, я не решаюсь пригласить в нее...

Д у ш а н. Это ничего. Мы во что бы то ни стало должны немедленно уложить его в постель. (Толстому, сидящему у стола, охваченному внезапным лихорадочным ознобом.) Господин начальник станции настолько любезен, что предлагает нам свою комнату. Вам надо немедленно лечь и отдох-

нуть. Завтра вы опять будете бодры, и мы сможем продолжить наш путь.

Толстой. Продолжить путь?.. Нет, нет, я думаю, что больше никуда не поеду... Это была моя последняя поездка, я уже у цели.

Душан (ободряюще). Пусть вас не волнует этот легкий приступ лихорадки, этот пустяк не стоит внимания. Вы немного простыли — завтра опять почувствуете себя хорошо.

Толстой. Я уже сейчас чувствую себя хорошо... очень, очень хорошо... Только нынешней ночью, это было ужасно, мне показалось, что они смогут настигнуть меня и отправить обратно в тот ад... и тут я встал и разбудил вас, так сильно меня это взволновало. И все время, пока мы были в пути, не отпускал меня этот лихорадящий страх, прямо зуб на зуб не попадал... Теперь же, когда я попал сюда... Но где я? Никогда я здесь не был... Теперь все разом переменялось... Теперь я не испытываю никакого страха... теперь им меня уж не достать.

Душан. Разумеется, нет, разумеется. Вы сможете отдохнуть, лечь в постель, здесь никто вас не найдет.

Оба помогают Толстому подняться.

Начальник станции (подходя к нему). Я прошу извинить меня... я могу вам предложить только очень простую комнату... мою комнату. И кровать, вероятно, тоже не очень удобная... железная кровать... Но я немедленно распоряжусь, я дам депешу, следующим же поездом сюда доставят другую кровать...

Толстой. Нет, нет, не нужно другую... Долго, слишком долго имел я все самое лучшее! Чем хуже теперь, тем лучше для меня! Как же умирают мужики?.. А ведь умирают тоже, хорошей смертью...

Саша (помогая ему). Пойдем, папá, пойдем, ты устал...

Толстой (продолжая стоять). Не знаю... я устал; ты права, я очень устал, и все же чего-то жду... Это как если ты очень хочешь спать, а спать не можешь, потому что думаешь о чем-то хорошем, что предстоит тебе, и не хочешь во сне

потерять эту мысль... Удивительно, я никогда не чувствовал себя так... может, это уже что-то от смерти... Годы, долгие годы, я-то знаю это, я всегда испытывал страх перед смертью, страх, что не смогу лежать в своей кровати, что буду кричать, как зверь, и прятаться от смерти. А теперь, может, в этой комнате ждет меня смерть. И все равно, без всякого страха иду я ей навстречу.

Саша и Душан подводят его к двери.

Толстой (*у двери, остановившись и заглянув в комнату*). Хорошо здесь, очень хорошо. Маленькая, узкая, низкая, бедная... И мне кажется, что когда-то такое мне уже приснилось, вот такая чужая постель где-то в чужом доме, кровать, на которой кто-то лежит... старый, усталый человек... подожди, как зовут его, я же написал о нем несколько лет назад, как зовут старика?.. Когда-то он был богатым, а потом стал совсем бедным, и никто не знает его, и он прячется на кровати возле печки... Ах, моя голова, глупая моя голова!.. Как зовут его, этого старика?.. Того, который когда-то был богат, а теперь ничего у него не осталось, разве что только рубашка на теле... и вот он умирает, а жены, обижавшей его, нет возле него... Да, да, вспомнил, Корней Васильев, так назвал я его в своем рассказе, этого старика. А ночью, когда он умирает, Бог пробуждает сердце его жены, и она приходит, Марфа, увидеть его еще раз... Но приходит поздно, он уже закоченел на чужой кровати, лежит с закрытыми глазами, и она не знает, сердится ли он еще на нее или простил. Она не знает, Софья Андреевна... (*как бы очнувшись*) нет, Марфой зовут ее... я уже начинаю путаться... Да, мне надо лечь. (*Саша и начальник станции провожают его, Толстой, обращаясь к начальнику станции.*) Спасибо тебе, чужой человек, что ты даешь мне приют в своем доме, что ты даешь мне то, что зверь имеет в лесу... и мне, Корнею Васильеву, Бог послал... (*Внезапно, в сильном страхе.*) Заприте хорошенько двери, никого не пускайте ко мне, я не хочу более людей возле... только одному остаться с Ним, общаться с Ним глубже, лучше, чем когда-либо в жизни...

Саша и Душан ведут его в комнату, начальник станции осторожно закрывает за ними дверь и, удрученный, стоит возле. Сильные удары снаружи в застекленную дверь. Начальник станции открывает ее, быстро входит полицеймейстер.

**Полицеймейстер.** Что сказал он вам? Я должен обо всем немедленно доложить, обо всем! Он что, останется здесь, надолго ль?

**Начальник станции.** Этого не знает ни он сам и никто другой. Это известно лишь одному Богу.

**Полицеймейстер.** Как смогли вы дать ему пристанище в казенном помещении? Это же ваша служебная комната, вход в нее посторонним воспрещен!

**Начальник станции.** Лев Толстой не посторонний моему сердцу. Он ближе мне, чем брат.

**Полицеймейстер.** Но вы обязаны были прежде испросить разрешение...

**Начальник станции.** Я спросил у моей совести.

**Полицеймейстер.** Ну, вы тут поступили на свой страх и риск. Я немедленно докладываю о случившемся... Ужасно, какая громадная ответственность нежданно сваливается на человека! Если б хоть знать, как относятся к Льву Толстому в высших сферах...

**Начальник станции** (*очень спокойно*). Я думаю, в истинно высших сферах о Льве Толстом всегда были хорошего мнения...

Полицеймейстер смотрит на него озадаченно. Душан и Саша выходят из комнаты, осторожно прикрывая за собой дверь. Полицеймейстер быстро уходит.

**Начальник станции.** Как граф?

**Душан.** Он лежит очень тихо — никогда не видел я его лицо таким спокойным. Здесь наконец найдет он то, чего так ему недоставало: покой. Впервые он один на один со своим Богом.

**Начальник станции.** Извините меня, простого человека, но у меня сердце дрожит от страха, я не могу понять. Зачем Бог взвалил на него такие страдания — бежать из дома, скончаться здесь, на моей убогой, жалкой кровати?.. Как мог-

ли люди, русские люди так отнестись к этой святой душе, как могли они так жестоко мучить его, когда его следовало бы благоговейно любить?..

Д у ш а н. Именно те, которые любят великого человека, часто становятся между ним и его долгом, и от тех, кто ближе всех к нему, должен он бежать как можно дальше. Так и случилось. Эта смерть делает святой и совершенной его жизнь.

Н а ч а л ь н и к  с т а н ц и и. Но... но мое сердце не может, не желает понять, почему этот человек, это сокровище нашей русской земли, должен был страдать из-за нас, людей, ведущих бездумное существование. После этого нам остается стыдиться, что мы живем.

Д у ш а н. Не оплакивайте его, милый, хороший человек, другая — приземленная, менее яркая судьба не для его великой души. Не страдал бы он за нас, людей, не было бы никогда того Льва Толстого, каким останется он в памяти человечества.







## ПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН

*Ленин, 9 апреля 1917 года*

### ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ У САПОЖНИКА

**Ш**вейцария, маленький мирный островок, со всех сторон окруженный бушующим океаном мировой войны, в те четыре года — с 1915-го по 1918-й — постоянно была ареной волнующего детективного романа. Послы враждующих государств, год назад заходившие друг к другу в гости, составлявшие дружеские партии в бридж, нынче, встречаясь в роскошных отелях, чопорно проходят, не замечая один другого, как будто никогда не были знакомы. В коридорах занимаемых ими апартаментов непрерывно снуют какие-то странные личности. Делегаты, секретари, атташе, дельцы, дамы под вуалью и дамы без вуали — каждый с таинственным поручением. К отелям подъезжают шикарные автомобили с эмблемами иностранных государств, из машин выходят промышленники, журналисты, артисты и как бы случайно попавшие в страну туристы. Но едва ли не у каждого из них тоже чрезвычайное секретное поручение: что-то узнать, что-то выследить; и портье, ведущий их в номер, и девушка, убирающая комнаты, все они обязаны следить, подсматривать, подслушивать.

Всюду друг против друга работают различные организации: в гостиницах, в пансионатах, на почтамтах, в кафе. И все то, что именуется пропагандой, — наполовину шпионаж, то, что имеет обличие любви, является предательством, и за лю-

бым открытым предприятием каждого из этих вечно спешащих вновь прибывших скрывается на заднем плане какое-то второе и третье предприятие. Обо всем докладывается, все выслеживается; едва немец, какое бы звание он ни имел, какую бы должность ни занимал, появляется в Цюрихе, об этом тотчас же узнают в бернских посольствах стран-противников, а часом позже — в Париже.

Целые тома истинных и вымышленных донесений мелкие и крупные агенты каждодневно переправляют атташе, а те — дальше. Все стены — прозрачны, все телефонные разговоры прослушиваются, по обрывкам брошенных в корзину бумаг, по промокашкам восстанавливается корреспонденция, этот пандемоний оказывается в конце концов безумным настолько, что иной из героев этого детективного романа и сам перестает понимать, кто он — охотник или преследуемый, шпион или жертва шпионажа, предатель или кем-то предан.

Только об одном человеке мало что сообщается в эти дни, может, потому, что он не очень заметен, не посещает фешенебельные отели, не сидит в кафе, не принимает участия в пропагандистских мероприятиях, а замкнуто живет со своей женой у сапожника, занимающегося мелким ремонтом. Сразу же за Лимматом, в Старом городе, на узкой, старинной горбатой Шпигельгассе живет он на втором этаже одного из крепко построенных домов со сводчатыми крышами; время да и маленькая колбасная фабричка, стоящая во дворе, прокоптили этот дом. Соседи у этого человека — булочница, итальянец, актер-австриец. Хозяин и его домочадцы знают о нем лишь то, что он не больно-то разговорчив, да, пожалуй, еще, что он русский с очень трудно выговариваемым именем. То, что он много лет назад бежал из своей страны, что совсем небогат, не занимается никакими доходными делами, хозяйке прекрасно известно по скудной еде постояльцев, по их подержанному гардеробу, по тому, что весь скарб их умещается в небольшой корзине, привезенной ими с собой.

Этот невысокий, коренастый человек крайне незаметен и

живет он очень незаметно. Он избегает людей, редко жильцы дома встречаются с острым, пронзительным взглядом его глаз с косым разрезом, редко бывают у него посетители. Но регулярно, день за днем в девять утра он уходит в библиотеку и сидит там до ее закрытия, до двенадцати. Точно в десять минут первого он уже дома, а через сорок минут покидает дом, чтобы вновь первым быть в библиотеке, и сидит там до шести вечера. А поскольку агенты, охотящиеся за сенсационными новостями, следят лишь за теми, кто много болтает, а поэтому понятия не имеют о том, что замкнутые, необщительные люди как раз и являются наиболее опасными носителями всевозможных революционных идей, то они и не пишут никаких донесений о незаметном человеке, живущем у сапожника.

В социалистических кругах знают, что в Лондоне он был редактором маленькой радикальной русской газетки эмигрантов, а в Петербурге его считают руководителем некой особой партии, название которой и не выговорить; но поскольку он резко и пренебрежительно высказывается о самых уважаемых членах социалистических партий и считает их методы неправильными, поскольку он ведет себя недоступно и непримиримо, его оставили в покое. На встречи, которые он иногда по вечерам устраивает в маленьком кафе рабочих, является не более пятнадцати—двадцати человек, в основном молодежь, поэтому и терпят здесь этого чудака, как всех этих русских эмигрантов, подогревающих свои головы невероятным количеством горячего чая и многочасовыми горячими спорами.

Никто, однако, не принимает этого невысокого лобастого человека всерьез, и в Цюрихе не найти и трех десятков человек, которые считали бы для себя важным запомнить имя этого Владимира Ильича Ульянова, человека, живущего у сапожника. И если бы тогда один из тех шикарных автомобилей, которые на больших скоростях носятся по городу от посольства к посольству, при несчастном стечении обстоятельств задавил бы его, мир так бы и не узнал, что существовал человек, носивший фамилию Ульянова, или Ленина.

## ИСПОЛНЕНИЕ...

Однажды, произошло это утром 15 марта 1917 года, библиотекарь цюрихской библиотеки удивился тому, что стрелки часов уже показывают девять, а место, ежедневно занимаемое самым пунктуальным среди всех посетителей библиотеки, пусто. Полдесятого, десять, а постоянный читатель не идет; он более не придет вообще. На пути в библиотеку он встретил друга, сообщившего ему, а точнее, возбужденно выпалившего потрясающую новость — в России разразилась революция.

Сначала Ленин не хочет этому верить. Он оглушен сообщением. Затем мелкими, быстрыми шагами спешит к газетному киоску, стоящему на берегу озера. И вот много дней часами дежурит он у редакции газеты, возле киоска в ожидании новостей из России. Это правда. Сообщения подтверждаются и с каждым днем вызывают в нем все более и более живой интерес.

Сначала лишь слухи о дворцовом перевороте и, по-видимому, о смене кабинета министров, затем низложение царя, приход к власти временного правительства, дума, русская свобода, амнистия политическим заключенным — все, о чем он мечтал на протяжении долгих лет, все, ради чего он работал двадцать лет в нелегальных организациях, сидел в тюрьмах, был сослан в Сибирь, корпел в эмиграции, все это свершилось.

И сразу показалось ему, что миллионы жертв этой войны погибли не напрасно. Не бессмысленно убитыми казались они ему теперь, а мучениками за новое государство свободы, справедливости и вечного мира, который вот-вот наступит; опьяненным чувствует себя этот обычно холодный, рассудительный, расчетливый мечтатель.

А как ликуют, как торжествуют теперь при этом замечательном известии сотни других, сидящих в своих эмигрантских комнатках в Женеве, Лозанне, Берне: можно возвращаться домой, в Россию! Можно возвращаться не с фальшивым паспортом, не под чужим именем с опасностью для жизни в царскую Россию, а свободным гражданином в свободную страну. Уже собирают они свой скудный скарб, так как газеты печат-

тают лаконичную телеграмму Горького: «Возвращайтесь все домой!» Во все направления посылаются письма и телеграммы: возвращаться, возвращаться! Собираться! Объединяться! Отдать жизнь за дело, которому они посвятили все часы своей сознательной жизни: за русскую революцию.

### ...И РАЗОЧАРОВАНИЕ

Но через несколько дней эмигранты делают ошеломляющее открытие: русская революция, известие о которой так окрылило их сердца, совсем не та революция, о которой они мечтали, это не русская революция. Это дворцовый переворот, инспирированный английскими и французскими дипломатами для того, чтобы помешать царю заключить мир с Германией, это не революция народа, жаждущего мира и прав для себя. Не революция, для которой они жили и ради которой готовы отдать жизнь, а козни военных партий, империалистов и генералов, не желающих, чтобы мешали их планам.

И скоро Ленин и его товарищи по эмиграции начинают понимать, что приглашение всем вернуться назад не относится к тем, кто желает эту настоящую, эту радикальную революцию, революцию в духе Карла Маркса. Милюков и другие либералы уже дали указание закрыть им путь на родину. И если наиболее умеренных, высказывающихся за продолжение войны социалистов, таких, например, как Плеханов, уважительно провожают из Англии в Петербург под почетным эскортом подводных лодок, то Троцкого задерживают в Галифаксе, а других крайних — на границе России.

На всех пограничных станциях стран Антанты лежат черные списки участников Циммервальдского конгресса Третьего Интернационала. В отчаянии шлет Ленин телеграмму за телеграммой в Петербург, но их либо перехватывают, либо они просто-напросто остаются без ответа; в России прекрасно знают то, что не известно ни в Цюрихе, ни вообще где-либо в Европе, — как силен и энергичен Владимир Ильич Ленин, как целеустремлен и смертельно опасен он своим противникам.

Безгранично отчаяние людей, страстно желающих вернуться на родину и лишенных этой возможности. Годы и годы на бесчисленных заседаниях своих генеральных штабов в Лондоне, Париже, Вене разрабатывали они стратегию русской революции.

Каждая организационная мелочь была ими тщательно обдумана, проверена, обсуждена. На протяжении десятилетий они взвешивали в своих газетах теоретические и практические трудности, опасности, возможности. Всю свою жизнь этот человек вновь и вновь рассматривал, анализировал, обдумывал лишь эти проблемы и пришел к однозначным формулировкам. И вот теперь, лишь потому, что его удерживают здесь, в Швейцарии, силой, он должен эту свою революцию отдать другим, которые ослабят ее, опоздают, заставят святую для него идею освобождения народа служить чужим государствам, чуждым народу интересам.

Удивительная аналогия — Ленин в эти дни переживает то, что пережил в первые дни войны Гинденбург, который мысленно в течение сорока лет до тончайших подробностей разрабатывал русскую кампанию, маневрировал на полях России, перебрасывал войска, развертывал фронт, стягивал его, а когда война началась, вынужден был сидеть дома и переставлять на географической карте флажки, наблюдать со стороны за успехами и ошибками генералов, ведущих эту войну.

Самые безрассудные, самые фантастичные планы строит этот обычно холодный реалист, Ленин, в те дни отчаяния. Не арендовать ли аэроплан, чтобы на нем перелететь Германию или Австрию? Но первый же человек, к которому обращаются за помощью, оказывается шпионом. Все более странными и путаными становятся планы побега: пишет шведам, просит их позаботиться о шведском паспорте для него, хочет притвориться немцем, чтобы не отвечать на вопросы пограничной охраны. Разумеется, на следующее утро после полубредовой ночи Ленин сам понимает, что все эти иллюзорные идеи невыполнимы. Но одно ему твердо известно: он должен вернуться в Россию, он, а не другие, должен делать революцию, подлин-

ную, настоящую. Он должен вернуться, немедленно вернуться в Россию. Вернуться любой ценой!

## ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ: ДА ИЛИ НЕТ?

Швейцария окружена четырьмя государствами — Италией, Францией, Германией и Австрией. Путь через страны Антанты Ленину, как революционеру, закрыт, путь через Германию или Австрию закрыт ему как русскому подданному, как подданному вражеской страны. Но странное стечение обстоятельств: именно Германия кайзера Вильгельма готова сказать Ленину помощь, а не Россия Милюкова, не Франция Пваккаре. Германии любой ценой нужен мир с Россией, ведь Америка вот-вот объявит ей войну. Следовательно, революционер, который создаст в России трудности послам Англии и Франции, будет ей желанным помощником.

Но вступление в переговоры с кайзеровской Германией, которую он оскорблял, которой он в своих статьях угрожал сотни раз, — шаг чрезвычайно ответственный. Ибо появление во вражеской стране или проезд через нее во время войны, да еще с согласия неприятельского генерального штаба, является с точки зрения общепринятой морали поступком, недвусмысленно квалифицируемым как государственная измена, и конечно же Ленин должен знать, что этим поступком он прежде всего скомпрометирует и свою партию, и дело своей жизни, его станут подозревать в том, что он является оплачиваемым агентом, посланным в Россию немецким правительством, и если он, в соответствии со своей программой, добьется немедленного заключения мира, его навечно заклеят как человека, вырвавшего у России победу.

Само собой разумеется, не только умеренные революционеры, но и большинство единомышленников Ленина приходят в ужас, когда он подтверждает свою готовность в случае необходимости использовать этот чрезвычайно опасный путь. Смущенные, они напоминают, что уже давно через швейцарскую социал-демократическую партию ведутся переговоры об

обмене русских революционеров на военнопленных легальным образом. Но Ленин понимает, как долог будет этот путь, какие усилия приложит русское правительство к тому, чтобы до бесконечности оттянуть их возвращение на родину, и знает также, как много для дела революции значит каждый день, каждый час. Он видит лишь цель, тогда как другие, менее прямолинейные, менее волевые, не способны на поступок, по всем действующим законам и представлениям считающийся изменой. И, решившись, Ленин начинает переговоры с германским правительством.

## ДОГОВОР

Понимая сенсационность и необычный характер своего шага, Ленин ведет эти переговоры с максимально возможной прямотой. По его поручению секретарь швейцарского профсоюза Фритц Платтен направляется к германскому послу, который уже до этого вел переговоры с русскими эмигрантами, и передает ему условия Ленина. Ибо этот незаметный, никому не известный эмигрант, как будто уже предчувствуя, что в самом скором времени авторитет его неизмеримо возрастет, не обращается к германскому правительству с просьбой, нет, он предъявляет ему условия, при которых он и его товарищи примут любезность германского правительства.

За вагоном должно быть признано право экстерриториальности. Проверку паспортов и установление личности не проводить ни при входе, ни при выходе из вагона. Проезд эмигранты оплачивают по действующему тарифу. Пассажиры не покидают вагон ни в административном порядке, ни по собственной инициативе.

Министр Ромберг передает эти условия далее. Они попадают в руки Людендорфа, который их несомненно поддерживает, хотя в своих мемуарах об этом всемирно-историческом, возможно, самом значительном из принятых им в жизни решений, не говорит ни слова. Посол пытается внести некоторые изменения в протокол, намеренно составленный так неопре-



деленно, что допускает проезд без проверок не только русских, но и австрийских подданных, например Радека. Но спешит не только Ленин, германское правительство спешит тоже. Ибо в этот день, 5 апреля, Соединенные Штаты Америки объявляют Германии войну.

И вот, 6 апреля в полдень Фритц Платтен получает знаменательный ответ: «Вопрос решен в положительном смысле». Девятого апреля 1917 года в половине третьего пополудни из ресторана Церингергоф к цюрихскому вокзалу идет небольшая группа плохо одетых людей с чемоданами.

Их тридцать два человека, в том числе женщины и дети. Из уезжающих мужчин сохранились лишь имена Ленина, Зиновьева и Радека. После скромного прощального обеда они подписывают документ, в котором подтверждается, что им известно сообщение «Petit Parisien», в котором русское временное правительство заявляет, что будет считать изменниками всех лиц, возвращающихся в Россию через Германию. Тяжелыми, неуклюжими буквами они подписываются, что всю ответственность за этот выбранный ими маршрут берут на себя и все условия принимают. Спокойно и решительно приготовились они к всемирно-исторической поездке.

Их появление на вокзале не привлекает ничего внимания. Нет ни репортеров, ни фотографов. Кому известен в Швейцарии этот господин Ульянов, в мятой шляпе, поношенном костюме и до смешного тяжелых горных ботинках (он сменит их только в Швеции); с группой мужчин и женщин, нагруженных багажом; молчаливый и незаметный, ищет он место в поезде. Ничем не отличаются эти люди от бесчисленных переселенцев, югославов, русинов, румын, сидящих на своих фанерных чемоданах на платформе цюрихского вокзала и имеющих несколько часов передышки, прежде чем тронуться дальше — к морю, а оттуда — за океан.

Швейцарская рабочая партия, порицающая этот отъезд, не прислала своих представителей, пришло лишь несколько русских, чтобы передать с отъезжающими приветы и немного продуктов близким на родину, и еще несколько человек, что-

бы в последнюю минуту отговорить Ленина от «безрассудной, от преступной поездки». Но решение принято. В три часа десять минут кондуктор дает сигнал. И поезд уходит к Готтмадингену, германской пограничной станции. Три часа десять минут — с этого момента у часов мира другой ход.

## ПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН

Миллионы смертоносных пуль были выпущены в мировую войну, огромные, гигантской разрушительной силы снаряды дальнего действия были созданы инженерами для войны. Но ни один снаряд не был причиной столь серьезных последствий, не повлиял так на судьбы мира в новой истории, как этот поезд с самыми опасными революционерами столетия, людьми, преисполненными неистребимой решимости; вот несется он в этот час от швейцарской границы через всю Германию к месту назначения — Петербургу, чтобы взорвать там порядок нынешнего Времени.

На рельсах станции Готтмадинген стоит этот уникальный снаряд, вагон второго и третьего класса, в котором женщины и дети занимают места второго класса, мужчины — третьего. Меловая черта на полу коридора отделяет суверенную территорию русских от купе двух германских офицеров, сопровождающих этот транспорт живого тринитротолуола.

Поезд без происшествий несется сквозь ночь. Только во Франкфурте неожиданно осаждают вагон германские солдаты, узнавшие о проезде русских революционеров, и еще — однажды проезжающим приходится отклонить попытки немецких социал-демократов объясниться с ними. Ленин прекрасно знает, какое подозрение навлечет он на себя, если обменяется хотя бы одним словом с немцем на германской земле. В Швеции их встречают торжественно. Изголодавшись, спешат они к столу, сервированному для завтрака. Предложенные им бутерброды кажутся им чудом кулинарии. В Швеции Ленин покупает себе ботинки и кое-что из верхней одежды. Наконец, они добираются до русской границы.

## СНАРЯД ВЗРЫВАЕТСЯ

Поведение Ленина в первые минуты по возвращении на родину весьма характерно. Он не видит своих соотечественников, он не смотрит на них, нет, прежде всего он бросается к газетам. Четырнадцать лет он не был в России, не видел ни русской земли, ни государственного флага, ни солдатской формы. Но этот железный идеолог не разражается слезами, как другие, не обнимает, как женщины, ничего не понимающих, обескураженных солдат.

Сначала газету, газету «Правду», чтобы проверить, что газета, его газета достаточно решительно держится интернациональной ориентации. Сердито мнет газету. Нет, недостаточно, все еще пестрят на ее полосах слова «отечество», «патриотизм», все еще недостает чистой революции в его духе. И он чувствует, пришло время взять штурвал, круто повернуть его, ценой победы или гибели реализовать идеи всей своей жизни. Удастся ли это? Последние часы волнений, последние страхи. Не прикажет ли Миллюков арестовать его сразу же по приезде в Петроград (город назывался так, но через несколько лет он сменит свое имя)? Каменев и Сталин, друзья, выехавшие ему навстречу, уже в поезде, они таинственно усмеваются в темном купе третьего класса, скудно освещаемом огарком свечи. Они не отвечают или не хотят отвечать.

Но неслыхан ответ, который дает действительность. Поезд подходит к перрону Финляндского вокзала, огромная площадь перед ним, заполненная десятками тысяч рабочих, почетным караулом всех родов войск, ожидающих возвращающихся из изгнания, разражается пением «Интернационала». И когда Владимир Ильич Ульянов выходит из вагона, то его, человека, позавчера жившего у сапожника, подхватывают сотни рук и поднимают на броневик. На Ленина направляются прожектора — из крепости и установленные на крышах домов; с броневика он обращается со своей первой речью к народу. Улицы волнуются, скоро начнутся те «десять дней, которые потрясли мир». Снаряд разорвался и превратил в развалины империю, мир.



ПУБЛИЦИСТИКА





## ИЗ КНИГИ «ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР»

### ВОЗВРАЩЕНИЕ ГУСТАВА МАЛЕРА

**О**н вернулся, великий изгнанник, вернулся со славой в город, который отверженным покинул лишь несколько лет назад. В том же зале, где демонически царила его всеподчиняющая воля, оживает ныне в своем духовном воплощении сущность ушедшего от нас, звучит его музыка. Ничто не могло воспрепятствовать этому — ни хула, ни озлобление; непреодолимо возрастает ценность его творчества, чище становится его восприятие, которому не мешает больше кипящая вокруг борьба, и наш внутренний мир полнится и обогащается им. Никакая война, никакие события не в силах помешать стихийному расцвету его славы, и тот, кто лишь недавно стоял здесь всем поперек горла, казался чудовищем, вызывал злобу, стал вдруг для всех утешителем и освободителем. Горе, утрата — кто в наши дни сказал о них сильнее, чем он в своих «Песнях об умерших детях»?

Никогда не был он, Густав Малер, таким живым и оплодотворяющим для этого города, как теперь, навеки покинув его, — города, который в дни, когда он жил и творил, заплатил ему черной неблагодарностью, а теперь навсегда стал его отчизной. Те, кто любил его, ждали этого часа, но теперь он настал — и не принес нам радости. Ибо, обладая одним, мы всегда тоскуем о другом: пока он трудился, нами владело желание видеть живыми его творения. А теперь, когда они обрели славу, мы тоскуем по нему, ибо он никогда не вернется.

Потому что для нас, для целого поколения Малер был больше чем просто музыкант, маэстро, дирижер, больше чем

просто художник: он был самым незабываемым из того, что пережито в юности. Быть юным — это, в сущности, значит ждать чего-то необычайного, какого-то фантастически прекрасного случая, явления, не уместяющегося в узких пределах видимого мира, — словом, осуществления наших грез. И кажется, что восхищение, восторг, преклонение, все живые силы преданности в их переизбытке — все это лишь для того так жарко и смятенно теснится в груди не достигшего зрелости человека, чтобы вспыхнуть пожаром, едва он увидит — или вообразит, будто увидел — в искусстве или в любви осуществленную грезу. И благо, если мы находим ее — в искусстве или в любви — достаточно рано, не успев еще растратить силы, находим в чем-то подлинно значительном и отдаем ему все наше изливающаяся обильным потоком чувство.

Так случилось с нами. Кто в юности был свидетелем десятилетнего правления Малера в Опере, тот на всю жизнь приобрел нечто такое, чего не выразишь словами. Тонким чутьем людей, давно томимых нетерпением, мы с первых дней учуяли в нем редкое чудо — демоническую личность, явление редчайшее из редких, потому что демонический человек — вовсе не то же самое, что человек творческий, он, быть может, еще таинственнее в своей сущности, он весь — природная мощь, одухотворенная стихия. Внешне он ничем не выделяется, у него нет других примет, кроме производимого им воздействия — неопишемого, сравнимого лишь с некоторыми волшебными капризами моды.

Подобные свойства присущи магниту. Можно испробовать тысячу кусков железа. Они все инертны, они стремятся только вниз, отягощенные собственным весом, разобщенные и пассивные. Но вот еще один кусок железа, столь же тусклый и неприметный, как все остальные, однако в нем заключено могущество — могущество звезд или глубочайших земных недр, благодаря которому он притягивает к себе все родственное, сцепляется с ним и освобождает его от тяжести. Магнит одушевляет собственной силой все притянутое к себе (если может удержать его достаточно долго), он изливает свою тай-

ну и передает ее дальше. Он присасывается к себе все родственное, чтобы пронизать его насквозь, он отдает самого себя и не слабеет от этого, потому что воздействие на других — его сущность, его основное побуждение.

И таким же могуществом — могуществом звезд или глубочайших земных недр — обладает демонический человек: это могущество — его воля. Вокруг него — тысячи и тысячи людей, и каждый из них, инертный и неодушевленный, стремится прочь, подчиняясь тяготению собственной жизни. Но он властно притягивает их к себе, неведомо для них самих наполняет их существо своей волей, своим ритмом, и, одушевляя их, он сам в них возвышается. Подчиняя их своеобразному гипнозу, он собирает их, сцепляет нити их нервов со своими, вовлекает их — часто насильственно — в свой ритм. Он приобретает их, он насилует их волю, но тех, кто идет к нему добровольно, он причащает тайне своей силы.

Такая демоническая воля была в Малере, воля, которая была силой, изливавшейся на всех и всех одушевлявшей. Вокруг него простиралась огненная сфера, в которой каждый раскалялся, иногда сгорая, но всегда очищаясь. Невозможно было ускользнуть из нее, хотя, как говорят, некоторые музыканты пытались это сделать. Его воля была слишком горячей, под ее напором плавилось любое сопротивление. Своей не знавшей равных энергией он подчинял весь этот мир певцов, статистов, режиссеров, музыкантов, на два, на три часа собирал в одно целое — свое целое — пеструю россыпь сотен людей.

Он лишает их собственной воли, он кует, формует и шлифует их дарования, он вталкивает их — уже воспламененных его огнем — в свой ритм, пока не спасет неповторимое из пучины повседневности, искусство — из пут ремесла, пока не воплотит себя в произведении и произведение в себе.

И все, что ему необходимо, притекает к нему, само находит Малера, хотя и кажется, что это он его находит. Нужны певцы — богатые пламенные натуры, способные воссоздавать образы Вагнера и Моцарта: на его зов (или, вернее, по безотчетной воле живущего в нем демона) являются Анна Мильден-



бург и Мария Гутхейль; нужен художник, чтобы за ожившей музыкой вставляли ожившие декорации, — и приходит Альфред Роллер. Все, что родственно ему, все, что нужно ему для творчества, возникает как по волшебству, и чем ярче выражена личность каждого пришедшего, тем более страстно стремится он приспособиться к личности Малера.

Все упорядочивается вокруг него, все покорно склоняется перед его волей; в эти вечера и опера, и зрители, и театр — все становится лишь его окружением, существующим ради него одного. Его дирижерская палочка отбивает такт нашего пульса, ее острие притягивает к себе весь напор наших чувств, как громоотвод — все электричество, разлитое в атмосфере.

Никогда больше не встречал я на сцене такой цельности, какая была в этих спектаклях: по чистоте производимого впечатления их можно сравнить лишь с самой природой, с каким-нибудь ландшафтом, в котором есть и небо, и облака, и дыхание лета или осени, есть произвольная гармоническая завершенность непреднамеренного и естественного сочетания существующих лишь для себя предметов. Тогда мы, молодые люди, научились у него любить совершенство, узнали благодаря ему, что высокая демоническая воля все еще может и в нашем разобщенном мире на час или два воздвигнуть из хрупкого земного материала вечное и безупречное здание: так заставил он нас надеяться и ежеминутно ждать того же чуда. Он стал нашим воспитателем и помощником. Никто, никто не имел в то время такой власти над нами.

И столь сильно было в нем это демоническое начало, что оно языками пламени выбивалось наружу сквозь тонкую внешнюю оболочку, он весь дышал жаром, который не мог вместиться в хрупком сосуде его тела. Его запоминали с первой встречи. Все в нем было напряжено, переполнено бьющей через край страстью, вокруг него вспыхивали зарницы, как искры вокруг лейденской банки.

Неистовство — вот единственная стихия, отвечавшая его силе: в покое он казался слишком возбужденным, и когда он был неподвижен, какой-то непрерывный электрический ток

дергал его и приводил в дрожь. Нельзя было даже представить его праздным, бездеятельным и вялым, его всегда перегретый паровой котел должен был непрерывно отдавать свои силы, что-то двигать, толкать вперед, работать.

Он всегда несся к какой-нибудь цели, словно подхваченный вихрем, все казалось ему слишком медленным, и он ненавидел действительную жизнь — эту рыхлую, неподатливую, инертную массу, тяжеловесную и непокорную, он стремился к подлинной жизни по ту сторону вещей, к вечным снегам на вершинах искусства, туда, где наш мир соприкасается с небом. Он стремился сквозь все промежуточные формы к формам ясным и прозрачным, в которых искусство, очищаясь от шлака и кристаллизуясь, обретает безупречное совершенство стихии, ее спонтанность и свободу; но пока он был директором, дорога его шла через повседневность театрального дела, через мерзость коммерческого предприятия, через препятствия, чинимые злой волей, сквозь густую поросль обыденных мелочей. В этой чаще он в кровь раздирал себе кожу, но шел, бежал, мчался вперед, словно одержимый амоком, к цели, которая, как он думал, находится вовне, где-то там, куда нельзя приблизиться, но которая на самом деле уже была достигнута в нем самом: к совершенству.

Всю свою жизнь мчался он вперед, отбрасывая в сторону, опрокидывая и попирая ногами все препятствия, бежал, словно гонимый страхом не достичь совершенства. Ему вслед неслись истерические вопли оскорбленных примадонн, стенания ленивых и улюлюканье бесплодных, лай своры посредственностей, но он не оглядывался, не видел, как возрастает число преследователей, не чувствовал ударов, которыми осыпали его по дороге, он несся дальше и дальше, пока не споткнулся и не упал.

О нем говорили, что его остановили препятствия. Может быть, они действительно подорвали его жизненные силы, но я не думаю, чтобы это было так. Такому человеку необходимо было встречать препятствия, он любил их и желал их, они служили той острой приправой к повседневности, которая за-

ставляла его еще сильнее жаждать влаги из вечных источников.

А в дни каникул, когда он был свободен от своего тяжелого труда, в Тоблахе или в Земмеринге, он сам громоздил препятствия перед собой, перед своим творчеством. Камни, скалы, циклопические глыбы духа. Высочайшее создание человечества — вторую часть «Фауста», изначальное песнопение творческого духа «*Veni, creator spiritus*»\* поставил он плотиной перед своей музыкальной волей, чтобы затем затопить их своей музыкой.

Борьба с земным составляла его божественное наслаждение, он был подвластен ему до последнего часа. Стихийное начало в нем любило борение свободных стихий с миром земным, он не желал остановки, его влекло дальше, дальше, дальше, к единственной остановке подлинного художника — к совершенству. И из последних сил, уже обреченный на смерть, он еще раз достиг его в «Песне о земле».

Трудно описать, сколь много значила для нас, молодых людей, в чьих сердцах начинала бродить воля к искусству, возможность видеть, как эта пламенная натура свободно раскрывается на глазах у всех. Встать под его начало — таково было наше заветное желание, но приблизиться к нему нам мешала робость, загадочная и таинственная: так человек не осмеливается вступить на край кратера и взглянуть в его бурлящий жар.

Мы никогда не пытались навязать ему свое общество; счастьем для нас было уже одно сознание, что он живет, присутствует, обитает в одном с нами мире. У нас считалось событием увидеть его — всегда издали — на улице, в кафе, в театре: так мы любили и чтити его. Лишь немногие люди запечатлелись в моей памяти так живо; я и сегодня вижу его облик, помню каждую встречу, когда я издали видел его.

Он был всегда иным и всегда одним и тем же, потому что все душевные движения проявлялись у него одинаково интен-

---

\* «Приди, дух животворящий» (лат.).

сивно. Я вижу его на одной из репетиций: он сердится, дергается, раздражается, кричит на всех, каждая неполадка вызывает у него чисто физическую боль; и я вижу его весело беседующим в каком-то переулке: он и тут стихийно, он полон той же непринужденной детской веселости, что и Бетховен, по описанию Грильпарцера (зерна этой веселости рассыпаны на многих страницах его симфоний).

Всегда влекла его куда-то заключенная в нем сила, всегда он был оживлен. Но незабываемым останется для меня один, последний раз, потому что тогда я впервые так глубоко, всеми чувствами ощутил героическое начало в человеке.

Я возвращался из Америки, и на одном корабле со мной ехал он, смертельно больной, умирающий. Стояла ранняя весна, плавание по ярко-синему, подернутому рябью мелких волн морю шло спокойно, мы — небольшая кучка людей — держались вместе, и Бузони одарял нас, друзей, своей музыкой.

Все призывало нас к веселью, но внизу, где-то в утробе корабля, угасал он, опекаемый женою, и мы чувствовали, как его тень омрачает наш ясный полдень. Часто среди взрывов смеха кто-нибудь говорил: «Малер! Бедный Малер!» — и мы немедля смолкали. Глубоко внизу лежал он, обреченный, снедаемый лихорадочным жаром, и только маленький светлый лучик его жизни пробивался наверх, под открытое небо: его дочка, в блаженном неведении беззаботно игравшая на палубе. Но мы, мы знали и чувствовали: словно в могиле, лежит он там, внизу, под нашими ногами.

И только при высадке в Шербуре, на буксире, который отвозил нас на берег, я наконец увидел его: он лежал неподвижно, бледный как смерть, с сомкнутыми веками. Ветер отбросил набок его поседевшие волосы, чистой и смелой линией выдавался вперед его выпуклый лоб, тверды были очертания подбородка, в котором сосредоточилась вся энергия его воли. Исхудалые руки бессильно лежали на одеяле, впервые я видел его — вечно пылавшего — ослабевшим. Но — незабываемо, незабываемо! — его силуэт вырисовывался на беспредельном

сером фоне моря и неба, и в этом зрелище была не только безграничная печаль, но и какое-то просветляющее величие, возвышенное, словно замирающий финальный аккорд симфонии.

Умиление толкало меня подойти ближе, робость удерживала в стороне, и я издали смотрел на него и не мог оторваться, как будто бы этот взгляд давал мне возможность получить от него еще нечто, за что я всегда буду благодарен ему. Музыка смутно вздымалась во мне, и я невольно вспоминал смертельно раненного Тристана, который возвращается в Кареол, замок своих отцов; но звучавшая во мне музыка была иной — глубже, прекраснее, просветленнее. Наконец, я нашел мелодию и слова в его произведении, слова, созданные давно, но только в эту минуту исполнившиеся пророческого смысла: то была блаженная, божественная мелодия из «Песни о земле» на слова «Нет, никогда вдали я не исчезну... и часа своего ждет тихо сердце». Теперь для меня неразрывно слились эти почти призрачные звуки и это зрелище, эта давняя и незабываемая картина.

И все же, когда вскоре после этого он скончался, для нас он не погиб. Его присутствие давно уже перестало быть для нас только внешним фактом: глубоко укоренившийся в наших душах, он продолжал расти, ибо для переживаний, однажды захвативших нас до глубины сердца, нет вчерашнего дня. В нас он жив сегодня, как и прежде, тысячекратно чувствую я его неизгладимое присутствие. В каком-нибудь немецком городе дирижер поднимает палочку. В его жестах, в его манере я ощущаю Малера, мне не нужно задавать вопросов, чтобы узнать: это тоже его ученик, и здесь за пределами его земного существования по-прежнему оплодотворяюще действует магнетизм его жизненного ритма (так в театре я до сих пор часто слышу голос Кайнца, отчетливый, как будто он льется из его навеки умолкнувшей груди).

В игре некоторых актеров еще светится отблеск его сияния, в резкости, с какой держатся в жизни некоторые современные музыканты, есть — иногда нарочитое — подражание его ха-

рактору. Но сильнее всего ощущается его присутствие в Опере, в немом и полном звуков, в оживленном и погруженном в покой театре, куда сущность Малера проникла, как флюид, который нельзя изгнать никакими очистительными заклинаниями. Кулисы выцвели, в оркестровой яме сидит уже не его оркестр, и все же в некоторых спектаклях — прежде всего в «Фиделио», в «Ифигении», в «Свадьбе Фигаро» — сквозь грубую и произвольную ретушь, наложенную Вейнгартнером, сквозь пыльный слой равнодушия, который скопился за время директорства Грегора на всех этих сокровищах, сквозь паутину запустения я чувствовал следы малеровской выразительной мощи, и невольно мой взгляд искал его за пультом.

Он все еще обитает в этом здании, среди мусора и ржавчины еще сверкает блеск его натуры — так среди пепла порою вспыхивают яркие язычки гаснущего пламени. Даже здесь, где все создаваемое им было преходяще, где он лишь на мгновение заставлял воздух звучать, а души — воспарять, даже здесь тени его неодошевленных творений хранят его призрачный след, и во всем прекрасном, во всем совершенном мы по-прежнему чувствуем здесь его. Я прекрасно понимаю, что не смогу уже воспринимать тут его любимые оперы непосредственно: в этом зале к моему чувству примешивается слишком много воспоминаний, и сравнение портит всякое удовольствие. Он сделал всех нас несправедливыми — таково свойство всякой сильной страсти.

Так действовал его демон на нас, на все наше поколение. Новому поколению, которое знакомится с ним сейчас и, не видя его живого облика, может любить таинственную пламенность лишь в той мере, в какой она сублимирована в музыке, неведома вся его сущность. Для них произведения Малера звучат — вне связи с его человеческой сущностью — прямо с высоких небес немецкого искусства, а у нас постоянно будет перед глазами высокий пример той борьбы, в которой он отсвечивал бессмертное у земного. Они знают лишь экстракт, лишь аромат, — мы же видели еще огненный пурпур, которым горела чашечка этого цветка.

Правда, написана картина той эпохи, перекинут словесный мост к тем дням — прекрасная книга Рихарда Шпехта («Густав Малер», Берлин, Шустер и Лефлер, 1914) заслуживает, чтобы каждый прочел ее, потому что она полна благоговения, но чужда идолопоклонства, полна задушевной интимности, но чужда фамильярной развязности, потому что ее автор не стремится выводить формулы, подшивать к делу то, что еще живет и цветет, — он хочет только поблагодарить за пережитое, за то, что дал нам пережить Густав Малер. В книге ощущается ритм тех совершенных вечеров и столь свойственная Малеру воля дать лучше что-то одно, но законченное, безупречное, чем наспех собрать многое.

Всякий раз, когда я открываю эту книгу, передо мною оживает ушедшее: я вижу один из тех давних вечеров, льются голоса, знакомые картины приветствуют меня, я снова переживаю минувшее, и во всем я чувствую его, живого, и его волю, в которую все вливалось, в которой все сплавлялось воедино. Читателя ведет рука человека, полного благодарности, и я, со своей стороны, благодарен ему, потому что он, подводя меня ближе к тайне Малера, вооружен знанием.

А там, где книга не может служить путеводителем и остается лишь провожатым, — ибо можно ли описать музыку словами, если это не слова стихов, то есть та же музыка, но в ином блаженном превращении, — там теперь берется за дело и приходит на помощь книге само время. Ведь теперь звучат даже песни Малера, получили право на исполнение его симфонии, и еще сейчас, в эти весенние дни он собирает венцев вокруг себя. Его творчество пробило себе дорогу в тот самый зал, где композитору указали на дверь, он снова живет среди нас так же, как прежде. Его воля исполнилась, и радостно видеть новое блаженное рождение того, кого мы считали умершим.

Ибо он воскрес для нас, Густав Малер: наш город, пусть одним из последних среди немецких городов, приветствует снова великого музыканта. Еще не возложили на него знаков посвящения в сан классика, еще не желают ставить почетный

памятник на его могиле, еще ни один переулок не носит с гордостью его имя; его бюст (в нем сам Роден тщетно пытался запечатлеть в твердой бронзе эту огненную натуру) еще не украсил входа в театр, в который он, как никто другой, вложил живую душу, сделав его подлинным отражением духовной жизни города.

Люди еще мешкают и ждут. Но главное уже сделано: исчезли ненавистники и гонители, от стыда забились в темные закоулки и больше всего — в самый грязный и трусливый закоулок фальшивого и лживого восхищения. Все, кто вчера еще вопил «Распни его!», сегодня поют ему осанну и проливают миро и благовония на влачащийся в пыли плащ его славы. Исчезли все вчерашние зложелатели, никто даже не хочет сознаться, что принадлежал к их числу. Ибо ненавистники и гонители столь бесплодны, что пятаются в страхе, если их собственная ненависть приносит плоды. Смятение и распря — народов или умов — вот их мрачный мир; но они становятся бессильны везде, где воля творит свой порядок и неудержимо стремится к очищающему единству. Потому что всякое великое могущество сильнее быстротекущего времени и слово ненависти ничтожно перед созданным чистой волей творением.

## ДРАМАТИЗМ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»

Открытие Востока — последний из трех этапов грандиозного расширения европейского кругозора. Первым радостным потрясением для европейского духа было открытие античности — собственного великого прошлого. Вторым событием такого рода — оно почти совпало с первым — явилось открытие будущего — в океане, который дотоле считался бесконечным, всплыл на поверхность целый континент — Америка. Горизонт отодвинулся в необозримую даль, неведомые страны, причудливые растения возбуждали проснувшуюся фантазию, наполняя европейский дух новыми замыслами и безграничными дерзаниями. Третье, самое недавнее открытие — трудно



даже понять, почему оно совершилось так поздно, — это открытие Востока для Европы.

Все, что лежит к востоку, веками было для нас окутано тайной; с Востока — из Персии, Японии и Китая — поступали лишь недостоверные сведения, почти легенды, и даже соседствующая с нами Россия до последнего времени была скрыта от нас нелепым туманом отчуждения. Да и сегодня мы все еще недалеко ушли в духовном знании России, хотя эта война и ускорила его — ускорила насильственным путем, а потому оно, должно быть, не совсем объективно.

Первая весть из полуденного мира достигла Франции во времена войны за испанское наследство — то была маленькая книжечка, по нашим временам давно уже устаревший перевод «Тысячи и одной ночи», труд ученого монаха Галлана. В наши дни трудно даже представить себе, какое грандиозное впечатление произвели тогда эти первые томики, какими причудливыми и фантастичными предстали они в восприятии европейца, сколь ни старался переводчик внешне подогнать их под требования тогдашней моды.

Нашему стареющему миру внезапно открылись неведомые ему сокровища сказочного искусства, так разительно не похожие на косную французскую придворную поэзию и бесхитростные «contes de fées»\*; и публика — а она во все эпохи наивна — была одурманена этими волшебными историями, этим гашишем бесконечных снов. Здесь она с восторгом обнаружила род поэзии, которой можно наслаждаться бездумно, позабыв о правилах, где разум дремлет, а фантазия воспаряет в родные сферы, в сферы бесконечного; то было искусство без напряжения и без цели, искусство почти что без искусства.

И вот со времени этого первого знакомства вошло в обычай несколько высокомерно смотреть на эти сказки, как на бессмысленное нагромождение, как на беспечно пеструю смесь курьезных и необычайных историй, как на анонимное произведение, не знающее своего творца и не имеющее особой ху-

---

\* «Волшебные сказки» (фр.).

дожественной ценности. Напрасно подчеркивали некоторые ученые художественное значение этого сборника — на его основе возникла даже целая наука, исследовавшая миграцию отдельных мотивов и находившая их древнейшие истоки в Персии, Индии; но произведение это по-прежнему оставалось анонимным; и то, что найден его автор, хотя он и не назван, — заслуга простого человека, нашего современника, который взялся за дело, вооруженный единственным научным аппаратом — пытливой любознательностью.

В течение двадцати лет Адольф Гельбер отдавал этому делу весь свой досуг, все время, которое оставляла ему его служба, подобно тому как Фриц Маутнер в Берлине на середине своего жизненного пути наряду со своей публицистической деятельностью, так сказать, нелегально занялся критическим изучением языка — и результат получился поистине изумительный, поучительный и в то же время стимулирующий. Ибо тот, кто и прежде любил этот чудесный мир восточной фантазии, эту волшебную цепь рассказов, только теперь обнаружит, какая глубокая мудрость заложена в их, казалось бы, случайной последовательности и какое драгоценное ядро человечности скрыто под сверкающей скорлупой сказок.

До сих пор этот двенадцатитомный эпос Востока воспринимался только так: в тесный загон нехитрого обрамления втиснута здесь как попало тысяча пестрых, умных и глупых, забавных и серьезных, благочестивых и фантастических, скабрёзных и назидательных историй, одна примыкает к другой по произволу неряшливого, неискусного и безответственного компилятора, и совершенно безразлично, как читать эту двенадцатитомную книгу, этот хаос фантазмагорий — с конца до начала или с начала до конца.

Книга Гельбера — умный и внимательный проводник — впервые прокладывает читателю дорогу в этих тропических джунглях, показывает ему явный и глубокий смысл построения книги и открывает в компиляторе поэта. Как он объясняет нам — и эта его концепция овладевает читателем, — Шахрияр, призрачный царь, заставляющий ночи напролет рассказы-

вать себе сказку за сказкой, — фигура трагическая, Шахразада — героиня, а вся книга в целом — тысячи и тысячи страниц по видимости беспорядочного рассказа — стройная драма, полная напряжения и динамики; драма, которая, как понимает ее Гельбер, таит в себе психологическое искушение пересказать и поэтически воспроизвести ее.

Царя Шахрияра мы ощущали до сих пор как страшную фигуру кукольного театра, это был не то Олоферн, не то Синяя Борода, кровожадный тиран, который ежеутренне передает палачу девушку, ставшую его женой, и у которого Шахразада, извечный плут в образе женщины, ночь за ночью обманом выигрывает свою жизнь, рассказывая ему сказочную историю и всякий раз, как займется утро, прерывая ее на самом интересном месте. Искусная обманщица — так воспринимали и оценивали мы ее до сих пор, — вся хитрость которой состоит в том, чтобы поддеть злобного царя на его собственное любопытство и заставить биться на остром крючке напряжения, как пойманную рыбку. Однако сказка мудрее, а автор ее бесконечно глубже. Этот неизвестный человек, живший сотни и сотни лет назад, имени которого никто не знает, — настоящий трагический поэт, а рок и страсть, воплощенные им во взаимных отношениях этих двух людей, — готовая драма, словно ожидающая своего сценариста.

Попробуем пересказать ее в духе Гельбера.

Декорация: Восток с его звездным небом, где судьба открыто глядит в лицо человеку на улицах и базарах, несложный мир первобытных страстей. Место действия: царский дворец, полный восточной роскоши, овеванный, однако, дыханием ужаса, подобно царскому жилищу в Микенах или дворцам «Орестейи». А в этом дворце — страшный царь, чудовищный женоубийца, тиран Шахрияр. Декорация поставлена, действующие лица определены — драма может начаться.

Но у этой драмы есть пролог в душе царя. Царь Шахрияр действительно тиран, подозрительный, кровожадный, недоверчивый человек, презирающий любовь и насмехающийся над верностью. Но таким он был не всегда. Шахрияр — чело-

век разочарованный. Прежде он был справедливым, серьезным, благородным властелином, был счастлив со своей женой, исполнен веры в мир, как Тимон Афинский, и доверчив, как Отелло.

Вдруг из дальних стран к нему с разбитой душой приезжает брат и рассказывает о своем горе: жена обманула его с последним из рабов. Царь жалеет его; ему еще неведомо подозрение. Но брат, зрение которого обострено опытом, вскоре видит, что брак царя, как и его собственный, изъеден червем женской неверности. Он осторожно намекает на это Шахрияру. Тот отказывается верить ничем не подкрепленным словам. Как Отелло, как Тимон, требует он доказательств низости мира, прежде чем признать ее.

И вскоре ему приходится с ужасом убедиться, что брат, увы, говорил правду и что жена бесчестит его с самым гадким из его невольников-негров, о чем давно знают все царедворцы и рабыни, только сам он был ослеплен добротой. И сразу рушится в нем мир доверия. Душу его завлакивает мрак, он не верит больше ни одному человеку. Женщины для него — исчадия лжи и обмана, слуги — орда льстецов и лгунов; дух его, ожесточенный и омраченный, восстает против мира. Он мог бы произнести монолог Отелло или обвинительную речь Тимона — слова всех великих разочарований. Но он властитель, царь, он говорит мало, гнев его говорит языком меча.

Первое его деяние — месть, беспримерная резня. Его жена и ее любовник, все невольницы и рабы, знавшие об их связи, искупают вину смертью. Но что же дальше? Царь Шахрияр еще в расцвете сил, и плотское желание в нем не угасло. Как человек восточный, он испытывает потребность в сладостной близости женщины, как царь, он слишком горд, чтобы довольствоваться невольницами и девками. Он хочет обладать царицами, но при этом быть уверенным, что больше его не обманут.

В этом мире развращенной и лживой морали он хочет иметь гарантию чести и вместе с тем наслаждение. Человечности в нем больше нет; так у деспота зарождается план: каждую ночь делать царицей непорочную девушку, а на сле-

дующее утро предавать ее смерти. Девственность — для него первый залог верности, смерть — второй. С брачного ложа бросает он избранницу прямо в руки палача, дабы у нее не осталось времени обмануть его.

Теперь у него есть гарантия. Каждую ночь к нему приводят девушку, и из его объятий она попадает прямо на плаху. Ужас охватывает страну, и так же, как во времена Ирода, приказавшего своим телохранителям истребить всех первенцев, народ бессильно ропщет против деспота. Все знатные люди, имеющие дочерей, обряжаются в траур по своим детям еще до того, как их вырвали у них, ибо они знают: молох царского недоверия пожрет их одну за другой, всех принесет он в жертву своему страшному безумию. Его мрачная злоба не знает пощады, и в его омраченной душе горят отблески фанатической мести, — теперь уже не он обманут женским племенем, напротив того: он перехитрил женщин, отняв у них возможность обмануть себя.

И теперь, думаете вы, трагическая сказка польется дальше: в конце концов и Шахразаду — дочь великого визиря — призвали на царское ложе, и в отчаянии, жестоко борясь за свою жизнь, хитрая девушка, чтобы умиловить деспота, стала рассказывать мрачному царю сказки и анекдоты, с улыбкой на устах и смертельным страхом в сердце.

Но снова сказка мудрее, а поэт глубже, чем мы полагали до сих пор, ибо этот анонимный автор «Тысячи и одной ночи» — поистине великий драматический поэт, человек, изведавший все глубины человеческого сердца и бессмертные законы искусства.

Шахразаду не призывали к царю. Она, дочь великого визиря, который с ужасом исполняет приказы своего повелителя, избавлена от страшной судьбы: она может свободно избрать себе супруга и радостно наслаждаться жизнью. Но — это необычайно и вместе с тем глубоко правдиво — именно она, которую никто не заставляет идти этим страшным, кровавым путем, именно она по доброй воле является однажды к отцу и просит отвести ее к царю.

Есть в ней нечто от решимости Юдифи, нечто от героини, которая хочет пожертвовать собой ради всего своего рода, однако еще больше в ней — от естества женщины, которую всегда притягивает все необычайное, влечет все исключительное, очаровывает опасность сама по себе. Подобно тому, как Синяя Борода, убивая своих жен, приманивает к себе новых женщин вернее, чем если бы он их боготворил; подобно тому, как Дон-Жуан легендой о своей неотразимости соблазняет девиц отразить его натиск, и таким образом они становятся жертвой искушения, — так и этот кровавый царь Шахрияр, этот сластолюбец и деспот именно своим неистовством против женщины и ее рода с магической силой притягивает к себе умную, непорочную, девственную Шахразиду.

Ее толкает к нему, думает она, миссия избавительницы, желание отвратить его от каждодневных убийств; однако на самом деле это скорее — она этого не сознает — глубокая мистическая тяга к приключению, к жуткой игре, где ставкой является жизнь.

Ее отец, великий визирь, приходит в ужас. Ведь не кто иной, как он, вынужден каждое утро уводить трепещущих жертв своего повелителя из тепла царского брачного ложа в ледяную смерть. Он пытается отговорить Шахразиду от ее отчаянного замысла. Образно излагают они друг другу свои доводы, но старик не в силах охладить жертвенный пыл и экстаз своей дочери. Она хочет к царю. Он не смеет противиться ее желанию. Ибо, несмотря ни на что, за свою жизнь он боится больше, чем за жизнь дочери, потому что, как все отцы героинь, он слаб душой.

Итак, он является к царю и сообщает изумленному Шахрияру решение своей дочери. Тот предупреждает его, что и Шахразде не будет снисхождения, слуга и отец в ответ скорбно опускает голову. Он знает, что ждет его дочь. Свершается судьба: Шахразда, наряженная для брачного жертвоприношения, предстает перед царем.

Первая ночь Шахразиды, подобно всем другим, начинается

ся как ночь любви. Она не противится царю и, лишь когда он замечает на глазах ее слезы, обращается к нему с просьбой: позволить ей, пока не забрезжило утро ее смерти, еще раз увидеть любимую подругу, младшую сестру Дуньязаду. И царь разрешает ей это. Но едва миновала полночь, как младшая сестра — это умно наказала ей предусмотрительная старшая — просит Шахразаду рассказать какую-нибудь веселую и занимательную историю, «чтобы скоротать бессонные часы ночи». Шахразада спрашивает позволения у царя, и тот, не знающий, как все кровопийцы, ни сна, ни покоя, охотно разрешает ей это.

И вот Шахразада начинает рассказывать. Но не веселую историю рассказывает она, не забавную притчу, не курьезный анекдот, а сказку. Бесхитростную, сладостную сказку о путнике, финиковой косточке и человеческой судьбе. Однако в этой сладостной сказке есть горький привкус правды. Это история о виновном и невинном, о смерти и помиловании, история, рассказанная, казалось бы, без всякой задней мысли и все же нацеленная, как острая стрела, прямо в сердце царя.

Второй рассказ как бы вливается в первый, и снова он — о вине и невинности. Умница Шахразада, по сути дела, рассказывает царю его собственную историю, — она повествует о рыбаке, выловившем в море кувшин, запечатанный перстнем царя Соломона, где был заточен дух; вырвавшись на волю, он хочет убить своего благодетеля. Правда, когда-то пленник поклялся сделать того, кто освободит его из темницы, самым богатым человеком на земле. Но прошла тысяча и еще тысяча лет, никто не явился, чтобы освободить его, и тогда он поклялся в гневе, что убьет своего избавителя. И вот он уже занес кулак над головой рыбака.

Жадно слушает Шахррияр. Быть может, и она явилась, чтобы освободить его из мрачной тюрьмы меланхолии, печали и безумия, в которую заточил его какой-то страшный дух? И разве он не собирается также убить ее, пришедшую освободить его для радости?

Но Шахразада уже рассказывает дальше — другую исто-

рию, другую сказку. Все они пестры, все кажутся наивными и безобидными и тем не менее все со странной настойчивостью ставят одну и ту же проблему — вины и пощады, жестокости и неблагодарности, божественного правосудия.

Шахрияр слушает. Он уловил в этих сказках вопросы, которые хочет продумать до конца, проблемы, которые гнетут и тревожат его. Он наклоняется вперед, слушает тревожно, с напряженным вниманием человека, который хочет во что бы то ни стало разгадать загадку. Но тут Шахразада прерывает свой рассказ на полуслове, ибо наступило утро. Часы любви и беспечности миновали. Ее ждет плаха. История еще не кончилась — кончилась ее жизнь.

Ее ждет плаха. Следующее слово царя убьет ее. Но царь медлит. Еще не окончена история, начатая ею, и в душе его не улегся рой неясных вопросов, они куда значительно чаще обычного любопытства и детской жажды слушать. Какая-то неведомая сила коснулась его и парализовала волю. Он медлит. И впервые за многие годы он откладывает казнь на один день.

Шахразада спасена, спасена на один этот день. Она может видеть солнце и гулять в саду, она царица, единственная царица этого царства, царица на один ясный день. Но он гаснет, этот ясный день. Снова наступает вечер, снова входит она в покои царя, снова попадает в его объятия, снова у ног ее сидит сестра, и она снова должна рассказывать.

И тут начинается чудесный хоровод ночей, замкнутая цепь историй, сплетенная из тысячи звеньев. Пока еще они вертятся вокруг одной точки, пока их цель — преобразить царя, избавить его от кошмара с помощью образных примеров и поучений. С изумительной духовной энергией проследил Гельбер цель и смысл каждого из этих рассказов и показал, какой искуснейший порядок связывает их воедино.

Кажется, будто сказки бессистемно следуют одна за другой, однако они переплетены, как петли одной сети, которая все теснее и теснее стягивает царя, пока он не оказывается ее беспомощной добычей. Тщетно, снова и снова, пытается он освободиться. «Кончай историю про купца», — сурово прика-



зывает он Шахразаде. Он чувствует, как от него ускользает воля, чувствует, как из ночи в ночь эта умная женщина похищает у него решимость, а быть может, чувствует уже и нечто большее.

Но Шахразада не сдается. Она знает, что рассказывает не только во имя собственной жизни, но и во имя жизни сотен и сотен женщин, которым пришлось бы умереть вслед за ней.

Она рассказывает, чтобы спасти их всех, и прежде всего, чтобы спасти самого царя, ее супруга, которого она в душе боготворит как мудрейшего и достойнейшего и которого не хочет отдать мрачным демонам ненависти и недоверия.

Она рассказывает — сознает ли уже это она сама? — во имя своей любви. И царь слушает поначалу беспокожно, потом — все более и более увлеченно, и поэт теперь нередко замечает, что он «горячо» и «нетерпеливо» требует продолжения рассказа. Все больше и больше притягивают к себе ее уста, которые он еженощно целует, все более безнадежным становится его плен, все больше открывается ему собственное безумие, и, пожалуй, ничто теперь не страшит его так, как то, что она вдруг перестанет рассказывать, ибо эти ночи несказанно прекрасны.

И Шахразада уже знает; знает давно, что она могла бы теперь перестать рассказывать, не боясь за свою жизнь. Но и она не хочет перестать, ибо эти ночи — ночи любви, ночи, когда она покоится на ложе странного, сильного, деспотичного и измученного человека, которого — Шахразада чувствует это — она укротила и возвысила своей душевной силой. Она рассказывает все дальше и дальше. Уже не так обдуманно, не так хитроумно; теперь в ее повествовании с удивительной пестротой переплетаются глупые и курьезные, причудливые и наивные истории; она повторяется, затягивает; и нигде в рассказах последних пятисот ночей не найдете вы чистой законченности, гармоничной архитектоники первой полутысячи, ее единства, внутреннюю закономерность которого так великолепно раскрыл Гельбер.

Последние сказки она рассказывает уже просто так, чтобы

скрасить ночи, чарующие, ласковые, любовные ночи Востока, и лишь когда фантазия отказывает ей, когда ее сердце уже не может или не хочет продолжать, в тысячную ночь замыкает Шахразада кольцо своих сказок.

Тотчас же преображенная действительность вступает в призрачный мир. Возле Шахразады трое детей, которых она родила царю за эти три года, она подводит их к нему и умоляет сохранить им мать. И Шахрияр прижимает ее к своему сердцу, не разъедаемому больше проказой недоверия, он избавлен теперь от своего кошмара, как она — от своего страха. Она становится супругой веселого, мудрого и справедливого царя, а сестру ее Дуньязаду Исцеленный от Разочарования отдает в жены своему разочарованному брату, дабы и тот вновь научился чтить женщину. Ликование царит в освобожденной стране, и то, что началось как поношение и глумление над женщиной, завершается гимном ее верности, достоинству и любви.

Удивительное многообразие чувств разворачивается в этой трагедии безымянного поэта Востока, и только в некоторых произведениях Шекспира, которым Адольф Гельбер тоже дал весьма смелое и новаторское толкование, можно обнаружить столь же великолепный психологический, почти музыкально гармоничный переход от глубочайшего отчаяния к самой безудержной, беззаветной веселости, как в этой скрытой драме «Тысячи и одной ночи». Все стихии человеческого сердца разбушевались здесь, как в «Буре» — волны моря и души, и вновь так же обрели покой, как там — серебряное зеркало вод при возвращении домой.

Изяществом сказки, яркостью легенды блещет эта книга, и тем не менее в оживленную игру здесь вплетена драма темперамента, суровая борьба за власть между полами, борьба мужчины за верность, женщины — за любовь — незабываемая драма, воплощенная великим поэтом, имени которого никто не знает; и в том заслуга увлекательного и значительного труда Гельбера, что он впервые указал нам на этого поэта в его безымянном величии.

## ШАТОБРИАН

При каждом перевороте, будь то война или революция, энтузиазм толпы легко увлекает за собой художника; но по мере того, как идея, его захватившая, принимает облик земной и общедоступный, реальная действительность отрезвляет уверовавший в идею ум. К концу восемнадцатого столетия писатели Европы впервые ощутили этот постоянный и неизбежный разлад между социальным или национальным идеалом и его по-человечески нелегким воплощением. Вся творческая молодежь, а порой даже люди зрелые восторженно приветствовали французскую революцию, орлиный взлет Наполеона, единство Германии — бросили свое сердце в огненные тигли, где плавилась раскаленная воля народов. Клопшток, Шиллер, Байрон возликовали: наконец-то сбудутся мечты Руссо о равенстве всех людей, новая, всемирная республика возникнет на обломках тирании, и крылья свободы покинут далекие звезды и благостно осенят земной кров. Но чем дальше свобода, равенство и братство заходят по пути узаконения и декретирования, чем решительнее они утверждаются как гражданские и государственные институты, тем равнодушнее отворачиваются от них возвышенные мечтатели; освободители стали тиранами, народ — чернью, братство — братоубийством.

Из этого первого разочарования нового века и родился романтизм. За платоническое приятие идеи всегда приходится платить дорогой ценой. Те, кто претворяет идею в жизнь — Наполеоны, Робеспьеры, сотни генералов и членов парламента, — преобразуют эпоху и упиваются властью, под их тиранией стонут жертвы, Бастилия оборачивается гильотиной, разочарованные покоряются деспотической воле — склоняются перед действительностью.

Но романтики, внуки Гамлета, не способные сделать выбор между мыслью и делом, не хотят ни покорять, ни покоряться: они хотят лишь одного — мечтать, по-прежнему мечтать о таком миропорядке, где чистое сохраняет чистоту, а идеи на-

ходят героическое воплощение. И тем все дальше и дальше убегают от своего времени.

Да, но как бежать? И куда? «Назад к природе», — тому полвека провозгласил Руссо, отец и пророк революции. Но природа у Руссо — это постигли его ученики — есть понятие отвлеченное, искусственная схема. Природа Руссо, идеальное одиночество, разрезана ножницами республиканских департаментов, неиспорченный народ, о котором мечтал Руссо, стал чернью публичных казней. В Европе не осталось ни природы, ни одиночества.

И романтики бегут еще дальше; немцы, вечные мечтатели, углубляются в лабиринт природы (Новалис), в сказки и фантазмагии (Э. Т. А. Гофман), в подземное эллинизма (Гёльдерлин), более рассудочные французы и англичане — в экзотику. За дальними морями, вдали от цивилизации ищут они «природу» Жан-Жака Руссо, среди ирокезов и гуронов, в непроходимых девственных лесах ищут «более совершенного человека». Лорд Байрон в 1809 году, когда родина его схватилась не на живот, а на смерть с Францией, устремил свой путь в Албанию, чтобы воспеть чистоту и героизм албанцев и греков, Шатобриан отсылает своего героя к канадским индейцам, Виктор Гюго восхваляет жителей Востока. Куда только ни бегут разочарованные, чтобы увидеть, как расцветает на девственной земле их романтический идеал.

Но куда бы их ни занесло, они повсюду берут с собой свое разочарование. И повсюду сопутствует им трагическая скорбь, угрюмая печаль изгнанного ангела; свою душевную слабость, которая отступает перед действием и пасует перед жизнью, они возводят в позу гордого и презрительного одиночества.

Они гордятся всеми мыслимыми пороками — кровосмесительством, злодеяниями, которых никогда не совершали; будучи первыми неврастениками в литературе, они одновременно первые комедианты чувств, стремящиеся любой ценой поставить себя вне общепринятых норм из чисто литературного желания возбудить интерес. На своей личной разочарованности, на своей ущербной, параличной, расслабленной мечтами

воле замешивают они яд, вызывающий у целого поколения юношей и девушек тяжкий недуг мировой скорби, недуг, которым десятилетия спустя еще страдает вся немецкая, вся французская, вся английская лирика.

Чем были они для мира, эти возвышенные герои, раздувавшие свою чувствительность до космических масштабов, все эти — Рене, Элоиза, Оберман, Чайльд Гарольд и Евгений Онегин? Как любила молодежь этих разочарованных меланхоликов, как уносились в мечтах вслед за этими образами, которые никогда не были и не будут вполне правдивыми, но коих возвышенный лиризм всегда сладко волнует мечтателей!

Кто может счесть слезы, пролитые миллионами над печальной судьбой Рене и Аталы, кто измерит сострадание, излившееся на них? Мы, далекие, созерцаем их чуть не с усмешкой, испытующим взором, мы чувствуем, что эти герои уже не нашей крови и не нашего духа; но искусство, вечно единое искусство связует многое, и все, что им создано, всегда близко и всегда с нами. То, что запечатлено искусством, даже после смерти не до конца подвластно тлению. В нем не блекнут мечты и не увядают желания. И потому мы ловим дыхание и внимаем музыке давно замолкших уст.

## Э. Т. А. ГОФМАН

### *Предисловие к французскому изданию «Принцессы Брамбиллы»*

Немалая фантазия потребна для того, чтобы в полной мере представить себе то серое, будничное существование, к которому до конца своих дней был приговорен Э. Т. А. Гофман. Юность в прусском городке, педантически точный распорядок дня. От сих до сих — урок латыни или математики, прогулка или занятия музыкой, любимой музыкой. Потом — служба в канцелярии, к тому же в прусской канцелярии, где-то на польской границе. С отчаяния — женитьба на скучной, глупой, нечуткой женщине, которая делает его жизнь еще более

будничной. Однажды долгая передышка — два или три года на посту директора театра, возможность жить в атмосфере музыки, бывать среди женщин, ощущать в звуке и слове веяние неземного. Но проходит всего два года, и в канонаде наполеоновских войн рушится театр. И снова чиновничья должность, дела, присутственные часы, бумаги, бумаги и страшные будни.

Куда бежать от этого тесного мира? Иногда помогает вино. Чтобы опьянеть, надо долго тянуть его в низком, угарном погребке, и рядом должны сидеть друзья, кипучие натуры, как актер Девриент, способные воодушевить словом, или иные — простодушные глупцы, молча слушающие тебя, когда ты изливаешь им душу. Можно еще заняться музыкой, не зажигая свечей, сесть за фортепьяно и дать отбушевать буре мелодий. Можно излить свой гнев в рисунках — острых, едких карикатурах на чистом обороте какого-нибудь циркуляра, можно измыслить существа нездешнего мира — этого методично организованного, деловитого мира параграфов, мира ассессоров и лейтенантов, судей и тайных советников. А еще можно писать. Сочинять книги, сочиняя, мечтать, в мечтах наделять свою собственную стесненную и загубленную жизнь фантастическими возможностями — ездить в Италию, пылать любовью к прекрасным женщинам, переживать бесчисленные приключения.

Можно описать кошмарные видения пьяной ночи, когда в затуманенном мозгу всплывают всякие рожи и призраки. Надо писать, чтобы бежать от этого мира, этого низменного, пошлого существования, писать, чтобы заработать деньги, которые превратятся в вино, а вместе с вином покушается приятная легкость и светлые, яркие грезы.

Так он пишет и становится поэтом, сам не желая и не ведая того, без всякого честолюбия, без настоящей охоты — из одного лишь желания раз и навсегда изжить в себе другого человека, не чиновника, а прирожденного фантаста, одаренного волшебной силой.

Неземной мир, сотканный из тумана и грез, населенный

фантастическими фигурами, — таков мир Э. Т. А. Гофмана. Порою этот мир нежен и кроток; рассказы Гофмана — чистые, гармоничные грезы; порою, однако, среди этих грез он вспоминает о себе самом, о своей исковерканной жизни: тогда он становится злым и едким, обезображивает людей до карикатур и чудовищ, издевательски прибавляет к стене своей ненависти портреты начальников, которые терзают и мучают его, — призраки действительности в призрачном вихре.

Принцесса Брамбилла — тоже одна из таких фантастических полуреальностей, веселых и острых, правдивых и сказочных в одно и то же время, насквозь проникнутых необычайным пристрастием Гофмана к завитушкам. Как всякому своему рисунку, как собственной подписи, так и каждому своему образу Гофман непременно приделывает какой-нибудь шлейф или хвостик, какую-нибудь завитушку, делающую его для неподготовленного восприятия странным и причудливым.

Эдгар Аллан По перенял позднее у Гофмана его призрачность, некоторые французы — романтику, но своеобразным и неповторимым осталось навеки одно качество Гофмана — его удивительное пристрастие к диссонансу, к резким, царапающим полутонам, и кто ощущает литературу как музыку, никогда не забудет этого особого, ему одному присущего звучания. Есть в нем что-то болезненное, какой-то срыв голоса и глумливый и страдальческий крик, и даже в те рассказы, где он хочет быть только веселым или задорно поведать о необычайных выдумках, врывается вдруг этот незабываемый режущий звук разбитого инструмента. Ибо Э. Т. А. Гофман всегда был разбитым инструментом, чудесным инструментом с маленькой трещиной.

По натуре своей человек плещущей через край дионисийской веселости, сверкающей, опьяняющей остроты ума, образцовый художник, он раньше времени разбил себе сердце о твердыню обыденности. Никогда, ни одного-единственного раза не смог он свободно и равномерно излиться в пронизанный светом, сверкающее радостью произведение. Только короткие сны были его уделом, но сны необычайные, незабываемые, и

они, в свою очередь, порождают сны, ибо окрашены в красный цвет крови, желтый цвет желчи и черный — ужаса.

Столетие спустя они все еще живы на всех языках, и фигуры, преображенно выступившие ему навстречу из тумана опьянения или красного облака фантазии, благодаря его искусству еще сегодня шествуют по нашему духовному миру. Кто выдержал испытание столетием, тот выдержал его навсегда, и потому Э. Т. А. Гофман — несчастный страдалец на кресте земной обиденности — принадлежит к вечной плеяде поэтов и фантастов, которые берут великолепнейший реванш у терзающей их жизни, показывая ей в назидание более красочные и многообразные формы, чем она являет в действительности.

### «НИЛЬС ЛЮНЕ» ИЕНСА ПЕТЕРА ЯКОБСЕНА

«Нильс Люне»! Как пламенно, как страстно любили мы эту книгу на пороге юности; она была «Вертером» нашего поколения. Несчетное число раз перечитывали мы эту горестную биографию, помнили наизусть целые страницы; тонкий истрепанный томик издания «Реклам» сопровождал нас утром в школу, вечером — в постель, да и теперь еще, когда я наугад раскрываю его, я могу слово в слово продолжить дальше с любого места: так часто и так пылко вживались мы в созданные им картины. Наши чувства формировались этой книгой и наши вкусы; она наполняла образами наши мечты, она подарила нам первое лирическое предчувствие истинного мира; наша жизнь и наша юность немислимы без нее, без этой удивительной книги, нежной, чуть болезненной и почти забытой в шуме наших дней.

Но именно за эту кротость, за эту затаенную лирическую нежность мы и любили тогда Иенса Петера Якобсена, как никого другого. Для нас он был писатель из писателей — никакими словами не выразить всю глубину и беззаветность нашего восторженного, почти детского преклонения перед ним. Лишь недавно я снова почувствовал это, когда среди книг



в самом дальнем углу вдруг обнаружил запыленную датскую грамматику. Сперва я даже не мог понять, каким образом попала грамматика на мою полку, потом вспомнил и улыбнулся: мы, несколько друзей, надумали изучить датский язык единственно затем, чтобы прочесть в оригинале «Нильса Люне» и стихи Иенса Петера Якобсена и, прочтя, еще сильнее боготворить его. Так любили мы эту книгу, так любили этого писателя.

И мы, подростки, мальчишки, робкие, пытливые новички, были не одиноки в своем преклонении. Лучшие умы Германии, творческие силы литературы на рубеже двух веков подпали тогда под колдовские чары Севера; Скандинавия была для тогдашнего поколения то же, что Россия для вчерашнего, и, быть может, Восток для нынешнего: нетронутая целина души, родник неведомых еще проблем. Ибсен, Бьёрнсон и Стриндберг воздействовали тогда с такой же самобытной, такой же все сокрушающей силой на читающую молодежь, как в наши дни воздействуют на европейскую душу Достоевский и Толстой. Молодой Герхарт Гауптман был бы немислим без Ибсена, молодой Рильке — без Якобсена; стоит пристальнее взглянуть в печальные и благородные черты Мальте Лаурица Бригте, как сквозь них явственно проступает лик его названного отца Нильса Люне, изможденный и все же сияющий.

Словно могучий порыв обновляющего, свежего ветра, хлынула в Европу литературная волна с Севера; как во времена великого переселения народов, в немецкую литературу вторглось целое племя, могучее германское племя, сильная победоносная фаланга, от которой ныне лишь ее духовный вождь Георг Брандес да поздно явившийся Кнут Гамсун, последний из триариев, остаются в сфере нашей духовной жизни. Давно оттремели громы минувших ожесточенных битв, и одержанные некогда победы теперь не очень нам понятны. Пьесы Ибсена «Нора» или «Доктор Штокман», чья жгучая проблематика потрясала в былые дни немецкое общество, мы воспринимаем теперь как ходульную риторику, ибсеновский титан мысли кажется нам всего лишь напыщенным резонером, Эл-

лен Кей с ее нравственным миссионерством — всего лишь замечательной и очень доброй женщиной, а Бьёрнсон и Стриндберг значат для нового поколения, для нового мира не более, чем прошлогодний снег.

Как и при всяком переселении народов, пришельцы за какое-нибудь десятилетие приобщились к коренной культуре, и в духовной жизни наших дней их едва ли признаешь за чужаков и завоевателей. Волна скандинавской литературы, которая победоносно прокатилась по всей Германии и разби-лась о твердыню французской традиции, спала. Она стала историей, историей литературы и уже не имеет власти над новым поколением.

Но как же он, Якобсен, кого мы дарили самой чистой и пламенной любовью, он, кто осенил нашу юность гением поэзии, он, кто был нам дороже всех, — ужели и его чары развеялись, ужели и его волшебная сила иссякла? Страшно задавать такой вопрос, страшно за несказанную полноту испытанного некогда и доселе таящегося в глубине души чувства: боязно поранить его ножом более трезвого познания, опасно устремить ясный взор в книгу, читанную некогда горящими глазами. Не станет ли эта встреча последней встречей, разлукой, горьким разочарованием? «...Надо, чтобы и зрелым мужем былым мечтам ты оставался верен», — говорит Шиллер устами своего героя, но истинная верность не должна быть робкой.

Десять, пятнадцать лет подряд я не осмеливался раскрыть эту книгу, чтобы не расплатиться за обретенную ясность смутным, но прекрасным и неувядающим воспоминанием. Но ясность превыше всего, ее следует добиваться даже ценой душевной утраты. Тогда с великой робостью, боясь причинить боль тому мальчику, который продолжает жить где-то в тайниках нашей души, я снова начинаю осторожно перелистывать страницы книги, некогда столь любимой мною.

И диво дивное: она все еще прекрасна! Не совсем так обворожительна, неотразима, увлекательна, как прежде, но все еще прекрасна. И, как прежде, веет от ее страниц нежным

запахом расцветающей сирени, таинственным и задумчивым ароматом, хотя теперь эта некогда так много нам говорившая и так бесконечно нас волновавшая книга кажется чуть поблекшей, чуть ненатуральной, чуть болезненной.

Теперь она не пьянит, как хмельное вино, теперь ее скорей пристало потягивать осторожными, неторопливыми глотками, как благовонный, экзотический и слегка переслащенный золотистый чай. Напиток до сих пор замечательно прозрачен, на фарфоровом дне, расписанном чудесными красками, видна каждая линия, каждый узор, и до сих пор не утратил он свой нежный и печальный букет, но он слегка переслащен лирикой, и слабо заварен, и холодноват. Он производит сейчас то же впечатление, что и прерафаэлиты (которыми мы в свое время не менее пылко восхищались): несколько бледные, несколько болезненные, бессильные, хилые и сентиментальные.

Запах сохранился в неприкосновенности, такой же изысканный и тонкий, но теперь это не дуновение подлинной, свободной и цветущей жизни, что врывается в открытое окно, а духота заставленной цветами комнаты; именно то, что восхищало нас прежде — переизбыток чувств, недостаток остроты, горечи и едкости, — на наш вкус, привыкший к более грубой пище и изощренный острыми приправами, кажется теперь несколько приторным.

Но как раз в этой слабости, в этой хрупкости, тихости и задумчивости таится секрет волшебной силы Йенса Петера Якобсена. Мог ли, смел ли он создавать иные книги, кроме книг с тонкой, прозрачной кожей больного, с тихим шепотом немощного, с нервической чувственностью снедаемого вечной лихорадкой, если сам он был именно таков?

Нет ничего искусственного в его хрупком искусстве: всю поэзию, все лирическое дыхание своей безнадежно больной и стесненной груди он с трогательной самоотверженностью отдавал своим книгам. Все они писались прозрачными, бледными пальцами, с лихорадочным биением сердца, когда, по выражению Якобсена, «частицы мозга сотрясаются от кашля»,

на какой-нибудь открытой террасе в Монтрё или Риме, где страдалец медленно угасал, обратившись, словно подсолнечник, к солнцу. Все они — тоска по жизни, которая так и не была прожита, ибо пятнадцать лет его творчества свелись к непрерывной борьбе со смертью. И в этой борьбе со смертью — вся его биография. Когда Георг Брандес в письме спросил однажды Якобсена о некоторых фактах его биографии, тот грустно отвечал:

«Я родился 7 апреля 1847 года в Тистеде. Что до событий моей жизни, то я не припомню решительно ни одного, которое представляло хоть какой-нибудь интерес или вообще заслуживало упоминания». Так оно и было: Иенс Петер Якобсен не пережил ничего, кроме грез Нильса Люне и Марии Груббе. Ему пришлось всю жизнь лежать на каком-нибудь балконе в ожидании солнца, постоянно питать больные легкие рыбьим жиром и молоком, чтобы не пресекся раньше времени тихий голос; так он медленно угасал, капля за каплей, то в грезах, то в стихах, и все пытался отворотить от себя смерть, и все оставался вне настоящей жизни, горячей и живой жизни, к которой тайно стремилась горячая красная кровь в его жилах. Но в удел ему достались одни лишь сны, сны, которые он с грустью пережил или воплотил в стихах, и он горько сетует в своем последнем письме на свое вынужденное бессилие: «От меня немного что осталось, да и это немного приходится держать в вате». Его жизни, его творчеству не было отпущено ни единого крика, ни единой страсти.

Поневоле приходилось быть тихим и говорить с людьми голосом затаенно приглушенным, трогательно несмелым. Эта тихозвучность, это умение услышать все тихое и сокрытое в душе и определяет его дар. Иенс Петер Якобсен — один из величайших акварелистов слова. Он владел японской кистью и нежнейшими красками для передачи мельчайших оттенков, тех неуловимых колебаний настроения, которые неощутимы для здорового; его талант воспроизводить прозрачную ткань снов наяву делает его, быть может, непревзойденным мастером среди мастеров лирической прозы: ни один из них не

обладал более чувствительным инструментом, чтобы с такой страстной любовью запечатлеть в миниатюре тончайшие хитросплетения волокон души, чувствительнейшие побеги нервов, и в этой акварельной, в этой бледной и нервической манере изображения он поистине не знает себе равных.

Его бескровной руке от природы был заказан размашистый мазок и глубокие тени, дерзновенный контур и жаркие краски, — поэтому всю свою трогательную любовь, порой обладающую волшебной силой, он отдал детали. Как истинный ботаник, кем он и был в начале своего жизненного пути, Иенс Петер Якобсен умел с удивительной бережностью разнимать чувства, словно нераспустившийся бутон, не срезая растение под самый корень острым и беспощадным ножом (подобно Достоевскому и другим глубинным психологам).

Не устаешь удивляться этому редкостному искусству разглатия душевных комплексов. Когда Якобсен бережно берет в руки чувство, оно не теряет при этом ни грана пыльцы, и, однако, нераспустившийся цветок раскрывается от одного лишь прикосновения, показывая все, что сокрыто внутри: тычинки, и пестик, и переливы красок в нежном, неповторимом сочетании.

Правда, его устремления шли дальше передачи оттенков чувства, он пытался написать нечто более весомое и дать в своей «Марии Груббе» широкое историческое полотно, но получился всего лишь гобелен, вытканый по историческим узорам, мастерски выполненные жанровые картинки, дополняющие друг друга, как в мозаике. Да и в «Нильсе Люне» он намеревался поведать историю своего времени, трагедию целого поколения, но поведал (и притом превосходно) всего лишь историю одной души. Ибо Якобсен был взыскан природой (или обречен судьбой) навеки оставаться замкнутым в себе самом; и в его творчество также не мог проникнуть внешний мир, шумный, необузданный, страстный и беспощадный. Лишь из себя самого, из тончайших нитей тоски и снов ткал он свою пряжу — самое изысканное и великолепное из всего, что когда-либо произрастало в литературе, покрытой той чу-

десной росой, которая осыпает лишь творения рано умерших, проникнутое волшебными чарами быстролетного утра перед началом дня.

Наиболее полное выражение его чувствительной натуры, его болезненной замкнутости, его заточенной тоски и трагического сознания неосуществимости заветнейших желаний мы находим в его проникновенной биографии, в фантастическом и одновременно глубоко личном образе Нильса Люне, этого полу-Вертера, полу-Гамлета, полу-Пера Гюнта, у которого много страсти и совсем нет силы и который при беспредельной воле к жизни задушен собственными мечтами и побежден тяжелой усталостью. Он человек неограниченных возможностей, этот Нильс Люне, но ни одной из них не суждено осуществиться, и потому жизнь его подобна вечно расправленным многоцветным крыльям, которые, однако, никогда не устремляют свой бурный полет к живому миру.

Эта половинчатость глубоко трагична: все у него вдвойне и ничего вдоволь, «натура мечтательная и при этом жизнелюбивая», стихотворец, который не пишет стихов, пылкий любовник, не нашедший любви, существо утонченное, состоящее из одних нервов и лишенное мускулов. Он не знает, что делать с самим собой и своими дарованиями, «у него был талант, но он не умел применить его» — так Якобсен говорит о Нильсе Люне, своем хилом отпрыске, нежно пестуя его в тепличной, расслабляющей атмосфере своих грез. Но именно эти грезы обессиливают и обезволивают Нильса Люне, «он сочиняет свою жизнь вместо того, чтобы жить ею», растрчивает силы на фантазмагии в блаженном предчувствии событий, которым не суждено произойти, в чаянии переживаний, из-за которых он упускает живую жизнь.

Он постоянно ждет, что горячая, алая, пылкая жизнь приблизится к нему, увлечет его, не имеющего сил овладеть ею, в свою пламенную стихию, ждет, покоясь на цветнике своих грез, и, убаюканный этими грезами, мало-помалу погружается в забытие. Меж тем бесплодно мелькают годы и чуда не происходит, все сильнее становится усталость — «вечный раз-

бег для так и не совершенного прыжка утомил его», — и алчущая душа не расправлена более, как крыло для полета, она бессильно никнет; и когда его посещает первое истинное переживание, то это уже не жизнь, это уже смерть.

Итак, «Нильс Люне» — жизнеописание, или, вернее, нежизнеописание человека редких дарований, которому недостает одного, чтобы сделаться настоящим мужчиной, — жестокости. Он грезит о битвах и попусту расточает в этих грезах свою силу, он живет, обратившись к своему внутреннему миру, вместо того чтобы обратиться к действительности. И эта вечная неискушенность при высочайшем знании о себе самом и о тайном тайных своей души делает его образ столь дорогим, столь неповторимым для мальчиков и женщин, словом, для тех, кто стоит в преддверии жизни или вне ее, для тех, кто на крыльях мечты уносится за пределы жизни. Ибо для нерасцветших и отцветших это изощренное знание пытливого ума таит в себе и великое утешение, и волшебство предчувствий, и высокое искусство самоотречения.

Нежная лирическая дымка, витающая над страницами книги, придает жизни, там изображенной, очарование сказки, никогда не низводя ее до лжи, ибо Якобсен не создает романтических (то есть нереальных) фигур и положений, он лишь наделяет их высочайшей одухотворенностью и высочайшей бесплотностью и тем самым приобщает к миру Китса, Новалиса и Гёльдерлина — других рано умолкнувших, других преобразивших жизнь и действительность в музыку. Тот, кто предается грезам наяву (а чему еще предаются в глубине души мальчики или люди уже отцветшие?), признает в нем величайшего мастера мечты, который достиг неслыханной ясности в познании, невиданного искусства в изображении и, однако же, умел сберечь каждое чувство и каждое событие в божественной чистоте сновидений.

Грезы не старятся вместе со временем и с человеком, вот почему волшебный мир предчувствий и отречения пребывает неизменно прекрасным во все времена. Но не этого, в сущности, хотел Иенс Петер Якобсен, когда бросил людям, как клич,

своего «Нильса Люне»; он не просто хотел расточать себя в оттенках настроений и строчках стихов, он стремился к большему, нежели подарить миру слабого «Вертера» своего времени, который задыхается от сплетения грез, как от запаха цветов.

Его Нильс Люне, этот тщедушный полупоэт, был, по сути дела, задуман как борец, как трагический герой, вступивший в самую грозную борьбу духа — в богоборчество. Он был призван стать жертвой и мучеником богоборчества, богоотступничества, того героического атеизма, который возвестил новому миру новое откровение: «Нет Бога и человек — пророк его». Отнюдь не то, что больше всего пленяет нас в этой книге, отнюдь не душевные тревоги личности, пасующей перед действительностью, а богоборчество мысли было всего важнее для Якобсена; но нашему поколению непонятна эта сторона книги, ибо тогдашние бои не представляются нам более существенными.

Ныне мы не способны постичь сердцем литературу богоборчества — поиски утраченного христианства, исход которых был тогда самым жгучим вопросом для нордической молодежи и последние отголоски которых еще звучат в «Одиноких» Герхарта Гауптмана. Две книги расшатали в то время устои христианского мира: «Происхождение видов» Дарвина и «Жизнь Иисуса» Ренана. Книги эти поколебали веру, дав трезвое толкование божественных откровений. Равным образом и сам Якобсен, как переводчик книги Дарвина, через естественные науки неожиданно пришел к воинствующему атеизму и пожелал сделать из этого обращения выводы в своем творчестве — правда, не с такой великолепной решимостью, как сделал это Ницше своим «Антихристом», но и не с такой примитивной высокомерностью, как Геккель и его немецкие последователи — монасты.

Якобсен стремился выразить мысль языком поэзии, показать атеизм как силу души, как внутреннее освобождение. Но атеизм, как и все у него, принимает эфемерно-мечтательные формы. «Их свободомыслие было несколько туманным и расплывчатым и носило национально-романтический характер, — так отзывается он в одном письме о поколении, которое



хочет изобразить, и признает далее: «В моем повествовании это выглядит пока весьма туманно».

Даже для духовной борьбы Якобсену недоставало той ярости, той силы, которая была присуща Ницше, бросавшемуся с кулаками на Бога и христианство; даже в борьбе идеей Якобсен не мог быть достаточно суровым. И его Нильс Люне сдается до срока: мальчиком он дерзко поднимает руку на Бога, когда Бог отнимает у него Эдель, а видя своего сына на смертном одре, смиренно преклоняет колена перед тем, кого некогда отверг. Тот, кто побежден жизнью, способен лишь рисовать побежденных, сила страждущего в преображении своих страданий, и в сублимации, в бегстве от мира — высочайшее обаяние слабого. Даже духовное у Иенса Петера Якобсена никогда не становится конкретным понятием, отточенным средством защиты, напротив, оно растворяется в музыке, в стихах; все его победы — в приглушенной тональности, и победные крики замирают в возвышенном самоотречении.

Но тихая музыка Иенса Петера Якобсена незабываема; с ним можно поставить рядом одного лишь Дебюсси, ибо тот столь же любовно отыскивает гармонию сквозь все диссонансы, столь же сознательно избегает всякого нажима, тишина для него — это средство наивысшего воздействия. Надо самому уметь радоваться грезам и проникаться тишиной, чтобы угадать многообразие и многоцветность в их музыке (в которой другие видят однообразие и бессилие).

И тот, чьей души единожды коснулись эти трепетные, нежные звуки, тот, кто их уловил и услышал в них красноречие человеческого языка, тот уже никогда не сможет забыть их, и не надо стыдиться, если мальчиком, когда действительность видится сквозь утреннюю дымку предчувствий, а все чувства воспринимаются под сурдинку мальчишеской скрытности, ты так любил Якобсена, ибо по-прежнему в чудесном хранилище его книг живут все ароматы, все голоса, вся сущность естества, все перлы человеческой души. Надо только заново выучиться чистому, благоговейному, трепетному восприятию, чтобы заново в полной мере приобщиться к тайне его.

## ПРОЩАНИЕ С АЛЕКСАНДРОМ МОИССИ

Наш век только начинался, когда с немецкой сцены впервые прозвучал голос молодого неизвестного актера. Мы насто-рожились. Ибо это был новый голос, не такой, как другие, и в нем звучали новые, пленительные нотки, неподражаемые и незабываемые для всех, кто хоть раз их слышал. И он был гармоничнее, проникновеннее, напевнее, мягче, чем немецкие голоса, и в нем слышались теплые, солнечные мелодии, словно южный ветер на скользящих крыльях перенес его через горы, и мы сразу уловили его итальянское звучание, которое прежде услаждало нас только в пении.

Но гармоничным, как голос, было и его тело, легкое и гибкое, в нем совместились грация античного юноши и сила гладиатора; созерцать этого молодого актера было великой радостью, ибо во всех своих перевоплощениях он оставался равно чарующим — господин и слуга, князь и заблудшая душа, но всего прекраснее, всего пленительнее как любовник. Тогда голос его становился музыкой, а все его тело — воплощением нежности; стоило лишь взглянуть на него, чтобы ощутить итальянскую пластичность его жестов; прежде чем он произносил хоть слово, вы уже слышали его страстные мольбы, и кто мог тогда устоять перед ним? Целое поколение любило его, этого божественного любовника; своей игрой, своим певучим голосом он полонил сердце немецкой нации.

Но в этом отрочески стройном теле жила пламенная душа, в этой классически прекрасной голове — ясный и пытливый ум. Мир нежных чувств скоро оказался слишком тесен для великого художника, равно как и роль вечного любовника, вожделеющего и вожделенного; в нем была великая жадность к глубочайшим тайнам жизни.

Он хотел перевоплощаться в другие образы, в героических страдальцев, в бесстрашных властителей, в мучеников, терзаемых роковыми вопросами. Он не хотел быть всегда Ромео и только Ромео в тысяче видов, не хотел быть вечным юношей,

он хотел побывать и Фаустом — мечтателем духа, и Мефистофелем — духом отрицания, и Эдипом — противоборцем неодолимому року, и Гамлетом — безвольным рабом своих мыслей.

Нет, такая пламенная душа не могла раз и навсегда замкнуться в тесном сосуде одного «ампула» (как это говорится на театральном языке), она стремилась излиться во все формы творческого духа, воплощаться во все более высоких перевоплощениях. Каждый земной образ, в котором он угадывал простор для развития человеческого начала до тех пределов, где оно соприкасается с божественным, привлекал его; не громогласные герои, бряцающие железом воители, а герои страдания были ему всего ближе.

Им да и всем нам не забыть, как он играл Федю в «Живом трупе», любимую свою роль, человека погибшего, раздавленного собственной виной и в то же время очищенного ею; ничто так не манило его, как возможность показать, что самое сокровенное, самое чистое в человеке не подвластно разрушению и что молот судьбы не уничтожает подлинного человека, а всего лишь освобождает его от житейской окалины, делает чище и свободнее. Все больше и больше привлекали его глубины человеческого характера; души смятенные, мятежные, грешные были ему всего дороже, и не было у него желания заветнее, чем показать, как снова и снова восстает человек из обломков своей разбитой жизни.

Эта любовь к душам глубоким и мятущимся родилась у Моисси потому, что он обладал столь же глубокой натурой. Его соблазняла проблема сама по себе, и кому посчастливилось близко знать его, тот помнит, что любимейшим занятием Моисси были философские рассуждения и горячие споры.

Где вы, долгие ночи, когда мы сживали с ним, задушевнейшим другом, и он воспламенялся, решая вопросы философии или морали! Как чудесно лилась его речь, как изящно, непринужденно, как искусно скрещивал он с противником рапиру сверкающих аргументов, как пламенно, страстно и

самозабвенно отдавался этой игре! Ибо духовное и человеческое составляли глубочайшую радость этого лицедея.

Он не способен был благодушно и тщеславно пожинать плоды своей славы, он жил, не глядясь в зеркало, он не стремился блистать в обществе, и салоны — эти приюты болтливого любопытства — не выдвигали его в своих стенах. Его притягивал лишь круг писателей, музыкантов, товарищей по ремеслу, его заветнейшие мечты были отданы творчеству — он мечтал творить самолично, а не только воспроизводить, не только надевать маску, но и создавать образы. Его драма о Наполеоне и представляет собой такую попытку, и кто другой, скажите мне, кто из актеров нашего времени сумел так близко подойти к тайне творчества, как он в своей драме?

Он знал слишком много об иллюзорности театра, чтобы не тяготеть к иному миру — миру истинного бытия; не только очередная роль, но и действительность, грандиозное драматическое зрелище наших дней пробуждали его страсть. И чем больше приобщался он к жизни, тем глубже и шире становились его знания; для него уже не было ничего недоступного или непосильного, он шел к тому, чтобы стать поистине универсальным актером нашего времени, ни в чем не связанный и ко всему привязанный — Протей, бог вечного перевоплощения, неизменно божественный во всех своих обликах.

Но все это миновало. «Миновало» — непостижимое слово», — говорит однажды Фауст. И в самом деле, трудно постичь, как то, что тысячекратно запечатлено в нашей памяти, что вечно стоит перед нашими глазами, еще звучит музыкой в наших ушах, питает и возбуждает наше чувство, «миновало», и его нет больше, нет на свете. Трудно постичь, что, произнося имя Моисси, мы подразумеваем не живого и вечно живущего в нас, а это ничто, которое уже не говорит, не дышит, не пылает.

Нет, не будем предаваться мыслям о неведомом, не будем думать, что его нет больше, будем думать лишь о том незабываемом, что исходило от его существа: о вечерах нашей юности, когда мы закрывали глаза, чтобы полнее вслушаться в

музыку его голоса, а потом снова открывали их, чтобы не упустить ни единого движения; оживим в памяти те часы, когда мы спешили за кулисы, чтобы скорей обнять его или хоть пожать ему руку, вспомним, вернее, почувствуем ту чудесную теплоту, которую он умел сообщить ей, вспомним, как этот человек, именно потому, что он был так беспредельно человечен, дарил новые силы миллионам.

Вспомянем — и возблагодарим того, кто больше не может нам ответить, за все знание человека и души человеческой, которым он наделил нас; а мне кажется, что в мире нет радости более чистой, чем познавать человеческое. Благословен, кто наставляет нас в этом святом искусстве, дорог сердцу, кто живет и страдает ради него.

Замечательного, неповторимого художника потеряли мы, потеряли все. Так уместно ли задаваться вопросом, кем был Алессандро Моисси по сути своей, кем в первую очередь, кем в последнюю, немецким актером или итальянским? Нет, общая любовь не знает тяжб. В каждом большом художнике живет не одна душа, на предельно высокой и предельно совершенной ступени кончаются все различия; тот, кто достиг ее, не принадлежит более одной нации, он достояние всех наций, и не одной страны, а всего мира.

Таким художником был наш Алессандро, в тысяче жизней прожил он свою жизнь. Он был грек с Софоклом, британец с Шекспиром, немец с Гёте, Гауптманом и Гофмансталем, русский с Толстым и Достоевским, итальянец с Д'Аннунцио и Пиранделло, он и как актер был «всякий человек» — «every man» — гражданин мира в священном царстве искусства, где, оторвавшись от земного, взгляд устремляется к божественному, к святому единству наперекор всем и всяким различиям. Из этой непостижимости явился он к нам, в нее ушел снова, и приход его — общее счастье для всех нас, и уход его — общее горе.

И память наша о нем в этот час да будет поэтому братской. Слова более не достигают его, так удержимся же от слов, чтобы в молчании еще раз услышать внутренним слухом его

голос, еще раз увидеть мысленным взором его дорогой образ, каждый — про себя, каждый — в душе своей. Тогда он даже в смерти не будет одинок, тогда он не уйдет безвозвратно, а дорогим и незабвенным другом пребудет навеки в нашем кругу, великий художник, которого подарила миру земля Италии, Алессандро Моисси, звезда нашей юности, символ красоты естества и духа, наш друг, наш спутник, которого мы потеряли и все же не хотим терять. Сохраним же верность его памяти, любовь и почитание к его нетленному образу.

## ИОЗЕФ РОТ

Щедро, даже сверхщедро даровали нам последние годы возможность научиться тяжкому и горестному искусству прощания. С чем только ни пришлось распротиться нам, изгоям и изгнанникам, — с отчизной, с привычным полем деятельности, с родным кровом и добром, с завоеванной в долгой борьбе уверенностью. Каких только мы не понесли потерь, мы теряли снова и снова, теряли друзей, отнятых у нас смертью или малодушием, и прежде всего теряли веру, веру в мирное и справедливое устройство мира, веру в конечную и окончательную победу права над произволом. Слишком много мы испытали разочарований, чтобы сохранить былую способность надеяться безудержно и пылко; теперь, побуждаемые инстинктом самосохранения, мы хотим приучить свой мозг отмахиваться и перемахивать через каждое новое потрясение и рассматривать все, что осталось позади, как бесследно ушедшее.

Но порой наше сердце выходит из повиновения и отказывается забывать так скоро и навсегда. Всякий раз, когда мы теряем человека, одного из тех редкостных людей, которых считаем незаменимыми и невозместимыми, мы с изумлением и радостью сознаем, что наше придавленное сердце еще способно испытывать боль и негодовать на судьбу, до срока отнимающую у нас самых лучших и самых незаменимых.

Таким незаменимым был наш дорогой Иозеф Рот, забываемый человек, писатель, которого уже никогда и никаким

декретом не вычеркнешь из анналов немецкой литературы. Неповторимое сочетание самых разнообразных элементов питало его творчество. Родился он, как вы знаете, в небольшом местечке, на старой русско-австрийской границе, и это обстоятельство сыграло главную роль в его духовном формировании. У Иозефа Рота была русская натура, я сказал бы даже, карамазовская, это был человек больших страстей, который всегда и везде стремился к крайностям; ему была свойственна русская глубина чувств, русское истовое благочестие, но, к несчастью, и русская жажда самоуничтожения. Жила в нем и вторая натура — еврейская, ей он обязан ясным, беспощадно трезвым, критическим умом и справедливой, а потому кроткой мудростью, и эта натура с испугом и одновременно с тайной любовью следила за необузданными, демоническими порывами первой. Еще и третью натуру вложило в Рота его происхождение — австрийскую, он был рыцарственно благороден в каждом поступке, обаятелен и приветлив в повседневной жизни, артистичен и музыкален в своем искусстве. Только этим исключительным и неповторимым сочетанием я объясняю неповторимость его личности и его творчества.

Родился он, как я уже говорил, в еврейской семье, в небольшом местечке, на самой границе Австрии. Но, странное дело: истинных приверженцев и защитников нашей своеобразной страны никогда нельзя было найти в Вене — ее онемеченной столице, а всегда только на самых далеких окраинах монархии, там, где люди могли ежедневно сравнивать беспечное и мягкое правление Габсбургов с куда более суровыми и менее гуманными режимами соседних стран. В местечках, вроде того, где родился Иозеф Рот, евреи с благодарностью взирали на Вену; там, недостижимый, словно Бог на небеси, жил старый-престарый Франц Иосиф, и они любили и славили своего далекого императора, как живую легенду, и чтили пестрых ангелов этого Бога — его офицеров, уланов, драгун, чей радужный отблеск озарял порой их убогий, затхлый мирок. Это впитанное с детства почтение к императору

и его армии Иозеф Рот взял с собой, когда перебрался из родного гнезда в Вену.

И еще одно привез он с собой, когда наконец после невыносимых лишений вступил на землю этого священного для него города, чтобы изучать германистику в тамошнем университете: он привез смиренную и в то же время страстную, деятельную и неизменную любовь к немецкому языку.

Дамы и господа! Сейчас не время опровергать все лживые и клеветнические измышления, с помощью которых нацистская пропаганда пытается оглушить мир. Но нет клеветы более гнусной, лживой и вопиющей, чем утверждение, что евреи в Германии когда-либо питали ненависть или вражду к немецкой культуре. Напротив, как раз в Австрии можно было своими глазами убедиться, что в тех пограничных областях, где находилось под угрозой само существование немецкого языка, именно евреи, и только они, сберегали немецкую культуру. Имена Гёте, Гёльдерлина и Шиллера, Шуберта, Моцарта и Баха были для восточных евреев не менее священны, чем имена их праотцов. Пусть это была злосчастная, а сегодня, конечно, и отвергнутая любовь, самый факт этой любви не удастся скрыть никакой ложью, ибо она подтверждена и доказана сотнями произведений и поступков.

И Иозеф Рот с детства лелеял заветное желание: служа немецкому языку, послужить великим идеям мирового гражданства и свободы духа, составлявшим доселе славу Германии. Ради этой цели он и приехал в Вену — основательный знаток, а вскоре и мастер немецкого языка. Щуплый, малорослый, застенчивый студент явился в университет с изрядным багажом знаний, завоеванным и отвоеванным бессонными ночами; привез он с собой и еще одно: свою бедность.

Впоследствии Рот не любил рассказывать про это время унижительной нужды. Но мы знали, что до двадцати одного года он ни разу не надел костюма, сшитого по мерке, а довольствовался чужими обносками, что он изведаль вкус благотворительной похлебки, и это мучительно унижало его и ранило его необычайную чувствительность. Мы знали, далее, что



лишь с трудом, без устали давая уроки и учительствуя, он смог продолжать университетские занятия.

В семинаре он тотчас обратил на себя внимание преподавателей, ему выхлопотали стипендию как самому талантливому, самому блестящему студенту, ему посулили доцентуру, все, казалось, складывается как нельзя лучше. Но тут девятьсот четырнадцатый год неумолимо рассек мир для нашего поколения на «до войны» и «после войны».

Роту война принесла не только решение судьбы, но и освобождение. Решение потому, что она навсегда сняла вопрос о размеренном существовании преподавателя гимназии или доцента. А освобождение потому, что дала ему, привыкшему зависеть от других, желанную самостоятельность. Мундир прапорщика был для него первым по мерке сшитым костюмом. Ответственность на фронте впервые придала этому безгранично скромному, чувствительному и робкому человеку мужество и силу.

Но, видно, ему на роду было написано, едва обретя устойчивость, снова терять ее. Поражение армии вернуло его в Вену, без цели, без перспективы, без денег. Позади остались мечты об университете, позади — бурная пора солдатчины, теперь надо было строить жизнь на пустом месте. Он чуть не сделался редактором, но, по счастью, нашел, что в Вене дело подвигается слишком медленно, и перебрался в Берлин.

И тут наступил перелом. Сперва газеты милостиво печатали его, потом начали осаждать как одного из самых блестящих и проницательных наблюдателей жизни. «Франкфуртер Цейтунг» — и это было новой удачей — дала ему возможность поехать по свету, побывать в России, Италии, Венгрии, Париже. Тогда-то мы и заметили впервые новое имя — Иозеф Рот — и сразу почувствовали за виртуозной техникой изложения по-человечески отзывчивый ум, который проникает не только внешнее, но и скрытое и сокровеннейшее души человеческой.

Спустя три-четыре года к Иозефу Роту пришло все, что, с точки зрения буржуазной, принято называть успехом. У него

была молодая, горячо любимая жена, были благосклонность и признание газет, был свой, все растущий круг читателей и почитателей, были деньги — и даже много денег. Но этот удивительный человек не возгордился от успехов и не подпал под власть денег. Он раздавал деньги направо и налево, зная, быть может, что у него им не место. Он не обзавелся ни домом, ни кровом, а кочевал из отеля в отель, из города в город, всего лишь с маленьким чемоданчиком, да десятком хорошо отточенных карандашей, да тридцатью — сорока листами бумаги, рассованными по карманам неизменного серого пальто, — так он прожил жизнь по-цыгански, по-студенчески, какое-то подспудное чутье понуждало его избегать оседлости, и он недоверчиво уклонялся от всякого сближения с уютным буржуазным счастьем.

И чутье не обмануло его — вопреки всяческим доводам разума. Рухнула внезапно первая, воздвигнутая им против судьбы преграда — счастливый брак: горячо любимая жена, вернейшая его опора, неожиданно лишилась рассудка, и лишилась, хотя он сам боялся себе в этом признаться, навсегда. Вот первый удар, потрясший здание его бытия, удар тем более роковой, что русская натура Иозефа Рота, та карамазовская душа страстотерпца, о которой я уже говорил вам, властно заставляла его взять вину за случившееся на себя.

Но именно потому, что он своими руками разорвал себе грудь, миру впервые открылось его сердце, удивительное сердце художника; чтобы утешить, чтобы исцелить себя, он пытался перевоплотить случайную, личную судьбу в вечный и вечно обновляющийся символ; думая и раздумывая над тем, за что судьба так немилосердно поразила его, именно его, который никому в жизни не сделал зла, который хранил смирение и кротость в годы нужды и не преисполнился гордыни в мимолетные годы счастья, он, должно быть, не раз вспоминал о другом человеке одной с ним крови, о том, кто в отчаянии бросил Богу тот же вопрос: за что? За что меня? За что именно меня?

Все вы, конечно, понимаете, какой символ и какую книгу

Иозефа Рота я имею в виду, — «Иова», простоты ради называемого романом, хотя это больше чем роман и больше чем легенда — самое чистое и совершенное творение нашего времени и, если я не ошибаюсь, единственное, которому суждено пережить все, что написано и создано нами, современниками Иозефа Рота. Воплощенная боль явила во всех странах и на всех языках неодолимость своей внутренней правды, и, скорбя об ушедшем, мы можем утешаться мыслью, что в совершенной и благодаря своему совершенству нетленной форме останется жить в веках какая-то часть Иозефа Рота.

Я сказал, что какая-то часть его, запечатленная в этой книге, избегнет забвения, и, говоря так, я имел в виду еврейскую натуру Иозефа Рота, неустанно взыскивающую к Богу, требующую справедливости для нашего мира и для грядущих миров. Но, впервые осознав свой творческий дар, Иозеф Рот пожелал выразить и другую свою натуру — австрийскую. Вы, конечно, опять догадались, что речь идет о «Марше Радецкого». Как гибнет старая, благородная и обесиленная своим благородством австрийская культура — вот что хотел он показать в образе последнего отпрыска угасающего рода. Это была книга прощания, грустная и пророческая, как все книги настоящих художников. Тому, что в грядущие времена захочет прочесть эпитафию на могиле старой монархии, придется склонить взор к страницам этой книги и ее продолжению — «Могиле капуцина».

В двух этих книгах, принесших ему мировую известность, Иозеф Рот, наконец, высказал и выказал себя тем, кем он был на самом деле: и настоящим художником, и замечательно трезвым наблюдателем своей эпохи, и мудро снисходительным ее судьей. Много чести выпало тогда на его долю, много славы, но он не прельстился ими. Как пронизателен был он и в то же время терпим, как он умел постичь и в то же время простить слабости каждого человека и каждого произведения; он чтил своих старших братьев и протягивал руку помощи младшим.

Друг каждому другу, товарищ каждому товарищу, доброжелательный и приветливый со всеми, даже с чужими, он поистине расточал свое сердце и свое время, оставаясь — если позаимствовать выражение нашего друга Эрнста Вейса — «бедным расточителем». Деньги, как вода, текли у него между пальцев, всякому, кто бедствовал, он раздавал их в память о своих былых лишениях, всякому, кто нуждался в помощи, он оказывал ее в память о тех немногих, которые некогда помогли ему. Во всем, что он делал, говорил и писал, мы ощущали неотразимую и незабываемую доброту, великолепное, порусски безудержное саморасточительство. Лишь знавшие его в те времена способны понять, почему мы столь беспредельно любили этого редчайшего человека.

А потом наступил перелом, тот для всех нас роковой перелом, который тем страшней поражал человека, чем дружелюбнее он взирал на мир, чем глубже верил в будущее, чем восприимчивей был в душевном смысле, который оказался потому всего грозней для таких тонко организованных и фанатически преданных справедливости людей, каким был Иозеф Рот. Не то, что его собственные книги были прокляты и сожжены, а имя предано забвению — не личное горе возмутило и потрясло его до глубины души, а торжество зла, ненависти, лжи, торжество антихриста на земле, как он сам говорил, ввергло его в беспредельное отчаяние.

И тогда началось превращение этого добрейшего, этого сердечного и нежного человека, для которого источать доброту и дружелюбие было естественной жизненной функцией, в ожесточенного борца. Отныне он ставил перед собой одну лишь задачу: употребить все свои силы, как творческие, так и личные, чтобы побороть антихриста на земле. Он, всегда державшийся особняком в своем искусстве, не примыкавший ранее ни к одной группировке, ни к одному направлению, теперь со всей страстью потрясенного и неукротимого сердца искал прибежища в боевом содружестве. Таковое он обрел или мнил обрести в католицизме и австрийском легитимизме.

К концу своей жизни Иозеф Рот стал ревностным и право-

верным католиком, смиренно выполняющим все предписания этой религии, стал борцом и поборником незначительной и — как это выяснилось впоследствии — весьма бессильной группировки легитимистов — сторонников дома Габсбургов.

Я знаю, что многие из прежних друзей и товарищей осудили этот, по их выражению, поворот к реакции, сочли его ошибкой и заблуждением. Но так же, как я не мог ни одобрить этот поворот, ни, тем более, лично повторить его, я не смею усомниться в его искренности или увидеть в нем что-либо непонятное. Ибо еще ранее, в «Марше Радецкого», Иозеф Рот заявил о своей любви к старой, императорской Австрии, еще прежде, в «Иове», показал, какая сокровенная потребность в религии, какое настоятельное стремление к вере составляет основу его творческой жизни.

Ни грана трусости, расчета или умысла не было в этом повороте, а было лишь иступленное желание принять сильное участие в битве за европейскую культуру — все равно, в каком чине. Я готов даже думать, что задолго до гибели второй Австрии он уже знал хорошо, что служит проигранному делу. Но именно свойственное ему рыцарское благородство побуждало его сражаться там, где опасность была всего сильнее, а надежды на победу — всего ничтожнее; он был рыцарем без страха и упрека, до конца преданным святому для него делу — борьбе с врагом человечества и беспредельно равнодушным к собственной участи.

Равнодушие к собственной участи и даже более того — тайное стремление к смерти. Наш дорогой, навсегда ушедший от нас друг так иступленно страдал, видя, как торжествует в мире презренное и ненавистное ему зло, что, постигнув невозможность уничтожить это зло собственными силами, начал уничтожать себя самого. Во имя правды мы не должны ничего скрывать — не только кончина Эрнста Толлера была добровольным уходом от нашего безумного и неправого, нашего гнусного времени. И наш друг Иозеф Рот, гонимый тем же чувством отчаяния, сознательно уничтожил себя, с той лишь разницей, что его самоуничтожение оказалось еще более же-

стоки, ибо совершалось гораздо медленней, день за днем, час за часом и часть за частью, как самосожжение.

Большинство из вас, я полагаю, уже поняло, что я имею в виду: безмерное отчаяние, порожденное бессмысленностью и безнадежностью борьбы, душевное смятение вслед за смятением мира превратили этого прозорливого, этого чудесного человека в неудержимого и под конец неизлечимого пьяницу. Однако при слове «пьяница» не представляйте себе бесшабашного кутилу, который шумно пирует в кругу друзей, побуждая и себя и своих собутыльников к веселью и жизнерадостности. Нет, Иозеф Рот пил с горя, пил, чтобы забыться, его русская натура, тяга к самоосуждению, сделала его рабом этого медлительного, страшного яда.

Прежде алкоголь был для него лишь средством творческого возбуждения: за работой он время от времени пригубливал, именно пригубливал рюмочку коньяку. Это был сначала всего лишь прием художника. Если другим в процессе творчества нужна стимуляция потому, что мозг их творит недостаточно быстро, недостаточно образно, Иозефу Роту с его нечеловеческой ясностью ума нужно было слегка, чуть заметно отуманить мозг, как затемняют комнату, чтобы лучше слушать музыку.

Но потом, когда разразилась катастрофа, все настойчивее становится потребность одурманить себя перед лицом неотвратимого зла, заглушить свое отвращение к бесчеловечному миру наших дней. Все больше крепких напитков, светлых и темных, требовалось для этой цели, все крепче и горше становились они, чтобы перебить внутреннюю горечь. Поверьте мне, это был запой из ненависти и гнева, из возмущения и бессилия, это был жестокий, мрачный, лютый запой, ненавистный самому Иозефу Роту, но неодолимый.

Нетрудно понять, как сокрушало нас, его друзей, это иступленное самоуничтожение одного из благороднейших художников нашего времени. Видеть, как гибнет у тебя на глазах человек, почитаемый и любимый, сознавать, что ты бессилен защитить его от всесильной судьбы и подступающей смерти, уже достаточно тяжело. Но куда страшней видеть, что люби-

**мый человек гибнет не под ударами судьбы, а по своей воле, видеть, как твой задушевный друг сам убивает себя, видеть — и не мочь вырвать его из объятий смерти.**

**А нам довелось видеть, как этот замечательный художник, этот прекрасный человек опускался внутренне и внешне, как все ясней проступал в его угасающих чертах приговор неумолимого рока. Безостановочный упадок, безостановочный распад. Но если я сейчас вспоминаю об этом трагическом самоуничтожении, то отнюдь не затем, чтобы обвинить самого Иозефа Рота, нет, в его гибели повинно лишь наше время, наше незаконное и бесчестное время, которое повергает благороднейших своих сынов в такую бездну отчаяния, что они не видят другого выхода из ненависти к этому миру, кроме самоуничтожения.**

**Итак, дамы и господа, я упомянул эту слабость не для того, чтобы бросить тень на нравственный облик Иозефа Рота, а с обратной целью — чтобы вы вдвойне постигли чудо из чудес: каким потрясающе неприкосновенным и нетленным до последней минуты оставался в этом обреченном человеке художник, творец. Как асбест не поддается огню, так и творческая субстанция в нем не поддавалась духовному самосожжению. Вопреки всем законам логики и медицины свершалось чудо: живущий в нем творческий дух торжествовал над слабеющей плотью.**

**В ту минуту, когда Иозеф Рот брался за перо и начинал писать, кончалось смятение мыслей; у этого недисциплинированного человека немедля пробуждалась та железная дисциплина, которая отличает лишь художника с самым ясным умом; Иозеф Рот не оставил нам ни единой строки, не отмеченной печатью высокого мастерства. Прочтите его последние статьи, прочтите или прослушайте страницы его последней книги, написанной всего лишь за месяц до смерти, рассмотрите придирчиво и скрупулезно эту прозу, как ювелир рассматривает драгоценный камень, — вы не найдете ни единой трещины в алмазной чистоте ее граней, ни единого помутнения в ее прозрачной игре.**

**Любая страница, любая строка отшлифована у него, как**

стихотворная строфа, с тончайшим чувством ритма и мелодии. Теряло последние силы брненное тело, изнывала смятенная душа, но по-прежнему негибачаемым оставался он в своем творчестве, ибо, творя, всегда помнил о своей ответственности — не перед презренным миром настоящего, а перед будущим: это было торжество, беспримерное торжество человеческого сознания над видимым распадом.

Я нередко заставлял Иозефа Рота за его излюбленным столиком в кафе, где он сидел и писал. Я понимал, что рукопись уже продана, что нужны деньги, а издатели торопят. Но без тени сожаления, всестрожайший и всемудрейший судья, он разрывал у меня на глазах исписанные листы и начинал все сначала, из-за того лишь, что какой-нибудь незначительный эпитет еще не приобрел должного веса, что какая-нибудь фраза недостаточно музыкальна. Верность своему дару оказалась сильнее, чем верность себе самому, в своем искусстве он блистательно превозмог свое падение.

Дамы и господа, мне многое еще хотелось бы сказать об этом удивительном человеке, чья истинная цена сегодня не до конца открылась даже нам, его друзьям. Но сейчас не время давать окончательные оценки и не время предаваться личной скорби. Нет, сейчас не время для личных чувств, потому что сейчас идет духовная война, и мы находимся на опаснейшем участке фронта.

Вы все знаете, что на войне при каждом поражении выделяется небольшая группировка, чтобы прикрыть отступление и дать разбитому войску возможность перестроиться. Этим принесенным в жертву батальонам надлежит как можно дольше сдерживать натиск превосходящих сил противника, они стоят насмерть под ураганным огнем и несут самые тяжелые потери. В их задаче не входит выиграть бой — для этого они слишком малочисленны, задача у них другая — выиграть время, время для строящихся за ними основных сил, время для очередного, для решающего сражения.

Друзья мои! На этой передовой заставе, среди принесенных в жертву, находимся сегодня мы, художники, мы, писа-



тели-эмигранты. Нам и самим еще покуда неизвестно, в чем подлинный смысл нашей задачи. Быть может, удерживая эту заставу, мы всего лишь призваны скрыть от мира то обстоятельство, что литература Германии с приходом Гитлера к власти потерпела унижительное поражение от руки истории и скоро окончательно исчезнет из поля зрения Европы. А быть может — от всей души хочу надеяться! — быть может, мы должны удерживать заставу только до тех пор, пока за нами не произойдет перегруппировка сил, пока немецкий народ, немецкая литература снова не обретут свободу и не возобновят творческого служения духу.

Так ли, иначе ли, не наше дело справляться о смысле задачи, перед нами поставленной, наше дело — удержать доверенные нам позиции. Мы не смеем терять мужества, видя, как редеют наши ряды, мы не смеем даже предаваться печали, видя, как справа и слева от нас падают лучшие из наших товарищей, ибо, как я уже сказал, мы находимся на фронте, на опаснейшем его участке. Бросить взгляд на упавшего друга, взгляд признательности, печали и немеркнувшей памяти и снова уйти в единственное укрытие, которое еще способно защитить нас, — вернуться к нашей работе, к нашей задаче — нашей личной и нашей общей, и вплоть до горького конца выполнять ее мужественно и неуклонно, как завещали нам два наших друга — неистовый Эрнст Толлер, незабываемый и незабвенный Иозеф Рот.

## «МОЦАРТ» БЕЛА БАЛАША

Уже многие десятилетия все снова и снова встает вопрос о том, может ли человек-творец, образ, подобный Рембрандту, Бетховену, Микеланджело, стать предметом драматического воплощения. Когда дело идет о гениальных государственных мужах и иных людях действия, вопрос заранее решается положительно. Активность, деятельность составляет самое существо их натуры, каждое их решение приводит к очевидным результатам, и даже те препятствия, которые им приходится

преодолевать, наглядны и воплощены в определенных людях и установлениях. Поэтому Цезарь, или Александр, или Кромвель, или Робеспьер не только готовые герои трагедий: сами образы их толкают поэта на создание произведений драматических.

Не так обстоит дело с гениальными поэтами, художниками, музыкантами. Там, где сама борьба, именуемая творчеством, протекает в глубинах души, где препятствия, которые ставит перед собою сам творец, важнее, чем те, которые громоздит перед ним внешний мир, где предметом изображения становится сама поэзия, — там лишь в редких случаях удается воплотить в осязаемой форме душевный конфликт. Даже «Тассо» Гёте, может быть, наиболее удачная попытка такого рода, действует на нас, скорее, как поэма, чем как драматическое сплетение событий.

Почти всегда трагедия художника бывает слишком личной, слишком глубоко спрятанной, чтобы вызвать общий отклик, и лишь очень редко она может прийти прямо со сцены до простого, не подготовившего себя чтением зрителя. Ибо та квинтэссенция, которую мы и называем гениальностью, представляет собой материю невидимую, всегда новое и таинственное сочетание и соединение свойств, стихию неповторимую и не воспроизводимую с помощью грубого театрального механизма. И всякий драматург, который пытается представить на сцене это недоступное для нее по своим масштабам явление, должен заранее отдавать себе отчет в том, что ему удалось не показать наглядно, в чем суть гения, но лишь в лучшем случае изобразить гения как человека, воплотить его земную, временную природу, а не вневременное начало в его земном облике.

Самым большим достоинством драматического этюда «Моцарт» мне и представляется то, что Бела Балаш, сознавая названную трудность, не пытается воссоздать образ «божественного Моцарта», но изображает мнимого «любимца богов» прежде всего как человека и в этом изображении подходит, по-моему, ближе к подлинному, историческому портрету, чем авторы всех известных мне произведений о Моцарте.

Не следует забывать, что за эти сто или сто пятьдесят лет в литературе роковым образом сложилось поверхностное представление о Моцарте, которое опасно упрощает его: Моцарт изображается только как гений легкости, которому все удаётся шутя и играя, как тип «благословенного богами» художника, который творит по их милости, не ведая затруднений и всегда оставаясь веселым, общительным и приветливым, не знает людской вражды и противодействия. Благодаря такому упорному безумству до умиления легко и удобно противопоставлять Моцарта, как аполлонического художника, демоническому Бетховену (так Рембрандта противопоставляют Рафаэлю, словно тень свету).

Тот, кому лучше известна жизнь Моцарта, знает, насколько поверхностна эта легенда о вечно беззаботном любимце богов. В действительности Моцарт был одним из самых непреклонных и свободных людей, во имя этой свободы он превратил всю свою жизнь в полную опасностей борьбу. Причиной того, что его жизненный уклад оставался простым и непритязательным, как у обыкновенного небогатого горожанина, была вовсе не какая-то особенная его скромность или легкомысленная беспечность: нет, лишь твердо осознанное желание никому не служить заставляло его вести это незаметное, но независимое существование. Он предпочитал бедствовать, но не состоять при каком-нибудь покровителе-князе, при дворе или ином надменном обществе музыкальным лакеем. Лучше давать уроки на фортепьяно, лучше писать музыку для курантов и танцы, чем выклянчивать деньги льстивыми посвящениями. Ни один музыкант в ту эпоху — не исключая и Бетховена — не остался внутренне столь свободен от предрассудков своего времени и столь чужд почтения ко всем высокопоставленным и высокопоставленным особам.

Мне кажется, лучше всего характеризует гордую независимость Моцарта тот слишком малоизвестный факт, что за всю жизнь Моцарт ни разу не воспользовался своим дворянским титулом. Глюк давно уже вошел в музыкальную литературу как «шевалье Глюк» или «кавалер Глюк» (Э. Т. А. Гоф-

ман), почтительно повторяет один автор за другим этот титул, и действительно, согласно букве закона, Глюк имел право именоваться «кавалере», как и всякий, кто получил от папы орден Золотой шпоры. Но ведь и Моцарт тоже получил от папы этот орден, к тому же в возрасте двенадцати или тринадцати лет; тем самым и ему, как Глюку, был присвоен титул кавалера. Но всего лишь месяц мальчик находит удовольствие в том, чтобы всюду подписываться «кавалере Вольфганг Моцарт»; потом он отбрасывает свой титул, словно грязную перчатку, и ни в извещении о свадьбе, ни в извещении о смерти мы не находим больше пышного титула «кавалере», или «кавалер». Моцарт умер, как и жил, незаметным и свободным, и символично то, что и на кладбище ему не досталось отдельной могилы: он был похоронен среди других бедных и незаметных, в братской могиле.

Внутреннюю независимость Моцарта и ту борьбу, которую он на протяжении всей жизни должен был вести ради этой малой, бедной, почти пролетарской свободы, Бела Балаш выбрал темой своей пьесы. Он показывает, как еще ребенком в силу своей врожденной непосредственности Моцарт восстает против светских условностей, как подростком он освобождается от отца, который с самыми лучшими намерениями хочет оградить сына от всего, выходящего за пределы мещански ограниченного круга, показывает, как Моцарт отказывается от службы у архиепископа и как до последнего часа борется за свою высшую святыню — чистоту и неприкосновенность своего искусства.

Все это Бела Балаш рисует убедительно и живо, и наибольшим достоинством его пьесы кажется мне то, что в ней он нигде не впадает в схематизм и во имя предвзятого возвеличивания Моцарта не приписывает отцу или Гагенауэру жалкой роли тупых невежд и не унижает Констанцию, выводя ее черствым, бессердечным существом, не понимающим гения своего мужа (именно в таком лживом свете охотно изображают характер этой веселой, не слишком глубокой, но по-своему искренне любящей женщины). Балаш одинаково далек и от сентимен-

тальности, и от насильственной героизации. Для него самое главное — показать Моцарта таким, каким он был: свободным и страстно сознающим свою свободу человеком. Это ему, безусловно, удалось, и мы чувствуем, как от сцены к сцене возрастает наша симпатия к изображаемым людям, — потому что изображение это, как говорит мне мое чувство, полностью совпадает с исторической правдой благодаря своей художественной правде — единственной доступной нам, потомкам.





## ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ, ГОРОДАМИ, КНИГАМИ»

### ПРЕДИСЛОВИЕ

**Н**е раз друзья настоятельно рекомендовали мне собрать в отдельный том написанные мной в разное время небольшие прозаические произведения. Но я никак не мог согласиться с ними. Я считал, что любая книга добросовестного писателя должна быть органически цельной, случайная же подборка материала будет только симулировать эту органичность. Внутренне не связанные заметки, воспоминания, рецензии приобретают определенное право на общую связь друг с другом лишь в случае, когда принадлежат обладающему очень высоким интеллектуальным потенциалом выдающемуся человеку, каждое высказывание которого — значительно. Я же никогда не был настолько заносчив, чтобы предполагать за собой подобную значимость.

Так шли годы, и, наконец, само время стало торопить меня. Тридцать лет жизни в мире искусства — это вполне цельный блок времени, мысли, родившиеся в этот временной отрезок, уже более не отражают переживания и взгляды на жизнь какого-то одного, может быть, много мнящего о себе человека, они стали ощущением, взглядом на мир целого поколения. Все чаще и отчетливее стал я чувствовать, что когда-то пережитые мной события воспринимаются мной еще и сейчас как только что свершившиеся, что люди, с которыми я когда-то общался, остались моими современниками, людьми сегодняшнего дня. Молодым же людям, моим собеседникам, все это представляется уже историей и, тем самым, приобретает совершенно другой смысл. И они, мои молодые собеседники, ожидают свидетельствований от тех, которым судьба дала возможность

заглянуть в прошлое, кого наделила способностью проследить и установить связь времен.

И я решился собрать разбросанные во времени свои эссе, повествующие в основном о том, что было очарованием, счастьем, удачей, опытом моей юности, причем решился на это не с целью оказаться героем книги, ее сутью, а лишь для того, чтобы передать читателям ценности, которые обогатили духовную жизнь моего поколения. Это — встречи с людьми, городами, книгами, музыкой, встречи со временем, иногда вдохновляющие, а затем опять разочаровывающие.

Возможно, многие, именно те, для кого политика теперь (роковым образом) стала очень важной, почувствуют, что в книге недостаточное внимание уделено атмосфере времени. Но если эта книга в духовном плане и являет собой нечто цельное, то лишь из-за моего страстного желания стоять во всем вне политики, из-за неколебимого стремления понять даже самое чуждое мне, оценивать в народах и временах, в людях и произведениях лишь положительное, только творческое и с этим желанием понять смиренно, преданно служить нашему вечному идеалу: гуманному взаимопониманию между людьми, культурами и нациями.

*Стефан Цвейг.*

*Лондон, 1937*

## ВОСПОМИНАНИЯ О ЭМИЛЕ ВЕРХАРНЕ

*К изданию от 27 ноября 1926 года*

Эти страницы, посвященные благодарной памяти Эмиля Верхарна, исторгло у меня в 1916 году, в самый разгар мирового пожара, потрясение, вызванное вестью о его смерти. Их публикации воспрепятствовало распространившееся в то время опасное заблуждение, будто война сводит на нет и значение культурных ценностей противника: писать в те дни с любовью о бельгийце значило идти наперекор духу, или, вернее, безду-

шую, эпохи. Поэтому в 1917 году, минуя цензуру, я частным образом отпечатал лишь несколько экземпляров этой книжки, предназначавшихся только для избранных друзей. И все они (спасибо им за то!) оправдали мое доверие: ни один из экземпляров не стал предметом огласки, и, таким образом, первое издание книги явилось как бы тайным реквиемом, исполненным при закрытых дверях, панихидой по усопшем друге в кругу ближайших друзей.

Пусть же сегодня, в десятую годовщину того скорбного дня, созданный втайне образ глубоко чтимого нами по-прежнему горячо любимого поэта открыто предстанет точь-в-точь таким, каким он был запечатлен мною тогда.

Пусть все, кто любит Верхарна-поэта, заглянув в его жизнь, получат новое подтверждение своей любви!

*Стефан Цвейг*

*Памяти доктора Ами Кэммерера  
в знак его большой доброты  
и дружбы к Верхарну.*

На третьем году войны тысячеликая смерть вырвала из жизни Эмиля Верхарна; подобно растерзанному менадами Орфею, он погиб под колесами одной из тех машин, которые он воспевал.

Судьба держала меня тогда, как и в другой скорбный час, в час погребения поэта, вдали от него; злая, нелепая судьба нашей эпохи, по милости которой национальные языки вдруг превратились в рубежи между народами, родина стала тюрьмой, дружеское участие — преступлением, и люди, связанные узами духовного родства и дружбы, были вынуждены называть друг друга врагами. Все чувства, кроме ненависти, были запрещены и карались законом. Но скорбь — кто может изгнать это чувство, живущее в глубочайших, недоступных тайниках души! А воспоминания! Кто преградит путь этому священному потоку, теплыми волнами омывающему сердце! И если наш неразумный век может разрушить настоящее или



омрачить будущее, то прошедшее не подвластно этой разрушительной силе; лучшие дни его, словно яркие светочи, сияют во мраке наших дней, и отблеск их падает на эти страницы, которые я пишу в память о Верхарне и себе в утешение.

Я пишу их для себя и для тех из друзей поэта, которые лично знали его и любили.

О Верхарне как поэте, о значении его творчества для мировой литературы я уже пытался рассказать раньше в большом биографическом очерке. Он доступен каждому, кто пожелал бы прочесть его на французском, немецком или английском языке. К этим же, чисто личным, воспоминаниям я не требую участия от нации, врагом которой он считал себя в решающие часы своей жизни; я поведаю о них лишь братству светлых духом людей, для которых чувство вражды есть заблуждение, а ненависть — бессмыслица. Только для себя и этих ближайших друзей поэта хочу я воссоздать образ человека, столь близкого мне, что, вспоминая о нем, я не могу не коснуться и своей собственной жизни. И я знаю, что, рассказывая о моем великом утраченном друге, я расскажу и о днях своей юности.

Мне было около двадцати лет, когда я познакомился с Верхарном, первым из великих поэтов, вошедших в мою жизнь. Я и сам уже начинал испытывать творческие порывы, но они были еще мимолетными и смутными, словно вспышки зарниц на небосклоне души; я еще не был уверен, призвание то или просто моя мечта о нем, и страстно желал как можно ближе, лицом к лицу, душа в душу, сойтись с настоящим поэтом, который мог бы служить мне примером. Мне нравились поэты в книгах, чьи образы облагородило время и смерть, знал я и нескольких современных поэтов: при более близком знакомстве они разочаровывали, да и образ их жизни зачастую просто отталкивал. Я не видел вокруг никого, чья жизнь могла бы служить мне образцом, чей опыт руководил бы моими первыми творческими шагами, кто гармоничностью своей жизни и творчества помог бы мне собрать воедино смутно бродившие в моей душе творческие силы. Правда, в биографиях поэтов я

находил примеры подобной гармонии, но я уже сознавал, что каждый закон жизни, каждая форма духовного творчества человека рождается лишь самой жизнью, что их могут породить только личный опыт и своими глазами увиденный пример. Опыт — но я был еще слишком молод, а примеры — их я, конечно, искал, хотя и делал это, пожалуй, безотчетно.

Разумеется, уже и тогда в наш город наведывался кое-кто из современных поэтов, что оставляло след в моей душе. Помню, однажды в Вене мне довелось побывать в обществе Лилиенкрона, окруженного друзьями, осыпаемого со всех сторон похвалами, и позднее, на устроенном в его честь банкете, где среди множества людей и слов совершенно терялся его собственный голос; помню также, мне удалось как-то пожать в толпе руку Демеля; бывало, меня удостаивал приветствия тот или иной поэт. Но ни один из них не был мне близок. С некоторыми я мог бы при желании завязать знакомство, однако меня всегда удерживала какая-то робость, в чем я позднее признал счастливый и таинственный закон своего существования, гласивший: не надо ничего искать, все придет в свое время. И действительно, все, что сформировало меня, было даровано мне провидением и судьбой помимо моих усилий и воли, в том числе и этот необыкновенный человек, столь внезапно и своевременно вошедший в мою жизнь и ставший путеводной звездой моей юности.

Ныне я полностью сознаю, чем я обязан этому человеку, не знаю лишь, удастся ли мне выразить свою благодарность в словах. Я говорю не о чувстве признательности, а о великой благодарности чудесному мастеру жизни, который первым открыл моей юной душе подлинно человеческие ценности, чья жизнь, в каждом ее мгновении, учила меня тому, что лишь совершенный человек может стать великим поэтом. Вместе с любовью к искусству он вселил в меня нерушимую веру в высокую человечность и чистоту души поэта. Если не считать братски любимого мной образа Ромена Роллана, можно сказать, что за всю последующую жизнь я не встречал поэта более прекрасного в своей человечности, не встречал более полной

гармонии жизни и творчества, чем явил Верхарн, любить которого при его жизни было для меня величайшей радостью и чтить его память после смерти стало самым священным долгом.

Мне очень рано попались в руки стихи Верхарна. Тогда я считал это чистой случайностью, но впоследствии понял, что эта случайность была одной из тех неизбежных и, пожалуй, предопределенных необходимостей, которые определяют важнейшие моменты человеческой жизни. Я тогда был еще в гимназии, учил французский язык, и переводы давали мне возможность упражняться как в языке, так и в моих первых беспомощных поэтических опытах. Тогда-то мне и попался один из ранних сборников Верхарна, изданный брюссельским книгоиздательством Лакомблеца всего лишь в трехстах экземплярах и ставший ныне библиографической редкостью. То была одна из первых книжек еще не завоевавшего известность бельгийского поэта.

Желая воздать должное этой плодотворной случайности, приведшей меня в юные годы к Верхарну, я снова и снова повторяю себе, что на подлинного Верхарна в этой книжке был разве лишь слабый намек, и, таким образом, мое влечение к нему являлось в какой-то мере мистическим, не имеющим под собой никакой реальной почвы. Некоторые из стихов мне очень понравились; я, семнадцатилетний юнец, неуклюже перевел их и написал поэту, прося разрешения напечатать свои переводы. Вскоре из Парижа пришел ответ с согласием; я бережно храню его и по сей день; почтовая марка, уже давно вышедшая из употребления, свидетельствует о его давности. Ничто еще не соединяло меня тогда с поэтом; я знал лишь его имя, и у меня было его письмо, перечитав которое пять лет спустя я с изумлением понял, что все созданное мною позднее, в полном сознании своих творческих сил, существовало, пробивалось на свет уже тогда, пять лет тому назад, хотя и в детски не осознанной форме.

Тогда, на исходе столетия, Вена переживала бурные, яркие дни. Я только что окончил школу и был еще слишком юн,

чтобы участвовать в кипучей жизни тех дней, и все же это время сохранилось в моей памяти как эпоха обновления, когда внезапно в нашем патриархальном городе дохнуло свежим, словно занесенным на незримых крыльях ветра, ароматом большого чужеземного искусства — посланца невиданных нами стран. Это были годы расцвета венского Сецессиона; на его выставках появились работы бельгийцев — Константина Менье, Шарля Ван дер Стаппена, Фернанда Кнопфа, Лерманса, — поражавшие взор, привыкший к мелким масштабам венского модерна, своей монументальностью. Именно поэтому маленькая Бельгия завладела моим воображением; я стал увлекаться ее литературой, полюбил Шарля де Костера и целых десять лет напрасно предлагал его «Уленшпигеля» всем немецким издательствам; чуть ли не со школьной скамьи увлекся я исполненными рубенсовской силы, жизнеутверждающими и несправедливо забытыми романами Лемонье.

В первое же каникулярное путешествие я отправился в Бельгию, увидел ее море и города; я хотел повстречаться с кем-нибудь из людей, к творчеству которых питал такую симпатию. Но стояло знойное лето, был август 1902 года, от раскаленного солнцем асфальта поднимались удушливые испарения, и почти все жители Брюсселя разъехались. Поэтому из тех, кого мне хотелось бы увидеть, я отыскал только Лемонье — превосходного, отзывчивого человека, о котором я навсегда сохранил благодарную память. Мало того что он подарил меня своим вниманием, необычайно живительным и бурным, он дал мне рекомендательные письма ко всем художникам и писателям, которые мне тогда нравились. Но как использовать все эти письма, как разыскать адресатов? О том, где сейчас Верхарн, повидать которого я более всего жаждал, никто, по обыкновению, не знал; Метерлинк уже давно покинул свою родину. Никого, решительно никого не было в городе! Но Лемонье не сдавался; он решил, что я должен, по крайней мере, увидеть за работой его старшего друга Менье и братски ему близкого Ван дер Стаппена.

Лишь теперь понимаю я, сколь многим обязан его мягкой

настойчивости, благодаря которой мне довелось встретиться с этими людьми, ибо часы, проведенные в мастерской Менье, стали для меня нетленным сокровищем, а день, когда я посетил Ван дер Стаппена, — одним из самых значительных в моей жизни. Никогда не забыть мне этого дня. К несчастью, у меня пропал дневник тех лет; впрочем, он и не нужен мне, эти часы запечатлены в моей памяти, точно вырезанные в ней алмазом, с той остротой, которая присуща лишь незабываемому.

Однажды утром я отправился на Рю де ла Жуайез Антре, что начинается сразу же за парком Сэнкантэнер, где и нашел Ван дер Стаппена — маленького приветливого фламандца и его жену — рослую голландку; при виде письма Лемонье их прирожденное радушие еще более возросло, если только это вообще было возможно. Скульптор сразу же повел меня в каменное царство своих творений. Посередине мастерской стояла огромная статуя «Вечного добра», над которой он трудился уже много лет и которую ему так и не суждено было закончить, а вокруг застыли другие, меньших размеров, группы: сияющий мрамор, темная бронза, влажная глина, отполированная слоновая кость.

Утро стояло чудесное, ясное, а наша беседа придавала ему еще больше бодрости и света. Мы говорили об искусстве и литературе, о Бельгии и Вене, о всякой всячине, и очень скоро живое участие и добродушие этих славных людей исцелили меня от моей вечной робости. Я откровенно рассказал им, как я огорчен и разочарован, не найдя в Бельгии Верхарна, самого дорогого для меня из всех французских поэтов, и добавил, что готов вновь отправиться в путь, лишь бы разыскать его. Но куда ехать? Никто не знает, где он сейчас. Из Парижа, как мне сказали, он уже выехал, а в Брюссель пока не приезжал. Я посетовал, что вынужден ни с чем возвратиться домой и что моему преклонению перед Верхарном, видимо, так и суждено оставаться лишь на словах и бумаге.

Ван дер Стаппен, услышав это, засмеялся легким смешком; усмехнулась и его жена, и оба переглянулись. Я почувствовал между ними тайный сговор, вызванный моими словами.

Сперва это немного меня смутило: уж не сказал ли я чего-нибудь обидного. Скоро, однако, я понял, что они расположены ко мне по-прежнему, и беседа продолжалась. Незаметно пролетел еще час, когда же я, наконец, спохватился, что визит мой слишком затянулся, и стал поспешно прощаться, супруги решительно запротестовали; они заявили, что я должен остаться, должен непременно с ними отобедать, должен во что бы то ни стало. При этом они снова с улыбкой переглянулись. И я почувствовал, что если за этим и скрывалась какая-либо тайна, то уж, во всяком случае, приятная, и, без сожаления отказавшись от намеченной поездки в Ватерлоо, остался в этом уютном, светлом, гостеприимном доме

Вскоре наступил полдень. Мы уже сидели в столовой, расположенной, как и во всех этих маленьких бельгийских домиках, на первом этаже, так что сквозь цветные стекла видна улица; вдруг за окном остановилась чья-то тень. Кто-то постучал пальцем по стеклу, и тут же раздался звонок.

— *Voilà lui!*\* — воскликнула госпожа Ван дер Стаппен и встала. Я не понял, что она хотела этим сказать. Но дверь уже распахнулась, и тяжелым, уверенным шагом вошел и братски обнял Ван дер Стаппена он — Верхарн. Я сразу же узнал его несравненное лицо, хорошо мне знакомое по картинам и фотографиям. Теперь, когда открылась их дружеская тайна, Ван дер Стаппены дали наконец простор своему веселью, радуясь, как дети, удавшейся хитрости. Как это часто бывало, Верхарн гостил у них, и, узнав о моих тщетных поисках, они решили ничего мне не говорить, чтобы приятно поразить столь неожиданной встречей.

И вот он стоял передо мной, улыбаясь шутке, о которой ему тут же рассказали. Я впервые ощутил тогда крепкое пожатие его сильной руки, впервые встретил его добрый, ясный взгляд. Он, как и всегда, явился начиненный всевозможными впечатлениями и полный энтузиазма. Еще за столом, энергично работая челюстями, он начал рассказывать. Он навестил се-

---

\* Вот и он! (*фр.*)

годня своих друзей, побывал в картинной галерее и весь был полон виденным и слышанным. И так всегда: откуда бы он ни пришел, что бы ни увидел — любое, даже совсем случайное переживание воодушевляло его, и это воодушевление стало его священной привычкой; подобно пламени, оно рвалось с его уст, и он умел подчеркнуть свои слова такими выразительными жестами, что все им виденное воплощалось в его рассказе в образы и ритм.

С первых же слов завоевывал он сердце человека, потому что его собственная душа была широко распахнута перед людьми, доступная всему новому, готовая принять в себя все и вся. Он так и устремлялся вам навстречу всем своим существом, и в первый час нашего знакомства, как и много раз впоследствии, мне посчастливилось испытать на себе этот бурный, стремительный порыв его души к душе другого. Ничего не зная обо мне, он был уже полон благодарности за одну лишь мою симпатию к нему и подарил меня своим доверием только за то, что мне нравились его стихи. Бурный натиск его дружелюбия смел последние остатки моей робости. С этим совершенно чужим, но таким прямым и открытым человеком я, как ни с кем другим, вдруг почувствовал себя легко и свободно. Его твердый и светлый, словно стальной, взгляд отпирал все сердца.

Обед прошел очень быстро. И сегодня еще, многие годы спустя, все трое стоят у меня перед глазами, такие же, какими я их видел тогда: сам Ван дер Стаппен, маленький, толстый, краснощекий, словно Вакх с картины Иорданса, госпожа Ван дер Стаппен, полная, по-матерински добрая женщина, радующаяся радости других, и, наконец, он сам, с волчьим аппетитом уничтожающий блюдо за блюдом, ни на секунду не прерывая оживленного разговора, дополненного выразительной жестикуляцией, которая еще более оживляет его рассказ. Эти трое, ушедшие от нас, и сейчас еще стоят передо мною как живые, с их трогательной братской любовью друг к другу, с веселой беспечностью их речей. Никогда не случалось мне видеть в Вене столь искреннего, задушевного веселья, какое царило за этим маленьким столом.

Радостное возбуждение, которое я старался подавить, причиняло мне почти физическую боль. Но вот в последний раз зазвенели стаканы, все встали из-за стола, Верхарн и Ван дер Стаппен еще раз с шутливой нежностью обнялись. Обед кончился.

Как ни чудесно было мне с ними, я все же решил, что пора уходить, и стал прощаться. Однако Ван дер Стаппен снова удержал меня и раскрыл мне еще одну тайну. Исполняя свое и Верхарна давнишнее желание, он работал над бюстом поэта. Работа подвигалась успешно и сегодня должна была закончиться; и вот все трое самым радушным образом пригласили меня присутствовать при ее завершении.

Я прямо-таки ниспослан ему судьбой, заявил Ван дер Стаппен, ему так необходим человек, который занимал бы беседой чересчур беспокойного Верхарна, пока тот позирует. Это избавит поэта от слишком быстрого утомления и оживит черты его лица. Я должен был рассказывать Верхарну о своих замыслах, о Вене и Бельгии, о чем угодно, лишь бы не прекращать свой рассказ до тех пор, пока скульптура не будет закончена, а потом мы вместе отпразднуем ее завершение. Надо ли говорить, как я был счастлив, что мне довелось видеть работу великого мастера над скульптурой великого человека!

Работа началась. Сперва Ван дер Стаппен на минутку вышел. А когда вернулся, на нем уже не было его изящного сюртука, вместе с которым исчезла и некоторая полнота, придававшая скульптору удивительное сходство с президентом Фальером. Перед нами стоял простой рабочий в белой блузе с высоко засученными рукавами на мускулистых, как у мясника, руках. С лица его сошло выражение добродушной веселости, присущее буржуа; подобно лику бога-кузнеца Вулкана, оно пылало жаром вдохновения, когда, волнуясь и спеша скорее приняться за работу, он быстро повел нас в мастерскую — в ту большую светлую комнату, где я уже беседовал с ним перед обедом. Сейчас населявшие ее статуи казались серьезнее, и белые мраморные фигуры походили в своем безмолвии на окаменевшие раздумья. Впереди всех, на высоком цоколе, стояла какая-то закутанная в мокрый холст бесформенная



глыба. Ван дер Стаппен снял с глины влажные тряпки, и нашим взорам предстала голова Верхарна, своими резкими чертами и угловатыми формами уже вполне похожая на поэта, но все еще какая-то чужая, словно вылепленная по памяти.

Ван дер Стаппен подошел поближе к скульптуре и несколько минут стоял, переводя взгляд с бюста на Верхарна. Потом решительно отступил назад, взгляд его стал твердым, мускулы напряглись. Работа началась.

Гёте сказал однажды Цельтеру, что великое произведение искусства нельзя постигнуть вполне, если не довелось видеть, как оно создавалось. И я думаю, что человеческое лицо также нельзя понять с первого взгляда. Нужно наблюдать его либо в процессе развития, прослеживая, как оно изменялось с возрастом, либо когда оно уже начинает стариться. Или надо видеть его воспроизведение в искусстве, когда уже сложившиеся формы вновь разлагаются на свои составные части и пропорции и мы имеем возможность наблюдать как бы вторичное развитие, воссоздание его линия за линией, черта за чертой.

За два часа, проведенные в мастерской Ван дер Стаппена, образ Верхарна глубоко врезался в мою душу и стал мне так близок, словно я сам его создал из собственной плоти и крови. Встречаясь впоследствии с поэтом сотни и сотни раз, я сейчас вижу его лишь таким, каким он был тогда, пятнадцать лет назад, в часы, полные творческого вдохновения: высокий лоб, на котором злое время уже прорезало семь глубоких борозд, и над ним тяжелая копна ржаво-рыжих кудрей. Мужественное, с резкими чертами лицо, плотно обтянутое смуглой, словно выдубленной ветром кожей; упрямо и резко выдающийся подбородок, свирепые, грозно свисающие, как у древнегалльского полководца Верцингеторикса, усы, тонкие губы в складках трагической меланхолии. Но это суровое, мужественное лицо чудесно смягчалось ясным взором стальных, цвета морской воды глаз, открыто и жадно устремленных вперед, к свету познания, и радостно сияющих отражением этого света!

Нервозность этого человека была сосредоточена в его цепких руках, узких, нежных, но сильных руках с толстыми

венами, пульсирующими под тонким покровом кожи. Но о мощи его натуры говорили прежде всего широкие крестьянские плечи. Небольшая, подвижная голова казалась слишком маленькой для этих могучих плеч, и лишь когда поэт шагал, его огромная сила ощущалась во всей полноте.

Только теперь, глядя на бюст работы Ван дер Стаппена — это самое совершенное из его творений, — я постигаю, с какой глубиной и правдивостью отражен в нем облик Верхарна. Поэт слегка склонил голову, не от усталости, нет, он как бы чутко прислушивается к чему-то; этот наклон выражает не утомление жизнью, а преклонение перед ней и глубочайшее ее познание. Глядя на бюст, я понимаю, что это не простое изображение, а памятник великому поэту, документ огромной поэтической силы и монументального величия. Тогда как в те далекие, незабываемые часы я видел лишь податливую влажную глину, которую скульптор приглаживал шпателем и выравнивал пальцами; тогда этот бюст был еще предметом сравнений, оценок и обсуждений; тогда был еще жив сам поэт; во время перерывов в работе его уста извергали огонь вдохновенных речей, и он внимал собеседнику с чудесной, ему одному присущей глубиной неистощимого участия.

Мы и не заметили, как наступил вечер. Но Ван дер Стаппен был неутомим. Он все чаще и чаще отходил немного от скульптуры, скользя взглядом с живой модели на изображение, которое и само, казалось, постепенно оживало; все реже его руки касались глины.

Напряженный, мечущий искры взор скульптора все больше просветлялся и становился спокойней. Наконец, последним критическим взглядом сравнив оригинал со своим творением, он снял передник, глубоко вздохнул и с легким сожалением не сказал, а скорее выдохнул: «*Finis*»\*.

Верхарн поднялся. Он одобрительно хлопнул по плечу маленького коренастого человечка, который, задыхаясь от усталости, но улыбаясь, стоял перед своим законченным тво-

---

\* «Готово» (фр.).

рением, снова похожий не на бога-кузнеца Вулкана, а на Иордансова «Бобового короля», и оба, расхохотавшись, обняли друг друга. Эти взрослые люди, на голове которых уже поблескивал иней седины, веселились, как дети. Впервые увидел я тогда подлинную свободу и непринужденность человеческих отношений, то, чего мне еще ни разу не довелось встретить в мире художников, вечно озабоченных своими делами и куда-то лихорадочно спешащих.

И тут мне самому вдруг страстно захотелось завоевать это право свободно и уверенно жить в искусстве. Грудь мою теснило смущение, я все еще чувствовал себя посторонним. Но какая-то частица моего существа уже прилепилась к этому человеку и целиком принадлежала ему, когда, прощаясь, я в знак обещания новой встречи крепко сжал его дружески протянутые мне руки. Я уже знал, что служить такому человеку — огромное счастье, великий дар судьбы, и тайный голос шептал мне, что сама судьба предопределила, чтобы я посвятил себя служению его творчеству. Я с благодарностью пожал руку Ван дер Стаппену и отправился домой.

В огромной мастерской было уже совсем темно. В дверях, обернувшись в последний раз, я увидел белеющую во мраке огромную статую «Вечного добра», а возле нее Верхарна, который стоял, опершись рукой о блестящий мрамор. Только много лет спустя я понял, что увидел тогда это произведение, которому недоставало лишь большой опорной фигуры, в его истинно завершенном виде, ибо Верхарн, прислонившись к подножию скульптуры, воплощающей великую идею человеческого добра, символически слился в моих глазах с этой идеей.

Так от стихов я пришел к поэту, а первым моим желанием по возвращении на родину было вновь открыть поэта в его произведениях. Говоря «произведения» Верхарна, я каждый раз напоминаю себе, как мало походили его ранние стихи на то, чем сегодня восхищается весь мир. Тогда был заложен еще только фундамент, получили известность лишь первые сбор-

ники стихов: «Flamands»\* и «Moines»\*\*, написанные в духе парнасцев, и едва появились пылающие призраки его «Villes tentaculaires»\*\*\* и «Villages illusoires»\*\*\*\*. Все в этих произведениях было мглой, хаосом, буйным пламенем, и едва намечались первые проблески утренней зари добра и света, первые порывы несравненного взлета чистой человеческой души к совершенству, ставшего впоследствии бессмертной и великой целью его искусства.

Вспоминая все это, я лишь теперь сознаю вполне, каким непомерным счастьем было наблюдать вблизи этот взлет к бессмертию, книгу за книгой, стихотворение за стихотворением, порой созданные или прочитанные при мне в тихих сумерках вечера, видеть становление частицы непреходящего в самой гуще нашей современности. И то, что ныне уже поблекло, став достоянием истории литературы, я в течение пятнадцати лет нашей дружбы вдыхал, как живительный аромат распускающегося на моих глазах неувядаемого цветка, а то, что сегодня продается и переходит из рук в руки в виде книг, я познал как тайную муку творчества.

Вспоминая сейчас все это, я снова убеждаюсь, сколь верным было мое чутье, приковавшее все мои чувства и мысли к первой прочитанной мною и далеко еще не совершенной книге этого человека, когда моя вера в него зиждилась лишь на смутном предчувствии и я в пустоте безвестности возглашал, прославляя, его имя, ставшее ныне общеизвестным литературным явлением! Эти воспоминания рождают во мне благодарность к дням моей юности.

Итак, я горячо принялся за работу и уже вскоре послал Верхарну несколько переведенных мною стихотворений. Он ответил радостным одобрением. Медленно расцветала его слава, и так же медленно я завоевывал ему признание у себя на

---

\* «Фламандские стихи» (фр.).

\*\* «Монахи» (фр.).

\*\*\* «Города-спруты» (фр.).

\*\*\*\* «Деревни-призраки» (фр.).

родине, но, как бы там ни было, я не припомню в своей жизни дней счастливее тех, когда маленькие творческие радости и успехи казались огромными, а безнадежность уступала по-немногу место самым прекрасным и чистым человеческим чувствам.

Прошло несколько лет. Занятия удерживали меня в Вене, и только наши письма с дружескими приветами летели навстречу друг другу. Сначала их было всего несколько, благоговейно сохраняемых мною в небольшом конверте, потом конверт стал тесен, и вот уже лента стягивала сотни и сотни писем поэта. Мне всегда хотелось перечитать их и, разобрав по порядку, еще раз насладиться их содержанием, но я так и не смог этого сделать. И даже теперь, твердо зная, что никогда уже не получу от него ни одного листка и что последнее его письмо является действительно последним, я все же не решаюсь развязать пачку и оживить то, что отошло навеки. Душа не желает мириться с утратой, и я с робким, благоговейным ужасом избегаю этого кладбища слов — этих писем, в которых навеки погребено бывшее с его умершими чувствами.

Прошел еще год и еще один. Кончилось время учения; передо мною лежал весь мир, и я жаждал его познать. Первый год своей свободы я решил провести в Париже. Приехав туда поздно вечером, я тут же послал ему из какого-то кафе на бульварах записку. В моей новой, свободной жизни мне нужно было сделать очень много, но прежде всего повидаться с Верхарном. Едва открыв на другое утро глаза, я увидел на полу возле двери телеграмму: он писал, чтобы я приезжал к нему обедать в Сен-Клу.

Я отправился туда с вокзала Сен-Лазар; оставив позади Пасси, дымившее сотнями фабричных труб, поезд остановился в тихом, полном зелени предместье. Из парка Монтрету я смотрел на раскинувшийся внизу Париж. Он был почти скрыт густой пеленой сырого октябрьского тумана, и только шпиль Эйфелевой башни, словно серый грифель, отчетливо вписывал свое имя в мгlistое небо. Через два квартала, за парком,

я отыскал то, что мне было нужно: тихую улочку предместья с маленькими кирпичными домиками, каждый в шесть или десять окошек. Здесь, очевидно, проживали пенсионеры, квалифицированные рабочие, чиновники и другой мелкий люд, кому нужны только тишина да клочок зелени, — мирные и равнодушные жители окраин.

Париж — могучий, стихийный — здесь едва ощущался. Там, внизу, бурлило море, здесь была тихая гавань.

А вот и его домик, двухэтажный, с деревянной лестницей; дверь без дощечки с именем, простенький колокольчик, который я тогда дернул, чуть робея, впервые, а как часто дергал я его потом! Верхарн сам открыл дверь и сердечно пожал мне руку с особой, ему одному свойственной теплотой, шедшей от полноты большого, доброго сердца. Его отзывчивая душа была широко распахнута для всех. Уже его первое рукопожатие, его открытый взгляд и первые слова приветия согревали вам душу.

Но до чего же тесен был его домик! Как незатейливо и помещански обставлен! Ни у кого из поэтов не видел я такого убогого жилья. Вся квартира состояла из крохотной прихожей и трех комнатушек, битком набитых всякой всячиной. Однако ничего лишнего. Обстановка была очень проста, все стены были увешаны картинами и пестрели корешками книг, среди которых выделялись сверкающие позолотой тома французских изданий. Риссельберг, с его расплывчатыми красками, темные тона Каррьера и десятка два картин его друзей-живописцев висели рама к раме, а посредине тесной комнаты — стол, накрытый чистой белой скатертью и уставленный, в ожидании гостя, простой крестьянской посудой. И, словно огненный цветок, ярко алел на белизне салфетки графин с красным вином.

Рядом со столовой — кабинет; и здесь тоже книги, книги и картины; в этой комнате стояли два низеньких кресла для гостей и простой деревянный стол, накрытый пестрой салфеткой. Ученическая чернильница, дешевенькая пепельница, почтовая бумага в ящике из-под сигар — вот и все, что было на рабочем столе поэта. Никаких новейших приспособле-

ний — ни пишущей машинки, ни картотеки, ни бюро, отсутствовал даже телефон; словом, я не увидел ничего из того, что делает кабинеты наших писателей удивительно похожими на конторы коммерческих предприятий. И никакой роскоши, ничего лишнего, бьющего на эффект. Все миниатюрно и помещански уютно, все со вкусом, но без малейшей претензии, просто, но не убого. Крохотный мирок, в тиши которого создавалось великое.

Вскоре мы сидели за столом и весело обедали. Блюда были простые и вкусные. Следуя патриархальному обычаю своей родины, Верхарн, вооружившись ножом и вилкой, собственноручно и очень ловко разрезал мясо и разделявал птицу, а госпожа Верхарн, глядя на его искусство, добродушно улыбалась, уверяя, что он гордится им куда больше, чем своими стихами. После обеда подали кофе; госпожа Верхарн поднялась из-за стола и, приветливо нам кивнув, удалилась.

Потом мы курили и беседовали в его маленьком кабинете. Он читал мне свои стихи, дым сигареты и трубки легким табачным облачком вился у книжных полок. Все в этой комнате дышало уютом, и каждое слово как-то особенно тепло отзывалось в сердце. Время неслось будто на крыльях, и незаметно подкрался вечер. Кончился мой первый день в Париже. Мы распрощались. Верхарн проводил меня до самых дверей, и я снова почувствовал теплоту его рукопожатия.

— *A bientôt!*\* — крикнул он мне вслед, высунувшись из окна.

Стоял чудесный октябрьский вечер. Я весь еще был во власти нашей беседы и преисполнен счастья. Ощущение блаженства было настолько сильным, что мне стало жаль нарушить это дивное, словно возносящее меня на своих крыльях чувство в грохоте и суете железной дороги. Поэтому я спустился к Сене, чтобы вернуться в город на одной из спящих по реке маленьких, юрких лодочек. Солнце уже зашло, и на речных пароходиках горели красные фонари. Огромный город

---

\* До скорой встречи! (фр.)

погрузился было во мрак, но тут же засверкал, весь залитый сиянием искусственного света. Предместья кончились, лодка быстро уносила меня из пригорода в сумеречное море Парижа. Вот Трокадеро, вот мощно устремленная ввысь Эйфелева башня. Чувствовалось тяжкое дыхание города-гиганта со всеми его причудливо-смутными звуками. Дивно сиял в ночи этот неповторимый город, и уже тогда, в первый день, проведенный в Париже, я с безмерным счастьем ощутил, как равно могучи оба жизненных начала: масса и один великий, большой души человек.

Сколько раз я видел его потом в тех же маленьких комнатах, где со дня нашей первой встречи ничто не изменилось! Сколько новых дружеских лиц встретил я там за маленьким столом — в доме редко не было гостей, но никогда их не собиралось и слишком много. У Верхарна постоянно царило оживление, люди стекались к нему со всех концов мира: молодые французские поэты и просто друзья, русские, англичане, бельгийцы, немцы; одни из них уже прославились, другие лишь случайно промелькнули в искусстве. Кто только не побывал в этом доме; каждый вносил туда свое настроение. Но ничто не могло нарушить неизменно царившей у Верхарна атмосферы уюта и глубокой человечности, которую создавали веселое добродушие и неизменно творческая словоохотливость поэта.

Гости приходили обычно прямо к обеду или к ужину, потому что утро целиком принадлежало работе. Верхарн, привыкший рано вставать, в шесть-семь часов съедал легкий завтрак и до десяти часов работал за письменным столом. Таким образом, весь длинный остаток дня оказывался свободным для чтения, друзей, прогулок и прочих радостей жизни. Ежедневно в одиннадцать утра, вооружившись, как деревенский паломник, своей тяжелой палкой, он отправлялся в Париж: поглядеть на картины, закусить и поболтать с друзьями или, что самое лучшее, бесцельно побродить по улицам, отдавшись потоку толпы, которую он так любил. Ведь работа к этому



времени бывала уже закончена, и он, подобно странствующему рыцарю, покинувшему в поисках приключений свой замок, мог беспечно пуститься на поиски жертвы для удовлетворения своего огромного творческого любопытства. Часами бродил он по городу, заглядывая на маленькие выставки или к друзьям — всегда и повсюду желанный гость. По десять, двадцать раз ежегодно обходил он большие музеи, или, взобравшись на империал омнибуса, катил по бурлящим потокам улиц, или мерил своими тяжелыми шагами асфальт парижских бульваров.

Как-то раз я увидел поэта во время одного из таких странствий перед дворцом Академии. Он шел вдоль набережной Сены. Я еще издали узнал его по тяжелой, сутуловатой походке, которая всю жизнь придавала ему сходство с крестьянином, шагающим за плугом. Я не окликнул его сразу, а с радостным любопытством стал следить за его странствованием. Вот, постояв перед прилавками букинистов и полистав книгу, он пошел дальше. Вот снова остановился, на этот раз у пристани, где разгружалась большая баржа, набитая овощами и фруктами. Тут он простоял с добрых полчаса, наблюдая за разгрузкой; его интересовало решительно все: и то, как напрягались мускулы на спинах носильщиков, и как с легким поскрипыванием подъемный кран извлекал из брюха судна тяжелые грузы и осторожно, почти нежно опускал их на каменные плиты набережной. Он запросто болтал и балагурил с рабочими, без малейшего умысла, просто так, из присущей ему глубокой любознательности, из жадного стремления познать жизнь во всем ее многообразии. Целых полчаса простоял он там, удерживаемый каким-то странным, почти фанатическим любопытством, которое питал ко всему на свете, одушевленному и неодушевленному, а потом снова зашагал через мост к Бульварам. Только тогда наконец я подошел к нему.

Услышав о моем подглядывании, поэт расхохотался и тут же принялся делиться впечатлениями. Он весь так и лучился радостью, рассказывая мне, что в одном из грузчиков узнал по

говору жителя с берегов Шельды, почти своего земляка. Мы зашли к *marchand de vin\**, где можно очень дешево и просто закусить, и, пока мы сидели там, впечатление от этой только что увиденной им баржи разгорелось в его воображении в грандиозную картину кораблей, плывущих по всем каналам и рекам Франции, и, расставаясь со мной, он весь уже был охвачен творческим пылом.

Так стихийно, во время прогулок, родились многие из его стихотворений, и, не имея понятия о великом любопытстве поэта, постоянно гнавшем его в самую гущу жизни и обогащавшем его все новыми впечатлениями, которые придавали необычайно широкий всеобъемлющий кругозор его творчеству, невозможно оценить по достоинству множество мелких подробностей, рассыпанных в его стихах.

Лишь поздно вечером, опьяненный виденным и слышанным за целый день, возвращался Верхарн к себе в Сен-Клу, всегда в третьем классе поезда, где ехали рабочие и мелкие служащие, с которыми он так любил поболтать. Дома его поджидала тишина столовой с накрытым для ужина столом, иногда кто-нибудь из друзей; и скоро керосиновая лампа в его комнате гасла.

Поразительная монотонность внешнего существования человека чудесно сочеталась с богатейшим многообразием его творческой деятельности. Утро он посвящал работе, за день до краев набирался ярких впечатлений, а вечер проводил в тихой беседе с друзьями или наедине с книгой. Ничто, носящее имя официальности или публичности, не имело доступа в тесный, размеренный круг его существования. Верхарн никогда не бывал в салонах, на банкетах, на премьерах или в редакциях. Никогда не стремился он узнать Париж Сен-Жерменского предместья, Париж бегов и всевозможных празднеств — словом, то, что начитавшиеся романов иностранцы принимают за настоящий Париж.

Сильные чувства, резкие контрасты, музеи, уличная тол-

---

\* Продавцу вина (фр.).

па, неизъяснимые, полные таинственной прелести и нежных красок солнечные закаты над Сеной — вот что было его Парижем, а вовсе не шумные сборища и торжества, не мир блестящего остроумия и модных туалетов. Ему нужна была сокровенная сущность Парижа, а не блеск его шпиелей. Только на примере жизни Верхарна постиг я впервые тайну этого великого города-созидателя, который на первый взгляд представляется городом блеска и наслаждений, но где в жалких мансардах, в скромных домишках предместий, в тесных, по-мещански обставленных комнатах рождаются великие творения.

Итак, ежевечерне в его комнату в Сен-Клу, в этот замкнутый мир, вливался ритм иного, бурного мира, превращаясь в музыку стихов! Могучая, многоликая жизнь питала творчество поэта, а он воссоздавал образ и сущность ее текучей силы.

Париж — этот самый мощный и бурный, этот самый, казалось бы, открытый и все же самый непостижимый из городов Европы — избрал Верхарн своим местожительством. Он любил напряженное, бодрое биение жизни и потому сделал этот самый городской из всех городов резиденцией общечеловеческой, современной части своего «я». Он проводил там полгода, с осени до весны, живя на окраине, но всеми чувствами постоянно обитая в самом сердце города. Эти полгода Верхарн был гражданином мира, одним из современных модернизированных европейцев.

Зато вторую половину года он был фламандцем, прирожденным жителем деревни, простым крестьянином, отшельником и целиком принадлежал природе. Тот, кто встречался с ним только в Париже, знал только одну сторону его жизни — духовную, интеллектуальную, европейскую; и лишь тот, кто видел поэта у него на родине, на принадлежащем ему клочке земли, в его саду, в его домике, знал его по-настоящему. Поэтому каждый, кто хотел узнать его до конца, должен был увидеть его в тиши уединения, среди родных ему полей, Кэйу-ки-бик\*.

---

\* Кэйу-ки-бик — Caillou-qui-bique — камень, похожий на козу (фр.).

Кэйу-ки-бик — не городок, не село, не деревня, не поселок, даже не станция; самый нетерпеливый и любопытный человек не отыскал бы этого местечка без дружеской помощи поэта. Последняя железнодорожная станция находится в Ангро. Этот крохотный вокзальчик маленькой боковой ветки представляет собой не что иное, как перевернутый вверх тормашками товарный вагон с наклеенным на стенке расписанием. Пригородный поезд, следующий в Руазен, кроме тех случаев, когда надо высадить какого-нибудь крестьянина, здесь не останавливается, а только сбрасывает сумку с почтой. Это местечко, которое путаница железнодорожного расписания делает бесконечно далеким от всего мира, расположено в каких-нибудь четырех часах езды от Брюсселя, Лондона, Кельна, Парижа. Оно словно незримое сердце Европы.

Местечко, состоящее всего из четырех-пяти домишек, находится в самом крайнем углу Бельгии, почти на французской границе, и обязано своим странным названием маленькой местной достопримечательности — выступающему в виде навеса камню, который вообще можно заметить лишь в такой равнинной местности. От прилегающего к станции поселка Ангр ведут две дороги: одна в Кьеврен, другая — в Валансьен, так что при желании можно позволить себе роскошь, выехав утром из Бельгии, провести день во Франции, а к вечеру снова вернуться домой.

Насколько легки подобные переходы через границу, хорошо знают контрабандисты, ведущие оживленную торговлю кружевами и табаком. Их собаки с небольшими тюками на спине то и дело спуют по ночам туда и обратно; не менее хорошо известно это и жандармам, несущим службу на пограничных постах. И сколь мирной кажется жизнь Валлонской долины, столь же романтична эта скрытая суетня на ее границах.

Верхарн рассказывал мне сотни пограничных историй, а в оставшихся после его смерти бумагах должен быть черновик написанной прозой драмы из жизни контрабандистов, которую он набросал, когда приехал в эти края. Он так и не закончил ее, все откладывая из года в год начатую работу, и этому

первому опыту современной крестьянской трагедии в грубоватой, суровой манере нашего Шёнхера суждено было остаться лишь фрагментом.

Вряд ли кто забрел бы в этот глухой уголок Бельгии, если бы не притягательная сила этого человека и его неиссякаемое радушие.

Чтобы попасть туда, нужно сперва ехать из Брюсселя в Монс, мимо большой тюрьмы, где провел два года Верлен и где им были написаны бессмертные стихи «Sagesse»\*. В Монсе надо пересесть на местный поезд, а потом еще раз в другой, который идет так медленно, что его перегонит любой велосипедист. Но как ни медлительна и ни сложна такая поездка, она преисполнена своеобразной прелести и оставляет глубокое впечатление.

Сразу же за Монсом начинается неровная, холмистая местность, усеянная конусообразными горами, стройными вышками и копрами угольных шахт; небо приобретает здесь какой-то свинцово-мрачный оттенок, а воздух, этот дивный солоноватый, влажный от близости моря воздух Бельгии, становится вдруг черным и едким; мир предстает перед вами словно сквозь закопченное стекло: это каменноугольные копи, черная земля, край горняков, чьи пролетарские образы навеки запечатлел в своих скульптурах Константин Менье.

Поезд здесь еле тащится, останавливаясь чуть ли не на каждом шагу; поселки углекопов так и лепятся один к другому; сотни черных от копоти труб с утра до вечера изрыгают в мрачное небо густые клубы черного дыма, а по ночам лижут его своими огненными языками. Всего за какой-нибудь час езды перед вами разворачивается вся трагически безобразная, но величественная картина современного мира. Вскоре, однако, все остается позади, как дурной сон, и вновь безмятежно плывут по ясному небу светлые облачка, мелькают в желтизне полей красные домики, а за окнами поезда шелестит нежная зелень молодой листвы. Валлонская долина так и сверкает вся

---

\* «Мудрость» (фр.).

плодородием и весельем, ваш нетерпеливый взор уже читает название крошечной станции — Ангр, и, наконец, Ангро.

А вот и он сам, жаждущий заключить вас в свои объятия. Он сердечно жмет вам руку и дружески вас целует. Здесь, в лесу, одетый, как простой рабочий, в свободную блузу, шаровары и деревянные башмаки, без воротничка, он гораздо больше походит на американского фермера или сельскохозяйственного рабочего, чем на горожанина. Потом, опираясь на свою суковатую палку, он весело карабкается с гостем по узкой крутой тропинке, а впереди, то убегая, то возвращаясь, носится его любимая белая собачка Мемпи. К жилищу Верхарна от станции нет ни проселочной дороги, ни даже простой пешеходной дорожки, к нему ведет одна лишь узенькая тропка, да и она то и дело теряется в буйно разросшемся кустарнике.

Целых полчаса шагаем мы по лесам и полям, по холмам и долинам, продираясь сквозь кусты и перелезая через изгороди, мимо крестьянских домишек и сараев; и деревенские парни, завидев поэта, неуклюже стаскивают шапки со своих соломенно-желтых голов, чтобы по-товарищески, но почтительно приветствовать «Monsieur Verhaeren»\*. Все вокруг ярко зеленеет, на сочных от влажного воздуха лугах пасутся пегие коровы, все в белых пятнах, похожих на облака, что непрерывно летят по небу со стороны моря. Мы еще раз взбираемся на поросший редким леском пригорок, и вот внизу уже выглядывает из зелени сада маленькая, обнесенная оградой усадьба. Верхарн отворяет калитку. Мы входим. Мы у него дома.

Но где же дом? Разве это дом? Это и не домишко даже, а простой кирпичный сарай с деревянной крышей, вся прелесть которого в густых зарослях вьющихся роз и зелени, обвивающих красные кирпичные стены. В доме всего шесть или восемь сверкающих чистотой окошек с белыми кисейными занавесками, под самой крышей — мансарда, в садике — несколько пышных подсолнухов, во дворе квохчут куры.

---

\* Господина Верхарна (фр.).

Правда, недалеко стоит и настоящий дом, двухэтажный, с небольшим балконом, но дом этот принадлежит Лорану, владельцу Кэйу-ки-бик, и служит одновременно жильем, постоянным двором и трактиром. По воскресеньям сюда съезжаются на своих повозках жители окрестных местечек. Усевшись в беседке, они пьют жидкое и теплое бельгийское пиво, играют часок-другой в кегли, а за последнее время, когда Верхарн стал известен даже у себя на родине, у них вошло в моду шмыгать мимо его дома, с любопытством заглядывая через забор, чтобы увидеть великого поэта, о котором они столько слышали и которого так мало читали. Потом опять запрягают лошадей, и домик, после нескольких часов воскресного оживления, вновь погружался в идиллический покой.

В будни сюда обычно никто не заглядывал, разве зайдет мимоходом пастор или письмоносец, и в доме не было никого, кроме самого хозяина, добродушного, широкоплечего великана, который целыми днями трудился в поле, а вечерами, вернувшись усталый домой, любил почитать за кружкой пива газету или перекинуться в картишки с другом Верхарном. В будни здесь всю неделю царил божественный покой первого дня творения.

Этот чудесный край, родину своих лучших и самых прекрасных произведений, Верхарн открыл совершенно случайно.

Несколько лет тому назад он забрел сюда в поисках места для летнего отдыха и поселился у Лорана. Местечко пленило его своей тишиной и уединенностью. Было так соблазнительно остаться здесь, в этом глухом уголке своей родины, вдали от мира и в то же время поблизости от моря и главных центров духовных интересов поэта — Парижа и Брюсселя. Но жить в чужом доме он не любил, строить же собственный не хотелось — это потребовало бы немалых забот и усилий, а Верхарну всего дороже была свобода, — поэтому он договорился с Лораном, чтобы тот оборудовал для него пустовавший сарай.

Два нижних помещения приспособили под кабинет и столовую, а мансарду, к которой пристроили деревянную лестницу, — под спальню. Так постепенно выросло это простое,

идеальное в своей простоте жилище поэта, ставшее приютом последних лет его жизни и местом паломничества его друзей.

Только там, в Кэйу-ки-бик, можно было постичь Верхарна до конца. Только там, разгуливая в любую погоду, и в дождь, и в солнечный день, в своей свободной блузе и деревянных башмаках, он чувствовал себя по-настоящему свободным, и душа его раскрывалась до конца. Здесь не было случайных посетителей, ничто не отвлекало, не отрывало от работы. Здесь поэт целиком принадлежал себе, и тот, кого здесь принимали как друга и гостя, не оставаясь случайным пришельцем, приобщался к жизни этого дома, делил с хозяином трапезу, часы труда и досуга. Так же, как и в Париже, тут все было скромно и уютно — благородная простота не отличается богатством оттенков, и вся разница состояла лишь в том, что за окнами, навевая покой, шелестела нежная листва, а вместо парижских гудков наступление утра возвещал петушиный крик.

Садик был совсем крошечный — всего в пять шагов, но зато кругом, за оградой, вся земля принадлежала каждому, кто хотел. Луга и леса, плодородные нивы без конца и края, гуляй сколько душе угодно. Всякая мысль о границах и собственности совершенно растворялась здесь в дивном чувстве самодовлеющего одиночества.

Как тихо, как содержательно, в счастливой близости к природе, проходил здесь день! Пять раз проводил я там лето, полный радости и чувства благодарности, и знаю, что лишь там постиг я впервые весь смысл и всю благодатную прелесть безыскусной жизни, только там, наблюдая неторопливую, словно звенящую в тишине жизнь поэта, понял я великий закон гармонии человеческой души с окружающим его сельским ландшафтом, достигнув которой человек получает способность полного слияния с природой и вселенной. Все там было покой и чудесное равновесие, и в этом целостном, не расцененном на деньги, не загроможденном ненужной суетой токе времени мерно вздымалось к вечности стройное и светлое пламя его повседневного труда!



Как долго тянулось и вместе с тем как быстро летело там время! Все пять проведенных мной у Верхарна летних сезонов запечатлелись в моей памяти как один блаженный час прекрасного летнего дня, и понятие «идиллия», всегда отдающее легким привкусом книжности, предстало тогда передо мной в своем кристально чистом виде. Живя у Верхарна, я чувствовал себя так покойно, так надежно укрытым и далеким от всего мира — и в то же время близким всему на свете; душа моя доверчиво раскрывалась, я весь уходил в себя и в то же время устремлялся ввысь, словом — все здесь было полное уединение и широко распахнутый мир.

Когда, собравшись по вечерам вокруг стола, мы читали вслух и каждый выбирал свои любимые стихи, они казались нам чем-то божественно прекрасным, будто занесенным в эту маленькую, скромную комнату из неведомого нам чудесного мира; и в этих же самых комнатах в те же самые годы созданы произведения, прозвучавшие на всю Европу.

О, эта божественная тишина! Тишина созидания! Возвращаясь мыслью к минувшему, я и сейчас ощущаю в себе тихую музыку тех полных мира и согласия дней! Ни разу не слышал я там брани или резкого слова, ни разу не видел тени недоверия в мягко лучившемся свете мирного веселья, озарявшего здесь каждый час. Первый и последний раз в жизни видел я тогда поэта, владеющего искусством жить.

Словно прозрачный и чистый ручей, струилась тихая музыка времени. Все обитатели дома поднимались ранним утром по крику петуха; к завтраку сходились в домашних туфлях, без пиджаков. Потом почтальон приносил пропутешествовавшие целых три дня письма, вчерашние и позавчерашние газеты. Разница между «вчера» и «завтра» ощущалась здесь не столь резко, эти понятия были и ближе и вместе с тем дальше друг от друга, чем обычно, время не имело здесь над ними своей страшной, всеподавляющей власти. На столе, накрытом белой скатертью, нас ожидал простой деревенский завтрак: молоко и яйца в самых различных видах, домашнее печенье и

единственный чужеземный плод — коричневые сигары, голубоватыми облачками дыма осенявшие нашу беседу.

Потом начиналась работа. Труд был главной и нерушимой обязанностью утренних часов, от которой, за редким исключением, мы не уклонялись даже по воскресеньям и в праздники. Но как легко и радостно было трудиться на вольном воздухе, в тени маленькой беседки, куда сквозь зелень листвы пробивались солнечные зайчики и доносились многообразные голоса деревни!

Часов в десять-одиннадцать утра Верхарн отправлялся на прогулку. Чаще всего он шествовал по полям с дубинкой в руке и размахивал в пылу творческого вдохновения руками. Как часто, стоя где-нибудь в стороне, наблюдал я этого широкоплечего человека, когда, целиком уйдя в свои стихи, он бросал слова навстречу столь любимому им ветру, а потом, покрасневшийся, сияя счастливой улыбкой, возвращался домой, радуясь, что ему удалось найти подходящую концовку стихотворения или сладить с упрямой строфой.

Вскоре наступало время обеда, очень простого — большинство продуктов давали собственный хлев и огород: свежие овощи, искусно приготовленные, лакомые молочные блюда, добрый кусок мяса, которое поэт сам разрезал. Обедали мы обычно одни, но случалось, приезжал и еще кто-нибудь, всегда радушно принятый и желанный. Все послеобеденное время посвящалось дальним прогулкам и визитам. Шли в лес или через деревню в Ангр, проведать знакомых Верхарна — маленьких людей, которых он так любил. Подсев к Бернье, граверу по меди, он с интересом наблюдал, как тот обрабатывал пластинку иглой и штихелем. Заходили к адвокату, священнику, пивовару, кузнецу, печатнику или же отправлялись поездом в Валансьен. Верхарн спорил о политике, сельском хозяйстве, о чем угодно, только не о литературе. А в дождливые дни он сидел дома, болтал, писал письма, читал, глубоко вникая в смысл своих же собственных, уже напечатанных произведений, с жаром декламировал их вслух, черпая новое вдохновение в обновленном слове. Иногда мы перебирали ста-

рые письма, каждое из которых будило воспоминания о первых терниях и успехах его поэтического пути, и в эти шумящие дождями длинные дни я много узнал о его жизни.

Вечера таких дней мы, как и всегда, проводили вместе, что-нибудь читая, или же он уходил к Лорану перекинуться у пивной стойки при свете керосиновой лампы в картишки, как старый крестьянин, укrywшийся в непогоду в сухом местечке. В десять часов день уже кончался, весь дом засыпал, погрузившись в мрак и тишину.

В городе его жизнь походила на жизнь простого мещанина, в деревне — на жизнь обыкновенного крестьянина. Но эта скромная, непритязательная форма существования была необходима ему, чтобы, живя в городе, он со всей силой своего таланта мог воспевать современность и город, а в деревне — природу и вечность. И если в городе его жадная до впечатлений душа насыщалась идеями и наблюдениями над людьми, то за шесть месяцев тихой деревенской жизни его тело набиралось сил и здоровья, а его произведения наполнялись светом и воздухом. Там он до предела напрягал свои нервы, здесь они безмятежно отдыхали. Но и здесь не покидала поэта его поистине поразительная острота восприятия, и он зорко вглядывался во все окружающее. словно в огромную мельницу, зернышко по зернышку сыпались в его душу впечатления сельской жизни, чтобы выйти оттуда преображенными в тончайшие поэтические формы.

Лишь тот, кто знаком с этими краями, поймет, как глубоко и полно отразилась вся прелесть здешней природы в душе поэта. Каждый цветок, каждая тропка, каждое время года, мирный труд людей — все это стало бессмертным в стихотворных строках Верхарна. Читая его идиллические стихи, я каждый раз вижу дорожку в его саду, розы, обрамляющие окно его домика, пчел, жужжащих и бьющихся о стекла; я чувствую напоенный морской влагой ветер, что дует над Фландрией, и среди всего этого вижу его самого, широким шагом удаляющегося в просторы полей, словно идущего в бесконечность.

Так делил свою жизнь этот мудрец. Между городом и де-

ревней, трудом и отдыхом, современностью и вечностью. Он хотел жить в полную силу, воспринимая все явления в их нетронутой целостности и максимальной силе. В последние десять лет его жизни этот переход от города к деревне стал закономерен, как чередование времен года, и между Сен-Клу и Кэйу-ки-бик создалось чудесное равновесие.

Правда, один месяц выпадал — то было ранней весной, в пору сенной лихорадки. Жизнь в деревне, которую он так любил, становилась тогда сплошным физическим страданием, повышенная чувствительность к цветочной пыльце превращала для него в жесточайшую пытку ту самую весну, которая сладко пьянила других людей. Глаза его слезились, голову сжимало точно свинцовым обручем, все ощущения были мучительны. Так чудовищно действовало на его чувствительный организм волнение природы. И ни одно из лекарств — он перепробовал все — не помогало. Единственное, что оставалось, — это бежать от зелени, бежать из деревни. Поэтому весну он обычно проводил либо у моря, которое своим мощным, животворным дыханием сдувало и уносило вдаль цветочную пыльцу, либо оставался в городе, этом другом, каменном, море, где легкое дыхание цветов поглощается смрадом и пылью. Май был для Верхарна самым ненавистным месяцем, потому что этот месяц был для него самым бесплодным. Верхарн проводил его либо в Брюсселе, на пятом этаже, в квартире, снятой им на Бульвар дю Миди, сидя там пленником собственных страданий, не имея сил работать и с нетерпением дожидаясь лета, либо уезжал к морю.

Море он любил с детства, но и там никогда не мог работать. «*La mer me distrait trop*»\*, — говорил он. Море тоже слишком сильно действовало на него, хотя и по-другому, — оно дразнило его воображение. Он весь отдавался очарованию приливов и отливов, свежести ветров и бурь, он слишком сильно любил море, оно было его настоящей отчизной. Северное море сочтало в себе все, к чему стремилась душа поэта: суровость и

---

\* Море слишком рассеивает меня (фр.).

силу, стихийную мощь и ту необъятную безмерность, которую он пытался выразить в своих стихах, и он всем своим существом любил седое море, любил всех седых пришельцев севера: дождь, бурю, мглу, любил их гораздо сильнее, чем яркое великолепие юга. Здесь он по-настоящему был у себя дома, и ничто, никакие красоты в мире не могли заменить ему, фламандцу, прелесть моря.

Приехав однажды в Италию, он был очарован, но его и утомило это вечно сияющее небо, эта слишком однообразная и спокойная красота. На обратном пути, когда поезд шел через Сен-Готардский перевал, по оконным стеклам вдруг забарабанил дождь. Поэт распахнул окно и, высунув голову, представил тяжелым потокам ливня хлестать свою львиную гриву и дубленую кожу.

Нигде не чувствовал он себя таким бодрым и сильным, как у моря, — по его словам, даже слишком сильным, чтобы работать. Таким образом, и этот, казалось бы, пропащий месяц не пропадал даром. В этом-то и сказывалось присущее Верхарну несравненное умение жить, его способность посредством своего огромного энтузиазма обращать все себе на радость и пользу.

Это постоянное бегство в природу и возвращение в ее противоположность, в город, делало его большую, беспокойную и многогранную жизнь простой и скромной, как жизнь крестьянина или жителя городских окраин. К тому же оно спасало его от материальных затруднений и, ограждая от бесплодной траты духовной энергии, устремляло его талант и дух к высотам бессмертия. Никогда не приходилось мне видеть человека, который обладал бы столь же чудесной, как у Верхарна, способностью планировать и умел бы так удачно разрешить трудную проблему: как, целиком уйдя в свой труд, оставаться в то же время для каждого доступным. Это чередование в жизни поэта было гармонично и равномерно, как само дыхание, и придавало ей дивно звучащий, бодрый ритм.

Но в чем особенно проявлялось замечательное умение Верхарна жить, так это в дружбе. Он хотел, чтобы друзья принад-

лежали ему целиком; хотел встречаться с ними не в толчее сборищ, не урывками, а видеть их у себя в доме, где они могли отдаться общению с ним всем своим существом. Редко оставался он в своем скиту, в Кэйу-ки-бик, совсем один. Друзья охотно пускались в паломничество, чтобы пожить с неделку у поэта, и за эту единственную неделю в году они гораздо больше узнавали друг о друге, чем после сотни мимолетных встреч, потому что здесь друзья поэта вращались в его жизнь и домашний быт.

Не менее охотно жил и он у своих друзей. Он терпеть не мог гостиниц с их показным комфортом, где ничто не согревает душу. И если ему случалось приехать на несколько дней в Версаль, то чаще всего он останавливался у Монтальда. В Париже он, как дома, располагался у Каррьера или Риссельберга, в Льеже — у Нистенса, а в Вене моя скромная комнатка еще и до сих пор хранит благодарное воспоминание о днях, проведенных в ней этим всегда и всем на свете довольным человеком.

У него была прямо-таки непреодолимая потребность отдаваться дружбе. Порой это выражалось даже физически: он любил ходить с друзьями рука об руку, хлопать их по плечу и после каждой, хотя бы и недолгой разлуки неизменно встречал их горячими объятиями и поцелуями. Его большая, свободлюбивая душа не выносила размолвок и ссор, прощать людям их мелкие недостатки стало для этой доброй натуры почти страстью.

Разумеется, такая доброта не могла существовать без того, чтобы ею не злоупотребляли. Он знал об этом, но только посмеивался. С ним очень легко было сблизиться, легко его обмануть. Он знал об этом, как и обо всем остальном, но не желал этого знать. Поэт видел насквозь молодых людей, за почительностью которых скрывалась какая-нибудь просьба; он прекрасно понимал оборотную сторону похвал и лицемерие мнимого товарищества, но не хотел обобщать горький опыт и сознательно закалял свое доверие к людям.

Помню случай, характерный, как мне кажется, для этой

черты его характера. Однажды я зашел к его издателю и другу юности Деману спросить, нет ли у него ставшего уже редкостью первого издания стихов Верхарна, которого мне не хватало для полного комплекта. У Демана книги не оказалось, но, заметив мою заинтересованность и не зная о моей близости к Верхарну, он предложил мне корректурные листы последних произведений поэта с его многочисленными собственноручными поправками, по двести — триста франков за каждый лист. Когда я рассказал об этом Верхарну, он весело расхохотался и воскликнул:

— О да! Деман меня знает! Он прекрасно знает, что, получив корректурный лист, я не могу удержаться, чтобы еще и еще не поработать над стихами. Теперь мне понятно, почему он, обычно такой скупой, при каждом переиздании по восемь-девять раз присылает мне гранки. Это дает ему солидный дополнительный доход в несколько тысяч франков.

Но, зная, в чем дело, Верхарн, посмеиваясь, по-прежнему продолжал править гранки, сколько бы раз ему их ни присылали.

Он обладал поистине чудесным даром дружбы, достигавшей у него таких высот бескорыстия, до которых редко поднимаются даже самые лучшие из людей; у него была страсть заражать и других этим чувством, знакомя и связывая узами дружбы своих друзей. Величайшим счастьем для поэта было сознавать, что дорогие ему люди любят и понимают друг друга, что между ними, подобно химическому соединению, возникают новые дружеские связи. И действительно, все мы, друзья Верхарна, рассеянные ныне по разным сторонам раздираемой враждой Европы, являем собой единое тесное сообщество любящих, как бы особую общину среди европейских народов.

Ему было ненавистно малейшее чувство недоверия к человеку. Он предпочитал переоценивать людей, нежели хоть раз оказаться несправедливым. Он внимательно выслушивал каждого, никем не пренебрегал, и не было такой силы, которая могла бы поколебать его доверие к тому, в кого он однажды

поверил. Возле Верхарна постоянно вертелись людишки (да и где их нет!), пытавшиеся вбить клин между ним и его великими собратьями. Пытались поссорить его с Лемонье, к которому он всю жизнь питал чувство самой трогательной, чисто сыновней привязанности, возбудить в нем зависть к Метерлинку, когда тот был награжден Нобелевской премией, предназначавшейся вначале им обоим. Его благородная душа отвергала какие бы то ни было раздоры. Он все выслушивал молча, с ожесточенным упорством не давая себя переубедить.

Мне до сих пор памятен час, когда однажды в Брюсселе он явился к столу с таким сияющим лицом, будто ему неожиданно привалило огромное счастье. Все стали его расспрашивать, и он, простодушно, как дитя, улыбаясь, рассказал, что ему наконец удалось примириться с последним из своих врагов, который был с ним в ссоре целых двадцать лет. Сегодня он случайно повстречал этого человека в одном из брюссельских клубов, и тот с холодным, надменным видом молча прошел мимо.

— И вдруг, — продолжал Верхарн, — мысль о том, что мимо меня прошел живой и достойный человек, с которым мы когда-то дружили и который теперь избегает меня, показалась мне настолько смешной и ребячески нелепой, что я устыдился даже одной видимости, будто разделяю подобное чувство.

И тогда Верхарн поспешил догнать своего врага и протянул ему руку. Он так и сиял, рассказывая об этом. Отныне на всей огромной земле у него не было ни одного врага, он мог всех любить и всем помогать. Никогда не видел я поэта радостней, чем в тот достопамятный день, когда, вернувшись домой, он воскликнул:

— Больше у меня нет ни одного врага!

Таково было это большое сердце, таково было здание этой богатой жизни, в которой окна были словно распахнуты в мир, а двери раскрыты настежь, и все же оно стояло прочно и незыблемо. Верхарн всегда оставался самим собой. Не знаю, удастся ли мне своим рассказом дать представление, насколько



ко непоколебим был этот человек в том, что он считал главным, сумею ли я показать его необычайную уверенность в своих действиях, во всем своем поведении.

Он любил жизнь, любил и самого себя таким, каким он был; доверяя другим, он верил и себе. Вечные сомнения, неотступно преследующие большинство великих писателей (а у иных, как, например, у Достоевского и Геббеля, являющиеся причиной их подлинного величия), сомнения, правильно ли поступает человек в том или ином случае, дозволено ли то или иное или нет, были ему неведомы. Он просто следовал во всем своему инстинкту и в силу присущей ему порядочности всегда был уверен, что поступает правильно. Если же ему и случилось ошибаться, он спокойно признавался в этом, но никогда ни в чем не раскаивался (так же властно отверг он в дневниках последних лет и величайшее из заблуждений своей жизни, свою порожденную войной ненависть, ибо мучиться из-за чего-нибудь или приукрашивать свои поступки было противно его прямой и честной натуре).

Однажды он ехал на велосипеде по запрещенной для езды дорожке. Его задержали и отправили в участок. Полицейский, хорошо знавший Верхарна, желая помочь ему, высказал извиняющимся тоном предположение, что он, вероятно, не заметил таблички, запрещающей проезд. Однако Верхарн упрямо стоял на своем; он уверял, что прекрасно видел табличку, но все-таки поехал, и что уж лучше он уплатит штраф, чем станет лгать и выкручиваться. И он охотно уплатил десять франков. Этот маленький эпизод в высшей степени характерен для полной собственного достоинства уверенности Верхарна, который никогда и ни перед чем не отступал. Он не стыдился открыто признаться в своих чувствах и ничего не скрывал; в этом-то и заключалась чудесная тайна его умения жить.

Некогда, еще в ранней юности, он натворил немало глупостей: дебоширил, делал долги, бесплодно расточал свои лучшие годы — словом, совершал такие поступки, которые теперь, в зрелом возрасте, были ему и самому непонятны. Но он никогда в этом не раскаивался и не пытался оправдаться.

— Что бы там ни было, — сказал он мне однажды, — если бы мне пришлось начинать жизнь сначала, я хотел бы прожить ее точно так, как прожил. Я люблю в ней решительно все, что есть и что было, и никогда не перестану любить.

Именно в этом жизнеутверждении, без копания, что хорошо и что дурно, и заключалась его сила, та основа, на которой покоилась его необычайная уверенность.

В течение всех лет нашей близости с Верхарном я старался перенять у него это чувство уверенности, потому что видел, как много свободы было в его беззаботном существовании, сколько сил и энергии сберегал ему этот прямой путь вперед, без уклонов вправо или влево. Его душу не грызли противоречия и сомнения, он непоколебимо следовал лишь велению своей воли, и ему было безразлично, что думают о нем другие. Об этом свидетельствовала уже сама внешность Верхарна; не обращая никакого внимания на моду, он покупал одежду в больших магазинах готового платья и разгуливал по улицам Парижа, обмотав шею шарфом, какие носят обычно рабочие. В своей дешевой курточке он преспокойно заходил в лучшие рестораны и, ничуть не стесняясь кельнеров, усаживался за столик.

Он никогда ни к чему не принуждал себя, и ему было безразлично, что о нем говорят. Тот же скромный, но абсолютный суверенитет сохранял он и в своем творчестве. Он делал, что было в его силах, не заботясь о славе, радовался своему успеху и смеялся над глупыми и злобными нападками.

На этой-то уверенности и полной беззаботности и покоилась его непосредственность, составлявшая глубочайшую тайну его существа. Никогда не видел я человека, который говорил бы с людьми более непринужденно. Ему было совсем незнакомо чувство смущения ни перед великими, ни перед малыми мира сего. Гуляя однажды в Кэйу-ки-бик по лесу, он увидел вокруг костра лесорубов, которые вырезали себе из свежей древесины башмаки. Верхарн подсел к ним и разговорился — его интересовало решительно все, касающееся их ремесла. Лесорубы охотно, как с равным, болтали с поэтом,

угощали его табаком, и никому из них и в голову не пришло, что он «господин», образованный человек. В другой раз на скамейку, где он сидел, подседа какая-то женщина и принялась говорить с ним, как с простым батраком или пастором.

К нему то и дело являлись деревенские жители, прося написать прошение или письмо сыну (в округе о нем только и знали, что он «писец»). Он охотно делал это и не видел ничего смешного в том, что его утруждают такими пустяками. Люди всегда запросто приходили к нему, и это радовало его больше, чем самый громкий успех.

Один из его приятелей, чертежник, живший в соседней деревушке, был награжден каким-то орденом, и по этому поводу вся округа пиновала у него на банкете. Сидя в гостях среди мелкого люда, Верхарн добродушно балагурил, веселился и даже произнес речь. Он присутствовал на деревенских свадьбах и на крестинах, всегда находя общий язык с простыми людьми. А на следующий день он мог оказаться приглашенным в остендский дворец короля Альберта и столь же непринужденно обсуждать с министрами и другими государственными деятелями важнейшие проблемы. И здесь он был так же искренен, так же проникал своим светлым взором в самую душу людей и судил обо всем свободно и без предвзятости.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не видел я Верхарна растерянным, никогда не гнулась твердая ось его воли. Даже на чужбине, среди людей, языка которых он не знал, его чудесная воля позволяла ему сохранять внутреннюю свободу. Эти тысячи маленьких тайных побед придавали новую силу его мироощущению.

Люди, мало знавшие поэта, не раз с любопытством спрашивали меня, богат он или беден, имеет ли состояние или живет своим трудом. Об этом никто ничего не знал. Верхарн жил очень скромно, но у него постоянно бывали гости. Одевался он как простой мещанин, но раздавал деньги направо и налево. Проводил каждое лето в своем сараюшке, но за всю свою жизнь ни разу не принял ни одного литературного заказа

и нигде не служил, ибо превыше всего он ценил свободу распоряжаться собой и своей жизнью.

Он не желал связывать себя ни специальностью, ни службой, всегда был самостоятельным и независимым в своих суждениях. Он был свободен даже от самых крепких оков нашего времени — от власти денег. Он умел оставаться независимым, не будучи богатым, и предпочитал вести самый простой образ жизни, чем ограничивать свободу. Большую часть отцовского наследства поэт растратил еще в молодости, а то, что осталось у него ко времени женитьбы, давало лишь небольшую ренту. И Верхарн предпочел замкнуться в своих двух комнатах, но не поступился свободой; ни разу в жизни, даже в более поздние годы, когда все возраставший успех принес ему славу и деньги, не изменил он своей привычке и не поддавался соблазну.

В юности у него была страсть — он собирал редкие книги и картины. Но в один прекрасный день, желая стряхнуть с себя последние оковы, он все их распродал, кроме тех, что были созданы трудом его друзей, и тогда слово «собственность» окончательно утратило для него свой смысл, ибо отныне ему, полному энтузиазма, принадлежал весь мир. Ему было безразлично, где висит его любимая картина: у него ли в комнате или в Луврском музее, и даже домик в Кэйу-ки-бик, который он считал своей неотъемлемой собственностью и воспевал в стихах, он всего-навсего арендовал у Лорана. Когда же с годами у поэта стали накапливаться гонорары, он прямо-таки не знал, что с ними делать. Все его желания были удовлетворены, а скромная жизнь в маленьком, тесном домишке протекала куда свободней, чем то бывает при самой большой роскоши и комфорте.

Успех и слава не наложили ни малейшего отпечатка на жизнь Верхарна. Его не угнетал страх за будущее, не давили заботы, не терзало честолюбие, не мучили стыд и раскаяние — божественно свободной и беспечной была его большая жизнь среди маленьких людей, и только на примере этой жизни постиг я, что подлинная свобода заключается не в избытке удовлетворенных желаний и наслаждений, а в светлой

безмятежности, в отсутствии всех желаний, когда высшим благом для человека является сама свобода.

Так мирно и свободно протекала его жизнь, и он любил ее всей душой и саму свою к ней любовь. Да и все его творчество — чем, в сущности, оно было, как не вечным утверждением жизни во всех ее проявлениях! Утверждением современности, города, природы, людей, самого себя. Ему было равно мило и дорого все живое, и, славя жизнь, он прославлял и возвышал в ней самого себя. Он вдохновлялся собственным вдохновением и, чтобы еще ярче разжечь в себе огонь жизнелюбия, порой опьянялся этой любовью.

В любое мгновение готов он был вспыхнуть творческим огнем. В картинных галереях, в обществе новых знакомых, в театре, на чтениях он словно вырастал, становился красноречивым, голос его звучал уверенно и звонко, грудь расширялась, каждый нерв трепетал, и он говорил, как вдохновенный проповедник. Только тот, кто видел Верхарна в эти моменты экстаза, действительно знает его. Порой такая вспышка не ограничивалась мгновениями и часами, а, разгораясь, подобно лесному пожару, длилась целые недели и месяцы.

Помню, вернувшись из России, поэт долгое время был точно пьяный. Он мог часами рассказывать о своей поездке, будучи не в силах утолить свою жажду воспоминаний, и, находясь возле него, вы невольно загорались огнем его вдохновения. Но и сам он так же легко загорался вдохновением других. Несколько лет тому назад я приехал в Брюссель из Страсбурга, где еще утром того дня, стоя на куполе кафедрального собора, следил за Цеппелином — то был знаменательный день, когда Цеппелин отправился в свой первый дальний полет. Я рассказал Верхарну о том, как, взбудораженные пушечным салютом, тысячи жителей хлынули на улицы, высовывались из окон и, высыпав на крыши, гроздьями повисли на трубах. Поэт пылал от восторга. Его неизменно захватывали рассказы о новых открытиях, о смелых дерзновениях человеческой мысли, и тогда для него не существовало различия между нациями. А на другой день после этого он

рано утром ворвался ко мне в комнату с газетой в руках: он прочел в ней о катастрофе в Эхтердингене и был в отчаянии, почти плакал. Ведь в мечтах он уже успел покорить воздушные просторы, перед ним занималась заря новой, счастливой эры, и катастрофу в Эхтердингене он воспринял как личное поражение.

Однако не только великое воспламеняло воображение Верхарна. Обыкновенный часовой механизм, строфа стихотворения, картина, ландшафт — все могло привести его в восторг. А поскольку, как я уже говорил, он во всем видел и хотел видеть лишь положительную, творческую сторону, жизнь была для него бесконечно богатой и, именно в силу ее бесконечности, прекрасной. Воспарив духом за пределы своей родины, он любил всю Европу, весь мир, любил будущее больше, чем прошедшее, ибо в будущем таились все новые возможности нового — неизведанные возможности вдохновения и энтузиазма. Не страшась смерти, он беззаветно любил жизнь, ибо каждый день ее был полон чудесных неожиданностей.

Но мир становился для него реальностью, а явления обретали жизнь лишь тогда, когда он сам их утверждал, и вот, стремясь как можно шире раздвинуть пределы мира и тем самым сделать полнее собственное существование, он пел и пел ликующую песнь утверждения, все больше и больше радуясь бытию. В мгновения экстаза этот пожилой человек был одновременно и пылким юношей, и пророчествующим патриархом. Атмосфера маленькой комнатки накалялась от жара его речей, вы чувствовали, как вас подхватывает пламенный поток, и сердце ваше громко стучало в такт его стихам. И вы понимали тогда, что девиз поэта: «*Toute la vie est dans l'essor*»\* — это единственный путь к самоусовершенствованию и счастью, и, расставшись с ним, вы на целые часы и дни освобождались от всего мелочного. О дивные мгновения поэтического экстаза! За всю жизнь я не испытал ничего прекраснее!

---

\* Жизнь — это вечный взлет (фр.).

Именно эти высокие поэтические взлеты, эта возвышенная вдохновенность делали для него труд ежедневной потребностью. Он взвинчивал работой свои нервы, стихи возносили его послушные чувства из мира повседневности на огромную высоту, труд был для него неиссякаемым источником жизненного обновления и юношеской радости. Он писал, особенно в последние годы жизни, не по случайному капризу, как обычно думают профаны о поэтах-лириках, а по настоятельной, непреодолимой потребности души в самосовершенствовании.

Не ради славы и денег, как большинство писателей, трудился он. Работа была для него чем-то вроде сильного возбудителя энергии, спортом, укрепляющим и тренирующим духовные силы, подобно тому как гимнастика тренирует по утрам силы физические; она опьяняла и возвышала поэта, разжигая его энтузиазм. Его поэзия — нечто большее, чем плод умственного труда или вдохновения, она была жизненной функцией его существа.

Помню, он как-то сказал мне, что после шестидесяти лет бросит писать. В эти годы человек уже утомлен жизнью, говорил он, у него слабеет память, и он способен лишь повторяться, компрометируя тем самым свои же собственные, ранее созданные произведения. Но вот прошло два года, и в последнее наше свидание, когда ему уже шел пятьдесят восьмой год, он опять, так же мельком, заметил, что после того, как ему стукнет семьдесят, он не напишет ни одного стиха. Я не удержался и, улыбаясь, напомнил ему, что совсем недавно он считал шестьдесят лет опасным рубежом для поэта-лирика, и порадовался тому, что он отказался от этой мысли. Верхарн сначала удивленно взглянул на меня, потом тихо рассмеялся:

— Что верно, то верно! После шестидесяти лет мои стихи не будут стоять доброго слова. Но как же быть! К этому так привыкаешь, что просто жить не можешь без этого. Да и что еще остается в жизни? Ведь в старости лишаешься всего — женщин, путешествий, любопытства, энергии, — только и останется, что сидеть за письменным столом да работать. Быть может, для других мой труд и утратит значение, но не для

меня. Когда я поднимаюсь из-за письменного стола, у меня такое чувство, словно я был в полете.

Да, этот человек знал решительно все, даже собственные слабости и ошибки.

Итак, каждый день начинался с работы. Едва проснувшись, он спешил ринуться в пламенный мир лирических взлетов. Правда, стихи его к этому времени перестали быть чистой лирикой, стихийно, как бы кристаллически возникающими образованиями, и являли собой плод вдумчивого, почти методического овладения поэтической формой. Подобно крестьянину, который, прежде чем начать пахоту, размеряет свое поле, Верхарн мысленно делил мир своей поэзии на отдельные циклы.

Он работал по строгой программе, упорно и спокойно, сильная воля поэта заранее намечала четкие границы его творческой деятельности. Иногда он работал сразу над несколькими стихотворениями, но все они входили в один цикл и были связаны единством темы. И когда определенная часть программы оказывалась выполненной, он к ней больше не возвращался.

Я понимаю, что, рассказывая обо всем этом, я снижаю представление некоторых людей о Верхарне-лирике, по крайней мере представление тех, для кого рождение стиха окутано туманом и мистикой. Но я должен еще более разочаровать их, добавив, что на письменном столе поэта лежал словарь рифм и толковый словарь, которыми он постоянно пользовался, отыскивая все более тесные связи для родственных слов. Верхарн записывал в тетрадь и на отдельных листках каждое редкое слово, в особенности рифмующиеся имена собственные, чтобы при случае использовать их в своей работе. Более того, перед тем как создавать в своих стихах, словно с помощью заклинания, образ мира, он старательно изучал географическую карту.

Постепенно Верхарн превратился из вдохновенного стихийного лирика в великого мастера стиха. Но что гораздо важнее, душа поэта до последнего дня его жизни была на-



сквозь проникнута лиризмом и страстью, а ритм стихов диктовался биением его сердца. Он с холодной тщательностью отработывал свои произведения, но творил их со всей страстью пылкого человека. Не в горячке вдохновения, а как великий пахарь, прокладывающий борозду за бороздой на вечной пахне мира, создавал он изо дня в день по несколько строк своих космических стихов. Работа была его страстью, его блаженством, неиссякаемым источником омоложения.

А самой любимой частью работы была окончательная шлифовка. Он ревностно ковал и перековывал строки своих стихов, и в его корректурной правке отражается вся неукротимость стремления Верхарна к совершенству. Его рукописи — это настоящие поля сражений, вдоль и поперек усеянные трупами павших от руки поэта слов, через которые лезут другие слова, чтобы, в свою очередь, так же пасть, и сквозь всю эту мешанину проглядывает, наконец, новая, более прочная форма. Поэт переделывал свои стихи (и, на мой взгляд, не всегда удачно) при каждом новом издании. Друзья, для которых его произведения успевали уже к тому времени стать чем-то нерушимым и близким, пытались почтительно и осторожно удерживать его от переделок, но все их старания были тщетны.

Покуда книга еще не была напечатана, он снова и снова яростно бросался в атаку, колот и рубил направо и налево, заменяя слова и выбрасывая слоги. Его собственный страх перед своей неукротимой страстью к переделыванию был так велик, что, когда книга выходила наконец из печати, он старался ее не раскрывать. Во время путешествий он таскал с собой большую сумку с рукописями, привязывая ее, как истый вождь снуков, ремнем к телу. А ночью клал ее под подушку — так дрожал он за свои стихи.

Но стоило угаснуть творческому пылу — он мигом забывал о произведении. Многие из стихов совсем вылетали у него из памяти, и, если, роясь дождливыми днями в старых газетах и листая пожелтевшие от времени черновики, ему случалось наткнуться на такие давно забытые стихи, ни места, ни времени создания которых он уже не помнил, его суждение о них

было всегда беспристрастным и трезвым, как суждение постороннего человека.

Зато настоящим праздником бывали моменты, когда он заканчивал какое-нибудь крупное стихотворение; откинувшись на спинку кресла, прижимая к своим близоруким глазам пенсне и держа перед собой свежееписанные листки, он читал их вслух звонким, чуть резковатым голосом. Все его мускулы мало-помалу напрягались, руки поднимались, словно для заклятия, в каждой пряди его львиной гривы, в каждом волоске отвислых усов трепетал ритм стихотворения, и все более звонко звенели металлом слова и строфы.

Он мощно подхватывал и бросал в пространство стихотворные строки, так что вибрировали их окончания; все сильнее, напряженней и резче становилась его речь, пока все вокруг и внутри нас не начинало звучать в ритм стихам. Словно волны морские, вздымаясь и падая, возвышался и замирал голос поэта, и, подобно сверкающей на гребнях волн пене, вспыхивало порой острое словцо, и закипавший вокруг него вихрь буйно перемешивал широкие потоки слов.

В эти моменты высочайшего напряжения приземистая фигура Верхарна словно вырастала, и даже теперь, перечитывая эти впервые услышанные тогда стихи, я неизменно улавливаю в них голос поэта, придающий им подлинный, глубочайший их смысл.

Чтение новых стихов было для нас как бы досугом после работы, краткими праздниками, нарушающими повседневную тишину будней, незабвенными для каждого, кто пережил их, и омраченными лишь трагической мыслью об их безвозвратности.

Верхарн не был замкнутым человеком, он любил бродить по улицам, ездил из города в город, и каждый имел к нему доступ. Личность его не была окутана покровом тайны, он открыто стоял в ярком свете жизни, и его облик, который я пытаюсь воссоздать в своих воспоминаниях, хорошо знаком многим. Но позади него, почти не выходя за пределы его частной жизни, неотделимая от него, словно тень, которая

одна лишь и придает вещам всю глубину их объемности, стояла незаметная и почти никому не известная фигура — его жена.

Рассказывая о жизни Верхарна, нельзя не вспомнить об этой женщине, которая была неугасимым светочем его души, ярким факелом, озарявшим всю его жизнь. С ней были знакомы только те, кто посещал их дом, да и то лишь самые близкие из друзей поэта, так скромно и незаметно держалась всегда жена Верхарна. Никогда не появлялись в журналах ее портреты, никогда не бывала она в обществе или театрах, и даже дома случайный посетитель мог видеть ее, лишь когда она выходила к столу или мелькала, проходя по комнате, словно мимолетная улыбка на серьезном лице.

Весь смысл жизни этой благородной женщины, все ее честолюбие заключалось в том, чтобы незаметно раствориться в существовании мужа, в его творчестве, чтобы своим благородным влиянием помочь до конца развернуться его поэтическому таланту. В юности она была художницей, и притом на редкость даровитой, но, выйдя замуж, от всего отказалась и стала только супругой, только женой. Лишь иногда, в часы досуга, бралась она за кисть, чтобы написать небольшую картину: портрет Верхарна, уголок сада, интерьер, но ни одна из этих очень камерных картин не попадала на выставку, не становилась известной. Даже самым близким друзьям с трудом удавалось взглянуть на произведения слишком уж скромной художницы. Чтобы проникнуть в сарайчик, где помещалась ее мастерская, надо было обращаться не к ней, а к самому Верхарну.

Эта женщина, Марта Верхарн, представляла собой последнюю из тайн его чудесного искусства жить. Только самые близкие поэту люди понимали, откуда исходят царящие вокруг него дивная тишина, покой и уверенность; только мы догадывались, кого воспевал он под именем святого Георгия, который вырвал его из змеиных объятий нервов и спас от хаоса страстей; только мы одни знали, какой умной и серьезной советчицей всегда и во всем была для него жена, сколько

истинно материнской нежности вкладывала в свою любовь к нему эта безвестная женщина, никогда не посягавшая на важнейшую из духовных потребностей Верхарна, на его свободу.

Бывало, у них за столом собиралось двое-трое друзей, шел общий разговор. Но вот подавался черный кофе, и она мгновенно и незаметно, ни с кем не простясь, исчезала. Она знала, что люди совершили паломничество в Кэйу-ки-бик или в Сен-Клу, чтобы повидаться с ним, с поэтом, и не хотела мешать, прекрасно понимая, как тягостно бывает в большинстве случаев присутствие жены художника. Она никогда не ходила даже на генеральные репетиции его пьес — ей была несносна мысль, что из вежливости ее сделают соучастницей его успеха. Не сопровождала она его и во время путешествий, охотно поручая поэта заботам друзей. Ее деятельность была скрытой, как бы подземной и тем не менее удивительно благотворной, в силу безмолвной и ни на миг не ослабевающей, а, напротив, постоянно крепнущей способности тайного самопожертвования. Ей ничего не нужно было, кроме его счастья и его благодарности.

И труды ее были вознаграждены. Кто умел быть благодарным лучше Верхарна?! Три тома посвященных жене стихов кажутся мне, несмотря на все их разнообразие, пожалуй, самым бессмертным из всего им созданного, ибо в них заключено самое интимное. Тем, кто знал Верхарна, в этих книгах, в каждом их слове слышится голос поэта. Все, что окружало его при жизни, — просторы полей и лесов, маленький садик, комната, погруженная в сумерки вечера, — все предстает в них благоговейно возвышенным, как молитвенно простертые руки.

И даже в сборнике военных лет, в этом отчаянном вопле истерзанной души, словно одинокий цветочек на выжженной почве его вулканических чувств, улыбается одно посвященное ей стихотворение о том, как оба они глядели с холма Сен-Клу на кружившие в небе самолеты и как даже тут, среди кошмаров войны, проявилось трагически прекрасное чувство ее страдания. Чудесная благодарность поэта изливалась, покуда

в душе его не угасла последняя искра жизни, пока не отлетело его последнее дыхание. Теперь же, когда голос Верхарна умолк навсегда, наша — его друзей — святая обязанность хранить признательность этой женщине как за самого человека, так и за его прекрасное творчество.

Маленький, тесный домик, маленький стол. Долгие-долгие годы провел он здесь, когда вдвоем, когда втроем, с друзьями. А за стенами простирался огромный мир, откуда являлись и куда уходили друзья. словно вся жизнь, все времена и народы проходили через этот домик; приходили и снова уходили.

Но вот однажды явилась новая гостья, новый друг. Она стала заглядывать все чаще и, наконец, осталась там навсегда — то была слава. Доброжелательная и заботливая, с утра до вечера хлопочет теперь в маленьком домике эта непрощенная, но желанная гостья. Уже спозаранку она бросает на стол, накрытый для завтрака, пачки писем, тащит телеграммы и пригласительные билеты, заваливает письменный стол поэта монетами, картинками, банкнотами, книгами и восторженными отзывами со всего мира. Своей властной рукой она вводит в дом все новых и новых людей: начинающих писателей, которые жаждут познакомиться с поэтом, просителей, репортеров и просто любопытных. День ото дня гостья становится все светлейшей и фамильярней, все больше чувствует себя у поэта как дома; ее присутствие ощущается постоянно. Но обычно такая опасно назойливая, всегда готовая вытеснить труд и творения своего хозяина и сесть на их место, здесь эта гостья ведет себя тихо и скромно. И даже она, великая европейская слава, со всей своей шумихой не может нарушить царящего в этом доме глубокого внутреннего мира.

Вначале, когда, почти на пятидесятом году жизни поэта, слава пришла и водворилась в его доме, ее приняли немного удивленно. Ее давно перестали ждать и спокойно, без тени зависти, глядели, как она восседала за столами других. Разумеется, при появлении в Сен-Клу и Кэйу-ки-бик ей не указали на дверь, но и не усадили на почетное место. Ей не суждено

было завладеть душой Верхарна. Напротив, это последнее испытание, как никогда зримо, явило мне все внутреннее величие Верхарна-человека.

Я познакомился с его произведениями еще в ту пору, когда он был известен лишь узкому кругу людей как один из декадентов или символистов. Его книги, — но кто о них тогда знал? Мои давным-давно уже забытые ранние стихи и то были распроданы в большем количестве. А в Париже о нем попросту никто не слыхал, и если вам случалось упомянуть имя Верхарна, ваш собеседник неизменно восклицал: «О да! Верлен!» И я ни разу не слышал, чтобы Верхарн посетовал на это. Его ничуть не трогало, например, что Метерлинк, бывший на целых десять лет моложе его, был уже всемирно знаменит, что люди, гораздо менее талантливые, но зато несравненно более предприимчивые, слыли за гениев, его же труд оставался в тени.

Он продолжал упорно трудиться, ни на что не обращая внимания, и делал свое дело, ничего не требуя и не ожидая, хотя и был уверен в своем таланте и мастерстве. Ни шагу не сделал Верхарн навстречу славе, ни разу не попался на удочку попрошайек-рецензентов и услужливых льстецов, пальцем не двинул, чтобы проложить себе путь к славе. Когда же она пришла сама и бросилась ему в объятия, он в свои пятьдесят лет принял ее как дар судьбы, как духовное обновление, как еще один взлет к совершенству, словом, так, как принимал все в жизни.

Постепенно в его стихах начинает звучать высокий национальный пафос; не как один из жителей Фландрии говорит он теперь, а как сама Фландрия, как ее народ, и торжественные речи поэта на Международной выставке уже проникнуты духом общечеловеческого сознания, в них уже слышится отзвук мировой славы. И если прежде поэтическое творчество было для Верхарна лишь страстью, то в последние годы его жизни оно стало для него почти апостольским деянием.

Он чувствовал, что, как поэт, призван стать провозвестником своей эпохи и славы своего народа. Он не увенчал тще-

славную свою голову славой, но и не бросил ее презрительно под ноги. Она послужила ему высокими котурнами, подняв его над миром, расширив его кругозор и сделав его голос слышным народу. Я не встречал среди наших современников другого писателя — не считая, конечно, братски мною любимого Романа Роллана и добродушно-величавого Герхарта Гауптмана, — который нес бы свою всемирную славу так же красиво и с таким же чувством ответственности, как Эмиль Верхарн.

Мне же на долю выпала редкая и бесконечно драгоценная возможность месяц за месяцем, год за годом созерцать рост этой славы и дружески ему содействовать.

Находясь всегда подле поэта, я видел и переживал вместе с ним все ее фазы, от чуть слышного шороха в непроглядной кромешной тьме равнодушия до поры, когда, постепенно все разрастаясь, она обрушилась, подобно лавине, и прозвучала далеко вокруг, дивно гулкая и опасная. Мне ежедневно приходилось наблюдать эту великую, мировую славу, воплощенную в ежедневном потоке посетителей и писем, прикрытую личиной соблазнов и обольщений, во всех обличиях тщеславия и коварства. Она настолько хорошо мне знакома, как будто она принадлежала мне самому. И именно потому, что я наблюдал ее так долго и так близко, я утратил всякое желание добиваться ее. Чтобы нести ее на своих плечах, нужно быть столь же сильным и достойным ее, как Верхарн, этот высокий образец человека, таким же неуязвимым, как он, для соблазнов этого опаснейшего врага искусства и правдивой жизни.

Воспоминания тех дней, великих и прекрасных дней минувшего, сотни и сотни воспоминаний, целые дни и отдельные часы, отдельные слова и эпизоды беспорядочным, шумным роем теснятся перед моим устремленным в прошлое взором!

Как разобраться в них, как выделить из общей массы переживаний все главное и отбросить лишнее, если беседы наши были так беззаботны и радостны, что напрасно даже пытаться воспроизвести на словах эти блаженные часы дружеского откровения! От них осталась лишь сладостная грусть и неизъяс-

нимо тревожное чувство благодарности, лишенное формы, расплывчато смутное и ускользающее, как воспоминание о давно минувшей летней ночи. И в целом, сколь ни дороги мне подробности, я ощущаю ныне эту пору как счастливые годы ученичества, когда я начинал постигать сердцем великое искусство быть человеком.

О вы, всемогущие, крепко держащие в своей власти душу воспоминания — как остановить ваш стремительный поток! Вот города, в которых мы побывали с ним вместе! Льеж, ныне взятая штурмом крепость, а тогда еще мирный город; в ясный летний день мы с Альбером Мокелем и другими друзьями отправились вверх по реке, чтобы посетить удивительнейшего из святых, святого Антония-исцелителя. А наша почтительная беседа со схимником в тесной келье, и смех, и ощущение собственного здоровья в толпе страждущих паломников!

Валансьен, где мы остановились перед городским музеем! В Брюсселе — друзья, театр, хождение по улицам, кафе, библиотекам. Берлин, где я проводил часок-другой у Рейнхардта, а вечера просиживал, мирно беседуя, наверху, у Эдуарда Штукена — в этом берлинском оазисе тишины и покоя! Вена, в дни, когда еще ни один поэт не стремился увидеться с Верхарном и где нам было так хорошо бродить вдвоем по городу, словно чужестранцам.

Гамбург... здесь, переплыв на маленьком пароходике огромную гавань, мы отправляемся в Бланкенезе, к Демелю, которого Верхарн нежно любил за его прямоту и за его глаза «умного пастуха». Вот ночные Дрезден и Мюнхен, вот Зальцбург в осеннем сверкающем наряде. Лейпциг — мы у Киппенберга вместе со старым его другом Вандервельде.

А дни, проведенные в Остенде! А вечера у моря! И вы, нескончаемые беседы в вагонах во время прогулок и странствий, загородные поездки, путешествия, зачем, зачем же все вы, давно минувшие, толпитесь передо мной! Моя любовь к нему, моя о нем память не нуждаются в вашем напоминании!

А Париж! Обеды в тесном кругу втроем, вчетвером, часы, проведенные в беседе с Рильке, Ролланом, Базальгетом, в



моей комнате, где, бывало, собирались вокруг моего стола лучшие люди, которых я знал в своей жизни. А вот вечер в мастерской Родена, полной глыб мрамора и законченных творений, среди которых была и статуя Верхарна, увековечившая его в камне!

А посещения Лувра, музеев — сколько ярких, полных жизни и радости часов! Но вот среди них тот мрачный вечер в дни войны на Балканах, когда продавцы газет внизу ошалело выкрикивали известия о падении Скутари и мы с тоской в сердце обсуждали, не захлестнет ли уже завтра или послезавтра эта горячка мировой войны и нашу страну.

Помню я и полное пророческого смысла мгновение, когда, стоя на улице, мы смотрели на кружащие в небе самолеты и он восторженно восхвалял гений человеческой изобретательности, а потом вдруг, снова печально понизив голос, с ужасом спросил, неужели и эта чудесная сила призвана служить разрушительным целям обезумевшей военщины. О милые сердцу образы в тихом домике предместья Сен-Клу и в моей парижской комнате! Как часто вы оживаете во мне, овевая грустной мыслью о безвозвратной утрате!

И вот опять Кэйу-ки-бик, мои излюбленные тропинки, уводящие в поле и лес. Мирные беседы с адвокатом и священником, с соседями, с друзьями, что жили поблизости или приезжали издалека. Часы безмятежной радости и веселья, невинные шутки и безобидные проделки, вроде той, когда провинциальный адвокат вздумал учить Верхарна искусству поэзии и поучал его, как добиться совершенства, а поэт серьезно и терпеливо слушал своего собеседника, подмигивая нам, чтобы мы не смеялись.

Или другой эпизод: декламируя как-то свою «Елену», Верхарн громко, во весь голос призывал спартанскую царицу, как вдруг запахнулась дверь, и в комнату влетела их молоденькая служанка-валлонка, уверяя, что ее позвали. Как выяснилось, ко всеобщей потехе, служанку тоже звали Еленой, и когда в кухню донеслись слова заклинания, она поспешила явиться из царства теней.

Быстро промчался поток этих дней, и волны его еще и поныне вздымают все мои чувства и, мощно увлекая к былому, тяжелым грузом лежат на сердце. Как много мог бы я рассказать об этих чудесных днях, каждая подробность которых неизгладимо врезалась мне в память! Порой образы тех дней посещают меня во сне, озаренные радужным блеском, словно я гляжу на них сквозь слезы.

Только один-единственный миг хочу я вырвать из этого сверкающего вихря воспоминаний, единственный в красоте своей печали.

Я снова в Кэйу-ки-бик. Лето, часы полуденного зноя. Солнце ярко пылает на красной кровле, утомленно поникли розы, тяжелеют гроздья бузины — скоро осень. Я сижу недалеко от дома в голубоватом сумраке маленькой беседки, обвитой плющом и вьюнками. Я перевел несколько строф нового стихотворения Верхарна, немного почитал и теперь люблюсь золотистыми пчелами, снующими среди последних цветов. Но вот послышались его грузные, медлительные шаги. Верхарн входит в беседку. Он кладет мне на плечи руки и говорит:

— Je veux faire une petite promenade avec ma femme, il fait si beau!\*

Я остаюсь в беседке. Я знаю, он любит после обеда побродить один или с женой, да и мне так чудесно сидеть здесь, в тени, любуясь полями созревающих хлебов. Вот он снова появляется из дому под руку с женой, держа в свободной руке шляпу, и, выйдя за калитку, направляется в луга, овечьи первые дыханием осени. Я гляжу ему вслед. Как медленно он идет, как сутулится! Спина слегка согнулась, огненно-рыжие кудри поседелели, на плечах, даже в этот жаркий день, заботливо накинутое женой пальто. А как изменилась его уверенная, прямая походка, какой осторожно-медлительной и тяжелой стала она.

И тут я впервые почувствовал — надвигается старость. Да и госпожа Верхарн, идущая с ним рядом, кажется мне сегодня

---

\* Пойду погуляю с женой. Хорошо-то как! (фр.)

какой-то особенно утомленной. Оба движутся мелкими шажками, серьезно и чинно, словно чета направляющихся в церковь стариков крестьян. Старость? Ну что ж, я знаю, у них она будет прекрасна, они с достоинством понесут ее бремя! Подобно Филемону и Бавкиде, будут жить они тихой и светлой жизнью вдали от мира, быть может, еще полней и прекрасней, чем до сих пор.

Знойный полдень, ярко светит солнце, но, глядя, как они идут, я чувствую разлитое вокруг сияние осени. Вот он остановился, протянул руки к солнцу, потом заслоняет ими глаза и долго-долго всматривается в даль, словно пытаюсь заглянуть в неизвестность. Потом они снова рука об руку тихонько бредут дальше, и я долго гляжу им вслед, пока их фигуры не скрываются в лесу, словно во мраке грядущего.

И еще один миг хочу я запечатлеть в своей памяти. Миг, ужасный смысл которого я постиг лишь позднее, не придав ему тогда должного значения. То было в марте, в самом начале весны страшного 1914 года. Никто из нас, как и вообще никто в мире, ни о чем еще не подозревал. Я сидел утром у себя в комнате, в Париже, и писал письмо друзьям, на родину. Вдруг на лестнице послышались шаги, так хорошо мне знакомые и желанные шаги Верхарна. Я вскакиваю и спешу отворить.

Действительно, это он: поэт зашел на минутку, сказать, что уезжает в Руан. Какой-то молодой бельгийский композитор написал оперу на сюжет одного из его произведений и умолял поэта присутствовать на премьере. А Верхарн, эта добрейшая душа, ни в чем не мог отказать своим юным собратьям по искусству. Он решил выехать на другое же утро и зашел узнать, знаком ли я с Руаном и не хочу ли его сопровождать. Он не любил одиночества в пути, предпочитая ездить с друзьями, и, не боясь показаться нескромным, скажу прямо: любил ездить со мной. Разумеется, я обрадовался предложению и тут же охотно согласился. Мой чемодан был мгновенно уложен, и на следующее утро мы встретились на вокзале Сен-Лазар.

И странно, всю дорогу из Парижа в Руан, целых четыре часа, мы говорили только о Германии и Франции. Никогда еще не был он так откровенен со мной, никогда не высказывал так свободно и прямо своего мнения о Германии.

Он любил великую немецкую силу — немецкое мышление, но всей душой ненавидел кастовую спесь немецкой аристократии и не доверял немецкому правительству. Он, для которого индивидуальная свобода была смыслом всей жизни, не признавал права на существование для страны, духовно поработанной! Взяв для сравнения Россию, он сказал, что там каждый человек внутренне свободен среди всеобщего рабства, тогда как в Германии, при большей личной свободе, люди слишком проникнуты верноподданническими чувствами.

Эта предпоследняя наша беседа как бы подвела итог множества раз обсуждавшимся нами вопросам, и мне особенно памятно каждое слово именно потому, что эти беседы безвозвратно канули в вечность и в них ничего уже нельзя изменить. Как поразительно быстро пролетели четыре часа пути! Мы уже были в Руане и шли по его улицам, отыскивая величественно прекрасное здание кафедрального собора, ажурные украшения которого мерцали в лунном свете, словно белое кружево.

Что за чудесный был вечер! После празднично проведенного дня мы отправились в крошечное кафе у самого моря. Там сидело лишь несколько заспанных обывателей. Вдруг за одним из столиков поднялся какой-то старый, неряшливо одетый мужчина и, подойдя к Верхарну, поздоровался. Этот опустившийся человек оказался другом его юности, художником. Поэт приветствовал его с поистине братской нежностью, хотя уже целых тридцать лет ничего о нем не слышал. Из беседы старых друзей я узнал много нового о юношеской жизни Верхарна.

А на другой день мы уже отправились обратно. У нас были только небольшие чемоданчики, и мы сами снесли их на вокзал. Как отчетливо, словно кто рассек передо мной острым ножом черный покров забвения, вижу я во мгле воспоминаний

этот маленький вокзал, стоящий на самом высоком месте. Вижу сверкающие рельсы перед туннелем, вижу врывающийся туда с шумом паровоз, вижу, наконец, свои собственные руки в тот момент, когда я подсаживал поэта в вагон. И я твердо знаю, это и есть то самое место, где два года спустя его настигла смерть, те самые машины и рельсы, которые он воспевал и которые растерзали его, как менады своего певца Орфея.

То было весной. Весной 1914 года. Страшный год уже начался. Тихо и мирно, как все предыдущие годы, начался он и докатился потихоньку до лета. Мы условились, что август я проведу в Кэйу-ки-бик, но в Бельгии я был уже в июле, чтобы пожить немного у моря. Остановившись проездом на один день в Брюсселе, я прежде всего отправился повидаться с Верхарном, который гостил тогда у своего друга Монтальда, в деревушке Волюв. Я поехал туда на маленьком трамвае, который шел сначала по широкой улице, а потом среди полей, по шоссе. Когда я приехал, Монтальд заканчивал портрет поэта, последний портрет Верхарна. Как же я обрадовался, найдя его там!

Мы говорили о его работе, о новой его книге «*Les flammes hautes*»\*, и он прочел мне из нее последние стихи, о его пьесе «*Les Aubes*»\*\*, которую он заново перерабатывал для Рейнхардта, о друзьях и о том, как славно мы проведем опять вместе лето. Целых три или четыре часа просидели мы с ним тогда, а сад зеленел и сверкал, ветерок раскачивал гроздь сирени, и все вокруг дышало миром и изобилием. Потом мы простились — совсем ненадолго, ведь скоро мы должны были снова встретиться у него, в его маленьком, тихом домике. На прощание он еще раз обнял меня и крикнул вдогонку:

— Итак, до второго августа!

Увы! Могли ли мы предполагать, чем станет для нас этот с такой легкостью назначенный нами день! Трамвай двинулся в обратный путь среди цветущих полей, но я еще долго видел

---

\* «Высокое пламя» (фр.).

\*\* «Зори» (фр.).

поэта. Стоя рядом с Монтальдом, он махал мне рукой, пока навсегда не скрылся из глаз.

После этого я прожил еще несколько мирных дней в Ле Коке, и вдруг потянуло грозой — с моей же собственной родины. Я стал ежедневно ездить в Остенде, где мог быстрее узнавать из газет последние новости. Вскоре был объявлен ультиматум. Тогда я совсем перебрался в Остенде, чтоб в любой момент быть наготове.

Однако все мы еще братски держались вместе — я и мои друзья бельгийцы Рама и Кроммелинк; мы ходили втроем к Джеймсу Энсору (которого полгода спустя хотели расстрелять как шпиона немецкие солдаты). Но радость жизни вдруг померкла в эти страшные дни. В последний день июля мы, как обычно, сидели в кафе, полные дружеского доверия друг к другу. Где-то вдали послышалась барабанная дробь, мимо нас потянулись взводы солдат — Бельгия объявила мобилизацию. Мне все еще не верилось, что эта самая миролюбивая из всех стран Европы готовится к войне. Увидев маленький отряд солдат, маршировавших с выражением торжественной важности на лицах, и пулеметы, которые тащили впряженные в них собаки, я отпустил какую-то шутку. Но мои друзья бельгийцы не смеялись. Они были озабочены.

— *On ne sait pas, on dit, que les Allemands veulent forcer le passage\**.

Я рассмеялся. Ну разве можно было допустить мысль, что немцы, те самые немцы, тысячи которых мирно плескались вон там, у берега, напали на Бельгию! И я, полный уверенности, успокаивал их:

— Повесьте меня на этом самом фонаре, если Германия когда-нибудь вторгнется в Бельгию.

Слухи, однако, становились все тревожней. Австрия уже объявила войну. Я понял, чем это чревато, и, набросав несколько строк Верхарну о своем решении уехать на родину, поспешил на вокзал, где едва успел занять место в переполненном поезде.

---

\* Как знать, говорят, немцы собираются перейти границу (*фр.*).

Странное было это путешествие! Вокруг — лихорадочно возбужденные лица испуганных людей, тревожные толки, еще более разжигающие страх и волнение. Всем казалось, что экспресс идет слишком медленно. Пассажиры то и дело высывались из окон, чтобы прочесть названия станций.

Вот уже Брюссель. Все нарасхват покупают газеты, находя в них самые противоречивые и путаные сообщения. Вот ни о чем еще не подозревающий Льеж, а вот, наконец, и последняя бельгийская пограничная станция — Вербье. Но лишь когда вновь застучали колеса и поезд медленно перешел с бельгийской территории на германскую, каждый из нас ощутил невыразимо сладкое чувство уверенности и покоя. И вдруг, в чем дело? Мы внезапно остановились — прямо в открытом поле. Прошло пять минут, десять, пятнадцать, наконец, полчаса. Мы уже были на немецкой территории возле самого Гербесталя, но не могли подойти к станции. Мы ждали, ждали бесконечно долго! И внезапно меня охватил какой-то смутный, безотчетный страх, в котором я не хотел признаться даже самому себе.

За окном, во мраке ночи, мимо нас с грохотом катили тяжелые товарные вагоны, таинственно затянутые брезентом, чтобы скрыть перевозимое. Кто-то возле меня прошептал: «Пушки». Мы впервые столкнулись лицом к лицу с войной. От нелепой и чудовищно неправдоподобной мысли, что Германия действительно готовится к войне с Бельгией, мне стало жутко, и я понял своих бельгийских друзей.

Но вот после получасовой остановки поезд наконец тронулся и медленно подошел к станции. Я бросился на перрон за газетами. Газет не было. Тогда я решил попытаться достать их в зале ожидания. Странно — зал оказался закрытым, а возле дверей, словно апостол Петр у райских врат, стоял седобородый портье, всем своим важным видом выражая суровую таинственность. Изнутри раздавались голоса, и мне почудился звон оружия. Я сразу же понял, что завтра мне уже незачем будет спешить за газетой, ибо сегодня я собственными глазами видел, как готовилось это ужасное злодеяние — вторжение

Германии в Бельгию, увидел начало разнузданной, охватившей всю Европу войны. Раздался резкий гудок паровоза, я вернулся в вагон и поехал дальше, в глубь Германской империи, навстречу первому августа, навстречу войне.

Огненная завеса разделила нас. Не было больше моста между нашими странами. Все, кого до сих пор связывали теснейшие узы дружбы, должны были теперь называть друг друга врагами (никогда, даже на миг, не мог я решиться на это!), все голоса захлебывались и тонули в ужасном грохоте низвергающегося мира, и никто из друзей ничего не знал друг о друге в первые месяцы этого апокалиптического года. Наконец среди адского рева я слышал его голос — голос Верхарна, но я с трудом узнал его, так резко и чуждо прозвучал он в своей ненависти для меня, привыкшего слышать в нем одну доброту и чистое чувство дружбы.

В полном молчании слушал я этот голос. Путь к поэту был прегражден, говорить же с теми, кто у нас, в Германии, из ложного чувства возмездия грубо поносил его творчество и образ мыслей, я не хотел. Многие убеждали меня выступить в печати, высказать свое мнение о Верхарне, но я в тот ужасный год научился, крепко стиснув зубы, хранить молчание в нашем мире рабов и угнетателей. Никто не смог и не сможет заставить меня играть роль судьи и хулителя по отношению к человеку, который был моим учителем и чью душевную боль, даже в самых отталкивающих и необузданных ее проявлениях, я чту как самое справедливое и законное чувство.

Я знал, что когда-нибудь он, чье родное селение близ Антверпена было уничтожено, а усадьба захвачена немецкими солдатами, что рано или поздно он, вынужденный покинуть свою родину, сумеет переломить себя и вновь обретет свое место в мире. Я знал, что ненависть этого человека, видевшего высший смысл жизни в любви и прощении, не может быть долговечной. И действительно, на втором году войны в его вдохновенном предисловии к «Книге ненависти» я уже уловил голос прежнего Верхарна.



А еще год спустя я вновь ощутил его близость. Это произошло в 1916 году, когда в западношвейцарском ежемесячнике «Кармель» была опубликована моя статья, озаглавленная «Вавилонская башня», в которой я требовал для Европы духовного единства как осуществления высшей идейной задачи эпохи. Со всем неожиданно я получил через нашего общего знакомого швейцарца одобрение Верхарна. И говорю откровенно, день, когда я получил его письмо, был счастливейшим днем моей жизни, ибо я понял, что пала пелена, омрачавшая ясный взор поэта, и осознал, как необходим он будет нам впоследствии, он, такой же страстный в чувстве своей великой, всеобъединяющей любви, каким он был в своем гневе и ненависти.

Но все получилось иначе. Совсем иначе! Однажды ко мне вбежал один из моих друзей с еще влажной газетой в руке и указал пальцем на телеграфное сообщение — умер Верхарн, погиб под колесами поезда. И как ни привык я к лживости прессы военных лет, ко множеству распускаемых ею ложных слухов, я сразу почувствовал в этом сообщении правду, жестокую и непоправимую.

Умер страшно далекий, недостижимый, оторванный от меня пространством человек, тот, кому я не смел послать письмо или пожать руку, любить кого считалось изменой родине и преступлением. Я готов был в тот миг колотить руками в незримую стену бессмыслия, разделившую нас, мешавшую мне проводить его в последний путь. Мне было не с кем даже поделиться своим горем. Моя печаль и скорбь — разве не воспринял бы их каждый как преступление? Мрачный то был день.

Мрачный день. Я помню его и поныне и никогда не забуду. Я достал все письма поэта, чтобы перечитать их в последний раз, побыть с ним наедине и убрать навсегда, похоронить то, что навеки ушло из жизни, ведь я же знал, что уже никогда больше не придет ни одного письма. Но так и не смог этого сделать — что-то во мне не желало признать разлуку вечной и проститься с человеком, который стал для меня живым воплощением всех моих идеалов, примером всей жизни. И чем

больше я повторял себе, что он умер, тем сильнее чувствовал, как много от его существа еще живет и дышит во мне. И даже эти прощальные строки, посвященные вечной памяти Верхарна, вновь оживили передо мной его образ. Ибо лишь осознание великой утраты дает нам истинное обладание утраченным. И только те, память о ком не умрет и после смерти, остаются для нас вечно живыми!

## АРТУРО ТОСКАНИНИ

Кто хочет невозможного, мне мил.

*Гёте, Фауст, ч. II*

Всякая попытка исторгнуть образ Артуро Тосканини из недолговечной стихии музыкального исполнительства и воплотить его в более устойчивой материи слова неизбежно станет чем-то большим, нежели простая биография дирижера; тот, кто захочет поведать о служении Тосканини гению музыки, о его волшебной власти над толпой, тот опишет явление морального, и прежде всего морального, порядка.

Ибо в его лице служит внутренней правде произведения искусства один из правдивейших людей нашего времени, служит с такой фанатической преданностью, с такой неумолимой строгостью и одновременно смирением, какое мы вряд ли найдем сегодня в любой другой области творчества. Без гордости, без высокомерия, без своеволия служит он высшей воле любимого им мастера, служит всеми средствами земного служения: посреднической силой жреца, благочестием верующего, требовательной строгостью учителя и неустанным рвением вечного ученика.

Этот хранитель священной праформы в музыке никогда не печется о частностях — только о целом; никогда не стремится к внешнему успеху — только к выражению внутренней правды; и потому, что он всегда и всюду, в каждое выступление вкладывает весь свой талант, всю свою неповторимую душевную и нравственную силу, оно становится событием не только

для музыкального искусства, но и для всех искусств и для всех людей искусства. Здесь блестящий личный успех выходит за пределы музыки и вырастает в сверхличное торжество творческой воли над тяжестью материи — великолепное подтверждение той истины, что и в наше тревожное, неустойчивое время человек может явить чудо совершенства.

Ради этой неизмеримой задачи Тосканини долгие годы закалял свою душу, вырабатывая в себе неподражаемую и потому достойную подражания неумолимость. В искусстве — таково его нравственное величие, таков его человеческий долг — он признает только совершенное и ничто, кроме совершенного. Все остальное — вполне приемлемое, почти законченное и приблизительное — не существует для этого упрямого художника, а если и существует, то как нечто глубоко ему враждебное.

Тосканини ненавидит терпимость в любом ее проявлении, в искусстве, равно как и в жизни, ненавидит снисходительную невзыскательность, дешевое самодовольство, компромиссы. Тщетно напоминать и доказывать ему, что законченное, абсолютное вообще недостижимо в подлунном мире, что даже самой сильной воле дано лишь максимально приблизиться к совершенству, доступно же оно лишь Богу, а не человеку; никогда в своем прекрасном неразумии не примирится он с этой разумной истиной, ибо для него нет в искусстве ничего, кроме абсолютного, и, подобно демоническому герою Бальзака, он проводит всю свою жизнь в «поисках абсолюта». Но всякое стремление достичь недостижимого, осуществить неосуществимое становится в искусстве и в жизни неодолимой силой: плодотворно только чрезмерное, умеренное же — никогда.

Когда хочет Тосканини, должны хотеть все; когда он приказывает, все должны повиноваться. Поистине немисливо — и любой музыкант, осененный его волшебной палочкой, подтвердит это — быть в плену исходящей от него стихийной мощи и играть неточно, небрежно, лениво; что-то от его насыщенной электричеством воли непостижимыми путями влива-

ется в каждый нерв и каждый мускул любого, будь то музыкант-исполнитель или восторженный слушатель. Как только энергия Тосканини обращается на исполняемое произведение, она приобретает силу священного террора, силу, которая сперва парализует волю, а затем безмерно раздвигает ее границы; мощь, излучаемая им, беспредельно увеличивает обычную глубину музыкального восприятия, расширяет способности, дарования музыкантов и — я сказал бы — даже инструментов.

Из каждой партитуры он извлекает самое потаенное и сокровенное, из каждого оркестранта своими требованиями и сверхтребованиями он выжимает до последней капли все его индивидуальное мастерство; он силой навязывает ему такой фанатизм, такое напряжение воли, такой подъем сил, какого тот никогда не испытывал и вряд ли испытает без Тосканини.

Подобное насилие над чужой волей не может, разумеется, протекать мирно и спокойно. Подобная отработанность неизбежно предполагает упорную, ожесточенную, фанатическую борьбу за совершенство. И к чудесам нашего мира, к грандиозным откровениям искусства созидательного и искусства исполнительского, к столь редким в жизни человека незабываемым часам принадлежит возможность воочию наблюдать и пережить вместе с Тосканини — взволнованно, напряженно, затаив дыхание, почти с испугом и с восхищением — эту битву за совершенство, эту борьбу за достижение предела пределов.

Обычно у поэтов, композиторов, художников, музыкантов эта борьба протекает в стенах мастерской, и только по их наброскам и черновикам можно потом в лучшем случае лишь смутно угадывать священный подвиг творчества; когда же проводит репетицию Тосканини, слышишь и видишь борьбу Иакова с ангелом совершенства и каждый раз это — величественное и устрашающее, как гроза, действие. Всякого, кто служит искусству в любой области его, не может не вдохновить это поучительное, несравненное зрелище, всякий изумится тому, с какой страстью, напряжением и даже жестокостью один-единственный человек, одержимый демоном

совершенства, заставляет каждый инструмент, каждого оркестранта сделать все, что в его силах, как этот человек со святым долготерпением и святой нетерпеливостью заключает все приблизительное и расплывчатое в строгие рамки своего безупречного и безошибочного видения.

Ибо у Тосканини — и в этом его особенность — к пониманию произведения никогда ничего не прибавляется на репетиции. Симфония любого мастера уже давно отработана в его уме — отработана ритмически и пластически в наимельчайших оттенках задолго до того, как он подойдет к пульта; репетиция для него не процесс созидания, а лишь приближение к этому внутреннему, изумительно четкому замыслу, и когда оркестранты только приступают к творческой работе, у Тосканини она уже давно закончена.

Неделю за неделей он целыми ночами — этому удивительному человеку достаточно трех часов сна в сутки — прорабатывает всю партитуру, такт за тактом, ноту за нотой, поднося листок вплотную к своим близоруким глазам. Его поразительная чуткость взвесила каждый оттенок, безграничная добросовестность едва ли не облекла в словесную форму каждую подробность ритмического рисунка. Теперь в его редкостной, его несравненной памяти целое запечатлено так же отчетливо, как и любая отдельная деталь, теперь партитура больше не нужна ему, он может ее отбросить, словно ненужную шелуху. Как на гравюрах Рембрандта мельчайшая линия с предельной точностью и отчетливостью, с неповторимым, только ей присущим изгибом врезана в медную доску, так и в этом мозгу, самом музыкальном из всех существующих, нерушимо, такт за тактом, врезано все произведение, когда Тосканини раскрывает партитуру на первой репетиции.

Со сверхъестественной ясностью знает он, чего хочет: теперь его задача — заставить оркестрантов беспрекословно подчиниться его воле, дабы претворить еще не осуществленный прообраз, законченный замысел в оркестровое исполнение, музыкальную идею — в реальные звуки и сделать законом для всего оркестра то недостижимое совершенство, кото-

рое он один слышит внутренним слухом. Титанический труд, предприятие почти невыполнимое — различнейшие натуры и таланты должны с фотографической, с фонографической точностью прочувствовать и воспроизвести гениальный замысел одного-единственного человека!

Но именно этот труд — хотя уже тысячи раз столь блестяще выполненный — составляет для Тосканини всю его радость и муку; и что может быть поучительнее, достопамятнее для всех, кто чтит в высших формах искусства выражение этического начала, чем видеть, как Тосканини, неустанно сверяясь со своим внутренним видением, сводит многообразие к единству, как он напряжением всех сил придает неясным еще контурам законченную форму. Ибо лишь в эти часы понимаешь творчество Тосканини не только как явление искусства, но и как нравственный подвиг.

Публичные концерты показывают нам художника, величайшего мастера и знатока своего дела, виртуоза, предводителя, триумфатора, они знаменуют победоносное вступление в покоренное царство совершенного искусства. На репетициях же становишься свидетелем решающей битвы за совершенство, здесь — и только здесь — видишь скрытый, подлинный, трагический образ борющегося человека, здесь — и только здесь — постигаешь в Тосканини ярость и мужество страстного борца; словно поля битвы, эти репетиции наполнены сумятицей побед и поражений, пронизаны лихорадкой удач и неудач, здесь — и только здесь — полностью обнажается до самых глубин душа Тосканини.

И поистине Артуро Тосканини на каждую репетицию идет, как на бой; переступив порог зала, он меняется даже внешне. Когда видишь его с глазу на глаз или в тесном кругу друзей, может возникнуть парадоксальная мысль, что этот человек, известный своим тончайшим слухом, на самом деле несколько глуховат. Ходит ли он, сидит ли он — у него обычно отчужденное выражение, руки прижаты к телу, лоб нахмурен, и есть в нем что-то отсутствующее, что-то замкнутое, закрытое для

внешнего мира. Видно, что он чем-то поглощен, он вслушивается, он грезит, и все пять чувств заняты этой внутренней работой. Кто бы ни подошел к нему или ни заговорил с ним, будь то даже самый близкий его друг, он вздрагивает, и проходит не меньше минуты, прежде чем ушедший в себя глубокий взгляд его темных глаз обратится на лицо друга и узнает его: настолько он поглощен мечтой, настолько герметически закрыт для всего, кроме звучащей в нем музыки. Сновидец, одержимый, сама сосредоточенность, сама отрешенность от мира — так проходит он сквозь часы дня.

Но как только он взял в руки дирижерскую палочку, как только поставил перед собой задачу, которую должен выполнить, отрешенность превращается в сопричастие, творческие сны — в страстную волю к действию. Одним рывком выпрямлен стан, по-военному расправлены плечи, перед вами — полководец, повелитель, диктатор. Зорко и пламенно сверкают из-под косматых бровей черные, обычно матовые, как бархат, глаза, возле рта появляется волевая складка, каждый нерв на руке, все органы чувств начеку, все приведены в боевую готовность, едва он подойдет к пульта и смерит наполеоновским взглядом своего противника, ибо замерший в ожидании оркестр для него в эту минуту — неукротенная орда, которую он еще должен покорить, своевольное, строптивое существо, которое он еще должен подчинить закону и порядку. Он бодро приветствует своих друзей, поднимает руки, и в ту же секунду его всевластная воля, как атмосферное электричество на тонком острие громоотвода, уже скопилась на кончике его волшебной палочки. Один взмах — и стихия вырывается на свободу, и все инструменты созвучно следуют четкому и мужественному ритму, заданному дирижером. Дальше, дальше, еще дальше — и вот ты уже живешь и дышишь в лад музыке.

И вдруг — внезапное молчание причиняет почти физическую боль, вздрагиваешь, как от удара хлыста, — сухой, резкий стук палочки по пульта, и музыканты прерывают свою совершенную, уже совершенную для нашего слуха игру. Ста-

новится тихо, тревожное безмолвие окружает Тосканини, и в тишине раздается только его голос — усталое и сердитое: «Ма по, ма по!»\*

Это «нет» звучит как вздох разочарования, как горестный упрек. Что-то вызвало этот упрек, что-то разочаровало его, исказило мечту; живое, всем внятное звучание инструментов оказалось не тем, которое слышал Тосканини внутренним слухом.

Сперва он пытается разъяснить музыкантам свое понимание — пока еще спокойно, вежливо, обстоятельно, — затем он поднимает палочку и опять начинает с неудавшегося места; и вот уже исполнение все ближе и ближе подходит к желанному звучанию, но еще не достигнуто полное тождество, оркестровое исполнение и внутреннее видение еще не совпадают при наложении. Тосканини снова стучит, прерывая игру, он снова разъясняет свой замысел, но уже более взволнованно, более страстно, не так терпеливо.

Добиваясь четкости выражения, он сам становится предельно выразительным. Постепенно раскрывается вся его сила убеждения; богатство телодвижений, дар жестикуляции, присущий каждому итальянцу, у него граничит с гениальностью; даже совершенно чуждый музыке человек угадывает по жестам Тосканини, чего он хочет и требует, когда отбивает такт, когда заклинаяще раскидывает руки или пламенно прижимает их к груди, добиваясь большей экспрессивности, когда он всем своим гибким телом пластически, зримо воссоздает рисунок идеального звучания.

Все более страстно отыскивает он новые средства убеждения, он просит, заклиная, молит, требует словами и жестами, он отсчитывает такт, напевает, перевоплощается в каждый отдельный инструмент, если этот инструмент нужно подстегнуть, руки его повторяют движения скрипачей, духовиков, ударников — и скульптор, который захотел бы изваять лицетворение мольбы, нетерпения, жгучей тоски, напряженных

---

\* Нет же, нет! (ит.)



усилий и страстных порывов, не нашел бы лучшей модели, чем Тосканини за дирижерским пультом.

Но если, несмотря на все подстегивания, на все красноречивые жесты, оркестр по-прежнему не постигает и не достигает его замысла, горечь тщетных усилий, сознание земного несовершенства становится для Тосканини мукой. Его тончайший слух уязвлен, он стонет, как раненый, он не помнит себя, он помнит лишь свою работу. Вежливость ему уже не помеха, ибо он чувствует только помехи в игре, и гнев на тупое противодействие материи выливается у него в необдуманные слова; он кричит, неистовствует, он сыплет ругательствами и осыпает бранью оркестрантов, и тут понимаешь, почему только самых близких друзей он допускает на репетиции, где он неизменно становится жертвой своей огромной и ненасытной страсти к совершенству.

Зрелище этой борьбы потрясает все сильнее, по мере того как Тосканини все настойчивей стремится вырвать у музыкантов окончательную, высшую форму исполнения, ту, о которой он мечтал, ту, которую он слышал внутренним слухом. Он весь дрожит от волнения, как борец во время состязания, голос хрипнет от непрерывных окриков, пот струится по лицу, после этих неизмеримых часов неизмеримого труда он кажется изнеможенным и постаревшим, но ни одной, ни единой пяди желанного совершенства он не согласен уступить. Со вновь и вновь вспыхивающей энергией подгоняет он оркестр, пока наконец все музыканты до единого не исполнятся его волей, пока его замысел не найдет свое безупречное выражение.

Только тот, кому довелось по целым дням наблюдать эту упорную борьбу за малую и малейшую частицу совершенства — ступень за ступенью, от репетиции к репетиции, может постичь героизм Тосканини, только тот угадывает цену совершенства, которое восхищенная публика принимает как нечто само собой разумеющееся. Но вершина мастерства достигнута только там, где самое трудное воспринимается как самое естественное, где совершенное кажется само собой разумеющимся.

ся. Когда вечером, в переполненном зале, видишь Тосканини — мага и повелителя покоренного оркестра, — когда видишь, как он без малейших усилий, мановением палочки ведет за собой замороженных музыкантов, это торжество кажется добытым без борьбы, а сам он — воплощением уверенности, олицетворением победы. На деле же ни одна задача никогда не представляется Тосканини до конца разрешенной, и то, что восхищает публику как вполне законченный шедевр, он уже снова подвергает сомнению.

И сейчас еще ни одна исполняемая им вещь, несмотря на пятьдесят лет работы над ней, не дает семидесятилетнему Тосканини радости удовлетворения, каждый раз он испытывает тревогу и неуверенность художника, снова и снова пробуя свои силы. Ни разу не изведал он тщеславного довольства, ни разу не наслаждался, как говорил Ницше, «расслабляющим счастьем» самоуспокоенности, восхищения самим собой.

Может быть, никто из смертных так не страдал от трагического несоответствия между реальными возможностями оркестрового исполнения и совершенным звучанием, как этот человек, столь блистательно управляющий своим оркестром. Ибо другим, не менее пламенным дирижерам дарованы, по крайней мере, редкие мгновения упоения. Бруно Вальтер, его собрат по искусству, иногда — это чувствуется — испытывает во время игры секунды блаженства и экстаза. Когда он сам играет Моцарта или управляет оркестром, его лицо подчас невольно озаряется отблеском благостного света. Его уносит поднятая им волна, он улыбается, не замечая этого, он грезит, он парит в объятиях музыки.

Это счастье самозабвения никогда не будет уделом ненасытного Тосканини, великого невольника совершенства. Неутолимая жажда достичь высочайших вершин терзает его, и когда этот правдивейший из людей по окончании концерта под гром аплодисментов отходит от пульта с робким и смущенным, растерянным и пристыженным взглядом, когда он нехотя, только из вежливости благодарит публику за шумные изъ-

явления восторга, это отнюдь не притворство. Ибо все достигнутое и завоеванное окутано для него таинственным, мистическим покровом печали. Он знает, что все, добытое им в героическом бою, не оставит никаких следов в исполнительской музыке, он чувствует, подобно Китсу, что труд его «написан на воде», что этот труд унесет волна забвения и его не удержать ни сердцем, ни умом: потому успех не обольщает Тосканини, слава не пьянит его. Он знает, что оркестр не может создавать вечные ценности, что от исполнения к исполнению, от часа к часу совершенство надо завоевывать снова и снова. Как никто другой, этот беспокойный, непримиримый художник знает: искусство есть вечная война, в нем нет конца, а есть одно непрерывное начало.

Подобная взыскательность, подобная непримиримость — событие в нашем искусстве и в нашей жизни. Но не будем жалеть о том, что такая нравственная прямота и строгость к себе — явление чрезвычайно редкое и что лишь несколько дней в году нам выпадает счастье слушать совершенные произведения в совершенном исполнении этого совершенного мастера.

Для морального величия и чистоты искусства нет ничего более губительного, чем удобство и доступность нашей повседневной музыкальной жизни, чем легкость, с какой самый равнодушный слушатель благодаря патефону и радио может в любую минуту дня и ночи наслаждаться самым святым и возвышенным, ибо из-за этой доступности многие забывают о муках творчества и без благоговейного трепета потребляют искусство, как потребляют хлеб или пиво. Какое благоденствие, какое наслаждение видеть в наши дни человека, который всей жизнью своей настойчиво напоминает о том, что искусство — это священная страда, апостольское служение недостижимо-му на земле идеалу, что оно не подарок случая, а заслуженная милость, не легкое развлечение, а подвижнический труд!

Тосканини силой своего гения, своей непреклонной воли совершил чудо — музыкальное наследие, столь блистательно донесенное им до нас, живет для миллионов людей как вели-

чайшая ценность нашего времени, и этот подвиг Тосканини на поприще музыкального исполнительства благотворен не только в его пределах, ибо то, что достигнуто для одной области искусства, достигнуто также для всего искусства в целом. Лишь незаурядный человек способен вернуть других людей к порядку и порядочности. И мы глубоко чтим этого великого поборника совершенства за то, что ему удалось даже в наше смятенное, маловерное время снова научить людей почитать свои священнейшие творения и ценности.

## РЕЧЬ К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ МАКСИМА ГОРЬКОГО

*26 марта 1928 года*

Александр Пушкин, родоначальник русской литературы, — княжеской крови, Лев Толстой — отпрыск старинной графской фамилии, Тургенев — помещик, Достоевский — сын чиновника, но все, все они — дворяне. Ибо в девятнадцатом веке литература, искусство, все виды творчества в пределах Российской империи принадлежат дворянству, как и другие привилегии, как земля и усадьбы, реки и недра, леса и пашни и даже живые люди — крепостные крестьяне, которые потом своим возделывают их. Вся власть, все богатства, почести, знания, все духовные ценности отданы сотне дворянских родов — десяти тысячам людей из многомиллионного населения. Они одни в глазах мира представляют Россию, ее изобилие, ее нацию, ее могущество, ее дух.

Сотня родов, десять тысяч людей. Но под этим тонким поверхностным слоем живут и трудятся необъятные, неоглядные миллионные массы, неосознанная исполинская сила — русский народ. Рассыпанный миллионами крупиц по огромным просторам России, он миллионами рук день и ночь умножает богатства гигантской страны. Он корчует пни, мостит дороги, давит виноград, добывает руду в забоях. Он сеет и жнет на черной, напоенной снегом земле, сражается в войнах,

затеянных царем, он служит, служит и служит своим владикам, как и все народы Европы тех времен, самоотверженным, подневольным трудом. Но одно отличает русский народ от других братских народов: он еще нем, у него нет своего голоса.

Давно уже другие народы выслали вестников из своей среды — писателей, ораторов и ученых, — но миллионы русских людей все еще не могут излагать свои мысли, когда решаются судьбы страны, им нечем выразить, нечем высказать свою большую и мятежную душу. Этот таинственный, необъятный, как океан, народ, обуреваемый страстями, но безгласный, могучий, но бесправный, глухо, подспудно живет и трудится на русской земле — душа, лишенная языка, бытие, лишенное осознанного смысла. За всех молчальников неизменно говорят их господа, дворяне, власть имущие. Вплоть до двадцатого столетия мы узнавали о русском народе, только внимая голосу его дворянских писателей — Пушкина, Толстого, Тургенева и Достоевского.

Но честь и слава русским писателям на веки вечные за то, что вопреки этой немоте, вопреки его вынужденному молчанию они никогда не питали презрения к русскому народу — рабочим и крестьянам, к «маленькому человеку»; напротив, каждый из них, словно чувствуя за собой некую мистическую вину, глубоко чтит величие и нравственную силу униженных народных масс.

Достоевский, мечтатель и духовидец, возвысил понятие «народ» до идеи русского Христа, до символа извечно возвращающегося в мир Спасителя; он яростно отвергает буржуазных революционеров и дворянских анархистов, но последний каторжник — для него воплощение божественного промысла, и он благоговейно склоняет перед ним голову до самой русской земли.

И с еще большим смирением другой писатель-дворянин, Толстой, пламенно и страстно унижает себя только ради того, чтобы возвеличить безгласные, угнетенные массы: мы живем неправильно, они живут правильно. Он сменил дворянское платье на мужицкую рубаху, он стремится перенять у

народа его простую, образную речь, его бесхитростное, смиренное благочестие, он хочет затеряться, раствориться в этой могучей животворящей силе.

Все великие русские писатели были единодушны в глубочайшем уважении к народу, все они, сравнивая выпавшую им на долю чистую, светлую жизнь с жизнью миллионов своих беззащитных, безъязыких братьев, несли тяжелое бремя некой роковой вины. Все они считали своим высочайшим призванием говорить от имени этого безгласного, не осознавшего себя народа и поведать миру его думы и стремления.

Но вот происходит чудо, неожиданное и негаданное: тысячу лет молчавший народ внезапно сам обретает дар речи. Из собственной плоти он сотворил себе уста, из собственного глагола — своего глашатая, из собственной толщи — человека, и этого человека, этого писателя — своего писателя и заступника — он вытолкнул из своего гигантского лона, дабы он всему человечеству подал весть о русской народной жизни, о русском пролетариате, об униженных, угнетаемых и гонимых.

Этот человек, этот вестник, этот писатель явился в мир шестьдесят лет тому назад, и вот уже тридцать лет он непреклонно честный трибун и летописец целого поколения обездоленных и обделенных. Родители дали ему имя Алексей Пешков — он назвал себя Максимом Горьким, и сегодня, чувствуя его, это им самим созданное имя с благодарностью повторяет весь духовный мир и все, кто подлинно сознает себя народом в семье других народов, потому что горечь его была благотворна для целого поколения, потому что голос его стал рупором целой нации, слово его — счастьем и великой милостью для духовной жизни нашего времени.

Этого некогда безвестного человека, Максима Горького, судьба нашла в самой гуще народа, среди мякины и отбросов, и возвысила его, дабы он свидетельствовал о жизни отверженных, поведал о муках русской и всечеловеческой нищеты. И для того, чтобы он мог свидетельствовать чистосердечно и правдиво, она дала ему в удел все виды труда, все невзгоды, все лишения и горести, — и все это он испытал и претерпел,

прежде чем воплотил в художественном слове. Судьба послала его во все слои пролетариата, и он был честным представителем его в незримом парламенте человечества; она долго держала его в суровой школе страданий и мук, прежде чем дозволила ему стать властителем слова и мастером образного воплощения.

Все стороны, все превратности пролетарского бытия суждено ему было узнать, прежде чем он обрел великий дар преобразования — дар художника. Поэтому богатейшее, могучее творчество Максима Горького восхищает нас не только высоким мастерством, но и тем, что он ничего не получил в подарок от жизни, все было завоевано, добыто тяжелым трудом, и блистательные, прославленные плоды этого труда были вырваны у враждебной действительности ценой горького опыта в ожесточенной борьбе.

Какая жизнь! Какая глубокая пропасть перед восхождением на вершину! Великого художника произвела на свет грязная, серая улочка на окраине Нижнего Новгорода, нужда качала его колыбель, нужда взяла его из школы, нужда бросила его в круговорот мира. Вся семья ютится в подвале, в двух каморках, и, чтобы добыть немного денег, несколько жалких грошей, маленький школьник роется в вонючих помойках и кучах мусора, собирает кости и тряпье, и товарищи отказываются сидеть рядом с ним, потому что от него якобы дурно пахнет.

Он очень любознателен, но даже начальную школу ему не удастся окончить, и слабый, узкогрудый мальчик поступает учеником в обувной магазин, потом к чертежнику, работает посудником на волжском пароходе, портовым грузчиком, ночным сторожем, пекарем, разносчиком, железнодорожным рабочим, батраком, наборщиком; вечно гонимый поденщик, обездоленный, бесправный, бездомный, скитается он по большим дорогам то на Украине и на Дону, то в Бессарабии, в Крыму, в Тифлисе. Нигде он не может удержаться, нигде его не удерживают, судьба неизменно, как злобный ветер, подхлестывает его, едва он найдет приют под каким-нибудь жал-

ким кровом, и снова он, зиму и лето, натруженными ногами шагает по дорогам, голодный, оборванный, больной, вечно в тисках нужды.

Бесперывно меняет он профессии, словно судьба умышленно толкает его на перемены, дабы он узнал пролетарскую жизнь во всей ее многогранности, русскую землю — во всей ее необъятности, русский народ — во всей его разноликости, во всем многообразии. Ему было суждено — и он блистательно выдержал этот искуc — изведать до конца все виды нужды, чтобы некогда во всеоружии знания и опыта стать полномочным и правомерным заступником всяческой бедноты, суждено, как всем русским, восстававшим против несправедливости существующего миропорядка, сидеть в тюрьме, состоять под надзором полиции, постоянно остерегаться жандармов, которые выслеживают его, обнюхивают, травят, словно бешеного волка. И кнут духовного рабства, закрепощение мысли извещал возмущенной душой этот певец русского пролетариата, ибо он призван разделить все страдания своего класса и своего народа.

Все виды бесправия, все грани отчаяния узнал он, и даже ту последнюю, самую страшную грань безысходности, когда жизнь становится невыносимой и человек выплевывает ее, как горькую жвачку. И эта глубочайшая бездна отчаяния не миновала его: в декабре 1887 года Максим Горький на последние гроши покупает плохонький револьвер и стреляет себе в грудь. Пуля застряла в легком и в течение сорока лет угрожала его жизни, но, к счастью, он был спасен для предначертанного ему великого дела — свидетельствовать в пользу своего народа, и он с неповторимой убедительностью исполнил этот долг перед судом человечества.

Когда именно этот бездомный бродяга, этот бедняк-поденщик, скиталец по большим дорогам стал писателем — не вычислить ни одному филологу. Ибо писателем Максим Горький был всегда благодаря зоркости и душевной ясности своей изумительно восприимчивой натуры. Но для того чтобы найти средства выражения, он должен был сперва выучиться языку,



овладеть письмом и литературной речью — и скольких трудов стоила ему эта наука! Никто не помогал ему, кроме собственной цепкой воли и настойчиво толкавших его вперед могучих, первозданных сил народа. Работает ли он пекарем или каменщиком — он по ночам с ненасытной жадностью, без разбору поглощает книги, газеты, всякое печатное слово, попавшее ему в руки.

Но его истинным учебником была большая дорога, истинным наставником — собственная гениальность, ибо Горький стал писателем задолго до того, как прочел первую книгу, и художником слова прежде, чем выучился писать без ошибок. Свой первый рассказ он напечатал в двадцать четыре года, а в тридцать лет он уже был признанный, известнейший и любимейший всем народом русский писатель, гордость пролетариата и слава европейского мира.

Трудно описать, с какой стихийной силой уже первые произведения Горького потрясли Европу: словно разорвалась завеса, треснула стена, и все с изумлением, почти с испугом поняли, что впервые заговорила другая, неведомая дотоле Россия, что этот голос исходит из гигантской стесненной груди целого народа. И Достоевский, и Толстой, и Тургенев давно уже в грандиозных видениях дали нам почувствовать широту и страстность русской души, но теперь перед нами внезапно открылось другое — не одна душа, а весь русский человек, вся русская действительность в ее реальной, обнаженной сущности, воссозданная с беспощадной прямоотой, с документальной точностью. У тех великих писателей русское бытие еще уместалось в духовной сфере, мучительное ощущение собственной «широкости», раздвоенности, трагическое сознание надвигающегося поворота мировой истории — все это были грозы растревоженной совести; у Горького же русский человек предстал не в духе, а во плоти, не безвестным, безымянным одиночкой, а человеческой массой, и она стала неоспоримой реальностью.

В противовес Толстому, Достоевскому и Гончарову у Горького нет обобщающих символических образов, вошедших в

мировую литературу, таких, как четверо Карамазовых, как Обломов, Левин и Каратаев; никогда — и это отнюдь не умаляет его величия — не стремился он создать единое воплощение русской сущности, русской души, но зато он показал нам десятки тысяч живых людей с таким проникновением в каждого из них и в столь конкретном материальном облики, с такой немыслимой правдивостью, что они стоят перед нами во всей своей осязаемой, зримой, непреложной жизненности; рожденный народом, он сам явил миру образ целого народа. На всех ступенях нищеты, во всех сословиях вербует он своих живых, полнокровных героев, их десятки, сотни, тысячи — целая армия униженных и оскорбленных; этот изумительно зоркий художник не создавал единого, всеобъемлющего видения мира — в тысяче образов возвращал он жизни каждого человека, встреченного им на жизненном пути.

Поэтому зоркую память Горького я причисляю к немногим подлинным чудесам нашей эпохи, и я не знаю ничего в современном искусстве, что могло бы хоть отдаленно сравниться с ясностью и точностью его глаза. Ни намек на мистический туман не застилает глаз этого художника, ни пузырька лжи не застряло в кристально чистой линзе, которая не увеличивает и не уменьшает, никогда не дает искаженного или перекошенного изображения, неверной картины, никогда не усиливает света и не углубляет тьму; глаз Горького видит только ясно, видит только правду, и это непревзойденная правда и недостижимая ясность. Все, на что нацелен его честный, неподкупный зрачок — самый правдивый, самый точный прибор современного искусства, — остается в полной сохранности, ибо этот единственный в своем роде глаз художника ничего не упустит, ничего не исказит и не изменит, в нем отразится только чистейшая, реальнейшая действительность.

Когда Максим Горький рисует образ, то я готов поклясться, что этот человек был именно такой, каким увидел и описал его Горький, точь-в-точь — не лучше и не хуже; здесь ничего не примыслено и ничего не убавлено, ничего не приукрашено и не умалено, здесь в чистом, незамутненном виде схвачена

неповторимая сущность одного человека, постигнута до конца и претворена в образ. Нет снимка среди тысяч фотографий Льва Толстого, нет описания в рассказах тысяч его друзей и посетителей, где бы он предстал перед нами более живым, более явственным в своей сокровенной истинности, чем на неполных шестидесяти страницах, которые Горький посвятил ему в своих «Воспоминаниях». И точно так же, с той же правдивостью и беспристрастием, как этого величайшего из русских, с кем ему довелось повстречаться, Горький описывал ничтожнейшего бродягу, презреннейшего цыгана, с которым судьба столкнула его на большой дороге. Гениальность горьковского видения носит одно имя — правдивость.

Этому беспримерно честному, неподкупному глазу Максима Горького Европа обязана правдивейшим изображением России наших дней — а когда, в какую эпоху правда между нациями была нужней, чем в нынешнее время, кому из народов она столь насущно необходима, как русскому народу в его всемирно-исторический час? И какое для него знаменательное событие, какое благодетяние, дар судьбы — на решающем повороте иметь своего писателя, плоть от плоти своей, который с предельной точностью показывает миру его лицо, без прикрас, без недоверчивой насмешки, с несокрушимой, непреклонной справедливостью художника открывает всему человечеству страдания и надежды, бури и величие бескрайней народной стихии.

Толстой и Достоевский в своей страстной, извне вторгающейся, искательной и противоречивой, но все же националистической любви к русскому народу сделали из него подобие Христа Спасителя, и потому, при всем нашем восхищении природой русского человека, он представлялся нам неким существом другого мира, своеобразным, удивительным, но чуждым, иначе созданным, иначе устроенным, чем мы.

Горький же — и в этом его бессмертная заслуга — показывает в русском народе не только русское, но и прежде всего народное, показывает точно такой же, как всюду, народ обездоленных и угнетенных, народ-труженик. Он тяготеет больше

к человеческому, чем к национальному, он в большей степени гуманист, чем политик — революционер из сочувствия и любви к народу, а не из слепой ненависти.

Достоевский и Тургенев видели в грядущей революции осуществление тщательно продуманных теорий, возникших в разгоряченных умах нескольких анархистствующих русских интеллигентов; и только читая Горького, будущий историк найдет неопровержимое доказательство тому, что восстание и восхождение России — дело рук самого народа. Горький показал, как в массе, у миллионов отдельных людей, напряжение росло и становилось нестерпимым; в романе «Мать», этом шедевре Горького, мы видим, что в самой скромной среде — у крестьян, рабочих, у людей необразованных и неискушенных — в бесчисленных, безвестных подвигах крепла и закалялась воля, пока не грянула мощная, сокрушительная гроза. Не отдельный человек — только множество, только масса в книгах Горького представляет собой силу, ибо он сам вышел из множества, из гущи народа, из глубин житейского моря, и потому для него нет единичного, есть только общее.

Именно благодаря этому нерасторжимому кровному родству с народом Горький никогда не сомневался в непобедимости народных сил; он верил в свой народ, и народ верил в него. Великие провидцы Достоевский и Толстой еще страшились революции как тяжелого недуга. Горький был убежден, что несокрушимое здоровье русской нации выдержит ее. Именно потому, что он знал народные массы и понимал русский народ, как сын понимает свою мать, он никогда не испытывал ужаса перед апокалиптическим будущим, которым терзались великие пророки русской литературы; он знал, что у его народа, у любого народа довольно сил, чтобы вынести все потрясения, преодолеть все опасности. Поэтому личность и творчество Горького в годы царского режима придавали широким массам больше веры в свои силы, чем все вопли Достоевского о русском Христе, все покаянные речи и проповеди смирения Льва Толстого. Народ видел в нем олицетворение своего собственного мужества и воли к победе; стремительное восхождение

Максима Горького из недр народа стало символом для миллионов людей, и творчество его знаменует волю целого народа возвыситься и приобщиться к духовной жизни.

Мы же подтвердим сегодня, что Максим Горький блистательно выполнил возложенный на него долг. Этот честный, справедливый человек, этот великий художник никогда не мнил себя вождем, не притязал на роль судьбы, не пытался слыть пророком — он только отстаивал права своего народа, свидетельствовал о его душевной глубине и нравственной силе.

Как и надлежит чистосердечному свидетелю, он не приукрашал правду и не отрицал ее, не произносил речей, а давал отчет, не декларировал, а повествовал. Без пессимизма в мрачные годы и без ликования в годы успеха, стойкий в час опасности и скромный в час удачи, он выстраивал людей, одного подле другого, в своих книгах, пока они сами не стали множеством, не стали народом и образом извечного народа — основы основ всякого искусства и всякой творческой силы. Поэтому эпопея Горького — не туманный миф о русской душе, а сама русская действительность, подлинная и неопровержимая.

Благодаря книгам Горького мы можем по-братски понять Россию как близкий, родственный нам мир, без отчужденности, без внутреннего сопротивления, а это и есть наивысший долг писателя — разрушить преграды между людьми, далекое сделать близким и объединить народы с народами, сословия с сословиями в конечном всечеловеческом единстве.

Тот, кто знает произведения Горького, знает русский народ наших дней, видит в его нужде и лишениях судьбу всех угнетенных, знающей душой постигает и самые их сильные, пламенные порывы и их будничное, убогое бытие; все их муки, все невзгоды переходных лет мы с волнением пережили по книгам Горького. И потому, что мы научились всем сердцем сочувствовать русскому народу в часы его тягчайших испытаний, мы сегодня разделяем гордость всей России и радость всех русских, гордую радость народа, кровью своей вспоившего

столь честного и чистого, столь истинного и ясного художника. Это духовный праздник русский нации — праздник для всего мира. Итак, мы сегодня единодушно приветствуем обоих, ибо они неотделимы друг от друга: мы приветствуем Максима Горького, народом рожденного художника, и русский народ, который сам стал художником в его лице.

## БУЗОНИ

Его лицо долгое время было скрыто темным облаком бороды. Он казался трагичным и мрачным, когда мы смотрели из глубины зала, как он подходит к фортепьяно, — страдающий Христос на фоне черного лака, вся земная радость и боль заключены в нем, и он всякий раз должен снова и снова искупать их. Но теперь, когда нет больше темного обрамления бороды, когда взметенная волна черных волос не овеивает грозно его лицо, когда светлые седины оставляют открытым светлый лоб, прекрасно вылепленный и чистый, — замечаешь среди его повеселевших черт (на редкость одухотворенных и на редкость чувственных) чрезвычайно подвижные губы, которые сурово сжаты лишь в часы, посвященные музыке, и охотно складываются в улыбку во время дружеской беседы; а иногда из них вырываются раскаты смеха, неповторимого, итальянского, Аретинова смеха Бузони, которым он так же привлекает к себе людей, как и своим непревзойденным искусством.

И с радостным изумлением видишь, как теперь на его посветлевшем лице сияют глаза, чистые, напоминающие цветом воду, но не тусклое, стоячее мелководье, а полную сверкающего движения, вечно текучую, обновляемую и питаемую неиссякаемыми внутренними источниками струю. Глаза, которые любят смотреть на мир, потом отдохнуть в книгах; они рады краскам и красоте женщин, эти ищущие и впитывающие глаза, которые внезапно наполняются священным покоем в первую же секунду, как только под его пальцами прозвучит первая нота.

Я люблю Бузони за фортепьяно так, как ни одного из наших музыкантов. Одних творчество возбуждает, они ворочают глыбы и с грохотом выгребают звуки из белой каменоломни клавиш, и все тело их охвачено напряжением. Другие, наоборот, играя, улыбаются лживой улыбкой атлетов, которые с наигранной легкостью поднимают тяжести, показывая удивленной толпе, будто все это для них игра, сущий пустяк. Третьи застывают в гордыни или дрожат от возбуждения. Он же, Бузони, слушает. Он слушает свою собственную игру.

Кажется, что бесконечная даль отделяет его руки, прозрачно мелькающие внизу, в россыпях звуков, от запрокинутого лица, полного блаженной отрешенности, окаменевшего в сладостном ужасе перед безымянной красотой Горгоны-музыки. Внизу — музыка, сверху — тишина, внизу — творчество, сверху — наслаждение им. Кажется, будто в эти драгоценные минуты он забывает, что все, к чему он прислушивается со сладостным трепетом, течет из него самого, он экстатически впивает, вдыхает, вбирает в себя, и безотчетны эти полные преданного восторга жесты и выражение лица, потому что заучить их нельзя. Его лицо просветляется в напряженном слушании, его глаза, обращенные ввысь, отражают некое невидимое небо и в нем — вечного Бога.

Как я люблю его в эти мгновения! Как я в эти мгновения завидую ему, его высшему, редкому счастью — в творческом изумлении не чувствовать самого себя, быть избавленным от всего несовершенства работы, достигнуть чистого восторга перед создаваемым творением; как я завидую его предельному мастерству, которое уже не борется, не вопрошает, но покоится и наслаждается самим собой! Но как завидовать тому, кто сам никогда не знал зависти и был щедрым и радостным в помощи другим, кто постоянно обновляется в своих учениках? В ту пору жизни, когда другие ожесточаются, в нем пробуждается дружелюбие, в ту пору жизни, когда в других иссякает источник творчества, из его сердца начинает струиться музыка. Собственное совершенство преградило теперь путь вирту-

озу, теперь настало время и освободилось пространство, чтобы мог выступить вперед Бузони-художник, Бузони-творец.

Я не знаю его музыки, но верю в нее. В ней должно быть что-то светлое, некая беззаботность поздно созревшего человека, и, может быть, в ней будет звучать его смех, его неповторимо сердечный детский смех. Искусство юных эгоистично и оттого дико и сумбурно. Но мастерство доброго и благосклонного человека всегда носит вплетенный в волосы серебряный венок веселья.

## НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ

### ДЕНЬ У АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА

Редок совершенный день, и тот, кто его прожил или должен пережить сегодня, обязан быть особенно благодарен судьбе и эту благодарность воплотить в слове.

Уже утро было для меня большим подарком. Вновь, много лет спустя, стоял я перед Страсбургским кафедральным собором, этим, вероятно, самым невесомым из соборов Европы. Туман ранней зимы делал небо более темным, придал горизонту матовый серый тон; но туману не ослабить впечатления от собора; напротив, как бы изнутри светясь своим бесподобным розовым камнем, упоенное счастьем ажурное здание, легкое и в то же время монументальное, вознеслось высоко вверх с сотнями своих скульптур, словно на крыльях поднимающая каждого любующегося им. И подобно тому, как восхищаешься, глядя извне на счастливо взметнувшийся ввысь собор, так, войдя в него, пораженный, чувствуешь простор в четко сформированном объеме, омываемом воскресной музыкой органа и пением. И здесь — полная завершенность, созданная давно забытым гением Эрвина из Штейнбаха, славу которому воспел юный Гёте словами такими же вечными, как и камни собора.

А потом надо отдать еще полдня другой драгоценности немецкого искусства на эльзасской земле, полдня — чтобы в



Кольмаре с теми же чувствами, что и два десятка лет назад, любоваться Изенгеймским алтарем Маттиаса Грюневальда. Великолепие контрастов при равной завершенности исполнения: там — архитектурно связанные строгие линии, музыка, застывшая в камне, стремящаяся ввысь религиозность, превратившаяся в кристалл, здесь — последняя степень страстного возбуждения в пламенеющих красках, фантастический колорит, апокалиптическое видение гибели и воскрешения. Там — покой в вере, медлительные, упорные, смиренные усилия достичь совершенства исполнения, здесь — безумный взлет, неистовое опьянение Богом, священное помешательство, экстаз, запечатленный в образах. Сотни, тысячи талантливых копиистов в своих работах лишь приблизятся к бесподобной тайне этих светящихся демонических досок, но только здесь, перед потрясающей реальностью чувствуешь себя полностью плененным и понимаешь, что увидел одно из чудес света.

Я провел счастливые часы в общении с двумя абсолютно разными совершенными творениями человеческого гения, а блеклое ноябрьское солнце стоит еще в зените; день далеко не кончился, и чувства не насытились, они готовы, возможно, даже более обостренно, чем утром, воспринимать волшебные впечатления. Есть еще время, есть радостное желание открыться для новых, сильных впечатлений, и, полные чувств, не насытившись увиденным, мы едем в маленький эльзасский городок Гюнсбах, чтобы там, в пасторском доме посетить Альберта Швейцера. Нельзя упустить возможность побывать у этого замечательного, удивительного человека, который ненадолго оставил свою работу в Африке и отдыхает в родных местах, готовясь к новому жертвенному труду; совершенство личности не менее редко, чем совершенство художественного произведения.

Имя Швейцера для многих людей теперь значит много, но едва ли не для каждого из них имеет свой особый смысл. Огромное большинство любит и уважает его, но очень многие — по совершенно различным причинам, ведь этот человек

проявил себя в самых разных областях культуры, обладает редчайшим, неповторимым сочетанием многих талантов.

Одни знают о нем лишь то, что он несколько лет назад получил премию Гёте, протестантское духовенство восхищается им как выдающимся богословом, автором книги «Мистика апостола Павла», музыканты уважают в нем автора монументальной работы о Иоганне Себастьяне Бахе, создатели органов славят в нем человека, который, зная, как никто другой, все органы Европы, написал о технике органостроения основательный труд, самый серьезный из когда-либо написанных по этому вопросу, любители музыки почитают его наряду с Гюнтером Рамином, крупнейшим органистом-виртуозом нашего времени, — где бы он ни выступал, билеты на концерты распродаются задолго до их начала.

Но самое значительное его деяние — это больница, которую он один, без какой-либо государственной помощи создал в джунглях Африки из благородных побуждений искупить вину Европы перед аборигенами Черного материка. За этот достойный подражания единственный в своем роде жертвенный поступок любят его, восхищаются им каждый, кому близок гуманизм, все те, кому идеи идеализма представляются по-настоящему великими лишь тогда, когда они перестают быть сказанными или написанными словами и через самопожертвование становятся поступками. Этого скромного, непритязательного человека лучшие люди земли считают ныне образцом высокой морали, и постепенно вокруг него начинает формироваться все растущая общность духовных, не связанных какой-либо программой единомышленников. То, что влияние Швейцера на общество становится сильнее и сильнее, подтверждается даже чисто внешне широким распространением книг, повествующих о его жизни, и, прежде всего, самой простой, самой скромной, написанной им повести «Из моей жизни и мыслей».

Жизнь этого человека, действительно, достойна того, чтобы стать темой для биографии героя; мы имеем здесь в виду не героизм военный, физический, а моральный, единственно ис-

тинный, героизм совершенной и недогматической жертвенности, на которую способна личность ради идеи. Подобный героизм присущ немногим людям, таким, как Ганди, Роллан, людям, составившим славу нашего времени.

Родившись в семье пастора на границе двух стран, Германии и Франции, так сильно связанный с ними обеими, что часть своих произведений он напишет потом на немецком языке, часть — на французском, растет Альберт в родной деревне Гюнсбах, получает в 1899 году должность проповедника церкви Св. Николая в Страсбурге со всеми присущими ей маленькими обязанностями, такими, как подготовка подростков к конфирмации, как чтение проповедей, получает степень доктора философии и двумя годами позже начинает читать лекции «Учение логоса в Евангелии от Иоанна». Одновременно, во время отпусков, он занимается со старым маэстро Видором, другом Вагнера, Сезара Франка и Бизе. Швейцер неутомимо трудится в областях богословия и музыки, работая над книгой «История исследований жизнеописания Христа» и над монументальной биографией Иоганна Себастьяна Баха, которая и сейчас считается непревзойденной. Прекрасный знаток органов и виртуоз-исполнитель, он ездит по городам Европы, разыскивает старые инструменты, изучает их, возрождает полузабытое искусство изготовления органов. И в этой области, в области конструирования и строительства органов, он как теоретик сделал очень много.

Альберт Швейцер и далее мог бы спокойно вести такую жизнь, плодотворно работая как богослов и музыкант, но внезапно, на тридцатом году, он принимает неожиданное решение, серьезно обоснованное глубоко религиозной сущностью его характера: покинуть Европу, где он, по его мнению, большую пользу принести не может, и отправиться в Экваториальную Африку, где на свои личные средства построить больницу для беднейших из бедных, для самых заброшенных негров, погибающих от сонной болезни, от других страшных тропических недугов.

Не безумие ли это, говорят его друзья, говорят его родст-

венники. Почему Африка? Разве недостаточно несчастных в Европе, которым можно было бы помочь? Но глубоко продуманный и пережитый ответ Альберта Швейцера таков: он едет в Африку потому, что работа там сопряжена с большими трудностями. Потому, что туда никто до сих пор не решался ехать, кроме людей, стремящихся разбогатеть, кроме искателей приключений и карьеристов, потому, что именно там, в девственных лесах, более, чем где бы то ни было, необходим человек, действующий из честных, этических побуждений, готовый ради них на постоянный риск.

И еще — Швейцером владеет мистическая мысль — этот человек хочет своим трудом искупить несказанно чудовищную несправедливость, совершаемую на Черном континенте на протяжении сотен лет нами, европейцами, нашей, казалось бы, такой культурной белой расой. Если была бы написана правдивая история о том, какие преступления совершили европейцы в Африке, как они сначала работорговлей, затем водкой, сифилисом, безумной жадой наживы мучили наивных черных детей этой части земли, разоряли их, доведя до вымирания (да и сейчас, как утверждает в своей «Книге Конго» Андре Жид, мало что изменилось к лучшему), тогда такой исторический документ стал бы позорнейшей книгой нашей расы, а дерзко присвоенному нами представлению, что мы — самая культурная раса мира, был бы нанесен сильный удар, оправиться от которого мы смогли бы лишь через многие десятилетия.

Ничтожную долю этой чудовищной вины и хочет искупить религиозный человек своей личной жертвенностью, создав в джунглях миссионерскую больницу, человек, отправившийся в тропики наконец-то не ради личной выгоды, не ради любопытства, а из чисто гуманных побуждений, из желания оказать помощь несчастнейшим из несчастных людей. Но может ли он основать больницу, работать в ней, он, не знающий медицины? Такая мелочь не в состоянии испугать Альберта Швейцера, обладающего колоссальной энергией. Тридцатилетний профессор теологии, один из замечательнейших орга-

нистов-виртуозов Европы, глубоко почитаемый музыковед, вновь спокойно садится рядом с восемнадцатилетними юношами на школьную скамью в Париже, работает в анатомическом театре, начинает изучать медицину, несмотря на большие материальные затруднения, которые испытывает в это время. В 1911 году, тридцатилетний, сдает он государственный экзамен по медицине. Затем еще год практической работы в клинике, и, почти в сорок лет, он готовится отправиться в другую часть света.

Только самого главного недостает: денег для столь обширных планов, так как ни на каких условиях не хочет Альберт Швейцер принимать поддержку от французского правительства. Он знает: материальная поддержка означает зависимость от чиновников, контроль, мелочную опеку. Превращение чисто гуманистических замыслов в политику. Гонорары за написанные книги, деньги за концерты, которые он дает, уходят на покупку необходимого инвентаря и медикаментов, единомышленники помогают ему своими пожертвованиями.

Летом 1913 года он, наконец, приезжает в Ламбарене, расположенный у реки Огове, и начинает строить больницу. Он предполагал сначала оставаться там два года, но вынужден был задержаться на четыре с половиной, так как Европа оказалась ввергнутой в войну и этому милосердному самаритянину, желавшему бескорыстно служить во французской колонии гуманной идее, внезапно грубо напоминают, что он по паспорту эльзасец, то есть по тогдашним временам — немец, и 5 августа его арестовывают.

Сначала, правда, ему разрешают лечить больных, но затем военная бюрократия проявляет безжалостность в следовании своим священным и бессмысленным правилам: Швейцера вывозят из Африки, где он в джунглях служил благородному делу, и на целый год прячут в лагерь за колючей проволокой в Пиренеях, обрекая его на бездеятельность. Вернувшись на родину, он видит — местность, окружающая отчий дом в Гюнсбахе, опустошена, разорена, лес на горах вырублен, челове-

ческих страданий, облегчать которые он считал целью своей жизни, стало неизмеримо больше.

Казалось бы, вся задуманная, вся проделанная им работа оказалась напрасной. О восстановлении африканской больницы как будто и думать нечего, ведь следует расплатиться с долгами, послевоенная Европа еще закрыта для общения, и первые годы после заключения мира Швейцер использует для работы над книгами «Распад и возрождение культуры» и «Культура и этика», над завершением большого издания произведений Баха. Однако решимость этого человека непоколебима. Он дает концерт за концертом и, наконец, через пять лет, собирает нужные деньги.

В 1924 году он вновь едет в Ламбарене, где находит все построенное им разрушенным. Джунгли сожрали постройки, больницу следует возводить в другом месте, больших размеров, чем прежняя. Но на этот раз ему помогают слава и репутация того дела, которому он служит. Ибо любая сильная нравственная личность излучает энергию, и, подобно тому, как магнит делает магнитным мертвое железо, так и жертвенным натурам присуща внутренняя сила привлекать к жертвенности других, казалось бы, равнодушных людей.

Всегда существует множество людей, готовых служить идее, в каждом юноше дремлет, ожидая своего проявления, неистребимое идеалистическое стремление полностью отдаться какой-то задаче (правда, иные политические партии очень часто злоупотребляют этим в корыстных целях). Иногда же, в очень редких счастливых случаях, это стремление, высвобождаясь от сковывающих его препон, свободно и щедро вливается в мощный поток гуманных идей.

Так было и в данном случае. Множество помощников, убежденных в правоте идей Швейцера, выразили желание работать под его началом, возле него. И вот, более крепкое, чем прежде, стоит больничное строение. Годы 1927-й и 1928-й. Швейцер проводит в Европе и гонорарами за концерты обеспечивает материальную основу своей больницы. Так делит он свою жизнь между обоими мирами, тут и там — в работе. Но та и другая

работа направлена на развитие дела его жизни, на развитие его личности.

Я не мог упустить счастливый случай вновь увидеть его, этого находящегося сейчас в Европе необыкновенного человека, собирающегося вновь уехать в Африку, ведь мир так беден истинно убежденными и достойными подражания людьми, что ради подобной встречи многим следовало бы совершить такое небольшое путешествие.

Я много лет не видел Швейцера, переписка же не заменяет живого общения. И поэтому я испытал истинную радость, снова увидев его, почувствовав на себе его теплый ясный сердечный взгляд. Голова его слегка поседела, однако все еще поразительно сильное впечатление оставляет это пластически вырубленное лицо алемана, которое очень напоминает портрет Ницше не только густыми усами, но и структурой выпуклого лба.

Сильная воля человека всегда придает его лицу нечто авторитарное, но в чувстве собственного достоинства Альберта Швейцера нет ничего от упрямства, а только лишь внутренне присущая уверенность человека, убежденного в том, что он стоит на правильном пути, и сила, излучаемая им, никогда не бывает агрессивной, так как вся его жизнь, все его мышление покоится на высочайшем приятии жизни, или, если сказать точнее, на приятии жизни во всех ее духовных и земных проявлениях, то есть в разумном примирении и терпимости. Вера Альберта Швейцера, даже его вера в Бога, лишена малейших следов фанатизма, и первое, что восхищенно славил в нашей беседе этот человек, некогда протестантский пастор и теолог, были религиозные тексты китайских философов, тексты, в которых его восхищало высочайшее проявление нравственных начал на земле.

Был разгар дня, мы смотрели фотографии из Ламбарене, я слышал от отдыхающих здесь санитарок и медицинских сестер миссии множество потрясающих и в то же время волнующих подробностей о несказанной сизифовой работе, выполняемой там ради того, чтобы хоть на короткое время несколько

сдержат поток человеческого горя, облегчить это горе; и вот, видя этого неутомимого человека в заполненной папками с рукописями и письмами комнате, я испытывал радость, время от времени всматриваясь в его мужественное красивое лицо, в котором слились воедино спокойствие и уверенность, что встречается очень редко.

Чувствовалось — в нем центр некоей неведомой нам силы, проявляющейся в деятельности на благо людям и в глубоко нравственном творчестве в далекой от нас части света, и возбуждающей, стимулирующей здесь, в Европе, во многих тысячах людей подобные же волны энергии. Отдыхая сейчас, беседуя, человек этот остается вождем невидимой армии, средоточием некоего магического круга, не имея никакой внешней власти, не применяя никакой власти, он все же обладает огромной властью и сделал больше, чем десятки политических вождей, оторванных от жизни ученых и авторитарных личностей. И вновь понимаешь: достойная подражания сила в нашей действительности обладает властью большей, нежели все догмы и слова, вместе взятые.

Потом мы выходим из дома в маленькую долину, идем по воскресному тихому городку. Давно затянулись нанесенные войной раны. Там, на склонах Вогезов и на другой, на немецкой стороне, где когда-то пушки непрерывно извергали свои снаряды, несущие ядовитый газ, лежал тихий, мирный вечерний свет. Можно, ничего не опасаясь, идти по дороге, которая еще четырнадцать лет назад была изрыта подземными ходами, замаскированными валежником и соломой. Дорога медленно ведет нас к церкви — хотя я и не решался просить большого музыканта, он почувствовал наше тайное желание еще раз услышать его игру на новом, изготовленном по его рекомендациям органе.

Эта маленькая церковь в Гюнсбахе, которую он сейчас открывает, церковь особая, таких мало среди многих тысяч, стоящих на европейской земле. Не потому, что она очень уж хороша сама по себе или ценна как исторический памятник, нет, ее своеобразие — в духовно-религиозной сущности, сорок



или пятьдесят таких церковных сооружений найдешь разве только что в Эльзасе или кое-где в Швейцарии. Эти церкви построены так, что в них можно отправлять и католические, и протестантские службы. Место для хора в них огорожено невысокой деревянной решеткой, открывающейся лишь при католической службе. Здесь свершилось, казалось бы, невозможное: на земле, где французский и немецкий языки свободно и естественно проникли друг в друга, — католическое и протестантское учения тоже дружелюбно сосуществуют, связаны друг с другом общим нейтральным Божиим домом, и Альберт Швейцер рассказывал, что такая возможность дружеского союза церквей еще с детства оказала огромное влияние на его мировоззрение.

В пустой церкви было уже темно, войдя в нее, мы зажгли только одну маленькую лампочку над клавиатурой органа. Она освещала руки Швейцера, которые начали двигаться по клавишам, на низко склоненное задумчивое лицо лег отраженный, переменчивый магический отблеск. И вот, в пустой, темной церкви нам одним Альберт Швейцер стал играть своего любимого Иоганна Себастьяна Баха.

Какое незабываемое чувство испытали мы! Я слышал Швейцера раньше в переполненном зале на органном концерте в Мюнхене, слышал маэстро, превзошедшего своей игрой не одного музыканта-виртуоза; техническое исполнение игры и на этот раз, вероятно, было не менее совершенным. Но никогда раньше я не чувствовал метафизического могущества Иоганна Себастьяна Баха так, как здесь, в протестантской церкви, могущества, разбуженного истинно религиозным человеком, могущества, воссозданного им с глубокой преданностью.

Как мечтательно и в то же время точно движутся руки в сумраке над белыми клавишами, и как одновременно с ними, словно голос человека, сверхчеловека, возникают, вырастают звуки из взволнованной груди органа. И в поразительном изобилии чувств ощущаешь совершенство фуг, столь же незыблемых, как увиденный мной несколько часов назад

Страсбургский кафедральный собор, столь же экстатичных и святящихся, как доски Маттиаса Грюневальда, тепло красок которых горело еще под веками глаз. Швейцер играет нам «Адвентскантату», хорал, а потом — свободную фантазию. Тихо в темном помещении церкви, что-то таинственное витает в нем вместе с величественной музыкой, и мы, слушатели, испытываем покой и нечто таинственное.

Мы выходим из церкви уже в сумерки, но дорога к дому кажется нам светлой. И вновь славная, длинная беседа за ужином, согретая чувством истинно человеческого общения в присутствии незримого собеседника — искусства, способного властно и величественно освобождать беседу от всего приземленного, от грязи политики.

А потом — назад, к Кольмару. Едем в поезде — вновь сквозь ночь, благодарно взволнованные и обогащенные. В один день удалось пережить, прочувствовать одно из совершеннейших чудес немецкой архитектуры, Страсбургский кафедральный собор, шедевр немецкой живописи, Изенгеймский алтарь, и, наконец, незримый кафедральный собор музыки Иоганна Себастьяна Баха, собор, воздвигнутый одним из самых больших музыкантов современности. После такого счастливого дня вновь обретаешь веру, утраченную было в эти ужасные времена.

Но поезд бежит и бежит дальше по эльзасской земле, и внезапно тебя охватывает страх — объявляемые кондуктором названия станций будят угнетающие воспоминания: Шлеттштадт, Мюльхаузен, Танн. Эти места упоминались в военных сводках — здесь погибли десять тысяч, тут — пятнадцать тысяч, а там, в Вогезах, серебряно мелькающих сквозь туман, — сто или сто пятьдесят, погибли под ударами штыков, от пуль, бомб, отравлены в братоубийственной войне, в братоубийственной ненависти.

И вновь впадаешь в отчаяние, и никак не можешь понять, как получилось, что человечество, которое в духовной жизни создало непостижимые, поразительной силы художественные произведения, тысячи и тысячи лет не может овладеть про-

стейшей тайной, тайной сохранения живым духа взаимопонимания между людьми, создавшими такие непреходящие ценности.

## БРУНО ВАЛЬТЕР. ИСКУССТВО САМООТДАЧИ

*К шестидесятилетию Бруно Вальтера,  
15 сентября 1936 года*

Мы знали о нем давно, но поздно узнали его и оценили. Ибо для нас, чья юность была посвящена фанатическому служению одному божеству, божеству демоническому — Густаву Малеру, в музыке не существовало ничего больше. Мы знали о том, что в последние годы жизни Малера рядом с ним стоял младший товарищ — его помощник, его ученик, его соратник, который намеренно и смиренно стушевывался в его ярком сиянии; мы знали и чувствовали это, но воздавать по заслугам — не дело юности. Она не любит делить свою любовь и оделять ею многих, и потому весь наш энтузиазм, предназначенный в дар властителям музыки на земле, доставался одному человеку (к которому мы, впрочем, никогда не осмеливались приблизиться, быть может, из страха, как бы чары не рассеялись).

Другие могли быть исполнителями, дирижерами, могли даже достигать совершенства в своем деле, — для нас лишь он один, Густав Малер, воплощал музыку. Поэтому сперва должен был уйти от нас Густав Малер, должно было закатиться светило нашей юности, чтобы мы заметили и признали самодовлеющей личностью того, кто стоял к нему ближе всех и теперь стал его наследником; поэтому, полюбив Бруно Вальтера, мы любили сперва не его самого, а лишь преемника и носителя малеровских традиций. И только постепенно мы поняли, что тот, кто во имя верности и самоотверженной преданности так долго представлялся учеником, уже давно сам стал мастером.

Эта удивительная способность к самоотдаче — вплоть до готовности добровольно ступешаться, — которая в годы его молодости восхищала нас как высокое моральное достоинство, и ныне остается глубочайшей сущностью его музыкального гения. На более зрелой ступени характер всегда воплощается в деяние: изначальная склонность Бруно Вальтера теперь, как и прежде, остается основным, ему одному свойственным проявлением его творческой натуры. Бруно Вальтер не стремится отметить музыку печатью своей воли, нет, его заветная цель — быть беспрекословным исполнителем ее трансцендентной воли, проникать в ее — каждый раз иные — сферы и раствориться в них, изменяясь в каждом произведении и оставаясь самим собой в каждой метаморфозе, всюду ища совершенства, но всегда — лишь совершенства, присущего данному произведению.

Этот беззаветно служащий музыке человек умеет возвысить свое служение до великолепных вершин творчества. И если, слушая другого гениального исполнителя — Тосканини, временами испытываешь чувство, будто оркестр исчез, а вся сила, все мастерство исходят только от его воли и натуры, то, слушая Вальтера в минуты его высочайшего взлета, начинаешь думать, что его словно бы и нет здесь, что он унесен волной, превращен из человека в инструмент, в звук, в поющую стихию.

Такая самоотдача всегда знаменует величайшую любовь к произведению. Вальтер никогда не проникал в произведение извне, как дух в материю, никогда не подходил к нему как профессионал, как рационалист: он должен быть связан его законами, теснейшим образом привязан к нему. И так как любовь всегда стремится проникнуть как можно дальше, войти в плоть и кровь любимого предмета, Бруно Вальтеру необходимо чувствовать свою связь с глубочайшими глубинами произведения, необходимо уразуметь его, но не одним разумом: он должен слиться с душой музыки, в которую ему предстоит влить душу, вжиться в каждый ее нерв. И лишь когда он проникнет в самое сердце музыки, а она, в свою очередь,

целиком овладеет его сердцем, тогда и только тогда он может воплотить ее как нечто пережитое.

Поэтому он вопреки своей живейшей потребности служить именно молодости избегает соприкасаться с творчеством некоторых современных музыкантов, которых высоко ценит по-человечески: он сознает, что еще не вполне понял или не принял всей душой их намерения, и знает, что может быть вдохновенным и полноправным творцом, лишь отдав творчеству всю душу, беззаветно и до конца.

Кто от природы наделен такой восприимчивостью, кто поставил себе в жизни цель постигать возвышенное и делать его постижимым для других, тот никогда не может замкнуться, как специалист, в одной области, тот непременно глубже всех понимает, что искусства не только граничат друг с другом, но и друг друга дополняют, и художник, желающий истинно служить одному из них, должен заключить братский союз со всеми.

Всякому, кто достиг почетного права называться другом Бруно Вальтера, кому знакома радость беседы с ним, известно, что воистину универсально образование этого человека, который знает каждый стих Гёте не хуже, чем каждый такт Моцарта, который помнит колорит и рисунок каждой картины в любой галерее на земле так же точно, как и любую мелодию великих музыкантов. Такой разносторонний человек, одинаково глубоко проникший в мир поэзии, театра, танца, в проблематику режиссуры, неизбежно должен был стать тем гением, который в наше время претворит в жизнь вагнеровский идеал оперы как синтеза всех искусств.

Какими незабываемыми вечерами мы обязаны ему — и какими разнообразными! Как часто он покорял нас, каждый раз по-новому: то пробуждая серебристыми звуками фортепьяно или чембало волшебство Моцарта, то возводя из гигантских глыб генделевского «Мессию» во всем его величии вздымающейся до небес Вавилонской башни, то даруя нам незабываемого «Тристана», незабываемого...

Но нет, лучше не перечислять по отдельности его деяний,

удивительных именно своим единством! Зачем считать и пересчитывать те духовно-чувственные откровения, из которых ни одно нельзя забыть, потому что в них он явил нам самую благородную способность музыки — способность облегчать бремя, развязывать путы, разрешать противоречия в долгожданном созвучии?

Как мы научились любить его в эти часы, любить даже его внешний облик, его лицо, которое, едва возникнет музыка, начинает излучать свет, словно лик ангела, когда на него падет взор Всевышнего! Ибо это всегда приносит наслаждение — отдаться искусству художника, который сам обладает такой чудесной способностью отдаваться и на своем примере доказывает, что покорность чужому произведению говорит не о слабости, но о самой прекрасной творческой силе на земле.

Только тот, кто сам связан со всем и вся, создает подлинные связи; все великое, совершенное человеком, есть в то же время пример не только для его товарищей по искусству, но и для людей всех других искусств. И потому благо нашему времени, если оно узнает от этой гармоничной природы тайну, как примирять противоречия равно благотворным для обеих сторон усилием и все противоборствующее, все диссонирующее связывать в стройное, приносящее счастье созвучие!

## ФРАНС МАЗЕРЕЛЬ

### ЧЕЛОВЕК И ХУДОЖНИК

Если бы я не знал совершенно точно, что Франс Мазерель, этот искуснейший из всех современных граверов, родился 30 июня 1889 года в Бланкенберге, в добропорядочной буржуазной семье, я никогда не смог бы отделаться от мысли, что он является сыном Уолта Уитмена, одним из тех затерявшихся внебрачных детей, которых этот американский «гражданин мира» в бытность свою на Юге прижил с неизвестной матерью. Ибо ни в ком из людей, ни в ком из современных художников я не встречал такого типично уитменовского сочетания сво-

бодной и в то же время сдержанной, плещущей через край и вместе с тем спокойной силы, такого безграничного чувства товарищества ко всему живому, такого полного слияния личности с окружающим миром.

И пожалуй, лишь уитменовским стихом с его каскадом прилагательных и нарастающим напряжением ритма можно описать внешность и характер Мазереля: рослый, мускулистый, мужественно красивый, с неторопливой, но легкой походкой, с темными глазами и ясным взглядом, полный энергии и необычайно кроткий, добрый, всегда готовый прийти на помощь, веселый в будничном труде, искренний, свободный, послушный одному лишь внутреннему голосу и вместе с тем воспринимающий все звуки мира. Его прямой, открытый образ действий придает его искусству, его жизни характер полной независимости. Совершенно невозможно представить себе его смущенным, растерянным; глядя на него, наслаждаешься редчайшим явлением — подлинно свободным человеком, принадлежащим самому себе и в то же время всем. Чтобы полюбить его, надо постигнуть не только все содеянное им до сих пор, но и познать внутренние движущие силы его творчества, изначальные элементы его существа.

Один из величайших умельцев нашей эпохи, Мазерель является истинным ее сыном — в его личности, в его творчестве нет ничего демонического. Он принадлежит к тому высшему (может быть, высочайшему) типу художника, чей гений порождается гармонией могущественных сил; я не думаю, чтобы Гендель, Рубенс, Уолт Уитмен, Толстой и Бальзак (вопреки его скульптурному портрету, сделанному Роденом) производили при жизни иное впечатление, чем то, какое создает стихийное явление природы.

Совершенные люди, они творят неутомимо, изо дня в день, подобно тому, как бьет родник. Им неведомы скованность и застой, взлеты и падения творческой мысли, свойственные художникам, работающим лишь по настроению; их созидательная энергия — это сила, порождающая силу. Только свободное, ничем не принуждаемое творчество в состоянии пе-

редать полноту и многообразие мира, которые мы видим на полотнах Рубенса, слышим в музыке Генделя, в стихах Уитмена, а теперь наблюдаем в тысяче гравюр, созданных ярким и свежим талантом Франса Мазереля. Огромная творческая продуктивность таких людей не чудо, а органическое свойство их натуры; чудом являются вселенский размах творчества, его непостижимое совершенство, необозримость его горизонта.

Такие натуры, и, пожалуй, лишь они одни, обладают по-длинно всеобъемлющим даром. Только те, чьи сердца открыты для всего существующего, способны непредвзято воспринимать мир во всем разнообразии его форм; только их рукам послушны белые и черные клавиши бесконечной клавиатуры жизни. Гендель создавал как веселые оперы и затейливые арии, так и трагического «Мессию», и «Судьбы пророков»; Уитмен воспевал одновременно и тело женщины, и небоскребы Бродвея; Бальзак показывал и участь стареющей провинциальной барышни, и битву на Березине, и биржевые операции торговца парфюмерными товарами. Только они, обладающие гармонией сил, ничем не стесняемой и не зависящей от особого настроения творческой энергией, — только они способны создать *orbis pictus*\* — универсальный, космический образ.

В полноте мироощущения Мазерелю нет равных среди современных рисовальщиков и гравюров. Темы его рисунков и гравюр — весь современный мир во всех его проявлениях и формах. Уже сейчас этот «неутомимый» создал столько, что по его гравюрам, как по египетским иероглифам, можно получить полное представление о жизни на нашей планете. Если бы вдруг на земле погibli все книги, памятники, фотографии и документы и уцелели лишь гравюры, которые Мазерель вырезал за десять лет, то по ним одним можно было бы восстановить весь облик современного мира; по его рисункам можно было бы узнать, как в наше время жили люди, как они одевались, представить себе чудовищную картину современной

---

\* Мир в картинах (лат.).



войны — фронт с его дьявольскими машинами истребления и тыл с его гротескными фигурами, биржи и фабрики, вокзалы и корабли, тюрьмы, моды, людей, даже их типы, почувствовать темп жизни нашего века, его опасный дух и его гений.

Кто еще, спрашиваю я, какой другой мастер рисунка может сравниться с ним — этим Веньямином графики — как по количеству, так и по документальной ценности созданного (я не говорю пока о качестве)? У кого из современников вы найдете такое изобилие тем и образов? Одного лишь прилежания и техники для этого недостаточно; здесь требуется нечто более высокое — исключительная способность связывать и обобщать явления жизни и одновременно фанатичная любовь к деталям. Мазерель — полная противоположность экспансивных, порывистых натур; его ум, его гений, как у Бальзака и у Уитмена, устремлены к универсальному. Он любит все нации, все наречия, все эпохи, старое и новое, романтику и индустрию; я не знаю ничего, что бы этот страстный друг мира ненавидел на нашей планете столь сильно, как те институты, назначение которых — охладить, приглушить и стандартизировать горячую, полнокровную радость бытия, ограничить искусственными рамками живую жизнь. Он враг того государства, которое насаждает насилие и несправедливость, враг того «общества», которое рассматривает себя как «высшую» касту и во что бы то ни стало хочет сохранить свою власть.

Не будучи политиком (Мазерель не признает партий, так как считает, что они ограничивают и ущемляют внутреннюю свободу), он тем не менее всегда борется на стороне слабых, угнетенных и обиженных. В своих «гравюро-романах» — «Страдания человека», «Идея», «Солнце», — в своей вымышленной автобиографии он пригвоздил к позорному столбу всех гонителей свободы: поджигателей войны, спекулянтов, жрецов буржуазного правосудия, полицейских — всех представителей эгоистической морали, защитников корыстных интересов. Мироощущение Мазереля не выносит ничего, что насилует природу, что нарушает священное единство вселенной. Его гений всегда устремлен к целому; подобно Уитмену,

дробящему мир на тысячи строк, он хочет разложить мир на тысячи картин, изобразить его в бесконечном сплетении тысяч деталей, не утрачивая, однако, при этом идеи его единства.

Мазерель сделал уже десять тысяч рисунков и гравюр на дереве, и тем не менее, несмотря на эту беспримечную продуктивность, можно не опасаться, что его творческая энергия когда-либо иссякнет, ибо запас его зрительных впечатлений неисчерпаем, как и сам мир. Мазерель обладает магическим взглядом Бальзака. Все, что он видит хотя бы однажды, мимоходом, даже на репродукции, навсегда врезается в его память. Он никогда не пользуется моделью, не делает зарисовок с натуры, никогда не заглядывает в журнал мод, чтобы правильно воспроизвести какую-нибудь деталь одежды. Его память так же безошибочна, как и его рука; он помнит наизусть (и это производит потрясающее впечатление на всех, кто его знает) каждую вещь на земле, во всех ее деталях, и в любой момент готов оживить ее прикосновением своего резца.

Он может по памяти нарисовать любую мачту парусника, поршень локомотива, петлю рыбацкой сети. Он одинаково хорошо нарисует вам как чалму паломника из Мекки и татуировку краснокожего, так и парадный марш и ружейные приемы прусских стрелков. Он не задумываясь изобразит любое движение: прыжок хищника, изгиб поезда на повороте, взметнувшуюся рыбу, вставшую на дыбы лошадь, вспышку радости и боли на человеческом лице.

Нередко я сам бывал очевидцем непостижимого: идешь с ним по улице незнакомого города, оживленно беседуешь; кажется, что он целиком погружен в разговор. И спустя год с изумлением обнаруживаешь на какой-либо его новой гравюре дверной молоток одного из домов той улицы, где мы бродили, воспроизведенный во всех деталях, с такой точностью, будто Мазерель тайком его сфотографировал; или же морду собаки, перебежавшей нам тогда дорогу. Ему достаточно бросить лишь мимолетный взгляд на любой предмет, любое движение, как они мгновенно фиксируются через его темный глаз за круглым стек-

лом очков в роговой оправе, словно через фотообъектив, в его зрительной памяти; они хранятся в этой гигантской кладовой, где ничто не ветшает и не блекнет, в ожидании, когда воля художника вызовет их из этого хаоса форм и образов и они выльются послушными линиями под его резцом.

В этой беспримерной зрительной памяти, впитавшей в себя миллионы вечно меняющихся форм жизни, и в умении подчинить каждую из этих форм резцу и заключается гений Мазереля. Сила воздействия его рисунков кроется не в особенностях его манеры, а в необычайной широте видения, составляющей главную черту его таланта. И она поразительно сочетается у него с самым обыкновенным житейским качеством — с терпением и упорным трудолюбием мастерового.

Как я уже говорил, в личности Мазереля нет ничего демонического; его несколько тяжеловатая, спокойная медлительность напоминает твердую, мерную поступь крестьянина, шагающего по полю во время сева или жатвы. В искусстве же Мазереля это постоянное стремление к бесконечно далекой цели проявляется в титаническом трудолюбии, в фанатичной преданности делу, в том *nulla dies sine linea*<sup>\*</sup>, которое было присуще старым немецким мастерам. Ежедневно часами сидит Мазерель с резцом в руках за своим столом, подобно ювелиру, граверу, часовщику, и, как все эти труженики здорового, честного ремесла, он любит свою работу, в которой есть что-то средневековое, примитивное, древнее. В залитом электрическим светом, изрытом туннелями метро, пронизанном потоками радиоволн современном Париже он работает сегодня так же, как задолго до него работал его мифический предшественник из Туру, вырезавший в тесной монастырской келье благочестивые картинки таким же ножом, на таком же дереве, с таким же неисчерпаемым терпением.

И Мазерелю дорога именно эта простая техника: из чисто мужской неприязни ко всякой бутафории он не любит ничего лишнего. Остановись все химические фабрики, производящие

---

<sup>\*</sup> Ни дня без строчки (*лат.*).

краски, сломайся все станки, ткущие холсты, — он спокойно продолжал бы работать. Ибо для того, чтобы изобразить мир, ему необходимы лишь нож и квадратный кусок дерева; я помню, как однажды в Женеве он сам срубил грушевое дерево, расколол его топором и напилил себе из него дощечек. Окажись он, подобно Робинзону, на пустынном острове, он через три дня смог бы работать там так же, как в своей мастерской: он заготовил бы блоки (я говорю, блоки, потому что в его творчестве есть нечто от скульптуры, к чему он втайне стремится) и вдохнул бы в них жизнь. Не гонясь за настроением, не нуждаясь ни в помощи, ни в моделях, ни в поисках тем, он мог бы творить так десятилетиями, не поднимая головы от своей работы, — настолько богат его внутренний мир и безгранично терпение. Он уже вызвал к жизни тысячи и тысячи образов и форм, и я иногда шучу, что он мог бы построить себе сегодня дом или яхту из тех деревянных чурок, которые он перевоплотил в картины, в события.

Особая привлекательность мазерелевского искусства заключается, на мой взгляд, именно в этой двойственности: в сочетании старинной техники гравюры (столь же примитивной, как в эпоху книг, печатавшихся с деревянных досок, и семейных библий) с необычайно актуальной тематикой, насыщенной духом и ритмом современности. Это сочетание старого и нового художник запечатлел в автопортрете, помещенном в начале его книги «Воспоминания о моей родине». Он стоит посредине между двумя мирами, между обеими Фландриями: сегодняшней — молодой, с ее рабочими, машинами и огромными городами, и вчерашней — набожной, с колокольным звоном церковей и монастырей, где монахиня, смиренно потупив очи, грезит о вечности. Неусыпно стоит он на этом перекрестке дорог плоти и духа, примитивной силы и утонченнейшего чувства.

На те же маленькие дощечки шириной в восемь сантиметров, пользуясь той же техникой, что и старые мастера, изображавшие лишенные движения и едва намеченные сцены из житий святых, Мазерель перенес новый элемент — кино. Его

гравюрам присуща динамика, пульсирующая, взрывчатая сила кинофильмов (которые он очень любит и даже написал сценарий одного из них). Стоит только собрать воедино эти кадры графического фильма, как они оживают, словно на экране, и проносятся перед нами стремительно, напряженно, захватывающе. В простом черно-белом созвучии этих рисунков чувствуется нервозное, лихорадочное биение пульса нашего нетерпеливого двадцатого века.

Художник стремится предельно концентрированно воплотить в жестокой и лишенной красок форме гравюры на дереве всю динамику событий, вплоть до малейших подробностей. Вот почему большинство его гравюр заполнено множеством предметов и вызывающих различные ассоциации символов. При первом взгляде улавливается только главная тема, и лишь потом, постепенно вы с изумлением открываете поразительнейшие контрасты и парафразы. И чем дольше вы всматриваетесь в эти гравюры, тем больше нового в них обнаруживаете. Я знаю их уже почти двадцать лет и тем не менее с удовольствием пересматриваю их, причем каждый раз нахожу что-либо ускользнувшее раньше от моего взгляда.

Но, несмотря на эту насыщенность содержания, гравюры Мазереля не превращаются в простое нагромождение образов, предметов и деталей. Уже давно Мазерель перестал быть просто иллюстратором книг — служителем искусства других он был лишь вначале. Он стал творить самостоятельно, создавая, подобно Дюреру, Гойе и Калло, законченные циклы гравюр. В последние годы Мазерель в своих работах значительно перерос рамки искусства иллюстратора и создал новый стиль «изоповествования» — роман, новеллу, небольшой рассказ в картинах без слов. Теперь наступил черед писателей придумывать текст к бессловесным книгам этого мастера. Мне думается, что Шарль-Луи Филипп или Золя могли в мастерской прозе поведать о «Страданиях человека», а Христиан Моргенштерн — описать в стихах забавные похождения из «Моей книги часов»; любимая же книга Мазереля «Идея» кажется мне настолько прекрасной, что среди современных писателей я не

знаю сейчас никого, кто бы сумел переложить этот роман на слова. Ибо любой из наших художников-поэтов изложил бы ее слишком манерно, слишком литературно; искусство же Мазереля при всей его оригинальности необычайно демократично.

Он создает действительно «хорошие картины», удовлетворяющие тому требованию, которое Толстой предъявлял к «хорошим книгам», а именно, чтобы они были понятны всем: прислуге и художнику, студенту и профессору. И действительно, рисунки Мазереля, как и стихи Уолта Уитмена, принадлежат грядущей демократии. Они доступны каждому. Я уверен, что, покажи я их рабочим и ремесленникам через проекционный фонарь, мне не пришлось бы давать дополнительных разъяснений; в то же время я знаю, что и крупнейшие художники восхищаются его честным экспрессионизмом. Мазерель ощущает весь мир, и потому его произведения действуют на всех; он духовно не принадлежит ни к одному классу и поэтому понятен всему народу и всем нациям.

Стремление к космическому неудержимо растет в его творениях вместе с мастерством. Кажется, вот он достиг предела, но нет, он не останавливается, он продолжает кружить по спирали, все шире охватывая сферу действительности. Если его первые книги были значительны, то последняя из них, «Город», монументальна, как вечный памятник современному большому городу, этому пандемониуму всех страстей, с миллионами человеческих судеб, широчайшим потоком людских масс, трагическими контрастами нищеты и роскоши, лишений и распутства. В этом произведении художник сделал шаг от сонаты к симфонии.

Параллельно с развитием своего графического искусства Мазерель начинает овладевать и другим изобразительным средством — после формы наступает очередь цвета. Он продвигается вперед не спеша: легкомыслие чуждо этому прирожденному труженику. Шаг за шагом, колеблясь и раздумывая, выбирая окольные тропы, он подходит к живописи. Сначала это были подкрашенные рисунки, цветной карандаш, эскизы театральных

костюмов; затем — акварели, в которых все еще доминировали линии и приемы графика, и лишь недавно он начал выражать свои замыслы уже не в графических формах, а в красках.

И теперь с каждым годом, почти с каждым месяцем он пылко приближается к мистерии цвета. Кажется, будто он сражается с мраком, с вечной ночью за священное право глаза радоваться краскам, хотя на его первые картины еще ложится тень этого мрака, они еще придавлены тяжестью материи. Но от полотна к полотну цвет его красок становится все ярче и ярче, растворяя линии контура, и вот от его картин уже исходит та же неотразимая, убедительная сила, как и от его гравюр.

Немногое в современной живописи может сравниться с его полотнами по силе и мужественности, по здоровой, почти грубой чувственности: кто может забыть эти улицы Парижа, эти сцены в порту, лес бесчисленных мачт — подлинный кусок жизни; кому не запомнятся его рыбаки, их тяжелые фигуры, полные могучей, сдержанной силы, и эти женщины в кабачке, озаренные страшным светом порока? И каким бы титаническим ни казался его труд в области графика, кто знает, быть может, он был лишь ступенью на пути к новой вершине, с которой взору художника откроются еще более далекие горизонты необозримого океана жизни.

Мазерель является для меня олицетворением ни с чем не сравнимой силы — силы вселенной, олицетворением ее бесконечной жизни и зрелой, стойкой мужественности. От его гравюр веет дыханием космоса; словно стоя на бушприте корабля, вы ощущаете в них и бескрайний простор воздушного океана, и стремительное движение судна, и бодрящее действие ветра и волн, этих свободнейших стихий мира. Он доброжелателен, как все естественное, как истинный художник, как человек, которому дано одарять, вдохновлять и радовать людей. И никогда я не чувствовал так глубоко, как в его присутствии, правду слов Эмерсона: «Большая сила дарует нам счастье».

## БЕССОННЫЙ МИР

В мире стало меньше сна, дни теперь длинней и длинней ночи. В любой стране необозримой Европы, в любом городе, квартале, доме, в любой спальне стало лихорадочным и прерывистым мирное сонное дыхание; огненная година, словно одна сплошная знойная ночь, вторгается в ночи и дурманит мозг. Их много в том и в другом стане — тех, кто прежде в черной гондоле сна, разукрашенной пестрыми трепетными грезами, безмятежно плыл от вечера к утру, а теперь слушает по ночам, как идут часы, идут, идут, чтобы пройти нескончаемый путь от света до света, и чувствует, как червь тревог и раздумий неотступно сосет и точит, покуда не защемят израненное сердце. Род человеческий лихорадит днем и ночью; возбужденные умы миллионов терзает жестокая, всесокрушающая бессонница, судьба незримо проникает через тысячи окон и дверей, отгоняя покой и забвение от каждого ложа. В мире стало меньше сна, дни теперь длинней и длинней ночи.

Никому не дано теперь остаться наедине с самим собой и своей судьбой, взор каждого устремлен вдаль. Ночью, когда человек лежит без сна под надежной кровлей своего запертого дома, мысли его облетают близких друзей и дальние края; может быть, именно сейчас вершится какая-то частица его судьбы: конная атака у галицийской деревушки, морское сражение — все то, что в эту секунду происходит за тысячи миль от него, все причастно к его жизни. И душа понимает, ширится, томится предчувствием и тоской, и душа хочет объять события, и воздух пламенеет от молитв и желаний, которые разносятся по земле из конца в конец.

Тысячекратная память не знает усталости: от притихших городов к солдатским кострам, от одинокой заставы на родину, от близких к далеким тянутся незримые нити любви и тревоги, бесконечное сплетение чувств денно и ночью окутывает мир. Как много слов говорится шепотом, как много молитв поверено четырем безучастным стенам, как много любовной тоски наполняет каждый ночной час!



Воздух непрерывно сотрясают таинственные волны, название которых неизвестно науке, силу которых не измерит сейсмограф, но кто посмеет сказать, что эти желания совсем бессильны, что эта из глубочайших недр возгорающаяся воля не может преодолеть любое пространство, как преодолевают его звуковые колебания и электрические разряды? На смену отлетевшему сну, бездумному покою пришло живое воображение; душа тщится разглядеть сквозь ночную тьму далеких от нее, но дорогих ей, и каждый разделяет в мыслях множество судеб.

Разветвления мысли тысячей трещинок подтачивают сон, шаткое здание рушится снова и снова, и пустая тьма раскидывается над одиноким ложем. Бодрствуя ночью, люди бодрее и днем; на лицах встречаемых, самых заурядных лицах, угадываешь величие пиита, витии, пророка, все сокровенное, что гнездится в душе человека, теперь, под сокрушительным натиском событий, проступает наружу; и у каждого растут жизненные силы. Как там, на поле боя, из простых крестьян, что целый век мирно возделывают свою землю, рождаются в часы взлетов храбрецы и герои, так и здесь, у людей, обремененных и темных, рождается дар провидения; мысленный взор каждого раздвигает границы привычных представлений, и тот, чей взгляд был прежде ограничен злобой дня своего, наделяет каждую весть живыми образами и картинами.

Снова и снова недобрыми видениями распахиывают люди бесплодную равнину ночи, а если им наконец удастся заснуть, им снятся страшные сны. Ибо кровь стала горячей в их жилах, и из душевой тьмы прорастают джунгли ужасов и тревог, и проснуться — блаженство, и блаженство — осознать, что все это был никчемный ночной кошмар и что действителен лишь один страшный сон, который снится целому человечеству: война всех и против всех.

Даже у самых миролюбивых сны теперь наполнены боями, и рвутся сквозь сон штурмующие отряды, и громяют в бужущей крови оружейные раскаты. А вскоре человек среди

ночи и слышит уже наяву стук колес по мостовой да цоканье подков. Человек прислушивается, выглядывает из окна, и правда, вдоль пустынной улицы тянутся нескончаемой вереницей повозки и лошади. Вот солдаты ведут под уздцы верховых лошадей, и лошади бредут с тяжелым цоканьем, покорно и понуро. Даже лошадей, привыкших отдыхать ночью после работы в теплой конюшне, даже их лишили сна, расторгнуты мирные упряжки, разлучены привычные пары. На вокзалах слышно, как мычат в теплушках коровы, терпеливые твари; их увели с теплых сочных пастбищ и везут в неизвестное. Даже тупых коров и тех лишили сна.

А поезда мчатся среди спящей природы: даже природа разбужена неистовством людей — кавалерийские полки скачут ночью по полям, которые от века привыкли отдыхать во тьме, а над черной поверхностью моря тысячекратно вспыхивает луч прожектора, светлее, чем луна, ослепительней, чем солнце, и даже глубинный мрак разогнан подводными лодками, что рыщут в поисках добычи. Грохочут орудийные залпы, эхо раскатывается по молчаливым горам, и птицы в страхе слетают с насиженных гнезд, мир забыл о крепком сне, и даже эфир, вечный и неколебимый, вспорот убийственной скоростью аэропланов — зловещих комет нашего времени. Никому не дано теперь наслаждаться сном и покоем, всех, даже животных, даже природу, втянули люди в свою убийственную распря. В мире стало меньше сна, дни теперь длинней и длинней ночи.

Но надо охватить умом всю безмерность своего времени, надо помнить, что нынешние события не знают себе равных в истории и стоят того, чтобы из-за них лишиться сна и неусыпно бодрствовать. Ни разу еще, сколько стоит мир, не знал он таких всеобъемлющих потрясений. Доселе война была всего лишь местным воспалением в гигантском организме человечества, всего лишь гноящейся конечностью, которую ради исцеления прижигали огнем, тогда как остальные части тела действовали правильно и без помех.

Было много и непричастных, попадались деревушки, куда не долетал отзвук всемирных потрясений, где жизнь привычно делилась на день и ночь, на работу и отдых. Оставались еще на земле сон и тишина, оставались люди, которые спали без сновидений, а рассвет встречали улыбкой.

Но по мере покорения планеты род человеческий сплотился теснее и лихорадка сотрясает весь организм, а ужас охватывает весь космос. По всей Европе не сыскать такой мастерской, крестьянского двора или селения, откуда не взяли бы для участия в этой битве хоть одного человека; а каждый отторгнутый человек привязан к другим узами чувств, каждый, даже самый ничтожный, излучает столько тепла, что с его уходом наступает холод, пустота, одиночество. Каждая судьба рождает новые судьбы, малые круги, и волна разносит их все дальше по морю чувств, и столь беспредельна всеобщая связь и взаимная обусловленность, что даже смерть не означает ныне ухода в небытие, ибо уходящий неизбежно прихватывает с собой обрывки чужих судеб... Каждого провожают с тоской чьи-то взгляды, и эта тоска, помноженная на судьбы целых наций, порождает тревогу целого мира.

Человечество прислушивается, затаив дыхание, и одновременно слышит одно и то же — таковы чудеса техники. Вести бегут с корабля на корабль, через морские просторы, радиостанции Берлина и Парижа за считанные минуты передают их в колонии Западной Африки, на озеро Чад; в одно время приходят они и к индийцам — на листах из джута и рогожки, и к китайцам — на шелковой бумаге; возбуждение распространяется до окончаний нервных волокон человечества, не оставляя места сонному прозябанию. Каждый выглядывает из окна, нет, из всех окон своих пяти чувств, дожидаясь вестей, слова храбрых вселяют в него уверенность, сомнение робких наполняет его страхом. Пророкам истинным, как и лжепророкам, снова дана власть над толпой, она теперь вся — слух, вся — внимание, ее лихорадит, лихорадит денно и ночью, в эти долгие дни и нескончаемые ночи эпохи, которая достойна неусыпного бдения.

Ибо эти дни не ведают непричастных, и теперь даже быть вдали от поля боя не значит быть в стороне. Жизнь каждого из нас претерпевает все новые и новые перевероты, и никто в этом всесокрушающем вихре не имеет права на спокойный сон. Преображение наций и народов преобразует каждого из нас, все равно, приемлем мы его или отвергаем, каждый вовлечен в круговорот событий, ни один не сохранит спокойствие, если лихорадит весь мир. Невозможно остаться прежним в преобразенной действительности, нельзя, улыбаясь, взирать на раскодившиеся волны с вершины неприступной скалы: каждого из нас, знаем мы о том или нет, уносит поток, мы даже не ведаем куда. Никто не может отгородиться: наш мозг, наша кровь участвуют в кровообращении целой нации, каждый толчок подгоняет и нас, каждый перебой замедляет ход нашей жизни.

Когда лихорадка отпустит мир, все приобретет для нас новую ценность, все прежнее станет другим. Немецкие города — с каким чувством взглянем мы на них после войны, а Париж — насколько иным, насколько чуждым покажется он нам! Я предвижу уже сегодня, что не смогу с прежними чувствами сидеть за столом у прежних друзей в Льеже после того, как Льеж узнал немецкие бомбы, что нередко между друзьями по ту и по эту сторону границы встанут тени павших, чье холодное дыхание лишит дружеские слова обычной теплоты.

Всем нам предстоит переучиваться из Вчера в Завтра, пережив бескрайнее Сегодня, власть которого мы ощущаем сейчас лишь как ужас; всем нам предстоит ради новой жизни переболеть той лихорадкой, которая наполняет жаром наши дни и духотой — наши ночи. Новое поколение подымается за нами, поколение, чьи чувства закалены на этом огне, придут другие люди, они увидят победы там, где мы видели отступление, колебания, усталость. Из смятения наших дней родится новый порядок, и первая наша забота — всеми силами способствовать его приходу.

Непреренно новый — ведь бессонница, и лихорадка, и тревоги, и надежды, и ожидания, разрушившие покой наших дней и ночей, не могут длиться вечно. Как ни чудовищно

уничтожение, которое идет сейчас по объятной страхом земле, но и оно ничтожно рядом с великой силой жизни, которая после каждого катаклизма отвоевывает себе передышку, чтобы стать еще сильнее и прекрасней.

Новый мир — ах, как далеко от нас блистают сегодня сквозь пороховой дым его лучезарные крылья! — вновь утвердит прежний порядок жизни, вернет день работе и ночь сну; под тысячи крыш, где сегодня бодрствуют в страхе и волнении, возвратится тишина, возвратятся светлые сны, и мирные звезды услышат с небес безмятежное дыхание природы. Ужасное ныне преобразится завтра в великое; без горечи, почти с грустью вспомним мы завтра эти бесконечные ночи, когда раздвинутые горизонты приобщали нас к грядущим судьбам и горячее дыхание эпохи оведало наши распахнутые вежды. Лишь тот, кто претерпел недуг, знает все счастье исцеления, лишь тот, кто изведал бессонные ночи, знает всю сладость обретенного сна.

Те, кто вернулся домой, и те, кто не покидал дома, будут полнее радоваться жизни, чем люди минувших времен, разумнее и глубже оценят ее красоту и величие, и мы могли бы всеми силами души призывать это обновление, не будь камни во храме мира орошены, как в древности, жертвенной кровью, не будь новый безмятежный сон всей земли оплачен гибелью миллионов достойнейших ее сынов.

## БЕЗЗАБОТНЫЕ

Non vi si pensa, quanto sangue costa...  
Не думают, какую куплен кровью...

*Данте, Рай XXIX, 91*

Беззаботные. Вымирающее в наш век племя. Некогда, до войны, они владели всей землей, беспечными птицами пересекали моря и континенты, свивая гнезда там, где жарко светит солнце и сияет красота, — на лазурном берегу Италии, в седых фиордах Норвегии, в долинах Тироля и в замках Про-

ванса. Неисчислимо было их всемирное братство; презрев границы и наречия, повсюду спешили они прильнуть своими вечно алчущими губами к прозрачной, сладостной пене жизни. Где их только не было, Беззаботных! В легких упругих экипажах лавировали они среди грохота больших городов, вихрем мчались зимой по альпийским склонам, новоявленными конквистадорами высаживались в далеких портах и отправлялись на рикшах в ночные бары. Несомые золотой волной богатства, порхали они над народами по всему миру, наслаждаясь, — красивые, бесполезные мотыльки.

Где ж оно теперь, это обширное сообщество? Вихрь войны развеял его. Нет больше Беззаботных. Почти никого. Из всей стаи уцелела только жалкая кучка. Они сбежали из своих стран, прячась от опасности и мелких невзгод. Там их слишком стесняли законы и преследовало недоброжелательство, а Беззаботные терпят недоброжелательство лишь себе подобных, но не угнетенных. Но даже здесь, в нейтральном государстве, они ощущали близость войны. И сюда прокралась она, скаля на них свои зубы с расклеенных на улицах плакатов и циркуляров; и здесь им мешали беднота и пролетариат; и здесь до них доносился смрадный чад нищенской похлебки жизни. Им же хотелось остаться друг с другом, с глазу на глаз, Беззаботным с Беззаботными!

И они укрылись в горы, в красивейший зимний уголок планеты — в Энгадин, в Сен-Мориц. Сюда собралась эта разрозненная стайка, чтобы творить свой ритуал — поклоняться роскоши. Тут им не мешают ни бедняки, как в городах, ни больные, как в Давосе, — ничто не препятствует их развлечениям. Отели — эти твердыни роскоши — услужливо распахнули свои двери. Беззаботные постепенно слетаются снова. Далеко не все, разумеется. Каких-нибудь несколько сот из сотен тысяч, когда-то паривших над миром. Здесь, в Сен-Морице, эта последняя стайка самых выносливых свила себе гнездо и зажила в нем столь знакомой и столь чуждой нам жизнью. Здесь много смеха, веселья и ни одной мысли о войне. *Не думают, какую куплен кровью...*

О! Они очень умны, эти Беззаботные! Как умеют они присосаться к лучшему из лучшего, к самому красивому из красивого! И последний их оплот — Сен-Мориц, как он прекрасен, как волшебно сияет он в эти солнечные зимние дни! Его белая котловина, будто гигантская жемчужная раковина, поднятая со дна океана к вечным снегам, врезается своими отточенными краями в прозрачную синь. Пропитанный солнцем воздух так чист, что все здесь кажется еще более далеким, и звезды, словно искры Бесконечности, рассыпаются по ночному небу. А белизна, вездесущая, неземная белизна высокогорного снега! Только драгоценные камни, в которых светится их душа, но не оболочка, пылают такими красками. Этого нельзя описать.

Этого нельзя нарисовать. Пейзажи Сегантини хороши и, возможно, у кого-нибудь вызывают приятные воспоминания, но они бледнеют по сравнению с действительностью. Здесь они теряют свой блеск, как слово «зима» — свою силу; все грозное, суровое, мрачное, что слышится в этих двух слогах, исчезает и смягчается здесь, где зима — это блеск, солнце, ясность, свет и чистота. Нечто сверкающее, как алмаз, но более нежное. Ясное, как утренняя заря, но более могущественное. И нечто безмолвное, пребывавшее бы в вечном покое, если б его не тревожили люди.

Но Беззаботные заняты лишь собой. В поднебесной выси, как нечто невероятное среди Невероятного, громоздятся огромные коробки отелей; они уперлись каменными лбами в ландшафт, не беспокоясь о том, что своим наглым видом нарушают его божественную гармонию. Они так же равнодушны ко всему, как и те, кто их населяет. Беззаботным они служат крепостью против Времени, защитой от внешнего мира; высоко вознеслись они над ним, над заботами. До них не доберутся невзгоды, и горе, бесконечное горе, кровавой тиной покрывшее всю Европу, не отравит их чистый воздух своим дыханием. *Не думают...*

Поворот бобслея. Взметнулось снежное облако, рассыпавшись алмазной пылью. Промчались сани, три... шесть... восемь красок — зеленая, желтая, розовая, черная... Визг, крики... Вот просвистел еще один снаряд, начиненный разноцветными осколками — желтыми, шафрановыми, синими, — понесся дальше, взрываясь смехом... Третий... четвертый... Целый день несутся санки с вершины Шантареллы, вздымая фонтаны искр на поворотах; целый день хрустальный купол вздрагивает от звонкого смеха, раздающегося то там, то здесь. Подвесная дорога с комфортом доставляет Беззаботных наверх, и они снова мчатся вниз.

Неподалеку катаются лыжники. Их красные куртки алеют на снегу пятнами крови, похоже, что это множество жуков-щелкунов бегают и скачет по белой лужайке. Внизу и наверху ослепительные зеркала катков, отражающие солнце и музыку. Вот надо льдом повеял теплый ветерок вальса. И они танцуют, Беззаботные, или играют в поло и хоккей, рыбами извиваясь на льду. И всюду музыка, всюду волшебная синь и белизна. А вот упряжка, из саней выглядывают важные дамы в дорогих мехах, их воркующий смех сливается со звоном бубенцов. Вот проскакал всадник, к его седлу на длинных веревках прицепились лыжники.

Я понимаю, что это спорт, и все-таки это выглядит уж очень смешотворно. Какой-то маскарад, какие-то детские шалости взрослых. Все они слишком элегантно, слишком изысканно в своих костюмах, настолько ярких, что даже глазам становится больно, и слишком веселы, будто они на ярмарке или карнавале. Разговаривают как-то излишне громко, излишне насмешливо, дерзко, словно никто и не ведает о том чудовищном, вопреки чему разыгрывается эта комедия. И своим смехом, своей беспечностью они так же гордятся, как и своими бриллиантами и дворянскими гербами на перстнях.

Нет, они не скучают здесь, Беззаботные. Десятилетиями пребывавших в праздности такой пустяк, как мировая война, не заставит поступиться своими удовольствиями. Вот знакомые лица. Мы встречали их в Карлсбаде, Виши, Остенде. Все



они нам давно известны, как известны их галантные забавы — удивительно, как это еще им не надоело! — разные танго-те и суаре дансан, балы-маскарады, теннисные матчи и престижитаторы; не хватает лишь рулетки и «пти-шво»\* (или, может быть, я их не заметил?). Все здесь к услугам Беззаботных, все, что угодно их душе. Даже свежие цветы из Италии и с Ривьеры; кондитерская, парфюмерный магазин — словом, все, куда забегашь разве что от скуки. Ну, разумеется, и антикварная лавка. Как же можно лишить их этой лавки на высоте тысячи восьмисот метров над уровнем моря да еще в разгар мировой войны! Нет, они не уступят ни грана из прежнего, из того, к чему привыкли, эти последние, самые живучие члены обширного братства, ныне развеянного бурей. И вот они опять сидят за чаем, флиртуют, смеются, какая-то пара плывет, изгибаясь под мелодию танго. А где же война? Куда делся растревоженный мир? Не ведают. Здесь только вальс, сладостный вальс. И улыбки, и мимолетные взгляды.

Задорный смех, многоязычный говор: слышится французская, немецкая, итальянская, английская речь. У них нет родины, у Беззаботных, они слетелись отовсюду. И у них нет отцов, братьев, мужей, которые умирают в эту минуту, иначе бы они не смеялись так беспечно. Они в стороне от всего, погруженные лишь в свои удовольствия. Такт вальса вздымает их плечи, улыбка уносит печаль. У кого есть еще заботы? А? Смех, музыка... *Не думают...*

И когда вспоминаешь о друзьях, которые в этот час лежат где-нибудь на снегу лицом к лицу со смертью, или о тех, кто сидит в душных конторах, прикованные к столу уже много лет, переписывая бумажку за бумажкой, когда думаешь о трагических предместьях городов Европы, где сейчас бродят серые тени детей и живые призраки женщин, то тебе становится стыдно за этих людей, которые с хохотом мчатся по снежным склонам в своих пестрых одеждах. И, как ни стран-

---

\* «Пти-шво» («лошадки») — азартная игра. — *Примеч. пер.*

но, тут же ловишь себя на том, что, несмотря на крайнее ожесточение души, твои глаза невольно, совершенно невольно радуется это зрелище. Ведь так приятно снова видеть здоровых, веселых людей, юность, предоставленную самой себе и невозбранно радующуюся свободе.

Каждый из них живет без страха: я сильный, молодой, здоровый! Молодежь, не замурованная в казармы и землянки, вместо того чтобы убивать, играет своей силой и наслаждается высшим блаженством на земле — свободой. С покрасневшими от загара и бурлящей крови лицами она танцует на зеркальном льду, скачет верхом, птицей взлетает на лыжах, являя гармонию силы и грации. О, как прекрасна сила, когда она не вырождается в грубость, насилие и убийство, когда она наслаждается только собой! Как был хорош совсем недавно мир, в котором юность еще могла радоваться!

Роковая раздвоенность! Двудличное время! Видишь радость людей и стыдишься ее. Видишь их горе и желаешь им радости. Хочешь разделить эту радость и чувствуешь себя виновным перед теми, кому во всем отказано. Хочешь быть беззаботным с Беззаботными и ненавидишь их бездушие. Сердце разрывается. Человек в нас братски взывает: затаись, спрячься, пребывай в трауре по бесконечно льющейся крови! А жизнь, которая хочет наслаждаться только собой и своим самым драгоценным цветком — радостью, манит: замкнись в себе, радуйся, твой траур ничего не изменит! Человек в нас убеждает: уплати добровольно твой долг чужому горю, страдай вместе со всеми страждущими, откажись от радости! А жизнь приказывает: отдайся радости, ибо она плоть и кровь твоей души! Человек говорит в нас: только в печали проживешь ты праведно это время, почувствуешь войну. А жизнь искушает: только радуйся, отрешись ты от времени, победишь войну!

И сердце, слабое человеческое сердце, колеблется. Оно жаждет радости для всего мира и стыдится своей собственной. Оно ненавидит Беззаботных и собственную ожесточенность, свою бесцельную печаль, которая никому не нужна. Бездомное среди веселья, оно жадно прислушивается к нему. И чув-

ствует себя бесконечно одиноким здесь, среди лучезарной природы и ледяных сердец.

Но Беззаботные не грустят. После дневной комедии вечером сатира: бал-маскарад в одном из фешенебельных отелей. Высокие залы, фраки, декольте, сверкают бриллианты и взоры, на столах изобилие, фантастическое для военного времени. Как и прежде, они играют в свои детские игры: в общество, знатность, элегантность и флирт. Там рушатся города — здесь пиликают на скрипках цыгане. Там ежедневно умирают десятки тысяч людей — здесь полуобнаженная маркиза проходит в паре с господином в китайском костюме. Целый поток масок вливается в зал, кроме них ничего не видишь, ни одного человеческого лица. Да и в самом деле здесь нет лиц. Есть маски. Зажигаются люстры. Начинаются танцы. Нежные, сладкие мелодии. В это время где-то идут на дно корабли, штурмуют окопы, а у Беззаботных шутовской маскарад наций.

И тебя охватывает страстное желание, чтобы в эту минуту внезапно погас свет и, как когда-то на пиру Валтасара, на стене вспыхнули огненные знаки. Или те страшные слова Данте: *Не думают, какую куплен кровью...*

## БЕРТА фон ЗУТНЕР

Наше время, время серьезнейших переоценок всех ценностей, пересмотрело не только материальный мир, но и мир моральных категорий также. Имена, некогда сиявшие для нас, словно звезды на небосводе, имена, перед которыми мы некогда благоговели, поблекли в повседневности, люди же, которых мы в мирные годы едва замечали, кого скрывала отбрасываемая событиями тень, заняли в нашем внутреннем мире очень большое место. И вот, едва ли не чаще других упоминавшееся с усмешкой превосходства имя одной женщины, нашло сейчас в наших сердцах отклик, Берту фон Зутнер наши потомки будут чтить как одну из героических, трагиче-

ских личностей истории духа. Рожденная ею мысль своим дыханием наполняет наше время, и поскольку эта мысль действительно живет во всех нас, то было бы неблагодарной забывчивостью не вспомнить о человеке, который подарил нам эту мысль, посвятив ей всю свою жизнь.

Я не знаю, имею ли я право говорить вам об этой необыкновенной женщине, так как, — говорю это совершенно откровенно и со стыдом, — я должен причислить себя к тем очень многим, кто недостаточно глубоко уважал ее, кто недостаточно ценил ее работу тогда, когда она была жива. А как легко было бы отдать ей должное, какой благородной, какой благодарной обязанностью было бы это!

Она жила рядом, среди нас, в нашем мире, в Вене, она была общительна, внимательна, доступна каждому отдельному человеку, и самой большой радостью для нее было собрать сторонников, новых приверженцев своей идеи. У меня было много возможностей встречаться с ней; и привлекательность ее облика, и ее доброжелательность, и огромная сила ее деятельной воли, одухотворяющей уже стареющую женщину, были чарующе очевидны и вызывали к ней уважение. Ее деятельность должна была вызвать у каждого чувствующего человека глубокую симпатию, но симпатия, с которой общество встречало ее идеи, была равнодушной, вялой, инертной, тогда как Берта фон Зутнер сгорала в страсти своего провидческого страха.

Попытаемся же не уклоняться: наша общая вина в конечном счете заключается в том, что ее вдохновенные усилия привели всего лишь к созыву небольших конгрессов, к едва заметным для мировой общественности результатам, тогда как идее, за которую она боролась, следовало бы находиться в центре европейской мысли, и эта запоздалая благодарность не освобождает нас от неискупимой вины. Но чем больше мы осознаем наше собственное заблуждение, тем более мы способны понять и оценить по достоинству моральную красоту этой женщины и ее вневременную миссию.

Все вы знаете, что Берте фон Зутнер не пришлось пережить

этот ужас, ожесточенными и одновременно бессильными свидетелями которого мы являемся, что только ее смерть — причина того, что не она возглавляет этот нынешний конгресс. Она скончалась за восемь дней до того выстрела в Сараево, и вот, месяц спустя, уже кажется, — судьба любит подобные драматические предзнаменования, — что основная идея ее жизни, предотвращение войны, умерла вместе с нею.

Но только люди бренны, мысли же — никогда. Подобно бессмертной душе человечества, они продолжают жить в отдельных людях и нациях, это только кажется, что мысли умирают. Мысль продолжает блуждать по свету, другие люди несут ее до той поры, когда она осуществится. И именно потому, что Берта фон Зутнер не дожила до осуществления своей мечты, возможно, совсем немного не смогла дожить до этого осуществления, именно из-за этой, казалось бы, безопасности ее существования, необходимо помнить эту жизнь, которая была олицетворением трагической идеи нашего времени.

Берта фон Зутнер, урожденная графиня Кинская, была австрийской аристократкой, вся ее жизнь символически вписалась во временной промежуток между двумя войнами, которые Австрия вела в последние пятьдесят лет, между войной 1866 года и этой войной, войной 1914 года. Первую войну она видела едва ли не ребенком, но видела так, как должна видеть войну истинная женщина, со всем человеческим состраданием, со всеми беспредельными ужасами. И всю свою жизнь она находилась во власти единственной мысли — исключить повторение этого ужаса для своей родины и — так как она была не только австрийкой, а и гражданином мира — для всего мира также.

Двумя словами, которыми она озаглавила свою первую книгу, она сказала все, что хотела сказать. Книга называлась «Долой оружие!», и вы знаете, что эта книга — к несчастью, не основная мысль этой книги — завоевала мир. Лишь на долю еще одной женщины выпал подобный успех пропагандистки прогрессивной идеи — на долю американской писательницы

Бичер-Стоу, написавшей роман «Хижина дяди Тома», роман, который нанес смертельный удар рабству, освободил миллионы людей из неволи. И Берта фон Зутнер своим обличительным памфлетом тоже хотела освободить миллионы запуганных людей.

Здесь следует обратить ваше внимание на то, что именно женщине дано достичь в искусстве поразительных высот тогда, когда она остается верной себе, когда она обращается к важнейшим человеческим ценностям — к милосердию и чувству материнства. Именно к этому древнейшему, к этому изначальному чувству, к материнскому чувству женщин всего мира и обратилась Берта фон Зутнер, воскликнув на весь мир: «Долой оружие!»

Возможно, другие мысль о мире во всем мире выразили более глубоко, более одухотворенно, прежде всех Толстой, который воспринимал эту идею как наивысшую свободу людей, как обязанность перед Богом — живое существо обязано беречь жизнь других существ. Многие философы, правоведы и экономисты также создавали серьезные теории, альтернативные кровавым решениям споров народов между собой. Но лишь теперь, во время войны мы стали понимать всю сложность проблемы, возникающей из-за противоречий между внутренней, человеческой ответственностью и внешней, государственной. Она же, Берта фон Зутнер, пошла прямой дорогой. Она обладала святой, наивной верой в разум человечества и всегда повторяла нам вновь и вновь одну простую истину, которая записана во всех библиях мира, — «Не убий». Она говорила это другими, новыми словами: «Долой оружие!» — и говорила так страстно, так часто, так неустанно, как никто до нее это не говорил, ибо — сама не имея детей — отдала всему миру ту бесконечную любовь, которой была наделена.

Когда она впервые крикнула на весь мир эти слова «Долой оружие!», люди слушали с интересом. Но так как она вновь и вновь говорила одни и те же слова «Долой оружие! Долой оружие!», любопытствующим стало скучно. Это страстное од-

нообразии мысли было воспринято как ее бедность, очевидность идеи — как банальность. Некоторых это стало раздражать, они думали — что за нужда в мирное время постоянно призывать к миру. Берта фон Зутнер стала представляться нашему мнимо мудрому миру лжепророком, и постепенно общественное мнение задвинуло ее в дальний угол к оккультистам и теософам, вегетарианцам и изобретателям воляшюка, в закоулок, который соседствует с домом для умалишенных.

Но она не отступала, вновь и вновь повторяла свой призыв, как если бы хотела вдолбить его в голову человечества. Постепенно она стала мишенью для насмешек, «Бертой Мира» юмористических листков, и все чаще упоминали имя этой доброй женщины с таким подчеркнутым состраданием к ней, как если бы ее доброта граничила с глупостью.

Но женщина, о которой думали, что ей нечего более сказать, кроме этих двух слов, обладала глубоким инстинктом Кассандры и бдительностью Линкея, башенного сторожа. И поэтому она со страхом предчувствовала, словно грозу, эту мировую войну, и поэтому на протяжении десятилетий она была обвиняющей совестью народов, и поэтому она вовремя обнаружила также единственно необходимое оружие нашего времени — организованность.

Бдительная, она видела, как во всех странах постоянно совершенствовалась ужасная машина войны, как эта система охватила все сферы человеческой деятельности — промышленность, литература, искусство оказались вовлеченными в нее, как все человеческие инстинкты: и низменнейшие — надменность, зависть, кровожадность, тщеславие, и благороднейшие — вдохновение, жертвенность, чувство общности — все они перерабатывались этой военной машиной как сырье. И Берта фон Зутнер поняла, что одними лишь невооруженными чувствами такую гигантскую машину не разрушить, что ее организованности следует противопоставить другую, такую же сильную, даже более сильную систему, организации войны должна дать отпор организация мира.

Об идее организации как таковой можно думать что угодно, можно славить ее за то, что она — триумф современного человечества, можно хулить за то, что она уничтожает индивидуальность, но она, эта организация, имеется в нашей жизни, более того, она является важнейшей формой существования нашей современности, и даже тот, кто хочет ее разрушить, может сделать это, лишь пользуясь ее методами. Берта фон Зутнер первая провидчески поняла: «Подготовка — это все». Любимую поговорку военных она ради дела мира взяла у своих противников на вооружение и призвала всех участвовать в борьбе с общей для всего человечества опасностью. Эта идея внутренней и внешней подготовки оказалась правильной не только для наций, но и для отдельных людей, в ней единственной было в то время спасение.

Почти все немногие выдающиеся люди — наши современники — убежденные противники войны стали таковыми не только лишь по велению души, но и под воздействием ее идеи организованного противостояния угрозе мира. Толстой пришел к этой идее и укрепился в ней после двадцати двух лет напряженнейших размышлений, Роллан задолго до войны в своем романе, в котором сравнивал европейские культуры, выразил свою убежденность в неразрушимости высшего единения народов. Лишь те, кто не был застигнут войной врасплох, лишь подготовленные и внутренне организованные смогли сконцентрировать все свои силы для духовного протеста, и если все люди мира в огромном своем большинстве растерялись, то произошло это только потому, что они были в стороне от организованной борьбы против войны, начатой Бертой фон Зутнер.

Но как коротка была ее жизнь для решения поставленной ею перед собой беспредельно трудной задачи! Как легко милитаризму, как трудно пацифизму! Если воля к войне обращается к постоянно проявляющимся инстинктам человечества — к силе, гордости, страсти, если она опирается на тысячелетние традиции, если она оперирует аргументами древних времен, воля к миру должна разбудить скрытые инстинкты —



терпимость, уступчивость, миролюбие и ничего не может противопоставить традициям, кроме неопределенной мечты.

Все эти трудности она, Берта фон Зутнер, понимала, вероятно, лучше, чем мы можем предполагать, но она была идеалистом, а быть идеалистом не значит — как думает большинство людей — не видеть сопротивления действительности идее или недооценивать силу этого сопротивления, нет, это значит — несмотря на все трудности, бороться до конца за осуществление идеи, реализацию которой считаешь жизненно необходимой.

Верно, Бертой фон Зутнер владела только одна мысль: «Долой оружие!», но непреходящее ее величие заключается в том, что эта мысль была не только верной, но и единственно важной мыслью нашего времени. И целью тридцати лет активной деятельности героической женщины было все глубже внедрять эту мысль в действительность. Но кто же помогал ей, кто стоял возле нее? Кто вступал в это основанное ею Общество мира? Не остались ли мы вдали от ее планов из-за некоего недоверия к этому Обществу, из-за некоего неблагородного высокомерного нежелания служить само собой разумеющемуся? Не полагали ли мы все, что каждый из нас самостоятельно сделает что-то более существенное, чем в единении, сообща?

Она же, равнодушная ко всяческому равнодушию, неутомимая в своей работе, основала Общество мира, австрийское, венгерское, спешила с конгресса на конгресс, добивалась встреч с руководителями государств, с дипломатами, которые давали ей ни к чему не обязывающие обещания. Она привлекала к своему делу массы людей, целые нации. А если не находила многих, искала одиночек.

Она нашла Альфреда Нобеля, изобретателя страшного взрывчатого вещества, разбудила его совесть, и он учредил премию, которая призвана была хотя бы раз в году напоминать человечеству о существовании организации, борющейся за мир. Она нашла Карнеги, хозяина Питсбурга, в котором дни и ночи изготавливаются тысячи орудий и винтовок, и заинтересовала его своими идеями. Связывая идеей мира друг с другом

людей разных наций, она образовала цепочку, которую и сейчас усилиями миллионов солдат полностью не разорвать.

Так эта героическая пропагандистка идей человечности дала нам запоминающийся урок того, как женщина, даже если ей законом отказано влиять на политику, так как она не имеет избирательных прав, все же нашла пути воздействия на людей — от сердца к сердцу, от души к душе — аргументами гуманизма пробуждая совесть в каждом, имеющем чувство ответственности.

И как она обращалась к совести человечества, как была бдительна в своей «Вахте мира»! Месяц за месяцем издавала она этот журнал — малочитаемый, малозаметный и трагическим образом известный лишь тысяче уже убежденных сторонников мира, а не тем сотням тысяч людей, которых следовало бы убеждать в истинности этих идей! Одна она призывала к применению радикальных средств, тогда как другие стремились сохранить обманчиво хорошее самочувствие общественного мнения дипломатическими мазями и политическими микстурами. За два десятка лет до мировой войны Берта фон Зутнер знала, что война разразится, а все мы, находясь в двух шагах от нее, ничего не подозревали.

Но, — я спрашиваю вас и себя, — действительно ли я прав, говоря, что мы ничего не подозревали об этой войне, ничего не знали о том, что она готовилась? Ответить однозначно «да» или «нет» было бы неправильно, ибо каждому человеку в той или иной ситуации присущ свойственный лишь ему одному опасный способ познания, способ, сосуществующий с желанием не знать. Это желание не знать связано с важнейшим нашим инстинктом — волей к жизни.

Мы замечаем многое вокруг себя, но замечаем неосознанно, так как не хотим это заметить, насильно вытесняя и отбрасывая назад в подсознательное, в сумеречную область наших чувств то, что знать не хочется. Так, мы все прекрасно знаем, что каждый из нас умрет. Смерть живет в нас и с каждым днем ее вероятность у каждого растет. Но, чтобы радостнее чувст-

воватъ себя такъ, какъ будто будемъ жить вечно, мы не желаемъ знать о нашей смерти ничего.

Когда весной едемъ за городъ и любуемся мелькающимъ в окнахъ вагона ландшафтомъ, мы знаемъ, что впереди, в непереносимой жарѣ у топки паровоза страдаетъ полутопый, весь в копоти кочегаръ. Но такъ какъ намъ известно, что съ мыслью о кочегарѣ мы не сможемъ в полной степени насладиться красотами природы, мы насильно подавляемъ в себѣ мысли о кочегарѣ.

И точно такъ же в мирное время от лени, по легкомыслию, из инстинкта самосохранения мы не верили в возможность войны, потому что не хотели беспокоить, расстраивать себя. Она же, Берта фонъ Зутнеръ, одна приняла на себя трагическую миссию вечнаго нарушителя покоя, неудобнаго для своего времени, какъ Кассандра в Трое, какъ Иеремия в Иерусалимѣ. Жизни съ вялымъ, бесчувственнымъ сердцемъ она героически предпочла жизнь среди насмѣхающихъ надъ ней людей.

В этомъ — величье Берты фонъ Зутнеръ, величье ея примера для насъ. Никогда насмѣшки надъ ней не могли заставитьъ ее отказаться отъ идеи, которой она была беззаветно предана. Однажды Достоевскій сказалъ, что величайшей ошибкой чело-вечества, опаснейшей помехой нашимъ силамъ является нашъ страхъ оказаться смѣшными. Этотъ страхъ она преодолѣла. Она не побоялась бороться за достижение, казалось бы, недостижимаго.

Конечно, она и сама лучше любого другаго знала о глубокой трагичности идеи, которую защищала, о едва ли не безнадежно трагическомъ положеніи, которое изначально свойственно пацифизму: онъ всегда не ко времени, несвоевременен, в дни мира онъ не нужен, во время войны — безрассуден, в дни мира — бессилен, а во время войны — беспомощен. И все же Берта фонъ Зутнеръ, подобно Донъ Кихоту, бившемуся съ ветряными мельницами, всю свою жизнь боролась за торжество великой идеи, и только сейчасъ мы съ ужасомъ узнаемъ то, что она знала всегда, — эти ветряные мельницы перемалываютъ не ветер, а кости европейской юности.

Возможно, и сегодня, когда миллионы людей ввергнуты в

безжалостную бойню, мы кажемся рассудительными и умными, смешными и недалекими, требуя, казалось бы, недостижимого, говоря о братстве и умиротворении наций. Но именно пример этой великой женщины показывает, что нельзя путать успех с действиями, нельзя считать, что неплодоносящее нынче дерево в будущем также не будет приносить плоды.

Пусть другие обвиняют нас в том, что мы с этой женщиной обошлись несправедливо, что относились к ней при ее жизни с безразличной доброжелательностью и своей заслуживающей порицания пассивностью мешали ей реализовать ее идею, но ее пример убедительно показывает, что воздействовать на все живое можно лишь тогда, когда человек в своих действиях руководствуется только своими сокровенными мыслями, а не внешними возможностями времени, когда человек из своей жизни черпает убежденность, а из убежденности — свою жизнь.

## ОГОНЬ

Доверять в высшей степени случайному, минутному успеху опасно, но опасно также пренебрегать им. Всякое явление ценно хотя бы тем, что дает возможность познать породившую его причину, и поэтому любой сенсационный успех уже сам по себе выражает некий нематериальный факт: какую-либо душевную потребность, которую он удовлетворяет, безмолвный вопрос, на который он дает ответ, настроение нации, которое он формулирует. Для диагноза умонастроения эпохи исключительно важна оценка природы крупного литературного успеха — этого зримого симптома изменений, свершающихся в людских душах, — и когда-нибудь тиражи нашумевших книг расскажут грядущим поколениям о температурной кривой воевавшей Европы больше, нежели все документы и сводки.

Но уже и теперь, чтобы понять время, в какое мы живем, и его политический смысл, нам небезразлично узнать, каким

настроением проникнута эта нашумевшая книга, которая сегодня во Франции затмила все книги о войне; ибо нацию постигаешь всего лучше по ее выдающимся сынам, а время — по тому, что пользуется в нем успехом. Подобно тому, как в «Contrat social» Руссо крылось предвестие революции, в «Вертере» Гёте — романтизма, в «Отцах и детях» Тургенева — нигилизма, так и «Огонь» Барбюса передает чувства современной Франции и, быть может, возвещает завтрашнее братство народов Европы. Мы не можем, не смеем не замечать того факта, что ныне во Франции из всех книг, написанных о войне, самым большим успехом пользуется книга, страстно восславляющая мир.

Анри Барбюс... Пусть читатель, и даже тот, кто считает себя знатоком французской литературы, не стыдится, что до сих пор ни разу не слышал этого имени. В Париже молодого поэта знали лишь в узком кругу как зятя Катюля Мендеса, а также по роману «Ад», в котором угадывался талант.

Талант! Как измельчало и истерлось в наши дни это слово, когда-то ценившееся на вес золота! Если бы под Круи или Суше немецким снарядом вместо другого солдата был разорван в клочья пехотинец Барбюс, то маленький пузырек его славы быстро бы лопнул. Фронтные товарищи бросили б на его тело несколько лопат земли, газеты посвятили б несколько строк его памяти, и один из властителей дум нашего времени бесследно исчез бы под гигантским жерновом уничтожения, как и многие другие, имена и произведения которых канули в безвестность.

Ныне же на обложке книги «Огонь», спустя полгода после первого ее издания, стоит удивительная цифра — «сотая тысяча». И молодежь во Франции и далеко за ее пределами видит в Барбюсе выразителя самых сокровенных своих чувств.

Можно ли назвать романом эту снискавшую мировую славу книгу, насыщенную материалом огромной взрывной силы и взбудоражившую наше время так, как ни одно произведение французской литературы после «Нана»? Пожалуй, нет. Ско-

рее, она его противоположность. Ведь роман, собственно, является вымыслом, плодом фантазии писателя, показывающего жизнь преображенной, возвышенной. «Fiction», как не случайно именуется художественная проза на лаконичном английском языке; ценность же этой книги прежде всего в отсутствии всякого вымысла, в беспощадной правдивости и достоверности. Барбюс не перекрашивает кровь в розовый цвет и не изображает войну этакой молодеческой забавой; он не прибегает к патриотическому пафосу, чтобы возвеличить трагические события, и не смягчает их пресловутым окопным юмором, о котором болтают столько вздора в тылу. Он ничего не выдумывает и не гармонизирует того, что враждебно разуму; жизнь и смерть на войне, существование, которое влачит французский пехотинец в огне и грязи, в дьявольском хаосе, в земном аду, он изображает без прикрас.

Это — военный дневник, один из тысяч, не первый и, наверное, не последний в нашем мире, разорванном на Здесь и Там. Но почему же именно этот поражает в самое сердце, затрагивает самые сокровенные, общечеловеческие чувства, почему он вызывает у нас, подобно античной драме, наряду с бесконечным ужасом также и то теснящее сердце, таинственное, прекрасное и в то же время пугающее волнение, когда страшное возвышается до трагического, бессмысленное превращается в символ, причиняющее одну лишь боль рождает душевное погрязение? Почему только этой книге выпал удел тревожить всех, не минуя никого?

Всегда нелегко определить единый источник воздействия большого художественного произведения, так как его влияние слагается из бесконечного множества невидимых сил; но мне думается, что непреходящая ценность этого произведения заключается прежде всего в его единственной в своем роде оптике — в двойном видении мира: Барбюс глядит на мир из бездны человеческого страдания, из душной ямы солдатского окопа как французский пехотинец и одновременно как мировой поэт, стоящий на вершине человеческой, гуманистической мо-

рали. Созерцающий, страдающий, он затерялся, как песчинка, в хаосе миллионов, но благодаря своей внутренней свободе он сумел вырваться из этого ада предписанной ненависти и узаконенного убийства, не утратив ни на мгновение способности к любви и милосердию. Вот почему эта книга являет собой образец и художественного мастерства, и человечности.

Уже сама манера, в которой написан «Огонь», совершенно нова и своеобразна. Ни строчки о судьбах отдельной личности, речь идет только о переживаниях коллектива. Это не дневник какого-то одного солдата, а «Journal d'une escouade»\*, описание переживаний отделения, судьбы одного взвода. Между двумя существовавшими доньше в литературе способами изображения — объективным и субъективным — Барбюс избрал третий: коллективный. Он показывает войну не так, как Толстой, чей всепроникающий взор охватывал и все этажи ее здания, и бесконечные горизонты мировой истории, заглядывая и в комнату полководца, и в покои императора, и в душу крестьянина или офицера; но и не так, как Лилиенкрон и Стендаль, которые повествовали лишь о том, что запечатлелось на сетчатке их глаз. У Барбюса наблюдающее, переживающее «я» удесятеряется и обретает новую цельность: он говорит и пишет не от лица индивидуума, а от имени семнадцати товарищей, которых сто недель совместных страданий в пекле войны спаяли в единое целое. Пехотный взвод — мельчайшее воинское подразделение мировой войны — рассказывает о гигантской бойне.

Самого Барбюса-писателя вначале совсем не ощущаешь. Он как бы рупор граммофона, из которого раздаются голоса и стоны этих семнадцати человек, анонимный собиратель и рассказчик их страданий; мы его не видим, как не видим на картине нарисовавшего ее художника. Растворившийся в братском содружестве, он уже ничего не воспринимает обособленно, лично, но то, что он переживает, он переживает сем-

---

\* «Дневник взвода» (фр.).

надцатью душами. Слышающий, он молчалив, поэтому голоса его товарищей звучат со страниц книги так же, как они звучали в жизни, ибо он не искажает ни одного их слова. Он сохраняет все шероховатости их крестьянского говора, всю непосредственность выражений, он не полирует их грубый диалект, не уснащает их речь афоризмами. Три четверти книги написаны на парижском аргю и поэтому едва ли понятны тем, кто изучал французский по грамматикам и у гувернеров; но даже тот, кто пополнил свой лексикон на Монмартре, встанет в тупик перед иным словом, которого в 1914 году Академия еще не знала, ибо оно только что отчеканилось в окопе.

Великолепна эта новая техника изображения коллектива, и главное в ней то, что она нечто большее, нежели просто техника; не столько изобретательность искусного литератора породила ее, сколько человеческая необходимость, благодарное чувство верности тем ста неделям, которые Барбюс и его товарищи провели в одной палатке и под тем, другим шатром, сотканным из огненных нитей немецких снарядов. Оторванная от своего домашнего мира и брошенная в бесконечность войны, эта горстка людей становится его родиной, его семьей, его народом. Все, что он переживает, он переживает вместе с ними и благодаря им, у них одна жизнь и одна смерть.

Словно спутники Одиссея в пещере Полифема, прижавшись друг к другу в ожидании того, что огромная свирепая рука выхватит кого-нибудь из их рядов, сидят, скорчившись, эти семнадцать дни и ночи в окопе, и из их душ выжимаются слова, рожденные первобытным страхом. Эти слова, полные страха смерти и животной радости, экстаза вновь обретенной жизни, сильнее всех красивых слов, которыми тыловые поэты и парижские газеты прославляют войну; они неопишуты, незабываемы, эти разговоры во мраке жизни перед мраком смерти.

Люди, изображенные в произведении Барбюса, говорят о войне просто, и она — необозримая, многоликая, гигант-



ская — становится в их беседах обозримей, проще, как бы свернутой в крохотный клубок. И в часы, долгие, бесчисленные часы ожидания — ведь оно главное занятие на войне: ожидание приказов, распоряжений, смены, отпуска, смерти, мира, милосердия — этот клубок постепенно разматывается. Как бы между делом в своих разговорах они распускают петлю за петлей чудовищной стальной сети, которая опутала Францию и всю нашу злосчастную Европу; простодушные крестьянские рассуждения, подобно скальпелю анатома, препарируют фантастическую паутину ее нервов так, как это не могло бы сделать ни одно подробное литературное описание.

Я попытаюсь показать на примерах, как Барбюс, словно играючи, разбирает на части весь механизм войны. Остановка на ночлег. Перед отправкой в окопы солдаты укладывают свои мешки, похваляясь их содержимым друг перед другом. Перед нами предстает вся кладь пехотинца; мы видим его военное снаряжение и одновременно по заботливо припрятанным в потайных уголках ранца вещичкам угадываем характер каждого. Один достает фотографию жены и детей, другой — сувенир, третий — колоду карт, четвертый — нож, и все разглядывают, ощупывают эти жалкие сокровища. Они советуются, куда их лучше уложить, они как бы выкладывают содержимое своих ранцев на глазах у читателя, они все сравнивают и все обсуждают, и постепенно вместе с этими крохотными вещичками, напоминающими им о забытом на войне доме, вся родина, все бесконечно далекое былое пересыпается из раскрытых мешков на страницы книги.

Или — один из них возвращается в окопы после поправки. «*Wonne blessure*»\* — так французские фронтовики нежно называют рану, которая вместо смерти приносит счастливцу несколько недель отпуска, — дала ему возможность побывать в тылу; и вот он описывает свой путь из госпиталя в этапный пункт, из этапного пункта в тыл, рассказывает об издеватель-

---

\* Удачная рана (фр.).

ствах бюрократов, о высокомерии офицеров, о всех своих горьких и сладких встречах со всевозможными самаритянами. Товарищи то и дело перебивают его, спеша поделиться на этот счет своими воспоминаниями, и постепенно из их беседы вырисовывается неприглядная картина французского тыла. Так из нескольких разрозненных сценок молниеносно создается законченная панорама той сложной системы, на которую эластично опирается передний край фронта.

Или живая лекция об артиллерии! Прислушиваясь к грохоту канонады, солдаты по свисту пролетающих снарядов определяют их калибр и радиус действия. Как охотник распознает зверей по их реву, так и эти жители ада узнают снаряды по малейшему шелесту; по одному только звуку с точностью до сантиметра они определяют размеры тяжелых гранат; с особым страхом прислушиваются они к полету австрийских мортирных снарядов огромной разрушительной силы, с которыми они впервые познакомились под Верденом. Так из их незамысловатой крестьянской беседы, из их шуток, восклицаний, криков, обсуждения траектории, скорости полета и действия снарядов незаметно вырастает необычайно наглядный образ самого страшного оружия этой войны — артиллерии.

Из таких небольших сцен и эпизодов построена вся книга. Одни из них незабываемы по своей красоте, другие — по своему ужасу. Например, история с летчиком. В воскресенье утром, летая над позициями, он заметил по обе стороны передовых линий какие-то темные, одинаковые по величине и очертанию массы. Он снизился, чтобы узнать, в чем дело, и увидел: внизу, одновременно справа и слева, происходило воскресное богослужение — у немцев и у французов. С обеих сторон в один и тот же час, к одному и тому же небу и к одному и тому же Богу возносились молитвы и песнопения на двух языках, от двух народов, но прежде чем до него донеслись благочестивые слова, вокруг самолета стала рваться шrapнель.

Или другой случай, с солдатом из Суше, который, как

лунатик, бродит по выжженной равнине, где прежде стояла его родная деревня, и на этом превращенном в ничто клочке земли пытается отыскать приметы своего дома. А история с солдатом, который разыскивает труп своего брата, не ведая, что тот лежит рядом, возле окопа за насыпью, и что часы, тиканье которых слышалось всю ночь, были на руке у того, кого он искал; их холодный механизм пережил молодую, горячую жизнь.

Эти жуткие эпизоды незабываемы по своей реалистичности, по художественной силе. И постоянно со страниц книги все снова и снова раздаётся стон то одного, то другого французского солдата и скорбный голос самого писателя: «*On ne peut pas se figurer!*» — «Это невозможно себе представить!» — слова, ставшие лейтмотивом произведения, придающие ему особый ритм. Каждая страница книги повествует о мучениях, и, несмотря на это, писателю кажется, что он сказал недостаточно: еще мало горя, мало страданий.

Ведь если даже он и изобразит все круги ада этой войны, то какими же словами рассказать о самой незримой, самой страшной из ее пыток: о бесконечности, о времени, о медленно, слишком медленно текущем времени? Ум может охватить секунды, минуты, но месяца, годы — как объять их, как перенести эту монолитность, эту непрерывность, эту вечность? Бездна надежды охватывает французских пехотинцев и самого писателя, они уже не верят в жизнь, он — в искусство. Величайшее бедствие человечества ввергает художника в величайшее сомнение и скорбь.

Об усталости и истощении, безысходности и нескончаемости трех лет войны, о том, чего не знал Золя в своем «Разгроме», о последнем круге ада, по которому проходит французский солдат, повествует сегодня Барбюс своим соотечественникам и всему миру. Окопавшимся в тылу политиканствующим патриотам он — безупречный свидетель, солдат и борец — предъявляет обвинение за муки их жертв; ни о чем не пишет он с такой беспощадной жестокостью, как о бесконечности страданий, от которых нет спасения.

Даже короткая передышка, отпуск — предполагаемый отдых! — пехотинцев, этих илотов взбесившегося национализма, отравлен, превращен в фарс, о котором рассказывают страницы этой беспощадной книги. Барбюс описывает приезд отпускников в Париж. Они еще не стряхнули с себя окопную грязь, в ушах у них еще стоит звон от грохота орудий, сердца их еще сжимаются от перенесенного ужаса. Они идут по бульварам, окруженные праздной толпой, мимо них проносятся автомобили с расфранченными пассажирами, на улицах заманчиво блестят витрины магазинов и глаза женщин. Никто, ничто не знает здесь о войне, от всех этих людей она далека, как небо от земли.

Впрочем, нет, и вот, кажется, доказательство тому. У одного магазина собирается толпа и с любопытством разглядывает какое-то странное сооружение в его витрине. Что там такое? Они проталкиваются ближе и видят за стеклом восковой манекен немецкого офицера в новеньком обмундировании, с картонным Железным крестом на груди; немец стоит на коленях и, прося пощады, протягивает восковые руки к восковому французскому офицеру с детскими румяными щечками, который уставился на него своими стеклянными глазами. Под этими куклами большими буквами написано: «камрад» — насмешливая кличка немцев. Гнев и омерзение охватывают солдат: так вот как здесь, оказывается, представляют себе немцев эти бездельники, вот как они думают в тылу о войне! К ним обращается какая-то элегантная, благоухающая дама: «Скажите, господа, вы ведь настоящие солдаты с фронта, вы видели все это в окопах, не правда ли?» И оба, еле сдерживая отвращение, робко бормочут: «Гм... да... да...» — и довольная публика сияет от радости.

Они заходят в кафе, к ним подсаживаются разные любители поболтать, выражают им свое восхищение; один восторженный штатский говорит, что ему тоже очень хотелось бы пойти на войну, но вот злое начальство не отпускает; другой уверяет их, что здесь, в тылу, он не менее полезен государству, чем они там, на фронте. Опять они отвечают: «Гм... да...

да...» — смиренно, доброжелательно, но в глубине души чувствуют: между ними и теми лежит пропасть, они говорят на разных языках.

И они бредут дальше, бедняги, чувствуя себя совершенно забытыми в этом большом городе, в Париже, который думаешь лишь о себе и своих удовольствиях. И вдруг один из них неожиданно резюмирует: «А ведь правда! Выходит, что у нас не одна страна, а две. Мы разделены на две чуждые страны: на фронт, где слишком много несчастных, и на тыл, где слишком много счастливых». Они чувствуют себя потерянными в столице Франции, которую в течение тысячи дней защищали своей кровью, и с поникшими головами уходят из этой каменной чужбины на свою страшную родину, в окопы.

И вот они опять у себя дома, в своей семье, во взводе. Начинается последний акт человеческой трагедии. Ночью спящих солдат поднимают по тревоге и бросают в атаку. Эти апокалиптические испытания современного человечества описаны Барбюсом так беспощадно правдиво, так жизненно, или, вернее, так убийственно, что невозможно пересказать все снова. Душа обращается в прах, когда подумает, что на нашей земле может быть нечто подобное, не хватает дыхания вымолвить хоть одно слово об этом.

Наступает ночь после атаки. Бойня кончилась. Двое солдат, уцелевших из семнадцати, — все, что осталось от взвода, — блуждают по перепаханному снарядами полю. Они ищут своих товарищей, с кем час назад играли в карты, своих братьев, которых полюбили, с кем сроднились за эти два года, и находят лишь их растерзанные трупы. К их братской скорби, к их человеческому страху примешивается и неодолимое чувство неистойвой, триумфальной, первобытной радости: «Я еще жив! Я еще жив!» Они только что убивали сами, рядом с ними была смерть с оскаленным и залитым кровью черепом, но сознают они только то, что они еще живы.

Они бредут дальше, от трупа к трупу. Все чаще и тревожней звучит в этих жутких картинах лейтмотив книги: «Он пе

peut pas se figurer!» — «Это невозможно себе представить!» И они умолкают. Окровавленные, они ползут обратно сквозь колючую проволоку и забиваются в свои норы. И тогда из темноты, чуть слышно, один за другим начинают раздаваться голоса. Они безымянны, эти голоса оставшихся в живых, и порой кажется, что гул их нарастает, будто в него вливаются новые десятки, сотни тысяч голосов тех, что сейчас лежат бесполезной падалью перед немецкими окопами.

Они рассуждают о войне, эти безымянные, добираются до ее смысла. Но не об Эльзас-Лотарингии говорят солдаты и не о Марокко и Сирии, как их министры, а только о страданиях и о том, когда наступит им конец. Один еще отваживается произнести вычитанную фразу: чтобы уничтожить милитаризм, надо разгромить Германию. Но другие уже не верят этой фразе. «Сегодня милитаризм называется Германией, но завтра как он будет называться?» — спрашивают они. Не Германии надо раз и навсегда победить в этой войне, а самое войну. Не Германия враг народа, а война. «Две армии в схватке — это одна огромная единая армия, совершающая самоубийство!» — выкрикивает кто-то, и все бурно соглашаются с ним.

Ни единого слова ненависти к Германии не произносят эти французские бойцы; те, которые только что врывались с ручными гранатами в немецкие окопы и остервенело кололи штыками, полны сострадания к жертвам войны и ненавидят войну и тех, кто ее затеял. Никогда больше подобное бедствие не должно обрушиться на человечество, восклицают они, и если только нынешняя война будет последней войной, то все принесенные жертвы не напрасны. Их не искупят никакие вновь приобретенные провинции; вознаградить их может лишь одна, последняя надежда, что, ужаснувшись безмерности страданий, человечество не понесет добровольно еще раз крест войны. И над равниной, усеянной мертвецами, как трубный глас Суда, разносится из французских окопов клич: «Guegге à la guegге!» — «Война войне!»

Мысль, что они, безвестные Спасители, своим мученичеством избавят Будущее от войны, что их пример навсегда

отрезвит грядущие поколения, приносит им утешение, бесконечное утешение. Но лишь на один миг. Ибо кто, спрашивают они себя, расскажет человечеству о наших безмерных мучениях, кому они ведомы? Ни один писатель не сможет вообразить их себе; военные корреспонденты, эти «*touristes de tranchées*» — «окопные туристы», видели лишь частицу их страданий и не испытывали самого страшного: принуждения и непрерывности, бесконечности мучений. Кто познал судьбу пехотинца? «Мы! Только мы, — отвечают голоса. — Мы, только мы, которые сами ее испытали!» Но, подобно ударам молота, падают на их сердца чьи-то слова: «Нет, и мы забудем, даже мы сами! Мы забудем! Того, что мы видели, было слишком много. Мы не таковы, чтобы вместить все это. Мы сами забудем обо всех пережитых страданиях».

Раскаленной иглой пронизывает их сознание эта страшная мысль — самая страшная в этой страшной книге. «Да, мы забудем! — восклицает другой. — Когда я был в отпуске, я заметил, что уже многое забыл из своей прежней жизни. Несколько своих прежних писем я перечитал, как новую книгу». «Да, все забывается, — подтверждает третий, — уходит неведомо куда бесконечность этих ночей, муки лишений... Остаются только имена, только названия, как в военной сводке». О непостоянство чувства! О забывчивость! О усталость мысли! Потеряв последнюю надежду, они в отчаянии обвиняют самих себя. «Мы — машины забвения. Человек — это существо, которое думает мало и легко забывает».

И они, единственные очевидцы, окажутся немymi перед судом человечества и смогут лишь бормотать, вместо того чтобы говорить во весь голос! Их изобразят героями, тех, кто чувствует себя мучениками, ни в чем не повинными страдальцами; будут описывать лишь их подвиги, но не мучения, подстрекая, но не предостерегая грядущие поколения. К чему тогда эти муки, эти жертвы? Всякая надежда потеряна. «*Tant de malheur est perdu!*» — все их страдания окажутся напрасными, если они останутся неизвестными человечеству, если никто правдиво не расскажет о них.

Этим свидетелем, этим глашатаем, возвещающим о страданиях французского солдата в назидание человечеству на все времена, и попытался стать Анри Барбюс. Его книга возвышается гигантским надгробным памятником павшим товарищам, воздвигнутым из их страданий, сцементированным их слезами и кровью, памятником, озаренным на века вдохновенным пламенем страсти художника. Его книга будет вечной плотиной, преграждающей путь мутному потоку стихов и трактатов тех хвастунов, у которых «избавление» от военной службы вызывает «прибавление» патриотического пыла. Его книга будет вечно язвить тех осторожных патриотов, которые, превознося с пылом красноречия войну — это море крови и железа, — сами остерегались замочить в нем даже кончики пальцев. Она будет вечной, потому что чувство писателя питалось пережитым и еще потому, что это чувство, обращенное через все границы ко всем народам, имело своим священным источником человечность. И среди битв, где решают Сила и Власть, это уже победа, в конечном счете единственная победа ясного духа над бессмыслицей происходящего, победа правды над фразой и ее презренным рабом — словом.

## ПРЕКРАСНЕЙШАЯ МОГИЛА В МИРЕ

*Из воспоминаний о поездке в Россию в 1928 году*

Я не видел в России ничего более величественного, более поразительного, чем могила Толстого. С чувством священного трепета вступаешь в тенистый лесной уголок, ставший местом паломничества всех поколений. Узкая тропинка, прихотливо извиваясь среди кустов и лужаек, приводит к обыкновенному могильному холмику, никем не охраняемому, ничем не защищенному, лишь несколько старых деревьев, тихо покачивая на осеннем ветру высокими макушками, оберегают его покой. Эти деревья посадил он сам, рассказала мне внучка Льва Толстого. Он и его брат Николай, еще детьми, слышали от кормилицы или от какой-то крестьянки предание: там, где посадишь



деревья, будет счастливое место. И вот мальчишки, играя, посадили где-то на территории усадьбы несколько сеянцев и вскоре позабыли о них. Лишь много лет спустя Толстой вспомнил об этом случае, детская наивная мечта о счастье внезапно обрела для него, уставшего от жизни, новый, удивительный смысл. И писатель завещал похоронить себя под теми самыми деревьями, которые он посадил.

Воля Толстого была исполнена. Во всем мире нет более поэтичной, более впечатляющей и покоряющей своей скромностью могилы, чем эта. Маленький зеленый холмик среди леса, украшенный цветами — *nulla stux, nulla sogona*, — ни креста, ни надгробного камня с надписью, ни хотя бы имени Толстого. Могила великого человека, который, как никто другой, страдал под бременем своего имени и своей славы, осталась безымянной, — так мог быть погребен какой-нибудь бродяга без роду без племени или неизвестный солдат.

Всякий может подойти к месту его последнего отдохновения: редкая деревянная решетка, окружающая холмик, не запирается — ничто не охраняет покоя Льва Толстого, кроме благоговения людей, которые обычно так любят тревожить своим любопытством могилы великих. Здесь же сама простота сдерживает бесцеремонных и заставляет умолкнуть болтливых. Ветер шелестит листвой над безымянной могилой, солнце пригревает ее, снег одевает мягким белым покровом, летом и зимой можно пройти мимо нее, даже не подозревая, что под этим бугорком погребены останки одного из величайших людей на земле.

Но как раз эта безымянность и поражает сильнее любого мрамора и бронзы: из сотен людей, пришедших сюда в этот знаменательный день, никто не решится сорвать с этого холмика себе на память хотя бы один-единственный цветок. Ничто в мире — в этом убеждаешься здесь вновь! — не действует столь глубоко, как предельная простота. Ни гробница Наполеона под мраморным сводом во Дворце Инвалидов, ни усыпальница Гёте в княжеском склепе в Веймаре, ни саркофаг

Шекспира в Вестминстерском аббатстве не пробуждают с такой силой в человеке самое человеческое, как эта царственно безмолвная, трогательно скромная могила где-то в лесу, безответно внимающая только ветру и тишине.

## КНИГА, КАК ВРАТА В МИР

Два открытия ума человеческого — вот первооснова всякого движения на земле: движение в пространстве стало возможно благодаря изобретению круглого, вращающегося вокруг своей оси колеса, движение духовное — благодаря изобретению письменности.

Некто безымянный, где-то, когда-то согнувший в обод непокорное дерево, научил человечество преодолевать расстояния между странами и народами. Возок сделал доступными связи, перевозки, путешествия, он стер границы, которые возникли по воле природы и удерживали плоды, камни, изделия и руды в узких рамках климатической родины. Каждая страна жила теперь не сама по себе, а в тесном общении с остальным миром; Север и Юг, Запад и Восток, Старый Свет и Новый Свет с помощью этого открытия приблизились друг к другу.

И подобно тому, как колесо в последовательно усовершенствованных формах — в беге паровоза, рывке автомобиля, бешеном вращении пропеллера — преодолело земное тяготение, так и письменность, тоже проделавшая долгий путь от папирусного свитка, от листа к книге, преодолевает трагическую ограниченность жизненного опыта, отпущенного душе человеческой: там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора, он приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего, к мыслям и чувствам целого человечества. Все или почти все духовное движение нашего духовного мира связано ныне с книгой, и та вознесенная над материальным миром форма проявления жизни, которую мы именуем культурой, была бы невысказана без книги.

Но лишь изредка, лишь в считанные мгновения нашей частной и личной жизни сознаем мы эту одухотворяющую, мирозозидающую силу книги. Ибо книга давным-давно сделалась неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и мы утратили способность всякий раз снова и снова благоговейно восхищаться чудом, в ней явленным. Как, сами того не ведая, мы с каждым вдохом поглощаем кислород и этим незримым химическим веществом таинственно питаем и освежаем нашу кровь, так не замечаем мы и того, что наш устремленный в книгу взор непрерывно поглощает духовную пищу, которая либо освежает, либо утомляет наш ум.

Для нас, питомцев многовекового царства письменности, чтение стало почти мускульной функцией, почти автоматическим действием, а книга, сопутствующая нам с первого класса школы, стала чем-то до такой степени при нас и подле нас сущим, что мы по большей части берем ее в руки небрежно, без всякого трепета, как берем свой пиджак, перчатку или сигарету, как берем любой из продуктов массового производства. Доступность сокровища всегда лишает нас почтения к нему, и только в истинно творческие, раздумчивые, созерцательные миги нашего бытия привычное и обычное снова обращивается чудом. Единственно в эти редкие часы углубленного созерцания мы благоговейно приемлем разумом ту магическую, облагораживающую силу, которой книга наполняет нашу жизнь и которая делает книгу столь необходимой для нас, что мы, дети двадцатого века, уже не мыслим свой внутренний мир без ее чудесного присутствия.

Редки, очень редки эти мгновения, но именно потому каждое из них долго, иногда годами живет в памяти. Так я, например, до сих пор точно помню день, место и час, когда мне до конца открылось, какой глубокой творческой связью связан наш личный, наш внутренний мир с миром книг, зримым и в то же время незримым. Я считаю себя вправе поведать об этой минуте прозрения и познания, не рискуя показаться нескромным, ибо при всем узколичном характере этой минуты значение ее выходит далеко за пределы моей случайной личности.

Мне было тогда лет двадцать шесть, я уже сам писал книги, то есть знал кое-что о таинственных превращениях туманной мечты, идеи, фантазии, знал о фазах, проходимых замыслом, прежде чем обратиться после ряда удивительных сгущений и сублимаций в тот крытый картоном прямоугольник, который мы называем книгой, в тот предмет, который продается и покупается, имеет цену, лежит за стеклом витрины, как безвольный товар, и все же хранит душу живую — каждый отдельный экземпляр, пусть и продажный, но принадлежащий самому себе — самому себе и кому-то другому, тому, кто с любопытством перелистывает страницы, и еще больше тому, кто читает, но окончательно лишь тому, кто не просто читает, а наслаждается чтением.

Короче, я сам уже познал некоторые тайны не передаваемого словами процесса переливания, когда твоя личная субстанция капля по капле переливается в чужие артерии, судьба в судьбу, чувство в чувство, мысль в мысль; но все волшебство, вся глубина, вся сила, вся суть действия печатного слова еще не открылась мне, я лишь смутно размышлял о ней. Открытие пришло ко мне в тот день и в тот час, о которых я и хочу рассказать.

Я плыл на пароходе, на итальянском пароходе по Средиземному морю, от Генуи до Неаполя, от Неаполя до Туниса, от Туниса до Алжира. Путешествие должно было занять несколько дней, а пароход шел почти пустой. Так получилось, что я часто разговаривал с одним молодым итальянцем из паровой команды. Он был кем-то вроде помощника стюарда, подметал каюты, драил палубу, словом, выполнял ту работу, которая по общечеловеческой табели о рангах считается черной.

Я с искренним удовольствием смотрел на цветущего, черноглазого, смуглого паренька, обнажавшего в улыбке великолепные зубы. А улыбался он часто, он любил свой певучий и гибкий язык и никогда не забывал дополнить музыку итальянской речи выразительной жестикомацией. Одаренный неза-

урядным мимическим талантом, он схватывал повадки любого человека и передразнивал их: как шамкает беззубый капитан, как вышагивает по палубе старый англичанин, выставив вперед левое плечо, как важно прогуливается после обеда кок, взглядом знатока окидывая животы пассажиров, сытых его стараниями.

Мне было очень забавно болтать с моим смуглым дикарем, ибо этот паренек с ясным лбом и татуировкой на руках, много лет, по его рассказам, пасший овец у себя на родине — на Липарских островах, отличался добродушной доверчивостью молодого звереныша. Он сразу почуял, что я к нему расположен и охотнее всего разговариваю именно с ним. Поэтому он без обиняков выложил мне решительно все, что он знал о себе, и не прошло и двух дней, как мы стали почти друзьями или товарищами.

И вдруг между нами воздвиглась незримая преграда. Мы стали на якорь в Неаполе, приняли на борт уголь, пассажиров, овощи и почту, словом, обычный пароходный рацион, и вышли в море. Уже гордый Позилип обратился в крохотный холмик, уже и облачка над Везувием завились колечками, словно легкий папиросный дымок, как вдруг он подошел ко мне, улыбаясь во весь рот, гордо показал мне измятое, только что полученное письмо и попросил меня прочесть это письмо ему.

Я не сразу его понял. Я решил, что Джованни получил письмо на иностранном языке, немецком или французском, письмо от девушки — такой парень не мог не нравиться девушкам — и хочет, чтобы я перевел ему на итальянский это нежное послание. Но письмо было написано по-итальянски. Так чего же он хочет? Чтобы я узнал, о чем ему пишут? Да нет же, возразил Джованни почти сердито, чтобы я прочел ему письмо, прочел вслух. И тут я все понял: этот красивый, умный, обладающий и врожденным тактом, и подлинной грацией юноша входил в те установленные статистикой семь или восемь процентов итальянской нации, которые не умеют читать.

Он был неграмотный! Я не мог припомнить, чтобы мне когда-нибудь случалось беседовать с представителем этого вымирающего в Европе племени. Джованни был первый неграмотный европеец, который мне встретился, и я, вероятно, посмотрел на него с искренним удивлением — уже не как на друга или товарища, а как на музейный экспонат. Письмо я ему, разумеется, прочел, письмо от какой-то швеи, не то Марии, не то Каролины, где было написано то, что пишут девушки таким парням в любой стране мира на любом языке. Он пристально следил за движением моих губ, и я заметил, как он силится запомнить каждое слово. На лбу у него даже обозначились морщины, так исказило его лицо напряженное внимание, усилие все точно запомнить. Я два раза прочел письмо, медленно, внятно; он впитывал каждое слово, глаза у него засияли, а рот заалел, как расцветшая красная роза. Но тут подошел один из офицеров, и мой Джованни исчез.

Вот и все, вся история. Но, собственно, прозрение началось для меня позже. Я лежал в шезлонге и любовался южной ночью. Мое удивительное открытие не давало мне покоя. Я впервые встретил неграмотного, и не кого-нибудь, а европейца, и притом, на мой взгляд, весьма неглупого, с которым я разговаривал, как с равным, и меня чрезвычайно занимала, даже мучила мысль о том, как может отражаться мир в этом недоступном для письменности мозгу.

Я пытался представить себе, что это значит — не уметь читать, я пытался вообразить себя на месте этого человека. Вот он берет газету — и ничего в ней не понимает. Вот он берет книгу и взвешивает ее на руке — чуть полегче, чем кусок дерева или железа, четырехугольная, пестрая ненужная вещь — и он снова откладывает ее, не зная, что с ней делать. Вот он останавливается перед книжным магазином — и все эти красивые, пестрые, желтые, зеленые, красные, белые прямоугольники с золотым тиснением на корешке для него все равно что бутафорские фрукты или запечатанные флаконы духов, не пропускающие запаха.

Вот при нем называют священные имена Гёте, Данте, Шелли, а они ничего не говорят его сердцу, для него это — звук пустой, бессмысленное сочетание слогов. Он не ведает, бедняга, сколько наслаждения внезапно дарит человеку одна-единственная строка, сверкнувшая, будто серебряный месяц из-за темных туч, он не ведает глубоких потрясений, когда в тебе начинается жить чужая, выдуманная судьба. Он замурован в самом себе, ибо не знает книги, он влачит тупое существование троглодита, и нельзя понять, как он, отторгнутый от мира, выносит эту жизнь и не задохнется от собственной скудости.

Как можно жить, не зная ничего иного, кроме того, что случайно увидел глаз или услышало ухо, как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг? Я все усерднее пытался представить себе положение не умеющего читать, отрезанного от духовного мира, я пытался искусственно воссоздать его образ жизни, как ученый по одной свае пытается реконструировать существование брахецефала или неандертальца. Но я не мог проникнуть в мозг такого человека, постичь склад мыслей европейца, который за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, как не может глухой постичь волшебную силу музыки по описаниям.

Так и не сумев проникнуть во внутренний мир неграмотного, я попытался облегчить себе задачу — вообразить без книг свою собственную жизнь. Для начала я попытался на какой-то срок исключить из своей жизни все, что я узнал посредством письменности, и прежде всего из книг. И с первых же шагов потерпел неудачу. Ибо то, что я привык сознавать как мое собственное «я», полностью распалось при первой же попытке изъять из него знания, опыт, дар проникновения в чужие чувства, чувство человеческой общности и собственного достоинства — словом, все то, что я приобрел благодаря книгам и образованию.

За каждым предметом, за каждым событием тянулись воспоминания и наблюдения, почерпнутые из книг, каждое отдельное слово вызывало в памяти бесконечную цепь ассоциа-

ций из прочитанного и выученного. Стоило мне, к примеру, вспомнить, что я еду в Алжир и Тунис, как вокруг слова «Алжир», даже помимо моей воли, с быстротой молнии, словно кристаллы, выростали сотни ассоциаций: Карфаген, культ Ваала, Саламбо, строки из Тита Ливия, повествующие о сражении под Замой, где встретились пунийцы и римляне, войска Сципиона и войска Ганнибала, — и та же самая сцена в драматическом фрагменте Грильпарцера; сюда же врывалось многоцветное полотно Делакруа и флоберовское описание природы; и то, что Сервантес был ранен именно при штурме Алжира войсками Карла V; и тысячи других подробностей по волшебству оживали, едва лишь я произносил вслух или даже про себя слова «Алжир» и «Тунис»; два тысячелетия войн, история средних веков — несть числа картинам, всплывающим в памяти; все, что ни выучил, все, что ни прочел за свою жизнь, послужило к волшебному обогащению одного случайно всплывшего слова.

И я понял, что милость или дар мыслить широко и свободно, со множеством разветвлений, что этот великолепный, единственно верный способ видеть мир не с одной, а со многих сторон дается в удел лишь тому, кто сверх собственного опыта впитал опыт многих стран, народов и времен, собранный и хранимый книгами, и я ужаснулся тому, каким ограниченным должен казаться мир человеку, лишенному книг. Но самой своей способностью все это продумать и так остро почувствовать, как убог бедный Джованни без высокой радости мировосприятия, этим неповторимым даром потрясаться чужими, случайными судьбами — не обязан ли я своей близости к книге? Ибо что делаем мы читая, как не живем жизнью чужих людей, смотрим на мир их глазами, мыслим их мозгом?

И одно это благодатное и одухотворенное мгновение наполнило меня горячей признательностью при мысли о неисчислимых мигах счастья, дарованных мне книгами; пример за примером всплывал из глубин памяти; они роились, словно звезды над моей головой, я вспоминал те случаи, которые исторгали мою жизнь из узости неведения, учили меня истин-



ным ценностям и посылали мне, маленькому мальчику, опыт и знания, во многом превосходившие мои тогда еще ничтожные физические силы. Именно потому — теперь я понял это — у ребенка сказочно ширилась душа, когда он читал жизнеописания Плутарха, о приключениях Мичмана Изи или о подвигах Кожаного чулка, ибо с ними в городскую квартиру врвался мир необузданных страстей и вместе с тем уносил меня из этих четырех стен; книги впервые показали мне беспредельность нашего мира и блаженство погружения в него.

Большую часть наших душевных движений, желание раздвинуть границы своего «я», лучшую часть нашего существования, всю эту священную жажду даровала нам соль книг, поуждающая нас снова и снова испытать свежих впечатлений. Я вспомнил знаменательные решения, принятые благодаря книгам, встречи с давно умершими писателями, порою более для меня важные, чем встреча с женщиной или другом, ночи любви, проведенные с книгами, когда забываешь о сне ради высокого блаженства; и чем больше я думал, тем больше приходил к убеждению, что наш духовный мир складывается, как из миллионов монад, из отдельных впечатлений, коих наименьшую часть составляет лично увиденное и пережитое, а всем прочим — основной массой — мы обязаны книгам, прочитанному, воспринятому, изученному.

Чудесно было понять это. Снова припомнились забытые мгновения счастья, пришедшие ко мне из книг; одно влекло за собой другое, и как при попытке сосчитать звезды на черном бархате неба все время, сбивая меня со счета, возникали новые, так и при попытке заглянуть в свою внутреннюю сферу я понял, что это наше звездное небо тоже озарено бесчисленным множеством огней и что мы, сподобленные радостей духовных, обладаем второй вселенной, которая в сиянии вращается вокруг нас под звуки таинственной музыки.

Никогда еще книги не были мне так близки, как в тот час, когда я не держал в руках ни одной, а только думал о них, но думал со всей признательностью прозревшей души. Благодаря

ничтожному случаю — встрече с неграмотным человеком, с несчастным евнухом духа, созданным таким же, как мы, но из-за этого единственного изъяна лишенным способности вторгаться, любя и созидая, в высший из миров, — я почувствовал всю магию книг, которая ежечасно открывает глубины вселенной каждому, кто способен прочесть их.

Но тот, кто однажды познал цену написанного и напечатанного, цену духовного общения посредством слова во всей ее неизмеримой глубине — способствовала ли этому познанию одна книга или вся совокупность их, — тот улыбнется сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих, даже умных людей. Время книг миновало, теперь слово принадлежит технике, сокрушаются они; граммофон, кинематограф, радио, как более искусные и удобные передатчики слова и мысли, уже вытесняют книгу, и скоро ее культурно-историческая миссия отойдет в прошлое.

Какой узкий взгляд, какая куцая мысль! Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, которое превзошло бы или хоть сравнялось с чудом, явленным нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого вещества, которое могло бы так потрясти мир; нет такой стали, такого железобетона, который превзошел бы долговечностью эту маленькую стопку покрытой печатными знаками бумаги. Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого света, который исходит порой от маленького томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном слове.

Нестареющая и несокрушимая, не подвластная времени, самая концентрированная сила, в самой насыщенной и многообразной форме — вот что такое книга; так ей ли бояться техники; разве не с помощью тех же книг техника совершенствуется и распространяется? Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. И чем тесней ты связан с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее чудес-

ной помощи твой собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь и проникаешь в мир во сто крат полней и глубже.

## ЭРНЕСТ РЕНАН

*К столетию со дня рождения  
27 февраля 1923 года*

На протяжении десятилетий этот свободный добрый гений светлой силой своего совершенного по форме слова бесспорно владел умами юношества Франции, элиты Европы, и это была кроткая власть. Ренан не провозглашал догм и, собственно, ни с одной из них не боролся, он обладал способностью высвечивать различия в языках и культурах не для того, чтобы сталкивать их друг с другом, а чтобы показать вечное единство духа, пронизывающего все формы невидимого Бога, которого каждая нация и каждое время представляют себе по-своему.

Его чистая, духовная и почти религиозная вера дала новое дыхание и активную жизнь самым скучным из всех наук, филологии и экзегезе\*; там, где другие видели лишь надписи, фрагменты древних рукописей, его взгляд провидца и поэта увидел горизонты, простирающиеся к вечному Востоку-человечества, к его колыбели. Перед этим могучим взором проходили народы, словно караваны, бредущие по песчаным просторам времени. Культуры и цивилизации росли, развивались, достигали расцвета и уходили в небытие, религии под бездонным небом поколений мерцали, дрожали многокрасочными миражами фантазии, и копошащееся человечество было для Ренана Человеком, единственным, удивительным существом, ранние, детские игры которого он тайно наблюдал, сны которого подглядывал; толковать эти

---

\* Экзегеза (греч.) — здесь: толкование библейских текстов. — *Примеч. пер.*

сны, понимать их все более и более глубоко — этой самой чистой своей страсти он остался верен на всю жизнь.

Ренан был большим педагогом, так как был большим художником, на его лекции о семитских языках, лекции на самую что ни на есть далекую нашему времени тему, стремились попасть писатели, ученые многих стран, все они хотели видеть эту могучую львиноподобную фигуру, эти мягкие губы, способные формировать французскую речь более совершенно, чем губы любого современника. И все, кто хоть однажды видел его, говорили, что встреча с ним оставила в их памяти неизгладимый след. Поколения и поколения, которые учились в его свете, которые росли в его тени, любили его, Мир почитал его.

И действительно, разве что только крушение мира способно было поколебать во Франции этот авторитет, поразить этого могучего защитника справедливости и наднационального единства. Нация, вступившая на путь насилия, должна прежде всего умертвить свою совесть, ибо ей, этой нации, не так опасен внешний враг, который, следуя гневу, может произвольно подстрекать к насилию, как человек разума в собственных рядах, взвешивающий, думающий, способный улаживать конфликты.

В подобные часы раздоров Ренан был помехой, даже появилось выражение «ренанизм». Во время войны в Париже была опубликована статья, патетически провозглашавшая: «La fin du Renanisme»\*. Автор статьи настаивал на том, что «ренанизм» следует удалить из духовной жизни нации, что надо покончить с «ренанизмом», с этой мягкотелой манерой философски, до мельчайших подробностей изучать предметы, объявлять евангелие справедливости даже тогда, когда национальные интересы находятся под угрозой. Сейчас не время пытаться понять врага, ибо каждое понимание ведет к прощению: сейчас следует объединить все силы ненависти, «слепой ненависти», которая не смотреть должна, а наносить удары. Справедливость, проявленная к врагу, вероятно, морально и

---

\* Конец ренанизму (фр.).

может считаться добродетелью, политически же это — преступление, как все, что ослабляет мощь, силу ненависти. Поэтому ренанизму уготован конец. Ренанизм — благородное, достойное уважения заблуждение, но именно — заблуждение, сбивающее с толку национальный, народный (мы говорим — популистский) дух.

Эти слова осуждения давно были безразличны Ренану, да и его творениям, укрытым в том мире, где слова разбиваются, словно ветер о стену. Он же, как и в 1871 году, когда против него, *dé courageur public*\* — слово «Defaitisten», пораженец, тогда еще не существовало, — бушевали такие же страсти, только посмеивался и вздыхал или вздыхал и посмеивался и вновь возвращался к своим книгам, чтобы в них — нисколько не удивляясь — еще раз найти давно открытую им истину: подобные часы безумия всегда посещали человечество.

Так, Осий и Амос\*\* с пеной у рта призывали все кары Божьи на Тир и Моав\*\*\* — пророки эти давно умерли и истлели, и города эти давно исчезли с лица земли, но вновь и вновь время от времени возникал этот пронзительный голос ненависти, хотя Иисус и пророки говорили слова любви. Бесконечной дорогой огня была эта ненависть и придорожные столбы на этой дороге — костры, и виселицы, и кресты, и всегда эта дорога вела в никуда.

Ренан посмеивался и вздыхал, старый мудрец, ибо ничто не могло удивить его, человека, который в любом событии видел лишь повторение уже когда-то бывшего, и каждая, казалось бы, новая фаза в действительности была отражением чего-то уже происшедшего в прошлом: он знал, что дух убить невозможно, но и глупость — также. Как всегда, в тяжелый час обращался он к своим книгам, раскрывал свои любимые фолианты, вечную Библию, доброжелательного Марка Авре-

---

\* Возмутителя спокойствия (фр.).

\*\* Осий и Амос — «малые» израильские пророки. — *Примеч. пер.*

\*\*\* Тир — финикийский город на побережье Средиземного моря. Моав — город на юге Иордании. — *Примеч. пер.*

лия, горького Екклезиаста, переносился в чистый мир размышлений, в свой Божий мир тишины, где между Добром и Справедливостью парит со свободными несвязанными крыльями умиротворенный дух.

\* \* \*

Он не верил ни в победу, ни в успех, он не верил никаким догмам, никакой философии и все же в глубине своей души был верующим человеком. Он был идеалистом без иллюзий, романтиком, защищающимся от всего непонятного, неясного, — в этом его величие и его трагедия. Столкнувшись с каким-нибудь духовным построением, философ препарировал новый материал, стремление к истине заставляло Ренана разбираться в мельчайших его подробностях, и при этом учебного ничто не мучило так, как это вечное нахождение его вне изучаемой веры. Всегда он отбивался от любой из них, тогда как чувства его стремились привязаться к каждой. Всегда он оставался вне каждой религии, всем близкий, все любя, хотя и прекрасно видел и понимал их слабые места, их недолговечность. Поэтому его идеал никогда не принимал застывшей формы, его вера никогда не была каким-то законченным образом: всю жизнь он находился в храме неизвестного Бога.

Правда, мир считал его антихристом религиозности, *Vlaspématieur Européen*\*, как в одной энциклике заклеил его папа Пий\*\*. В зависимости от своих взглядов критики уже за «Жизнь Иисуса» прославляли или презирали Ренана как человека, разрушающего идею непогрешимости Евангелия. Ничто не было более обидно Ренану, чем такое непонимание его работы.

В своей книге он хотел показать Иисуса не Богом, а самым человеческим человеком, как художник, он хотел создать книгу, в которой было бы выражено высочайшее преклонение

---

\* Европейским богохульником (фр.).

\*\* Здесь, вероятно, имеется в виду энциклика (обращение римского папы) христиан «С какой добросовестностью» (1864). — *Примеч. пер.*

перед земным бытием Иисуса, и ничто не было ему более далеким, чем пренебрежительное обсуждение христианской идеи, которой он был бесконечно благодарен. С ужасом видел он, как его любимое произведение становится пращой в руках воинствующих вольнодумцев, и отказался от парламентского мандата, предложенного ему из политической благодарности внезапно появившимися друзьями.

От восторженных манифестаций студентов, от шумихи, сопровождавшей политическую популярность, которой он никогда не искал, бежал он в Малую Азию\*, чтобы в тиши завершить историю апостолов. Ибо, давно отпав от веры, он все же любил своего великого противника, понуждавшего его враждовать со своей совестью ученого, любил в глубине души несравненно больше, чем устремившихся к нему со всех сторон своих шумных сторонников. *En réalité peu de personnes ont le droit de ne pas croire au christianisme\*\** — такими словами он отклонял всякие попытки легкомысленного материализма использовать его в качестве тарана для разрушения устоев церкви.

Шесть лет отчаянно боролся он с собой, чтобы, как однажды меланхолически сказал, понять прекрасно известное с самого начала Гаврошу, парижскому уличному мальчишке, а именно, что для того, чтобы получить возможность свободно думать в смысле несравненно более глубоком, чем позволяет это себе резонерствующее вольнодумствование, необходимо прежде всего задушить в себе чудовищную веру. Конечно, ни Библия, ни церковь святынями более для него не были, хотя он и любил их. На протяжении всей его жизни святой для него осталась борьба, которую он вел ради того, чтобы эта присущая ему любовь была свободной: он не желал выставлять ее напоказ, видеть ее запачканной поли-

---

\* В 1860 г. Ренан возглавил археологическую экспедицию в Финикию. — *Примеч. пер.*

\*\* В действительности лишь немногие имеют право не верить в христианство (*фр.*).

тикой: «Naphtoule elohim niphtalti» — эти слова из Библии он гордо записал в своей памяти. Они были девизом его жизни: «Я боролся с Богом».



Произведения Ренана о вере и неверии относятся к потрясающим документам мировой истории духа. С юношеских лет он готовился стать священником: родился в Трегье, старом монастырском городке, после ранней смерти отца-моряка перешел из городской школы в богословский интернат Исси, а из него вскоре, благодаря исключительным способностям, — в семинарию для священников Сен-Сульпис. Он находит здесь благожелательных учителей, больших ученых, под одеждой священнослужителей сохранивших познания и моральные силы невзыскательности, которые пробудили в нем страстное желание стать богословом.

Дни и ночи, не выходя на улицы Парижа, словно опасное море, окружающие древнее здание семинарии и тихий монастырский сад, занимается юноша, с присущим бретонцу упорством стремящийся к своей цели лобастый силач. Все хочет он знать, все изучить, и вот уже его учителя, знаменитые ученые, даже Ля Ир, крупный семитолог, не могут ему больше ничего дать: ему разрешают слушать курс в Коллеж де Франс в Шантмере.

С изумлением смотрят благочестивые учителя на этого молодого человека, сила веры которого радует их, рвение к наукам — приводит в восторг, лишь один среди них однажды в серьезной беседе с пылким учеником предостерегает его от опасности такой перегрузки. Только один педагог из многих понимает, что фанатизм, стремящийся проникнуть в сердце церкви, в сокровенную сущность веры, ведет к ереси.

Уже много лет Ренан выделяется своим знанием латинского и греческого языков. Теперь, чтобы проникнуть в глубины Священного писания, он изучает древнееврейский и все другие семитские языки, сирийский, арабский; для того чтобы фундаментально ознакомиться с трудами, комментирующи-



ми, толкующими Библию, он изучает немецкий. Каждый из этих языков дает ему бесконечно много: древнееврейский показывает величие иудейского духа, его поэтическое прошлое, немецкий учит фанатичному преклонению перед немецкой наукой. Это прежде всего относится к Гердеру\*, который своими глубокими идеями, творчески связывающими бесконечные временные пространства, открывает ему новый мир, в швабских теологах\*\* он видит смелое подтверждение своим мыслям, в филологах — непревзойденную основательность. Впервые в стенах, ограждающих его от мира, он чувствует живой, современный дух, прогресс наук.

Однако именно это соприкосновение с современным духом, произвольное «заражение» немецким протестантизмом подтачивает фундамент его религиозного и духовного мира. И вот, знакомый со всеми аргументами, сильный в древних языках, воспринимавший с раннего детства Священное писание как откровение Божие, он вдруг своим обостренным филологическим взором обнаруживает в Библии множество ошибок, небрежностей, компиляций, позднейших вставок.

Ученый, вооруженный всеми аргументами немецкой библеистики, филолог Ренан более не может не признавать того, что богослов Ренан не имеет права не видеть, например, то, что вторая часть Книги пророка Исаяи принадлежит не тому человеку, который написал первую ее часть, что сотни мест Библии противоречат друг другу, что во множестве случаев отчетливо видны интерполяции. Подобные сомнения, правда, большими богословами высказывались и прежде, так, Боссюэ, французский епископ, указывал как на чудо предвидения на то, что Кир был назван в Библии за две сотни лет до своего рождения. Но каждое новое открытие противоречий и ошибок вновь и вновь волнует сердце ученого, который чувствует,

---

\* Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, один из идеологов Просвещения, с 1775 г. — глава протестантской церкви в Веймаре. — *Примеч. пер.*

\*\* Здесь имеются в виду Бенгель (1687—1732) и Этингер (1702—1788) — оба склонные к апокалиптическим фантазиям. — *Примеч. пер.*

что, с каждым шагом приближаясь к точному исследованию, он отдаляется от веры.

Потрясенный, он задумывается. Что делать? Оставить науку, которую любит, или расстаться с духовным поприщем, которому с любовью посвятил себя? Напрасно ищет он компромиссное решение, и мы с волнением читаем в его письмах к другу, только что принявшему рукоположение в священники, что он, Ренан, еще правоверный бретонский католик, завидует немецким протестантам, которые имеют право свободно заниматься богословскими исследованиями и одновременно оставаться в своей церкви, в своей вере. Перед Ренаном возникает образ Гердера — советника консистории, он мог проповедовать в церкви и в то же время имел возможность свободно толковать библейские тексты как прекрасный миф.

Католическая же церковь, Ренан знает это, не терпит, чтобы тронули хотя бы один-единственный камень в ее чудовищном здании, венчающем мир, она не терпит никаких соглашений в вопросах веры, она неколебима, как скала, которой не страшны никакие штормы времени, но она и тверда, как скала. Человек может быть или верующим, или неверующим. Колеблющийся должен решить — да или нет.

Наконец, после месяцев безмолвных мучений, Ренан решает признаться своим глубоко почитаемым учителям, что отказывается от священнического сана. Неохотно отпускают ученые-богословы лучшего своего ученика, того, которого в мыслях считали светилом науки и которому уже сейчас предполагали дать кафедру в семинарии. Но они не препятствовали решению, принятому измученной совестью человека, у этих больших ученых было очень высокое, очень чистое понимание благородства духовного влечения их ученика, и иной из них, возможно, подобную борьбу с самим собой испытал ранее.

Ля Ир трогательно прощается с отступником, на возвращение которого внутренне надеется, другой преподаватель тайно дает ему на случай нужды деньги. В этих глубоко верующих людях девятнадцатого века живет также чистый дух Пор-Рояль, либерализм Герцена, отзвуки века гуманиз-

ма. Последний взгляд Ренана назад — взгляд благодарности; не как беглый монах, покидающий монастырь ради мирских наслаждений, не с протестантской ненавистью Лютера, а с тайным сожалением, с глубокой печалью в последний раз 6 октября 1845 года спускается он по лестнице Сен-Сулпис и выходит в незнакомый мир.



На следующий день утром он просыпается в маленьком пансионате. Рядом лежит сутана, которую он в последний раз надевал вчера, тревник, читать который более не имеет права. Никогда не был он таким одиноким. Ему известно бесконечно многое, он владеет всеми мертвыми языками, он — господин в духовном мире и в то же время ничего, абсолютно ничего не знает об окружающей его действительности, ему не знакомы ни город, ни время, в котором он живет, ему неизвестны ни современная литература, ни современные науки, даже о самых знаменитых литераторах, художниках, ученых своего времени он ничего не слышал. Их имена ему ничего не говорят, так же, впрочем, как названия улиц города, его театры или обычаи, нравы его жителей. Миром для него доныне были Библия и молитвы.

Случай дает ему хорошего наставника. В том же пансионате живет восемнадцатилетний студент-химик, Марсель Берто, которого последующие поколения будут почитать величайшим ученым Франции. Они подружились. Ренан, хотя и более старший, бесконечно многому научился у молодого товарища: тот ввел его в мир естественных наук, в биологию, Ренан стал изучать взаимосвязи этих наук с современностью. Нечто подобное было описано Бальзаком: случайная встреча Растиньяка и Вотрена в пансионе мадам Воке. Дружба их станет расти, чистое стремление к науке откроет им величие взаимосвязи явлений в природе, в истории человеческой культуры, расширит их кругозор: на протяжении полустолетия дружба эта будет крепнуть, становиться все возвышеннее.

И еще один человек неусыпно следит за этой одинокой

жизнью, руководит ею, поддерживает ее, сначала побуждая к занятиям издали, затем — рядом, вдохновляя в работе. Образ этого чудесного, незабываемого человека навечно запечатлела французская литература двумя высокохудожественными описаниями. Это — Генриетта Ренан, сестра Эрнеста Ренана. Она была примерно на десять лет старше брата и воспитала его, заменив ему рано умершую мать. Когда под тяжестью долгов семья распалась и маленький Эрнест попал в монастырскую школу, молодая красивая девушка уехала гувернанткой в далекий замок где-то в Польше. Долгие годы в бедных, поношенных платьях, среди чужих людей трудится она вдали от родины, чтобы заработать немного денег, ей надо было выплатить семейные долги, затем — помочь покинувшему монастырь брату получить образование. Жизнь Генриетты, как и жизнь Эрнеста, — подвиг: он жертвенно отдал себя научным исследованиям, она — брату.

Многие годы должна она провести на чужбине, но вот приходит время, брат ее становится знаменитым, уважаемым ученым, наконец он может освободить ее от подневольного труда. Он едет в Германию навстречу сестре и поражается, увидев ее: светлая, красивая девушка поблекла, собственная ее жизнь потеряна. У нее осталась только его жизнь. Она живет с ним в Париже, переписывает его труды, редко выезжает и счастлива уже этой новой близостью с ним.

Но вот приходит еще одно, более тяжелое испытание: Ренан решает жениться, ей предстоит отдать того, кому она беззаветно предана. Страдания ее настолько ужасны, что Ренан отказывается от брака. Но лишь одну ночь, один день длится этот тяжелый кризис. Она преодолевает себя: сама идет к избраннице брата, и вскоре они станут жить втроем, в одном доме. И когда позже Ренан поедет в Иерусалим, то сопровождать его будет не жена, а Генриетта.

На высотах Газира день за днем снимает она копии со страниц написанной там рукописи «Жизни Иисуса». Там она внезапно заболевает лихорадкой, организм, ослабленный выпавшими на ее долю лишениями, не выдерживает. Своей жиз-

нюю она заплатила за основное произведение Эрнеста Ренана, своей жизнью она оплатила все его творчество.

Там, в Амрите, — ее могила. Но памятник ей Ренан воздвиг своим посвящением удивительной книги — «Генриетта Ренан. Воспоминания для тех, кто ее знал». Многие, кому эта книга неизвестна, все же хорошо знают трогательный образ Генриетты: я не выдам тайну, если скажу, что прообразом Антуанетты в романе Роллана «Жан-Кристоф», столь близкой многим читателям, была Генриетта — великая, самоотверженная женщина, одухотворенная художником, эта рано угасшая жизнь продолжает жить в романе Ромена Роллана.

Так, подобно библейским образам — ангел справа, ангел слева, проходит юность Эрнеста Ренана. В немногие годы создает он «Аверроэс», «Граматику» и, наконец, своими книгами «Жизнь Иисуса» и «История апостолов» покрывает себя славой и вызывает больше шума, чем это нужно его философско-созерцательной натуре. Взамен утраченной веры он нашел новую — науку. «La science est une religion, elle a comme tous les choses religieuses une valeur de tous les jours et tous les instants»\*. По существу, для него мало что изменилось: на тот же мир он смотрит лишь из другого окна.



Его эрудиция была огромна, ничто не оставалось скрытым для этого деятельного духа, ничто не было чуждо ему. И все же Ренан никогда не был только лишь ученым: как дух его стремился к универсальности, внутренние силы непрерывно обращались к многообразию действий. Ренан видел мир как художник, часто даже как поэт, наблюдал его как ученый, аналитик, увязывал и сопоставлял свои наблюдения с увиденным другими — как историк; дух, этот ясный, светлый, мягкий, сострадательный дух, не подверженный влиянию каких-либо пристрастий, извлекал философскую сущность из

---

\* Наука — это религия, как все религиозные категории, она имеет значение на все дни, на все мгновения (*фр.*).

того, что для него было близким, но также из того, что, казалось бы, было далеким ему.

Из всех французов он был, вероятно, более близок к Гёте, причем Гёте преклонных лет, — со своей редкой чувственностью видения духовных категорий, со способностью по отдельным признакам, по единичному распознавать скрытые взаимосвязи. И как бы много Ренан, подобно своим ярым противникам, ни брал из книг, из текста Библии, всегда ему требовалось зрительное представление, нужны были эмоции, чтобы воспринятое им приобрело образность, краски.

Его книга «Жизнь Иисуса» была первым звеном в широко задуманной «Истории христианства»: тысячи книг прочел, изучил он, но не смог почерпнуть в них ни творческих сил, ни мужества, чтобы начать работу. Он едет в Финикию на археологические раскопки; впервые видит он ландшафты Палестины, базарные площади, заброшенные колодцы, растерянные толпы паломников, и перед глазами Ренана оживает древний мир. Еще там, в каком-то полуразрушенном доме начинает он свою великую научную работу, как другие — стихотворение. В Риме возникает перед ним грандиозное видение раннего христианства, которое он так удивительно представил в «Павле», в Палестине внутренним взором видит он в потрясающей законченности всю историю еврейского народа, которую затем изложит в своей замечательной книге.

Знания и наблюдения незаметно сливались в его работах воедино; поэтому, вместе с Якобом Буркхардтом, он стал первым историком целой культуры, первым историком общин, объединенных духовностью и верой. Его требовательный взгляд не считал возможным пренебречь чем бы то ни было земным; как истинный художник, каждый факт он воспринимал в его окружении, каждую деталь — возвышающейся над горизонтом времени и, одновременно, погруженной в него.

Но каким резцом обладал Ренан — художник слова, каким мастером языка он был! Французский язык Ренана, даже если сравнивать его с флорберовским, был самым чистым, самым благородным языком того времени. Его язык был вскормлен

классической латынью в монастырском затворничестве, под надзором великих проповедников; как сам Ренан в годы семинарии жил целомудренно, так и его французский язык не имел ничего общего ни с жаргоном улицы, ни с публичными домами литературы, это был не избитый язык, а язык при всей чувственности — кристально ясный, при всей духовности — легкий и непринужденный.

От Библии в нем была сочность и образность, от теологов — изящество и известная сдержанная учтивость, так присущая аристократическому духовенству: нечто удивительно негромкое, бесшумное чувствуется в его окрыленной прозе. Изредка ее спокойный ритм переходит в пафос, чаще же она лишь изображает, но такими ясными линиями, что пейзажи блистают словно при свете утренней зари.

Отдельные портреты, например, апостола Павла и, прежде всего, знаменитый портрет Марка Аврелия, так же значительны по художественной пластике, как характеристики обоих духовных миров, еврейского и греческого, данные Ренаном в «Истории израильского народа», значительны в философском плане.

Вероятно, наши современники в чем-то превзошли Ренана-ученого, Ренан же художник, человек, воскресивший древние культуры, и по сей день недосыгаем, и в наше время немного найдется работ, которые могли бы претендовать на классическую добротность иных его совершенных трудов.

Но никогда этот творческий дух не останавливался на чем-то одном: его государством была полнота, естественным ориентиром — разносторонность, многообразие. Столетия казались ему одним днем, цивилизация — кратким часом: его часы мира всегда отсчитывали столетия и бесконечность. Со времен Гёте, вероятно, ни один европеец духа, я говорил уже об этом, не имел перед своим взором такой перспективы, этого извечного чувства стихийного единения человечества с природой, этого чувства мирового духа — единственной творческой силы в бессмысленном волнении времени.

Он всегда смотрел вдаль, всегда интересовали его великие взаимосвязи: поэтому он легко смог не заметить близкое, самое близкое. Лето 1870 года он проводил в Скандинавии и был испуган вторжением в его духовный мир немецко-французской войны. После того как Ренан покинул церковь, эта братоубийственная распря двух так любимых им наций станет самым тяжелым часом в его жизни. Двадцать лет он славил перед своими французскими читателями Германию как форпост науки и исследований, годы и годы он был одержим политической идеей единения обоих этих народов с тем, чтобы они стали ядром Соединенных штатов Европы. И тут внезапно на горизонте возникла другая Германия, которую он своим взором, обращенным к духовной Германии, проглядел, немецкие полки, немецкие пушки и вот уже молодежь одной страны неистовствует, выступает, воюет против другой, братской ей.

Еще раз его вере наносится страшный удар; человек, который давно уже не верит в Бога своего детства, в этот час теряет веру в человечество, в разум своего времени. Все еще пытается он найти отличие Германии своих грез от вооруженной до зубов нации; так как немецкая армия уже победоносно вторгается в его страну, он, подобно Виктору Гюго, обращается с открытым письмом к своему другу, теологу Давиду Фридриху Штраусу. Германия, пишет он, не должна злоупотреблять победой. Ренан совершает ту же ошибку, что и идеалисты нашего времени, продолжает верить, что нация, опьяненная сивухой победы, способна прислушиваться к голосу разума; пушки делают каждый народ глухим к призывам гуманности.

Обращение Ренана напрасно. Давид Фридрих Штраус отвечает уклончиво, их дружба рушится вместе с рушащимся миром. Но, несмотря на то, что дом Ренана в Севре разгромлен, библиотека его ограблена, ученый не скажет ни одного враждебного слова. «*Je ne conseillerai pas la haine après avoir conseillé l'amour*»\*.

---

\* Я не буду звать к ненависти после того, как советовал любить (фр.).



И мировая война не смогла подавить в нем чувства справедливости.

Гонкуры в своих «Дневниках» описали Ренана того времени, пожалуй, с известной долей насмешки, но мне приведенный ими эпизод совсем не кажется смешным. Вновь собираются друзья, Бергло привез последние военные известия. Они неутешительны. И великий химик в порыве запальчивости раздражается тирадой. «Все потеряно! — восклицает он в отчаянии. — Нам ничего более не остается, как воспитывать новое поколение для мести». Тут вскакивает Ренан, красный от возмущения, и кричит: «Никогда — для мести! Пусть гибнет Франция, отчизна: над ней, выше нее государство разума, государство долга». Но все сидящие за столом гневно кричат: «Нет, нет ничего стоящего выше отчизны!» Ренан никак не может согласиться с этим, возбужденный, ходит он вокруг стола, размахивает своими короткими ручками, ссылается на Библию, на те места ее, в которых содержатся его мысли. Другие смеются или молча улыбаются. И он опять одинок, как в тот час, когда уходил в мир, спускаясь по ступеням монастырской лестницы, потерявший веру, оставляя людей, с которыми его связывало многое.

И вновь бежит он из пылающего мира в другой, в духовный мир, не знающий никаких государственных границ, братоубийства, в мир вечного единения с каждым, кому дано постигнуть взаимосвязь всего окружающего нас.



С того года, с того «*année terrible*»\*, Ренан все более и более отходит от общественной жизни, наблюдая за ней, сопереживая иному, но никогда не принимая активного участия в политике. «*Il ne faut pas voir de trop près les grands enfantements de l'humanité*»\*\* — на великие кризисы, страдания челове-

---

\* Ужасного года (*фр.*).

\*\* Не следует слишком близко смотреть на великие ребячества человечества (*фр.*).

ства нельзя смотреть со слишком близкого расстояния, при этом из-за жалости к отдельным любимым людям может быть потеряна перспектива, утрачено понимание общего.

Все бесстрастнее, все более взвешенным, спокойным становится созерцание мира стареющим мудрецом, меланхолический скепсис придает бесподобное очарование более поздним его сочинениям, особенно «Воспоминаниям о молодости». Ренан не верит более своему Богу, не верит и в человечность, он верит одному лишь невидимому духу истории, только слова братьев из далеких времен дарят ему светлую веру. Подобно Марку Аврелию, своему любимому учителю, который на берегу нашего Дуная ночью всматривался в огни костров диких племен, о которых он знал, что они разрушат его империю, культуру его мира, но, погруженный в размышления, не питает к ним злобы, так и Ренан смотрит едва ли не спокойно на раздираемое ненавистью, взрываемое страстями время.

И он тоже видит, что идут варвары, разрушители его духовного мира, надвигается американизм, панбеотизм\*, как он назвал господство бездуховности, ненависти и вражды. Но его созерцательность лишена враждебности, его взор историка воспринимает гибель Запада лишь как эпизод, длящийся большой отрезок времени, подобное уже было: он увидел в глубине веков и описал гибель сотни цивилизаций. Ему, великому разочарованному мудрецу, давно очевидна бессмысленность любой борьбы, любого сопротивления стихийной воле судьбы.

С мягкой, безропотной покорностью покоряется он судьбе мира. «Характерным призраком каждого большого европейца, — говорит он, утешая себя, — является то, что в какой-то час он отдает должное Эпикуру, и хотя работает, продолжает еще страстно творить, с отвращением относится к своей работе, и даже если и достигает успеха, все же спрашивает себя, стоило ли дело, которому он служил, принесенной жертвы».

---

\* Жителей Беотии, области в Древней Греции, считали неотесанными, невежественными людьми. — *Примеч. пер.*

Никакое дело не представляется ему стоящим того, чтобы страстно отдаться ему, только лишь наблюдение, созерцание, погружение в свои мысли никогда его не разочаровывает. Жизнь любит он лишь как наблюдение и размышление, а не как обладание чем-то, возможное лишь в чистом, духовном мире справедливости. Лишь там царит еще Дика\*, святая богиня, которой он служит всю свою жизнь.

Известно — что человек выигрывает в мудрости, то теряет в страстности. Зрелый, стареющий Ренан, подобно Гёте последних лет, полностью обратился к духовному: у него нет никаких притязаний на власть над временем или своим народом, ничего не желает он более, ничего не отвергает. Его большое, мягкое миролюбие освещает все окружающее его, словно осеннее солнце, не дающее тепла; никогда жемчужный блеск его прозы не достигал такого совершенства, как в последних произведениях, в «философских драмах», написанных для некоего невидимого театра, для «happy few»\*\*; в мягких парафразах этих драм варьируется сострадательное учение общечеловеческой справедливости. Правда, одно подобное учение сотворило зло, вдохновляя время страстей, ненависти и жестокости.

Но «ренанизм» — не догма, призывающая к оружию, он не терпит разглагольствований, он не желает, чтобы его носили в петлице, как знак отличия, чтобы его включали в партийные тексты. Он не предназначен для того, чтобы его тащили на улицу и трепали на митингах, он не растет на песчаной почве словопрений, на базарных мостовых, а только лишь на плодородной почве основательного образования. Он базируется на гуманизме духа и гуманизме сердца: его власть над людьми начинается лишь там, где кончается другая власть, жестокая власть оружия и кулаков.

Любой фанатизм, направленный против духа, обречен на неудачу: пусть националисты торжественно предсказывают

---

\* Дика — в греческой мифологии богиня воздающей и карающей справедливости. — *Примеч. пер.*

\*\* Для немногих счастливыхцев (*англ.*).

закат ренанизма, они не в состоянии разрушить то, что им не принадлежит. Эрнест Ренан сегодня, как и некогда, является частью французской, европейской, мировой совести, чье молчаливое, незыблемое бытие насмехается над опрометчивыми словами и одним лишь своим присутствием противостоит хаотически возбуждаемому натиску ненависти.

## ДАНТЕ

О нем не скажешь: его время прошло или пришло; его время было всегда, но никогда удары, возвещавшие его час, не совпадали с боем часов человечества. Уже шесть столетий не меньше двадцати «поколений людей говорящих» (по энергичному выражению греков) благоговейно славят его имя и взирают на каменный собор его поэмы, взирают снизу вверх, как бы из глубин в непостижимую, невыразимую высоту. И ныне, как и в тот день, когда она была вырезана на мраморе его гробницы, остается поэтической прикрасой, дружеским заблуждением надпись, сочиненная Джованни де Варджильо: «*Vulgo gratissimus auctor*» — «Поэт, любимый толпой», — ибо никогда, ни в одну эпоху Данте не принадлежал к числу гениев, чье воздействие распространяется широко и ощущается в жизни. Пусть широко гремит его слава, пусть высоко возносится она над сменой времен, он по-прежнему сегодня, как вчера, пребывает в своем величии одиноким и непознанным.

Едва героический изгнанник выковал для своего гнева и любви непреходящую форму, время содрогнулось от священных ударов его молота, Италия вся, от вершины до основания, от Альп до Сицилии, пробудилась от трубного гласа его суда; но ворота Флоренции были все так же безжалостно заперты для изгоя, для «*fuoguscito*». Тщетной осталась мечта о высочайшей награде — о лавровом венке, возложенном в *bel San-Giovanni*\*, на его «седые кудри, что были белокуры на

---

\* Прекрасном Сан-Джованни (*ит.*).

берегах Арно». Одна лишь слава, мраморная слава досталась ему на долю, но не мягко согревающая любовь.

После смерти он стал именем, молвой, легендой, но прямой и легкий доступ к сердцу мира нашли другие. Из отлитой им меди языка Петрарка чеканит мелкую монету сонетов и сорит ею по романским землям, получая в обмен любовь и страсть сотен влюбленных; Ариосто и Тассо, счастливые наследники, жнут там, где он в темноте прошелся своим плугом. Он стал Богом, а им досталась любовь людей.

Словно валун, одиноко высится он в потоке времени; напрасно комментаторы и исследователи пытаются на канатах конъектуры стянуть его вниз, сделать обозримым для всех и каждого — он по-прежнему высок и чужд, его нельзя ни сдвинуть с места, ни раздробить и измельчить. «*Altissimo poeta*»\*, поэт, на которого смотрят снизу вверх и который тем не менее остается слишком высоким, чтобы когда-нибудь целиком уместиться в сердце народа. Никогда не снисходит он до нашей земной повседневности, никому не открывает до конца своей тайны.

Вокруг него поднимаются и падают поколения — рокочущий прибой, а он — утес — стоит недвижно и смотрит поверх них, в бесконечность. Рушатся народы и государства — мелкая галька у его ног, но ни один камень в мраморной кладке его поэмы не сдвинулся с места. В искусстве нет ничего более прочного, чем четырнадцать тысяч стихов, составляющих его творение. Памятники, которые выросли — камень к камню — в ту же пору на той же земле, где выросла — стих к стиху — его поэма: белокаменный собор во Флоренции и Палаццо Веккио, — рухнут, картины Джотто и Чимабуэ, его друзей, потускнеют раньше, чем его собор разрушится, раньше, чем его музыка отзвучит. Чем глубже вырастает его поэма в ландшафт эпох, тем больше кажется она созданной самой природой и нерушимой, как утес, который неколебимо вздымается к вечному небу над преходящей землей. И все величественнее

---

\* Высочайший поэт (*ит.*).

представляется Данте глазам поколений, чьи замыслы становятся все мельче.

Его «Божественная комедия» не признает времени: она сама — воплощенное время, высеченная в камне мысль средневековья. словно готический собор, поэма пережила свою веру, вечная форма — некогда осуществленную в ней идею. Подобно крутому водоразделу, она раз и навсегда размежевала два великих потока — Средние века и Новое время, но, как всякая горная вершина, она одновременно и связывает две культуры, которые на первый взгляд разграничивает. С Данте кончается творческая теология — наука о христианском Боге и начинается гуманизм — наука о божественности земного. Поэтому Данте — великий зачинатель и в то же время великий завершитель.

Он выступает в смутное время, которое благодаря ему становится ясным. Свидетель величественного конца, он соединяет с ним великое начало. Когда он явился, католицизм сделал свое историческое дело: над европейским миром вознесся собор христианства. Церковь стала всемирной властью и всемирной наукой, ее опорные столбы — новая нравственность, новая философия, христианское учение, догма. Такие гиганты, как Блаженный Августин, Дунс Скот и Альберт Великий, дали христианскому миру то же, что Платон и Аристотель — античному: новую этику, новую философию.

Теперь собор возведен — от основания до конька крыши. Но всякое завершение уже дышит застоєм и смертью. Когда творческий подвиг окончен, приходят ремесленники, чтобы дополнить дело гениев: комментаторы, словно черви-древоточцы, вгрызаются в пандекты, теология, окостенев, вырождается в схоластику, наука о Боге — в школярское препирательство. Священный творческий огонь христианства гаснет, только в германских монастырях у великих мистиков он пылает еще, никем не видимый, и снова с треском выбивается из-под пепла догмы у революционеров от религии — еретиков и ересиархов, прежде чем ярко взметнуться в небо западного мира с наступлением Ренессанса и реформации.

И лишь он один, Данте, встает в этот сумеречный час оскудения и подводит итог: христианской науке он дарует миф, к окаменевшему уставу прибавляет воздвигнутую из камня поэму. В своем универсальном богословском творении он выводит на трехступенную, предназначенную для мистерий сцену все и вся: науку и политику, небо и землю, близь и даль, древность и современность, Олимп и преисподнюю, веру и суеверие, а посередине ставит самого себя, вечного человека. Он еще раз делает то, что сделали Гесиод и Пифагор, родоначальники нашего духа: он обнимает своей грезой мир, он создает новый, христианский миф о мире, он наполняет кровью образов созданную догматиками холодную, мертвую схему. Духовное он поднимает до чувственного, пергамент пандект и трактатов иллюминирует немеркнущими красками, диспуты возвышает до диалогов, слова которых не отзвучат никогда. Закон обретает для него плоть образа, голая доктрина превращается в пеструю аллегория, христианское учение о вечности само становится вечным благодаря его поэме.

Но для этой речи еще нет языка, и вот зачинатель снова обращается к прежде накопленным, но гибнущим богатствам. Языком теологии остается латынь, но это уже не латынь Цезаря и Тацита. В догмах и силлогизмах иссохли жизненные соки классического слога, язык римлян давно стал непригоден для связной речи. Латынь всегда была, по сути своей, языком непререкаемых велений, языком приказов и догм, непревзойденным, когда нужно было вырезать на камне скупую надпись и сжать законы тесными рамками формул, но недостаточно изобильным, мягким и гибким, чтобы вместить надмирные сферы Данте.

Отпрыск латыни — итальянский — еще не был рожден до появления его поэмы: разрозненный на диалекты, неприметно созревающий в народе, обращался он в стране, словно мелкая монета плохой чеканки. И за этот «volgare» — язык толпы, как презрительно именуют его ученые, — берется горячая, сильная рука Данте: в крепко сжимающей ладони поэта он плавится, под пальцами великого ваятеля придорожная глина стано-

вится твердой и прочной. И язык, так внезапно обретший форму, — это уже не итальянский язык Гвиничелли и Якопо да Лентино, не выдуманный на провансальский манер «*dolce stil nuovo*»\*: это новый итальянский, закаленный в горниле латыни, звонкий и чистый, как металл, такой, каким он никогда еще не был и никогда уже не будет.

И тут Данте явился в одно и то же время зачинателем и завершителем и мог с гордостью сказать о себе: «*L'acque che io prendo giammai non sie corse*» — «Никто не плавал в водах, где плыву я». После него итальянский язык расцветает дальше, в нем тьма отделяется от света, он ветвится на десятки звенящих, колеблемых и зыблемых веточек, становится светлой музыкой, но здесь его корни, округлые и твердые, как бронза, навеки вросшие в землю Италии. Не нация создала язык для Данте, он сам, создав язык, создал и нацию: на протяжении шести столетий единственным общим достоянием «новолатинского царства» остается только его пророческая поэма — «*il Libro*», «Книга».

Такое мужество, такая безграничная смелость во всем, за что бы он ни взялся, такая нестигаемая воля, «*l'animo che vince in ogni battaglia*»\*\*, выделяют Данте среди всех поэтов. Ни один из тех, кто жил до и после него, не обладал этой железной хваткой творца, с самого начала с невиданной силой заявляющего свою волю. Но с волей у него неразлучно и деяние: Петрарка славит его за то, что «*potere in lui era uguale al volere*»\*\*\*, и действительно, он явился из тех сфер, где, по его словам, «ладится все, что ни начнешь».

Взором такой стихийной мощи, которая была свойственна, может быть, еще только Шекспиру и Гёте, он охватывает мир, видит пространство и время как целое, видит все человеческое в единстве. Его горячий взор прочно соединяет тысячелетия. Временная граница между мистическим и чувственно-близ-

---

\* Сладостный новый стиль (*ит.*).

\*\* Дух, побеждающий в любом сражении (*ит.*).

\*\*\* Его силы и умение были равны его желаниям (*ит.*).



ким у него так же стерта, как у Шекспира и Гёте: ничто не отделяет мирмидонца Ахилла от пьяницы Фальстафа, завсегда лондонских кабаков; с той же смелостью, с какой Гёте поместил свою лейпцигскую Гретхен у ног Богоматери, Данте помещает свою бессмертную возлюбленную Беатриче Портинари рядом с библейской праmaterью Рахилью.

Самое личное переживание становится для него космическим событием, самый седой миф — насущной злобой дня. Монументальное видение Данте делает великим то, что касалось лишь его, словно мелкие мошки в прозрачном янтаре, его противники навеки заточены в поэтической материи его поэмы. Преходящее дышит вечностью, если его одухотворяет взгляд Данте.

Но еще больше возвышает этого способного объять мир гения его дар сохранять упорядоченность во всем, даже в грезах: ничто не предстает перед ним обособленным, отъединенным, все связано между собой в многоступенной иерархии. Природа для него не подобна потоку, как для Гёте, не хаотично многолика, как для Шекспира, в ней все прагматически предопределено:

Все в мире неизменный  
Связует строй; своим обличем он  
Подобье Бога придает вселенной\*.

Божественность природы заключается для Данте в ее стройности. И поэтому он делает в своей «Комедии» невероятную, небывалую в поэзии попытку привести весь мир к одной схеме, показать каждому человеку моральную ступень, на которой он стоит между небом и адом, подобно тому как каждое созвездие прочно занимает свое определенное место во вселенной.

Поэт становится судьей (на что ни Гёте, ни Шекспир никогда не осмеливались), на непогрешимых весах теологического правосудия взвешивает Данте — христианский мора-

---

\* «Рай», песнь I, стихи 103—106. Пер. М. Лозинского.

лист — проступки и заслуги. С величавым жестом судьбы мира, каким изобразил его Орканья на стене Сатра Сатто в Пизе, вступает Данте в свое творение, чтобы с фанатической беспощадностью отделить овец от козлиц в тысячелетнем человеческом стаде: мрачный предок мрачного Савонаролы, брат тех, кто отправлял на костер еретиков, закостеневший в формальной схоластике, он посылает людей самых благородных, с мирской точки зрения, в геенну огненную; сладострастно наслаждается он видом своих врагов, и прежде всего антихриста Бонифация, корчащихся в измышленных им муках. Закон для него выше милосердия, догма выше человечности: он, заперший Платона и Аристотеля в сумрак лимба, возносит в высочайшее небо любви кровавого епископа Марсельского, истребителя альбигойцев. Никогда состраданию не удастся смягчить его неподкупно суровый взор, никогда чувство не остановит руку железного судьи.

Поэтому нужно совершенно отбросить тот сентиментальный взгляд на Данте, который нашел выражение, например, в расплывчатых рисунках английских прерафаэлитов: томный юноша на берегу Арно мечтательно смотрит вслед прекрасной Беатриче. Данте, фанатик вины и искупления, — это готически застывшая фигура, суровый человек *du gènto*<sup>\*</sup>, полный микеланджеловского «*sacra ira*»<sup>\*\*</sup>, горящий ненавистью; это крестоносец, который, скорее, огнем и мечом разорит свою страну, чем допустит, чтобы она вышла из священного повиновения церкви. Один государь в земном царстве, одна церковь — в духовном, и непременно единство во вселенной, упорядоченность в мире — такова его политическая, его метафизическая идея. И, не сумев преодолеть сопротивление материала на земле, в «*vita activa*»<sup>\*\*\*</sup>, он придал этому материалу упорядоченность в «*vita contemplativa*»<sup>\*\*\*\*</sup>, в образах своей космической поэмы. В высочайшем единстве своей «Божест-

---

\* Тринадцатого века (*ит.*).

\*\* Священного гнева (*лат.*).

\*\*\* Действительная жизнь (*лат.*).

\*\*\*\* Созерцательная жизнь (*лат.*).

венной комедии» Данте один смог воплотить великую мечту средневековья о неземной теократии на земле, о государстве, которого не смогли создать ни для себя, ни для мира ни Гогенштауфены, ни папы.

Он — вечный противник анархии: анархии духа, который не хочет подчиняться догме, анархии государства, которое в себялюбивом неповиновении противится миропомазанному властелину мира, анархии чувств, которые бунтуют в жажде наслаждений, анархии формы, которая в поэтическом произведении не завершена, не подчинена всякого рода правилам — вплоть до правил числовой игры.

Догматик духа неизбежно является и поборником упорядоченности в поэзии. Но — неповторимое и невероятное свойство мужественного гения Данте — у него, единственного, грезы не костенеют, сжатые схемой, слово не становится бездушным под бременем понятия, ученый не парализует поэта, а окрыляет его для полета ввысь. Этот человек духа, этот богослов писал языком чувственно-осязаемым и сочным, как плоть, и в то же время твердым, как мрамор: никогда больше итальянский не достигал такой лапидарности и вместе с тем мелодичности. Правда, он стал потом более распутным, более причудливым, более изнеженным и женственным, он таял на языке, как перезрелый плод, но никогда больше он не достигал многообразия и напряженного ритма этой неразрывной цепи терцин, которые то тихо, то нежно звучат, словно челеста, то сурово и грозно звенят, как скрестившиеся мечи.

«Poeta scultore», брат Микеланджело, он высекает слова христианского закона на своих новых скрижалях Моисеевых: каждый шов зацементирован, каждый размер сбалансирован, и вся обширная, как мир, композиция упорядочена согласно таинственным правилам кабалистической игры чисел. К тому же вступает в свои права таинственный процесс отражения: каждое видение, каждая фигура, даже каждое слово имеют, в свою очередь, аллегорический смысл. Трехчленность композиции и сами терцины имеют в основе божественную троичность, подобно тому как церковь имеет в плане очертания креста.

Произведение Данте, как он сам объясняет в своем «Пире», и в частности и в целом «*polysensum plurium sensuum*», многозначно и таит множество смыслов. Тончайшая осязаемая поверхность всегда скрывает духовный, но по большей части теологический символ, зачастую темный, как сивиллины книги, и едва угадываемый; за обычным смыслом прячется более возвышенный, повсюду поэт, как сказал Гёте, выдавая свою собственную тайну, «находит средство с помощью противостоящих друг другу и друг друга отражающих образов открыть созерцающему некий сокровенный смысл».

В каждой из дантовских скульптур, так же как у греков, изображен человек, но имеется в виду Бог. Каждая строчка двойственна, двузначна, в ней есть зерно и есть оболочка, от которой его следует освободить. Закон гётевской природы — «и то и другое одновременно» — здесь недействителен. Возвышенный дуализм: величайший визионер средневековья — в то же время и величайший систематик, величайший ваятель выпуклого чеканного слова и он же — величайший мастер символа, двузначности.

Эта чувственно-духовная зашифрованность, эта двойственность замысла, одновременно художественного и теологического, с самого начала привела эмоциональное восприятие Дантовой поэмы к альтернативе: в «Божественной комедии» лишь отдельные, вырванные из целого куски можно читать, как читают стихи. Все в целом приходится изучать, вооружившись комментариями, приходится завоевывать оружием филологии, теологии, истории, приходится исследовать, разгадывать, трать, подобно ученым-дантологам, всю жизнь, чтобы проникнуть в нее.

Мир, заключенный в его поэме, и сама поэма, отделившись друг от друга с течением лет, сохранили неодинаковую жизненную силу. Имя Данте ныне, как прежде, являет пример поразительной непрерывности жизни; не то — его поэма, его «Комедия»: здесь временное, преходящее теснится рядом с вечным, умершее — с бессмертным, выветренный материал идей — с вечно живыми формами. В век просвещения Вольтер

зорким взглядом врага заметил и прямо указал на неискренность энтузиазма всех лжепочитателей Данте, с издевкой говоря в своем «Словаре»: «Итальянцы называют его божественным, но в таком случае он — неведомое божество. Его известность (sa reputation) будет распространяться все больше, потому что по-настоящему его никто не читает. Есть у него два десятка мест, которые каждый знает наизусть, и этого достаточно, чтобы избавить себя от труда читать остальное».

В этой злости человека, живущего только разумом, в этом инстинктивном противодействии ясного ума всему мистическому, религиозно-темному есть, конечно, большая доля истины: не прошло и десятилетия со дня смерти Данте, как он перестал быть просто чтением, а «Божественная комедия» сделалась предметом экзегезы. Еще и полстолетия не пролежала в Равенне могильная плита над гробом обретшего успокоение странника, а в Италии уже четыре университета занимаются толкованием его текста, «Комедию» объясняют, комментируют, штудируют и излагают, как Библию, как талмуд и коран, пока она сама не начинает казаться божественной книгой, священным писанием, «*sacro poema al quale ha porto mano cielo e terra*»\*.

Но таинственным образом одинаковая судьба постигает все священные книги: в смене поколений увядает именно то, что вливалось в них живое дыхание, — творческая вера, а то чувственно-мирское, что составляло их материю, оказывается более стойким, чем их дух, и продолжает жить как поэзия. Что по-настоящему осталось от Ветхого завета? Не Второзаконие — книга закона, окаменевший дух, но мифы и причудливые узоры легенд; нежные поэмы о Иове и Руфи долговечнее Моисеевых скрижалей и Соломонова храма. От грандиозного здания Рамааны дожили и сохранились в духовном мире нашего современника лишь немногие эпизоды о Савитри, от талмуда и корана — две-три вошедших в поговорку притчи, все прочее же — лишь бездушный иссохший пергамент, вели-

---

\* Священным творением, к которому приложили руку земля и небеса (*ит.*).

чавый прах, в котором роются археологи духа в поисках навек утраченных ценностей.

Так же и в книге Данте живет не теологическая двусмысленность, не католическая метафизика, но единственно то светское, что как бы насмехается над приговором поэта. Все пламя пригрезившегося ему ада не смогло уничтожить грешников Франческу и Уголино, в то время как возвышенные фигуры схоластов в самых высоких небесных кругах поблекли в нашем сознании.

Только Данте-поэт, а не Данте-судья затрагивает наше чувство, потому что мы никогда не сможем принудить себя духовно возвратиться в этот трехступенный мир, подчиниться этой превосходно выкованной железной схеме вины, греха и кары, никогда не преодолеем чувства смущенного удивления перед нравственной суровостью умершего мирового закона, полностью отрицающего свободу в природе, свободу воли. И мы никогда не должны заблуждаться насчет этого Атланта, который великолепным, полным силы жестом поддерживает на руках и вздымает над своим временем мертвую вселенную, мир, чуждый нашей жизни и нашему чувству.

Но пусть вчуже дивится разум, пусть остается холодным чувство, не затронутое этой омертвелой рукой, все равно нас потрясает этот величественнейший из средневековых соборов, мы не можем оторвать восхищенного взгляда от этого совершеннейшего произведения искусства, созданного западным миром. И безмерно наслаждение бродить вокруг него, поражаясь воплощенной в камень смелости его плана, возносящейся высоко в небо грузности его башен, мерно-округлому ритму его пропорций, незыблемым мраморным плитам его языка, всей его неповторимости. И только пройдя под крестовыми сводами его портика и вступив в мистический мир его нефов, в его духовное святая святых, мы почувствуем, как пронизывает нас холод столетий.

Да, творение Данте для нас — памятник искусства, окаменевшее героическое прошлое, прекрасный саркофаг христианского средневековья, величественный, как пирамиды, как

Парфенон и Нотр-Дам, где так же мертвая идея служит фундаментом вечному строению. Вокруг струится в хаотическом бурлении живая жизнь, волнуемая ветром новых иллюзий, новых слов; но он, Данте, этот собор, покоится в своем величии — застывшая мысль Бога на романской земле. Он высится в своей святости и покоится, как дано покоиться только совершенному: его бронзовый колокол отсчитывает не наши часы, стрелки на его башне отмеряют не наше время.

Он ничего не знает о нас: слишком глубоко внизу бродим мы под ним; и мы мало знаем о его последних словах: слишком высоко звучат они, обращенные только к небу. Годы разбиваются о его прочность, слова развеиваются рядом с его величием. И только вечность, самое непостижимое из понятий человечества, достойна сочетаться с ним в сравнении.

## О СТИХОТВОРЕНИЯХ ГЁТЕ

*Предисловие к книге избранных стихотворений Гёте, составленной мною и выпущенной издательством Филипп Реклам.*

Первое стихотворение Гёте выведено неуверенной рукой восьмилетнего ребенка на листке с поздравлением бабушке и дедушке. Последнее стихотворение Гёте написано рукой восьмидесятидвухлетнего старца за несколько сотен часов до смерти. И весь этот долгий век гениального патриарха пронизан дыханием поэзии, неизменно овевавшим его неутомимое чело. Не проходило и года, а в некоторые годы — и месяца, а в иные месяцы — и дня, чтобы этот человек заключенной в строфы речью сам не раскрывал и не утверждал свою сущность, как неповторимое чудо.

С первым взмахом пера берет начало лирическое творчество Гёте, чтобы оборваться лишь с последним вздохом; как постоянное выражение и истолкование его бытия оно столь же естественно присуще ему, как излучение — свету или рост — дереву. Создание стихов становится просто одной из сторон

органической жизни, необходимым проявлением стихийной основы гётевского существа; его творчество едва ли даже можно назвать «деятельностью», потому что понятие «деяния» неразрывно связано с понятием волевого импульса, в то время как у Гёте, который по натуре не мог не творить, поэтический ответ на каждый порыв чувств возникает с неизбежностью химической реакции.

Переход от прозаической речи к стихотворной, рифмованной происходит у него совершенно свободно: посредине письма, новеллы, драмы проза вдруг ускоряет темп, окрыленно переливаясь в раскованную форму высшей ритмической скванности. В ней возвышается всякая страсть, растворяется всякое чувство. На протяжении этой долгой жизни едва ли найдется сколько-нибудь серьезное событие, происшедшее с ним, с человеком, которое он, поэт, не претворил бы в стихи. Потому что в жизни Гёте так же редко, как стихи без переживания, встречается переживание, не отбросившее золотой тени стихов.

Иногда лирическая струя прерывается, встречает препоны (так тело человека знает минуты усталости), но никогда не иссыкает она совершенно. В поздние часы его жизни часто кажется, что этот бьющий из глубины души источник высох, занесен песком привычки. Но вдруг переживание, взрыв чувства исторгает новые потоки — из иных глубин; словно из новых, омоложенных жил вновь струятся стихи, лирическое слово не только возникает вновь, но и обретает — о чудо! — другую, еще неведомую мелодию. Потому что второе, третье, сотое рождение Гёте, каждая его метаморфоза изменяет и звучащую в нем музыку, и после каждого нового брожения в его крови гётевский стих, остывая и отстаиваясь, приобретает новый букет, всегда иной и всегда тот же самый, согласно его собственному изречению: «Так, любимые, делюсь я, чтобы стать единым снова».

Исключительна у поэта постоянная приподнятость, высокая напряженность лирического настроения: во всей мировой литературе не отыщешь ничего, что сравнилось бы по непре-



рывности и интенсивности с этим неистощимым потоком. Только другая потребность самого Гёте так же постоянна и так же заполняет каждый час его жизни: это страсть закреплять явления духовного мира в мыслях, подобно тому, как все пережитое он закреплял в поэтических формах. Причем и то и другое — проявления одной воли, воли претворить отпущенный срок жизни в образы и мысли, чтобы, создавая, умножить ее сумму. Подобно тому как райские реки берут начало в одних и тех же первоосновах бытия и доходят до края света, так и оба эти потока, вытекая из глубины внутреннего мира Гёте, проходят через все его земное существование: их связь, их одновременность и составляют тайну его исключительности.

Потому так величественны минуты, когда соединяются оба основных проявления его бытия, когда Гёте-поэт и Гёте-мыслитель сливаются, а разум и чувство полностью растворяются друг в друге. Если эти два мира соприкасаются своими высочайшими вершинами, то возникают полновесные, орфического звучания стихи, которые столь же принадлежат к совершеннейшим созданиям человеческой мысли, сколь и к царству лирики; если же эти миры соприкасаются глубочайшими корнями, из которых они оба вырастают, тогда и рождаются несравненные образцы слияния языка и мысли, «Фауст» или «Пандора», творения из творений, космические творения.

Такое всестороннее расширение лирической сферы требует, естественно, и поистине всеобъемлющего обилия выразительных средств лирики. Гёте, не выходя за пределы немецкого языка, создал их для себя и для нас, можно сказать, из ничего. Лирическая одежда, унаследованная им от предшественников, истрепалась, пропылилась, выцвела и, кроме того, была скроена так, что годилась лишь на немногие фасоны и фигуры поэтического искусства. В назидание и поучение стихотворцу все было точно определено: когда следует обращаться к тому или иному стилю, откуда он берет начало. Из романского мира немецкая поэзия позаимствовала сонет, из античного — гекзаметр и оду, у англичан она взяла балладу,

не прибавив ничего своего, кроме разве что рыхлой строфики народной песни.

Гёте, изливающийся обильным потоком, Гёте, для которого материя и форма, содержимое и сосуд, «зерно и оболочка» немислимы вне живого единства, быстро овладевает всеми этими формами, заполняет их, но не может вместить в них всего, что в избытке несет бьющий в нем источник. Ибо все ограниченное слишком тесно для его вечно изменчивого творчества, все замкнутое в себе слишком связывает напор его языковой мощи. И он нетерпеливо убегает от скованных форм, чтобы подняться к высшей свободе:

Строгий ритм порой пленяет ровным,  
Мерным ходом: рад ему поэт.  
Но как быстро он претит нам, словно  
Маска, за которой жизни нет.  
Даже дух покажется бескровным,  
Если, к новым формам устремлен,  
Мертвой формы не отбросит он.

Но и эта «новая форма» гётевского стиха не единична, не определена раз навсегда. В бурном стремлении к новому поэтическому языку он с любопытством пробует все формы всех времен и стран и не довольствуется ни одной из них. Он вновь и вновь заставляет звучать все регистры существующих размеров — от широкого дыхания гекзаметров до короткого, подпрыгивающего аллитерационного стиха, от узловатого, как дубинка, «книттельферза» Ганса Сакса до свободно льющегося гимна Пиндара, от персидских «макаматы» до китайских стихотворных афоризмов — такова его языковая мощь, всеобъемлющая, как божественная сила Пана.

Но мало того: не выходя за пределы немецкого стиха, он создает сотни новых форм, безмянных и неопределимых, закономерных и неповторимых, только ему обязанных своим существованием; их уверенная смелость осталась, в сущности, непревзойденной и для нашего поколения. Порой даже испытываешь страх: уж не исчерпались ли за те семьдесят лет,

что он творил, почти все возможности новых форм, новых вариаций на немецком языке? Ведь если он мало взял у предшественников, то и его преемники прибавили столь же мало существенного к найденным им средствам лирического выражения. Одинокó возвышается на грани эпох «до него» и «после него» этот необъятный подвиг создателя.

Но многообразие форм — еще недостаточный залог первенства в лирической поэзии. Мировое значение всякий поэт приобретает лишь благодаря тому, что сам присутствует в каждом своем создании, что все формы выражения, несмотря на их разнообразие, носят на себе (и это — настоящее чудо) печать единства и новизны и что все та же кровь, мистическим образом переливаясь дальше и дальше, из одного стиха в другой, пронизывает до последней жилки каждый стих поэта.

Этот знак царственного происхождения, знак духовного первородства и власти над языком так ясно запечатлен в каждом стихотворении Гёте, что, несмотря на непрерывную смену форм, мы в любом из них узнаем его, единственного, кто мог создать этот стих, и даже более того: подлинные знатоки, вглядываясь в каждое зерно этого лирического урожая, узнают год и час его созревания, а по какой-нибудь интонации, обороту речи, по каким-то неуловимым черточкам каждый может почти всегда определить, к какому периоду относится то или иное стихотворение — к юношеской ли поре, к классическим или к поздним годам. Как почерк Гёте и в десять и в восемьдесят лет во всех своих изменениях остается таким, что его, несмотря на все изменения, нельзя не узнать, как достаточно увидеть среди тысячи одно написанное поэтом слово, чтобы сказать: «Это — рука Гёте», — точно так же довольно одной страницы прозы, одного четверостишия, чтобы признать Гёте их творцом. Макрокосм — мир Гёте — виден в микрокосме самого короткого стихотворения.

И все же насколько легко узнать специфически гетевское в лирике Гёте, настолько же трудно (даже в объемистой книге) конкретно определить и замкнуть в четких понятиях то особое, что присуще ему одному. Идет ли речь о Гёльдерлине, о

Новалисе, о лирике Шиллера, не так трудно фиксировать и даже свести к метрическим и эстетическим формулам основные черты их стиля, потому что у них явно преобладает одна определенная языковая окраска, круг идей строго ограничен, а ритмика прочно связана с определенной формой темперамента.

Но когда речь заходит о лирике Гёте, всякая попытка найти формулу неизбежно приводит к пустословию или к метафорам. Потому что у него языковая окраска — это все цвета спектра, это льющийся непрерывным потоком, тысячекратно изменчивый свет, не отдельный луч, а само солнце, претворенное в слово (если уместен здесь поэтический образ). И его ритмика, в свою очередь, не подчиняется схеме хореев и дактилей, то есть раз навсегда данному строю; она живет, отражая жизнь его чувств, бьется в такт с его бурным или спокойным дыханием.

Поэтому и лирическое самовыражение Гёте до того естественно, что объяснением ему может служить только всеобъемлющее существо поэта, а не литературные нормы. Исследование своеобразия Гёте в поэзии всегда ведет за пределы вопросов языка — к стихийности его натуры, к чувственному характеру его мироощущения. Конечным объяснением его цельности всегда будет не искусство — Оно, но лишь то творческое, неделимое, пребывающее неизменным во всех метаморфозах, о чем мы говорим: Он.

Однако постижению этого «таинственного, но зримого» единства гётевского «я» больше всего препятствует, как это ни парадоксально, обилие его проявлений. Трудно расчлнить бесконечность, объять необозримое, и если столько немцев все еще не нашли доступа в мир Гёте, не освоились в нем, то виновата тут только многоликость поэта. Ибо нужна, оказывается, целая жизнь, чтобы охватить взглядом его жизнь, нужно всецело посвятить себя его изучению, чтобы понять его: ведь одни лишь естественнонаучные сочинения Гёте составляют целый мир, а шестьдесят томов его писем — это целая энциклопедия. И даже его лирика — больше тысячи

стихотворений — за своим многообразием прячет от непосвященного взгляда связующее ее единство. И поэтому более чем понятно желание произвести отбор, сократить это огромное множество, чтобы сделать его обозримым.

Но вместе с тем какие высокие требования предъявляет эта задача — отобрать из лирического мира Гёте самые значительные стихи — к человеку, который осмелится в одиночку взяться за такой отбор! Мера его ответственности может уменьшить лишь скромное признание, что при составлении он не принимал высокомерно за единственный критерий ценности свое чутье, но что в этом деле им — помимо его сознания — руководил еще и дух его поколения. Потому что и образ Гёте и его творчество — не будем скрывать от себя этот факт — предстают в новом обличье каждому поколению, а внутри каждого поколения каждый возраст видит его по-новому.

Цепь духовных метаморфоз, имя которой — Гёте, лишь по видимости оборвалась 22 марта 1832 года; в действительности и его образ и его влияние по-прежнему непрерывно изменяются с каждой эпохой и внутри каждой эпохи. Гёте не стал еще окаменевшим понятием, мумией из историко-литературного музея; каждому поколению он является в новом свете и в новом виде всякому, кто вновь примется за отбор. Не будем выходить за пределы его лирики: до чего изменилась хотя бы оценка «Западно-восточного дивана», с какой силой действует на наши чувства магическое самообнажение стареющего поэта в той самой книге, которую и современники, и весь девятнадцатый век только прощали ему, как баловство, забавный маскарад! И с другой стороны, как упал в наших глазах Гёте — автор баллад (в пору близости с Шиллером) или некоторых стихотворений в народном духе (может быть, мы слишком часто слышали, как их барабанят без смысла и толка?). Гёте — олимпиец из школьного учебника, общедоступный классик в духе той античности, которая уже непонятна для нас после Гёльдерлина и Ницше, — этот слишком легко постижимый образ все больше вытесняется величественным образом орфика, творца таинственных песен и поистине космического ми-

росозерцания. И потому отбор, сделанный в двадцатом веке, независимо от любой индивидуальной оценки будет иным, чем все «избранные сочинения» и «антологии» девятнадцатого столетия.

Только изначальный критерий остался, как кажется, все тем же, и рука отбирающего словно бы само собой действует в соответствии с ним: сегодня, как и прежде, нужно стараться среди этого изобилия сначала отделить от случайного, более слабого все сохраняющее силу лирического воздействия и непреходящую ценность.

Нетрудная работа на первый взгляд: представляется, будто вполне достаточно устранить стихи, обязанные своим появлением требованиям двора или долгу вежливости, затем все созданное в случайной игре, когда материя стихотворной речи продолжает сама по себе производить строфы и рифмы, как ученик чародея в отсутствие учителя — творческого начала. Однако перед составителем вскоре встала неожиданная трудность, новый вопрос, который нужно было решать по-новому, отступая от первоначального принципа: в этом процессе разделения и очищения отбирающее чутье часто наталкивается на стихи, которые протестуют, когда пытаешься исключить их по причинам чисто эстетическим, и предъявляют притязания на то, чтобы остаться и быть отобранными по особому праву, независимо от их художественной значимости.

И вскоре я заметил, что в искусстве, как и в жизни, есть вещи, которым дает законное право на существование наша давняя привязанность, есть стихи, дорогие нам не своей ценностью, но как *pretium affectionis* целой нации, — тот предмет любви, от которого чувство откажется так же неохотно, как от привычной, пусть даже малоценной, но освященной долгим почитанием безделушки. Что делать, к примеру, со стихотворениями вроде «Дикой розочки»? Какое решение принять? Если рассматривать эту вещь саму по себе, она покажется нашему современному чувству слишком наивной и незначительной, да к тому же и филологи учат нас, что не следует приписывать ее Гёте, что в лучшем случае ее можно ценить

лишь как обработку давно известной народной песни. Если строго следовать нашему критерию, ее нужно отбросить; но как исключить стихотворение, над которым мы впервые увидели в школьной хрестоматии имя Гёте, стихотворение, мелодия которого витала на наших детских губах и которое при первом воспоминании пробуждается в нас слово за словом?

Или другой пример: конечно, не так уж значительны эти скорее шуточные, чем лирические строки «Моя осанка — от отца» (всякий невольно продолжит их дальше; кому они не знакомы?); судья, стоящий на страже строгой эстетики, должен был бы при тщательном отборе устранить их. И все же как можно вырвать из «большой исповеди» этот листок, на котором одним росчерком незабываемо остро зарисованы исток и сущность духовного и физического облика поэта?

Попадались и другие стихи, сами по себе недостаточно яркие, но сияющие отраженным светом жизненных образов и ситуаций: таковы многие стихотворения к Шарлотте фон Штейн, к Лили и Фридерике. Пусть это скорее листки писем, чем стихи, скорее вздохи и приветы, чем произведения искусства, но тем не менее они неустранимы из общей биографической картины.

Так, мне скоро стало ясно: чисто эстетическое суждение разорвало бы нечто неразрывное, проникнутое живым трепетом чувства, а выбор, основанный только на художественной ценности, беспощадно разрознил бы лирику и жизнь, повод и излияние, творчество и биографию именно того поэта, чью удивительно органичную многогранную человеческую ценность мы воспринимаем как произведение искусства не в меньшей степени, чем само искусство. При нашем великодушном отборе мы неоднократно предпочитали соображениям стиля иной критерий; в его основу положено то, что до сих пор воспринимается нами как самая высокая организация из всех, которые когда-либо были присущи человеческому существу, — жизнь Гёте как таинство творчества.

Не только отбор, но и порядок стихов был продиктован тем решительным убеждением, что жизнь и творчество Гёте пред-

ставляют собой неразрывное целое: мы приняли хронологическую последовательность, благодаря которой стихи выстраиваются в естественном, то есть временном, порядке по мере их возникновения (при этом мы опирались на превосходный труд Ганса Альберта Грэфа). Правда, на первый взгляд такое подразделение противоречит высшему авторитету — авторитету самого Гете, который в последнем прижизненном издании разместил весь материал лирики исходя из метрического признака и при этом сопроводил лаконичным эпиграфом заголовков каждого раздела («Природа», «Искусство», «Сонеты», «Приближаясь к античным формам», «Бог и вселенная»). Стихи тщательно связаны в букеты, подобранные по духовной расцветке, по разновидностям метрической классификации, огромное лирическое царство разъято на отдельные провинции души и чувств.

В нашем издании мы пытались вновь развязать искусственно составленные букеты и рассадить стихотворения туда, где они родились и выросли во времени, в соответствии со словами Гёте, сказанными Эккерману: «Все мои стихи — на случай, они вызваны к жизни обстоятельствами, и действительность — их почва и основа». Благодаря хронологической последовательности каждое стихотворение вновь пересаживается на эту почву (здесь мы разумеем и повод к его написанию, и все конкретные временные связи). Стихи объединяются не по их вечным, вневременным признакам: в естественной связи к юношеским стихам неразрывно примыкают стихи зрелых лет, а к ним, в свою очередь, — великолепные отвлеченные аллегории, созданные в старости.

Только так, по-моему, можно сделать обозримым этот могучий лирический поток — от родника, где он берет начало, до мощного устья, где он впадает в океан бесконечности; только в этих непрерывно текущих струях неискаженно отражаются пейзажи и времена года, люди и события — все, что побуждало поэта создавать стихи. Не случайно этот сборник открывается бурными юношескими строфами, в которых молот его сердца дробит окаменелые формы немецкой лирики; не случайно



кончается он таинственным воспарением «Chori mistici» — словами, с которыми старец выпустил из рук «Фауста» — «труд своей жизни», — а с ним и жизнь, чтобы они вознеслись в бесконечность.

Между этими двумя пределами протекает все его земное существование: бурление и остывание крови, ритмическое пробуждение жизни в стихе и кристаллизация стиха в мраморно-строгих формах, и рвущееся вперед вдохновение, которое постепенно превращается в рассудительную созерцательность (возвышенная метаморфоза, вечная и общечеловеческая, но пережитая здесь одним человеком с особой наглядностью). В таком виде — как отражение судьбы — лирика Гёте представляется уже не аккомпанементом, подцвечивающим отдельные события его жизни, а симфоническим претворением всей полноты его существования, музыкой, зазвучавшей впервые в груди одного смертного и увековеченной для нас бессмертной магией искусства.

## СЕНТ-БЕВ

Великий критик — явление нечастое, ибо многообразие требований, к нему предъявляемых, подразумевает соответственное многообразие способностей, причем способности эти, порой весьма противоречивые, должны быть отмерены таким образом, чтобы усиливаться во взаимодействии. В идеальном критике должны быть заложены приметы, предпосылки, ростки всего того, что присуще каждому художественному произведению и каждому художнику; однако же он не смеет перевоплощаться до конца и без остатка, как перевоплощается художник: он должен быть сразу по ту и по эту сторону, в себе и в другом.

Он должен совмещать различнейшие свойства — понимание вневременного и чувство времени, умение в равной мере воспринимать и относительность момента, и абсолютность вечных ценностей, должен обладать живым воображением, дабы проникнуться духом прошлого, и волшебным даром

предчувствия, дабы провидеть будущее. Он сам должен быть художником, но лишь до известной степени: ровно настолько, чтобы узнать тайны ремесла, муки творчества, благоговейный трепет перед образным воплощением и затем в своей собственной сфере, сфере продуманного воссоздания достигнуть законченной и совершенной формы.

И одновременно, во имя высшей свободы суждения, ему должна быть заказана вдохновенная узость художника, его своенравие и подчинение мысли одному творческому воображению. Он должен целиком отдавать себя, как отдает себя художник, и все же сохранять способность к вечной перемене, подобно актеру, который воссоздает кем-то созданные образы, постоянно меняясь от образа к образу и тем не менее оставаясь самим собой, в силу своеобразия таланта, благодаря которому он переходит из одной заранее отлитой формы в другую.

Уподобляясь художнику, он должен в той же мере походить и на другого своего брата по духу, на ученого — кропотливого собирателя фактов, добросовестного сопоставителя; ему доверены обе первоосновы познания: он должен уметь чувствовать, угадывать чутьем и уметь объяснять тайну искусства, как объясняет ученый столь же таинственные явления живой природы. Всегда, во всех случаях он должен проявлять двойные свойства — восторг и спокойное суждение, любовь и беспристрастие, артистичность и научное мышление, смирение перед созданным и приговор над ним. Искусство критика в том и состоит, чтобы привести это видимое несогласие к постоянно добываемой с бою гармонии, в завершенном виде оно во все эпохи такая же редкость, как само великое искусство.

Из таких выдающихся критиков новейшего времени, коих труды стали произведением искусства, Сент-Бев представляется наиболее значительным, как ни мало симпатична его личность с точки зрения человеческой морали. Пробуя себя в полярно противоположных направлениях, он выходил за пределы своего мира: как писатель он пробовал свои силы в стихах, в романе, как ученый, как исследователь психологии творчества создал большой исторический труд «Пор-Рояль».

Но центром тяжести для него неизменно оставалась критика: свыше тридцати лет, можно сказать, каждодневно занимался он ею, достиг в ней высокого мастерства, сделался в ней авторитетом.

Именно профессионализм был его силой, именно упорству и добросовестности этих тридцати лет, а отнюдь не милостям природы обязан был он своим величием; из различных элементов, в непрерывной борьбе и постоянном совершенствовании развился жанр, который до сего времени остается для нас непревзойденным образцом, — художественное эссе, придавший устойчивую форму, образное воплощение опыту, почерпнутому в случайном и злободневном; с его развитием оценка стала самостоятельной ценностью, а критика — искусством.

Возвыситься над случайным поводом, возвеличить его путем широкого обобщения было дотоле привилегией только писателя; теперь к произведению писательского искусства присоединился родственный жанр, жанр воспроизведения, критика, которая благодаря тщательной отделке и гармоническому построению стала вровень со своим предметом, с художественным творчеством. Подобно тому как эстетические взгляды античного мира находили наиболее полное выражение в диалогах, восемнадцатый век, век Гримма, Вольтера и Лессинга, — в эпистолярном мастерстве, так и новейшее время создало наиболее для себя характерное средство передачи эстетических оценок — художественный очерк, литературный портрет, эссе.

Внешне жизнь Сент-Бева ничем не примечательна — это скорее карьера, нежели судьба. Родился он в 1804 году в Булони, в провинциальной буржуазной семье, подростком был отправлен в Париж, окончил классическую гимназию, где отличился в изучении древних языков, поступил в университет. В юности его, как и всех, одолевали великие замыслы; тетрадь его была полна стихов, а сердце — честолюбивых планов; но у него не было друзей, чтобы подбодрить его, и не было приятной располагающей внешности, которая облегчила бы ему общение с людьми; поэтому он искал дорогу неуверен-

но, ощупью, изучал философию, естественные науки и, наконец, остановил свой выбор на медицине, как ни противоречил этот выбор чувствительным меланхолическим стихам в потаенной тетради.

Но тут явился толчок извне и заставил Сент-Бева избрать совсем другой, неожиданный и, быть может, даже нежеланный путь. Несколько молодых людей основали литературно-политическую газету «Глобус», которая вскоре получила весьма широкое распространение, студента-медика Сент-Бева ввел туда его прежний учитель Дюбуа. Сперва новичку поручали короткие заметки и рефераты, затем дозволили писать статьи, а вскоре уже начали просить об этом; по-прежнему числясь питомцем Сорбонны, Сент-Бев становится в узком кругу признанной критической величиной, а когда он впервые выступает в защиту Виктора Гюго, это не только вызывает переполох в литературном курятнике Парижа, но и побуждает одного увенчанного славой читателя (о внимании которого автор и не подозревает и который, в свою очередь, даже не знает имени Сент-Бева) с высоты своего Олимпа благосклонно отметить появление статьи и, хвалебно отзываясь о Викторе Гюго, сказать в беседе с Эккерманом (4 января 1827 года) — ибо читатель этот не кто иной, как Гёте: «Теперь он победил, раз «Глобус» на его стороне».

Двадцати трех лет от роду желторотый птенец Сент-Бев уже олицетворяет «Глобус» в глазах литературного мира и даже в глазах Гёте, он уже сила, будущий непререкаемый авторитет, и потому различные группировки стараются перетянуть его к себе. Он свой человек у романтиков, он вхож к Виктору Гюго, он поэт среди поэтов, и лишь несколько лет спустя догадывается, что друзья почитают его отнюдь не как стихотворца, а как критика.

С черного хода вошел молодой студент и непризнанный поэт в литературу, но зато обосновался там прочно, ибо с того дня он уже не уходил из литературы, где неустанным трудом, любовью к искусству и незаурядными способностями подтвердил подлинность своего раннего призвания. Несмотря на круше-

ние надежд, которое он потерпел как поэт, несмотря на усилия, которые он затрачивает на преодоление узости как ученый, для Парижа, для мира Сент-Бев остается великим критиком и в конце концов примиряется с этим высоким званием.

О внешней стороне его жизни много не расскажешь: трижды или четырежды он меняет пост, откуда самодержавно правит французской литературой, он покидает «Глобус» для «Конститусьонель», а «Конститусьонель» — для «Монитера», он профессор Льежского университета, затем — Сорбонны и, наконец, — член Академии; отличия так и сыплются на него, принцессы наносят ему визиты, писатели заискивают перед ним. Но жизнь его от этого не меняется: все так же по одной статье в неделю, из коей он шесть дней кует и шлифует, а на седьмой передается заслуженному отдыху. И еще одна удача выпала на его долю: он умер в 1869-м, за год до 1870-го, и тем самым избежал необходимости перейти из лагеря убежденных бонапартистов в лагерь республиканцев, — на своем веку он уже трижды проделывал подобные эволюции.

Так банальна и незатейлива эта жизнь с внешней стороны; внутренняя сторона куда сложнее и таинственнее.

В минуты тщеславные, когда интеллект, обычно столь зеркально ясный, ослепляла самоуверенность, Сент-Бев грезил об участии великого поэта, быть может, даже мнил себя таковым (хотя ни разу не высказал этого вслух). Но он не был великим поэтом да едва ли был и посредственным. Его стихи, его романы, если прибегнуть к термину из родственного искусства, являют собой образец капельмейстерской музыки; ровно на три необходимых пяди над уровнем дилетантизма, построенные аккуратно и со вкусом, эмоциональные, по форме это классика (или, вернее, классицизм), они хорошо отшлифованы, хорошо написаны, порой даже слишком хорошо, и все-таки они мертвы, словно поддельный жемчуг: он тоже круглый и гладкий, поблескивает как положено, точь-в-точь настоящий, только нет в нем того таинственного мерцания изнутри, того волшебного огня, который зажжен морскими глубинами.

Произведения Сент-Бева нельзя назвать безжизненными, они — что нередко встречается у дилетантов и писателей второго ранга — полны личных признаний, сродни исповеди; его роман «Сладострастие» — это сентиментальная автобиография в стиле Вертера, Рене и Обермана, его «Книга любви» — это поэтическая летопись страсти, но всем им недостает того, что Гёте называл *Incommensurable*, недостает демонической тьмы и трижды возгорающегося огня. Пламя вспыхивает раз за разом и застывает в слишком трезвой, кристально четкой интеллектуальности; эти стихи, эти признания не излучают тепла, и ныне, полвека спустя, они хоть и не отжили свое, но уже поблекли — пересохшие документы, история литературы, огонь на куске холста.

Сент-Бев, сохранивший при всем тщеславии полную ясность взгляда, невзирая на мнимые успехи, и сам чувствовал недейственность, внутреннее бессилие своих поэтических опытов, поэтому критика стала для него желанным прибежищем. Подобно множеству поэтов-неудачников, он стремится обратить изъяны в преимущество и приписывает свое вынужденное отречение эстетическим соображениям. Он говорит: «Критика — это второе обличие и неизбежная вторая фаза для большинства явлений духовной жизни. В юности она таится под покровом искусства, поэзии... Лишь когда поэзия немного отстоялась и начинает испаряться, сквозь нее выступает этот второй план; со всех сторон, во всех видах вторгается критика в наше дарование. В конечном счете все наши выдающиеся и все неосознанные качества, все милые нашему сердцу успехи, все лучше понятые теперь неудачи служат к ее обогащению».

Но это кроткое самоотречение не было у Сент-Бева до конца искренним, личный неуспех навсегда остался той каплей желчи, которая то и дело стекала с его пера, когда он писал о каком-нибудь современном ему великом писателе. Жившая в нем обида, плохо скрытая зависть не давали ему простить другим, что они вольны в своем творчестве, тогда как он прикован к уже кем-то созданному; это объясняет, почему он (и многие после него) с недоброжелательностью писателя-неу-

дачника ополчался на все нетленное, великое и свободное, прежде всего на Виктора Гюго, по отношению к которому он из чисто личных побуждений вел себя подло и недостойно, на Бальзака, перед которым он опустил свою критическую рапиру только в час смерти великого писателя, когда тот уже не мог быть опасен, на всех, кто успешно творил подле него. Ницше уловил эту мелочную ненависть и метким словом пригвоздил Сент-Бева к стене:

«Ничего от мужчины, всякий поистине мужской дух наполняет его неизменной злобой. Он суетится, любопытствует, скушает, выведывает — если вдуматься, это существо женского пола, мстительное и похотливое, как женщина».

И действительно, в своих трудах Сент-Бев уклоняется от встреч с гениальными мужами, зато женщинам-современницам — будь то Деборд-Вальмор, мадам де Сталь или Жорж Санд — он не отказывает в признании, на которое был так скуп, когда вел речь о Бальзаке или о Стендале.

С той же нежностью, можно сказать, проникновенно рисовал он великие разочарованные умы, созерцательных философов, людей смирившихся, утонченных скептиков от культуры, таких, как Шамфор, Дидро, Вовенарг и даже Паскаль; для них он не жалел восторженных похвал, ибо они не задевали глубоко скрытый нерв его жизни, его тайную обиду, его рану, которую лишь медленно врачевало вынужденное самоотречение: они не были его счастливыми соперниками.

В глубине души Сент-Бев всегда ненавидел великих писателей инстинктивной ненавистью пустоцвета, ненавидел именно потому, что умом должен был любить их и втайне мечтал быть одним из них.

Но именно те черты, которых не доставало его характеру, — мужество, прямоту, твердость этических убеждений, нравственная стойкость, — обусловили отсутствием своим величие Сент-Бева как критика. Сент-Бев олицетворял в литературе сугубо женское начало, и здесь причина его несравненной, беспредельной способности отдаваться, приспособляться, вживаться в чужие чувства. Он увлекался каждым

течением, подчинялся каждой сильной воле, заимствовал краски у каждой встречи, каждого явления, они поглощали его без остатка, так что в изображении, вышедшем из-под его пера, уже нельзя было угадать черты его собственной личности.

Он как-то сказал о себе: «Мой ум более всего, вплоть до самоуничтожения подвержен переменам. Я честно начал с передовой мысли восемнадцатого века — с Траси, Дону, Ламарка, физиологии, — здесь мое истинное зерно. Потом я прошел доктринерскую и психологическую школу «Глобуса», правда, с оговорками, потом примкнул к романтикам, к кругу Виктора Гюго, где, как казалось, обосновался весьма прочно. Далее, я пробежал, вернее проскочил, сен-симонизм и тогда еще строго католическую группу Ламеннэ, чтобы затем в году 1837-м в Лозанне приблизиться к методизму и кальвинизму. Но при всех этих обращениях и переходах я никогда не отказывался ни от своей воли, ни от свободы оценок (если не считать одного-единственного случая в кругу Виктора Гюго, да и то это было наваждением), я никогда не поступался своей верой, а, напротив, так умел понимать и проникать людей и события, что всегда подавал самые большие надежды тем, кто хотел обратить меня и уже считал меня своим. Мое любопытство, мое желание все увидеть и рассмотреть вблизи, радость, испытываемая мною, когда мне удавалось найти относительную истину в каждом явлении и каждой группировке, вовлекли меня в нескончаемую цепь экспериментов, которые явились для меня единственным долгим курсом физиологии нравственности».

Эта изменчивость, это умение страстно отдаваться каждому объекту наблюдения распространялись у Сент-Бева не только на область литературы; в политике он то и дело менял цвета — он побывал в роялистах, якобинцах, бонапартистах, республиканцах, неизменно следуя за увлечением минуты. Его страстная преданность очередному предмету изображения всякий раз на какой-то миг выбивает почву у него из-под ног: подобно нашему Герману Бару, он ничего не может рас-



смаковать извне. Он так глубоко проникает в каждое течение, что течение это уносит с собой и его. Живя в кругу Виктора Гюго, он сам становится романтиком, вместо того чтобы просто описывать романтическую школу; создавая «Пор-Рояль», он становится янсенистом.

Лишь благодаря этому непротивлению, благодаря этой страстной самоотдаче критик может ухватить самую суть, творческое средоточие, первоисточник всякого движения. И мучительный рывок, потребный для того, чтобы интеллект стряхнул колдовские чары, и возвращение на берег из стремительного течения легко счесть неверностью со стороны человека, который преследовал лишь одну цель: быть верным себе самому. Но именно эта неверность спасла Сент-Бева от доктринерства, именно недостаток постоянства защитил его от окостенения: его умению отдавать себя до конца присуща чудесная женская гибкость; без малейших усилий следует он за всеми изгибами любого течения, и эта податливость помогает ему выманить любую тайну.

А тайны — его стихия. Женское любопытство — главный нерв его критического организма — пробирается повсюду, где ему чудится загадочный характер или не вполне ясная судьба; со студенческих лет Сент-Бев сохраняет умение обнажать с помощью скальпеля нервы и мускулы, дар прозорливца помогает ему угадывать скрытые связи, соединять родственные явления, преодолевая даль веков искусством молниеносного синтеза.

Правда, эта чисто женская тяга к психологии есть источник всех его пороков: он нескромен до крайности, словоохотлив до болтливости, назойлив до бестактности. Его самая низкая выходка заслужила презрение всех порядочных людей Парижа: как известно, ему удалось соблазнить жену своего великого друга Виктора Гюго, после чего он со всеми компрометирующими подробностями описал этот любовный эпизод в своей «Книге любви». Правда, после напечатания он спрятал книгу у себя в шкафу. Но все же тщеславие пересилило, и он начал потихоньку показывать эти стихи в салонах Парижа, так что под конец секрет его стал «секретом Полишинеля».

Он не мог отказать себе в удовольствии насладиться дешевой триумфом над своим знаменитым соперником, заклеив его как роконосца; нескромный там, где дело шло о его собственных тайнах, он был не более скромен там, где дело касалось тайн чужих.

Много лет подряд он осаждает Марселину Деборд-Вальмор, чтобы выведать, кто был тот таинственный совратитель, тот Оливье ее стихов; излагая чью-нибудь биографию, он хоть бегло, хоть намеком да коснется интимных сторон жизни; честолюбие психолога приводит его к подслушиванию и подсматриванию, и, подобно своим продолжателям — психоаналитикам, он видит в эротических переживаниях зерно и движущую силу всякого художественного творчества.

У него есть и неслыханная, поистине женская пронизательность, с которой он подмечает и недостатки в характере, и упущения в литературном наряде писателя, у него есть нервически обостренное чутье на всякую неправду. Из этих-то мелких, искрящихся умом, тонких наблюдений он шаг за шагом складывает цельное изображение.

Характеристика его всегда начинается с деталей. Он не уподобляется своим великим предшественникам Монтеню или Лабрюйеру, он не набрасывает сразу всеобъемлющий контур, его, скорее, можно назвать учеником великих французских художников, к примеру, Клуэ — непревзойденного мастера миниатюры. Порой его портреты не более как медальоны, но именно тогда они особенно хороши тонкостью линий, изысканностью деталей, изяществом оправы, короче говоря, своим стилем.

Мастерство стиля есть наиболее своеобразное и неоспоримое искусство Сент-Бева. Как и у большинства великих французских прозаиков (в отличие от прозаиков немецких), его речевая культура коренится в фундаментальном классическом образовании; читать по вечерам римских или греческих авторов было для него занятием столь же естественным, как для нас читать французские или английские книги. И язык его

невольно (так было и у Ренана) заимствовал кристально ясную, проникнутую великим покоем, плавную и в то же время сжатую форму латинских классиков.

Но языковая восприимчивость шла у Сент-Бева рука об руку с языковым творчеством. В чужом тексте он улавливал тончайшие оттенки и мельчайшие изгибы, в своих написанных для газеты «Lundi» — «Понедельник» статьях-однодневках он оттачивал до блеска каждый период, проверяя и взвешивая каждый эпитет — хвалебный или уничижительный, — и не уставал снова и снова совершенствовать форму.

В своей работе этот избалованный, женственный, женоподобный эпикуреец был спартанцем, рабом беспощадного чувства долга. Статья к понедельнику — вот чем определялась вся его жизнь; понедельник был для него седьмым днем творения, днем отдыха, единственным, который позволял себе неутомимый труженик. Уже во вторник (вот так же и Гарден тридцать лет подряд корпел над своим «Будущим») закладывался фундамент очередной статьи, по вторникам была перерываемая в поисках материала собственная библиотека, а секретарь отправлялся со списком требуемых книг в Национальную библиотеку, откуда возвращался, сгибаясь под тяжестью книжных груд. Последующие дни Сент-Бев уединялся в своей келье, недоступный даже для близких друзей, не позволяющий себе иных выходов, кроме вечерней прогулки в обществе секретаря, да и та нужна была лишь для того, чтобы развить мысли будущей статьи в непринужденной беседе.

Наконец, статья написана, потом ему присылают корректуру; сперва он правит ее в одиночестве, потом раза три-четыре зачитывает секретарю, ибо на слух легче уловить каждый перебой, каждую неудачную связь между периодами — уловить и переделать, пока можно. В воскресенье утром придирчиво выверенные листы корректуры возвращались в типографию, во второй половине дня Сент-Бев принимал друзей. В понедельник утром статья выходила и, словно камертон, настраивала весь литературный мир.

Тридцать лет подряд это беззаветное служение еженедель-

но рождало по одной газетной статье высоких художественных достоинств. Поистине критическая журналистика берет свое начало от статей Сент-Бева в «Lundi». До этого была только полемика или рецензии по случаю; Вольтер и Гримм занимались литературной критикой походя, между делом, для Лессинга это был всего лишь быстротечный период в его деятельности, для Гейне — привычная повинность денег ради. Для них для всех литературное эссе означало не более как вылазку в легко доступную смежную область, чаще всего это был военный поход, полемическая кампания, и лишь у Сент-Бева эссе в свойственной ему форме еженедельного портрета становится профессией, делом всей жизни.

Сент-Бев — предшественник Тэна и нашего патриарха Георга Брандеса, причем оба они, на наш современный взгляд, превосходят его общеевропейским уровнем образования (Сент-Бев знал, по сути дела, лишь французский язык и классиков, остальные языки — весьма посредственно), шириной кругозора, личной порядочностью, но в отдельных деталях — в зоркости наблюдений, в нервической тонкости чутья, — лишь изредка приближаются к нему. Более других походил на него венец Людвиг Шпейдель, который так же упорно и скупно ограничил себя одним блистательным фельетоном в неделю и который с той же тонкостью (и теми же заблуждениями там, где речь шла о современных ему гениях, о Вагнере, например) превращал случайный повод в знаменательное событие и, сосредоточившись на малом, создал свое величие. Сент-Бев — пращур целого рода, основоположник собственной литературной формы, коей непревзойденным мастером он и остается до сих пор; и даже те из его потомков, кто, подобно Сюаресу, не признавал его, все же плоть от плоти его.

Почитание формы, свойственное дотоле лишь художнику, лишь творцу книги, он перенес в критику, в газету; в неизменно безупречной чистоте формы, которой он достигал даже в самые смутные часы своего бытия, таится моральное величие этого аморального человека. В его зачастую пристрастных выводах, в его личном поведении все недостатки характера

видны как на ладони, но в собственно художественную область его творчества им никогда не было доступа, здесь Сент-Бев был чист, безупречен, честен, здесь проявляло себя во всей полноте то чувство ответственности, которого ему так не хватало в жизни. Пусть его убеждения были слабы и шатки, все равно оставался где-то такой уголок, в котором приютилась совесть художника. И совестью этой была для него форма.

В любом критике, не менее, чем в писателе, можно отчетливо разглядеть и основы темперамента, и жизненную философию. Сент-Бев был эпикурейцем среди критиков. Он не желал поучать, как теоретик, морализировать, как догматик: нигде, никогда он не пытался навязывать свое мнение. Он хотел лишь одного — воспроизводя и психологически углубляя, увеличивать меру наслаждения для других и для себя, или, точнее сказать, сперва для себя, а потом уже для других.

Рука его владела тонким искусством гурмана высшей марки, который с нарочитой медлительностью освобождает от листьев сердцевину артишока: чтение, выписки, заметки и писание дарили ему радости почти гастрономические. Целый мир отделяет Сент-Бева с его женоподобной, падкой до удовольствий натурой от протестанта Лессинга, который хотел реформировать всю немецкую литературу и, уподобясь Лютеру, избавить драматургию от французского папизма.

Сент-Бев не исповедует ни определенной эстетики, ни определенной проблематики; у него нет даже ярко выраженных пристрастий. Любая проблема, любая личность пробуждает в нем любопытство психолога; сегодня это Наполеон, завтра — Фирдоуси, католик Боссюэ не менее, чем вольнодумец Байрон.

Но гурмана в Сент-Беве всего сильнее влечет к редкостным блюдам, к неиспробованному, забытому, исключительному; особым вниманием дарит он малых писателей прошлого, так называемых *poetae minores*, умеренные таланты, необычные характеры, женщин больших страстей — словом, всех тех, кто притаился в полумраке истории, в тени гениев, всех тех, кто еще не затаскан историками и не затрепан филологами. К

этим людям он испытывает любовь поистине трогательную, своеобразную нежность психолога, и его чуткое, скрупулезное, пронизательное и слегка насмешливое искусство будто создано по их мерке.

Фигуры слишком крупные лишали его уверенности: о Гёте он высказывался как-то неопределенно, довольствуясь общими восхвалениями; говоря о Данте, он более занимается достоинствами риваролевского перевода, нежели проблемами языка. Слишком широки для него эти границы, мало энтузиазма неустойчивой души, мало чисто женского увлечения проблемой там, где потребны истинная любовь и дар слагать гимны, избыток чувств и широта кругозора. Все его мастерство отдано писателю средних способностей, философу-скептику. Гурман скорее поймет гурманское отношение к жизни, нежели фанатическое или восторженное; именно поэтому Сент-Беву лучше всего удаются женские портреты. Здесь его легкая рука с наслаждением играет покровами, под которыми прячутся исповеди и признания, словно за приспущенными шторами чередуются свет и тени; здесь он умеет видеть человеческое в человеке, здесь он в полной мере может проявить и обаяние, и чарующую скромность, и изящество своего стиля.

Своими жанровыми картинками он прелестно убрал пантеон французской литературы, где доселе красовались лишь большие и нагие памятники великим мастерам; он привнес туда незабываемые пейзажи семнадцатого и восемнадцатого веков, и после того Гонкурам с их импрессионистическими красками осталось только срисовывать. Именно благодаря кажущейся дробности, благодаря вниманию к деталям он, преуспев в этом более всех историков литературы, сумел воссоздать прошлое Франции в его единстве.

## ЗАМЕТКИ ОБ «УЛИССЕ» ДЖОЙСА

Руководство к действию. Сначала следует подыскать надежную точку опоры, чтобы не держать постоянно в руках этот роман-мастодонт объемом едва ли не в полторы тысячи

страниц. Затем надо осторожно — двумя пальцами — взять приложенный к книге проспект с заголовками «Величайшее прозаическое произведение столетия», «Гомер нашего времени» и разорвать из конца в конец эту крикливую бумажку, бросить ее в корзину для бумаг, чтобы заранее не расстраиваться, опасаясь разочарований в несбывшихся надеждах, чтобы не раздражаться, обдумывая возражения автору рекламы. И наконец, усевшись поудобнее в кресло — ведь предстоит длительное чтение, — набравшись терпения и терпимости, можно приступить.

Жанр. Роман? Ни в коем случае — это шабаш ведьм духа, гигантское каприччио, феноменальная вальпургиева ночь мозга. Прокручиваемый с бешеной скоростью фильм психических ситуаций — перед ошеломленным читателем мелькают, проносятся мимо ландшафты души с гениальными деталями, двойное, тройное мышление, ощущение всех чувств — внахлестку, спутанных, оказавшихся рядом друг с другом или поперек одно другого, оргия психологии, рассматриваемая под какой-то лупой времени, способность разложить на атомы каждое движение души, каждый ее порыв. Тарантелла неосознанного, неистовая и бурная вереница идей, мчащаяся вихрем и без разбора захватывающая все, попадающее ей в пути, тончайшее и самое банальное, фантастическое, теологию и порнографию, лирические пассажи и кучерскую брань — хаос, следовательно, полнейшая путаница, неразбериха, но не рожденная в демонически мрачном мозгу Рембо, отравленном алкоголем, — нет, это все смело и намеренно инструментировано ироничным и циничным интеллектуалом.

Кричишь от восхищения, неистовствуешь, ожесточенный, устаешь и вновь чувствуешь себя исхлестанным, наконец, кажется тебе, что ты под хмельком, у тебя начинает кружиться голова, как если бы ты десять часов крутился на карусели или непрерывно слушал музыку, замечательную, пронзительную, как игра на флейте, а потом громкие литавры и дикие мотивы джазбанда — но всегда осознанно модернистскую музыку слова Джеймса Джойса, предающегося самой

изошренной на свете словесной оргии. В этой книге есть нечто героическое и одновременно — что-то лирически пародирующее искусство, а значит, самый настоящий шабаш ведьм, черная месса, когда черт дерзко и вызывающе передразнивает и разыгрывает Святого Духа. И в то же время — это нечто выдающееся, неповторимое, новое.

**Истоки.** В основе — что-то недоброе, кое-где проглядывается в тексте Джеймса Джойса ненависть к годам своей юности, когда была ранена его душа. Ненависть к Дублину, своему родному городу, ненависть к его гражданам, ненависть к его священникам, ненависть к его учителям, ненависть ко всем дублинцам, ибо все, что этот гениальный человек пишет, — это месть Дублину. И в вышедшей ранее, великолепной, раскованной автобиографической книге о Стивене Дедале\* было это, теперь вот в «Улиссе», жестоко аналитической орестейе духа.

В романе объемом в полторы тысячи страниц нет и десятка страничек о сердечности, преданности, доброте, дружбе, все они циничны, язвительны, полны ураганной силы бунта, все они возбуждены до предела, что одновременно и пьянит и оглушает. Здесь человек разряжается не только в крике, не только в насмешке и гримасе, нет, он освобождает все свои потроха от затаенных обид, он выблевывает остатки своих чувств с силой и стремительностью, которые поистине заставляют содрогаться. Гениальнейшему надувательству в каких-то частностях не скрыть того, что человек выбросил миру свою книгу в состоянии чудовищной взволнованности чувств своего трепещущего, вибрирующего, пенящегося, едва ли не эпилептического темперамента.

**Облик.** Иногда, ненадолго отвлекаясь от чтения, я вспоминаю лицо Джеймса Джойса, оно — под стать произведению. Лицо фанатика, бледное, страдальческое. Тихий, но при этом совсем не мягкий голос, трагичные, прячущиеся за стеклами

---

\* Стивен Дедал — персонаж книги Джойса «Портрет художника в юности». — *Примеч. пер.*



очков иронические глаза. Измученный человек, но твердый как железо, упрямый и выносливый. Что-то есть в нем «вывернутое наизнанку» от пуритан, от предков-квакеров, он один из тех, кто за свою веру и свою ненависть готов идти на костер, кто свое кощунство принимает так же всерьез, как безвестные предки принимали свою веру в Бога.

Это человек, долго живший в безвестности, все время в себе, замкнутый, непризнанный, как будто погребенный временем и поэтому сохранивший свой внутренний огонь. Одиннадцать лет преподавал он в школе Берлица, ужаснейшая монотонная тяжелая работа души. Двадцать пять лет изгнания и лишений сделали его искусство острым и язвительным.

В лице его много величия, в его работе — много великого, фантастическая огромность героического в преданности духу, в преданности Богу, но все же подлинная гениальность Джойса — в ненависти, разряжается он лишь в иронии, в сверкающей, ранящей, мучительной пляске духа, пляске с кинжалами, в сладострастной стремительности сделать больно, обнажить и ранить, в торквемадовском наслаждении психической инквизиции. Сравнение Джойса с Гомером лишено всяких оснований. Но у этого фанатика-ирландца есть что-то от ненависти монументального Данте.

Искусство. Оно не в архитектонике произведения, не в красочности образов, а единственно лишь в слове. Здесь Джеймс Джойс непревзойденный маг, Меццофанти\* языка — я думаю, он говорит на десяти или двенадцати языках, а в своем родном языке использует огромный словарный запас и создает новый синтаксис. Он владеет целой клавиатурой тончайших, и в том числе метафизических, выражений, включающей болтовню опустившихся пьяных женщин. Он отбаранивает все страницы энциклопедии, накрывает пулеметным огнем определений территорию каждого понятия, он вольтижирует с поразительной отвагой на всех трапециях искусства изложения,

---

\* Меццофанти Джузеппе (1774—1849) — итальянский лингвист, хранитель библиотеки Ватикана, знал около семидесяти языков. — *Примеч. пер.*

а в последней главе ему удастся написать предложение длинной, думаю, более чем в шестьдесят страниц (ведь в полуторатысячестраничном кирпиче описывается один-единственный день, следующий за ним ночи должна быть посвящена другая книга).

В его оркестре — изобилие гласных и согласных всех языков, все специальные выражения всех наук, все жаргоны и диалекты, английский у него превратился в паневропейское эсперанто. Вверх-вниз, из конца в конец молниеносно раскачивается гениальный акробат, он пляшет между дребезжащими мечами, перепрыгивает все пропасти аморфного. Языковое творчество само по себе уже подтверждает гениальность человека; в истории новой английской прозы с Джеймсом Джойсом начинается глава, в которой он — начало и конец.

Заключение. Лунный свет, упавший на нашу литературу, грандиозность, лишь этому одному человеку дозволенная уникальность, героический эксперимент сверхиндивидуальности гения-чудака. Ничего здесь нет от Гомера, абсолютно ничего. Искусство Гомера покоится на чистоте линии, тогда как этот мерцающий экран преисподней духа чарует душу как раз безумной ее гонкой. И конечно же никакой это не Достоевский, хотя и ближе к нему фантазией видения и чрезмерностью чувств. Всякое сравнение с этим одноразовым экспериментом всегда бесполезно. Внутренняя изоляция Джеймса Джойса не терпит никаких связей с уже бывшим, она ни с чем не сочетается и поэтому, вероятно, не породит последователей. Человек-метеорит, полный темной, первобытной силы, произведение-монолит, как те письмена средневековых магов на современный лад, связывающее творческие элементы с метафизической мистификацией, поразительные знания с жестоким остроумием. Произведение, скорее, созидающее язык, чем мир.

И все же эта книга — непреходящее деяние, она — гениальный курьез, и останется нам блоком разгадок, не связанным с окружающим плодотворяющим миром. И время, вероятно, подтвердит, что книга эта, как все, обладающее даром

сивиллы, достойна со стороны человечества глубокого уважения. Во всяком случае, уже нынче отнесемся с уважением к этим своевольным, сильным и обольстительным усилиям, проявим глубокое уважение к Джеймсу Джойсу!

1928

## АРТЮР РЕМБО

Absurde! Redicule! Dègoûtant\*! — так отбивался Артюр Рембо от поклонников его творчества, когда те, восхищаясь стихотворениями молодого поэта, пытались вернуть его в литературу. Это не было dègoûtant\*\* рисовкой мастера, энергично отрекавшегося от юношеских опытов, чтобы сосредоточить интерес читателей на своих зрелых произведениях; нет, этими словами он жестко, безжалостно подводил черту под своим литературным творчеством.

Двадцатитрехлетний, он уже давно отказался от искусства. Вернувшись из Африки, побывал во многих странах Европы, бродяжничал по Германии, Англии, Бельгии, торговал всякой мелочью вразнос на парижских бульварах, нанимался в голландских деревнях на покосы, на самые низкооплачиваемые подсобные работы, знакомы были ему и соломенная тюремная подстилка, и ужас, вселяемый первобытным лесом. Был наемником-солдатом голландских колониальных войск на Суматре, травимый беглец, он голодал в малайских деревушках или прятался в делях тропического леса, вел жизнь среди обезьян и диких зверей. Египет знал он, Кипр, Занзибар, Аден: всюду побывал в свои двадцать три года, и Европа показалась ему узилищем, исправительным домом, грязным болотом.

И тогда он отправился в страны, названий которых до него в Европе, вероятно, и не знали, стал изучать язык негров Сомали, осваивал девственные земли Африки, помогал

---

\* Бессмысленно! Смехотворно! Отвратительно! (фр.)

\*\* Отвратительной (фр.).

императору Менелику готовить войну против Италии, но не дожидаясь победы в битве под Аду. Тридцати семи лет, безногим калекой со сжатыми кулаками, скончался он в Марселе, в этом белом городе, в этих сверкающих воротах Европы в страны Ближнего и Среднего Востока.

В семнадцать лет он уже прославленный, знаменитый поэт, *Shakespeare enfant\**, как назвал его Виктор Гюго, мастер на меткие эпитеты. В пятнадцать лет создал Рембо «Sensation», замечательнейшее немецкое стихотворение на французском языке, в шестнадцать-семнадцать лет в стихотворении «Effanès» и других, столь же конвульсивных, *absolument écœuré par toute poésie existante\*\**, в диких, совершенно свободных от какой бы то ни было эстетичности стихотворениях открыл страну иллюзий, страну совершенно новых для поэтов возможностей.

И наконец, скорее еще ребенок, чем уже юноша, он создал произведение непреходящей ценности — «Le Bateau ivre» — «Пьяный корабль», это фантазмагорическое сновидение, бунт красок, причудливую симфонию лихорадящих слов, стихотворение, которое многим, и мне в их числе, представляется значительнейшим стихотворением французской литературы. Походя, скорее дурачась, чем серьезно, набросал он однажды сонет о соответствии гласных цветам, который и ныне во Франции считается евангелием художников.

Все эти шедевры, однако, он создавал небрежно, пожалуй, даже неохотно. Друзья собирали его стихотворения, друзья печатали их. Единственный сборник «Une saison en enfer»\*\*\* он издал в Брюсселе сам, но весь тираж этой книжечки уже через несколько дней был уничтожен, остались случайно сохранившиеся три-четыре экземпляра, маленькие, неопрятные тетрадки на оберточной бумаге!

Поэзию он не принимал всерьез. С ее помощью он разве что

---

\* Дитя Шекспира (фр.).

\*\* Самые страшные во всей существующей поэзии (фр.).

\*\*\* «Пора в аду» (фр.)

пытался освободиться от рвущейся на свободу жизненной силы. Сначала таким средством была поэзия. Затем появилась эротика. И ее он отбросил. «Le dèbauche est dègoûtante» — «Разврат противен». Для науки он был потерян: «La science est trop lente» — «Наука слишком медлительна».

Его энергия, способная разрядиться как вспышка молнии, источником постоянного тепла быть не могла. И, кроме того, обладая огромной энергией, он был инертен. «Quel siècle à mains!»\* — однажды со стоном произнес он. Ему отвратительна осторожная, вьющаяся вверх по спирали тропа к логическому познанию, отвратительна потому, что это — работа. Он хотел волшебным образом, мгновенной вспышкой интуиции осветить лик тайны.

Вместо вдохновения, которое Гёте славит как первое условие творческого познания, его воодушевлял пароксизм, алчная конвульсия вместо постепенного охвата. словно проклятье, вырывалась накапливающаяся в нем сила, прочь отбросить хочет он то, что переполняет его: сначала кидается к поэзии, потом — к женщинам, затем — к активной деятельности. Не получается. Тогда он пытается освободиться от терзающих его страданий безрассудными поступками. Подобно человеку, который, чтобы утишить боль в животе, бежит, карабкается в гору, качается из стороны в сторону, пляшет, делает совершенно бессмысленные движения, Рембо бросается из одной страны в другую.

Так, совершенно неожиданно, словно вырвавшись из тюрьмы на свободу, бежал он, четырнадцатилетний, в Париж, а потом, в двадцать, в тридцать лет — в страны Экваториальной Африки. Он — конквистадор, силач, выходящий на простор с пустыми руками, с горячим сердцем. Не ради успеха тянется он к действию, а ради самого действия, потому что это действие оглушает. «L'action n'est pas la vie, mais une façon de gacher quelque force un ènervement»\*\*.

---

\* Какой ручной век! (фр.)

\*\* Действие — это не жизнь, но способ попросту тратить силы, нечто вроде невроза (фр.).

Утверждение нужно было ему, а не пустяки, вроде искусства. Но никакой Кортес не снаряжает галеры, никакой Валленштейн не собирает войска, никакая республика не предоставляет место юному генералу. Не в 1793 году живет он, а в конце обнищавшего девятнадцатого века. И сила бунтует против себя самой.

Однажды хмель Бальзака кружит ему голову, возникает мысль — стать богатым, бесконечно богатым, и если завоевать мир невозможно, то нужно купить его. Словно пламя, взлетает ввысь давнее пророчество из его книги: «Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото; я буду праздным и жестоким. Женщины любят носиться с такими вот свирепыми калеками, возвратившимися из жарких стран. Я ввяжусь в политические интриги. Буду спасен»\*.

Но многое из задуманного не удастся: он получает всего лишь какие-то суммы, состояние же — никогда. Медленно засасывает его скука одинокой жизни, своеобразие силы, не находящей себе применения, собственная сила душит его. Стремление к свершениям рвется из его тела, лихорадка терзает его душу. Умирая, он хочет бежать во Францию, но на границе родины настигает его смерть. И если бы не верность и усилия его друзей, никто так и не узнал бы, что африканский торговец, умерший после ампутации обеих ног в марсельской больнице, был поэтом, одним из величайших поэтов Франции.

Когда читаешь об отдельных эпизодах жизни Рембо, когда слышишь названия никогда не виданных тобой городов, то постепенно в туманной, сказочной дали начинает вырисовываться представление о судьбе поэта. Она — как бы совсем из другого, не нашего времени. Но ведь Рембо был нашим старшим современником. Я встречал в Париже его учителя из Шарлевиля, мосье Изамбара, единственного человека, знав-

---

\* «Пора в аду. Дурная кровь». Пер. с фр. Ю. Стефанова.

шего Рембо в то время, когда тот писал стихи, единственного, чьи воспоминания дают представление о Рембо-поэте.

Он пишет: рано созревший, вспыльчивый, грубый, мужественный малый с большими крепкими кулаками, пожалуй, атлет, уже в школе он обладал поразительной, однако неровной энергией. Эта характеристика подтверждается картиной Фантен-Латура, на которой Рембо изображен сидящим в непринужденной позе, он похож на рабочего, писателя выдает в нем лишь высокий лоб. Руки его — с голубыми жилами, вероятно, набухавшими, словно змеи, когда он приходил в ярость.

Жестоким выглядит он, таким, пожалуй, и был. Если подумать о том, как трагически завершилась его встреча с Верленом под Штутгартом на берегу Неккара, когда горячий спор о религии перешел в драку и под ударами палки окровавленный Верлен, потеряв сознание, упал, — если подумать вообще об этих поразительных отношениях, в которых Рембо — человек воли — является *l'èroux infernal\**, а Верлену, мечтателю, была присуща женственная мягкость, податливость, то чувствуешь, как вокруг Рембо разлетаются искры огня, сжигающего его.

Пролетарская сила стягивает его члены и упрямо противопоставляет себя всем лишениям. Декаданс, утонченность, крайне болезненная раздражительность, галлюцинации («*les vices de son sang gaulois*»)\*\* были чисто духовным и никогда не захватывали его внешнюю жизнь, которая, впрочем, постепенно все более и более освобождалась от временных культур; космополит, как и все бродяги, социальный феномен, как, например, цыгане, подобно перелетной птице, не желающей нигде обосноваться, падает он, одинокий метеор, в культуру, словно Каспар Хаузер, забывший, откуда он пришел, никому более не принадлежащий и никому принадлежать не желающий. Артюр Рембо был необычен уже фактом своего существования, своим категорическим отвращением ко всем культурам, своим презрением ко всему европейскому, необычен

---

\* Сатанинским супругом (*фр.*).

\*\* Изъян его галльской крови (*фр.*).

своим необузданным индивидуализмом. В наши дни — он полубог внутренней свободы. Разбойник инстинкта.

Поэтом, великим поэтом его сделали два обстоятельства: условия и одаренность. Прежде всего присущее ему отсутствие каких-либо внутренних обязательств. Он абсолютно ничем не был стеснен. Ничто не связывало ему руки, ничто не было для него свято. Гордо говорил он: «От предков-галлов у меня страсть к идолопоклонству и кощунству; возможные пороки — гнев, похоть — о, как она изумительна, похоть! — а также лживость и лень»\*.

Ничто не сдерживает его. Родственные чувства представляются ему глупостью, оковами и путами; письма родным как будто пишутся банкиру — деньги, деньги — вот их постоянный припев. Патриотизм, гордость культурой он отбросил, словно гнилой плод. Жить среди неразвитых негров ему интереснее, чем с европейцами. Религия никогда не могла принудить его встать на колени. Христос для него всего лишь «*eternel voleur des energies*»\*\*. Дружба никогда ни с кем не связывала его, не была для него большим, чем мимолетное братство вагантов. Мораль — до смешного дешевая штука, «*une faiblesse du cerveau*»\*\*\*.

Искусство — вид работы. Ничего крепкого, солидного не дает Артюру Рембо никакое мировоззрение, бездумно витает он над безднами познания. Даже ранний поэт в Рембо свободен. Свободен от эстетики, от артистичности, от общепринятых обязательств. Грубо хватает он поэзию и добывается ее преданности не нежной любовью, нет, она просто уступает его жестокому натиску. Беспощадны его стихи, не очень-то удобны для слабых нервов; от иных из этих стихотворений разит нищетой, грязной одеждой, потом, вонью выгребных ям; гениальный клубок реалистической действительности и безудержной фантазии.

---

\* «Пора в аду. Дурная кровь». Пер. с фр. Ю. Стефанова.

\*\* Иусе, женских воль грабитель непреклонный... («Первое причастие». Пер. с фр. Р. Дубровина).

\*\*\* Слабоумие (фр.).



Эти стихотворения не похожи на написанные до них. Рембо начинает писать так, как если бы никто до него никогда не писал стихотворений, как если бы эстетика, создаваемая тысячами людей, развалилась, словно карточный домик. В этой слепой свободе инстинкта своеобразно вырастает его поэзия, неевропейская, необычная, самобытная и великая; германская и варварская, вламывается она в высокоразвитую галльскую культуру подобно тому, как во времена великого переселения народов северные полчища вторглись во владения Рима и Византии.

Эта внутренняя свобода Рембо, это и в жизни, и в поэтическом творчестве импульсивное самоосвобождение от всяческих сдерживающих понятий являются предпосылкой для его величия. К этому следует добавить единственную в своем роде способность, галлюцинативную силу его воззрений или, лучше, его восприимчивость. Ибо он принимает явления внешнего мира не только в известной мере пространственно, а проникается всеми их качествами, он не только видит их, он слушает, чувствует их запахи, ощущает их вкус, осязает их, пронизывается ими.

Его способность воспринимать поглощает предметы, словно бурлящий поток, жадно, ненасытно: и, как художник, он пожирает их, высасывает их сущность, смакует их исчезающие оттенки, они впитываются в его кровь. И так глубоко, так стремительно поглощает он ощущения всех пяти чувств, что это разрушает упорядочивающие их связи, ведет к потере их качеств: аромата, звучания, красок, чувства формы, все это втекает одно в другое, соприкасается друг с другом в самых глубинных слоях подсознания, где существует лишь смутное ощущение извне возбужденного инстинкта.

Именно на этой глубине, на этом уровне интуиции и основываются поэтически освобожденные созвучия различных впечатлений чувств, которые глухо предчувствовал Бодлер в своем сонете «*La nature est un temple*»\*. Это процесс соотнесе-

---

\* Имеется в виду сонет «Соответствие», первая строка которого в переводе В. Левики здесь приводится: «Природа — некий храм...»

ния различных ощущений, который психология называет псевдоанестезией, процесс этот для творческих людей обычно повседневен и не является чем-то особенным. Но ни у одного поэта этот процесс не протекал так выражено и определенно, как у Рембо. Каждый услышанный им звук тотчас же вызывал в нем ощущение совершенно определенного цвета. Правда, эту тождественность ощущений звука и цвета логически обосновать невозможно и коренится она лишь в чувствах, в чувствах поэта, но часто также в логическом предчувствии поэта или в других людях — через убеждающую силу выражения.

Насколько необычно сильна эта жизненная достоверность взаимосвязи ощущений, проявившаяся в Рембо, говорит его программное стихотворение «*Sonnette des voyelles*»\*, в котором фантастические картины кристаллизуются почти догматически, здесь А отождествляется с черным цветом, Е — с белым, И — с красным, О — с голубым и У — с зеленым, в этом сонете *naissances latentes*\*\* , сцепившись в дикие образы, воспринимаются как нечто целое. Это стихотворение — наполовину шутка, но в то же время — стремительное падение в темную область неосознанного, падение, которое удавалось немногим. Это — абстрактная поэзия, искусство символов, не нуждающихся для расшифровки в помощи рассудка, инстинкт, волшебство. «Алхимия слова», как назвал он ее, черная магия, никому, кроме поэта, не доступная, знакомая лишь немногим посвященным.

И вновь слышим мы нетерпеливый крик его жизни: «*La science est trop lente*» — наука слишком медлительна, описательность в стихотворении — слишком растянута, нудна, кропотливость — утомительна, гениальный набросок — все. Символ должен быть пойман в молнии, в интуиции, он не дистиллируется в мягком, кротком огне домашнего очага; возможно, расплачиваться за это придется понятностью символа. Но чувство — это все. Понятностью легко мог себе позволить

---

\* «Сонет о гласных» (фр.).

\*\* Загадочные рождения (фр.).

пожертвовать тот, кто писал свои стихотворения не для журналов, книг, например Рембо, желавший разрядить стихами свою внутреннюю напряженность. И электрический разряд бьет слепо, неожиданно.

И совершенно естественно, что такая внутренняя необузданность, такая жгучая сила колорита, такая искрящаяся полнота выражения должны были вскоре взорвать сосуд — традиционную французскую стихотворную форму. Только четырнадцатилетний мальчик пишет еще благовоспитанным александрийским стихом. Вскоре строки потекут анжамбеманом\*, рифмы будут отскакивать от окончаний строк; чувства — оказавшись в состоянии брожения — станут раздувать качающиеся строки, и поэт отшвырнет разбитую форму.

Сначала — лишь революционно, используя ассонансы, свободные рифмы, вскоре он поведет себя анархистски, отбросит вообще все формы, будет писать «Illuminations»\*\* — дико и свободно текущие стихи в прозе, следующие своей дикой мелодике. В прозе, которая по художественным меркам является вершиной поэзии, поэзии великой, словно водопад строк Уолта Уитмена, словно вакхические экстазы Ницше.

Внутреннее освобождение от культуры, Рембо вновь приближается к заикающимся празвукам, религиозным в глубочайшем смысле, рапсодическим и проповедническим. Пораительно сходство стилей почти одновременно появившихся книг — «Пора в аду» и «Заратустра», двух авторов, двух Одиноких, Освободившихся от Мира. Сила слов Рембо постепенно становится феноменальной, слова под его рукой набухают: серый студень понятий, словно вампир, высасывает кровь, наполняется ею и, набухнув, переливается, готовый взорваться светом невиданных красок.

Самые затертые слова становятся новыми, трещат электрическими разрядами и внезапно разлетаются буйными искрами. Неожиданно взлетают они вверх и вновь покоряют

---

\* Анжамбеман (фр.) — перенос, текучая строка. — *Примеч. пер.*

\*\* «Озарения» (фр.)

прежде, чем ты логически постигнешь их. И это не какие-нибудь особенно благородные слова, а подчас слова уличного жаргона, вырванные из научного лексикона, часто же — сконструированные молодым поэтом.

Вот лишь несколько примеров. «*La reine aux fesses cascadantes*» — «Королева упругих ягодич». Как это великолепно! Или: «*Le coeur fou robinsonne*» — «Безумное сердце робинзонит по роману» — такого оборота ни в одном академическом словаре не сыщешь. Или еще: *ithyphalliques et pioupiques* — солдатско-фаллический, *percaliser sa peau* — перкализирует кожу — тысячи примеров, едва ли не в каждой строфе. Подобными словами срываются с петель двери к последней тайне, и поэт с гордостью может сказать: «Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое»\*.

В возрасте, когда другие барахтаются, путаются в тупом сумасбродстве в волочащихся за ними сетях юношеской глупости, он сделал за три года неслыханно много. Пятнадцатилетний, он написал «Ощущение», простое и одно из прекраснейших стихотворений французской литературы, в шестнадцать лет он пишет «*Les chercheuses de ropx*»\*\*, дьявольски красивое, в глубине своей сущности противоестественное, извращенное стихотворение, воспринимаемое со сладострастным трепетом, как поглаживание спины прохладной рукой. Строчки все более и более наполняются горячей кровью, ритмы становятся свободнее, фантазия все невероятнее, все сильнее отклоняются стихи от живой жизни, в сторону, к зеркальным поверхностям неведомых миров. Галлюцинация стремительно несет его все дальше и дальше.

Если оставаться в рамках биографических дат, Рембо в пятнадцать лет покинул Францию, в шестнадцать — Европу. И вот его судно рулит навстречу необузданной роскоши Востока, к фантазмагорическим ночам других небес, к дурманящему сладострастию тропиков. И словно красное знамя анар-

---

\* «Пора в аду. Слова в бреде, II».

\*\* «Искательницы вшей» (фр.).

хии, веет над французской лирикой его бессмертное стихотворение «Пьяный корабль», великий мятеж красок, победа раскованных чувств. Это — низвергающийся водопад тесно переплетенных друг с другом картин, кипящая пучина, в которую, похоже, они сброшены с апокалиптических небес. Видения, смысл которых становится тебе ясным лишь некоторое время спустя; сначала же, ошеломленный, шатаешься от этих картин словно под ударами дубины.

Только в рисунках Уильяма Блейка найдешь подобные лихорадочные видения. Эти удивительные страны, водные просторы которых бороздят поющие рыбы, страны, над которыми раскинулись усеянные звездами цветущие небосводы, страны, где гигантских змей пожирают полчища клопов, где восходят серебряные солнца, о, эти грезы «поэмы океана», какой таинственный опий, какая сжигающая лихорадка создали все это?

И все же, тем не менее, эти картины как-то внутренне, некими сокровенными корнями связаны с живой жизнью. Испуганно, языком пламени над уничтожающим все на своем пути потоком лавы внезапно вырывается крик: «Je regrette l'Europe aux anciens parapets»\*. Предчувствие судьбы — вот глубочайшая сущность этого сновидения. Здесь во всей полноте проявилось последнее страстное желание поэта — быть ясновидящим, волшебником, который вылавливает сновидения будущего. Он знал их. Еще не прожитая им жизнь была описана им в этом и других его стихотворениях, она как бы высвечивалась сквозь матовые стекла.

Он знал о своей жизни за два десятка лет до того, как эти сны станут явью. Это — неслыханное торжество внутреннего предопределения, утонченнейшая возможность уже показать едва еще зарождающееся в художественном произведении. «Пьяный корабль» — одно из последних стихотворений Рембо. Дыхание творца было таким горячим, что воск в его руках

---

\* Я начал тосковать по гаваням Европы («Пьяный корабль». Пер. с фр. Д. Самойлова).

таял и не смог принять нужную художнику форму. Литература, искусство оказались слишком слабыми, чтобы полностью выразить невыразимое. И тогда он отбросил литературу, искусство. В восемнадцать лет.

Иные считают «безвкусным» то, что он не умер тогда — еще целая жизнь, еще двадцать лет как ненужный придаток прицепились к его жизни в литературе. Эти люди не понимают, как ограниченно, как «литературно» они думают. То, что поэт в восемнадцать лет создал подобные шедевры — не было чем-то единственным в своем роде. Новое здесь, если можно так сказать, только в возрастном рекорде. Китс — совершенно сложившийся поэт — умер в двадцать четыре года. Беспрецедентным в мировой литературе является пренебрежение художника к искусству, то, что он не отдался искусству, а рванул его к себе, совершил насилие над ним, а потом, когда искусство потеряло для поэта значение, отбросил его и никогда более им не интересовался; то, что он отрешился от последних иллюзий задолго до того, как другие поэты только осмеливались думать о них, и что он, подобно Фаусту, в решающий час мужественно зачеркнул «В начале было Слово» и взамен этой мысли решительно и нестираемыми красками начертил в Книге жизни: «В начале было Дело».

## СМЫСЛ И КРАСОТА РУКОПИСЕЙ

*Речь на книжной выставке в Лондоне*

Если я решаюсь говорить сегодня о красоте и смысле рукописей, то лишь потому, что в наши дни еще нет ясного представления ни о смысле, ни о красоте этих таинственных сокровищ. У других созданий искусства их смысл как бы выступает наружу, их красота не окутана покровом тайны. Например, картина, написанная мастером: нам нужно лишь подойти к ней, и наш глаз насладится ее формами, ее красками; ваза, искусно отделанная бронза, сверкающий узорами ковер, представ перед нами во всей обнаженной красоте, они тем

самым уже как бы исчерпали свою сокровенную сущность. Хрусталь, монеты, геммы — чтобы прийти в восхищение, достаточно бросить на них пристальный взгляд. Эти сокровища понимаешь и любишь, почти не задумываясь, так чарующе легко овладевают они нашими чувствами.

В сравнении с этим собрание рукописей почти ничего не говорит нашему взору. Да и чем иным может представиться оно нашим глазам, как не кучей запыленных, полуистлевших, запачканных листов бумаги, шелестящим ворохом писем, актов и документов, по-видимому, настолько бесполезных, что, останься они случайно там, где их нашли, чья-нибудь не в меру торопливая рука выбросила бы их как ненужный хлам.

И в самом деле, эта внешняя, кажущаяся неприметность рукописей явилась на протяжении столетий причиной бессмысленного уничтожения огромных ценностей. Рукописи Шекспира, его письма, заметки, величайшие и неизвестные нам музыкальные произведения, девять десятых всей античной литературы, многие драмы Софокла и Еврипида, строфы Сафо — все было уничтожено только потому, что смысл и красота этих священных страниц не были очевидными. Ибо для того, чтобы понять глубоко скрытое значение этих сокровищ, необходим внутренний интерес к ним. Только сердцу, а не грубым внешним чувствам может открыться красота и духовная ценность рукописей.

Не всякому дано вступить в их загадочное царство. Это может сделать лишь тот, кто овладел ключом к постижению их, кем движет нравственная сила — самая прекрасная, самая могущественная сила на свете — благоговение. Чтобы понимать рукописи, а поняв, полюбить их, чтобы удивляться им, приходиться от них в волнение и восторг, для этого нам надо сначала научиться любить людей, жизненные черты которых запечатлены в них навечно. Автограф Китса останется для нас обыкновенным исписанным листом бумаги до тех пор; пока лишь одно упоминание имени поэта не всколыхнет в нас благоговейное воспоминание о тех божественных стихах, которые мы некогда читали и которые столь же реальны и осязаемы

для нашей души, как и каждый дом этого города, как небо над ним, как облака и море. Чтобы ощущать смиренный трепет перед одним из листов, который находится здесь, — перед наброском «Лунной сонаты», — необходимо, чтобы эта серебряная мелодия уже однажды прозвучала в нас самих. Лишь когда мы относимся к поэтам, композиторам и другим героям духа и действия с чувством преклонения, нам открываются смысл и красота их рукописей.

Ибо поразительно двойственно наше внутреннее отношение к великим гениям человечества. С одной стороны, мы не сомневаемся, что они были величественнее, божественнее нас, обыкновенных, маленьких людей; мы сознаем, что они выше нас, и это внушает нам чувство глубочайшего уважения к ним. Но, с другой стороны, мы испытываем также и чувство тайного удовлетворения от сознания того, что эти божественные, гениальные творцы были такими же земными существами, как и мы, что они, которые выше нас по духу, жили среди нас, простых смертных, обитали в домах, спали в кроватях, носили платье, писали письма; и эта их будничность доставляет нам скромную радость, когда мы благоговейно сохраняем все, что напоминает об их земном бытии.

Горделивое сознание их земной близости к нам позволяет любить все, что ощутимо напоминает об их жизни, побуждает изучать написанные о них книги, собирать их портреты и воспоминания их современников; но ничто не раскрывает столь убедительно и блестяще их творческий облик, как их рукописи. Ибо в них отражено истинное лицо художника, и мы как бы проникаем в святая святых его существа — в его мастерскую. Гёте — сам один из этих бессмертных — понимал «бессмертную ценность» рукописей. В одном из своих писем он говорил: «Созерцая рукописи выдающихся людей прошлого, я как бы по волшебству становлюсь их современником. Подобные документы их жизни дороги мне если не так же, как портрет, то, во всяком случае, как желательное дополнение или замена такового».

Я вызвал из царства духов великого свидетеля, который под-



твердил свою любовь к рукописям на деле, коллекционируя их; но Гёте был не единственным, перед кем открылся этот волшебный мир. Иоганн Себастьян Бах хранил нотные рукописи Генделя, Бетховен — Моцарта, Шуман — Бетховена, а Иоганнес Брамс — всех их вместе. Эта удивительная цепь тянется через все времена, потому что именно тот, кто творит сам, испытывает истинное благоговение перед творчеством других, только художник способен понять и проявить любовь к этим изначальным и самым поразительным эманациям искусства.

Но эти мастера берегли бумаги своих духовных учителей и собратьев не только как реликвии; на собственном опыте они познали, что именно в рукописях, и только в них, сокрыта одна из глубочайших тайн природы, и, быть может, даже самая глубокая. Ибо из множества неразрешимых тайн мира самой глубокой и сокровенной остается тайна творчества. Здесь природа не терпит подслушивания. Никогда она не разрешает подсмотреть последний акт творения: ни то, как произошла земля, ни то, как возник маленький цветок, ни то, как зарождается стих и человек. Здесь она безжалостно, без всякого снисхождения опускает занавес. Даже поэт или композитор — тот, кто сам переживает процесс поэтического, музыкального творчества — не сможет впоследствии разъяснить тайну своего вдохновения.

Как только творение завершено, художник уже ничего не может сказать о его возникновении, о его росте и становлении: никогда или почти никогда он не сможет объяснить, как из его возвышенных чувств родилась та или иная волшебная строка или из отдельных звуков — мелодия, которые потом звучат века. Здесь, как сказал я, природа не терпит подслушивания, здесь она строго опускает свой занавес.

И единственное, что нам может поведать хоть немного, что способно хоть слегка приблизить нас к разгадке неуловимого процесса творчества, — это драгоценные листы рукописей. Подобно тому как охотник по малейшим следам находит зверя, так и мы иногда по рукописям — ибо они и есть следы

жизни, следы творчества — можем проследить за процессом созидания образа; вызывая у нас чувство глубочайшего уважения, они вместе с тем обогащают наши познания.

Вот, например, листок из записной книжки Бетховена, в котором запечатлено одно из таких прометеевских мгновений. Вдохновение почти никогда не посещало Бетховена за письменным столом, а всегда во время ходьбы, в движении. Крестьяне из окрестностей Вены часто с удивлением наблюдали за невысоким, страдающим одышкой человеком, который с непокрытой головой бродил по полям; они принимали его за помешанного; «Бормотун» — звали они его, потому что он, как безумный, всегда что-то бурчал себе под нос, гудел, кричал, пел, размахивая в такт руками. Внезапно остановившись, он доставал из кармана небольшую запачканную книжку и, царапая бумагу, грубым свинцовым карандашом наскоро записывал в нее несколько нот.

В этих торопливых строках как бы кристаллизировался первообраз, каким он родился — молниеносный, горячий; и вот на наших глазах совершается чудо: магическая сила рукописи внезапно открывает нам обычно незримый миг вдохновения, подобно тому как рентгеновские лучи делают видимым скелет человека, недоступный нашему взору. Дальше вы видите другие листки, на которых композитор развивает грубо набросанную первоначальную мелодию, отделяет ее, затем отвергает все сделанное и начинает все снова.

И от листка к листку вы с волнением следите, как менялось душевное состояние художника во время работы. Здесь ноты льются горячо и быстро, едва поспевая за порывом вдохновения; там они, словно споткнувшись, вдруг останавливаются, прерываются, возникают вновь и опять обрываются, и вы чувствуете: поэт, композитор не находят здесь нужного слова, мелодичного перехода. И как в волшебном зеркале отражается: здесь — утомленность, там — истощение, а в ином гневном росчерке — даже отчаяние, и затем снова взлет — теперь уже к последней, окончательной победе. И вот, наконец, засияло солнце седьмого дня, мир сотворен, труд завершен, последняя,

решающая формула найдена — это первая земная форма проявления бессмертного творения человечества: скерцо из Девятой симфонии или «Фиалка» Моцарта в окончательной собственноручной записи композитора.

В рукописи больше, чем в любом рассказе, в любой картине, отражена неувыдающая победа духа над материей. Вечно жива мысль Гёте: чтобы постичь произведение искусства, мало знать его в совершенстве, надо проследить, как оно создавалось; поэтому многие литературные, многие музыкальные произведения мы сможем, пожалуй, охватить во всей их глубине лишь тогда, когда с помощью медиума рукописей перенесемся в тот мир, где они созидались.

Рукописные документы позволяют нашей фантазии образно представить не только творческое состояние, но и исторически важные эпизоды жизни художника. Если уж человеческий ум, подстегиваемый фантазией, решился рассматривать каждый такой эпизод как нечто живое, то ни один из листов рукописей не покажется нам мертвой бумагой, шорох которой подобен шелесту опавших листьев.

Историческая рукопись обладает порой потрясающей силой, ибо несколько ее строк способны восстановить какую-нибудь сцену гораздо пластичнее, чем это могут сделать поэт или биограф. Взгляните, например, на письмо Бетховена, написанное им незадолго до смерти. Вот уже три месяца больной композитор не поднимается с постели; некогда крепкое и грузное тело стало немощным и легким, как у ребенка, его исхудавшая, бескровная рука уже давно не в силах написать ни строчки. Умиравший не подозревает о близости смерти, его одолевают мрачные заботы. Как ему жить, когда он уже не может творить, чем заплатить за квартиру? Но он знает, что там, далеко, по ту сторону Ла-Манша, есть страна, где его любят и почитают. Он получил приглашение от Лондонского филармонического общества: его ожидают концерты и деньги. Отчаявшийся, он призывает на помощь в надежде, что его крик услышат за морем, но его рука уже не в силах держать перо; письмо пишет его доверенный Шиндлер, вплоть до по-

следних потрясающих слов: «Я слишком устал, я больше ничего не могу сказать». Потом протягивает ему письмо в постель. С неимоверным напряжением, дрожащими, бессильными пальцами композитор выводит внизу «Бетховен»; это стоит ему больше усилий, чем соната или симфония. И эта дрожащая, полная мук подпись не может не потрясти каждого чувствующего человека, ибо эти буквы Бетховен писал уже не один: его пером водила смерть. В этих буквах словно окаменел крик души, охваченной глубочайшим страхом, незабываемое мгновение, сохраненное навеки этим листком бумаги.

И — какой поразительный контраст! — рядом лежит другой листок — брачное свидетельство Моцарта. В нем все дышит жизнью и весельем, юностью и счастьем, буквы будто пляшут в свадебном танце; да и мы знаем, что в этот день, едва вернувшись со свадьбы домой, Моцарт, как ребенок, пустился отплясывать вокруг стола вместе с молодой женой, потому что ему наконец-то удалось заполучить свою «женушку», несмотря на все препятствия и вопреки строгому отцу.

Так в одном листке несколько строчек вмещают в себя величайшее человеческое счастье, в другом — глубочайшее горе, и тому, кто умеет читать их не только глазами, но и сердцем, эти неприметные знаки скажут не меньше, чем очевидная красота книг и картин. Рукописи обладают магической силой, способностью вызывать в настоящее давно исчезнувшие образы людей; мимо этих листков проходишь как по картинной галерее, и каждый из них по-своему трогает и захватывает. Созерцая собрание рукописей художников, отделенных друг от друга пространством и временем или взаимной прижизненной неприязнью, невольно ощущаешь сквозь пространство и время различие их творческих обликов и вместе с тем священное многообразие, которым искусство умеет покорять наши сердца.

Вот крупный, размашистый, серьезный почерк Генделя. В нем чувствуется могучий, властный человек и как бы слышится мощный хор его ораторий, в которых человеческая воля облекла в ритм необузданный поток звуков. И как приятно отличается от него изящный, легкий, играющий почерк Моцарта,

напоминающий стиль рококо с его легкими и затейливыми завитушками, почерк, в котором ощущается сама радость жизни и музыка!

Или вот тяжелая львиная поступь бетховенских строк; вглядываясь в них, вы словно видите затянутое грозовыми облаками небо и чувствуете огромное нетерпение, титанический гнев, охвативший глухого Бога. А рядом с ним — какой контраст! — тонкие, женственные, сентиментальные строчки Шопена или полные размаха и в то же время по-немецки аккуратные — Рихарда Вагнера.

Духовная сущность каждого из этих художников проявляется в этих беглых строках отчетливее, нежели в длинных музыковедческих дискуссиях, и тайна, священная тайна их творческого «я» раскрывается полнее, чем в большинстве их портретов. Ибо рукописи, уступая картинам и книгам по внешней красоте и привлекательности, все же имеют перед ними одно несравнимое преимущество: они правдивы. Человек может солгать, притвориться, отречься; портрет может его изменить и сделать красивее, может лгать книга, письмо. Но в одном все же человек неотделим от своей истинной сущности — в почерке.

Почерк выдаст человека, хочет он этого или нет. Почерк неповторим, как и сам человек, и иной раз проговаривается о том, о чем человек умалчивает. Я вовсе не намерен защищать склонных к преувеличениям графологов, которые по каждой беглой строчке хотели бы состряпать гороскопы будущего и прошлого, — не все выдает почерк; но самое существенное в человеке, как бы квинтэссенция его личности, все же передается в нем, как в крохотной миниатюре. И если мы научимся так расценивать почерк, так его читать, то собрание рукописей станет для нас своего рода физиогномическим мироведением, типологией творческого духа.

Рукописи имеют, кроме того, и огромное моральное значение, ибо они великодушно напоминают нам о том, что произведения, которыми мы восхищаемся в их завершенном виде, являются не только благосклонными дарами гения, но и плодом тяжелого, взыскательного и самоотверженного труда. Они

показывают нам поля сражений, где происходили битвы человеческого духа с материей, извечную борьбу Иакова с ангелом; они уводят нас в глубь царства Созидания и заставляют нас вдвойне любить и почитать человека в художнике ради его священного труда. Все то, что направляет наш взор от внешнего к внутреннему, от тленного к вечному, благословенно, и потому мы должны относиться к этим внешне неприметным листам с еще большим благоговением из-за их внутренней красоты, ибо нет более чистой любви, чем любовь к духовно прекрасному. Все остальное проходит, лишь она одна длится вечно, как сказал поэт: «A thing of beauty is a joy for ever»\*.

## БЛАГОДАРНОСТЬ КНИГАМ

Они здесь — ожидающие, молчаливые. Они не толпятся, не требуют, не напоминают. Будто погруженные в сон, безмолвно стоят они вдоль стены, но имя каждой смотрит на тебя подобно отверстому оку. Когда ты пробегаешь по ним взглядом, касаешься руками, они не кричат тебе умоляюще вслед, не рвутся вперед. Они не просят. Они ждут, когда ты откроешься им сам, и лишь тогда они открываются тебе.

Сначала тишина: вокруг нас, внутри нас. И наконец, ты готов принять их — вечером, отринув заботы, днем, устав от людей, утром, очнувшись от сновидений. Под их музыку хочется помечтать. Предвкушая блаженство, подходишь к шкафу, и сто глаз, сто имен молча и терпеливо встречают твой ищущий взгляд, как рабыни в серале взор своего повелителя — покорно, но втайне надеясь, что выбор падет на нее, что наслаждаться будут только ею. И когда твои пальцы, как бы подбирая на клавиатуре звуки трепещущей в тебе мелодии, останавливаются на одной из книг, она ласково принимает к тебе — это немое, белое создание, волшебная скрипка, таящая в себе все голоса неба.

И вот ты раскрыл ее, читаешь строчку, стих... и разочаро-

---

\* «Прекрасное пленяет навсегда...», Джон Китс, «Эндимион».

ванно кладешь обратно: она не созвучна настроению. Движешься дальше, пока не приблизишься к нужной, желанной, и внезапно замираешь: твое дыхание сливается с чужим, будто рядом с тобой любимая женщина. И когда ты подносишь к лампе эту счастливую избранницу, она словно озаряется внутренним светом. Колдовство свершилось, из нежного облака грез возникает фантасмагория, и твои чувства поглощает беспредельная даль.

Где-то слышится тиканье часов. Но не часами измеряется это ускользнувшее от самого себя время, здесь ему иная мера; вот книги, которые странствовали многие века прежде, чем наши губы произнесли их имя, вот — совсем юные, лишь вчера увидевшие свет, лишь вчера порожденные смятением и нуждой безусого отрока, но все они говорят на магическом языке, все заставляют сильнее вздыматься нашу грудь. Они волнуют, но они и успокаивают, они обольщают, но они и унимают боль доверившегося сердца. И незаметно для себя ты погружаешься в них, наступает покой и созерцание, тихое парение в их мелодии, мир по ту сторону мира.

О вы, чистые мгновения, уносящие нас из дневной суеты, о вы, книги, самые верные, самые молчаливые спутники, как благодарить вас за постоянную готовность, за неизменно ободряющее и окрыляющее участие!

В мрачные дни душевного одиночества, в госпиталях и казармах, в тюрьмах и на одре мучений — повсюду вы, всегда на посту, дарили людям мечты, были целебной каплей покоя для их утомленных суетой и страданиями сердец! Кроткие магниты небес, вы всегда могли увлечь в свою возвышенную стихию погрязшую в повседневности душу и развеять любые тучи с ее небосклона.

Крупницы бесконечности, молча выстроившиеся вдоль стены, скромно стоите вы в нашем доме. Но едва лишь рука освободит вас, сердце прикоснется к вам, как вы отворяете нашу земную обитель, и ваше слово, как огненная колесница, возносит нас из тесноты будней в простор вечности.



## ИЗ КНИГИ «ВРЕМЯ И МИР»

### ПОЕЗДКА В РОССИЮ

#### МЕСТНОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

**М**ожно ли представить себе поездку в нашем мире хотя бы приблизительно такую же интересную, привлекательную, поучительную и волнующую, как поездка в Россию? Если Европа, и особенно ее столичные города, находится сейчас — в соответствии с духом времени — в процессе неудержимого взаимоуподобления и унифицирования, Россия остается непохожей на другие страны. Не только глаза, не только эстетические ощущения оказываются в плену постоянного удивления этой неизменившейся архитектоникой, этой незнакомой европейцу сущностью народа, но и духовные понятия формируются здесь из другого прошлого в другое будущее.

На каждом углу улицы, при каждом разговоре, при каждой встрече тебе настоятельно навязываются важнейшие вопросы социально-духовной структуры, ты постоянно чувствуешь себя занятым, ты возбужден, одновременно восторгаешься и сомневаешься, непрерывно разрываешься между удивлением и раздумьями. И за каждый час у тебя накапливается такое огромное количество наблюдений и мыслей, что кажется, о десяти днях жизни в России можно написать целую книгу.

Так в последнее время и поступили очень многие европейские писатели, я завидую их отваге. Ибо умны они или недалеки, лживы или правдивы, осторожны в своих суждениях или беспепелляционны, все они роковым образом похожи на тех американских репортеров, которые после двухнедельного во-



яжа позволяют себе состряпать книжонку о Европе. Тому, кто не силен в русском языке, кто был только в столицах России, то есть видел всего лишь два глаза русского исполина, кто, кроме того, не бывал в этой стране до революции и не может сравнить новые порядки с порядками царской России, честнее было бы отказаться от предсказаний и патетических откровений. Он может поделиться своими впечатлениями, красочными, мимолетными, такими, какой страна запомнилась, но не давать оценок, не предъявлять претензий к России, не преувеличивать, не извращать и, прежде всего, не лгать.

### ГРАНИЦА

В Негорелом — первая русская земля. Уже поздний вечер и так темно, что невозможно разглядеть ни знаменитого красного вокзала, ни лозунга над ним — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но и ужасных, вооруженных до зубов красноармейцев, так живописно представленных в виде опереточных разбойников побывавшими здесь иностранцами, я при всем моем желании разглядеть тоже не могу. Встретили нас несколько человек в военной форме, интеллигентно выглядывших, очень доброжелательных, без винтовок и другого оружия. Деревянное строение пограничной станции ничем не отличается от пограничных станций во всем мире, разве что лишь вместо влиятельных особ тех стран на тебя со стен смотрят портреты Ленина, Энгельса, Маркса и некоторых других советских вождей. Уже с первых минут на русской земле понимаешь, сколько лжи и преувеличений еще пишется о России. Досмотр вещей здесь не строже, обращение с приехавшими не грубее, чем на любой другой границе. И вот, совершенно без какого-либо перехода мы внезапно оказываемся в совершенно новом мире.

И все же мне врезалось в память впечатление, одно из тех первых впечатлений, провидчески дающих увиденному именно ту оценку, которая позже полностью подтвердится. Нас, пересекших сегодня границу России, всего тридцать — сорок

человек, причем половина проедет страну не задерживаясь — это японцы, китайцы, американцы, спешащие манчжурским поездом попасть домой; остальные, пятнадцать — двадцать человек, приехали в Россию. Этот наш поезд — единственный в сутки, он связывает людей из Лондона, Парижа, Берлина, Швейцарии, из всей Европы с сердцем России, с ее столицей Москвой.

Непроизвольно вспоминаю — многие тысячи, десятки тысяч людей ежедневно въезжают в наши маленькие страны, выезжают из них, здесь же, в эту огромную страну, на этот континент приехало всего два десятка человек. Две-три железнодорожные колеи, связывающие Россию с европейским миром, почти совершенно не используются. Вспоминаются пограничные станции Европы во время войны, когда такие же маленькие, многократно просеиваемые горстки людей пересекали невидимую линию, отделяющую государство от государства, и находишь нечто схожее с теперешней ситуацией: Россия, хозяйственная и военная территория, крепость, со всех сторон изолирована от нашего иначе построенного мира неким подобием континентальной блокады, вроде той, которой Наполеон обложил Англию.

Сделав какую-нибудь сотню шагов — от входа в станционное помещение к его выходу, мы преодолеваем невидимую стену.

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РУССКОЕ ВРЕМЯ

Еще до того, как поезд тронулся с места и пошел к Москве, дружелюбный попутчик напомнил мне, что надо перевести часы на час — с западноевропейского на восточноевропейское время. Но скоро я пойму, что это быстрое, незаметное движение руки, этот маленький поворот заводной головки часов окажется недостаточным. Приехавшему в Россию человеку придется не только переводить стрелку часов на час, ему надо будет переналаживать также свои чувства, менять свои представления о времени и пространстве. Ибо в этой стране все воспринимается в других масштабах, все имеет другой вес.

Начиная с границы цена времени стала стремительно падать, отношение к расстояниям — сильно меняться. Километры считают здесь не сотнями, а тысячами; двенадцатичасовая поездка — всего лишь экскурсия, поездка, занимающая трое суток, — сравнительно короткая. Время — все равно что медные деньги, их здесь никто не собирает и не ценит. Опоздание на какой-нибудь час при заранее оговоренном времени свидания — проявление учтивости, четырехчасовая беседа — всего лишь короткий обмен мнениями, официальная речь на полтора часа — небольшое выступление.

Но за сутки нахождения в России внутренне адаптируешься и привыкаешь к такому. Уже не удивляешься тому, что знакомый едет из Тифлиса трое суток, чтобы пожать тебе руку, и ты сам, восемь дней спустя, так же невозмутимо предпримешь — полагая это, естественно, пустяком — четырнадцатичасовую поездку, чтобы сделать подобный же «визит», и всерьез станешь подумывать, а не съездить ли на Кавказ, потратив на это всего-то шесть суток.

У времени здесь другая мера, пространство здесь имеет другую меру. Быстро учишься — как рубли и копейки — считать эти новые ценности, учишься ждать и опаздывать. Транжиря время, не ворчишь и постепенно интуитивно приходишь к пониманию тайны русской истории и русского характера. Ибо великая сила и опасная слабость этого народа заключается прежде всего в его чудовищной способности ждать, в непостижимом для нас терпении, таком же огромном, как русская земля. Это терпение пережило века, оно одолело Наполеона и царскую власть, с ним следует считаться и сейчас, как с мощнейшей несущей опорой новой социальной структуры этого мира.

Ни один европейский народ не вынес то, что вытерпел этот, вот уже тысячу лет привыкший страдать и терпеть, пожалуй, даже счастливый своей горькой судьбой: пять лет войны, затем две-три революции, потом кровавая гражданская война на севере, юге, востоке и западе одновременно, прокатившаяся от города к городу, от деревни к деревне, наконец, еще жесто-

кий голод, жилищный кризис, экономическая блокада, отчуждение частной собственности — совокупность страданий и мученичества, перед которыми должны благоговейно склониться наши чувства. Все это Россия смогла вынести лишь благодаря присущей этому народу черте характера — пассивности, благодаря таинственной способности беспредельно страдать, благодаря одновременно ироническому и героическому, благодаря этому стойкому, упорному и в глубине своей религиозному терпению, этой первобытной и ни с чем не сравнимой силе.

### УЛИЦА, ИДУЩАЯ ОТ ВОКЗАЛА

Еще в поезде, после двух ночей и дня пути, бросаешь взволнованный первый любопытный взгляд через дребезжащие стекла вагонного окна на улицу. В новую столицу внезапно влилось очень много людей, ее дома, ее площади, ее улицы кишат ими, кипят от привнесенного этими людьми бурного оживления. По неровной мостовой быстро едут извозчики в небольших возках с впряженными в них милыми взъерошенными лошадаками. Пронесются трамваи, обвешанные гроздьями не попавших в вагон людей, женщины в маленьких деревянных ларьках, словно на ярмарке, среди этого шума и гама обстоятельно торгуются, предлагают пешеходам свои яблоки, дыни, разную мелочь. Все это мелькает, теснится, толчется в совершенно несвойственном России ритме.

Но, несмотря на эту необычайную оживленность, чувствуешь в улице что-то ущербное. Над ней скапливается нечто угрюмое, серое, призрачное — присмотришься и видишь, все это исходит от домов. Они стоят над поражающим воображение фантастическим оживлением, состарившиеся, измучившиеся, морщинистые, с запавшими щеками, подслеповатые — с грязными стеклами окон; вспоминается Вена 1919 года. Штукатурка с фасадов домов обвалилась, краска у оконных рам потеряла свою свежесть и местами облупилась, подъезды, ворота — полуразрушены. Не было ни времени, ни

средств все это отремонтировать, освежить, о домах просто забыли, поэтому и выглядели они такими мрачными и состарившимися. А здесь — и это особенно впечатляет — в то время как улица живет, шумит, бурлит, дома безмолвствуют.

В больших городах Европы дома жестикулируют, кричат, витрины магазинов сверкают, привлекают грудой товаров, игрой красок, забрасывают арканы рекламы, чтобы поймать проходящего, заставить задержать хоть на мгновение его взгляд на фантастически ярких витринах за зеркальными стеклами. Здесь же магазины стоят совершенно тихо, они немые и полутемные, никаких изощренных украшений в торговых помещениях, никаких нагромождений товаров, на унылых витринах — несколько скромных предметов (ведь предметами роскоши торговать здесь запрещено). Им, этим магазинам, стоящим рядом и напротив, нечего ссориться друг с другом, бороться, соревноваться, так как принадлежат они одному владельцу — государству, и необходимые вещи не должны искать покупателей, покупатели сами ищут их; ведь только роскошь, то, что, собственно, не больно-то нужно, *le superflu\**, как назвала это французская революция, должна себя рекламировать, должна бежать за проходящими мимо, хватать их за рукав, действительно же необходимое (а другого в Москве нет) не требует никаких призывов, никаких фанфар.

Это придает московской улице (да и всем другим в России) своеобразную, роковую серьезность, ее дома немые и сдержанные, они являют собой лишь мрачные, серые, высокие каменные блоки, между которыми движутся потоки людей. Объявления редки, редки и плакаты, а широкие полотнища, что обрамляют крытые пассажи, здания вокзалов, не рекламируют изысканные кушанья и вина, парфюмерию, роскошные комфортабельные автомобили, а призывают повысить производительность труда, не расточительствовать, соблюдать дисциплину, быть организованными.

И здесь, как я это уже заметил с первого взгляда, чувству-

---

\* Излишнее (фр.).

ется решительная воля защищать некую идею, жестоко и интенсивно направлять сконцентрированную энергию в область экономики. Красивой ее не назовешь, московскую лицу, она не похожа на пуантилистски сверкающие, брызжущие красками, богато освещенные, заасфальтированные магистрали наших европейских городов, но она более оживлена, более драматична и, в некотором смысле, судьбоносна.

#### МОСКВА. ВИД С КРЕМЛЯ

Потребовались дни, чтобы получить разрешение войти через постоянно охраняемые ворота этой древней крепости, которая полтысячи лет была резиденцией царей, а теперь стала резиденцией новых властелинов. Мы увидели волшебной красоты церкви с удивительными светлыми и темными фресками, украшающими их по всей высоте, роскошные парадные покои, а потом опять соборы, один и другой, стоящие плотно друг возле друга. Мы прошли через бесчисленные залы, в которых были собраны сокровища искусства многих поколений, оружие и художественные произведения этой необъятной страны. Глаза устают, чувства притупляются от созерцания такого огромного собрания, чтобы обозреть его, потребуется, пожалуй, целая жизнь; мы прервали истощающие духовные силы путешествие в мир безмерно богатого русского искусства и решили посмотреть со стен Кремля на Москву, наверно, самый удивительный и своеобразный город мира.

Возможно, именно здесь, на этом месте стоял Наполеон, великий безумец, приведший сюда шестьсот тысяч солдат из Франции и Испании через Германию, Польшу, через бескрайние степи без единого дерева, без воды. Его манил обманчивый свет Востока, ради этого света он бросил Париж, отправился сюда, преодолев пятидесятидневный путь. Здесь, в Кремле, у его ног развернулось страшное зрелище — горящий город. Это было, вероятно, поразительное зрелище.

Город ошеломляет и сейчас. Варварская мешанина, бесплановая неразбериха стародавних времен и нынешние по-

стройки сделали его еще живописнее. Выкрашенные в ярко-красный цвет барочные соборы расположены рядом с бетонным небоскребом, широко раскинувшиеся дворцовые строения — рядом со скверно побеленными деревянными домишками, со стен которых обваливается штукатурка; полувизантийские, полукитайские церкви с луковичными куполами притались за гигантскими эйфелеобразными силуэтами радиоантенн, дворец — скверное подражание строениям эпохи Возрождения — соседствует с кабаком. И между всем этим — справа и слева, спереди и сзади, всюду церкви, церкви с их поднимающимися вверх башенками, сорок сороков, как говорят русские, но каждая отличается от других цветом, формой, ярмарка всех стилей, чудовищно перемешанная фантастическая выставка всех архитектурных форм и колоритов.

Ничто не соответствует друг другу в этом построенном без плана, пожалуй, самом импровизированном городе, но именно эта повсеместная разбросанность противоположностей делает его поразительным. Гуляешь по улице, сделал сотню шагов и думаешь, что находишься в Европе, а дошел до угла и кажется, что тебя занесло в Испагань\*, на базар, в татарское, в монгольское. Вошел в церковь — отдыхаешь в средневековой Византии, переступил порог нового здания телеграфа — совершил прыжок в современный Берлин. Золоченые купола расточительно отражаются в битых оконных стеклах стоящих напротив деревянных домов-развалюх; с черного хода такого убогого дома выходишь мимо грязной помойки, кудахтающих кур и вонючего отхожего места на улицу, звенящую трамваем, и оказываешься перед музеем, в хорошо содержащихся залах которого хранятся сокровища Западной Европы. Ничто не соответствует друг другу, этот город грозит и опьяняет, он подобен чудовищной атональной симфонии, в которой смешались самые смелые диссонансы и самые резкие ритмы. Не решусь утверждать, что он кому-нибудь нравится, этот своеобразный город, он более чем красив, он незабываем.

---

\* Испагань — старое название иранского города Исфаган. — *Примеч. пер.*

Эту прямоугольную площадь, сердце Москвы, так называют вот уже тысячу лет из-за искусно выложенной вокруг Кремля зубчатой стены. Одной своей стороной площадь ограничена этой стеной. Противоположная сторона площади образуются фасадами торговых помещений и складов; некогда здесь стояли бесчисленные лавки купцов, создавших богатство и славу Москвы. Со стороны площади Кремль охраняют широкие сводчатые ворота, слева на узкой стороне площади поднимается пестрый пятибашенный храм Василия Блаженного из разноцветного камня со сверкающими луковичными крышами, поразительное сооружение, не имеющее себе равных, по-восточному — фантастическое, по-западному — продуманно архитектурное, храм этот представляет собой сочетание византийских, итальянских, древнерусских и даже буддистско-пагодистских форм. Он — ценнейшая жемчужина города, и ничто не славит его больше, чем страшная легенда об Иване Грозном, который в благодарность за высокое мастерство приказал ослепить строителя, чтобы он не смог построить второй такой храм.

Площадь эта с древнейших времен была сердцем России. Здесь пересекались торговые пути из стран норманнов и Ингерманландии\* в Византию, сюда торговцы с Востока привозили пушнину и скот. Здесь гунны и татары взнуздывали коней на смотрах своих войск. Здесь в торжественной процессии шествовали первые цари на коронацию в Кремль. Еще сохранилась круглая каменная площадка, на которой рубили головы восставшим стрельцам и где лежал окровавленный труп Лжедмитрия; и именно здесь, где из маленького городка, из ничтожного удельного княжества выросла и расцвела огромная, каких свет не видывал, империя, — именно здесь советское правительство проводит тщательно подготовленные парады и демонстрации. Здесь стояла трибуна, с которой

---

\* Ингерманландия — шведское название Ижорской земли, расположенной между озером Ладогой, рекой Невой и Финским заливом. — *Примеч. пер.*



Троцкий трескучими словами призывал крестьян и солдат к отчаянной борьбе, здесь похоронены вожди народа, борцы за дело большевиков, а в «братских могилах» вдоль кремлевской стены — рабочие, павшие за него. Здесь же покоится в особом здании, в сердце этой площади, сердце русской революции — тело Ленина.

Днем на площади множество людей и автомобилей, стоишь, и взгляд твой не может насытиться видом этого сверкающего храма, строгими стенами Кремля, не оторвать его от потрясающе выразительного ряда могил, расположенных здесь, в центре города, являющих собой великолепный символ благодарности и победы. Если в Вене или Берлине к могилам павших на баррикадах в дни мартовской революции\* следует добираться много часов, а в Париже могил народных вождей просто не разыскать, здесь и в Ленинграде, вместо какого-нибудь каменного сооружения или патетических памятников, могилы на центральных площадях — самый могучий и благородный призыв к памяти, самая глубокая благодарность, какую только можно себе представить. Подобно тому как в прежние времена базилика или собор, теперь эти могилы без пафоса, без пышности свободно формируют под открытым небом религиозный центр города.

Это гениальное понимание важности подать идею впечатляющим зрелищем присуще революционному правительству и используется им очень широко. Правительство предписало, чтобы во всех общественных местах, в театральных фойе, на вокзалах были огромные фотографии или скульптурные изображения непоколебимого Ленина: вот он говорит, выбросив руку вперед, словно сгусток энергии, вот председательствует на ответственном заседании, вот сидит веселый или смеющийся, в скромном пиджаке и крестьянской шапке среди своих сподвижников.

Всюду и везде — красный жезл милиционера, красная фуражка трамвайного кондуктора, высеченный на камне серп —

---

\* Имеется в виду революция 1848 г. — *Примеч. пер.*

постоянно напоминают новое время. Но нет более величественного, более потрясающего зрелища, чем эта площадь. Даже тогда, когда тени смазывают все контуры, мавзолей Ленина стоит словно черный камень в ужасающе пустой темноте сентябрьской ночи, ты видишь там, высоко наверху, над прежней резиденцией царей, развевающийся яркий пылающий красный флаг Советов. Гениальная находка художника — этот пурпурный колыхающийся кусок материи освещается снизу, и даже в непроглядной ночной темноте видишь лишь красное пламя, это красное пламя, светящееся высоко над безлюдной площадью, над могилами, над старой крепостью и торговыми рядами, и — далеко от Москвы — над всей русской землей — счастливая мысль руководства создать что-то эффектное, показное обернулась созданием величественного символа — маяка, указывающего путь к новому времени.

#### СТАРАЯ И НОВАЯ СВЯТЫНИ

В сорока шагах друг от друга находятся старая и новая святыни Москвы, икона Иверской богородицы и мавзолей Ленина. Старая закоптелая икона стоит, нетревожимая, и сейчас, как несчетные годы до этого, в маленькой часовенке между двумя воротами, ведущими из Кремля на Красную площадь. Бесчисленные толпы людей приходили ранее сюда, чтобы на несколько минут благоговейно пасть ниц перед иконой, поставить свечку, произнести молитву перед Чудотворной. Теперь же поблизости висит плакат новых властей, на нем написано: «Религия — опиум для народа». Но старая народная святыня осталась невредимой, подойти к ней может всякий и постоянно можно видеть нескольких старушек, стоящих на каменных плитах возле нее, на коленях, погруженных в молитву, последних людей — старым сердцем и старыми убеждениями привязанных к Чудотворной.

Можно увидеть несколько старушек... но немногих, ибо теперь огромное количество людей поклоняется новой святыне — могиле Ленина. В громадной, образующей шесть или

семь петель очереди стоят люди: крестьяне, солдаты, городские женщины, крестьянки с детьми на руках, торговцы, матросы — весь народ с беспредельных просторов России пришел сюда, желая еще раз посмотреть на своего судьбой данного вождя, уже умершего, но как бы живого.

Терпеливо стоят эти сотни, тысячи людей перед современным, пожалуй, несколько коробкообразным, очень простым и симметричным строением из кавказского красного дерева, ничем не украшенным, лишь пять букв на фасаде — ЛЕНИН. И чувствуешь, здесь проявляется та же набожность того же фанатически верующего народа, которая бросает человека на колени перед иконой Божьей матери: умелая рука энергичным движением повернула толпу из сферы религиозной в сферу социальную — не церковную святыню следует почитать народу, а вождя. Но, в сущности, это одно и то же: сила веры русского народа обдуманно полностью переключается с одного символа на другой, от Христа к Ленину, от народного бога к мифу о единственно правом и правящем народе-боге.

Какое-то время колеблешься, стоит ли спускаться в мавзолей, так как знаешь, что там в гробу под стеклом покоится тело Ленина, забальзамированное с применением современных технических средств, содержится в условиях, создающих страшную иллюзию живого человека. И ты боишься либо увидеть нечто из времен средневековой Византии, либо экспонат паноптикума, музея всяких «диковин». И должен сознаться, что мысль об утонченной химической имитации жизни, выполненной для всеобщего обозрения давно умершего человека, была мне неприятна.

Все же я наконец решил и молча, вместе с другими, тоже молчащими, спустился в ярко освещенную крипту, украшенную советскими символами, чтобы, медленно двигаясь (никто не должен останавливаться), обойти с трех сторон стеклянный гроб. И как бы сильно все еще мои чувства ни противились этому зрелищу, как чему-то совершенно противоестественному, а также тому, что общественный строй корректирует,

подправляет природу, зрительное впечатление осталось незабываемым.

Укрытый по грудь, как будто спящий, Ленин покоится на красной подушке. Руки его лежат на покрывале. Глаза закрыты, эти небольшие серые, известные всем по бесчисленным фотографиям и картинам, страстные глаза, губы некогда прекрасного оратора плотно сжаты, но и в этом сне облик таит в себе силу, она — в гранитном выпуклом лбе, в собранности и спокойствии полных энергии нерусских черт.

Давит тревожная тишина в зале, ведь крестьяне, солдаты с шапками в руках, в тяжелых сапогах, сдерживая дыхание, проходят без малейшего шума, еще более потрясает взгляд женщин, робко, с благоговением смотрящих на этот фантастический гроб, — величественно и единственно в своем роде это торжественное шествие Молчания тысяч и тысяч людей, часами стоящих в очереди, чтобы в течение минуты посмотреть на человеческий образ уже ставшего мифом вождя и освободителя.

Не для нас, эстетические чувства которых сопротивляются созерцанию вновь и вновь подкрашенного лица мумии, а для народа придумано это зрелище, для народа, столетия верящего тому, что к его святым неприменим закон земного тления, верящего, что от прикосновения к их мощам может произойти чудо, может быть дано знамение. И здесь, обладая непогрешимым инстинктивным пониманием силы массового воздействия, новое правительство опиралось на древнейшее и поэтому самое действенное свойство русского народного духа.

Оно очень правильно почувствовало: именно потому, что марксистское учение само по себе материально, немистично, логично и совершенно лишено понимания искусства, его, это учение, следует преобразовать в мифическое, наполнить религиозным содержанием. Поэтому советская власть теперь, через десять лет, создала из своих вождей легенды, из людей, павших за дело революции, — мучеников, из своей идеологии — религию, и, вероятно, эта их психологическая стратегия особенно убедительной представляется здесь, на этой пло-

щади, где в какой-то полусотне шагов и одновременно в духовном плане бесконечно удаленные друг от друга находятся две святыни русского народа, два места его паломничества — часовенка с иконой Иверской Божьей матери и мавзолей Ленина.

## МОСКВА. МУЗЕИ

Удивительно, но каждого, возвращающегося из России, прежде всего спрашивают, видел ли он новых богачей, нэпманов, людей, извлекших из революции пользу. Вероятно, мне не повезло, мне не встретился ни один такой. Впрочем, нет. Я увидел в России тех, кто в революцию получил огромные богатства, — это музеи. Последовательная, тотальная конфискация революцией частных собраний предметов искусства превратила их в князей и магнатов. Дворцы, бесчисленные монастыри, частные особняки были разом «очищены», а наиболее богатые из них стали музеями, так что количество музеев очень возросло, может быть, даже в десять раз.

Из-за неожиданного, столь могучего потока поступлений старые музеи оказались переполненными до краев, они нуждаются в средствах для расширения существующих площадей, для строительства новых зданий и не знают, что им делать, куда девать новые экспонаты. Всюду в стены вбиваются гвозди, перевешиваются картины, пересчитываются, инвентаризуются новые поступления, всюду директора приносят извинения за то, что могут показать лишь небольшую часть уже развешанных картин, и ведут в помещения, где неизвестные сокровища ждут экспозиции; прошло уже десять лет, а все еще нет полного представления об огромных богатствах, влившихся вследствие их национализации в музейные залы.

Дело политики — восхищаться насильственными реквизициями частных собраний предметов искусства в пользу народа или порицать их, но иностранец, поклонник искусства фактические результаты этой акции воспринимает, безусловно, с большим удовлетворением. И дело здесь не только в том, что

всем этим огромным богатством, до сих пор скрытым и невидимым в княжеских покоях, в монастырях, теперь может любоваться каждый, но и в том также, что история искусств благодаря такой чрезвычайной концентрации предметов искусства получила на десятилетия вперед мощный импульс для переосмысления существующих концепций и их обогащения.

В этом плане одно из следствий выявилось уже сейчас. В поле зрения искусствоведов появились иконы и, тем самым, древнее русское искусство. Тысячи церквей и монастырей, доступные для посещений лишь немногим, владели иконами, потускневшими в блеске окладов, выложенных драгоценными камнями, задохнувшимися за цветастыми занавесами с богатым шитьем, покрытыми сажей, заляпанными воском свечей, что ставили подле них верующие. И стали эти иконы какой-то темной живописью, живописью черных богородиц, темных святых, близкой к испанскому мрачному, лишенному радости искусству. Теперь же собранные в Историческом музее тысячи икон, одна за другой очищенные от копоти и грязи, принявшие свой первоначальный вид, совершенно неожиданно оказались светлыми, радостными, многоцветными, как платки русских крестьянок, ясными, словно небо над Босфором, откуда они впервые появились. Теперь вместе с удаленными с них черными струпами грязи покончено с пренебрежением к ним, с ложными взглядами на них, и когда вскоре старые храмы (а эти работы уже начинаются) станут систематически осветляться и темным фрескам будут возвращены их прежняя наивность и радость красок, то изумленная Европа поразится совершенно новому для нее явлению искусства, подобно тому как в свое время она поразилась, открыв, что скульптуры греков первоначально были многоцветными, а их храмы — не беломраморными и холодными, а пленяли яркой сумятицей красок.

Нас ожидают еще многие подобные открытия, вызванные внезапной концентрацией произведений искусства и их экспонированием; уже в Третьяковской галерее можно увидеть совершенно неожиданную коллекцию нам незнакомых, вели-

колепных русских произведений живописи. Но о чем я не догадывался и что иностранцев, возможно, в своем большинстве удивит, так это то, что нигде, разве что только в Париже, можно увидеть такое представительное собрание французских импрессионистов, как в Москве; национализация двух знаменитых собраний — Морозова и Щукина позволила нам увидеть тридцать картин Ван Гога, лучшие картины Мане, Курбе, Гогена и вдобавок к этому всю современную живопись до 1914 года. Чтобы хотя бы пробежаться по выставкам сорока или пятидесяти музеев Москвы, потребуются недели и месяцы, так они теперь заполнены и, пожалуй, переполнены экспонатами; нигде, как в области искусства, так осмысленно, так счастливо не проявляется марксистская мысль — все должно принадлежать всем.

И действительно, уверенность, что все эти сокровища духовно чуждого и одновременно незнакомого им мира даны им и им принадлежат, вызвала у масс едва ли не религиозное уважение к музеям. Музеи постоянно полны посетителями, крестьяне, солдаты, женщины из народа, десяток лет понятия не имевшие о том, что такое музей, все они большими благоговейными группами ходят по выставочным помещениям, и трогательно смотреть, как осторожно и уважительно они ступают по паркету в своих тяжелых сапогах, с какой почтительностью стоят перед произведениями искусства в группах с добровольными экскурсоводами, полные желания узнать как можно больше. И великой гордостью директора музея, экскурсовода и народа является то, что в противоположность французской революции, которая, разрушая и грабя церкви, расхищала художественные ценности, русская (во всем остальном — более жесткая и радикальная) ни одного значительного произведения искусства не разрушила, не уничтожила.

Этому спасению музейных ценностей в ужасные дни переворота Россия, а вместе с ней и все поклонники искусства обязаны энергии некоторых вождей революции, и прежде всего Луначарского, но не менее также тихой, невидимой и тем

не менее героической и жертвенной работе отдельных безвестных музейных работников.

В то время как власть переходила из одних рук в другие, в то время как на улицах строчили пулеметы, эти никому не известные герои, плохо оплачиваемые и забытые, голодающие и мерзнувшие в неотопливаемых помещениях при десяти градусах ниже нуля, охраняли эти безмерные ценности, защищали их, приводили в порядок, сберегли их для человечества. Никто не знает, никто не сможет назвать имена этих беззаветно преданных своему делу и глубоко порядочных людей, никто еще не написал историю их лишений и самопожертвования, только будущее будет благодарно им за незаметное в разрушительном перевороте социальной жизни деяние по спасению сокровищ.

#### ГЕРОИЗМ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Больше всего тронул и потряс меня в России героизм русских интеллигентов. Пролетариат, закабаленное крестьянство — сто сорок миллионов человек пришли к власти, возвысились и освободились. Готовый к страданиям и, пожалуй, счастливый этим страданием, народ принял на себя безмерные лишения, нужду и тягостный труд без предела, но и сейчас, еще ограниченный во всем, обходясь минимумом, он поддерживает себя чувством, что движется к более высокому уровню жизни, торжествующим сознанием своей пролетарской свободы. А вот уровень жизни интеллигентов выше не стал, больших свобод они не получили, напротив, они оказались в более тягостных условиях существования, в более тесных рамках пространственной и духовной свобод. Они и сейчас, вероятно, совершенно незаслуженно, горько расплачиваются за этот переход в новую социальную структуру.

В этом нет злого умысла властей, просто обстоятельства естественно сложились так жестоко по отношению к интеллигенции. Для них, так же нуждающихся в пространстве и покое, как и в пище, власть изобрела плетку, которую и мы в



послевоенные годы почувствовали на своей шкуре, — жилищный кризис. Но здесь это уже не просто плетка, а плетка-трехвостка, жилищный кризис, для наших европейских представлений совершенно непереносимый, загоняющий людей целого вагона в квартиру средних размеров.

Пять семей у одной плиты и с одним клозетом — совсем не редкость, одна-единственная изолированная комната с кухней для семьи из четырех человек — счастливый случай, которому можно позавидовать. То, что в Вене в тяжелые годы чуть ли не считали адом, было бы здесь чистилищем, а для иных — почти раем. Ибо Москва растет с дьявольской скоростью, вдруг объявленная столицей стасорокамиллионной страны, переполненная государственными учреждениями и при этом испытывающая большие трудности со строительными рабочими, она страшно переутомлена. (Ведь и до революции в Москве с жильем было неблагополучно.) И этот кризис, естественно, с особой силой ударил по интеллигенции, которой, как кислород, для духовной деятельности необходимо пространство, уединение.

Но восхищает хладнокровие и невозмутимость, с которыми люди выносят эту стесненность, я не перестаю поражаться этому невероятному русскому терпению, характерному и для простого народа, и для самых духовно утонченных его представителей — интеллигентов, художников. Я побывал у большого ученого в квартире, не имеющей кухни и состоящей из одной комнаты и крошечного помещения рядом. Семья — четыре человека. Итак — кабинет, столовая, общая комната и спальня — все вместе. И когда я, неволью пораженный, посмотрел на эту тесноту, он усмехнулся успокаивающе и сказал: «Nitschewo», — это победное: «Ничего, к этому привыкаешь. Мы хоть отделены от наших соседей деревянной перегородкой». Уже это считается счастьем — сметь дышать со своими близкими парой кубических метров «своего» воздуха.

Или другой пример: я зашел к Эйзенштейну, режиссеру всемирно известного фильма «Броненосец «Потемкин», который хотел показать мне свои новые (кстати сказать, велико-

лепные) работы. Этот мастер, давший для понимания России больше, чем сотня книг, имеет в коммунальной квартире одну комнату — спальня, ателье, секретариат, столовая, все в ней. В комнате — стол, два кресла, кровать, полка книг. А на столе лежит десяток телеграмм — приглашения на три месяца в Голливуд с гонораром в тридцать тысяч долларов. Но за деньги их не переманишь, все они выдерживают искус, все возвращаются, полные жертвенности, в Россию, к тяжелым условиям существования, к нищенскому жалованью, зарабатывая только на самое необходимое, безразличные ко всяким маленьким удобствам, которые нам, их европейским братьям, представляются совершенно естественными.

Величественный героизм нынешних русских интеллигентов в том, что они, недостаточно оцененные, мало кому известные и в своей стране, и у нас терпеливо ждут, так как считают бесчестным ради лучших материальных условий в Европе оставить здесь свою работу, — и все это из великого чувства гражданского долга, из сознания, что России, которой недостает света, ничто не нужно сейчас так, как хорошие университеты, хорошие школы и музеи, искусство. И если этот грандиозный социальный эксперимент, предпринятый Россией, к удивлению всего мира, держится вот уже на протяжении десяти лет, то произошло это благодаря следующим трем обстоятельствам (понимаемым только здесь): неслыханно жесткой и фанатичной энергии ее диктаторов, ни с чем не сравнимой готовности терпеть этого привыкшего, как никакой другой в мире, к страданиям народа и, не в последнюю очередь, — идеализму и способности к жертвенности русских интеллигентов, которых так часто поносят здесь как мещан, как политически слишком индифферентных людей.

#### У ГОРЬКОГО

И Горький тоже, человек, вышедший из самой гущи русского народа, самый тонко чувствующий его представитель, почел невозможным надолго оставаться вдали от родины в то

время, как страна оказалась в водовороте всемирно-исторических событий. И хотя врачи горячо убеждали его не покидать целительный итальянский юг, не подвергать свое слабое здоровье испытаниям северным климатом, он все же вернулся на родину и сразу же предпринял десятитысячекилометровую поездку по всей стране. К сожалению, врачи оказались правы: рецидив болезни уложил его в постель, поэтому он не был на толстовских празднествах, и вообще никто не знал, где он находится. Я уже свыкся с мыслью, что покину Россию, так и не увидев ее великого писателя, и не смогу поблагодарить человека, которому я был лично обязан за теплые слова, сказанные им обо мне, когда мне вдруг сообщили, что он сейчас в Москве и что в этот же вечер я могу навестить его.

Его лицо поражает как раз потому, что полагаешь, будто знаешь его по фотографиям. Но все известные мне его фотоснимки удивительным образом подчеркивают в нем что-то мрачное, создают твердое впечатление, что человек угрюм и жесточен, тогда как именно ясность — первое впечатление от его облика. Коротко стриженные волосы цвета соломы, выгоревшие брови над светло-серыми глазами, желтые кустистые усы; лицо умного славянского крестьянина, рассудительного ремесленника, одухотворенно светящееся и при этом теплое и ясное, словно свежее испеченный хлеб. Особенность лишь в грубо слепленных надбровных дугах, так что из их глубины его взгляд приобретает силу, великолепную, убедительную сосредоточенность.

Эта сосредоточенность, это уверенное, разумное спокойствие живет в каждом его сказанном и написанном слове — несколькими фразами он точно и понятно очерчивает любую тему. Он не преувеличивает, не увлекается, поэтому его слова, так же как и его произведения, имеют ценность неподкупного и надежного свидетельства. Вернувшись после четырех-пятилетнего отсутствия, по существу, в новую Россию, он с удивлением обнаружил — и нас, иностранцев, эта черта народа тоже очень трогает — внезапно пробудившуюся жажду

к образованию, страстное стремление к созидательному труду, к творчеству. Причем это свойственно всем слоям народа.

На протяжении столетий один из одареннейших и смышленнейших народов насильственно оглуплялся режимом царизма и услужливой церковью, он был изолирован от любых возможностей получить образование (тяжелейшее преступление, какое только может правительство совершить по отношению к своему народу). И с достойным удивления стремительным подъемом вся нация, или, вернее, республики, входящие сейчас в Советский Союз, использовали предоставленные им возможности, чтобы освободиться от безграмотности. Мгновенно в кавказских, грузинских, туркестанских и сибирских землях возникают университеты, газеты, курсы для писателей. В самых маленьких, самых отдаленных деревушках под постоянным давлением сверху политической — а на самом деле общеобразовательной — структуры создаются крестьянские газеты, люди из народа пишут в них, редактируют их. «Вы не поверите, — рассказывал мне Горький, — какие замечательные письма и сообщения встречаются в этих очень читаемых газетах, в которые пишет сам народ. Подчас в них больше изобразительной силы, чем в произведениях иных профессионалов. Я переписываюсь со многими из этих авторов, их сообщения дали мне очень много интересного и для расширения кругозора, и для работы».

Горький, так же как Достоевский и Толстой, с юношеских лет верящий в гений русского народа, все же поражен силе этого стремления к образованию, проникшего за немногие годы в самые нижние слои русского народа. И новая книга, над которой он еще работает, будет не художественным произведением, а описанием встреч с народом. И я думаю, что именно эта книга представит для Европы исключительный интерес, так как ясный взгляд Горького в понимании и оценках неподкупен, неспособен льстить и лгать. И если этот настоящий художник, этот исполненный глубокой любви к своему народу и прекрасно знающий его человек, несмотря на все оговорки, все же в главном одобрит усилия правительства, то многие

здесь на Западе станут осторожнее и не будут, следуя двусмысленным сообщениям, все происходящее сейчас в России считать безнадежным хаосом и безумным ослеплением.

### МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Правительство передало им дом, некогда принадлежавший Александру Герцену, и они переоборудовали его в нечто вроде клуба, где встречаются друг с другом. Могут читать и работать, общаются со своими друзьями и угощают их. При этом клубе создан небольшой музей, в котором хранятся книги молодого поколения писателей, их рукописи и портреты. Я имел удовольствие побывать там в качестве их общего гостя.

Редкое чувство испытал я, оказавшись между прошлым и настоящим. Всего несколько месяцев назад я посетил в Версале восьмидесятилетнюю дочь Александра Герцена, мадам Монад, а сейчас сидел в ставшем государственным доме ее отца, памятники которому давно украшают многие площади. За столом я оказался рядом с внучкой Толстого, молодой, нежной и очаровательно умной Софьей Есениной, вдовой большого лирического поэта Есенина, два года назад трагически ушедшего из жизни в тридцать лет.

За длинным столом собралось тридцать — сорок человек, никому из них не было больше сорока, в основном же они не достигли и тридцати лет, в их обществе чувствуешь что-то от неслыханного простора и неоднородности этого гигантского государства. Каждая область, каждый город Союза имеет здесь своих представителей. Тут Борис Пильняк, известный романист, белокурый немец с Волги, обрусевший настолько, что ни слова не понимает на языке своих предков, рядом с ним Всеволод Иванов, «Бронепоезд» которого одинаково пользуется успехом и как книга, и как драма, светлый сибиряк с круглым лицом эскимоса. Вот сидит Григол Робадкидзе, сын священника из Тифлиса, первый грузинский писатель, чья очень страстная и красочная книга в ближайшее время выйдет на немецком языке, вот Абрам Эфрос, чернобородый москвич-

ориенталист, прекрасный знаток европейского искусства, вот Лидин и Кириллов, и великолепный гравер по дереву Кравченко, а возле него пока еще неизвестные писатели других регионов страны: эстонцы, евразийцы, армяне, кавказцы, украинцы — пестрое множество людей, связанных друг с другом сердечностью гостеприимства и непобедимой стихией молодости.

Все или почти все эти новые молодые писатели — выходцы из народа и чувствуют себя более близкими ему, чем наши писатели. Они читают свои стихи в военных учебных заведениях, говорят на митингах о литературе, водят крестьян по музеям. Одеты они как простые рабочие, в белых крестьянских рубахах, ни у кого, вероятно, нет ни смокинга, ни фрака, никто из них не живет в благоустроенных особняках, а гонорары их — всего лишь тень европейских гонораров. Но зато они испытывают счастье постоянного общения с читателями, им знакомо стихийное сознание принадлежности к конечной первопричине их сущности, товарищества с каждым и со всеми. Это — очень важно. Каждый из них знает народ, его потребности и его мысли на основании собственных воззрений. Во время совместной творческой работы и следуя первобытному влечению к приключениям, колесят и бродят они, свободно, словно цыгане, из одного конца российской земли в другой. Радостью для меня было смотреть на их лица, бодрые и живые, радостно читать их книги, переполненные совершенно новой силой: европейской литературе предстоит пережить еще много неожиданностей от этой поднимающейся России.

## ТЕАТР

Следует ли везти сову в Афины, икру — в Россию? Действительно, есть ли необходимость еще раз рассказать о том, что создал и чего достиг русский театр в тяжелейшее переходное время? Все это Йозеф Грегор и Рене Фюлоп так обстоятельно изложили в своей прекрасной работе о русской сцене, что я мог бы не касаться этой темы. И наконец, у нас достаточно хорошо

знают Станиславского, Таирова и Мейерхольда по их гастролям в Германии. Они были у нас со своими большими артистами — Качаловым, Чеховым, Алисой Коонен, они давно показали нашему поколению мастерство своей режиссуры, воплощение своих новых творческих идей. Только одного они не смогли привезти с собой, того, что здесь так необыкновенно усиливает впечатление от спектакля: зрителей, новых российских зрителей советского времени.

В театрах каждый вечер полностью забиты ряды, нет ни одного свободного места, в зрительном зале — одна тесно сплоченная, однородная масса. Полностью отсутствует различие между публикой партера, лож и верхних галерей, тут и там сидят рабочие, женщины из народа, иностранцы, солдаты и — очень мало — представители «старой буржуазии», все полностью перемешаны в некоем бесцветном множестве. Ни одного крахмального пластрона, ни одного декольте, ни одного смокинга, никаких бросающихся в глаза ярких красок — все как бы покрыто слоем сепии или вуалью. Но, потеряв многоцветность, зрительный зал выигрывает в единообразии. Ни в одном театре мира, только в Москве, в театрах утраченного изящества, я увидел публику до такой степени похожую на серый металлический блок, на море.

Итак, зрительный зал находится в тени безразличия и повседневности, он не праздничен, он — всего лишь плотно набитое людьми помещение, но следует представить себе, каким именно поэтому зримым и чарующим будет контраст между залом и сценой, когда на ней возникает могучее волшебство, когда перед публикой откроется блистательное многообразие декораций. Роскошь, сидящая в наших театрах в партере и ложах, здесь перенеслась на сцену. Здесь, на российской земле, она нашла свое последнее убежище, здесь ей, ставшей совершенно чужой в реальной жизни, дозволено расцвести, как исторической категории, в безмерно богатых костюмах. Здесь, и только здесь, Россия разрешает себе излишества, ни Америка, ни парижские оперные залы не поражают волшебством колористического великолепия так,

как балет в Ленинградской опере, и нигде их расточительная сказочность не воздействует так феерично и неправдоподобно, как здесь, где фантазмагория серой повседневности сталкивается с волшебством сцены.

Действительно, зрители принимают Семенову, молодую чаровницу-танцовщицу, недавно подаренную России, как фею, сошедшую с небес в земном образе. (Это имя еще не раз озарит Европу.) Двадцатидвухлетняя девушка, только что окончившая тифлисскую балетную школу, уже через год стала кумиром, любимицей всего города; когда своим упругим, не заученным, а естественным, присущим ей одной шагом скользит она по сцене, словно капля сока, сочащаяся по стволу дерева, а затем во внезапном порыве начинает кружить вихрем — то над этими убогими, одноцветными, мрачными буднями неожиданно как бы возникает какое-то подобие света, потрясающее зрителей.

И по тому счастью, которое она дарит миллионам, чувствуешь и понимаешь, почему все художники здесь так увлеченно и беззаветно преданно, так самоотверженно и самозабвенно служат общему делу, — они преодолевают многие годы страданий, лишений и усталости единственно лишь ради святого огня радости от того, что их труд нужен людям. Возможно, несмотря на все свое терпение, несмотря на все свое достойное восхищения упорство, Россия и не выдержала бы столь успешно время страшных испытаний на своей окровавленной и разоренной земле, если бы ее замечательные художники не построили бы над ее слишком стандартизированным и механизированным миром мир сказочной, магической творческой фантазии.

## ТОЛСТОВСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА

Большой театр в Москве — наверняка самый большой и, кроме того, один из самых красивых театров мира. Его зрительный зал огромен и поражает взгляд, тона его — сдержанные, светло-красный и немного золота — идеальное помещение для торжественных заседаний. В партере и на галереях —



четыре тысячи гостей (у России для подобных мероприятий иные масштабы, чем у нас), терпеливо ожидающее множество. Празднество должно начаться в шесть вечера, поэтому оно, естественно, начинается в семь, и это не вызывает ни малейшего проявления беспокойства и волнения.

В овале сцены — стол для Комитета, в центре сидит Луначарский, министр и повелитель в мире искусств, у него волевое, энергично собранное лицо, плотные, грубо высеченные плечи, рядом с ним — Каменева, сестра Троцкого, руководительница отдела культуры, женственная и сдержанная, с мягким и спокойным голосом, музыкальность которого очень чувствуется. Затем — сын Толстого, Сергей, тихий, седой господин, более похожий на Масарика, чем на своего отца, потом — представители от разных государств, от организаций страны и мы, иностранные гости.

Первым на трибуну выходит Луначарский и говорит (свободно, как всякий в России) полтора часа, используя театральные приемы хорошего агитатора. Он словно лезвием ножа отделяет учение Толстого от догм большевизма. Я не могу, естественно, понять его русскую речь, но по его четко и энергично отбивающим такт кулакам понимаю, как решительно отделяет он правое от левого и при этом с самого начала как бы воздвигает памятник русскому правительству перед гигантским портретом Толстого.

После него от Академии говорит профессор Сакулин, с большой благообразной и красивой седой бородкой, одетый в русскую блузу, затем один за другим выступаем мы — трудная задача, так как мы не обучены говорить о политическом перед огромной аудиторией в четыре тысячи человек, при ярком, бьющем в глаза свете шести прожекторов, с микрофоном у губ, да еще вдобавок ко всему этому у плеча жужжит крутящаяся кинокамера. Но как помогают эти слушатели со своим паразитическим умением слушать, с этим вышколенным, удивительным, неистощимым русским терпением; уже двенадцать ночи, шесть часов сидят эти люди здесь, лишь время от времени между выступлениями прозвучит освежающая музыка, и

ни один не думает о том, чтобы уйти, не двигается с места, люди умственного труда, рабочие, солдаты, единая масса, внимательно слушающая, благоговейно воспринимающая, впитывающая каждое слово.

На следующий день было открытие Музея Толстого и Дома Толстого — в память об этом человеке; тут было собрано пятьдесят тысяч экспонатов — фотографии, предметы быта, документы, — знакомящих с Толстым, как музеи Веймара знакомят посетителей с Гёте. Вот в твою память надежно вколачивается портрет Толстого, выполненный с помощью огромного количества гвоздиков, вот ты видишь писателя верхом на лошади, в кровати, за работой, с серпом, за плугом, в поездке и дома с детьми и внуками. Ты видишь его мальчиком, молодым человеком, военным, стариком, пророком и через пару часов такого осмотра ты будешь знать физический облик Толстого несравненно лучше, чем кого-либо из своих знакомых.

На меня наиболее сильное впечатление произвели два экспоната. Под стеклом лежат простая грубая веревка и письмо к ней, присланные Толстому незнакомой женщиной, которая не смогла вынести заполняющих его книги вечных жалоб на неустроенный мир и предложила ему покончить с собой, чтобы не мучить ни себя, ни все человечество постоянным недовольством и возмущением существующим положением вещей. Второй экспонат — страшный служебный документ, накладная, адресованная семье Толстого, за подписями и печатью, в которой с потрясающей душу педантичностью описывается содержание посылаемого ящика, в котором был труп. Так официальная Россия увековечила факт, имеющий огромное историческое значение, — доставку останков Льва Толстого со станции Астапово, где он скончался, к месту вечного успокоения — в Ясную Поляну. Жестокая насмешка — поражающее своей тупостью абсолютное безразличие ко всему духовному для каждого административного взгляда, самый фантастический из когда-либо виденных мною памятник нашему безумно неистовому бюрократизму.

Но все это было лишь прелюдией и затактом к знакомству со Львом Толстым. Ни речи, ни документы не могут дать полного представления о биографии этого человека. Ни фотографии и фонограммы, ни искусно оборудованные и богато укомплектованные музеи не в состоянии сделать это. Глубокое понимание биографии Льва Толстого может быть получено только там, где он родился, где прожил большую часть своей жизни, где наиболее сильно страдал, только в его доме — в Ясной Поляне.

### ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Итак, нам предстояла поездка в деревню. Ранним утром — в Туле, а затем мягкими лугами, лесочками — к этой крохотной деревушке, самой знаменитой среди сотен тысяч деревень России — к Ясной Поляне.

Приняла нас младшая дочь Толстого, Александра Львовна, она повела нас сначала к деревенской школе, где сегодня будет открыт памятник Льву Толстому. От отца у нее хорошее здоровье, большая жизненная сила, чуть ли не крестьянская выносливость и неумная работоспособность; она не давала себе отдыха, пока не построила здание для школы. Шестьдесят лет назад ее отец начал заниматься с деревенскими ребятишками в деревенском сарае. И вот стоит сейчас это каменное здание, прекрасный памятник его педагогическим усилиям, средоточие его учения. Собралась вся деревня, древние старики с иконописными лицами, длинными, гладко причесанными волосами, седыми бородами, многие из них знали самого Льва Толстого, есть среди них и те, кто сидел в тюрьмах и был сослан в Сибирь за то, что следовал его учению. Рядом с ними — дети-ученики в белых рубашках, со светлыми, любопытствующими глазами и приветствующие нас девушки, уже нарядившиеся для того, чтобы вечером исполнить для гостей народные песни.

При открытии школы был прекрасный волнующий момент, когда Александра Львовна поднялась и сказала, что в

этой школе, которую основал ее отец, никогда не будут учить людей военному и атеизму; выступивший затем от имени правительства Луначарский не возразил этому, однако еще раз в своей манере энергично вдалбливать свою воинственную точку зрения подчеркнул, что он против пассивного христианского учения Толстого.

Затем пешком, погружаясь по щиколотку, нет, по колено в жирный суглинок непостижимой русской деревенской дороги, мы отправились во дворец. А дворец ли это? С горькой усмешкой вспоминаешь самобичевание Толстого, который в своих покаяниях всегда громко заявлял, что живет «в роскоши», обитает в княжеском дворце. Какой недворцовый вид у этого стоящего в лесу низкого, с белеными стенами кирпичного строения с маленьким садиком, как проста и примитивна его обстановка.

Сын франкфуртского купца, Гёте, травимый кредиторами Бальзак — они жили в Веймаре и Пасси словно князья, если сравнить их дома с этим низким, бедным помещением, забитым дешевым и часто случайным скарбом. Скрипучие деревянные лестницы ведут в комнаты с плохо натертыми некрашеными деревянными полами, в спальном помещении — узкие железные едва ли не солдатские кровати с простыми холщовыми покрывалами, столовая — с дешевой покупной или изготовленной деревенскими столярами мебелью, по вечерам скудно освещаемая керосиновой лампой.

Ни одного добротного выполненного предмета, никаких вещей, имеющих ценность. На стенах — плохо обрамленные выцветшие фотографии, на этажерках — брошюры и кое-как уложенные книги, на письменном столе — полуразобранный валиковый фонограф, который писателю прислал Эдисон, и кованый кусок железа, подаренный ему рабочими, когда его отлучили от русской церкви, — спартанская простота, никаких следов бытовых удобств и достатка. Клетчатая оттоманка в его рабочей комнате — единственное место для отдыха, она же служила ему и кроватью, на которой родился и сам Толстой, и родились все его дети, затем шахматная доска и пиан-

нино — единственное подтверждение того, что писатель иногда отвлекался, что и ему иногда нужна была духовная разрядка.

Гнетущий и однообразный, как труд самого хозяина, и все же потрясающий своей героической серьезностью, он нравится, этот печальный одноэтажный дом, лишь обилие воспоминаний оживляет его, единственно лишь воспоминания об ушедшем от нас Льве Толстом. Ибо любая, самая маленькая, самая незначительная вещь, находящаяся здесь, имеет еще и духовную ценность, являясь элементом легенды о нем.

Еще стоит здесь перед домом очень сильно искривленное «дерево бедных» с маленьким колокольчиком, где ежедневно после обеда паломники и местные крестьяне ожидали великого писателя. Здесь, в рабочей комнате (в которую ни один европейский писатель не поселил бы нынче своего слугу), торчит еще гвоздь в стене, на котором Толстой хотел повеситься в год духовного кризиса. И с бесконечным благоговением смотришь на ставшую всемирно-исторической лестницу, ведущую из тесной спальни вниз, по которой восьмидесятитрехлетний старик, в четыре утра внезапно рывком поднятый своей могучей совестью, спустился к конюшне, чтобы бежать от своей родины, от семьи к своей героической смерти: здесь атмосферой повседневной жизни дышит История великого человека, и непреходящая ценность его произведений делает великими все преходящие мелочи домашнего очага и быта этой потрясенной души.

## ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА

Эта вторая столица России — не дополнение Москвы, а ее полная противоположность. Если Москва возникла произвольно, из случая и скопления людей, то этот город императора был создан целенаправленно, по плану, волевым усилием; тот вырос по собственной инициативе, сам по себе, этот был предписан внезапной деспотической волей, тот смотрит на Азию, в дальние просторы Татарии и Китая, этот — на Европу.

Ничего нет здесь от архитектурной неразберихи, от собранного Москвой некоего маскарада всех стилей и костюмов каменного зодчества, здесь точас же чувствуешь — единая автократическая воля пожелала иметь город и создала его в точном соответствии со своим видением.

Прообразом этого города был Амстердам. Но с предчувствием будущего русского представления о просторах Петр, создавая город, уже три сотни лет назад мыслил современными нам американскими масштабами; там, в Амстердаме, — узкие каналы, здесь — широкие, там — обыкновенные европейские улицы, здесь — роскошные проспекты, бульвары, гигантские круглые площади. Здесь русское мотовство в полной мере смогло проявиться в мотовстве пространства, и вот, через три сотни лет нашему, уже нашему взгляду, привыкшему благодаря Нью-Йорку и наполеоновскому Парижу к колоссальному, предстал город с мраморными дворцами и нарядными фасадами домов, с просторными, словно площади, проспектами.

Ни один европейский властелин не построил себе такого здания, как Зимний дворец, с одной стороны обтекаемый Невой, с другой — великолепно изолированный круглой площадью с колонной, дворец, масса которого, так кажется, больше массы самого большого на нашей земле строения — собора Святого Петра; как жалеешь, что не увидел города в царское время, когда по проспектам неслись тысячи карет со слугами в шубах, когда полки разворачивались в построениях парада, — о, этот звон шпор, это бряцание оружия, эта военная музыка, эта игра красок парадных мундиров.

Но в равной степени фантастичен и день, когда вооруженные рабочие, вышедшие из своих нищих лачуг, несмотря на встретивший их пулеметный огонь, бросились на эту площадь, когда одновременно с ними восставший крейсер «Аврора» угрожающе нацелил свои орудия на окна Зимнего дворца, и вот, тысячелетний царизм, схваченный с обеих сторон железными клещами, был раздавлен, словно орех. Старая Россия была сломлена именно здесь, на том самом месте, где царь Петр приложил железную печать воли властелина к болотистой

почве. И этот Петербург, тогда Петроград, теперь же торжественно названный Ленинградом, стал всего лишь историческим памятником давнишнему могуществу.

Ни один город не был при царизме так высоко вознесен, ни один при новой власти не страдал более сильно. Ибо этот город был предназначен для великолепия и роскоши, для князей и великих князей, для изящества гвардейских полков, для расточительства русского богатства; поэтому Ленинград выглядит сейчас вдвойне обнищавшим, нелепым и трагичным. Не только его богатства отняты у него, его светское общество, его морское судоходство, но и министерства, их учреждения и, прежде всего, его кровь, его люди. И если Москва сейчас оживлена, оптимистична, уверенно смотрит вперед, то старый Петербург — иссушен, затих, окаменел.

Театрально, пожалуй даже величественно, все еще возвышаются великолепные кулисы из камня, но свет погашен, актеры ушли. Неизменно широко и могуче текут асфальтированные проспекты через весь город, и прежде всего Невский проспект, длиной в семь километров и такой же широкий, как Елисейские поля, проспект, на котором вечером можно было бы спокойно играть в теннис, так как телега или трясущийся автомобиль очень редки на его пустынной трассе. С перенесением столицы в Москву, с отъездом министерств и учреждений в городе вместо трех миллионов жителей стало семьсот тысяч, число их теперь медленно растет, приближается к полутора миллионам. Но сколько лет потребуются, чтобы эти чудесные просторные площади вновь проснулись, чтобы эти обширные, великолепные дворцы вновь вернули себе прежний блеск, на десятилетия этому городу предопределена его печальная судьба.

Воля создала его, и он был велик до тех пор, пока эта воля, этот абсолютизм еще был могуч и способен созидать: лишь два действительно гениальных царя, Петр и Екатерина, предписали ему существовать, и творчество двух итальянских мастеров, Росси и Растрелли, превратило город в один из величайших памятников мира. Затем на смену тем пришли бессиль-

ные цари, слабые, чуждые искусству, далекие от жизни. Они способны были лишь поддерживать, с опаской беречь, робко следовать предначертанному ранее, и с их падением город вообще утратил свой живой смысл.

Историческое познается особенно хорошо в чувственном восприятии, и нигде полнее, чем в этом трагичном городе, не понимаешь *grandeur et decadence* русского царствования, его величие и его упадок. И когда идешь по городу, мимо этих всего лишь десятилетие назад блиставших роскошью колоннад, сейчас же бессмысленно торчащих в этом нивелированном мире, правда, еще обжитом, но лишенном настоящего одушевления, кажется тебе — это развалины храма Луксора — немые здания, шумящие лишь о прошлом, великолепные, как История, трагичные, как наше время.

#### СОКРОВИЩНИЦА ЭРМИТАЖА

У меня никогда не хватает смелости утверждать, что я по-настоящему видел Эрмитаж — я был во всех его залах. Кто способен за день, кто способен за неделю пылливо осмотреть собрания Эрмитажа, осмотреть их внимательно, осмотреть изучающе? Еще до войны Эрмитаж был таким же большим музеем, как Лувр или музеи Лондона, Берлина, но после революции, хотя название его осталось прежним, он очень сильно изменился, он стал во много раз богаче вследствие экспроприации художественных ценностей, находившихся в частной собственности русских вельмож и коллекционеров.

Подумаем, какой бы стала Венская галерея, если бы она сразу включила в свой состав экспонаты галерей Лихтенштейна, Гараха, Черни, всех частных венских собраний и к тому же приняла все драгоценности, всю художественную утварь, что хранится сейчас в тысячах церквей и монастырей старой Австрии. Этот пример позволяет получить некоторое представление о фантастическом увеличении богатств Эрмитажа, увеличении, ставшем возможным вследствие коммунистического отчуждения частной собственности. Естественно, при



этом помещения музея оказались переполненными, он провалился в соседние, в помещения тысячеоконного Зимнего дворца и заполняет теперь все жилые помещения царской семьи, роскошные покои для малых приемов, залы для больших приемов; не боясь преувеличения, можно сказать, что маршруты обзора собраний Эрмитажа следует теперь мерять километрами; так что даже прогулка по этим маршрутам (не говоря уж об осмотре) является серьезной физической нагрузкой.

Я попросил сопровождавшего меня доброжелательного директора показать лишь самое значительное, я сознательно шел через сорок или пятьдесят залов, стараясь не глядеть на картины, лишь задержался у Рембрандта, картины которого в собрании Эрмитажа, вероятно, равноценны его полотнам, хранящимся в Гааге и Касселе, и у Ватто с Фрагонаром, работы которых, кроме Парижа, пожалуй, нигде не найдешь. «Покажите мне, пожалуйста, только самое важное, — просил я, ошеломленный богатством собрания, — только такое, что можно увидеть только здесь и нигде более». И тогда мне показали действительно то, что обычно никогда не показывается, — сокровищницу.

В находящемся на первом этаже зале незаметная, где-то сбоку — тяжелая бронированная дверь. Она опечатана, нам следует подождать, когда подойдут несколько сотрудников музея, они как свидетели должны присутствовать при снятии печати, что будет запрототолировано. Лишь тогда откроется таинственная дверь. Бесшумно открывается дверь кладовой-сейфа, и тотчас же закрывается за нами. Поворот скрытого выключателя, ярко зажигается электрический свет, и золото слепит нам, вошедшим, глаза. Золото, беспримесное чистое золото, искусно кованное богатство многих веков, многих тысячелетий, добытое из сказочных захоронений, из раскопок древних греческих поселений в Крыму, из курганов скифов, древнейшее искусство, время и источники происхождения которого малоизвестны. Такое полное, такое представительное собрание этой культуры можно увидеть только здесь.

Более двух тысяч лет назад, сказали мне, скифами, варварами, было создано это великолепие, и мы подошли к витрине, полагая, что нам будет показано нечто грубое, неуклюжее, примитивное, и были поражены, увидев произведения тончайшей красоты, филигрань. Мастера, вероятно, пользовались раскаленными иглами, годы трудились над каждой вещью. Здесь были изображения сцен охоты сказочно декоративной силы, магические амулеты и золотые маски, снятые с умерших царей и сохранившие тончайшие пропорции человеческого лица, искусство варваров, но не менее художественное, тонкое, выполненное на высоком профессиональном уровне. Работы эти сравнимы с работами мастеров раннего средневековья и еще, пожалуй, с работами немецких золотых дел мастеров и итальянских мастеров малых скульптур времен Возрождения.

Здесь были выставлены массивные сосуды из золота, которые поднимаешь с трудом. Они были найдены в Крыму, в старом Понте, но и теперь еще никто не знает, откуда и как добывали те народы благородный материал. Рядом — короны, венцы, усыпанные драгоценными камнями, перевязи, ремни для ношения оружия, гребни и кольца, фантастическое богатство народов, живших ордами на конях, ютившихся в задымленных хижинах, но, несмотря на все убожество условий существования, уже предчувствовавших волшебные формы красоты и создававших их.

А в смежном помещении, едва зажегся в нем свет, заблестали сотни тысяч камней — это был ювелирный отдел. Турецкие сабли, от острия до эфеса осыпанные алмазами, смарагдами, рубинами, хризопразами, диадема Екатерины с желтыми и огромными белыми алмазами, в большинстве своем приобретающими в зависимости от угла зрения то розовое, то голубое, то зеленое сияние, как если бы над ними пролетела бабочка и оставила на них свою радужную расцветку; усыпанные драгоценными камнями чепраки из дорогих материй, табакерки, часы, скипетр, различные драгоценности, безделушки. И все это сказочно перенасыщено тысячами бесценных

камней, за каждый из которых можно было купить русскую деревню со всеми ее крепостными крестьянами, со всеми «душами», да и нынче, в случае нужды, все эти колоссальные богатства смогут прокормить людей годы и годы.

И вот, находясь здесь, в этой сокровищнице, в этом императорском дворце, в этом городе, созданном безумным богатством и сумасшедшим мотовством, впервые понимаешь не постижимую для европейца напряженность, некогда существовавшую в России между верхами общества и его низами, между преступным, кощунственным мотовством царей и безмерной, ужасной нищетой российских голодных деревень. С сердечной болью чувствуешь, как росла на протяжении столетий эта напряженность между богатством и нищетой. И понимаешь, почему однажды связи в обществе должны были разорваться. История народа по-настоящему постигается лишь при знакомстве с реалиями его быта, при непосредственном общении с его настоящим бытием. Вот почему органичность русской революции нигде невозможно понять лучше, чем в сокровищнице Эрмитажа, в роскошных покоях Зимнего дворца в Ленинграде, Екатерининского дворца в Царском Селе.

## ЭПИЛОГ

За две недели пребывания в России о ее бескрайних просторах можно было получить только самое смутное представление. Основное впечатление у меня сложилось такое: мы все — осознанно или бессознательно — были неправы по отношению к России, неправы и сейчас. Вызвано это недостаточным знанием страны и предвзятым отношением к ней. Как объяснить, что все мы, люди нашего поколения, не раз побывавшие в Париже, в Италии, Бельгии, Голландии, изъездившие вдоль и поперек Испанию, Скандинавию, из-за снисходительного высокомерия ни разу, хотя бы бегло, не познакомились с Россией? Вчера это было вызвано предубеждением к царизму, нынче же, при другом правительстве, — к большевизму, и получилось так, что по нашей вине длительное время

вне нашего поля зрения оставалось необычайное многообразие достижений русского народа, одного из самых гениальных, самых интересных народов нашей земли.

Двое суток пути в железнодорожном вагоне отделяют нас друг от друга, а большинству наших европейцев не знакомы ни быт русских, ни их художественные произведения. Это западное высокомерие обошлось нам недешево. Как мало среди нас в духовной Европе людей, которые, основываясь на личном опыте и своих взглядах, могут справедливо сопоставить новую Россию со старой, как мало, следовательно, людей, имеющих право решиться дать авторитетную оценку этому самому смелому социальному эксперименту из когда-либо предпринятых каким-нибудь народом. Половина всех суждений о России, к сожалению, продиктована предубеждениями, которые основываются на застывших представлениях, вторая же половина суждений следует уже ранее высказанным мнениям. И, как показывает опыт, подобные частные высказывания, такие пророчества так же мало сказываются на невозмутимом ходе Истории, как комнатные прогнозы на истинной погоде.

В своих заметках я намеренно старался не следовать по этому пути, но не из-за боязни высказывать свое мнение, а из осознанной убежденности в некомпетентности всех нас. Если народ вот уже полтора десятка лет так замечательно терпит и с такой героической страстностью, ради некой идеи, принимает бесчисленные жертвы, мне представляется более важным призывать к восхищению человечным, чем к политическим установкам и перед лицом такого грандиозного духовного жизненного процесса скромное ампула свидетеля мне представляется более честным, чем ампула дерзкого судьи.

## СЛОВО У ГРОБА ЗИГМУНДА ФРЕЙДА

*26 сентября 1939 г. в крематории Лондона*

Разрешите мне в этот скорбный час от имени австрийцев, от имени австрийских друзей Зигмунда Фрейда, его друзей во всем мире сказать несколько слов глубокой благодарности покойному на том языке, который он так замечательно обогатил и облагородил своими произведениями. Мы все, собравшиеся здесь в общей горе, переживаем исторический миг, который, вероятно, ни одному из нас не будет дарован судьбой вторично. Вспомним, для любого смертного, почти для каждого, минута, когда человек умирает, его бытие, его пребывание с нами завершается навсегда. Для человека же, у гроба которого мы стоим, для этого Одного и Единственного смерть означает лишь мимолетное и едва ли не иллюзорное событие. Здесь уход от нас — не конец, не резкое завершение жизни, это всего лишь мягкий переход от брэнного, смертного состояния к бессмертию. С безмерной болью мы теряем сегодня физически преходящее, но с нами остается непреходящее его деяний, его сущности — все мы здесь, в этом зале, живем и дышим, говорим и слушаем, но тем не менее — в духовном смысле — и на тысячную долю не так живы, как жив этот великий человек, лежащий в своем тесном земном гробу.

Я не буду превозносить перед вами дело жизни Зигмунда Фрейда. Вы прекрасно знаете его работы, и кому они не известны? Кого из нашего поколения они внутренне не сформировали, не преобразили? Это замечательное дело первооткрывателя человеческой души живет на всех языках как непреходящая легенда, именно на всех языках, ибо существует ли такой язык, который может обходиться без тех понятий и слов, с помощью которых ученый снял покров с подсознания человека?

Он, как никто другой в наше время, обогатил два, три поколения во всех без исключения формах духовного и художественного творчества, в сфере психического взаимопонимания — в области поведения, воспитания, философии, поэ-

зии, психологии, он определил новые ценности, переоценил старые, и даже те, кто ничего не знает о его работах или не принимает его учение, даже те, кто никогда не слышал его имени, неосознанно обязаны ему, духовно подчинены ему.

Каждый из нас, людей двадцатого века, был бы совершенно другим, если бы не существовал Фрейд со своими мыслями, каждый из нас думал бы иначе, судил бы обо всем, чувствовал бы себя более ограниченно, менее свободно, менее справедливо, если бы не было его, если бы он не дал нам мощный стимул к самопознанию. И всегда, когда бы мы ни пытались проникнуть в лабиринт человеческого сердца, впереди указывать нам путь будет его духовный свет. Все, что продумано и создано Зигмундом Фрейдом, первооткрывателем и учителем, останется с нами и впредь; только его нам будет не хватать, — самого человека, драгоценного и незаменимого друга.

Я думаю, все мы, безразлично, какими бы разными ни были, в нашей юности страстно желали увидеть во плоти то, что Шопенгауэр называл высшей формой существования — моральную личность. Все мы детьми мечтали встретить однажды такого героя духа, образу которого могли бы следовать, человека, безразличного к соблазнам славы и тщеславия, человека с щедрой и ответственной душой, безраздельно преданного единственной поставленной перед собой задаче, которая служит не ему самому, а всему человечеству. Этому восторженному сну нашего детства, этим становящимся все более и более суровым требованиям наших зрелых лет покойный полностью отвечал своей жизнью и тем самым подарил нам не имеющее себе равных счастье.

И вот, наконец, он оказался здесь, в этом суетном и забывчивом времени: непоколебимый, чистый правдоискатель, которому ничто на этом свете не было более важно, чем абсолют, чем постоянное следование правде жизни. Он предстал, наконец, перед нашими благоговеющими сердцами благороднейшим, совершеннейшим образцом исследователя со своим вечным раздвоением — осторожно проверял, тщательно, семь раз обдумывая и сомневаясь, прежде чем окончательно убедиться

в правильности результатов, но получив доказательства своей правоты, защищал ее перед всем светом.

Нам, всему свету он убедительно показал, что на земле не существует мужества более замечательного, чем мужество свободного, независимого человека духа; мы никогда не забудем это его мужество — искать и находить истины, не постижимые для других, потому что эти другие не решались ни искать их, ни говорить о них, не признавали даже возможность существования этих истин. Он же решался на это постоянно, до последнего дня своей жизни, решался вопреки всем и всему, решался вторгаться в недоступное; какой образец дал он нам этой своей духовной смелостью в вечной борьбе человечества за познание!

Но нам, тем, кто знал его, известно также, какая трогательная личная скромность соседствовала с этим мужественным стремлением к абсолюту, и как он, этот чудесный гигант духа, мог понимать все духовные слабости других. Это глубокое созвучие суровости духа и доброты сердца привело его в конце жизни к совершеннейшей гармонии, какую только можно достичь в пределах духовного мира, к чистой, ясной, осенней мудрости. Кто встречался с ним в эти последние годы его жизни, за час доверительного разговора о бессмысленности и безумии нашего мира получал утешение, и часто во время таких бесед я хотел, чтобы в них также принимали участие и находящиеся в состоянии становления молодые люди, чтобы в свое время, когда мы уже не сможем свидетельствовать о духовном величии этого человека, они смогли бы гордо сказать: я видел истинно мудрого человека, я знал Зигмунда Фрейда.

Нам может быть утешением то, что он завершил свои труды и добился внутреннего совершенства. Благодаря укреплению духа, благодаря духовной терпимости он одолел исконного врага жизни — физическую боль, он оказался победителем и в борьбе с неизвестным, стал образцовым врачом, философом, прекрасно познал самого себя и остался таким до последнего горького часа.

Спасибо тебе за этот образец, любимый, глубокоуважа-

емый друг, спасибо тебе за твою великую творческую жизнь. Спасибо тебе за все твои деяния и труды. Спасибо тебе за то, что ты был, за то, что вложил частицу своей души в наши души. Спасибо за открытые тобой для нас миры, которые мы теперь будем осваивать уже без твоего руководства, всегда верные тебе, всегда твои, благоговейно преданные тебе, драгоценный друг, любимый учитель, Зигмунд Фрейд.

## ЛОРД БАЙРОН

### ТРАГЕДИЯ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

1924

По виду твоему я замечаю,  
Что ты из тех, чьи замки так угрюмо  
Глядят со скал на хижины в долинах.

*Манфред. Акт второй\**

В понедельник пасхальной недели 1824 года большая батарея в Миссолунги произвела тридцать семь пушечных выстрелов. По приказу князя Маврокордато внезапно были закрыты все общественные заведения, все магазины, и вскоре мир узнал, что произошло в этой жалкой греческой крепости на болоте. Умер лорд Байрон, поэт, понесший впервые после Шекспира английское слово всему миру.

Двадцать лет восторженная юность, очарованная современность видела в этом гордом, властном, часто театральном, иногда действительно мужественном человеке героя своего времени, поэта свободы. Его идеи распространяли в России — Пушкин, в Польше — Мицкевич, во Франции — Виктор Гюго, Ламартин и Мюссе, и в Германии раскрылось окаменевшее сердце, уже давно замкнутое для юношества, еще раз раскрылось сердце Гёте, полюбившее этот чудесный юношеский образ. Даже Англия, поносимая, высмеиваемая им, исхлестанная тысячью плетей и стихотворений, склонилась у гроба вер-

---

\* Перевод И. А. Бунина.



нувшегося домой героя, и хотя церковь закрыла Вестминстерское аббатство для богохульника «Каина», все же его смерть была воспринята всей страной как тяжкое национальное горе. Возможно, никогда потрясенный мир не был столь единодушен, оплакивая смерть поэта, и великий патриарх поэтов еще раз раскрывает свое великое произведение «Фауст», чтобы включить в поэму, «завидуя его жребию, воспевая», волнующую похоронную песнь:

Счастья отпрыск настоящий,  
Знаменитый дедов внук,  
Вспышкой в миг неподходящий  
Ты из жизни вырван вдруг.

Был ты зорек, ненасытен,  
Женщин покорял сердца,  
И безмерно самобытен  
Был твой редкий дар певца.

Ты стремился неуклонно  
Прочь от света улететь,  
Но, поправ его законы,  
Сам себе расставил сеть.

Славной целью ты осмыслил  
Под конец слепой свой пыл,  
Сил, однако, не расчислил,  
Подвига не завершил.

Этими двумя строфами и следующим за ними мрачным вопросом:

Кто подвиг увенчает?  
Рок ответа не дает\*, —

который отождествляет рок с вечным в поэтическом творчестве, Гёте одел в черный гранит жизнь лорда Байрона. Вечно будет стоять эта надгробная плита в трагическом ландшафте

---

\* «Фауст». Ч II. Акт III. Перевод Б. Л. Пастернака.

«Фауста», увековечивая не только образ этого необычайного человека, но и его художественные произведения.

Но эти произведения лорда Байрона — не из прочного материала. Сейчас уже во многих местах блистательная краска осыпалась, некогда столь выделявшийся его облик постепенно потерял свою значимость, и наше поколение, наше время едва понимает, почему магические чары, прежде излучаемые его произведениями, безжалостно затемняли более благородный гений Шелли, более чистый — Китса. Лорд Байрон сейчас — скорее образ, чем поэт, его жизнь, бурная, драматическая, часто даже театральная жизнь — большее событие, чем его творчество, героическая легенда, патетический портрет поэта — больше, чем сам поэт.

Он обладал обаятельной внешностью, он был олицетворением поэзии, какой ее представляла себе юность: аристократ по происхождению, с благородными манерами, юношески прекрасный, смелый и гордый, овеянный славой героя отважных приключений, боготворимый женщинами, он бунтовал против законов и против своего времени, аристократ-изгнанник жил в райских уголках Италии и Швейцарии и умер на войне за освобождение порабожденного народа.

О нем ходили таинственные завораживающие легенды, приезжавшие в Венецию англичане подкупали гондольеров, чтобы услышать от них рассказы о его оргиях и празднествах. Даже Гёте и Грильпарцер, одинокие, стареющие люди, жизнь которых была бедна внешними интересными событиями, робко и с затаенной завистью говорили об ужасных мифах о его жизни.

Там, где он появляется, его образ, праздничный и великий, подобен образу человека Возрождения или античности в узких рамках своего времени: в Лидо он по утрам носится на арабском жеребце, первым из англичан переплывает Геллеспонт\*, на морском побережье у Ливорно он разжигает — великолепный символ его язычества! — огромный костер, на кото-

---

\* Геллеспонт — древнее название Дарданелл (буквально: море греков): — *Примеч. пер.*

ром сторят бранные останки Шелли, и вытащит несгоревшее сердце из разбросанной золы. Со слугами, пажами и собаками он как чичисбей\* итальянской графини сопровождает ее из замка в замок, он проводит ночь у могилы Данте и пишет там стихотворение, он едет к албанскому паше и тот принимает его как князя, женщины кончают с собой из-за поэта, целое государство преследует его, — он же, юношески прекрасный, гордый сердцем и совершенно свободный, стоит один против всех, бросая вызов в смелых стихотворениях князьям и королям, и даже самому Богу Библии, и церкви. «Гарольд» и «Дон Жуан» — лишь слабые отзвуки той неповторимой, в своем роде героической поэмы, которую он сотворил своей юностью.

И вот, юность, устав от сентиментальных поэтов, устав от Вертера и Рене, которые ради какой-то скучной мещаночки хватаются за пистолет, устав от насмешек и сентиментальности Вольтера и Руссо, устав даже от самого Гёте и всех этих поэтов-шляфроков, пишущих свои произведения дома возле хорошо нагретой печки, во фланелевых кофтах и ночных колпаках, прониклась глубокой симпатией к человеку, который патетически смело под звуки фанфар войны и любви живет своей жизнью. Мир, устав постоянно быть мещанским и мудрым, в Байроне вновь молодеет. С тех пор как стал чахнуть изгнанный на остров Святой Елены Наполеон, у Европы нет более героя. С Байроном вновь оживает романтика юности. Своей жизнью Байрон сделал сокровеннейшие мечты юности явью, и смерть его — настоящая, физическая смерть — была героически-патетической.

И жизнь и смерть Байрона были величественны, своеобразна была и его манера вести себя, необычны были и покров тайны, за которым таились его сущность и его образ, и трагическая мрачность духа, и едва ли не хвастливая маска мировой скорби и меланхолии. До него поэты были идеальными защитниками добра. Шиллер был вестником свободной набожности, Мильтон и Клопшток — набожности религиозной, все они

---

\* Чичисбей — друг семьи. — *Примеч. пер.*

были членами большого содружества, детьми лучшего, более чистого мира.

Байрон же драматически облачается в мрачные одеяния: его герои, его двойники — корсары, разбойники, волшебники и мятежники, отверженные, низвергнутые ангелы и Каин, первый человек, восставший против Бога, избран им любимым образом. Поэт видит себя одиноким, презирающим человечество и всех любящих человечество, его чело кажется омраченным дерзкими мыслями мятежника, его душа отягощена грузом таинственных преступлений, страдания тысячелетий звучат в его голосе, когда этот изгнанник своей отчизны оплакивает время словами и стихами Данте.

С Байрона начинается сатанизм, который позже Бодлер так сильно поэтически возвысит, гимн злу, торжественное провозглашение «греха», бунт против до сих пор считавшегося священным духа, гордость за бунт одиночки. Неосознанно подготавливает он революцию индивидуализма, которая затем, через сотню лет, найдет свое выражение у Ницше.

А юность, вечно бунтующая юность чувствует это стремление к свободе, которое любит лишь само себя, а не уносимый идеал всеобщей свободы, и опьяняется трагической мрачностью поэта, она не может насмотреться на образ этого мрачного ангела, любимого Богом и низвергнутого им с небес. Прометей, которого Гёте и Шелли восславили в стихах, Байрон для своего времени олицетворял собой. Невероятное чудо заключается в том, что через полсотни лет враг Бога станет Богом всей юности.

В этом титаническом духе Байрона, вероятно, ничто не было внутренне так подлинно, как безмерная и бесцельная гордость, подстрекаемая ничтожествами и не способная насытиться никакими триумфами, гордость, которую слава никогда не успокоит, даже королевская корона (она была предложена ему греками) не в состоянии ее удовлетворить. Пустыковая болезнь могла сделать этого великого поэта прямо-таки несчастным; он расскажет, что побледнел и стал дрожать от безумной ярости, когда какое-то слово оскорбило его самолюбие, а

ужасные злые, доходящие до патологии сатиры против своих критиков (прежде всего, против Саути, которого он распял на кресте своих издевок), против жены, с которой развелся, против своих политических врагов показывают взрывную силу его чувства собственного достоинства. Но как раз эта гордость, эта выпрямившаяся воля самоутверждения и сделала его великим, способствовала тому, что он в наибольшей степени проявил свои духовные силы.

Это относится и к физическому, телесному (было бы интересно проследить этот процесс на психоаналитической основе). Начиналось-то это, собственно, с того, что свою физическую неполноценность он преодолел усилием воли. У него были красивые руки, он охотно показывал их, хорошая фигура, за которой он очень следил (ради сохранения ее он годы и годы очень ограничивал себя в еде), но он хромотал, и его истеричная мать, так же как и товарищи по колледжу и университету, высмеивали его за это. Гордость заставила его, превозмогая боль, заняться гимнастикой, он стал прекрасным наездником, блестящим фехтовальщиком, хромоногий, переплыл, как Леандр к Геро, Геллеспонт.

Все преодолевал он с помощью силы воли. Мэри Чаворт, первая его любовь, пренебрегла «хромым парнем», но десять лет спустя, уже замужняя женщина, стала его любовницей. Он всегда стремился показать, что может все. Так он однажды выступил в парламенте с речью, имевшей огромный успех, чтобы затем больше никогда не выступать, так занимался он политикой и войной, и так он, собственно, из-за своей гордости стал поэтом.

Я осмеливаюсь защищать мнение, что Байрон поэтом от природы не был, что его стихотворное творчество вызвали к жизни обстоятельства его жизни. Более того, он презирал литературу, обремененный долгами, он высокомерно отказывался получить хоть шиллинг за свои стихи, из поэтов персонального общения он удостоивал одного лишь Шелли, весьма прохладно пожал восторженно, чуть ли не услужливо поданную руку Гёте. Студентом он написал томик скверных стиш-

ков, которые сам назвал презрительно «Часы досуга». Он писал тогда стихи, чтобы чем-то занять себя, как стрелял из пистолета или как загонял верховых лошадей, аристократической скуки ради и для умственной тренировки.

Позже, однако, когда «Эдинбургское обозрение» высмеяло эти стихи, его честолюбие было уязвлено, сначала в ответ он написал ядовитую и остроумную сатиру «Английские барды и шотландские обозреватели», которая должна была показать этой интеллектуальной черни, что он, лорд Байрон, может быть поэтом, и тотчас же свою волю направил на то, чтобы стать им. Годом позже он стал знаменит, но теперь его привлекла мысль соревноваться с самыми могучими поэтами современности и прошлых веков: «Фауст» Гёте должен быть превзойден в «Манфреде», театр Шекспира — новыми драмами, «Комедия» Данте — «Дон Жуаном».

И тут начинается великолепная пьянящая френезия\*, бешенство воли художника, стимулированное единственно лишь гордостью. В огонь своей воли бросил он всю свою жизнь, всю свою титаническую страсть. Из гордости и силы воли состоит эта единственная в своем роде трагедия творческого самосожжения, пламенем своим озарившего всю Европу и пурпурные отсветы которого мы наблюдаем еще до сих пор.

Однако — лишь пурпурные отсветы. Ибо поэзия лорда Байрона теперь мало греет наши души, его страсти кажутся нам чаще всего нарисованным пламенем, его мысли и некогда так потрясавшие страдания более напоминают театральный гром и пеструю бутафорию. У всех себялюбивых страданий мало власти над временем, и те «саможелаемые печали», которые Данте изгоняет в преддверие чистилища, утомляют нас, тогда как истинная мировая скорбь, потрясения чувств «хрупкостью мира», сострадательный трагизм Гёльдерлина, магическая взволнованность Китса остаются бессмертными мелодиями. Жесты Байрона, которые позже переймет Гейне, эти напыщенные прометеевские ужимки поэта:

---

\* Френезия — вид психоза, ярость, неистовство. — *Примеч. пер.*

О, я несчастный Атлант! Целый мир, \*  
Да, целый мир скорбей нести я должен... —

скорее, неприятны нашим чувствам, более того, кажутся нам безвкусными и противными, и их реплики, и их остроты чаще всего пусты и плоски.

Поэту всегда опасно поддаваться своему уму и злоупотреблять им ради острот: сатира, режущая время по живому телу, быстро притупляется и при следующем поколении уже упирается в пустоту. Все те строфы, сотни из «Дон Жуана», направленные против лорда Касльрея, против Саути и совершенно случайных личных врагов, все те строфы, которые тогда были злободневными и взрывоопасными, нынче всего лишь сырой порох, бесполезный балласт. Таким образом, от большого эпического произведения, собственно, ничего и не осталось живого, кроме описаний нескольких великолепных тропических ландшафтов и отдельных сцен, одну из которых позже Делакруа воспроизвел на своей картине «Кораблекрушение». Вспоминается Шильонский замок, некоторые живописные строфы о поле боя под Ватерлоо, но остается лишь костюм времени Байрона, и вот висит он небрежно на личностях, ставших сейчас куклами, марионетками.

История, какими бы бессмысленными ни казались нам ее действия, все же в конечном счете безжалостно права, она отделяет искусственное от правды, беспощадно дает опать чрезвычайно набухшим чувствам и сохраняет для жизни только живое, и, таким образом, от чувств Байрона осталось единственно живое — присущая ему великая гордость. Сценами, в которых Манфред в свой последний час выпрямляется и прогоняет злых духов и священников, чтобы погибнуть свободным, смелым и великим, в которых Каин восстает против своего Бога, — этими сценами демоническое своеобразие Байрона обессмертило себя и, возможно, еще несколькими стихотворениями, созданными внутренне потрясенной душой, на-

---

\* Г. Гейне. «На родине». Перевод М. Л. Михайлова.

пример, «Прощание с Англией», «Стансы к Августе» и то последнее великолепное стихотворение, в котором он предсказывает свою смерть\*. Они одни являют собой непреходящий памятник святому, языческому высокомерию, возвышаясь во времени над некогда столь высоко ценимыми, а теперь совершенно потерявшими свое значение произведениями поэта.

Итак, теперь для наших чувств Байрон — больше образ, чем гений, больше героическая личность, чем поэт, красочная поэма жизни, подобную которой по чистоте и драматичности великий демиург, вечный Создатель мира создавал редко. Байрон воздействует на наши чувства, скорее, не поэтически, а театрально, но драма его колоритна и значительна. Она более незабываема, чем любая другая драма девятнадцатого века. Иногда творящая природа для короткого героического спектакля, как в непогоду, драматически концентрирует в одном человеке все свои многообразные силы, чтобы потрясенный мир увидел все ее возможности. Подобным спектаклем в театре одного актера была поэма жизни лорда Байрона, великолепное крещендо, обусловленное внешними событиями, блестящий расцвет земных чувств, сверкающий высокими мыслями и опьяненный мелодией не долговременной как бытие, но незабываемой как явление, и мы сегодня воспринимаем поэта, скорее, как трагедию, а его гибель — как великолепную строфу из вечной героической песни человечества.

## МОЕ СОБРАНИЕ АВТОГРАФОВ

Когда друзья называют мое собрание собранием автографов, то неточно определяют его содержание: я предпочел бы назвать его собранием рабочих рукописей. Не просто рукописи, случайные письма или листы из альбомов художников собираю я, а только лишь такие рукописи, в которых проявлен творческий дух в творческих условиях, то есть исключительно

---

\* С. Цвейг имеет в виду стихотворение «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». — *Примеч. пер.*



черновые рукописи художественных произведений или их фрагментов.

Если я люблю какое-нибудь литературное или музыкальное произведение, то мне хочется знать возможно больше о его возникновении. А процесс творчества я особенно чувствую по «рисунку» рукописи, причем в неизмеримо большей степени по рукописи первого наброска, чем по рукописи перебеленной, подготовленной к печати.

Я давно уже пришел к мысли собирать только рабочие рукописи произведений или их фрагментов и ограничил себя этим сокровеннейшим и интереснейшим кругом, самым решительным образом уклоняясь от искушения, каким бы сильным оно ни было, приобретать для своего собрания письма или рукописи, не отвечающие этим моим требованиям. Точно так же остерегаюсь я соблазна очень расширять свое собрание.

Мне очень хочется иметь хотя бы один творческий документ каждой значительной творческой личности, более того, если это достижимо, то такую рабочую рукопись, в которой его творческая сущность проявлена в наибольшей степени, и, следует сказать, мои добрые гении не раз помогали мне заполучить для моего собрания как раз такую рукопись, которая писалась художником в счастливейший в его жизни час вдохновения. И моя коллекция случайных автографов, объединенных лишь формальными признаками, постепенно стала превращаться в энциклопедическое собрание не только творческих рукописей, но и рукописей, характеризующих способы, технологию творчества. И, надо надеяться, последующие годы позволят восполнить то, что в прошлом было упущено.

Собирать автографы начал я очень давно, еще гимназистом, в те времена, когда у меня пробудились первые литературные интересы, и с тех пор моя страсть к собирательству сохранилась на долгие годы, она только, пожалуй, поумнела, стала более терпеливой, более разборчивой. Много замечательного принес мне случай, многое и весьма существенное я получил в те времена, когда авторы, мои современники, не

смотрели еще на свои рукописи как на товар, имеющий денежное выражение, и охотно дарили их своим друзьям. Едва ли не вся современная литература внесла свой вклад в мое собрание, иные жертвователи и иные их произведения позднее стали знаменитыми. Горький и Шнитцлер, Томас Манн и Генрих Манн, Тиммерманс и Верфель, Андре Жид и Верхарн, Зигмунд Фрейд и Валерий Брюсов, и многие другие, которым я чрезвычайно благодарен, подарили мне рукописи, а некоторые — даже рукописи своих основных произведений, Роллан — десятую книгу «Жана-Кристофа», Райнер Мария Рильке — «Песню о любви и смерти», Бартш — «Семеро из Штиермака», Моло — роман о Шиллере, Франк Ведекинд — рукопись книги «Маркиз фон Кейт». Так сама собой определилась часть собрания, посвященная писателям-современникам. Правда, рукописи старых художников я в основном покупал.

Теперь все свои усилия я направляю на то, чтобы случайное объединение рукописей моего собрания постепенно преобразовать в организм, оказавшиеся вместе объекты — превратить в некий субъект, если так можно выразиться, в личность. Надеюсь, его физиогномия отчетливо выявится в каталоге собрания, которое профессор Киппенберг дружески предложил мне выпустить в своем издательстве «Инзель»; каталог этот должен будет показать, как с помощью славных элементов — страсти, удачи и терпения — был создан представительный портрет творческого начала.

Ибо эти элементы действительно необходимы для того, чтобы собрание стало чем-то большим, чем случайное объединение экспонатов, чтобы оно стало некоей концентрацией вместо простого конгломерата. Страсть нужна, и она, как всякая страсть, должна время от времени быть фанатичной, чтобы безрассудно тянуть к себе все, что она истинно жаждет иметь. Даже находясь в материально стесненных обстоятельствах, я все же оставался легкомысленным, когда подворачивался случай приобрести для моего собрания что-нибудь существенное, и никогда потом об этом легкомысленном

поступке не жалел, так как опыт показывает, что за ценную рукопись никогда не переплатишь.

Сфера автографов не допускает никаких колебаний, все в ней имеется лишь в одном экземпляре; никогда одна и та же рукопись вдруг во второй, в третий раз для продажи не появится, как это бывает с библиографическими редкостями, и если ее сразу не схватишь, то больше никогда не получишь. Однако для управления страстью требуется терпение, нужно уметь ждать — часто годы и годы, — пока, наконец, не появится так страстно ожидаемая тобой рукопись; но нетерпение не должно сбить тебя с толку, как иных американцев, которые ищут мгновенной славы и готовы за письмо Бернарда Шоу (каких, вероятно, на земле много тысяч) неразумно заплатить больше, чем за письмо Бетховена (которых у частных лиц едва ли наберется сотня), а за рукопись Джозефа Конрада дадут в десять раз больше, чем за бессмертную кантату Иоганна Себастьяна Баха.

Для того чтобы разобраться в этой специфической, доступной пониманию лишь немногих области, следует иметь специальные знания и хорошо разбираться в рукописях, а в этом очень помогло мне второе мое собрание, которое я составил, затратив на подбор материала действительно много труда. Я систематически и очень тщательно собирал все каталоги автографов, выпущенные с тех пор, как люди стали заниматься собиранием автографов, то есть более чем за сто лет, и собрал воедино такой уникальный материал, которого, думаю, нет ни в Британском музее, ни в Прусской государственной библиотеке, ни в одном учреждении, ни у одного частного лица на свете. Ведь эти каталоги печатались ничтожными тиражами, не превышающими двухсот — трехсот экземпляров, причем их никогда не берегли, как книги, не хранили, а по использованию обычно выбрасывали, и только особый счастливый случай помогал мне раздобыть тот или иной каталог сороковых — пятидесятих годов прошлого века. И тем не менее я сумел собрать едва ли не все немецкие и французские каталоги, а кроме французских — многие другие иностранные, всего око-

до трех тысяч, и тем самым подготовить для научного собрания материал, которого в другом месте не найти.

Впрочем, никакие усилия собирателя, ни объединение так необходимых ему прилежания и терпения, ни знание предмета, ни наличие в характере предрасположения к страсти не в силах сделать возможным невозможное — создать действительно полное собрание документов творчества. Всегда в нем будет недоставать каких-то блестящих имен, каких-то представительных рукописей, но именно в этом стремлении к завершению некоего несбыточного плана и заключается прелесть того очарования, которое держит собирателя в постоянном напряжении; очарование это — чудесный сплав радости от уже достигнутого и надежды дополнить собрание новыми раритетами. Я никогда не хотел бы потерять это ощущение радости и, может быть, поэтому те рукописи, которые я мечтаю приобрести, мне так же в известном смысле дороги, как и те, которыми уже обладаю.

## Некоторые рукописи из собрания Ст. Цвейга (Зальцбург)

### *Немецкая литература*

- Бюргер. «Торжественная песнь»;
- Бюхнер. Сцены из «Леонс и Лена»;
- Гейне. «Дохнула стужей весенняя ночь»; «Силезские ткачи»;
- Гёльдерлин. Глава из «Гипериона»; перевод из Пиндара;
- стихотворения: «Праздник осени», «К немцам», «Голос народа»;
- Гёте. Лист из «Фауста»; «Майская песня»; «Свадебное стихотворение»; несколько других стихотворений; лист из «Юношеских трудов»; семь рисунков;
- Э. Т. А. Гофман. «Страдания капельмейстера Крейсlera»;
- Граббе. Сцена из драмы «Битва Германа»;
- Кант. Фрагмент трактата;
- Келлер. «Идиллия огня»;

- Г. фон Клейст.** «Совет королеве Луизе»; «Военная немецкая песня»; ода «Германии»;
- Клопшток.** «Ода к немецким республиканцам»;
- Ленау.** «Песни в камышах»;
- Нестрой.** «Вождь Западный ветер»; «Смертельный страх»;
- Ницше.** Цикл юношеских стихотворений; набросок новеллы;
- Новалис.** Части романа «Генрих фон Офтердингер»;
- Раймунд.** «Гуттенштейну»;
- Рильке.** «Песня о любви и смерти корнета Рильке»;
- Жан-Поль Рихтер.** «Речь мертвого Христа»;
- Силезиус.** Изречения;
- Уланд.** «Хороший товарищ»;
- Хеббель.** Новелла «Шнок»; заключение пролога «Нибелунги»;
- Хельти.** «Кто хотел страдать от капризов»;
- Шиллер.** «Семь ксений»; фрагмент трагедии «Дон Карлос»;
- Шопенгауэр.** Часть трактата «Мир как воля и представление»;
- Шпиттелер.** Песнь из «Олимпийской весны»;
- Ведекинд.** «Маркиз фон Кейт».

### *Иностранная литература*

- Д'Аннунцио.** «Слово о Данте»;
- Байрон.** Из «Советов Горацио»;
- Бальзак.** «Темное дело»; большая часть авторской рукописи и все откорректированные гранки (три этапа) повести «Обедня безбожника»;
- Бодлер.** Два стихотворения из цикла «Цветы зла», «Семь стариков», «Старушка»;
- Верлен.** «Галантные празднества»;
- Верхарн.** «Многоцветное сияние»;
- Вольтер.** Фрагмент повести «Философ»;
- Горький.** Восемь глав книги «Пережитое и встречи»;

Диккенс. Две главы романа «Давид Копперфилд»;  
Достоевский. Главы романа «Униженные и оскорбленные»;  
Казанова. Два стихотворения;  
Карлейль. Фрагмент «Фридриха Великого»;  
Китс. Две страницы знаменитого стихотворения «Я вышел на пригорок — и застыл...»;  
Клодель. «Благовещенье»;  
Леопарди. Стихотворения;  
Луве де Кувре. «Мемуары»;  
Метерлинк. «Сокровище смиренных»;  
Мицкевич. Стихотворения из цикла «Крымские сонеты»;  
Мопассан. «Бесполезная красота»;  
Монтескье. «О богатстве Испании». Первый набросок одной главы основного произведения писателя «О духе законов»;  
Мюрже. Фрагмент «Сцен из жизни богачей»;  
Мюссе. Сцена из пьесы «Служанка короля»;  
Расин. Эскизы библейских стихотворений;  
Рембо. Сорок стихотворений (почти все, что осталось от рукописей поэта);  
Роллан. Последний том романа «Жан-Кристоф»;  
Руссо. Лист рукописи «Общественного договора»;  
Стендаль. Рукопись с эпитафией «Жил, писал, любил»;  
Тассо. Сонет;  
Толстой Лев. Две главы повести «Крейцера соната»;  
Уайльд. Стихотворения и «Афоризмы»;  
Уитмен. Стихотворения;  
Флобер. «Библиомания»;  
Франс. «Психология современной женщины»;  
Шоу. Статья о Честертоне;  
Якобсен. «Два мира»;

### *Политики и исторические личности*

Блейк. Набросок рисунка к книге «Иов»;

Кеплер. Астрономическое исследование;  
Леонардо да Винчи. Лист из рабочей тетради с двумя рисунками и заметками (из собрания Моррисона);  
Вазари. Статья о Луке Синьорелли из книги «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»;  
Маркс. Политическая «Декларация»;  
Микеланджело. Эскиз мраморной глыбы (с размерами);  
Муссолини. Статья времен начала фашизма;  
Наполеон. Собственноручный набросок «Обращения к солдатам под Риволи» на четырех листах ин фолио (из собрания Кроуфорда);  
Робеспьер. Речь в обществе розаритариев;  
Сен-Жюст. Законодательное предложение в Конвент;  
Цвингли. Распоряжение о введении в Берне реформированной церкви.

### *Музыканты*

Бах. Кантата «Куда же мне бежать»;  
Бетховен. Юношеский дневник двадцатитрехлетнего композитора, так называемый дневник Артария, который пятьдесят лет считался утраченным; песня «Я был с Хлоей наедине»; часть опуса «Афинские руины».  
Ряд ценных реликвий (из собрания семьи Бройнинг): письменный стол из комнаты, в которой умер композитор; пюпитр, на котором он писал свои последние произведения; шкатулка для денег, миниатюры графини Джульетты Гвичарди и графини Эрдеди, прядь волос, последний список белья, отданного в стирку;  
Брамс. «Цыганские напевы»;  
Вагнер. Партитура увертюры «Правь, Британия»; фрагменты текста «Зигфрид»;  
Вебер. Фрагмент «Оберона»;  
Вольф. «Сказочный остров, моя страна»;  
Гайдн. Вариации национального гимна из «Королевского квартала»;

Гендель. Последний вариант оратории «Иосиф»;  
Глюк. Ария из оперы «Альцеста»;  
Малер. Фрагмент Второй симфонии;  
Мендельсон. «Песенка путешественника»;  
Моцарт. набросок арии Керубино; набросок дуэта из оперы «Женитьба Фигаро»; квинтет для гармоник; соната для рожка; десять менуэтов, контрданс; марш;  
Мусоргский. Две песни;  
Ницше. Небольшая неопубликованная симфония;  
Скарлатти. Ария;  
Чимароза. Фрагмент оперы;  
Шопен. «Мазурка»;  
Шуберт. «Последняя песнь Мариам»; несколько других песен и танцев.

## ЖИЗНЬ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

Жизнь Поля Верлена из-за множества легенд, окруживших его имя, более молодым поколениям кажется чрезвычайно романтической, он же сам — *raconteur Lelian\** является первым представителем богемы, цинично презирающим буржуазную литературу, гениальной личностью, бунтарем. Меньше всего он был таким бунтарем, его единственной силой было бессилие, его магией — отсутствие противодействия. Выходец из заурядной буржуазной среды, вырванный однажды из родного дома, потерявший службу, он, не испытывая радостей скитальца, постоянно тосковал по своему дому, по жене, по ребенку, по истовой вере в первое причастие, по нежности и умиротворению, тосковал даже по тюрьме, так как она в известной мере была приютом для бродяги поневоле. Не как Рембо, его совратитель и спутник в годы бродяжничества, он, истинный принц в опале, свободно дышит лишь чужим воздухом, лежа на чужой соломе.

Верлен был всю жизнь человеком богемы, писателем, от-

---

\* Бедный Лелиан (*фр.*) — так звали Верлена в кругах парижской богемы.



вратительным самому себе, алкоголиком с лирическим похмельем. Трижды, четырежды, пять раз пытался он выбраться из зеленой трясины абсента на берег добропорядочной буржуазной жизни. То он хотел стать фермером, то учителем, то редактором или служащим магистрата, всегда стремился он к здоровой, спокойной, упорядоченной жизни: ему, деклассированному человеку, не доставало не воли, а лишь сил для возврата в буржуазную жизнь. Попавший однажды под колеса неблагоприятных обстоятельств, вырванный из привычных для себя условий, он неудержимо проваливается в пустоту; и поскольку это падение не способствует росту сопротивляемости, никакая, даже титаническая сила не способна, не может удержать его падение. И это предельное духовное и моральное бессилие при необычайно большой творческой силе поражает в формуле жизни Верлена.

Его судьба богата красочными деталями, но в ней всего один поворот: некий типичный порыв, характерный штрих биографии едва ли не каждого художника. В биографии любой истинно великой личности можно увидеть, как судьба — в юности ли, в зрелые ли годы — хватается этого человека, вырывает из его угла, из безопасного места, в котором тот скрывался, и швыряет, словно волан, куда-то в неизвестность. Все эти люди претерпели подобный крутой поворот, подобный побег, иногда, казалось бы, по своей воле, в действительности же всегда по воле судьбы — побег из ограниченности, из привычного состояния, отрываясь от корней — вовне, в час, который ставит человека в совершенно непривычное ему положение, иногда — к позорному столбу, иногда — обрекая на одиночество, но всегда — оставляя его один на один со всем современным ему миром.

Так, хорошо устроенный придворный дирижер Вагнер однажды оказывается на баррикадах и должен затем скрываться от правительства, или же Шиллер бежит из Карлсруэ; так, министр Гёте внезапно в Карлсбаде приказывает запрячь карету и мчится в Италию, чтобы пожить там свободно, ничем не связанным, так едет Ленау в Америку, Шелли — в Италию,

Байрон — в Грецию, так постоянно нерешительный, восьмидесятилетний Толстой, в лихорадке, смертельно больной, следуя внутреннему голосу, бежит из своего поместья в зимнюю ночь.

У всех великих людей было подобное неожиданное бегство из собственного буржуазного уюта, словно из темницы, все эти внезапные ставки на карту всего своего существования ради сильного, вызванного потребностью, заложенной в подсознании человека, — и какого мудрого! — поступка, который гонит художника в вечно далекое, откуда он увидит время и мир словно с далекой звезды.

Для сильного этот побег, этот порыв всего лишь кризис, за которым наступает выздоровление. Более слабые художники — гибнут, Данте в изгнании создал «Божественную комедию», Сервантес в темнице написал «Дон Кихота», Гёте, Вагнер, Шиллер, Достоевский — вернулись домой, на родину с широко раскрытыми глазами, со стократно возросшими силами. Им этот прорыв открыл дорогу к глубочайшему пониманию своего «я», к пониманию Вселенной.

Слабые, однако отторгнутые от буржуазно-общепринятого, которое стесняло их, но при этом как-то и поддерживало (так часто падающая лошадь держится некоторое время на оглоблях), попадают в вакуум. Все они, все эти легко уязвимые, чрезвычайно ранимые характеры, эти люди, ставшие бунтарями не в силу присущего им темперамента, а из-за нервозности, от слабости, от нетерпения, все эти граббе, гюнтеры, уайльды, верлены соскальзывали вниз, становились перед крутыми откосами действительности все беспомощнее и беспомощнее, и их жизнь, их произведения исчезли из памяти поколений.

Это сентиментальное заблуждение — путать истинно великое с просто трогательным: в действительности же жизнь Верлена была трагичной и глубоко потрясает, однако было бы совершенно неправильным угасание этой жизни считать явлением внезапным, неожиданным. Нигде на жизненном пути поэта не было драматических подъемов, не было на этом пути

ни героев, ни борьбы: только — распад, разрушение, сползание в трясины, деградация, падение. Ни в чем жизнь Верлена не назовешь возвышенной, ни в чем она не величественна, не достойна подражания; всегда следует она стереотипу «человека массы», трогательна своим бессилием, потрясает своей слабостью, радуется единственно лишь своей мелодией. Поль Верлен — не мраморный, не бронзовый памятник герою: нет, он — трагически мягкий, кровоточащий человеческий материал, из которого железная рука судьбы вылепила мимолетный, но незабываемый образ Страдания.

Поль Мария Верлен — свое второе имя он вспомнит, лишь перейдя в другую веру — родился 30 марта 1844 года в семье капитана инженерных войск, выходца из Лотарингии. Отец будущего поэта, участвовавший еще в битве при Ватерлоо, женился на богатой наследнице, получив в соответствии с французским законом приличную ренту, ушел в отставку и переехал с женой и ребенком в Париж, где умер в 1865 году, успев на спекуляциях потерять изрядную часть своего состояния. Но все же семье осталось еще достаточно для мелкобуржуазного бытия, для покойного уюта, в котором и рос чувствительный, нервный мальчик, воспитываемый и ласкаемый матерью и кузиной. Несколько лет в пансионе сделают из застенчиво-доверчивого ребенка маленького парижского гамена: ласковость, плутовство, легкомыслие и неряшливость — все это от дортуарного сообщества 1860 года и проявится в его стихотворениях, написанных в конце жизни.

Но в эти школьные годы одновременно начинается и поэт, начинается — достаточно типично для изнеженного женственного характера Поля — одновременно (но не случайно одновременно) с возмужанием, как раннее проявление творческой зрелости и юношеской меланхолии. В своем большинстве стихотворения из сборника «Сатурновские стихотворения» были написаны им на школьной скамье: благодаря милой кузине Элизе, оплатившей типографские расходы, книжечка эта смогла появиться на свет в издательстве Лемер — удивительным образом, в тот же день, что и книга-первенец Фран-

суа Коппе, и обе эти книги имели у прессы *joli succès de hostilité\**.

Французские поэты в отличие от немецких не считали тогда — да и теперь также — поэзию материальной основой своего существования, ни один из них серьезно не пытался жить за счет хорошей лирики. И, недолго позанимавшись в университете, Поль с согласия родителей, подобно многим юным французским поэтам, решил пойти на государственную службу. Этот не очень обременительный труд — провести несколько часов в уютном кресле, немного болтовни и бумажной пачкотни — создавал для окружающих видимость какой-то работы и давал возможность в свободное время бездельничать, часто посещать литературный кружок *æénacles\*\** и заниматься поэтическим творчеством.

Идеал французского буржуа — маленькая рента — была поэту обеспечена, особенно честолюбивым он никогда не был, и живет юный Поль Верлен спокойно, в довольстве, совершенно нормально, совершенно по-буржуазному. Все представляется ему надежным и упорядоченным. Он являет собой типичный пример молодого французского поэта, который бьет баклуши в какой-то канцелярии, начинает писать хорошие стихи, чтобы через три десятка лет помыслов и желаний, получив орден Почетного легиона, быть избранным в Академию, — приятный путь, который добросовестно преодолели многие его старшие современники и друзья юности: Анатоль Франс, Франсуа Коппе.

Но в этой славной буржуазной спокойной творческой жизни таится единственная опасность: ранняя привычка к алкоголю. Верлен, слабый, совершенно безвольный человек, не может пройти мимо ни одного кафе, ни одной пивной, чтобы для подбадривания не пропустить рюмочку абсента, опрокинуть стопку водки, стаканчик кюрасо, а хмель превращая мягкого нервного человека в злюку, забияку, грубияна. Он

---

\* Здесь: недоброжелательную критику (фр.).

\*\* Здесь: сборище литераторов, восхваляющих друг друга (ирон., фр.).

внезапно становится задиристым, лезет в драку с друзьями, словно Готфрид Келлер в свои берлинские годы, и постепенно абсент вымывает из слабого человека все мягкое, все ласковое, делает его чужим самому себе. Смерть кузины Элизы вызывает первый кризис. Двое суток он не прикасается к еде, но все это время непрерывно пьет, за что получает от своего начальства нагоняй. *Le seul vice impardonnable* — единственным непростительным пороком своей жизни назвал он эту страсть к спиртному. И эта страсть постепенно лишает его почвы под ногами.

И первое большое переживание в его жизни еще совсем обычно. В гостях у одного из друзей он познакомился с молодой шестнадцатилетней, милой и нежной, белокурой девушкой Матильдой Манте, олицетворением невинности и целомудрия. В молодые свои годы уродливый, словно обезьяна, застенчивый, нерешительный и непристойного поведения одновременно, романтик, так же торопливо находивший удовлетворение своей прихоти у продажных женщин, как удовлетворение желания выпить — в первой попавшейся на пути пивнушке, Верлен видит в чистой девушке святую, спасительницу от всех своих бед. Он бросает пить, ухаживает за девушкой, просит руки у ее родителей, торжественно отмечает помолвку.

Словно гимназист, нежно и преданно воспевает он в письмах свою избранницу, и разница лишь в том, что это не гимназические вирши, а те великолепные стихотворения к невесте, которые войдут в его лучшую, самую чистую книгу юношеских стихотворений — «Галантные стихотворения». Тотчас же исчезает скрытно-чувственное, смутное в его сущности, чистая страсть приглушает в освобождающейся душе иллюзии тангейзера, бесследно пропадает прежняя, часто надуманная меланхолия в мелодии стиха.

Но в идиллию врывается канонада прусских пушек. Разражается война 1870 года, и, чтобы освободиться от совсем нежелательного призыва в армию, он быстро женится, когда немцы уже стоят под Седаном, и еще один роковой символ —

керосинщица Луиза Мишель оказывает ему помощь при оформлении бракосочетания.

Брак, свершенный при таких неблагоприятных обстоятельствах, оказался неудачным. К тому же в это время одна неприятность за другой стали осложнять жизнь поэта. Безразличный к политике, Верлен дал себя уговорить и вместо того, чтобы ходить на службу в магистрат, стал подбирать для революционного правительства газетные вырезки, что после подавления Коммуны вызвало известные осложнения. Правда, он мог бы вернуться на свою прежнюю работу, но она ему опостылела, *assez du rural*!

Он не желает больше. В подобные времена социальных потрясений волнение охватывает всех без исключения (нечто похожее в нашу эпоху пережили и мы); буйный ветер свободы, пронесшийся над всем миром, увлек и Верлена. Ему уже плохо дома, у родителей своей жены. Он уже не удовлетворен своей работой: раздраженный, он начинает пить, во хмелю становится грубым, конфликты в семье множатся, семья вот-вот распадется, а жена ждет ребенка. Все толкает его к взрыву, разрыву, идет брожение, подобно тому как это было у Гёте в безрадостные кризисные годы перед бегством в Италию. Верлен хотел бы бежать, ему безразлично куда, но у него нет для этого сил, безвольный человек, никогда ему не освободиться ни для добра, ни для зла. Кто-то другой должен освободить его от него самого.

В феврале 1871 года он внезапно получает письмо из маленького провинциального города Шарлевиля, написанное неловким полудетским почерком неким Артюром Рембо. К письму приложено несколько стихотворений, которые приводят Верлена в неопишуемое восхищение. Эти строчки таят в себе страшную взрывную силу слова, в них сверкают столь фантастические картины, о которых не решается даже мечтать ни один другой человек на земле: энергия электричества, первобытная сила, незнакомая и судьбоносная. Верлен пока-

---

\* Здесь: хватит этого бюро (*фр.*).

зывает стихи друзьям. Они разделяют его восторг, впервые читается стихотворение «Пьяный корабль», этот великолепный гимн сердца мира, и в страстном письме Верлен настоятельно зовет незнакомца приехать как можно скорее в Париж: «Venez chère grand âme, on vous attend, on vous désire»\*.

И Рембо приезжает, не мужчина, как думали Верлен и его друзья, а юноша с удивительным демонизмом физической силы, молодой человек, чем-то напоминающий Вотрена, с лицом испорченного подростка, с грубыми, красными кулаками. Мрачный, недружелюбный, неприветливый — оживающий лишь во хмелю и при чтении стихов до неистового восторга — он, угрюмый, присаживается к женщинам за стол, ест, словно свирепый воин, и не говорит ни слова. Трижды он уже удирал со школьной скамьи в Париж, трижды его возвращали назад, но его твердая демоническая воля добивалась своего.

Для Верлена этот метеор — глубокое счастье. В Рембо находит он наконец друга, обладающего духовным превосходством и мужской силой, друга, который подстегивает его, укрепляет его, отрывает от самого себя: семнадцатилетний Рембо, великая аморальная личность, учит его мыслям, более смелым, чем мысли Ницше, учит анархии, учит презирать литературу, презирать семью, презирать законы, презирать христианское учение. Своими резкими, издевательскими, предельно напряженными, обладающими первобытной силой словами он отрывает Верлена от мягкой земли, на которой тот вырос. Он лишает Верлена корней.

Сначала они вместе шатаются по Парижу, пьют и говорят, говорят и пьют, однако Рембо, гений, могучий, сверхмогучий демонический человек, пьет для того, чтобы почувствовать себя сильнее, чтобы в опьянении более соответствовать своей неординарности, тогда как Верлен пьет из страха, из-за раскаяния, меланхолии ради, из-за слабости. Постепенно Рембо приобретает над старшим другом магическую, демоническую силу, он становится *infernal éroux*, сатанинским супругом,

---

\* Приезжайте же, любимая, великая душа, вас ждут, вас зовут... (фр.)

порабощает Верлена, словно женщину, и однажды в 1872 году они вместе уезжают.

Верлен оставляет жену и ребенка и бродяжничает с другом по Бельгии, потом по Англии. Все глубже и глубже становится порабощение: до какой степени сильны были тайные сексуальные мотивы этой дружбы, остается лишь догадываться, и в конечном счете это никого не касается; внешне же деспотическая власть гневного юноши над мягким человеком становится все сильнее. Как каторжника на цепи, держит он Верлена пленником своей воли, почти полностью растратившего в эти бессмысленные годы в кабаках и трактирах на эль и портер все унаследованное от отца.

Наконец, слабый человек набирается духу: в зловонном тумане Лондона на Верлена неожиданно нападает тоска по родине, тоска по домашнему теплу, по жене, которой он через свою мать предлагает вновь жить вместе в каком-нибудь сельском доме, по ребенку, по покою и надежному, обеспеченному существованию. Словно школьник из пансиона, бежит он от своего тюремщика из Лондона, оставляет там Рембо, одного, без единого фартинга, и спешит в Брюссель, чтобы встретиться с матерью, которая должна передать ему известия от жены.

Но мать привозит скверные вести. Жена Верлена не желает более связывать свою жизнь с бродягой, с завсегдаем питейных заведений. И вот слабый, всеми покинутый человек вновь оказывается один, не способный и шага сделать ни к добру, ни к злу без помощи, без друга, без жены. Он сразу же отправляет телеграмму товарищу, любимому, господину его воли и зовет его в Брюссель.

Рембо приезжает. Верлен с матерью ждут его, Верлен как всегда пьяный; он крайне возбужден от разочарований, от волнения. И едва только Рембо объявляет, что едет обратно, но требует сначала денег, колотит по столу кулаком и требует денег, денег, денег, Верлен внезапно в пьяном угаре выхватывает из ящика стола револьвер и, дважды выстрелив в Рембо, слегка ранит его. Рембо бежит на улицу, Верлен, в ужасе от



совершенного, гонится за ним, желая просить прощения, и догоняет на бульваре.

Неправильно понятое движение руки Верлена заставляет Рембо подумать, что тот опять хочет стрелять. Рембо зовет на помощь. Верлена хватают, и тут ничего не помогает — бельгийский закон неумолим. Поля Верлена, величайшего поэта Франции, приговаривают за «нанесение телесных повреждений» к двум годам тюрьмы с отбыванием наказания (1873 — 1875) в Монсе, маленьком валлонском провинциальном городке.

В тюрьме произошла та глубокая метаморфоза, которая, казалось бы, свидетельствовала о том, что Верлен избавился от внутреннего беспокойства. Прежде всего, благотворным оказался запрет пить. Как бы затуманенный парами, угаром вина, мозг теперь освобождается от алкогольного, сумеречного состояния, далекое становится близким, уже кажется ему светлым. В памяти возникают картины детства, мечты о невинности, о молодости, мечты, которые в непривычной тишине формируются в кристальные стихи.

Единственный человек, которого ему разрешено видеть, это священник, и Верлен с той трогательной потребностью в откровенности, которая делает его самым субъективным из всех современных ему поэтов, покинутый всеми, *le coeuf plus veuf que toutes les veuves\**, с наслаждением отдается проповеди. Наконец может он, кающийся пьяница и сластолюбец, освободиться от всей тяжести своей вины, от всех упреков и обвинений, наконец находит он смысл в своей потерянной жизни, жизни, полной ошибок и заблуждений. Испорченный парижанин Верлен впервые за многие годы исповедуется, принимает причастие и вновь становится верующим.

В белой тюремной камере Монса вступает он в ряды великих католических писателей и в иные мгновения прикасается к мистическим темам. Новая сила сосредоточенности возникает в нём: впервые религиозный экстаз побеждает невротиче-

---

\* Сердце, более вдовое, чем все вдовы (фр.).

ческую слабость, эротика вытесняется религиозным пылом, страстность — любовью к Богу. Стихотворения из сборника «Мудрость», возникающие, как и последние стихи сборника «Романсы без слов», которые он здесь завершил, писались им в самые высокие творческие мгновения жизни, и можно понять поэта, который в более поздних своих произведениях, исполненный тоски, именуется тюрьму «волшебным замком», где «была сформирована душа», вновь и вновь возвращается к этим часам чистоты и веры, оплакивает их.

Бесконечно много дарит ему судьба в эти два года, бельгийское же правосудие не подарит ему ни одного дня из определенного судом срока. Шестнадцатого января 1875 года его выпускают из тюрьмы. У ворот его не встречает ни один из друзей, лишь мать, вечно преданная, его старая мать.

Едва попав в мир, едва освободившись от сурового содержания в четырех тюремных стенах, Верлен вновь не знает, что делать. Жена за время его тюремного заключения принудила его к разводу, парижские друзья забыли его; он чувствует, что слишком слаб, чтобы жить одному. Он вновь хочет встретиться с демоном своей жизни, Жаном Артюром Рембо, с которым, несмотря на все происшедшее, состоял в переписке.

Он пишет Рембо, и, по-видимому, в письме была робкая попытка обратить Рембо в католичество, так как Рембо, изучавший тогда в Германии язык, издевательски отвечает, что «Лойола» может посетить его в Штутгарте. Верлен едет туда и пытается привести свой план в исполнение: к сожалению, гостиничный номер — помещение, мало приспособленное для беседы пророков и новообращаемых. Один — неофит, другой — атеист, и общее у них только одно — пристрастие к спиртному, и пьют они до глубокой ночи.

Свидетелей попытки обращения нет: известен лишь весьма трагический конец. Возвращаясь домой, пьяные поэты поссорились и подрались на берегу Неккара при лунном свете — поразительный момент в истории литературы — стали драться палками два величайших поэта Франции. Драка была недолгой. Рембо, сильный юноша атлетического телосложения, лег-

ко справился с нервным, едва державшимся на ногах от выпитого Верленом. Удар по голове: Верлен, окровавленный, падает и остается лежать на берегу без сознания.

Это была их последняя встреча. Затем начинается грандиозная одиссея Рембо по всему свету в неведомые части земли, этот бег в состоянии безумия от своей судьбы, пока наконец, через два десятка лет, он не будет, разбитый, выброшен назад, на французский берег.

Верлен же возвращается в Париж, затем едет в Лондон преподавателем языка, потом делает попытку заняться сельским хозяйством, тщетно старается вновь вернуться к добропорядочной жизни, но миру не нужен этот потрепанный жизнью человек. Его шедевр — «Мудрость» — выпускает в 1880 году католик-издатель, вернее, даже торговец церковной утварью Пальме, ни одного человека не интересуется его книга, ни литераторов, ни верующих, и постепенно алкоголь вновь вымывает из произведений Верлена его набожность.

Старая мать делает еще одну напрасную попытку спасти его; в 1885 году она покупает участок земли, чтобы начать там с сыном уединенную жизнь. Однако безвольный человек пьет и пьет в деревенских кабаках и пьяный совершает свой последний позорный поступок — грубит семидесятипятилетней матери, угрожает ей побоями. Суд Вулье приговаривает его к месяцу тюремного заключения «за грубость и опасные угрозы».

Когда он на этот раз выходит из тюрьмы, мать его уже не ждет. И она устала от него, и она. Через год она скончается.

И жизнь Поля Верлена быстро идет к концу, он опускается все ниже и ниже. Со смертью матери он теряет последнюю опору. У него нет семьи, нет поддержки. Последние остатки имущества растрочены — *et tout te reste est littérature*, остается литература.

Скоро он становится характерной фигурой Латинского квартала, старый человек с похотливой улыбкой фавна, со шляпой, косо сидящей на голом черепе, всегда сопровождаемый толпой прихлебателей. Одну ногу он волочит (она у него парализована), порывисто ходит он от кафе к кафе, всегда

окруженный проститутками, писаками, студентами. С каждым садится за стол, каждому предлагает за двадцать франков посвящение в новой книге, каждому за рюмку абсента становится другом.

Уже не священнику, а любому репортеру, любому любопытствующему исповедуется он в своей жизни за столиком кафе, сначала — пока хмель еще в милости к нему — плачет и покаянно грезит, а едва нагрузится как следует — начинает бушевать и плакать, стучать по столу палкой. И время от времени он пишет стихи — о, какие скверные стихи! — именно такие, какие жаждут получить от него, — порнографические, набожно-католические, гомосексуальные, нежные лирические, бежит с ними к издателю Ванье, что на Набережной, тот дает ему аванс — сотню, две сотни серебряных су.

Если ему приходится худо, если в комнате становится холодно или очень уж досаждают сброд проституток и писаки, паразитирующих на нем, он прячется в больнице, на своей второй родине. Там его все знают, и доктора, и студенты, и из известного чувства товарищества разрешают остаться в больнице дольше, чем это требуется для подлечивания его ревматизма. В больничном халате, с белым колпаком на голове, величественно принимает он своих посетителей, пишет стихи или какую-нибудь чепуху для газеты.

Но вот однажды покой становится ему невмоготу, до смерти хочется выпить, он уходит из больницы, вновь бродит по улицам, переходя от стойки одного бара к стойке другого. Перед средой на первой неделе великого поста — ночной карнавал, он принимает в нем участие. После смерти Леконта де Лиля молодые люди организуют новые выборы короля поэтов. От Латинского квартала с огромным отрывом от других претендентов *prince des poètes* выбирается Верлен.

То ли как королевскую корону, то ли как шутовской колпак, гордо носит он свое звание, подумывает даже о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в Академию, но друзья вовремя дают ему понять, что эта его идея — несчаст-

ное заблуждение. Так он остается по ту сторону «Boul Mich»\*, молодежь уподобляет его божеству и насмехается над ним одновременно.

Все короче становится время его шатаний по кафе, все длиннее время нахождения в больнице. И вот, изнуренный мучительной болезнью, Верлен умирает в январе 1896 года на пользующейся дурной славой улице Декарта, в каморке, принадлежащей Эжени Кранс, особе с более чем сомнительной репутацией, женщине, которая долгие годы вытягивала из него последние деньги, изменяя со всеми его товарищами. Слово бродяга, умирает он на кровати проститутки.

И вдруг все они оказываются здесь, его старые друзья по литературе, которые, встречая на бульваре пьяного поэта, боязливо уклонялись от общения с ним, тут они сразу оказываются здесь, заслуженные *sattled poets*\*\* , академики, Франсуа Коппе, Морис Баррер. Умер Поль Верлен, дитя человеческое. На похоронах говорились красивые речи, были пламенные выступления, цветы, венки, слова покрыли останки этого несчастного, слабого, замученного человека. Смертную плоть великого человека поглотила могила Батиньоля. *La commedia è finita...*\*\*\*

Из своей трагической и совершенно негероической жизни Верлен ничего не утаил. Как поэт в понимании Гёте, он был чрезвычайно коммуникабельной натурой, он любил рассказывать о себе в стихах и прозе, и его потребность в исповедальности была безграничной. Часто это переходило границы правды, доходило до карикатуры, до утрирования, до патологического выставления себя напоказ; но он должен был рассказывать о себе, объяснять себя, оправдывать себя; ибо любая душа, которой недостает силы воли, этического авторитета, непременно должна обращаться с жалобой, с мольбой, с мо-

---

\* Бульвар Мишель — аббревиатура парижан.

\*\* Признанные поэты (фр.).

\*\*\* Комедия окончена (ит.).

литвой к кому-то или к чему-то — к людям, к Богу, к женщинам, к зеленому змию.

Всюду искал слабовольный человек помощи, всюду поэт оправдывался, объяснялся, всюду обвинял себя. Поэтому все его стихотворения, в понимании Гёте, — элементы великой исповеди. По стихотворениям Верлена можно шаг за шагом проследить взлет, расцвет, кризис и крушение его жизни, как на ветке — разворачивание одного за другим каждого листка.

И здесь, также в известном смысле в понимании Гёте, — стихотворения во всей их глубине и чистоте, в их совершенной человечности могут быть поняты как отражение его биографии.

Кроме этих, собственно исповедальных, стихотворений Верлен создал целый ряд автобиографических прозаических произведений. В высшем художественном смысле они имеют значение небольшое, в известной степени являют собой лишь канву для его стихотворений, на которой эти стихотворения сильнее звучат, ярче светятся. Основное достоинство прозы Верлена — ясная, ничего не утаивающая, ничего не приукрашивающая открытость, лишенная надменности раскованность. Поэт неторопливо рассказывает о себе, не пытаясь представить эту мало любимую им жизнь героической, достойной любви. И эта исповедь, совершенно так же, как стихотворения поэта, показывает его трогательно слабым человеком, который был игрушкой судьбы, зависел от едва заметного ее дыхания, был подвержен любому настроению, послушен любым чувствам, но именно поэтому он и стал настоящим поэтом, абсолютно свободным от себя человеком, совершенной мелодией.

## ТРАГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ МАРСЕЛЯ ПРУСТА

1925

Он родился 10 июля 1871 года в Париже, в конце войны — в богатой, очень богатой буржуазной семье знаменитого врача. Но ни искусство отца, ни миллионное состояние матери не смогли спасти ему детство: маленький Марсель в девять лет навсегда потеряет свое здоровье. Однажды, после прогулки в Булонском лесу, у него появятся приступы астматических судорог, и ужасные припадки будут раздирать его грудь всю жизнь, до последнего дыхания. С девяти лет почти все ему будет запрещено: путешествия, подвижные игры, физические упражнения, шалости, все, что называется детством. Так, уже ребенком, он становится наблюдателем, тонко чувствующим, впечатлительным, легко возбудимым, необыкновенно раздражительным существом, комком нервов.

Он страстно любит поля, леса, луга, но редко может выезжать за город и никогда — весной: цветочная пыльца, дурмящий воздух пробуждающейся природы болезненно ранят его воспаленные органы. Он страстно любит цветы, но не должен приближаться к ним. Друга, вошедшего к нему в комнату с гвоздикой в петлице, он должен просить убрать цветок, а посещение салона, в котором на столе стоит букет цветов, вызывает приступ, надолго укладывающий его в постель.

Иногда он выезжает в закрытой карете, чтобы через стекла ее окна посмотреть на любимые краски, на дышащие чашечки цветов. И вот он берет книги, книги, книги, чтобы читать о путешествиях, о недоступных ему ландшафтах. Однажды он поедет в Венецию, пару раз — к морю, но каждое путешествие стоит ему слишком много сил. И он почти все время проводит в Париже.

И все более скрупулезным становится его восприятие всего человеческого. Интонации голосов собеседников, украшение в волосах женщины, манера человека садиться за стол и вставать из-за стола, все мельчайшие детали, как-то украшающие

человеческое существование, необычайно прочно фиксируются его памятью. Тончайшие подробности мгновенно замечает его всегда бодрствующий глаз, все связи, повороты, обороты и заминки, беседы со всеми колебаниями громкости улавливаются и запоминаются его ухом. Позже на ста пятидесяти страницах в своем романе он сможет передать разговор графа Норпуа и при этом не будет упущено ни одно мгновение этого разговора, ни одно случайное движение говорящего, ни одна пауза, ни один нюанс: зрение и слух этого очень больного человека сохранили необычайную активность.

Первоначально родители прочили ему карьеру ученого и дипломата, но из-за его слабого здоровья от этих намерений пришлось отказаться. В конечном счете торопиться нечего, родители богаты, мать боготворит его — и вот растрчивает он свои годы в компаниях и салонах, ведет до тридцати пяти лет поразительно смехотворную, бестолковую, бессмысленно праздную жизнь, которую, пожалуй, может вести большой художник, ведет себя как сноб, принимая участие во всех мероприятиях богатых бездельников, именующихся высшим обществом, всюду он присутствует, всюду его принимают.

На протяжении пятнадцати лет каждую ночь, в каждом салоне, даже самом недоступном, безусловно, можно встретить этого застенчивого человека, всегда очень почтительного к дамам большого света, очень робеющего перед ними и забавляющего их, всегда занятого болтовней, ухаживаниями или скучающего. Всегда стоит он в каком-нибудь углу, мягко вступает в разговор, и знать, живущая в предместье Сен-Жермен, удивительным образом терпит нетитулованного гостя, и уже это для него — наивысший триумф.

Ибо молодой Марсель Пруст не обладает никакими внешними достоинствами. Он не особенно красив, не особенно элегантен, он не аристократ, и даже — сын еврейки. И его литературные заслуги не подтверждают его прав на посещение подобных салонов, так как его маленькая книжечка «Утехи и дни», несмотря на доброжелательное предисловие Анатоля Франса, не имеет ни веса, ни успеха. Он снискал расположе-



ние к себе единственно лишь своей щедростью: осыпает всех женщин дорогими цветами, заваливает свет неожиданными подарками, всех приглашает, ломает себе голову над тем, как бы угодить и понравиться самому ничтожному балбесу великосветского общества.

В отеле «Ритц» он очень хорошо известен своими зваными вечерами и фантастическими чаевыми. Он дает в десять раз больше, чем американские миллиардеры, и поэтому, едва лишь он входит в отель, все шапки служащих подобострастно слетают с голов. Его званые вечера фантастически расточительны и изысканны в кулинарном отношении. В лучших магазинах города он заказывает продукты наилучшего качества, виноград — в магазинах Левого Берега, пулярки — от Карлтона, ранние овощи присылают ему из Ниццы. И таким вот образом он связывает и обязывает «tout Paris»\* любезностями и одолжениями, никогда не требуя ничего взамен.

Но что еще больше, чем доброжелательность, чем расточительство, делает его в этом обществе своим человеком, так это его едва ли не патологическое благоговение перед ритуалом, его обожествление этикета, то неслыханное значение, которое он придает всем светским дамам, всем дурачествам моды. Словно Библию, почитает он неписанный кодекс аристократических обычаев: целыми днями занимает его проблема размещения гостей за столом — почему, например, принцесса Х. посадила графа Л. на дальнем конце стола, а барона Р. — на ближнем?

Каждая ничтожная сплетня, каждая пустяковая неловкость, случившаяся в высшем свете, волнует его как катастрофа мирового значения: он спрашивает, выпытывает у пятнадцати человек, что означает секретный порядок очередности приглашений княгини М., или почему другая аристократка приняла в своей ложе господина Ф. И благодаря этому страстному отношению к подобным пустякам, благодаря тому, что он близко к сердцу принимает мелочи, которые позже

---

\* Весь Париж (фр.).

заполнят его книги, он сам становится церемониймейстером в этом смехотворном, в этом несерьезном большом свете.

Пятнадцать лет этот высокий ум, один из выдающихся людей нашей эпохи ведет такую бессмысленную жизнь среди бездельников и выскочек: днем лежит обессиленный, с температурой в постели, чтобы вечером, надев фрак, спешить из салона в салон, тратя попусту время на званые обеды, письма и организацию всяческих празднеств, ненужнейший человек в этом непрерывном танце тщеславия; всюду его охотно принимают, нигде по-настоящему не замечают, по существу, он — всего лишь фрак и белый галстук среди других фраков и белых галстуков.

И всего лишь маленькая особенность отличает его от других. Каждый вечер, возвращаясь домой и ложась в постель, не в состоянии заснуть, он записывает все, что наблюдал, что увидел и услышал. Постепенно накапливаются кипы этих записок, они хранятся в больших папках. И подобно тому, как святой Симон, которого все считали придворным царя, оказался судьбой целой Эпохи, так и Марсель Пруст ежевечерне вносит все пустяки и все мимолетное о «tout Paris» в свои записи, заметки, наброски, чтобы, возможно, однажды эфемерное превратить в непреходящее.

\* \* \*

Вопрос психологам: ведет ли больной, каждодневно умирающий Марсель Пруст пошлую и бессмысленную жизнь сноба на протяжении пятнадцати лет из-за присущей ему радости жить именно так, а эти записи и заметки лишь дают ему приятные воспоминания о быстро прошумевшей светской игре? Или он идет в салон, как химик — в лабораторию, как ботаник — в поле, чтобы незаметно собрать материал для большого, неповторимого, единственного в своем роде произведения? Притворяется он или нет, соратник ли он в армии прожигателей жизни или просто соглядатай другого, более благородного государства? Фланирует ли ради удовольствия или из расчета, является ли эта едва ли не безумная страсть к

тайнству этикета его жизнью и потребностью или же это великий обман страстного аналитика?

Вероятно, оба начала были в нем так гениально, так волшебно перемешаны, что чистая природа художника никогда бы не проявилась в нем, если бы судьба своей суровой рукой внезапно не вырвала его из беспечного светского общества и не поставила бы в темный, изредка освещаемый лишь внутренним светом собственный мир.

Внезапно на сцене меняются декорации. В 1905 году умирает его мать и вскоре затем врачи устанавливают, что его сильно прогрессирующая болезнь неизлечима. Марсель Пруст резко меняет свою жизнь, запирается в своей келье, что на бульваре Османа, в одну ночь превращается из скучающего фланера и бездельника в одержимого, без отдыха работающего человека — в литературе нашего времени такого неутомимого писателя, пожалуй, не найти; в одну ночь он рвет с рассеянным образом жизни и уходит в самое уединенное одиночество.

Трагично существование этого большого писателя: целый день лежит он в кровати, всегда мерзнет его худое, сотрясаемое кашлем, корчащееся в конвульсиях тело. Он натянул на себя три рубашки, подбитый ватой нагрудник, толстые перчатки не могут согреть его. В камине огонь, окно никогда не открывается, так как пара чахлах каштанов, выросших поблизости на асфальте, могут вызвать своим слабым запахом припадок астмы (ни одна грудь в Париже не чувствует запаха так, как эта). Словно труп, лежит он в постели, с трудом дыша скверным воздухом, отравленным запахами лекарств.

Лишь поздно вечером он поднимается, чтобы увидеть немного света, немного блеска любимого им мира элегантности, чтобы увидеть несколько аристократических лиц. Слуга натягивает на него фрак, заворачивает его в пледы и закутывает в шубу. Так едет он в «Ритц», чтобы поговорить с несколькими людьми, понаблюдать обожаемый им высший свет. У дверей квартиры ждет его собственный фиакр, ждет у ресторана всю ночь и везет затем смертельно усталого человека опять в постель.

В обществе Марсель Пруст никогда не бывает, впрочем, нет, единственный раз был: ему потребовалась для романа деталь поведения одного знатного аристократа. И вот он с трудом тащится в салон — все поражены его появлением, — единственно для того, чтобы понаблюдать, как герцог Саган вставляет монокль в глазную впадину, как вынимает его. И еще, однажды ночью едет к знаменитой кокотке, чтобы спросить ее, имеется ли у нее еще та шляпка, которую она носила в Булонском лесу двадцать лет назад; шляпка эта нужна ему для описания Одетты. И кокотка, удивленная вопросом, говорит, что давно подарила эту шляпку своей горничной.

Из «Ритца» смертельно усталого человека привозят в карете домой. Возле всегда топящейся печки висят его ночные рубашки и нагрудники, уже может он снять с себя холодное белье. Слуга укутывает его, ведет к постели. И там, держа перед собой пюпитр, пишет он свой роман «В поисках утраченного времени». Двадцать папок уже битком набиты набросками, кресла и столы у кровати, сама кровать завалена листками с записями. И так вот пишет он, пишет день и ночь, каждый свободный от сна час, лихорадка в крови, руки в перчатках дрожат от холода, но он продолжает писать — дальше, дальше, дальше.

Иногда посетит его друг, жадно выпрашивает он пришедшего обо всем, чем живет большой свет, любая мелочь, любой пустяк его интересует, угасший, все еще всеми чувствами переносится он в жизнь общества, близкого ему когда-то. Словно охотничьих собак, гонит он своих друзей, они должны рассказать ему об этом или о том скандале, ему следует до мельчайших подробностей узнать все о той или иной личности, и все, что ему рассказывают, он записывает с нервной жадностью.

А лихорадка раздирает его все сильнее. Все быстрее разрушается и погибает это бедное лихорадящее существо, обломок человека, Марсель Пруст. Все разрастается широко задуманное произведение, роман или, более того, серия романов «В поисках утраченного времени».



Произведение это было начато в 1905 году, в 1912 году Пруст считает роман законченным. По объему, похоже, будет три толстых тома (однако, так как работа над романом в процессе печатания продолжалась, книг будет не менее десяти). Теперь его мучает вопрос опубликования книги. Сорокалетний Марсель Пруст совершенно никому не известен, но хуже, чем неизвестность, то, что среди литераторов у него скверная репутация. Марсель Пруст — сноб из салонов, великосветский писателишка, время от времени печатал в «Фигаро» анекдоты о салонах (причем не больно-то грамотная публика всегда путала Марселя Пруста с Марселем Прево). От такого ничего хорошего ждать не приходится. На прямой путь ему, следовательно, рассчитывать не следует. И друзья пытаются опубликовать книгу, используя связи в высшем свете.

Один титулованный аристократ приглашает к себе Андре Жида, редактора «Нувель Ревю Франсез», и передает ему рукопись. Но «Нувель Ревю Франсез», который позже зарабатывает на этом произведении сотни тысяч франков, резко отклоняет роман, точно так же отказывается от публикации и «Меркюр де Франс», и Оллендорф. Наконец находится отважный издатель, решивший рискнуть, но пройдет еще два года, до 1915-го, прежде чем появится первый том большого произведения. И как раз тогда, когда успех готов уже расправить крылья, разражается война и заставляяет его прервать полет.



Это самобытнейшее произведение нашего времени заметят во Франции только после войны, когда выйдет в свет уже пятый том романа. Но шумная слава увенчает Марселя Пруста, изможденного, лихорадящего, предельно нервного человека, подергивающуюся тень, развалину, несчастного больного, собравшего все остатки своих сил лишь для того, чтобы дожить до выхода в свет своей книги. Все еще тащится он по вечерам в «Ритц». Там, за накрытым столом или в ложе пор-

тье, правит он корректуру последних оттисков, ибо дома, в своей комнате, в кровати он уже чувствует приближающуюся смерть. Только здесь, где перед его глазами вновь разворачивается любимая им жизнь светского общества, только здесь он еще чувствует в себе крохи последних сил, попав же домой с подбитыми крыльями, он оглушает себя наркотиками или возбуждает кофеином для короткой беседы с друзьями или для новой работы.

Все хуже и хуже его здоровье, все более жадно, в более лихорадочной спешке, стремясь опередить смерть, работает слишком долго бездельничавший человек. Докторов он не желает более видеть, они очень долго мучили его и никогда не помогали. Так борется он со смертью один на один и умирает 18 ноября 1922 года. В последние дни, умирающий, он бросается навстречу неизбежной смерти с единственным оружием художника — со способностью наблюдать. Героически, до последнего часа он анализирует свое состояние, и эти последние записи, внесенные им уже в корректуру, покажут смерть героя книги Бергота еще более выразительной, более правдивой, введут в описание самые интимные детали, те последние, которые писатель знать не мог, которые известны лишь умирающему.

И последнее его движение — это наблюдение. На ночном столике умершего находят залитые опрокинутой склянкой с лекарством заметки, которые трудно разобрать, записанные костенеющей рукой. Заметки для девятого тома, работа над которым требовала годы и годы, тогда как ему, Марселю Прусту, принадлежали лишь минуты. Так он противостоит смерти: последний великолепный жест художника, победившего страх перед смертью, уже стоящей в его ногах.

### «ЛОТТА В ВЕЙМАРЕ»

В дни подобного уныния вдвойне желанна и благословенна всякая радость. Такую духовную радость самого чистого, самого высокого достоинства дарует нам «Лотта в Веймаре» —

новый роман Томаса Манна, шедевр, быть может, непревзойденный, невзирая на «Будденброков», на «Волшебную гору», на эпос «Иосиф и его братья». Соразмерная в пропорциях, законченная по форме, при невиданном доселе совершенстве языка, «Лотта в Веймаре» возвышается, на мой взгляд, над всем им ранее написанным не только благодаря духовному превосходству, но и благодаря внутренней молодости, когда блистательное изложение с легкостью почти волшебной преодолевает величайшие трудности, когда мудрая ирония и благородное величие сочетаются в гармонии, ошеломляющей даже у Томаса Манна. Все, что произвела скованная и порабощенная литература гитлеровской Германии за эти семь поистине тощих лет, вся ее продукция, вместе взятая, не может сравниться по весомости и значимости с одной этой книгой, написанной в изгнании.

Сюжет романа, казалось бы, многого не обещает, он был бы уместен в неприязнательном анекдоте либо изящной новелле. Историко-литературный эскиз — вот что думается сначала: Лотта Кестнер, урожденная Буфф, первая любовь Гёте, увеченная им в «вертеровской» Лотте, не устояла перед искушением через пятьдесят лет, полвека спустя, свидеться с Гёте — Тезеем своей юности. Старушка, которую не пощадили годы, наперекор приобретенному с годами благоразумию надумала совершить милое дурачество и еще раз надеть белое «вертеровское» платьице с розовым бантом, чтобы напомнить увешанному орденами тайному советнику о милом дурачестве его юности. Он при свидании чуть смущен и чуть раздосадован, она чуть разочарована и однако же втайне растрогана этой полупризрачной, спустя полвека, встречей. Вот, собственно, и все. Сюжет величиной с росинку, но, подобно ей, полный чудесного огня и чудесных красок, когда горный свет озарит ее.

Едва лишь Лотта Кестнер вносит свое имя в книгу приезжих, маленький, любопытно-болтливый город подступает к ней; один за другим являются люди из окружения Гёте посмотреть на нее, и какой бы оборот ни принимала беседа,

каждый неизбежно говорит о Нем, ибо, несмотря на внутреннее сопротивление, на уязвленное тщеславие, все они во власти его обаяния. И вот, отражение за отражением, медленно складывается образ Гёте, каждая грань отражает новую сторону его натуры, и наконец сам он выходит на середину этой зеркальной комнаты.

Выходит столь достоверно, что чудится, будто слышишь его дыхание. Перед нами портрет величайшей подлинности и одновременно глубочайшего внутреннего проникновения, — ничего даже отдаленно похожего я не встречал ни в одном из читанных мною романов. Все мелочные изъяны, присущие каждому смертному, замечены и сохранены здесь, но чем ярче становится свет, тем больше заслоняет их эта исполинская фигура.

С непревзойденной глубиной пластикой, которая порой не страшится быть откровенной и смелой, образ лепится изнутри, каждое движение, каждая интонация и жест наделяют его такой жизненностью, что, несмотря на все свои филологические познания, не отличишь, где то, что сказал Гёте, а где то, что досказал Манн. Беллетризованная биография, непереносимая, когда она романтизирует, приукрашивает и подделывает, впервые обретает здесь законченную художественную форму, и я глубоко убежден, что для грядущих поколений вдохновенный шедевр Томаса Манна останется единственно живым воплощением великого Гёте.

Ни одно изъятие восторга не кажется мне чересчур сильным, когда речь идет об этой книге, где мысль художника возвышается до подлинной мудрости, а почти пугающая виртуозность языка не страшится этого не только величайшего, но и труднейшего. Наши потомки сочтут нелепейшим историко-литературным курьезом тот факт, что эта предельно немецкая книга, наиболее прекрасная и законченная из всех, что за многие годы были созданы на нашем языке, при появлении своем оказалась недоступной и даже запретной для восьмидесяти миллионов немцев. Трудно удержаться от злорадства при мысли о том, что лишь нам (как ни дорого запла-



тили мы за свою привилегию) дарована возможность прочесть эту книгу на немецком языке, то есть в том единственном виде, в каком она может доставить полное наслаждение (ибо я опасаюсь, что любой перевод много в ней разрушит, что все самое тонкое, едва уловимое в намеках и связях будет при этом безвозвратно утеряно). Так отнесемся же к этому роману не только как к художественному произведению, но и как к яркому доказательству того, что эмиграция для художника отнюдь не всегда означает ожесточение и душевное оскудение, что она может способствовать и подъему сил, и внутреннему росту. И будем признательны за то, что мы уже сегодня можем приветствовать эту книгу, тогда как те, другие, кто находится в подлинной эмиграции, те, кто внутренне не покидал гётевской Германии, обретут ее лишь в воздаяние за бедствия войны и перенесенные муки.





КРИСТИНА  
ХОФЛЕНЕР





## РОМАН ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**К**то заглядывал в Австрии хотя бы в одну сельскую почтовую контору, может считать, что видел их все, настолько мало они отличаются друг от друга. Обставленные, вернее, унифицированные одними и теми же предметами одного и того же инвентаря времен Франца Иосифа, они повсюду несут отпечаток одинаково угрюмой казенщины и вплоть до самых захолустных деревушек Тироля, где уже веет дыханием глетчеров, упорно сохраняют характерный для староавстрийских канцелярий запах дешевого табака и бумажной пыли. Они и распланированы везде одинаково: деревянная перегородка со стеклянными окошками разделяет помещение в строго предписанной пропорции на как бы посясторонний и потусторонний мир, на общедоступную и служебную зоны. Отсутствие стульев для публики и прочих удобств наглядно свидетельствует о том, что государство мало заботит продолжительность пребывания его граждан в общедоступной зоне. Единственным предметом мебелировки там обычно служит робко притулившаяся у стены шаткая конторка, обтянутая поверху клеенкой; клеенка эта вся в трещинах и сплошь закапана чернильными слезами, хотя никто не припомнит, чтобы в чернильнице, укрепленной в крышке стола, когда-либо находилось что-нибудь, кроме комковатой загустевшей кашицы; а если рядом, в желобке, случайно найдется ручка, то перо наверняка будет с расщепом и непригодным для письма.

Бережливое казначейство экономит не только на удобствах, но и на красоте: с тех пор как Республика убрала портреты

**Франца Иосифа, единственным украшением присутственных мест можно считать разве что яркие плакаты, которые с грязных некрашеных стен приглашают посетить закрывшиеся выставки, купить лотерейные билеты, а в некоторых забывчивых конторах — даже призывают подписаться на военный заем. Вот такими дешевыми декорациями да еще просьбой не курить, на которую никто не обращает внимания, и ограничивается щедрость государства в почтовых конторах.**

**Зато отделение по ту сторону служебного барьера выглядит куда более респектабельно. Здесь государство с подобающим ему размахом демонстрирует один за другим символы своего могущества. В дальнем углу стоит железный несгораемый шкаф, и в нем, судя по решеткам на окнах, иногда действительно хранятся весьма значительные суммы. На аппаратном столе, словно драгоценность, сверкает начищенной латунью телеграфный аппарат, рядом с ним на никелированном лафете дремлет более скромный телефон. Этим двум приборам умышленно выделена как бы почетная резиденция, ибо они, подключенные к медным проводам, связывают отдаленную деревушку с просторами государства. Остальные аксессуары почтового дела вынуждены потесниться: весы и сумки для писем, справочники, папки, тетради, реестровая книга, круглые звякающие банки для почтовых сборов, весы и гирьки, черные, синие, красные и чернильные карандаши, зажимы и скрепки, шпагат, сургуч, губка и пресс-папье, бумажный нож, клей и ножницы — весь многообразный набор инструментов сгрудился в рискованном беспорядке на краю стола, а ящики до отказа набиты грудами всевозможных бумаг и бланков.**

**На первый взгляд этот ворох вещей расходуется крайне расточительно, однако такое впечатление обманчиво — втайне государство строго учитывает всю свою дешевую утварь поштучно. От исписанного карандаша до порванной марки, от разлохмаченной промокашки до обмылка на рукомойнике, от электролампочки, освещающей контору, до ключа, запирающего ее, — за каждый потребленный или изношенный предмет казенного имущества государство неумолимо требует от**

своих служащих отчета. Возле чугунной печки висит отпечатанный на машинке, скрепленный официальной печатью и неразборчивой подписью инвентарный список, в котором с арифметической скрупулезностью перечислены наимельчайшие и наиминиатюрнейшие предметы технического оборудования, предусмотренные для соответствующего почтамта. Ни одна вещь, не упомянутая в описи, не смеет обитать в служебном помещении, и наоборот: каждый предмет, указанный в оной, должен наличествовать и быть в любое время доступным. Так требуют администрация, порядок и законность.

Строго говоря, в этот машинописный реестр следовало бы включить и некое лицо, которое ежедневно в восемь утра поднимает стеклянную створку и приводит в движение весь неодушевленный мир: вскрывает мешки с почтой, штемпелюет письма, выплачивает денежные переводы, выписывает квитанции, взвешивает посылки, делает красным, синим и чернильным карандашами разные пометки и проставляет непонятные, загадочные знаки на бумагах, снимает телефонную трубку и крутит катушку аппарата Морзе. Но, вероятно по тактическим соображениям, это некое лицо, которое посетители называют обычно почтовым служащим, или почтмейстером, в инвентарной описи не значится. Его фамилия зарегистрирована в другом отделе почт-дирекции, однако, так же как все прочее, учтена и подлежит ревизии и контролю.

Внутри освященного гербовым орлом служебного помещения никогда не происходит видимых перемен. Вечный закон начала и конца разбивается о казенный барьер; вокруг здания почты на деревьях зеленеет и осыпается листва, растут дети и умирают старики, рушатся старые дома и поднимаются новые, и одно лишь казенное учреждение наглядно демонстрирует свою ничему не подвластную силу вечной неизменности. Ибо в этой сфере взамен каждой вещи, которая изнашивается или исчезает, портится или ломается, начальство затребует и доставит другой экземпляр точно такого же типа и тем самым явит образец превосходства над миром тленным мира казенного.

Содержимое преходяще, форма неизменна. На стене висит календарь. Каждый день отрывается один листок, за неделю — семь, за месяц — тридцать. Тридцать первого декабря, когда календарь кончается, подается заявка на новый — того же формата, такой же печати: год стал новым, календарь остался прежним. На столе лежит бухгалтерская книга со столбиками цифр. Как только столбик слева суммирован, итог переносится направо и счет продолжается, страница за страницей. Заполнена последняя страница, и книга окончена, начинается новая, того же вида, того же объема, ничем не отличающаяся от прежней. Все, что кончается, появляется на следующий день вновь, однообразно, как сама служба; на той же крышке стола неизменно лежат те же предметы, те же стандартные бланки и карандаши, скрепки и формуляры, каждый раз новые и каждый раз все такие же.

Ничто не меняется в этом казенном пространстве, ничто не добавляется, без увядания и расцвета здесь властвует одна и та же жизнь, вернее, не прекращается одна и та же смерть. Единственно, что неодинаково в многообразии предметов, — это ритм их износа и обновления, но не их участь. Карандаш существует неделю и заменяется новым, таким же. Почтовая книга живет месяц, электролампочка — три месяца, календарь — год. Плетеному стулу положено служить три года, прежде чем его заменят, а тому, кто отсиживает на этом стуле всю жизнь, — тридцать или тридцать пять лет; потом на стул сажают новое лицо, однако стул ничем не отличается от своего предшественника.

В почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, обыкновенного села вблизи Кремса, что примерно в двух часах езды по железной дороге от Вены, таким заменяемым предметом оборудования, как «служащий», является в 1926 году лицо женского пола, и, поскольку контора числится по категории низших, этому лицу пожалован титул «ассистента почты». Через стекло в перегородке особенно и не разглядишь ее, ну видишь неприметный, но симпатичный девичий профиль, тонковатые губы, бледноватые щеки, сероватые тени под глазами; вече-

ром, когда она включает лампу, бросающую резкий свет, внимательный взгляд уже заметит на лбу и на висках у нее легкие морщинки. И все же вместе с мальвами у окна и охапкой бузины, которую она поставила сегодня в жестяной кувшин, эта девушка — самый свежий объект среди почтамтских принадлежностей Кляйн-Райфлинга, и, как видно, продержится она на службе еще по меньшей мере лет двадцать пять. Еще тысячи и тысячи раз эта женская рука с бледными пальцами поднимет и опустит дребезжащую стеклянную створку. Еще сотни тысяч, а может, и миллионы писем она все тем же угловатым движением бросит на резиновую подушку и сотни тысяч или миллионы раз пристукнет почерненным медным штемпелем, гася марки. Вероятно, это движение ее натренированной руки станет еще более четким, более механическим, более бессознательным. Сотни тысяч писем будут, конечно, разными, но всегда письмами. И марки разными, но всегда — марками. И дни разными, но каждый день от восьми часов до двенадцати, от двух до шести, и все годы расцвета и увядания — одна и та же служба, одна и та же, одна и та же.

Может быть, в этот тихий летний полдень девушка с пепельными волосами размышляет за стеклянным окошком о том, что ее ждет впереди, а может, просто замечталась. Во всяком случае, ее руки соскользнули с рабочего стола на колени и, сплетя пальцы, отдыхают, узкие, усталые, бледные. В такой ярко-голубой, такой знойный июльский полдень на почте Кляйн-Райфлинга дел не предвидится, утренняя работа окончена, почтальон Хинтерфельнер — вечно жующий табак горбун — уже давно разнес письма, никаких пакетов и образцов товаров с фабрики до вечера не поступит, а писать письма у односельчан теперь нет ни охоты, ни времени. Крестьяне, прикрывшись широкополыми соломенными шляпами, рыхлят виноградники, босоногая детвора, отдыхая от школы, резвится в ручье, мощенная булыжником площадка перед дверью пустует, накаленная полуденным жаром.

Хорошо бы сейчас побыть дома, и хорошо, что можно спокойно помечтать. В тени опущенных жалюзи спят на полках



и в ящичках карточки и бланки, в золотистом полумраке лениво и вяло поблескивает металлом аппаратура. Тишина, словно густая золотая пыль, легла на все предметы, и лишь между рамами лилипутский оркестр комариных скрипок и шмелиной виолончели играет летний концерт. Единственное, что без усталости движется в прохладном помещении, — это маятник деревянных часов, висящих в простенке между окон. Каждую секунду они крохотным глоточком глотают каплю времени, но этот слабый, монотонный шум скорее усыпляет, нежели пробуждает. Так и сидит почтовая ассистентка в своем маленьком уснувшем мирке, охваченная приятной истомой. Собственно, она собиралась вышивать, даже приготовила иголку и ножницы, но вышивка свалилась с колен на пол, а поднять ее нет ни сил, ни желания. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза и почти не дыша, она отдается блаженному чувству оправданного безделья, столь редкому в ее жизни.

И вдруг: та-та! Она вздрагивает. И еще раз металлический стук, тверже, нетерпеливее: та-та-та. Упрямо стучит аппарат Морзе, дребезжат часы: телеграмма — редкий гость в Кляйн-Райфлинге — хочет, чтобы ее приняли с уважением. Девушка разом стряхивает с себя сонливость, устремляется к аппаратному столу и хватает ленту. Но, едва разобрав первые слова на бегущей ленте, краснеет до корней волос. Ибо впервые с тех пор, как здесь служит, она видит на ленте свое собственное имя. Телеграмму уже отстучали до конца, она перечитывает ее второй раз, третий, ничего не понимая. Почему? Что? Кто это вздумал послать ей телеграмму из Понтрезины?

«Кристине Хофленер, Кляйн-Райфлинг, Австрия. С радостью ждем тебя, приезжай любой день, только заранее сообщи телеграммой прибытие. Обнимаем. Клер — Антони».

Она задумалась: кто такая или кто такой Антони? Может, кто-то из коллег решил подшутить над ней? Но затем она припоминает: мать недавно говорила ей, что этим летом приезжает в Европу тетя, ну правильно, ее же зовут Клара. А Антони, наверно, имя ее мужа, правда, мать всегда называла его Антоном. Да, теперь точно вспомнила: ведь несколько дней

назад она сама принесла матери письмо из Шербура, а мать почему-то скрытничала и ничего о содержании письма не сказала. Но ведь телеграмма-то адресована ей, Кристине. Неужели ехать в Понтрезину к тете придется ей самой? Об этом же никогда не было речи. Она снова разглядывает еще не наклеенную бумажную ленту, первую телеграмму, адресованную лично ей, снова перечитывает в растерянности, с любопытством и недоверием, сбитая с толку странным текстом. Нет, ждать до обеденного перерыва она не в силах. Надо немедленно узнать у матери, что все это значит. Кристина хватается ключ, запирает контору и бежит домой. В спешке она забыла выключить телеграфный аппарат. И вот латунный молоточек стучит и стучит бессловесно в опустевшей комнате по чистой бумажной ленте, возмущенный таким пренебрежением к себе.

Снова и снова убеждаешься: скорость электрического тока потому и невообразима, что она быстрее наших мыслей. Ведь двадцать слов, которые белой бесшумной молнией пронзили душный чад австрийской конторы, были написаны всего лишь несколько минут назад за три земли отсюда, в прохладной синеве глетчеров под лазурно чистым небом Энгадина, и не успели еще высохнуть чернила на бланке отправителя, как смысл и призыв этих слов ударил в смятенное сердце.

А случилось там следующее: маклер Энтони ван Боулен, голландец (много лет назад он осел на Юге Соединенных Штатов, занявшись торговлей хлопком), так вот, Энтони ван Боулен, добродушный, флегматичный и, в сущности, весьма незначительный сам по себе мужчина, только что кончил завтракать на террасе — сплошь стекло и свет — отеля «Палас». Теперь можно увенчать breakfast\* — никотиновой короной — черно-бурой шишковатой «гаваной», из тех, что доставляют с места изготовления специально в воздухо непроницаемых жестяных футлярах. Дабы насладиться первой, вкуснейшей за-

---

\* Завтрак (англ.).

тяжкой с полным удовольствием, как подобает опытному курильщику, этот несколько тучноватый господин водрузил ноги на соседнее соломенное кресло, развернул огромным квадратом бумажный парус «Нью-Йорк геральд» и отчалил в бескрайнее печатное море биржевых курсов. Сидящая напротив него супруга Клер, звавшаяся раньше просто Клара, со скучающим видом отщипывала дольки грейпфрута. По многолетнему опыту она знала, что всякая попытка пробить разговором ежеутреннюю газетную стену совершенно безнадежна. Поэтому оказалось весьма кстати, что к ней неожиданно устремился гостиничный бой — забавное существо, коричневая шапочка, румяные щеки — и протянул свежую почту: на подносе лежало одно-единственное письмо. Содержание его, по-видимому, настолько увлекло Клер, что она, забыв о долгом опыте, попыталась оторвать мужа от чтения.

— Энтони, послушай, — сказала она. Газета не шевельнулась. — Энтони, я не хочу тебе мешать, ты только секунду послушай, дело срочное, письмо от Мэри... — Она невольно произнесла имя сестры по-английски. — Мэри пишет, что не сможет приехать; хотя ей очень хотелось бы, но у нее плохо с сердцем, ужасно плохо, врач говорит, что на высоте двух тысяч метров ей не выдержать ни в коем случае. Но, если мы не против, вместо нее на две недели придет Кристина, ну ты знаешь, младшая дочь, блондинка. Ты ее видел на фотографии, еще до войны. Она служит в пост-офисе и еще ни разу не брала полного отпуска, и если подаст заявление, то ей предоставят сразу же, и она, конечно, будет счастлива после стольких лет «засвидетельствовать свое почтение тебе, дорогая Клара, и уважаемому Антони» — и так далее.

Газета не пошевелилась. Клер пошла на риск:

— Ну как ты думаешь, пригласить ее?.. Бедняжке не повредит глоточек-другой свежего воздуха, да и приличия требуют, в конце концов. Уж раз я оказалась в этих краях, надо же, в самом деле, познакомиться с дочкой моей сестры, и так всякая связь с родней порвалась. Ты не возражаешь, если я приглашу ее?

Газета чуть зашуршала. Сначала из-за белого края страницы выплыло кольцо сигарного дыма, круглое, с синевой, затем послышался тягучий и равнодушный голос:

— Not at all. Why should I?\*

Этим лаконичным ответом завершился разговор, предрешивший поворот в чьей-то жизни. Спустя десятилетия была возобновлена родственная связь, ибо, несмотря на почти аристократическое звучание фамилии, частица «ван» была обычной голландской приставкой и, несмотря на то, что супруги беседовали между собой по-английски, Клер ван Боолен была не кто иная, как сестра Мари Хофленер, и, таким образом, бесспорно приходилась родной теткой почтовой служащей в Кляйн-Райфлинге. Она покинула Австрию более четверти века назад из-за одной темной истории, о которой — наша память всегда очень услужлива — помнила лишь смутно и о которой ее сестра тоже никогда не рассказывала дочерям.

В те годы, однако, эта история наделала немало шума и, возможно, привела бы к еще более серьезным последствиям, если бы умные и ловкие люди своевременно не устранили желанный повод для всеобщего любопытства. В те годы упомянутая госпожа Клер ван Боолен была всего-навсего фройляйн Кларой и служила в фешенебельном салоне мод на Кольмаркт простой манекенщицей. Быстроглазая, гибкая девушка, какой она тогда была, произвела потрясающее впечатление на пожилого лесопромышленника, который сопровождал свою жену на примерку. Со всем отчаянием предзакатной вспышки страсти этот богатый и еще довольно хорошо сохранившийся коммерции советник безумно влюбился в нежную и веселую блондинку и одаривал ее с необычной даже для его круга щедростью. Вскоре девятнадцатилетняя манекенщица, к великому негодованию своих благонравных родственников, разъезжала в фиакре, облаченная в красивейшие наряды и меха, какие прежде ей дозволялось лишь демонстрировать перед зеркалом придиричивым и взыскательным клиен-

---

\* Ничуть. С чего бы мне возражать? (англ.)

ткам. Чем элегантнее она становилась, тем сильнее нравилась стареющему покровителю, а чем больше она нравилась коммерции советнику, вконец потерявшему голову от неожиданной любовной удачи, тем роскошнее он ее наряжал. Спустя несколько недель она до того размягчила своего обожателя, что адвокат, соблюдая полнейшую секретность, заготовил по его поручению бракоразводные документы и обожаемая была уже без пяти минут одной из самых богатых женщин Вены.

Но тут, оповещенная анонимными письмами, в дело энергично вмешалась супруга и совершила глупость. Горькая и справедливая обида на то, что после тридцати лет безмятежного брака от нее вдруг решили избавиться, словно от одряхлевшей лошади, довела ее до бешенства; она купила револьвер и нагрянула к неравной парочке во время их любовного свидания на заново обставленной тайной квартире. Без всяких предисловий разгневанная супруга дважды выстрелила в разлучницу; одна пуля прошла мимо, другая задела плечо. Ранение оказалось довольно пустяковым, зато весьма неприятными были сопутствующие явления: набежавшие соседи, крики о помощи из разбитых окон, взломанные двери, обмороки и сцены, врачи, полиция, протокол о происшествии, а впереди, по-видимому, неминуемый судебный процесс и скандал, которого в равной мере боялись все замешанные лица.

К счастью, для богатых людей не только в Вене, но и повсюду существуют ловкие адвокаты, понаторевшие в замазывании скандальных дел, и один такой опытнейший мастер, советник юстиции Карплус, сразу же постарался найти, так сказать, противоядие. Он вежливо пригласил Клару к себе в контору. Она явилась очень элегантная, кокетливо подвязав руку, и с любопытством прочитала текст договора, согласно которому она обязуется еще до вызова свидетелей в суд уехать в Америку, где ей, не считая единовременного возмещения за ущерб, в течение пяти лет будет выплачиваться через адвоката по первым числам каждого месяца определенная сумма, при условии, что она будет вести себя тихо. Кларе и без того не хотелось оставаться манекенщицей в Вене после этого

скандала, к тому же родители выгнали ее из дома; с невозмутимым видом она перечитала четыре страницы договора, быстро подсчитала всю сумму, найдя ее неожиданно высокой, и на авось потребовала еще тысячу гульденов. Получив согласие, она с легкой усмешкой подписала договор, отправилась за океан и не пожалела о своем решении.

Еще в пути она получила немало матримониальных предложений, но окончательный выбор сделала в Нью-Йорке, познакомившись в пансионе со своим ван Бооленом; в ту пору всего лишь мелкий торговый агент одной голландской фирмы, он решил с небольшим капиталом жены, о романтическом происхождении которого никогда и не подозревал, открыть собственное дело на Юге. Спустя три года у них появилось двое детей, через пять лет — дом, а через десять — значительное состояние, которое, как и на любом другом континенте, кроме Европы, где война свирепо уничтожала имущество, за военные годы еще умножилось. Теперь, когда сыновья подросли и энергично взялись за отцовское дело, пожилые родители могли спокойно позволить себе комфортабельную поездку в Европу.

И странно, в тот момент, когда из тумана надвинулся плоский берег Нормандии, у Клер внезапно пробудилось забытое ощущение родины. Уже давно ставшая в душе американкой, она от одного только сознания, что эта полоска суши — Европа, почувствовала внезапный прилив тоски по своей юности; ночью ей снились детские кровати с решеткой, в которых они с сестрой спали, вспомнились тысячи подробностей, и она вдруг устыдилась, что за все годы не написала ни строчки обнищавшей, овдовевшей сестре. Мысль о сестре не давала Кларе покоя, и она тотчас, прямо на пристани, отправила письмо с просьбой приехать, вложив в конверт стодолларовую ассигнацию.

Ну а в данную минуту, когда выяснилось, что вместо матери нужно пригласить дочь, госпоже ван Боолен стоило лишь пошевелить пальцем, как к ней таким снарядиком в коричневой ливрее и круглой шапочке подлетел бой, уловив на

ходу, что требуется, принес телеграфный бланк и умчался с заполненным листком на почтамт.

Спустя несколько минут точки и тире со стучащего аппарата Морзе перескочили на крышу в вибрирующие медные пряди, и быстрее дребезжащих поездов, несказанно быстрее вздымающих пыль автомобилей весть молнией промчалась по тысячекилометровому проводу. Миг — и перепрыгнула через границу, миг — и через тысячеглавый Форарльберг, карликовый Лихтенштейн, изрезанный долинами Тироля, и вот магически превращенное в искру слово ринулось с ледниковых высот в Дунайскую низину, в Линц, в коммутатор. Передохнув здесь несколько секунд, весть скорее, чем успеваешь произнести само слово «скоро», спорхнула с провода на крыше почты Кляйн-Райфлинга в телеграфный приемник, и тот, вздрогнув, направил ее прямо в сердце, изумленное, полное любопытства и растерянности.

Поворот за угол, вверх по темной скрипучей деревянной лестнице — и Кристина входит в мансарду убогого крестьянского дома; здесь, в комнате с маленькими оконцами, она живет с матерью. Широкий навес кровли над фронтоном — защита от снега зимой — ревниво заслоняет солнце в дневные часы; лишь под вечер тонкий, уже обессиленный лучик ненадолго проникает к герани на подоконнике. Поэтому в сумрачной мансарде всегда затхло и сыро, пахнет подгнившими стропилами и непросохшими простынями; стародавние запахи въелись в стены, как древесный грибок, — вероятно, в прежние времена эта мансарда была просто чердаком, куда складывали разный хлам. Но в послевоенные годы с их суровой жилищной нуждой запросы у людей становились скромными, и они благодарили судьбу, если вообще представлялась возможность поставить в четырех стенах две кровати, стол и старый сундук. Даже мягкое кожаное кресло, доставшееся по наследству, занимало здесь слишком много места, и его за бесценок продали старьевщику, о чем теперь очень жалеют:

всякий раз, когда у старой фрау Хофленер распухают от водянки ноги, ей некуда сесть и приходится лежать в кровати — все время, все время в кровати.

Отекшие, похожие на колоды ноги, угрожающая венозная синева под мягкими бинтами — всем этим уставшая, рано состарившаяся женщина обязана двухлетней работе кастеляншей в военном лазарете, который размещался в нижнем этаже здания без подвала, отчего там было очень сыро. С тех пор ходьба для тучной женщины стала мучением, она не ходит, а еле передвигается с одышкой и при малейшем напряжении или волнении хватается за сердце. Она знает, что долго не проживет. Какое счастье еще, что в этой неразберихе после свержения монархии деверю, имевшему чин гофрата, удалось выхлопотать Кристине место на почте. Пускай и в захолустье, и платят гроши, а все-таки хоть как-то они обеспечены, крыша над головой есть, в комнатенке дышать можно, правда, тесновата она, ну и что, все равно к гробу привыкать надо, там еще теснее.

Постоянно пахнет уксусом и сыростью, хворью и больничной койкой; дверь в крохотную кухню закрывается плохо, и оттуда душной пеленой ползет чад и запах подогретой пищи. Едва Кристина вошла в комнату, как тут же непроизвольным движением распахнула закрытое окно. От этого звука мать со стоном проснулась. Иначе она не может, всегда, прежде чем пошевелиться, она издает стон, подобный скрипу рассохшегося шкафа, когда к нему только приблизишься, еще не дотрагиваясь; так дает о себе знать вещей страх пораженного ревматизмом тела, предчувствующего боль, которую вызывает малейшее движение. Затем старая женщина спросила, поднявшись с кровати:

— Что случилось?

Ее дремлющее сознание уже отметило, что еще не время обеда, еще не пора садиться за стол. Значит, случилось что-то особенное. Дочь протягивает ей телеграмму.

Медленно — ведь каждое движение причиняет боль — морщинистая рука шарит в поисках очков на прикроватной



тумбочке; проходит время, пока стекла в металлической оправе найдены среди аптечных пузырьков и баночек и водружены на нос. И едва старая женщина успела разобрать написанное, как ее тучное тело вздрогнуло, словно от удара электрического тока, заколыхалось; жадно ловя воздух, она делает шаг, другой и всей своей огромной массой приваливается к Кристине. Горячо обняв испуганную дочь, она дрожит, смеется, пытается что-то сказать, задыхаясь, но не может и наконец, обессилив и прижав руки к сердцу, опускается на стул. Минуту она молчит, глубоко дыша беззубым ртом. А затем с дрожащих губ слетают невнятные обрывки фраз, она заикается, путает и глотает слова, на ее лице блуждает торжествующая улыбка, но от волнения она запинается еще больше, жестикулирует еще горячее, и по дряблым щекам уже текут слезы.

Бессвязный поток слов низвергается на Кристину, которая пришла в полное замешательство. Слава Богу, что все так благополучно сложилось, вот теперь ей, никому не нужной, больной старухе, можно спокойно помирать. Вот ради этого она и ездила в прошлом месяце, в июне, к святым местам и молилась только об одном: чтобы Клара, сестрица, приехала раньше, чем она, Мари, помрет, чтобы позаботилась о ее доченьке. Ну, теперь она довольна. Вот, вот тут написано — пускай Кристль приезжает к ней в гостиницу, смотри, и на телеграмму потратилась, а две недели назад даже сотню долларов прислала, да, золотое у нее сердце, у Клары, и всегда она была такой доброй и милой. А этой сотни хватит, наверное, не только на дорогу, но и чтобы разодеться, как княгиня, прежде чем явишься к тете на шикарный курорт. Да, там у доченьки глаза разбегутся, уж там она увидит, как привольно живется людям знатным, с деньгами. Впервые она сама хоть поживет как человек, и, видит Бог, она это честно заслужила. Ну что она до сих пор видела в жизни — ничего, только работа, служба и всякие хлопоты, а вдобавок еще забота о никчемной, больной, унылой старухе, которой давно пора в могилу, и поскорее, чего уж тут. Из-за нее да из-за войны проклятой у Кристль вся молодость испорчена, как подумаешь, что луч-

шие годы пропали, сердце разрывается. Ну да теперь она найдет свое счастье. Только пусть ведет себя поучтивее с дядей и тетей, всегда учтиво и скромно, и пусть не робеет перед тетей Кларой, у нее золотое сердце, добрая душа, она непременно поможет родной племяннице выбраться из этой глуши, из вонючей деревни, а ей, старой, все равно помирать. И если тетя под конец предложит ехать с ними, пусть непременно уезжает, ничего тут хорошего не осталось, и страна гибнет, и люди дурные, а о ней, старухе, беспокоиться нечего. Место в богадельне всегда найдется, да и сколько она еще протянет?.. Ах, теперь она может спокойно умереть, теперь все хорошо.

Закутанная в шали поверх сорочек и нижних юбок, старая, расплывшаяся женщина, пошатываясь, топает слоновьими ногами взад-вперед по комнате так, что трещат половицы. Она непрерывно жестикулирует и всхлипывает, то и дело утирая глаза большим красным носовым платком; затем, выдохшись от столь бурных проявлений чувств, постанывая, садится, сморкается, собираясь с силами для очередного монолога. И вновь ей приходит на ум что-то еще, и она говорит, и говорит, и стонет, и всхлипывает, и радуется неожиданной удаче. И вдруг, в минуту изнеможения, замечает, что Кристина, которой предназначены все эти восторги, стоит бледная, смущенная, взгляд ее выражает удивление и даже замешательство, и она совершенно не знает, что сказать. Старой женщине досадно. Собравшись с силами, она еще раз поднимается со стула, подходит к дочери, хватает ее за плечи, крепко целует, прижимает к себе, тормошит, словно хочет разбудить ее, вывести из оцепенения.

— Ну чего ты молчишь? Кого же это касается, как не тебя, что с тобой, глупышка? Стоишь будто истукан и ничего не говоришь, ни словечка, а ведь такое счастье выпало! Радуйся же! Ну почему ты не радуешься?

Служебный устав строго-настрога запрещает служебному персоналу надолго покидать контору в рабочее время, и даже самая веская личная причина бессильна перед главным зако-

ном казенного мира: сначала служба, потом человек, сначала буква, потом смысл. Так что после небольшого перерыва служащая почты Кляйн-Райфлинга вновь сидит за окошком, исполняя свои обязанности. Никто ее за это время не спрашивал. Как и четверть часа назад, бумаги разложены на покинутом столе, молчит, поблескивая латуню в полумраке, выключенный телеграфный аппарат, который недавно так ее взбудоражил. Слава Богу, никто не заходил, никаких упущений нет. С чистой совестью можно теперь спокойно поразмышлять о внезапной новости, слетевшей сюда с проводов; ведь от замешательства Кристина еще не успела понять, приятная это новость или нет.

Постепенно ее мысли приходят в порядок. Итак, она поедет, впервые уедет от матери, на две недели, а может и больше, к чужим людям, нет, к тете Кларе, маминой сестре, в шикарный отель. Надо взять отпуск, заслуженный отпуск, после многих лет хоть раз по-настоящему отдохнуть, поглядеть на мир, увидеть что-нибудь новое, иную жизнь. Она думает, думает. В сущности, весть хорошая, и мать права, что радуется, вполне права. Честно говоря, это лучшая новость, которая пришла к ним за долгие-долгие годы. Впервые бросить опостылевшую службу, побыть на свободе, увидеть новые лица, другой мир — разве это не подарок, буквально свалившийся с неба? Но тут в ее ушах снова раздается удивленный, испуганный, почти гневный голос матери: «Ну почему ты не радуешься?»

Мать права, в самом деле, почему я не радуюсь? Почему во мне ничто не шевельнулось, не дрогнуло, почему это не захватило меня, не потрясло? Она прислушивается к себе, но тщетно: внутренний голос не дает желанного ответа: свалившийся с неба сюрприз по-прежнему вызывает у нее лишь чувство смущения и непонятного испуга. Странно, думает она, почему я не рада? Сотни раз, когда я вынимала из почтового ящика открытки и, сортируя их, рассматривала — серые норвежские фьорды, бульвары Парижа, залив Сорренто, каменные пирамиды Нью-Йорка, — разве не вздыхала я при этом?.. Когда? Когда же я увижу что-нибудь? О чем я мечтала в долгие,

пустые утренние часы, как не о том, чтобы когда-нибудь вырваться из этой клетки, забыть бессмысленную поденщину, это изнурительное состязание со временем. Хоть когда-нибудь отдохнуть, использовать для себя время все целиком, а не по клочкам, по крохам, когда и ухватиться не за что. Хоть когда-нибудь не слышать по утрам звон будильника, этого злодея, погонщика, который принуждает вставать, одеваться, топить печь, идти за молоком, за хлебом, разогреть еду, затем тащиться в контору и как заведенной штемпелевать конверты, писать, звонить по телефону, а потом опять домой — к гладильной доске, к кухонной плите, варить, стирать, штопать, ухаживать за больной и, наконец, смертельно усталой проваливаться в сон. Тысячу раз я мечтала об этом, сто тысяч раз, здесь, за этим столом, в этой затхлой клетке; и вот теперь, когда мне выпала наконец такая удача — поездка, свобода, а я — права мать, права, — а я не радуюсь. Почему? Потому что не готова?

Бессильно опустив плечи и уставившись невидящим взглядом в голую казенную стену, она ждет и ждет, не шевельнется ли наконец в ней запоздалая радость. Невольно затаив дыхание, она, словно беременная, вслушивается в себя.

Но никакого отклика не слышно, безмолвно и пусто, как в лесу без птичьих голосов; и она, которой от роду всего двадцать восемь лет, с усилием пытается вспомнить, что значит вообще — радоваться, и с ужасом обнаруживает: она не помнит, что это такое — вроде как иностранный язык, который учил в детстве, потом забыл и помнишь только, что когда-то знал его. Когда же я в последний раз радовалась? — задумывается она, опустив голову; лоб ее пересекают две маленькие морщинки. И постепенно в памяти, словно в потускневшем зеркале, всплывает тонконогая белокурая девочка в короткой ситцевой юбке, беззаботно размахивающая школьным портфелем. А вот парк в венском предместье: вокруг нее вихрем носятся десяток девчонок — играют в пятнашки. Каждый бросок мяча сопровождается пронзительным визгом и взрывами хохота, и ей вспоминается, как легко, как свободно тогда

смеялось, будто смешинки таились наготове в горле, совсем близко, они все время щекотали где-то под кожей, бродили и толкались в крови; достаточно было лишь встряхнуть их, и смех неудержимо выплескивался из горла, слишком неудержимо. Порой в школе приходилось хвататься за парту и прикусывать губу, чтобы на уроке французского языка не прыснуть, услышав какое-нибудь потешное слово или глупую шутку. Любого пустяка — запинки учителя, гримасы перед зеркалом, кошки, забавно изогнувшей хвост, офицера, взглянувшего на тебя на улице, — малейшей несуразицы было довольно, чтобы переполнявший тебя смех взорвался от первой же искры. Она всегда была с тобой, эта шаловлитая беззаботность, и даже во сне улыбка запечатлевала свою радостную арабеску на детских губах.

И вдруг все почернело и погасло, как притушенный фитиль. 1914 год, первое августа. Днем она была в купальне; как светлый проблеск вспоминается ей, когда она разделась в кабине, собственное нагое тело — стройное, гибкое шестнадцатилетнее тело, с наметившимися округлостями, белое, разгоряченное, пышущее здоровьем. С каким наслаждением она плескалась в воде, плавала и носилась с подружками наперегонки по скрипучим доскам настила — до сих пор в ее ушах стоит смех и визг девчонок. Потом она заторопилась домой, скорее, скорее, ну конечно, она опять опаздывает, а ведь обещала матери, что придет вовремя и поможет уложить вещи — через два дня они переезжают в Кампаль, на дачу. Прыгая через две ступеньки, она взбежала по лестнице и открыла дверь.

Но странно: едва она, запыхавшись, вошла в комнату, как отец с матерью оборвали на полуслове разговор и сделали вид, будто не замечают дочери. Отец, чей непривычно громкий голос она только что слышала, с подозрительным усердием утыкается в газету, а мать — видно, что плакала, — нервно комкает в руке платочек и поспешно отходит к окну. Что случилось? Поссорились? Нет, не похоже: отец вдруг поворачивается к матери и — Кристина никогда не видела его таким

ласковым — нежно кладет руку на вздрагивающее плечо. Но мать не оглядывается, от этого молчаливого прикосновения ее плечи дрожат еще сильнее. Что случилось? Родители словно забыли о ней, ни один даже не посмотрел на дочь. И сейчас, спустя двенадцать лет, Кристина помнит, как она тогда перепугалась. Может, они на нее сердятся? Может, она все-таки в чем-то провинилась? Испуганная — в каждом подростке всегда сидит чувство страха и вины, — она уходит на кухню; там кухарка Божена объясняет ей, что Геза, офицерский денщик, живущий по соседству, сказал — а уж ему ли не знать? — что приказ отдан и теперь проклятым сербам устроят хорошую мясорубку. Стало быть, и Отто, как лейтенанта запаса, возьмут, и мужа ее сестры, обоих заберут, вот почему отец с матерью так расстроены.

И правда, на следующее утро ее брат Отто неожиданно появляется в сизой егерской форме, с офицерским шарфом и с золотым темляком на сабле. Обычно он, сверхштатный учитель гимназии, носит черный, плохо почищенный скюртук; бледный, худой, долговязый парень с короткой стрижкой ежиком и мягким рыжеватым пушком на щеках всегда выглядел довольно потешно в солидном черном одеянии. Но сейчас, с энергично сжатыми губами, в плотно облегающем военном мундире, он кажется сестре каким-то новым, другим. С наивным девчоночьим восхищением оглядев брата, она всплескивает руками: «Черт возьми, какой ты шикарный!» И мать, никогда не поднимавшая на дочь руку, толкает ее так, что она больно ударяется локтем о шкаф. «И тебе не стыдно, бессовестная?» Но эта вспышка гнева не облегчила затаенную боль, и мать тут же, разрыдавшись, с криками отчаяния бросается к сыну; молодой человек пытается сохранить мужское достоинство, вертит шеей и что-то говорит о родине, о долге. Отец отвернулся, он не может глядеть на это, и Отто, побледнев и стиснув зубы, чуть ли не силой высвобождается из неистовых материнских объятий. Затем он торопливо целует мать в щеку, на ходу жмет руку отцу и проскальзывает мимо Кристины, буркнув ей «пока». И с лестницы уже доносится звон его сабли.

Пополудни приходит прощаться муж сестры, чиновник магистрата и фельдфебель тыловых частей; зная, что ему опасность не грозит, он беспечно разглагольствует о войне, словно о какой-то забаве, рассказывает в утешение анекдоты и уходит. Но оба они оставляют дома две тени: жену брата, беременную на четвертом месяце, и сестру с маленьким ребенком. Теперь обе женщины каждый вечер садятся с ними за стол, и всякий раз Кристине кажется, будто лампа горит все тусклее и тусклее. Стоит Кристине ненароком сказать что-нибудь веселое, как на нее устремляются строгие взоры, и даже потом, в постели, она казнит себя за то, что она такая плохая, несерьезная, совсем еще ребенок.

Невольно она становится молчаливой. Смех в доме вымер, чутким стал сон в его стенах. Только ночами, случайно проснувшись, она слышит иногда за стеной тихий, неумолчный шорох, будто там падают призрачные капли: это мать, потерявшая сон, часами стоит на коленях перед освещенной иконой Богоматери и молится за сына.

Наступил 1915 год, ей семнадцать. Родители постарели на целый десяток лет. Отец — словно какая-то хворь подтачивает его изнутри — ходит, сморщенный, пожелтевший, сторбленный, из комнаты в комнату, и все знают: он очень встревожен состоянием дел. Ведь уже шестьдесят лет, начиная с деда, во всей империи не было никого, кто умел так выделывать рога серны и так искусно набивать чучела лесной дичи, как Бонифаций Хофленер и сын. Он препарировал охотничьи трофеи по заказам Эстергази, Шварценбергов, даже эрцгерцогов для их замков, усердно трудясь с четырьмя-пятью подмастерьями с утра до поздней ночи, и работа была аккуратная, чистая. Теперь же, в это кровавое время, когда стреляют только в людей, дверной звонок в лавку молчит неделями, а сноха еще лежит после родов, и внушек болен, и на все нужны деньги. Все больше и больше горбится неразговорчивый мастер, пока однажды не надламывается совсем — когда приходит письмо с берегов Изонцо, впервые написанное рукой не сына, а его

командира, и уже ясно: геройская смерть во главе роты, сохранит память и т. д. Все тише становится в доме; мать больше не молится, лампадка перед иконой Богоматери потухла, мать забыла подлить масла.

1916 год, ей восемнадцать. Дома теперь неустанно твердят: слишком дорого. Мать, отец, сестра, невестка с утра до вечера подсчитывают, во что обходится убогая повседневная жизнь, вкладывая в эти подсчеты все свои заботы и тревоги. Слишком дорого мясо, слишком дорого масло, слишком дорога пара обуви; Кристина даже дышать почти не осмеливается из опасения, что это слишком дорого. Самые необходимые для жизни вещи, разбежавшись, словно в панике, забились в норы спекулянтов и вымогателей, и приходится их искать — кланчить хлеб, торговаться с зеленщицей из-за горстки овощей, ездить в деревню за яйцами, везти на ручной тележке уголь с вокзала; изо дня в день в этой охоте состязаются тысячи мерзнувших и голодающих женщин, и с каждым днем добыча все скуднее. А у отца больной желудок, ему нужна особая, легкая пища. С тех пор как отец снял вывеску «Бонифаций Хофленер» и продал лавку, он ни с кем не говорит; прижмет только иногда руки к животу и постанывает, если уверен, что никто его не слышит. Вообще-то следовало бы позвать врача. Но «слишком дорого», говорит отец, продолжая тайком корчиться от боли.

1917 год, ей девятнадцать. На второй день нового года похоронили отца; денег на сберегательной книжке как раз хватило на то, чтобы перекрасить в черное одежду. Жизнь дорожает с каждым днем, две комнаты они уже сдали беженцам из Бродов, но денег все равно не хватает, все равно, хоть надрывайся, работай не покладая рук от зари до зари. Наконец деверю удалось выхлопотать для матери место кастилянши в Корнойбургском лазарете, а ее, Кристину, устроить пишбарышней\* в канцелярию. Если бы только не вставать на рассвете, не тащиться в такую даль, не мерзнуть утром и вечером в

---

\* Пишбарышня — машинистка. — *Примеч. ред.*



нетопленном вагоне. Потом делать уборку, штопать, чинить, шить, стирать, пока не отупеешь, и без единой мысли, без единого желания проваливаешься в тяжелый сон, от которого лучше не пробуждаться.

1918 год, ей двадцать. Все еще война, все еще ни одного свободного, беспечного дня, все еще нет времени поглядеться в зеркало, выйти на минутку в переулок. Мать жалуется, что у нее начали отекать ноги из-за работы в сыром помещении, но у Кристины почти не остается сил на сочувствие. Она уже слишком давно живет бок о бок с недугами; что-то в ней притупилось с тех пор, как она ежедневно печатает на машинке от семидесяти до восьмидесяти справок о страшных увечьях. Тяжело ковыляя на костылях — левая нога разmozжена, — к ней в канцелярию иногда заходит маленький лейтенант из Баната, с золотистыми, как пшеница на его родине, волосами, с нерешительным, еще детским лицом, на котором, однако, запечатлелись следы перенесенного ужаса. Тоскуя по дому, он рассказывает на старошвабском диалекте о своем селе, о собаке, о лошадях, бедный, потерянный белокурый ребенок. Однажды вечером они целовались на скамейке в парке, два-три вялых поцелуя, скорее сострадание, чем любовь; потом он сказал, что хочет жениться на ней, как только кончится война. С усталой улыбкой Кристина пропустила его слова мимо ушей; о том, что война когда-нибудь кончится, она и думать не осмеливается.

1919 год, ей двадцать один. Действительно, война окончилась, но не нужда. Раньше она прикрывалась лавинами распоряжений, коварно таилась под бумажными пирамидами свежотпечатанных банкнотов и облигаций военных займов. Теперь она выползла, со впалыми глазами, ощерив рот, голодная, нахальная, и пожирает последние отбросы военных клоак. Как из снеговой тучи сыплются единицы с нулями, сотни тысяч, миллионы, но каждая снежинка, каждая тысяча тает на горячей ладони. Пока ты спишь, деньги тают; пока переобуваешь порванные туфли на деревянных каблуках, чтобы сбежать в магазин, деньги уже обесценились; все время куда-

нибудь бежишь, и всегда оказывается, что уже поздно. Жизнь превратилась в математику: сложение, умножение, какой-то бешеный круговорот цифр и чисел, и этот смерч засасывает последние вещицы в свою ненасытную пасть: золотую брошь с груди матери, обручальное кольцо с пальца, камчатную скатерть. Но, сколько ни кидай, все напрасно, не спасет и то, что до глубокой ночи вяжешь шерстяные свитера и что все комнаты сдаешь жильцам, а самим приходится спать в кухне вдвоем. Только сон — вот единственное, что еще можно себе позволить, единственное, что не стоит ни гроша; в поздний час вытянуть на матрасе свое загнанное, похудевшее, все еще девственное тело и на шесть-семь часов забыть об этом апокалипсическом времени.

Потом 1920 — 1921 годы. Ей двадцать два, двадцать три. Расцвет молодости, так ведь это называется. Но ей никто об этом не говорит, а сама она не знает. С утра до вечера всего одна мысль — как свести концы с концами, когда денег все меньше и меньше? Чутьочку, правда, полегчало: дядя еще раз помог, самолично навестил своего приятеля (компаньона по карточной игре), служившего в почт-дирекции, и выклянчил у него для Кристины вакансию в почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, захоластного виноградарского села; вакансия не ахти какая, но все же с правом на постоянную должность после кандидатского срока, хоть что-то надежное. На одного человека скудного жалованья хватило бы, но, поскольку в доме у зятя для матери места нет, Кристина вынуждена взять ее к себе и все делить на двоих. По-прежнему каждый день начинается и кончается подсчетами. На счету каждая спичка, каждое кофейное зернышко, каждая щепотка муки. Но все-таки дышать можно и можно существовать.

Затем 1922, 1923, 1924 годы — ей двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Все еще молодая? Или уже стареющая? У глаз постепенно наметились морщинки, иной раз устают ноги, весной почему-то болит голова. Но жизнь все-таки идет вперед, и живется получше. Держишь деньги в руках и чувствуешь, какие они опять твердые и круглые, у нее по-

стоянная работа «почтовой ассистентки», да и зять каждый месяц присылает матери две-три банкноты. Теперь самое время попытаться снова быть молодой, не сразу, потихоньку; мать даже требует, чтобы она выходила, развлекалась. И в конце концов заставляет ее записаться на уроки танцев в соседнем селе. Ритмические движения эти даются ей нелегко, слишком уж глубоко вошла в ее плоть и кровь усталость, суставы ее будто заоченели, и музыке не удается их отогреть. Она тщательно разучивает танцевальные па, но это не увлекает ее, не захватывает по-настоящему, и впервые она смутно догадывается: слишком поздно, война растоптала, оборвала ее молодость. Сломалась какая-то пружинка внутри, и мужчины, вероятно, тоже это чувствуют: ни один всерьез за ней не ухаживает, хотя ее нежный белокурый профиль кажется чуть ли не аристократическим на фоне краснощеких, круглолицых деревенских девиц.

Зато послевоенная поросль ведет себя иначе, эти семнадцати-восемнадцатилетние не ждут смиренно и терпеливо, пока кто-нибудь соизволит их выбрать. Они считают, что имеют право на удовольствие, и требуют его с таким пылом, словно хотят не только насладиться своей молодостью, но и погулять еще за тех молодых, сотни тысяч которых убиты и погребены. С неким испугом подмечает двадцатипятилетняя девушка, как самоуверенно и требовательно держатся эти юные представительницы нового поколения, какие у них знающие и дерзкие глаза, как вызывающе они покачивают бедрами, как хихикают в ответ на недвусмысленные прикосновения парней и как, не смущаясь подруг, каждая по пути домой заворачивает с мужчиной в лесок. Кристине это противно. Усталой старухой, сломленной жизнью и бесполезной, чувствует она себя среди этой жадной и грубой послевоенной поросли; она не хочет, да и не способна состязаться с ними. Она вообще больше не хочет никакой борьбы, никаких усилий! Лишь бы спокойно дышать, молча предаваться грезам, исполнять свою службу, поливать цветы под окном, ни к чему не стремиться, ничего не желать. Только ничего больше не требовать, ничего нового,

ничего волнующего; даже для радости у нее, двадцатилетней, обкраденной войной на десяток лет молодости, нет больше ни духа, ни сил.

С невольным вздохом облегчения Кристина отрешается от воспоминаний. Даже мысли о всех бедах и горестях, что она перенесла в юные годы, и те утомляют ее. Бессмысленна вся эта материнская затея! Зачем куда-то ехать, к какой-то тетке, которой она не знает, к людям, с которыми у нее нет ничего общего. О Господи, но что же делать, если матери так хочется, если ей это доставляет радость, противиться не стоит, да и к чему? Я так устала, так устала! Примирившись с судьбой, Кристина достает из верхнего ящика стола лист бумаги, аккуратно сгибает его пополам и принимается писать заявление в венскую почт-дирекцию с просьбой, чтобы ей предоставили полагающийся по закону отпуск — притом срочно, в связи с семейными обстоятельствами — и прислали кого-нибудь взамен к началу следующей недели; пишет ровным, четким почерком, выводя красивые буквы с волосяной линией и нажимом. Второе письмо — в Вену, сестре: просьба получить для нее швейцарскую визу, одолжить небольшой чемодан и приехать сюда, чтобы договориться, как быть с матерью. В последующие дни Кристина не торопясь, тщательно готовится к поездке, без каких-либо ожиданий, не испытывая ни радости, ни интереса, словно все это относится не к самой ее жизни, а к тому единственному, чем она живет, — службе и долгу.

Вся неделя прошла в сборах. Вечерами шили, штопали, чистили и обновляли старое; вдобавок сестра вместо того, чтобы купить что-нибудь на присланные доллары («Лучше приберечь их», — посоветовала эта робкая мешаночка), одолжила кое-что из собственного гардероба: ярко-желтое дорожное пальто, зеленую кофту, эмалевую брошь, которую мать купила в Венеции во время свадебного путешествия, и небольшой плетеный чемодан. Этого вполне хватит, полагает сестра, в горах не щеголяют нарядами, а в крайнем случае, если Кристине что понадобится, то уж лучше купить на месте.

Наконец наступил день отъезда. Плоский плетеный чемодан несет собственноручно Франц Фуксталер, школьный учитель из соседнего села, он не хочет отказать себе в этой дружеской услуге. Небольшого роста, тщедушный и голубоглазый, робко поглядывающий из-за очков, он пришел к Хофленерам сразу же после той телеграммы, чтобы предложить свою помощь: в Кляйн-Райфлинге они единственные, с кем он водит дружбу. Его жена больше года лежит в казенной туберкулезной лечебнице «Алланд», признанная всеми врачами безнадежной; двух их детей взяли к себе иногородние родственники. Почти каждый вечер он сидит дома, один в двух вымерших комнатах, и тихо предается своему увлечению, занимаясь милыми его сердцу поделками. Он составляет гербарии, четко и красиво надписывая шрифтом рондо названия засушенных цветов, красной тушью — латинские, черной — немецкие; собственноручно переплетает свои любимые, кирпичного цвета, брошюры издательства «Реклам» в картонные обложки с пестрым узором, а на корешке тончайшим чертежным пером с микроскопической точностью вырисовывает печатные буквы. В более поздний час, когда соседи уже спят, он берет скрипку и по переписанным от руки нотам — не очень умело, но весьма старательно — играет, обычно Шуберта и Мендельсона. Или же из взятых в библиотеке книг выписывает на четвертушках тонкой зерновой бумаги понравившиеся ему стихи и мысли; когда этих белых листков набирается сотня, он сшивает их в очередной альбом с глянцевой обложкой и яркой табличкой на переплете. Словно арабский переписчик Корана, он предпочитает мягкие закругления, чередование тонких, спокойных линий и толстых, с энергичным нажимом, чтобы безмолвным шрифтом оживить и сделать зримой ту невысказанную радость и душевное напряжение, какие он испытывал во время чтения.

Для этого тихого, скромного существа, обитающего в предоставленной ему общинной квартире (без садика под окнами), для такого человека книги — все равно что цветы в доме, и он высаживает их на полках яркими рядами, лелея каждую

книгу, словно старый садовник, бережно прикасаясь к ней худыми бледными пальцами, как к хрупкой драгоценности. Школьный учитель никогда не посещает деревенского трактира; пива и табачного дыма он страшится, как набожные люди — зла, и спешит, нахмурившись, поскорее миновать злачное место, едва слышав доносящиеся оттуда брань и пьяные крики. Единственные люди, кого он навещает на досуге с тех пор, как слегла его жена, — это Хофленеры. Он часто заходит к ним после ужина просто поболтать или — что им особенно нравится — читает вслух книги, охотнее всего из «Полевых цветов» Адальберта Штифтера, их соотечественника, и от волнения его суховатый голос становится мелодичным. Застенчивый и несколько сучноватый, он незаметно для себя воодушевляется всякий раз, когда, подняв глаза от книги, смотрит на склоненную белокурую голову внимающей девушки; он чувствует, что его здесь понимают. Мать замечает, что происходит с учителем, и догадывается, что взгляд, который он бросает на ее дочь, станет иным, более смелым, когда свершится неминуемая судьба его супруги. Кристина же спокойна и молчит: она давно отвыкла думать о себе.

Учитель несет чемодан на правом, чуть опущенном плече, не обращая внимания на смех встречных мальчишек. Груз не столь уж тяжелый, но тем не менее носильщику приходится пыхтеть, чтобы поспевать за Кристиной, нетерпеливо и стремительно шагающей впереди; она не ожидала, что прощание окажется таким тягостным. Несмотря на категорический запрет врача, мать трижды спускалась вслед за ней по лестнице, словно гонимая необъяснимым страхом, все никак не могла расстаться с дочерью, и трижды пришлось Кристине втаскивать грузную, плачущую навзрыд старую женщину обратно вверх, хотя времени уже оставалось в обрез. А потом, как с ней часто бывало в последние недели, мать вдруг на полуслове-полувсхлипе начала задыхаться, и ее уложили в постель. В таком состоянии ее покинула Кристина и сейчас, крайне озабоченная, казнила себя: такой возбужденной мать еще никогда не была. Не дай Бог, с ней что-нибудь случится, а меня тут

нет... Вдруг ей что-нибудь понадобится ночью, а сестра придет из Вены только на воскресенье. Правда, девушка из пекарни свято обещала, что вечерами посидит у нас, но надеяться на нее нельзя — на танцульки она сбежит и от собственной матери... Нет, не надо уезжать, зря поддавалась на уговоры. Путешествия — это для тех, у кого дома нет больных, не для нас... Если уж ехать, то недалеко, чтобы в любой момент успеть вернуться. Да и что мне даст эта поездка? Ну какая радость, если я все время буду тревожиться, каждую минуту думать, не нужно ли ей чего и что ночью никого с ней нет, хозяева внизу звонка не слышат или не хотят слышать. Не любят они нас, будь их воля, давно бы выселили... На сменщицу из Линца тоже мало надежды; когда она попросила ее, чтобы заглядывала к матери на минутку в обед и вечером, она ответила «ладно», причем ответила так холодно, сухо, что и не знаешь, зайдет она или нет... Может, все-таки телеграфировать тете отказ? Ну что ей, в самом деле, от того, приеду я или нет, ведь это только мать вообразила, что им до нас есть дело... Иначе хоть изредка бы писали из Америки или тогда, в тяжелое время, прислали бы посылку с продовольствием, как делали многие... Сколько их прошло на почте через мои руки, но ни одной — маме от родной сестры... Нет, зря я послушалась, по мне, так лучше отказаться, пока не поздно. Не знаю почему, но страшно. Так не хочется ехать, так не хочется.

Невысокий светловолосый робкий человек, стараясь не отставать от Кристины, то и дело переводит дух и успокаивает ее. Пусть она не тревожится, он сам — это он твердо обещает — будет каждый день навещать ее матушку. Уж кто-кто, а она заслужила наконец право на отпуск, ведь сколько лет работала и ни разу не отдыхала. Если бы она поступилась своим долгом — вот тогда он первый отсоветовал бы ей это делать; нет, пусть она не беспокоится, он каждый день будет посылать ей весточку, каждый день. Торопясь, тяжело дыша, он говорит все, что приходит на ум, только бы ее успокоить, и в самом деле — эти настоятельные уговоры приносят ей облег-

чение. Кристина не вслушивается в его слова, но чувствует: на этого человека можно положиться.

На станции уже дан сигнал о прибытии поезда, скромный провожатый смущенно прокашливается. Кристина заметила, что он давно переступает с ноги на ногу, видно, хочет что-то сказать, но не смеет. Наконец он нерешительно вынимает из нагрудного кармана нечто белое, сложенное гармошкой, и с извинениями протягивает ей. Нет, это, разумеется, не подарок, всего лишь небольшой знак внимания, возможно, ей пригодится. С удивлением она разворачивает продолговатую бумажную полоску. Это маршрутная карта ее поездки от Линца до Понтрезины: все названия гор, рек и городов вдоль железной дороги выписаны микроскопическими буквами черной тушью, горы заштрихованы реже или гуще, соответственно высоте, которая обозначена крохотными цифрами, нити рек прорисованы синим карандашом, кружки городов — красным; расстояния между городами поставлены в отдельной таблице внизу справа — точно так же, как на больших школьных картах Географического института; сельский учитель скопировал все любовно, с усердием, испытывая радость от приятного занятия. Кристина невольно зарделась.

Видя, что подарок понравился ей, скромный человек приободрился. Он извлек еще одну карту, прямоугольный листок с золотой каемкой: это карта Энгадина, калькированная с большой военно-топографической карты Швейцарии, со всеми дорогами и тропинками, включая малейшие подробности, а в центре красным кружочком особо выделено здание. Это, поясняет он, отель, где она будет жить, взято из старого «бедекера»\*; таким образом, она сможет сама ориентироваться на прогулках, не опасаясь сбиться с дороги.

Кристина взволнованно благодарит его. Наверное, этот трогательный человек, держа от нее свой замысел в секрете, выписал из библиотеки в Линце или в Вене необходимые по-

---

\* Бедекер — путеводитель (по имени немецкого издателя путеводителей по разным странам Baedeker). — *Примеч. ред.*



собия, а потом целыми вечерами прилежно чертил и раскрашивал карты сто раз очиненными карандашами и специально купленным пером единственно ради того, чтобы сделать ей этот подарок, сочетающий приятное с полезным и доступный ему по средствам. Ее не начатое еще путешествие он заранее продумал и проследил километр за километром; днем и ночью он, наверное, думал о том, что ее ждет, сопровождая ее мысленно на всем пути.

Благодарно протягивая сейчас руку этому человеку, растерявшемуся от собственной храбрости, Кристина словно впервые видит его глаза за стеклами очков — голубые, добрые, ясные, как у ребенка; но вот эта ясная голубизна, пока она смотрит на него, становится вдруг темнее и глубже от охватившего его волнения. И у нее внезапно пробуждается теплое чувство, которого она еще ни разу не испытывала в его присутствии, чувство симпатии и доверия, которого никогда прежде не питала ни к одному мужчине. Какое-то неясное до сих пор ощущение окончательно созревает у нее в эту минуту; Кристина долгие и сердечнее, чем когда-либо, пожимает ему руку. Он чувствует перемену в ее настроении, у него начинает горячо стучать в висках, перехватывает дыхание, он смущается, подыскивая нужные слова. Но тут, пыхтя, словно огромный рассерженный зверь, подкатывает черный паровоз; волна воздуха, которую он гонит перед собой, чуть не вырывает листок из ее руки. Всего одна минута времени. Кристина поспешно входит в вагон, из окна она видит уже только машущий белый платок, который вскоре исчезает в дымной дали. Затем она остается одна, впервые за много лет одна.

Весь вечер Кристина, устало прислонившись к деревянной стенке купе, созерцает за исполосованными дождем оконными стеклами хмурый ландшафт под пасмурным небом. Сначала в сумерках еще смутно мелькали, будто испуганные зверьки, городишки и села, потом все смешалось и растаяло в тумане. Кроме нее, в купе вагона третьего класса никого, и она позволила себе вытянуть на скамье ноги, только теперь почувствовав, до чего устала. Она пробует собраться с мыслями, но

монотонный стук колес и покачивание вагона мешают сосредоточиться; все плотнее затуманивает сознание, отгоняя боль в висках, парализующая мгла дремоты, то отупляющее вагонное забытие, когда, одурев, лежишь как в черном угольном мешке, а мешок трясут и трясут. В пространстве движется ее неподвижное тело, под ним, внизу, шумят, мчатся, словно подгоняемые бичом, колеса, а над ее запрокинутой головой течет время, безмолвно, неуловимо, беспредельно.

Усталость Кристины настолько полно растворилась в этом стремительном черном потоке, что она перепугалась, когда утром внезапно с грохотом раздвинулась дверь и в купе шагнул широкоплечий усатый мужчина строгого вида. Прошло несколько мгновений, и Кристина, очнувшись от сна, сообразила, что этот человек в форме не намерен причинить ей зло, арестовать и увести, он хочет лишь ознакомиться с ее паспортом, который она и вытаскивает одеревеневшими пальцами из сумочки. Жандарм сверяет наклеенную фотокарточку с встревоженным лицом ее владелицы. Кристину охватывает дрожь, еще с войны в ней сидит нелепый и тем не менее неистребимый страх нарушить какое-нибудь из сотен тысяч постановлений: ведь всегда можно оказаться нарушителем какого-либо закона. Но жандарм любезно возвращает ей паспорт и, небрежно откозыряв, закрывает за собой дверь — на этот раз осторожнее, чем открывал.

Теперь можно было бы снова улечься, но пережитая тревога спугнула сон. Кристина подошла к окну. И — оторопела. За холодными как лед стеклами, где только что (когда она спала; время как бы остановилось) до самого горизонта серой волной текла в тумане глинистая равнина, из земли вздыбились каменными громадами горы, никогда не виданные ею гигантские образования; перед ее восхищенно-испуганным взглядом вознеслись невообразимо величественные Альпы. И в эту самую минуту первый луч солнца, пробившись с востока над седловиной, засверкал миллионами бликов на леднике самой высокой вершины, и этот ничем не замутненный, ослепительно белый свет так резко ударил в глаза, что Кристина зажмури-

лась. Но эта мгновенная резь в глазах заставила ее окончательно проснуться.

Рывок — и оконная рама, чтобы приблизить чудо, со стуком опускается вниз, и тут же в раскрытый от изумления рот врывается свежий, морозный, колючий, напоенный пряным снежным ароматом воздух, заполняя легкие: никогда она еще не дышала так глубоко и чисто. Невольно она разводит руки, чтобы этот первый, поспешный, обжигающий глоток проник еще глубже, и вот уже всей грудью чувствует, как от морозного вздоха по жилам — чудесно, чудесно! — разливается блаженное тепло.

И только сейчас, освеженная, она принимается рассматривать все по порядку, слева, справа от нее; ее оттаявший взгляд радостно ощупывает каждый гранитный склон с ледяными бордюрами, от нижнего до самого верхнего, обнаруживая все новые подробности — водопад, низвергающийся в долину белопенными сальто-мортале, изящные, как бы придавленные скалами домики, приютившиеся в расщелинах, словно птичьи гнезда, орла, гордо парящего над высочайшей вершиной; и над всем этим царит божественно чистая, шелестящая синева, излучающая такую силу и радость, о какой Кристина и не подозревала. Впервые в жизни убежавшая из своего тесного мирка, она не отрывает глаз от невероятного зрелища, от этих словно выросших за ночь каменных башен. Тысячелетия, должно быть, стоят они здесь, эти исполинские твердыни Создателя, и незыблемо простоят, быть может, еще миллионы и миллиарды лет, а она, Кристина, если б не случайная эта поездка, могла умереть, истлеть и обратиться в прах, даже не догадываясь, что на свете есть такое великолепие.

Ничего этого она никогда не видела, да и вряд ли мечтала увидеть, ее жизнь текла стороной: бессмысленное прозябание на клочке пространства шириной в вытянутую руку — шаг туда, шаг обратно, меж тем как на расстоянии всего лишь одной ночи, одного дня начинается многообразнейшая беспредельность. И внезапно в ее донине бездеятельное, равнодуш-

ное сознание впервые проникает догадка о чем-то упущенном. В такие мгновения у человека все в душе переворачивается от ощущения могучей силы странствий, которая одним взмахом срывает с него твердую скорлупу привычного и забрасывает обнаженное плодоносное ядро в стихию безудержных превращений.

Прижавшись покрасневшей щекой к оконной раме, Кристина целиком отдалась этому впервые охватившему ее чувству и с жадным любопытством смотрит и смотрит во все глаза. Ни единой мыслью не оглядывается она назад. Забыты мать, служба, деревня, забыта лежащая в сумочке любовно нарисованная карта, на которой она могла бы прочесть название каждой вершины и каждого горного ручья, опрометью несущегося в долину, забыто собственное вчерашнее «я». Только бы впитать все до последней капли, только бы не упустить ничего из беспрестанно меняющейся величественной панорамы, запечатлеть каждый ее кадр и пить, пить, не отрывая губ, морозный воздух, крепкий и пряный, как можжевелька, этот волшебный горный воздух, от которого сердце бьется звонче и решительней! Четыре часа Кристина, не отходя ни на минуту, смотрит в окно, настолько увлеченная, что забыла о времени, и, когда поезд остановился и кондуктор на незнакомом диалекте, но все же внятно объявил название станции, где она должна сходить, у нее в испуге замерло сердце.

Боже мой — сделав над собой усилие, Кристина очнулась от сладостных грез — уже приехала и ничего не успела придумать: ни как поздороваться с тетей, ни что сказать ей при встрече. Она поспешно хватает чемодан, зонтик — только бы ничего не забыть! — и устремляется вслед за выходящими пассажирами. Носильщики в разноцветных фуражках, выстроившиеся к приходу поезда строго, по-военному, в два ряда, тут же разлетелись, с охотничьим азартом ловя прибывших; отовсюду слышатся шумные приветствия, выкрикивают названия отелей. Но Кристину никто не встречает. Она растерянно оглядывается вокруг, от волнения у нее сдавило горло,

она высматривает, ищет. Но тщетно. Никого. Всех встречают, все знают, куда им идти, только она не знает, одна она.

Приехавшие уже толпятся у гостиничных автобусов, пестрой вереницей стоящих в ожидании, словно готовая к стрельбе батарея; перрон почти опустел. И по-прежнему никого: о ней забыли. Тетя не пришла: может быть, уехала или заболела, и ей, Кристине, телеграфировали, что поездка отменяется, а телеграмма, увы, запоздала. Господи, хоть бы хватило денег на обратную дорогу! Собравшись с духом, она все же решается подойти к служителю, у которого на околышке фуражки золотится надпись «Отель Палас», и слабым голоском спрашивает, не живут ли у них супруги ван Боулен. «Как же, как же», — гортанно отвечает важный краснолобый швейцарец, ну да, конечно, ему поручено встретить барышню на вокзале. Пусть она даст ему квитанцию на багаж, а сама пока садится в автобус. Кристина покраснела. Только сейчас она заметила, и это ее больно задело, как выдает ее бедность зажатый в руке нищенский плетеный чемоданчик на фоне новеньких, будто с витрины, гигантских кофров, сверкающих металлической оковкой и неприступно возвышающихся среди пестрых кубиков из ценной юфти, чистой лайки, крокодиловой и змеиной кожи, ожидающих погрузки. Она вмиг почувствовала, как бросается в глаза дистанция между другими пассажирами и ею. Ее охватило смущение. Надо что-нибудь соврать — быстро решает она.

— Остальной багаж приедет потом.

— Ну что ж, тогда можно ехать, — заявляет (слава Богу, без всякого удивления или презрения) величественная ливрея и распахивает дверцу автобуса.

Стоит человеку чего-нибудь устыдиться, как это неощутимо откладывается даже в самом отдаленном уголке сознания, затрагивая каждый нерв; и любое беглое упоминание, всякая случайная мысль заставляют однажды устыдившегося снова претерпевать пережитую муку. От этого первого толчка Кристина утратила свою непосредственность. Она неуверенно

ступает в сумрачной салон автобуса и тотчас невольно отшатывается, увидев, что она здесь не одна. Но пути назад уже нет. Ей придется пройти через этот благоухающий духами и терпкой юфтью полумрак, мимо неохотно убираемых ног, чтобы добраться к задним местам. Опустив глаза, втянув голову в плечи, как от озноба, совершенно оробев, она движется по проходу и от растерянности бормочет «здрасьте» каждой паре ног, которые минует, словно этой учтивостью просит извинить ее присутствие.

Однако никто ей не отвечает. Либо осмотр, проведенный шестнадцатью парами глаз, окончился неблагоприятно для Кристины, либо пассажиры — румынские аристократы, бойко болтающие на скверном французском, — и вовсе не обратили внимания на жалкое существо, робкой тенью проскользнувшее в дальний угол. Пристроив чемодан на коленях — поставить его на свободное место она не отважилась, — Кристина пригнулась, чтобы укрыться от возможных насмешливых взглядов; всю дорогу она ни разу не осмеливается поднять глаза, смотрит только в пол, только на то, что ниже сидений. Но роскошная обувь женщин тотчас напоминает ей о ее собственных неуклюжих туфлях. Оторопело взирает она на стройные женские ноги, надменно скрещенные под распахнутыми горностаевыми мантиями, на пестрые мужские носки гольфа, и этот «нижний» этаж богатства вызывает у нее озноб: как ей быть среди такого невиданного шика?

На что ни взглянет — новые мучения. Вот наискосок от нее девушка лет семнадцати держит на коленях пушистую китайскую болонку, та лениво потягивается, повизгивая; попона на собачонке оторочена мехом и украшена вышитой монограммой, а полудетская почесывающая шерстку рука сверкает бриллиантом и розовым маникюром. Стоящие в углу клюшки для гольфа и те выглядят нарядно в новеньких чехлах из гладкой кожи кремового цвета, а у каждого из небрежно брошенных зонтиков своя неповторимая экстравагантная ручка — Кристина произвольным жестом прикрывает ручку своего зонтика, сделанную из дешевого тусклого рога... Толь-

ко бы никто не взглянул на нее, только бы никто не заметил, что она сейчас переживает, что впервые в жизни увидела! Все ниже склоняет голову несчастная, все незаметнее ей хочется стать, и всякий раз, когда вблизи раздается смех, по спине у нее бегут мурашки. Но она боится поднять глаза и удостовериться, в самом ли деле этот смех относится к ней.

Но вот мучительным минутам приходит конец — под колесами хрустит мелкий гравий, автобус подруливает к отелю. На звук клаксона, резкого, как вокзальный колокол, к машине сбегается пестрый отряд сезонных носильщиков и боев. За ними, более церемонно — положение обязывает, — в черном сюртуке и с геометрически ровным пробором появляется главный администратор. Первой из автобуса выпрыгивает болонка и, приземлившись, отряхивается; не прерывая громкой болтовни, одна за другой выходят дамы; они спускаются, высоко подобрав манто над спортивно-мускулистыми икрами, и оставляют за собой почти одурачивающие волны благоуханий. Хотя бы из приличия мужчинам следовало пропустить вперед робко приподнявшуюся девушку, но либо они правильно определили ее происхождение, либо просто не замечают ее; во всяком случае, господа выходят, не оглядываясь на нее, и направляются к администратору.

Кристина в растерянности остается сидеть с плетеным чемоданчиком, который стал ей теперь ненавистен. Пусть они все отойдут подальше, думает она, это отвлечет от меня внимание. Но медлит она слишком долго, и когда наконец ступает на подножку, господин в сюртуке уже удаляется с румынами, бои деловито несут следом ручной багаж, сезонники громяют на крыше автобуса тяжелыми кофрами, и никто из них к ней не подбегает. Никто не обращает на нее внимания, очевидно, ее приняли за служанку, думает она, испытывая чувство крайнего унижения, ну в лучшем случае за горничную одной из тех дам, ведь носильщики снуют мимо нее с полным равнодушием, будто она такая же, как и они. Терпение ее наконец иссякает, и, собравшись с последними силами, она проталкивается в холл к дежурному администратору.

Дежурный администратор в разгар сезона... Разве осмелишься заговорить с ним, этим капитаном огромного роскошного корабля, царственно возвышающимся за своей конторкой и непоколебимо держащим свой курс сквозь шторм вопросов. Десятка полтора приезжих ждут решения этого Всемогущего, который одной рукой что-то записывает, другой сжимает телефонную трубку, направо и налево дает справки, по его знаку — кивком или взглядом — бои разлетаются во все стороны; это универсальный человек-машина с постоянно натянутыми нервами-канатами; если перед его величеством стоят в ожидании даже особы полноправные — что же говорить о неопытном, застенчивом новичке? Столь недоступным кажется Кристине этот повелитель столпотворения, что она почтительно отступает в нишу, решив переждать, пока уляжется суматоха. Но постылый чемодан все сильнее оттягивает руку. Тщетно оглядывается Кристина вокруг в поисках скамейки, куда можно было бы его поставить. В этот момент ей показалось — наверное, вообразила от волнения, — что сидящие неподалеку в креслах люди бросают на нее иронические взгляды, перешептываются и смеются; еще мгновение — и она выронила бы ставшую непосильной ношу, так ослабели вдруг у нее пальцы. Но именно в эту критическую минуту к ней решительным шагом подходит моложавая, очень элегантная дама, пристально разглядывает ее профиль, а затем спрашивает:

— Это ты, Кристина?

И когда племянница скорее выдохнула, чем произнесла «да», тетя легко взяла ее за плечи и чмокнула в щеку, обдав тепловатым запахом пудры. Кристина, с радостью почувствовав наконец после отчаянного одиночества что-то близкое, родное, кинулась в едва намеченные объятия столь бурно, что тетя, восприняв этот порыв как проявление родственной нежности, была весьма тронута. Она погладила вздрагивающие плечи:

— О, я ужасно рада, что ты приехала, Энтони и я, мы оба очень рады. — И, взяв ее за руку: — Идем, тебе, конечно, надо



привести себя в порядок, ведь ваши дороги в Австрии, наверно, жутко некомфортабельны. Спокойно собирайся — только не слишком долго. К ленчу уже бил гонг, а Энтони не любит ждать, это его слабость. We have all prepared... Ах да, мы все подготовили, портье сейчас даст ключ от твоего номера. И быстренько, ладно? Никаких шикарных туалетов, к обеду здесь каждый одевается как хочет.

По мановению тетиной руки бой в ливрее мигом подхватывает чемодан, зонтик и бежит за ключом. Бесшумный лифт поднимает Кристину на третий этаж. В середине коридора бой отпирает дверь и, сдернув с головы круглую шапочку, отступает в сторону. Значит, это ее комната. Кристина входит. И уже на пороге отшатывается, словно ошиблась дверью. Ибо при всем желании сельская почтарка Кляйн-Райфлинга, привыкшая видеть вокруг себя лишь одну убогость, не способна так быстро переключиться и поверить, будто эта комната предназначена ей, эта роскошно просторная, изумительно светлая, оклеенная яркими обоями комната, куда через распахнутые настежь двери балкона, словно через хрустальный шлюз, низвергаются каскады света. Неукротимый светопад заливает все помещение, каждый предмет напоен лучащейся стихией. Полированная мебель сверкает своими гранями, будто хрусталь, на латуни и стекле весело искрятся солнечные блики, даже ковер с ткаными цветами выглядит настоящей живой лужайкой.

Не комната, а сияющее райское утро; ослепленная, ошеломленная этим пиршеством света, Кристина невольно ждет, пока успокоится заколотившееся сердце, а потом с некоторым угрызением совести быстро притворяет дверь. Сначала было изумление: возможно ли такое вообще — столько блеска, великолепия! И вторая мысль, давно и неразрывно связанная с несбыточными ее желаниями: сколько это должно стоить, как же много денег, как ужасно много денег! Наверное, единственный день стоит здесь больше, чем она зарабатывает за неделю — да нет, за месяц! Смущенно — ну кто же осмелится чувствовать себя здесь как дома — Кристина, оглянув-

шись, осторожно ступает на дорогой ковер одной ногой, другой. Потом благоговейно и все же со жгучим любопытством принимается обследовать достопримечательности: неужели здесь действительно можно будет спать, в такой свежайшей, прохладной белизне? А пуховое одеяло — легкое, нежное, с вышитыми шелком цветами, ну как пушинка на ладони; нажимаешь пальцем, и вспыхивает лампа, окрашивая угол в теплый розовый цвет. Открытие за открытием: умывальник — белая сверкающая раковина с никелированными кранами, кресла — мягкие и до того глубокие, что с трудом выбираешься из их податливой топи; полированная мебель из ценного дерева так гармонирует с весенней зеленью обоев, а на столе, встречая гостью, горят четыре разноцветные гвоздики, в высокой узкой вазе — ну чем не красочный приветственный туш хрустальной трубы!

Волшебная, невысказанная роскошь! И все это будет у нее перед глазами, всем этим она будет пользоваться, обладать день, неделю, две недели; предвкушая наслаждение, Кристина, как робкая влюбленная, крадется от предмета к предмету, пытливо ощупывает их один за другим и то и дело изумляется, пока вдруг, точно наступив на змею, в ужасе не отскакивает и чуть не падает. Случилось же следующее: она совершенно машинально распахнула огромный стенной шкаф, не ожидая, что к внутренней стороне дверцы прикреплено большое зеркало, — и тут, словно игрушечный чертик с красным языком, выпрыгнувший из шкатулки, на нее глянуло во весь рост изображение, в котором она с ужасом увидела жестокую реальность — самое себя, то единственное, что было неприличным в этой фешенебельной обстановке. Ярко-желтое растопыренное дорожное пальто, помятая соломенная шляпа над растерянным лицом — это зрелище потрясло ее до глубины души. Вон отсюда, пройдоха! Не марай приличный дом! Марш на свое место! — казалось, прикрикнуло на нее зеркало. В самом деле, думает Кристина удрученно, ну как я могу себе позволить жить в такой комнате, в таком отеле? Срамить тетю! Никаких шикарных туалетов, сказала она! Будто они у меня

есть! Нет, не пойду вниз, останусь здесь. Лучше уеду обратно. Но куда же спрятаться, как я успею исчезнуть? Ведь тетя сразу хватится меня и будет возмущена. Невольно стремясь удалиться от зеркала, Кристина выходит на балкон. Судорожно сжав перила, она смотрит вниз. Броситься бы — и всемо конец...

Но тут внизу раздается еще один боевой удар гонга. Боже мой! Ведь в холле ее ждут дядя с тетей, спохватывается Кристина, а она тут мешкает. И не умылась еще, и даже не сняла ненавистное пальто, приобретенное сестрой на распродаже. Она лихорадочно раскрывает чемодан, чтобы достать туалетные принадлежности, завернутые в кусок прорезиненной ткани. Но когда она выкладывает на чистую хрустальную полочку грубое мыло, царапающую деревянную щеточку и другие предметы, купленные явно по самой дешевой цене, ей кажется, что она вновь демонстрирует свое мещанское убожество перед чьим-то язвительно-высокомерным взором. Что подумает горничная, увидев это, — наверняка с издевкой разболтает своим товаркам о нищенке; те расскажут другим, сразу весь отель узнает, и ей придется каждый день проходить мимо них, каждый день, потупив глаза и слыша шушуканье за спиной. Нет, здесь тетя ничем не поможет, этого не скроешь, это распространится повсюду. На каждом шагу какая-нибудь прореха да откроется, и ее платье и обувь только еще больше обнажат всем-всем ее убожество.

Да, но надо торопиться, тетя ждет, а дядя, сказала она, ждать не любит. Господи, что делать? Что же надеть? Первая мысль — зеленую блузку из искусственного шелка, которую ей одолжила сестра, но то, что еще вчера, в Кляйн-Райфлинге, она считала украшением своего гардероба, теперь кажется ей ужасно безвкусным и вульгарным. Лучше уж простую белую, она неприметнее, и захватить цветы из вазы: если держать их перед блузкой, то, может, яркий букет отвлечет на себя внимание. Потом, пряча глаза и едва дыша от страха, что ее разглядывают, Кристина торопливо сбегает по лестнице в холл, обгоняя других, — в лице ее ни кровинки, голова болит и кружится, и такое чувство, будто она наяву летит в пропасть.

Спустившись в холл, она замечает тетю. Странно, что это с девчонкой? — думает та, направляясь к племяннице. То идет, то скачет, то от людей шарахается, стесняется, что ли? Нервная, видать, штучка; да, надо было заранее о ней разузнать! Господи, а теперь встала как дурочка у входа, может, она близорукая или еще что-нибудь не в порядке?

— Ну что с тобой, детка? Ты совсем бледная. Тебе нездоровится?

— Нет, нет, — лепечет Кристина все еще в растерянности. Ужас сколько тут народу в холле, а вот та дама в черном, с лорнетом, как она сюда уставилась! Наверное, разглядывает ее смехотворные, неуклюжие туфли.

— Пойдем, пойдем, детка, — зовет тетя и берет ее под руку, даже не подозревая, какую услугу, какую огромную услугу оказывает запуганной племяннице. Ведь тем самым Кристина хоть на полшага отступает наконец-то в спасительную тень, под крыло, в укрытие: тетя, по крайней мере с одного боку, заслоняет ее своим телом, своим туалетом, своим видом. Благодаря провожатой Кристине удастся довольно спокойно пересечь ресторанный зал и подойти к столику, где их ждет флегматичный, грузный дядя Энтони; он поднимается, его обвислые щеки растягиваются в добродушной улыбке, типично голландские светлые глаза с красноватыми веками приветливо смотрят на племянницу, и он протягивает ей тяжелую, натруженную лапу. Радость его вызвана главным образом тем, что не надо больше дожидаться за накрытым столом — как всякий голландец, он любит поесть, обильно и с комфортом. Помех в этом деле он не терпел и со вчерашнего дня втайне опасался, что встретит эдакую несносную светскую бездельницу, которая своей болтовней и расспросами испортит ему трапезу. Но, глядя сейчас на новоявленную племянницу, бледную, застенчивую и привлекательную в своем смущении, он успокаивается и сразу заключает, что с ней можно поладить.

— Первым делом поешь, а уж потом поговорим, — ласково и дружески подбадривает он ее.

Эта худенькая робкая девушка, не осмеливающаяся поднять глаза, радуется ему, она совсем не похожа на тех бойких девиц за океаном, потому что они вечно заводят граммофон и так вызывающе вихляются, как никогда не позволит себе ни одна женщина из его старой Голландии. Невольно покрхтывая, он склоняется над столом и собственноручно наливает ей вино, а затем делает знак официанту, чтобы подавал обед.

У официанта жесткие крахмальные манжеты и такое же натянутое, чопорное лицо; о Господи, ну что за экстравагантные блюда он подает, какие-то странные, невиданные закуски: охлажденные на льду маслины, пестрые салаты, серебряная рыба, горы артишоков, непостижимые кремы, нежнейший паштет из гусиной печени и розовые ломтики семги — все такое изысканное, тонкое, должно таять во рту. Но вот каким из дюжины положенных приборов есть эти неведомые деликатесы? Маленькой или круглой ложкой, изящным ножичком или широким ножом? Чем их резать и брать, чтобы не обнаружить перед этим платным наблюдателем и опытными соседями, что впервые в жизни попала в столь шикарный ресторан? Как избежать хотя бы грубых оплошностей? Стараясь выиграть время, Кристина медленно разворачивает салфетку и при этом искоса следит из-под опущенных век за тетинными руками, чтобы подражать каждому ее движению.

Однако вместе с тем ей приходится выслушивать дружеские вопросы дяди, и выслушивать очень внимательно, так как его речь на смешанном голландско-немецком вдобавок обильно уснащена английскими оборотами; она вынуждена напрячь все силы, чтобы не только выдерживать сражение на два фронта, но и преодолевать чувство неполноценности, слыша позади неумолкающее шушуканье и воображая, что соседи бросают на нее ехидные или жалостливые взгляды. Страшась обнаружить свою убогость и неопытность перед дядей и тетей, перед официантом, перед любым сидящим в зале и в то же время стараясь выглядеть беспечной, даже веселой, Кристина была напряжена до предела, так что эти полчаса за обедом

показались ей вечностью. До десерта она кое-как продержалась; наконец тетя, не догадываясь об истинной причине, заметила ее смущение:

— Ты выглядишь усталой, детка. Впрочем, неудивительно, если всю ночь едешь в этих дрянных европейских вагонах. Ничего, не смущайся, приляжешь на часок, поспишь, а потом двинемся. Спешить нам некуда, Энтони тоже всегда отдыхает после обеда. — Поднявшись, она берет племянницу под руку. — Идем, я тебя провожу. Полежишь, встанешь бодрой, и тогда мы хорошенько прогуляемся.

Кристина глубоко вздыхает, признательная тете. Спрятаться на час за закрытой дверью — значит выиграть целый час.

— Ну как она тебе понравилась? — спрашивает, едва войдя в номер, тетя своего Энтони, который уже на ходу расстегивает пиджак и жилетку.

— Очень мила, — зевает дородный супруг, — милое венское лицо... Передай-ка мне подушку... В самом деле, очень мила и скромна. Только — *I think so at least\** — я нахожу, что она бедновато одета... ну... не знаю, как это выразить... у нас такого вот уже давно нет... и если ты решишь представить ее здесь Кинсли и другим как нашу племянницу, ей следовало бы, пожалуй, одеться более презентабельно... Не могла бы ты выручить ее своим гардеробом?

— Видишь, у меня уже ключ в руке. — Госпожа ван Боулен улыбается. — Я сама перепугалась, когда увидела ее среди приехавших, еще там, во дворе... да, зрелище весьма компрометирующее. А ведь ты не видел ее пальто — яичный желток, великолепный экземпляр, специально для лавки индейских диковинок... Бедняжка, если б она знала, какой провинциальный у нее наряд, ах, Господи, откуда ж ей это знать... ведь они там, в Австрии, совершенно *down\*\** из-за этой проклятой войны, ты же сам слышал, что она рассказывала, — дальше трех

---

\* По крайней мере, мне так кажется (англ.).

\*\* Разорены (англ.).

миль за Вену она еще ни разу не выезжала, никогда не бывала среди людей... Poor thing\*, сразу видно, что ей здесь не по себе, ходит совсем запуганная... Ладно, так и быть, обряжу ее как полагается, привезла я сюда достаточно, а чего не хватит, куплю в английской лавке; никто ничего не заметит, да и почему бы ей не поблаженствовать разок недельку-другую, бедняжке.

И пока утомленный супруг погружается на оттоманке в дрему, она производит смотр двум большим кофрам, возвышающимся в прихожей, словно кариатиды, чуть не до потолка. За две недели в Париже госпожа ван Боолен отдала должное не только музеям, но в немалой мере и дамским портным: в ее руках шелестит крепдешин, шелк, батист, она вытаскивает одну за другой дюжину блузок и платьев, щупает, прикидывает на свет и на вес, пересчитывает, вешает обратно; ее пальцы обстоятельно, но не без удовольствия прогуливаются по переливчатым и черным, нежным и плотным тканям и платьям, прежде чем она решается что-то уступить Кристине. Наконец на кресле вырастает радужный пенистый холмик платьев, чулок и белья; весь этот почти невесомый груз она поднимает одной рукой и несет в номер к племяннице.

Тихонько отворив дверь, тетя входит, однако в первый момент ей кажется, что комната пуста. Окно распахнуто, в креслах никого, за письменным столом тоже; она собирается положить вещи на стул, как вдруг обнаруживает Кристину спящей на кушетке. С непривычки и от смущения девушка пила вино торопливо, а дядя, добродушно посмеиваясь, подливал и подливал ей в бокал, и вот голова у нее странно отяжелела. Кристине было присела на кушетку, чтобы подумать, поразмышлять обо всем, но вскоре сонливость мягко склонила ее к подушкам, и она незаметно уснула.

Вид спящего человека, его беспомощность всегда производят либо трогательное, либо забавное впечатление. Тетя была растрогана, когда на дыпочках приблизилась к племяннице.

---

\* Бедняжка (англ.).

Во сне Кристина стеснительно прикрыла руками грудь, как бы защищаясь от чего-то; этот жест и по-детски, словно в испуге, полуоткрытый рот невольно вызывают сочувствие; брови тоже чуть приподняты, будто ей снится что-то тревожное.

Тетю вдруг озаряет догадка: она и во сне боится, даже во сне. До чего же бледные у нее губы, и цвет лица какой нездоровый, а ведь совсем еще молодая и спит как ребенок... Наверное, от плохого питания, рано пришлось самой зарабатывать, намыкалась, измоталась, совсем изнуренная, а девочке и двадцати восьми еще нет. Poor char!\*

Что-то вроде стыда внезапно просыпается в добросердечной женщине, пока она смотрит на племянницу, и не подозревающую, что ее тайны разгаданы. В самом деле, такая усталая, несчастная, замученная, а мы — ну просто срам, давно надо было им помочь. Мы занимаемся там всяческой благотворительностью, устраиваем сотни charity teas\*\*, жертвуем на рождественские подарки, сами не зная для кого, а тут собственная сестра, родная кровь, и о ней все эти годы даже не вспомнили, когда несколько сотен долларов могли бы совершить чудо. Конечно, они могли бы написать, напомнить о себе — вечно у этих бедняков дурацкая гордость, не хотят попросить! Слава Богу, что хоть теперь еще можно поддержать эту бедную, робкую девушку, доставить ей немного радости.

Сама не понимая почему, тетя со все большим умилением вглядывается в мечтательный облик спящей — то ли она увидела в нем свое собственное отражение, всплывшее в зеркале детства, то ли вдруг вспомнила давнюю фотографию матери, которая в тонкой позолоченной рамке висела над ее детской кроватью? Или воскресло чувство одиночества, которое она испытывала тогда в нью-йоркском пансионе, — во всяком случае, стареющая женщина внезапно ощутила прилив нежности. И ласково погладила белокурые волосы племянницы.

---

\* Бедняжка! (англ.)

\*\* Благотворительное чаепитие (англ.).



Кристина мгновенно просыпается. Уход за больной матерью приучил ее вскакивать от малейшего прикосновения.

— Уже так поздно? — лепечет она виновато.

Извечный страх опоздать, присущий всем служащим, сопровождает ее во сне уже многие годы и просыпается вместе с первым звонком будильника. Первый взгляд на часы — всегда вопрос: «Я не опоздаю?» И первое чувство после утреннего пробуждения — неизменно страх провиниться в чем-нибудь на службе.

— Деточка, зачем же так пугаться? — успокаивающе говорит тетя. — Здесь времени столько, что не знаешь, куда его девать. Не волнуйся, отдохни, если еще чувствуешь себя усталой, ей-богу, я не хотела тебя беспокоить, вот только принесла несколько платьев, посмотри, может, какое и понравится, наденешь. Я их притащила из Парижа такую уйму, что чемодан не закрывается, ну и подумала: лучше ты вместо меня поносишь парочку-другую.

Кристина чувствует, как краска заливает ей лицо и шею. Значит, они все-таки поняли это сразу, с первого взгляда, она их срамит своей бедностью... наверное, оба, и дядя и тетя, стыдятся ее. Но как деликатно тетя хочет помочь ей, как маскирует она подачку, стараясь не обидеть ее.

— Ну как я смогу носить твои платья, тетя? — запинаясь, говорит Кристина. — Ведь они слишком дороги для меня.

— Чепуха, они наверняка будут тебе больше к лицу, чем мне. Энтони и так уже ворчит, что я одеваюсь слишком молодо. Ему хотелось бы, чтоб я выглядела как его двоюродные бабушки в Гандаме: плотный черный шелк, застегнуты от пяток до жабо, как истинные протестантки, а на макушке белый крахмальный чепчик. На тебе эти тряпки ему понравятся в тысячу раз больше. Ну, давай примерь, какое ты выберешь сегодня на вечер?

И одним взмахом — в ней неожиданно проснулась давно забытая сноровка манекенщицы — она выхватывает легчайшее платье и прикладывает к своей фигуре. Цвета слоновой

кости, с пестрой японской каймой, оно светится по-весеннему рядом с другим платьем, где алые остроконечные язычки пламени трепещут на черном как ночь шелке. Третье — болотного оттенка с серебряными прожилками по краям, и все три кажутся Кристине столь прекрасными, что она и мысли не допускает пожелать их или обладать ими. Такие роскошные и тонкие вещи даже надеть страшно: все время будешь бояться — вдруг порвешь по неопытности. А как ходить, двигаться в этом облачке, сотканном из цвета и света? Ведь носить эти платья надо сперва научиться.

И все-таки ни одна женщина не может устоять перед этими сокровищами. Ноздри ее возбужденно трепещут, рука начинает странно дрожать, пальцам хочется нежно погладить ткань, и лишь с трудом она сдерживает себя. Тете по давнишнему опыту знакомо это вожделение во взгляде, это почти сладострастное волнение, которое охватывает всех женщин при виде роскоши; она невольно улыбается, заметив внезапно вспыхнувшие огоньки в глазах робкой блондинки; от одного платья к другому блуждают они, беспокояно, нерешительно, и Опытность знает, какое платье выберет Неискушенность, и знает, что, выбрав, будет с раскаянием взирать на другие. Из самых добрых побуждений тетя с удовольствием подливает масла в огонь:

— Спешить некуда, я оставлю тебе все три, сегодня выберешь сама по вкусу, а завтра попробуешь остальные. Чулки и белье я тоже захватила... тебе недостает чего-нибудь такого свеженького, бодренького, что чуточку подкрасит твои бледные щеки. Если не возражаешь, пойдем-ка прямо сейчас в stores\* и купим все, что тебе понадобится в Энгадине.

— Но, тетя, — лепечет вконец потрясенная Кристина, — мне неудобно... нельзя же, чтобы ты столько на меня тратила. И номер этот слишком дорогой, ну в самом деле, мне бы вполне подошла простенькая комната.

---

\* Лавки, магазины (англ.).

Тетя лишь улыбается, не сводя с нее глаз.

— А потом, детка, — заявляет она властно, — сходим к нашей парикмахерше, она тебя мало-мальски причешет. Космы вроде твоих у нас носят только индейцы. Сама увидишь, сразу легче будет держать голову, когда грива перестанет болтаться на затылке. Нет, нет, не спорь, я в этом лучше разбираюсь, ложись на меня и не волнуйся. Времени у нас масса, Энтони сейчас торчит за послеобеденным покером. Вечерком преподнесем тебя ему как с иголки. Ну, собирайся, детка, пошли.

В большом магазине спортивных товаров коробки одна за другой снуют со стелажей на прилавок: выбран свитер с рисунком в шашечку, замшевый пояс, подчеркивающий талию, пара крепких рыжеватых ботинок, остро пахнущих свежесделанной кожей, шапочка, пестрые, туго облегающие носки гольф и всякая мелочь; примеривая в кабине обнову, Кристина, словно грязную коросту, сдирает с себя ненавистную кофту и тайком прячет эту привезенную улику нужды в картонную коробку. Удивительное облегчение испытывает она по мере того, как исчезают в картонке опротивевшие вещи, будто вместе с ними навеки переходит туда же и ее страх. В другом магазине добавляются еще вечерние туфли, легкая шелковая шаль и тому подобные чарующие предметы. С изумлением Кристина наблюдает, словно чудо, никогда не виданный ею способ делать покупки, не спрашивая о цене, не испытывая постоянного страха перед «слишком дорого». Выбираешь товар, говоришь «да» не задумываясь, не тревожась, и вот пакеты перевязаны, и таинственные рассылные доставят тебе их домой. Не успеваешь выразить желание, как оно уже исполнено: жутко все это, но в то же время упоительно легко и красиво.

Кристина отдается во власть чудес, прекратив всякое сопротивление и предоставив тете полную свободу действий; она лишь застенчиво отворачивается, когда тетя вынимает из сумочки банкноты, и старается пропускать мимо ушей, не слышать цены — ведь это так много, так невысказанно много, то, что на нее тратят: за годы она не израсходовала столько, сколь-

ко здесь за полчаса. Когда они вышли из магазина, она, уже не сдерживаясь, в порыве благодарности трепетно прижимается к тете и целует ее руку.

Тетя с улыбкой смотрит на ее трогательное смущение:

— Ну, теперь займемся скальпом! Я отведу тебя к парикмахерше, а сама тем временем нанесу визит друзьям, оставлю им карточку. Через час ты будешь как с витрины, и я зайду за тобой. Увидишь, что она из тебя сотворит, ты уже сейчас выглядишь совсем иначе. Потом отправимся гулять, а вечером будем всюю развлекаться.

Сердце у Кристины взволнованно стучит, но она послушно (ведь тетя желает ей добра!) входит в комнату, облицованную кафелем и сверкающую зеркалами, здесь теплый сладковатый воздух пахнет цветочным маслом и распыленными эссенциями, а рядом, словно ветер в горном ущелье, завывает какой-то электрический аппарат. Парикмахерша, проворная курносая француженка, выслушивает всевозможные инструкции, в которых Кристина ничего не понимает, да и не пытается понять. Ее захлестнуло ранее неведомое желание безвольно отдаться любым неожиданностям — пусть с ней делают все что хотят. Тетя исчезает, а она, откинувшись в удобном операционном кресле, закрыв глаза, погружается в наркоз блаженства; щелкает машинка, Кристина ощущает ее стальной холодок на затылке, вдыхает слегка дурмящие благовония и охотно подставляет щеку и волосы чужим искусным пальцам и струям сладкой эссенции.

Только не открывать глаза, думает она. А то вдруг окажется, что все неправда. Только не спрашивать. Только насладиться этим праздничным чувством, разок отдохнуть, не обслуживать других, а самой быть обслуженной. Разок посидеть сложа руки, ожидая удовольствия и вкушая его, ощутить в полной мере то редкое состояние беспомощности, когда о тебе заботятся, ухаживают за тобой, то странное физическое чувство, которого она не испытывала уже годы, нет, десятки лет.

Зажмурившись в тепловатом душистом тумане, Кристина вспоминает, когда это случилось с ней в последний раз: де-

тство, она в постели, больна, несколько дней у нее был жар, но сейчас прошел, мать приносит ей белое сладкое миндальное молоко, возле кровати сидят отец и брат, все такие добрые, заботливые, ласковые. Канарейка у окна насвистывает какую-то озорную мелодию, в постели мягко, тепло, в школу ходить не надо, на одеяло ей положили игрушки, но играть лень: лучше блаженствовать, закрыв глаза, и ничего не делать, вволю наслаждаться бездельем и приятным сознанием, что за тобой ухаживают. Двадцать лет она не вспоминала об этом изумительном ощущении расслабленности, пережитом в детстве, и вот теперь вдруг снова она его почувствовала — кожей, когда висков коснулось теплое, влажное дуновение.

Время от времени шустрая мамзель задает вопросы вроде: «Желаете покороче?» А она отвечает лишь: «Как вам угодно» — и нарочно смотрит мимо поднесенного ей зеркала. Нет, только бы не нарушить это божественное состояние, когда ни за что не отвечаешь, когда тебе не надо совершать какие-то действия и что-то желать и за тебя действуют и желают другие, хотя было бы заманчиво хоть раз, впервые в жизни, кому-то приказать, что-то потребовать, распорядиться о том или ином.

Аромат из граненого флакона растекается по ее волосам, лезвие бритвы нежными прикосновениями чуть щекочет кожу, голове вдруг становится необычайно легко, а затылку как-то непривычно прохладно. Собственно, Кристине уже не терпится взглянуть в зеркало, однако она сдерживается — ведь с закрытыми глазами можно еще продлить этот упоительный полусон.

Между тем к ней неслышно подсаживается таким добрым гномом вторая мастерица и, пока первая колдует над прической, начинает делать маникюр. Кристина, уже почти не удивляясь, послушно поддается и этому и также не препятствует, когда после слов «*Vous êtes un peu pâle, mademoiselle*»\*, — старательная парикмахерша всевозможными помадами и карандашами подкрашивает ей губы, подрисовывает покруче брови и подру-

---

\* Вы немножко бледны, мадемуазель (фр.).

мянивает щеки. Все это она замечает, но в то же время не воспринимает, пребывая в расслабленной самоотрешенности и едва сознавая, происходит ли все это с нею самой или же с каким-то совсем другим, совершенно новым «я», происходит не наяву, а в сновидении, — она ощущает замешательство и легкий страх, что эти чары внезапно разрушатся.

Наконец является тетя.

— Отлично, — изрекает она со знанием дела.

По ее просьбе заворачивают несколько баночек, карандашей и флаконов, затем она предлагает племяннице немного прогуляться. Поднявшись, Кристина не отваживается взглянуть в зеркало, она ощущает лишь необычную легкость в затылке; и вот теперь, идя по улице и время от времени украдкой посматривая на свою гладкую юбку, на веселые пестрые гольфы, на блестящие элегантные ботинки, она чувствует, как увереннее становится ее походка. Нежно прижавшись к тете, она слушает ее пояснения и удивляется всему вокруг: поразителен ландшафт с яркой зеленью и панорамным строем горных вершин, гостиницы, эти твердины роскоши, нагло вознесшиеся по склонам, и дорогие магазины с соблазнительными витринами — меха, драгоценности, часы, антиквариат, — все это странно и чужеродно рядом с царственным одиночеством гигантского ледника. Удивительны и лошади в красивой упряжи, собаки, люди, похожие своей яркой одеждой на альпийские цветы. Атмосфера солнечной беззаботности, мир без труда, без нужды, мир, о каком она и не подозревала. Тетя перечисляет ей названия вершин, отелей, фамилии именитых приезжих, встречающихся по пути; Кристина почтительно внимает, с благоговением взирает на них, и ее собственное присутствие здесь все больше кажется ей чудом. Она удивляется, что может гулять здесь, что это дозволено, и все больше сомневается: неужели это происходит наяву? Наконец тетя бросает взгляд на часы.

— Пора домой. Надо успеть переодеться. До ужина остался всего час. А единственное, что может рассердить Энтони, — это опоздание...

Когда Кристина, вернувшись в гостиницу, открыла дверь номера, то все здесь было уже окрашено мягкими предвечерними тонами, в рано наступивших сумерках предметы выглядели неопределенными и расплывчатыми. Лишь четкий прямоугольник неба за распахнутой балконной дверью еще хранил яркую, густую, ослепительную голубизну, а в помещении все цветные пятна стали блекнуть по краям и смешиваться с бархатистыми тканями. Кристина выходит на балкон, навстречу бескрайнему ландшафту, и заворуженно следит за быстро меняющейся игрой красок. Первыми теряют свою сияющую белизну облака и постепенно начинают алеть все больше и больше, словно их, столь надменно безучастных, очень взволновал все ускоряющийся закат светила. Потом, внезапно, из горных круч поднимаются тени, которые днем по одиночке хоронились за деревьями; и вот сейчас они, будто осмелев, соединяются толпами, взмывают черной завесой из впадин ввысь, и в изумленную душу закрадывается тревога: не захлестнет ли эта мгла и сами вершины, опустошив и затмив весь гигантский кругозор, — легким морозцем уже потянуло из долин, и дуновение все усиливается. Но вдруг вершины озаряются каким-то новым светом, более холодным и блеклым, и глядь — в еще не померкшей лазури уже появилась луна. Круглым фонарем она повисла высоко над ложбиной между двумя самыми высокими горами, и все, что лишь минуту назад было живописной картиной с ее многоцветьем, начинает превращаться в силуэтное изображение, в контуры черно-белого рисунка с крохотными, смутно мерцающими звездами.

В полном самозабвении Кристина не сводит заворуженного взгляда с этой гигантской сцены, где беспрерывно сменяются декорации. Подобно тому как человек, чей слух привык лишь к нежным звукам скрипки и флейты, чувствует себя почти оглушенным, услышав впервые бурное тутти\* целого оркест-

---

\* Тутти — в музыке означает игру всех инструментов оркестра. — *Примеч. пер.*

ра, так и ее чувства затрепетали при виде этого величественного красочного спектакля, неожиданно показанного природой. Вцепившись руками в перила, она смотрит и смотрит, не отрывая глаз. Никогда в жизни она не глядела так пристально на какой-нибудь пейзаж, никогда еще с такой полнотой не отдавалась созерцанию, не погружалась целиком в собственные переживания. Вся ее жизненная сила словно сконцентрировалась, как в фокусе, в двух изумленных зрачках и устремилась, позабыв о себе и о времени, навстречу природе. Но, к счастью, в этом доме, где все предусмотрено, существует и страж времени, безжалостный гонг, который трижды в день напоминает постояльцам об их обязанности насладиться роскошью. При первом раскатистом ударе меди Кристина вздрагивает. Ведь тетя строго-настрого велела не опаздывать, скорей-скорей одеться к ужину!

Какое же из новых платьев надеть? Все они такие чудесные, лежат рядышком на кровати и чуть светятся, словно крылья стрекозы; очень соблазнительно блестит в тени темное, но Кристина решает, что скромнее будет цвета слоновой кости. Она осторожно, с робостью берет его в руки и любуется. Не тяжелее носового платка или перчатки. Быстро стягивает с себя свитер, снимает грузные ботинки, толстые спортивные носки, долой все громоздкое, тяжеловесное, ей не терпится ощутить неизведанную легкость. Как все нежно, как мягко и невесомо. Одно лишь прикосновение к новому дорогому белью вызывает дивное ощущение. Пальцы ее дрожат, она поспешно снимает старое, грубое полотняное белье, и по коже ласковой теплой пеной струится новая мягкая ткань.

Кристина невольно протягивает руку к выключателю, чтобы зажечь свет и оглядеть себя, но в последнее мгновение опускает ее: лучше продлить удовольствие еще минутой ожидания. Кто знает, может быть, эта изумительно легкая ткань кажется нежной как пух только в темноте, а в ярком, резком освещении ее чары исчезнут? Так, теперь, после белья и чулок, платье. Бережно — ведь оно принадлежит тете — Кристина подставляет себя ниспадающей шелковой волне, про-



хладной, сверкающей, которая сама стекает по плечам, покорно облегая тело, это платье совершенно неощутимо, оно как ветер, как уста воздуха, нежно скользящие по коже. Но хватит медлить, терять время на предвкушение, быстрее одевайся, и тогда уж полюбуешься собой! Теперь туфли; поправь, пройдишь; слава Богу, все! И наконец — даже сердце — замерло остается бросить первый взгляд в зеркало.

Рука поворачивает выключатель, и лампа вспыхивает. С этой вспышкой померкшая было комната опять расцвела, опять появились яркие обои, блестящая мебель и весь новый фешенебельный мир. Кристине и любопытно и боязно, она еще не решается встать перед зеркалом так вот сразу и лишь сбоку заглядывает в красноречивое стекло, в уголке которого отражается полоска пейзажа за балконом и кусочек комнаты. Для настоящей репетиции пока не хватает мужества. Не будет ли она выглядеть еще смешнее, чем в своем прежнем, тоже одолженном платье, не бросится ли в глаза и другим и ей самой скрытый обман? Она медленно, бочком, бочком подступает к зеркалу, как будто скромностью можно перехитрить и одурачить неумолимого судью. Зеркало уже перед ней, но глаза ее по-прежнему опущены, она никак не отваживается на последний решительный взгляд. Тут снизу доносится второй удар гонга: медлить больше нельзя! Внезапно решившись, она делает глубокий вздох, как перед прыжком в воду, затем поднимает глаза. И, подняв, вздрагивает в испуге, она действительно так пугается неожиданного зрелища, что невольно отступает на шаг. Да кто же это? Кто эта стройная элегантная дама, которая, чуть изогнувшись назад, полуоткрыв рот и распахнув глаза, смотрит на нее с неподдельным изумлением? Неужели это она сама? Быть не может! Она не произносит этого вслух, но именно эти слова непроизвольно хотели слететь с ее губ. И удивительно: там, в зеркале, губы шевельнулись.

У Кристины дух захватило. Никогда еще, даже в мечтах, она не представляла себя такой прекрасной, такой юной, такой нарядной; ведь у нее теперь совсем другие губы — крас-

ные, четко очерченные, другие брови — тонкие, изогнутые, шея, которая вдруг открылась свету под взметнувшейся золотой шапкой волос, и кожа в блестящем обрамлении платья совсем другая. Все ближе и ближе подступает Кристина, чтобы опознать себя в этой картинке, и хотя понимает, что в зеркале она, тем не менее не осмеливается признать это другое «я» настоящим и прочным, ее не оставляет страх, что стоит ей приблизиться еще на дюйм, сделать резкое движение, как блаженное видение растает. Нет, не может быть, думает она. Нельзя измениться до такой степени. Ведь если бы так было на самом деле, значит, тогда я... Она не решается мысленно договорить. Но тут изображение в зеркале начинает улыбаться, отгадывая это слово, чуть заметная вначале улыбка становится шире, шире. Вот уже из холодного стекла совершенно открыто и гордо смеются глаза, и мягкие красивые губы, кажется, весело признаются: «Да, я красивая».

До чего же это увлекательно — вот так смотреть на себя, удивляться, что-то в себе открывать, любоваться собой, разглядывать с неведомым донныне чувством восхищения свое тело, впервые замечать, как вольно дышащая грудь упруго и красиво колышется под шелком, какие стройные и в то же время мягкие линии обретают формы в красках, как легко и свободно выступают обнаженные плечи в этом платье. Интересно, а как выглядит новое стройное тело в движении? Она медленно-медленно поворачивается боком, не спуская глаз с зеркала: и снова ее взгляд встречается с гордым, довольным взглядом отраженного двойника. Это придает ей смелости. Теперь быстро три шага назад: что ж, в движении все тоже красиво. Теперь можно отважиться и на пирует; она кружится волчком, разлетаются короткие юбки, и зеркало снова улыбается: «Отлично! Какая ты стройная, ловкая!» Больше всего ей хочется сейчас танцевать, в каждом суставе звенит музыка.

Поспешно отойдя в глубину комнаты, она шагает навстречу зеркалу, и оно улыбается ее глазами; собственное отражение со всех сторон испытывает, искушает ее, льстит ей, и чувство восхищения собой никак не насытится этим новым

обольстительным «я» в красивом одеянии, юным, преображенным, которое с неизменной улыбкой выходит ей навстречу из зеркальной глубины. Ей очень хочется обнять это существо, новую себя; Кристина прижимается лбом к стеклу, зрачки в зрачки — живые в отраженные, вот-вот горячие губы коснутся в поцелуе холодного стекла, и ее «сестра» расплывается в затуманившемся от дыхания зеркале. Продолжая чудесную игру в открытия, она делает новые движения, принимает новые позы, чтобы увидеть себя в новых преображениях.

Тут снизу доносится третий удар гонга. Кристина вздрагивает: Господи, ведь я заставляю тетью ждать, она уже наверняка сердится. Быстренько пальто — вечернее, легкое, пестрое, опущенное дорогим мехом. Затем, прежде чем выключить свет, жадный прощальный взгляд в щедрое зеркало — последний, самый последний. Снова сияют отраженные глаза, снова полно блаженства отраженное лицо! «Отлично, отлично», — улыбается ей зеркало. Чуть ли не бегом она устремляется по коридору к номеру тети, шелковое платье приятно обвеивает ее прохладой. Она летит, как на волне, словно подхваченная счастливым ветром; с детских лет она не ощущала себя такой легкой, такой окрыленной: хмель преображения начал действовать.

— Превосходно, сидит как влитое, — говорит тетя. — Да, что значит молодость, колдовства почти не требуется! Когда платье должно скрывать, вместо того чтобы показывать, только тогда портному приходится трудно. Нет, кроме шуток: сидит как влитое, тебя прямо не узнать, вот сейчас и видно, какая у тебя хорошая фигура. Только постарайся держать голову выше, легче, а то ты всегда — уж не обижайся на меня — ходишь как-то неуверенно, согнувшись, жмешься, словно кошка под дождем. Тебе надо учиться ходить по-американски: легко, свободно, лбом вперед, как корабль против ветра. Господи, мне бы твои годы!

Кристина покраснела. Значит, она в самом деле не выглядит смешно, не похожа на деревенщину.

Тетя продолжает осмотр, ее придирчивый взгляд одобрительно скользит по всей фигуре.

— Замечательно! Только вот сюда, на шею, надо какое-нибудь украшение. — Она порылась в шкатулке. На, надень этот жемчуг! Да не бойся, глупышка, он не настоящий. Настоящий остался там, в сейфе... зачем его брать в Европу для ваших карманников.

Знобко и чуждо жемчужины скользнули по обнаженной шее. Тетя отступает на шаг и, окинув взглядом «модель», заключает:

— Великолепно. Тебе идет все. Наряжать тебя должно быть для мужчины сплошным удовольствием. Ладно, пошли! Заставлять Энтони ждать больше нельзя. Ну и разинет он рот!

Они вместе спускаются по лестнице. У Кристины странное ощущение: ей кажется, что в новом платье она выглядит обнаженной, и что она не идет, а парит — так ей легко, и что ступеньки будто сами, одна за другой, быстро всплывают ей навстречу. На второй лестничной площадке они сталкиваются с пожилым господином в смокинге, его гладкие седые волосы разделены кинжальным пробором. Почтительно поздоровавшись, он останавливается, чтобы пропустить дам, и во время этой мимолетной встречи Кристина чувствует на себе какой-то необычный взгляд, в котором и мужское восхищение, и чуть ли не благоговение. Ее щеки запылали: впервые в жизни с ней здороваются знатный человек, да еще с таким уважением и признанием ее достоинства.

— Генерал Элкинс, ты, наверное, слышала это имя в войну, председатель Географического общества в Лондоне, — поясняет тетя. — Знаменитый человек, в мирное время путешествовал по Тибету, сделал там большие открытия, я познакомлю тебя с ним, это высший свет, принят при дворе.

Кристина радостно вспыхивает. Такой благородный человек, объездивший полмира, и сразу увидел в ней не безбилетную зрительницу, переодевшуюся знатной дамой и достойную презрения, нет, он поклонился ей как аристократке, как

женщине своего круга. Только теперь она почувствовала себя равноправной.

И тут же новое подтверждение. Не успевают они подойти к столу, как дядя с изумлением восклицает:

— О, вот это сюрприз. Нет, это же надо, как ты принарядилась! Чертовски здорово, о, пардон, я хотел сказать: ты замечательно выглядишь.

Снова Кристину пронизывает теплая дрожь, и она, покраснев от удовольствия, пробует отшутиться:

— Дядя, ты, я вижу, собираешься одарить меня и комплиментами?

— Еще как! — смеется тот и неожиданно для самого себя приосанивается. Сморщенная на груди рубашка расправляется, дядюшкиной флегматичности как не бывало, его глазки с красноватыми веками, утонувшие в жирных щеках, загораются любопытством, в них даже чуть ли не мелькают искорки желания. Он испытывает явное удовольствие при виде внезапно похорошевшей девушки и становится необычно оживленным и разговорчивым, рассыпаясь в восторженных комплиментах ее внешности и показывая себя знатоком предмета, он проявляет несколько повышенный интерес к деталям, так что тетя вынуждена прервать его.

— Не кружи девчонке голову, — смеется она, — молодые сделают это лучше тебя и тактичнее.

Тем временем приблизились официанты; словно причетники у алтаря, они почтительно стоят возле стола в ожидании знака. «Странно, почему я их так боялась днем, — думает Кристина, — это же скромные, вежливые и удивительно тихие люди, которым, кажется, только и надо, чтобы их совсем не замечали». Теперь она ест не стесняясь, робость пропала, после долгой дороги голод дает о себе знать. Немыслимо вкусны маленькие пирожки с трюфелями, и жаркое, окруженное грядками овощей, и пенистый мусс, и нежное желе, которые всякий раз заботливо подают ей на тарелку серебряной ложечкой; ей не надо ни о чем беспокоиться, ни о чем думать, и, собственно, она уже ничему не удивляется.

Здесь вообще все удивительно, и самое удивительное, что она вправе здесь находиться, здесь, в этом сверкающем зале, где полно народу и все же нет шума, где такие нарядные и, наверное, очень знатные люди, она, которая... нет, нет, не думать об этом, не думать, забыть, пока она здесь... Но больше всего ей по вкусу вино. Должно быть, его делают из золотистых, благословенных южным солнцем ягод в дальних, счастливых и добрых странах; янтарем светится оно в тонком хрустальном бокале и каким нежным, прохладно-скользящим шариком должно перекатываться во рту? В раздумье Кристина сначала отваживается на робкий глоток, но дядя, воодушевленный радостным видом племянницы, провозглашает новые и новые приветственные тосты, и она, поддавшись соблазну, осушает бокал за бокалом.

И независимо от ее воли и сознания язычок ее начал болтать. Тут же, словно пеннистая струя шампанского из откупоренной бутылки, брызнул легкий, игривый смех; она сама поражена, как беззаботно и весело то заливается смехом, то болтает, в ней будто разжались тиски страха, сжимавшие сердце. Да и к чему здесь страх? Ведь они такие добрые, тетя с дядей, и эти нарядные, элегантные люди вокруг все такие учтивые, хорошие, какой чудесный мир, как прекрасна жизнь.

Дядя с бодрым видом привольно восседает напротив; развеселившаяся племянница чертовски забавляет его... Эх, вернуть бы молодые годы, мечтает он, и обнять такую вот задорную бесовку, да покрепче. Он чувствует себя в приподнятом настроении, освеженным, воодушевленным, чуть ли не удалым молодцом; обыкновенно флегматичный и ворчливый, он, тряхнув стариной, вспоминает всевозможные шутки и смешные истории, порой даже пикантные; ему инстинктивно хочется разжечь огонь, возле которого так приятно погреть старые кости. Он, как кот, урчит от удовольствия, в пиджаке жарко, лицо подозрительно покраснелось, он вдруг сделался похожим на Бобового короля на картине Йорданса, с пунцовыми от наслаждения и вина щеками. Снова и снова он пьет за племянницу и уже собирается заказать шампанское, но тут

смеющийся страж, тетя, останавливает его руку и напоминает о предписании врача.

Тем временем в соседнем зале поднялся ритмичный шум: зазвенела, загудела, забарабанила и заквакала, словно взбесившиеся органные мехи, танцевальная музыка. Мистер Энтони, положив свой бразильский «початок» в пепельницу, подмигивает:

— Ну? По глазам вижу — плясать хочется.

— Только с тобой, дядя! — задорно отвечает плутовка (Господи, уж не захмелела ли я?). И опять хохочет; в горле у нее застряла какая-то смешинка, которая при каждом слове побуждает заливаться веселой звонкой трелью.

— Не зарекайся! — ворчит дядя. — Здесь есть чертовски крепкие ребята, такие, что трое, вместе взятые, моложе меня и танцуют в семь раз лучше, чем я, старая перечница. Ну ладно, на твою ответственность: если не робеешь, давай пошли.

Со старомодной галантностью он предлагает ей руку, Кристина берет кавалера под локоть и, хохоча, болтая, изгибаясь от смеха, шествует рядом; за ними, подтрунивая, следует тетя, музыка гремит, зал полон света и красок, люди вокруг смотрят приветливо, с любопытством, официанты поспешно отодвигают какой-то столик, все здесь мило, весело, радушно, и не надо особой милости, чтобы кинуться в пестрый водоворот.

Дядя Энтони в самом деле не мастер танцевать, под жилетом при каждом шаге колышется солидное брюшко, и ведет партнершу седовласый дородный господин нерешительно и неуклюже. Вместо него зато ведет музыка — дробная, с резкими синкопами, зажигательная, вихревая, сатанинская музыка. Каждый удар тарелок пробирает до костей, но зато как чудесно размягчают суставы тут же вступающие скрипки; у четко отбиваемого ритма мертвая хватка, он встряхивает, разминает, топчет и поработает.

Чертовски хорошо играют они, да и сами напоминают босов, эти смуглые аргентинцы в коричневых с золотыми пуго-

вицами курточках — ливрейные бесы, посаженные на цепь, и все вместе, и каждый: вот тот, худой, сверкающий очками, так усердно клохчет, икает и булькает на своем саксофоне, будто хочет насосаться из него допьяна, а курчавый толстяк левее, пожалуй, еще фанатичнее рубит, словно наобум, по клавишам с хорошо отрепетированным восторгом, в то время как его сосед, оскалив рот до ушей, с непостижимой свирепостью избивает литавру, тарелки и что-то еще. Они, как ужаленные, беспрестанно ерзают и дергаются на табуретках, будто их трясет электрическим током, с обезьяньими ужимками и нарочитой яростью они истязают свои инструменты.

Однако адская громыхальня работает, как точнейшая машина ; это утрированное подражание неграм, жесты, ухмылки, визги, хватки, хлесткие выкрики и шутки — все до мельчайших деталей разучено по нотам и отрепетировано перед зеркалом, наигранная ярость исполнена безупречно. Кажется, длинноногие, узкобедрые, бледно-напудренные женщины тоже понимают это, так как их явно не возбуждает и не захватывает эта притворная пылкость, повторяющаяся ежевечерне. С накрепко приклеенной улыбкой и беспокойными красными коготками, они непринужденно чувствуют себя в руках партнеров; равнодушно глядя прямо перед собой, они, кажется, думают о чем-то ином, а возможно, и ни о чем. И лишь она одна, посторонняя, новенькая, изумленная, вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать своего возбуждения, гасить свой взгляд, ибо кровь все больше и больше волнуется от коварно щекочущей, дерзко захватывающей, цинично страстной музыки. И когда взвинченный ритм резко обрывается, сменившись оглушительной тишиной, Кристина облегченно вздыхает, словно избежала опасности.

Дядя тяжело отдувается, наконец-то можно вытереть пот со лба и отдышаться. Гордый собой, он торжественно ведет Кристину обратно к столику, где их ждет сюрприз: тетя заказала для обоих охлажденный на льду шербет. Еще минуту назад у Кристины мелькнула мысль — не желание, а только мысль: хорошо бы сейчас глотнуть чего-нибудь холодного,



смочить горло и остудить кровь, и вот она не успела даже попросить об этом, как им уже подали запотевшие серебряные чашки; сказочный мир, где любое желание исполняется прежде, чем его выскажешь; ну как тут не быть счастливой!

Она с наслаждением всасывает жгуче-холодный, нежно-пряный шербет, словно впитывает в себя через тонкую соломинку все соки и всю сладость жизни. Сердце ее бьется радостными толчками, руки жаждут кого-нибудь приласкать, глаза невольно блуждают вокруг, стремясь поделиться хоть частичкой горячей благодарности, переполняющей душу. Тут ее взгляд падает на дядю; добрый старик сидит, откинувшись, на мягком стуле, он все еще не пришел в себя, никак не отдышится, то и дело вытирает платком бисеринки пота. Он так отчаянно старался доставить ей радость, старался, пожалуй, свыше своих сил; Кристина признательно и ласково — она просто не может иначе — поглаживает его тяжелую, твердую, морщинистую руку, лежащую на спинке стула.

Дядя сразу же улыбается и опять принимает бодрый вид. Ему понятно, что означает этот порывистый жест молодого, робкого, только начавшего пробуждаться существа; с отеческим добродушием он испытывает удовольствие, видя ее благодарный взгляд. Но все-таки несправедливо не поблагодарить также и тетю, а не его одного, ведь именно тете, ее ласковому покровительству, Кристина обязана всем: и тем, что она здесь, и шикарными нарядами, и блаженным чувством уверенности в этой роскошной дурманящей среде. И Кристина, взяв за руки обоих, сияющими глазами смотрит в сверкающий зал, как ребенок у рождественской елки.

Но вот снова звучит музыка, теперь она глуше, нежнее, мягче, словно тянется шлейф из черного блестящего шелка, — танго. Дядя делает беспомощное лицо, он вынужден извиниться, но его шестидесятилетние ноги не выдержат этого извивающегося танца.

— Ну что вы, дядя, мне в тысячу раз приятнее посидеть с вами, — говорит она совершенно искренне, продолжая ласково держать руки обоих.

Ей так хорошо в этом тесном кругу родных сердец, под защитой которых она чувствует себя в полной безопасности. Но тут она замечает, что, затенив стол, ей кто-то кланяется: высокий, широкоплечий блондин, гладко выбритое, загорелое, мужественное лицо над белоснежной кольчугой смокинга. Щелкнув на прусский манер каблуками, он учтиво обращается на чистейшем северогерманском к тете за позволением.

— Охотно разрешаю, — улыбается тетя, — гордая столь быстрым успехом своей протее.

Смутившись, Кристина с легкой дрожью в коленях поднимается. То, что из множества красивых нарядных женщин этот элегантный незнакомец выбрал ее, застало ее врасплох, словно внезапный удар молоточка по сердцу. Она глубоко вздыхает и кладет дрожащую руку на плечо знатного господина. С первого же шага она чувствует, как легко и вместе с тем властно ведет ее этот безупречный партнер. Надо лишь податливо уступать едва ощутимому нажиму, и ее тело гибко вторит его движениям, надо лишь послушно отдаваться знойному, манящему ритму, и нога сама, словно по волшебству, делает правильный шаг. Так она никогда не танцевала, и ей самой удивительно, как это у нее легко получается. Будто ее тело вдруг сделалось каким-то другим под этим другим платьем, будто она научилась этим льнущим движениям в каком-то забытом сне — с такой совершенной легкостью подчиняется она чужой воле.

Упоительная уверенность внезапно овладевает ею; голова запрокинута, словно опирается на невидимую подушку, глаза полузакрыты, груди нежно колышутся под шелком; полностью отрешенная, не принадлежащая более самой себе, Кристина с изумлением чувствует, будто у нее появились крылья и она порхает по залу. Время от времени, когда она, отвлекшись от этого ощущения невесомости и как бы вынырнув из подхватившей ее волны, поднимает взгляд к близкому чужому лицу, ей кажется, что в его суровых зрачках мелькает довольная одобрительная улыбка, и тогда ее пальцы еще доверчивеежимают чужую руку. Где-то в глубине ее существа зашевелилась смутная, почти сладострастная тревога: что,

если этот незнакомец с высокомерным, жестким лицом внезапно рванет ее к себе и заключит в объятия, будет ли она в силах оказать сопротивление? А может, уступит и прильнет покорно, как вот сейчас — в танце? И независимо от ее воли это полусознательное сладостное ощущение расслабляюще растекается по рукам и ногам. Кое-кто из сидящих вокруг уже обращает внимание на эту идеальную пару, и Кристину снова охватывает восторженное чувство — ведь на нее устремлены восхищенные взгляды. Все увереннее и гибче танцует она, чутко внимая воле партнера. Их дыхание и движения сливаются воедино, она впервые испытывает чисто физическое удовольствие оттого, что так ловко владеет своим телом.

После танца партнер — он представился инженером из Гладбаха — учтиво провожает ее к столику. Едва он отпускает ее руку, тепло недолгого прикосновения улетучивается, и Кристина почему-то сразу чувствует себя слабее и неувереннее, словно разомкнувшийся контакт отключил приток новой силы, наполнявшей ее до этого. Так и не разобравшись в своих ощущениях, она садится и смотрит на радостного дядю с чуть усталой, но счастливой улыбкой; в первые мгновения она даже не замечает, что за столиком появился третий человек: генерал Элкинс. Вот он встает и почтительно кланяется ей. Он, собственно, пришел, чтобы просить тетю представить его этой charming girl\*.

Генерал стоит перед ней подтянутый, серьезный, склонив голову, словно перед знатной дамой, — Кристина, оробев, пытается овладеть собой. Господи, ну о чем говорить с таким жутко важным и знаменитым человеком, чье фото, как рассказывала тетя, было во всех газетах и которого даже показывали в кино? Однако генерал Элкинс сам выручает ее, извиняясь за свое слабое знание немецкого языка. Правда, он учился в Гейдельберге, но, как ему ни грустно признаться в подобных цифрах, это было более сорока лет назад, и пусть уж такая замечательная танцовка проявит к нему снисхождение,

---

\* Очаровательной девушке (англ.).

если он позволит себе пригласить ее на следующий танец, — в бедре у него торчит осколок снаряда, еще с Ипра, — но, в конце концов, в этом мире можно ладить, только будучи снисходительным.

От смущения Кристина утратила дар речи, лишь через некоторое время, когда начала медленно и осторожно танцевать, она сама удивилась тому, как непринужденно вдруг завязала разговор. Что это со мной, взволнованно думает она, я это или не я? Почему вдруг все получается так легко, свободно, а раньше — еще учитель танцев говорил — была неуклюжая, точно деревянная, но теперь же, скорее, я его веду, чем он меня. Да и разговор идет сам собой, может, я не такая уж дура, ведь как любезно он меня слушает, а человек-то знаменитый. Неужели я так переменялась оттого, что на мне другое платье, что здесь другая обстановка, или все это уже во мне сидело, только я вела себя чересчур боязливо, робко? Мать всегда мне об этом говорила. А может, ничуть и не трудно быть такой, может, и жизнь гораздо легче, чем я думала, надо лишь набраться смелости, ощущать только себя, и ничего другого, тогда и силы придут, словно с неба.

После танца генерал Элкинс степенным шагом прохаживается с ней по залу. Кристина гордо шествует, опираясь на его руку, уверенно глядя перед собой и ощущая, что и осанка у нее становится величественной, и сама она делается моложе и красивее. Кристина откровенно признается генералу, что она здесь впервые и совсем еще не видела Энгадина, Малои, Зильс-Марии; кажется, это признание не разочаровывает генерала, а скорее радует: не согласится ли она в таком случае поехать с ним завтра утром в Малою — на его автомобиле.

— О, с удовольствием! — выдыхает она, оробев от неожиданного счастья и внимания, и благодарно, чуть ли не по-приятельски — откуда вдруг взялась смелость? — пожимает знатному господину руку. Кристина чувствует, что больше и больше осваивается в этом зале, который еще утром казался ей таким враждебным, все просто наперебой стараются доставить ей радость; она также замечает, что временно собравши-

еся здесь люди ведут себя как на дружеской встрече, полной взаимного доверия, чего она не видела там, в своем узком мирке, где каждый завидует маслу на чужом куске хлеба или кольцу на руке. С восторгом она сообщает дяде и тете о любезном приглашении генерала, однако на разговоры ей времени не дают.

Через весь зал к ней спешит тот инженер-немец и снова зовет танцевать; он знакомит ее затем с каким-то врачом-французом, дядя — со своим приятелем-американцем, ей представляют еще нескольких лиц, фамилий которых она от волнения не разобрала: за десять лет она не видела вокруг себя столько элегантных, вежливых, доброжелательных людей, сколько за эти два часа. Ее зовут танцевать, предлагают сигареты и ликер, приглашают на вылазки в горы и поездки по окрестностям, каждому, видимо, не терпится познакомиться с ней, и каждый очаровывает ее своей любезностью, которая здесь, судя по всему, сама собой разумеется.

— Ты произвела фурор, детка, — шепчет ей тетя, гордясь суматохой, которую вызвала ее протезе, и лишь с трудом подавленный зевок дяди напоминает обеим, что пожилой человек уже утомился. Он, правда, бодрится, отрицая явные признаки усталости, но в конце концов уступает.

— Да, нам лучше, пожалуй, как следует отдохнуть. Не все сразу, понемножку. Завтра тоже будет день, и we will make a good job of it\*. Кристина оглядывает напоследок волшебный зал, освещенный канделябрами со свечеобразными лампами, дрожащий от музыки и движений; она чувствует себя обновленной, как после купания, и каждая жилка в ней радостно пульсирует. Она берет усталого дядю под локоть и вдруг, повинуясь неожиданному порыву, наклоняется и целует морщинистую руку.

И вот она у себя в комнате, одна, взбудораженная, смущенная и сбита с толку внезапно обступившей ее тишиной: сейчас только она ощутила, как горит кожа под платьем. Закры-

---

\* Мы придумаем что-нибудь приятное (англ.).

тое помещение слишком тесно для нее, разгоряченной и взбодраженной. Толчок, дверь на балкон распахивается, и хлынувшая волна снежной прохлады остужает обнаженные плечи. Дыхание успокаивается, становится ровным. Кристина выходит на балкон и блаженно замирает, теплый живой комочек перед невероятной пустотой простора, брэнное сердце, маленькое, затерянное, бьется под гигантским ночным небосводом. Здесь тоже тишина, но неизмеримо более могучая, первозданная, нежели та, что в рукотворных четырех стенах, она не подавляет, а несет покой и умиротворение.

Еще недавно алевшие горы безмолвно скрываются в собственной тени, будто притаившиеся огромные черные кошки с фосфоресцирующими снежными глазами, и совершенно недвижим воздух в опаловом свете почти полной луны. Смятой желтой жемчужиной плывет она посреди алмазной россыпи звезд, в ее бледном холодном свете лишь смутно проступают под вуалью облаков очертания долины.

Никогда еще Кристина не видела ничего столь могущественного, исподволь захватывающего до глубины души, как этот замерший в безмолвии пейзаж; все ее возбуждение незаметно уходит в эту бездонную тишину, и Кристина страстно вслушивается, вслушивается и вслушивается в нее, чтобы полностью в ней раствориться. Как вдруг, словно откуда-то из вселенной, в застывший воздух влетает бронзовый метеор — внизу в долине раздается гулкий удар церковных часов, а скалистые кручи слева и справа, очнувшись, бросают звенящий мяч обратно.

Кристина испуганно вздрагивает. Еще раз по туманному морю прокатывается бронзовый звон, еще и еще. Затаив дыхание, она считает удары: девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Полночь! Неужели? Только полночь? Стало быть, всего двенадцать часов, как она сюда приехала, робкая, смущенная, растерянная, жалкое и убогое существо, неужели только один день, да нет — полдня? И вот сейчас, после всего, что ее изумило и потрясло, она впервые задумывается о том, из какой же непостижимо тонкой и гибкой материи соткана

наша душа, если уже одно-единственное переживание может расширить ее до бесконечности и она способна объять в своем крохотном пространстве целое мироздание.

Даже сон в этом новом мире какой-то другой — непробудный, одуряющий, как наркоз, не сон, а полное забытие. Утром Кристина долго не может очнуться, никогда еще ее сознание не погружалось в такие недра забытия, и она вытаскивает его оттуда медленно, с трудом, частицу за частицей. Прежде всего — неясное чувство времени. Сквозь закрытые веки брезжит свет: значит, в комнате светло, уже день. И мгновенно за неясное ощущение времени цепляется страх (он не покидает ее и во сне): только бы не проспать! Только бы не опоздать на работу! В подсознании автоматически разматывается ставшая привычной за десять лет цепочка мыслей: сейчас затрещит будильник... только бы опять не заснуть... надо вставать, вставать, вставать... быстро, к восьми на работу, надо еще затопить плитку, сварить кофе, сходить за молоком, за булочками, прибраться, сменить матери повязку, что-то приготовить на обед, что еще?.. Что-то еще надо сегодня сделать?.. Да, заплатить лавочнице, она вчера напоминала... Только бы не заснуть, сразу встать, как зазвенит... Но что же он сегодня... почему так долго молчит?.. может, испортился, или забыла завести... почему не трезвонит, ведь уже светло... Господи, неужели проспала, сколько же сейчас: семь, восемь или девять?.. Может, люди уже собрались у почты и ругаются, как в тот раз, когда мне нездоровилось, хотели в дирекцию жаловаться... а ведь теперь столько служащих сокращают...

Не дай Бог проспать... Въевшийся за многие годы страх опоздать на службу, словно крот, подрывает подземелье сознания и так мучительно терзает его, что последняя тонкая оболочка сна рвется, и Кристина открывает глаза.

Ее взгляд испуганно блуждает по потолку: где, где это я?.. Что... что случилось со мной?.. Вместо привычной, закоптелой, паутинно-серой мансардной крыши с коричневыми балками над ней белоснежный потолок, мягко обрамленный золоченым багетом. И откуда вдруг столько света в комнате?

Будто за ночь прорубили еще одно окно. Где я? Где? Кристина переводит растерянный взгляд на свои руки. Но они лежат не как обычно, на старом, заштопанном коричневом одеяле из верблюжьей шерсти, одеяло вдруг тоже стало новым — легким, пушистым, синим, с вышитыми красноватыми цветами. Нет — первое движение: это не моя кровать! Нет — второе движение, Кристина приподнялась: это не моя комната, и — третье, резкое движение, полностью осмысленный взгляд, и она вспомнила все: отпуск, свобода, Швейцария, тетя, дядя, роскошный отель! Ни страха, ни обязанностей, ни службы, ни будильника, ни времени! Никакой плиты, никого не надо бояться, никто не ждет, никто не торопит: жестокие жернова, которые десять лет перемалывают ее жизнь, впервые остановились. Здесь можно (какая чудесная, мягкая, теплая постель!) еще полежать, не спеша на встречу с дневным светом, ожидающим за складчатыми гардинами, наслаждаясь покоем души и тела.

Можно беззаботно снова закрыть глаза, помечтать, лениво потянуться, принадлежать по праву самой себе. Можно даже (она вспомнила, что говорила тетя) нажать на эту вот кнопку у изголовья, под которой изображен крохотный, будто на почтовой марке, официант; надо всего лишь протянуть руку, и — о чудо! — через две минуты в номер войдет официант, катя перед собой забавную коляску на резиновых колесиках (Кристина любовалась такой же у тети), и предложит — на выбор — кофе, чай или шоколад в красивой посуде и с белыми камчатными салфетками. Завтрак появляется сам по себе, не надо молоть кофейные зерна, разжигать огонь в плите, ежась от холода в шлепанцах на босу ногу, нет, все доставляется готовым — с белыми булочками, золотистым медом и другими яствами вроде вчерашних, все, как на сказочной скатерти-самобранке, подано к постели, не надо никаких хлопот и стараний.

Или можно нажать на другую кнопку, где на латунной табличке изображена горничная в белой наколке; тихо постукав, она впорхнет в комнату, в черном платье и ослепительном



переднике, и спросит, что угодно сударыне: открыть ли ставни, отдернуть или задернуть гардины, приготовить ли ванну? Сто тысяч желаний можно иметь в этом волшебном мире, и все они будут исполнены в мгновение ока.

Здесь все можно захотеть и сделать, но тем не менее хотеть и делать отнюдь не обязательно. Можно позвонить или не позвонить, можно встать или не встать, можно снова заснуть или просто лежать с открытыми глазами, отдавшись потоку ленивых, добрых мыслей. Или можно вообще не думать, просто блаженствовать, ощущая, что время принадлежит тебе, а не ты — времени. Ты не крутишься в мчащемся колесе часов и секунд, а скользишь вдоль времени, как в лодке по течению, убрав весла. И Кристина лежит, мечтая и наслаждаясь новым ощущением, и в ушах у нее приятный шум, будто далекий звон воскресных колоколов.

Нет — она энергично поднимается с подушек, — предаваться мечтам здесь некогда! Нельзя расточать это бесподобное время, где каждое мгновение одаряет тебя неожиданным удовольствием. Мечтать можно будет потом, дома, месяцы и годы ночи напролет на дряхлой, скрипучей деревянной кровати с жестким матрасом и за испачканным чернилами казенным столом, вечно тикают стенные часы, словно по комнате педантично вышагивает постовой: там лучше греть, чем бодрствовать; спать здесь, в этом божественном мире, — расточительство.

Последнее усилие — и Кристина соскакивает с постели; пригоршня холодной воды на лоб, на шею — и она сразу взбодрилась; теперь быстро одеться — ах, какое же мягкое это белье, как оно шелестит. Ее кожа со вчерашнего дня уже забыла это новое ощущение, и вот она опять наслаждается ласкающим прикосновением нежной материи. Но не стоит долго задерживаться из-за этих маленьких радостей, хватит медлить, быстрее, быстрее, прочь из комнаты, куда-нибудь, чтобы вволю размяться, надышаться, насмотреться, всем существом, всеми порами, каждой клеточкой еще сильнее почувствовать, как ты счастлива, свободна, что это жизнь, на-

стоящая жизнь! Она торопливо натягивает свитер, нахлобучивает шапку и опротясь сбегает по лестнице.

Коридоры отеля еще сумеречны и пустынно в этот холодный утренний час, лишь внизу, в холле, служители, сняв куртки, чистят пылесосами ковровые дорожки; ночной портье сначала угрюмо и с удивлением оглядывает слишком раннюю гостью, потом сонным жестом приподнимает фуражку. Бедняга, значит, и тут нелегкая служба, канительная работа за гроши, и тут надо вставать и приходить вовремя!.. Ах, незачем об этом думать, какое мне дело, ни о ком сейчас не хочу знать, хочу быть только наедине с собой, вперед, на воздух! По ее векам, губам и щекам словно кто-то провел ледышкой, прогнав остатки сна. Черт возьми, ну и холодина здесь в горах, до костей пробирает, поживее надо шагать, разогреться, прямо по дороге, куда-нибудь она приведет, все равно куда, ведь здесь все ново и чудесно.

Стремительно шагая, Кристина только теперь замечает неожиданное утреннее безлюдье. Толпа, наводнявшая вчера в полдень все дорожки, сейчас, в шесть утра, кажется, еще упакована в огромных каменных коробках отелей, даже ландшафт, смежив веки, скован каким-то хмурым магнетическим сном. В воздухе ни звука, угадана такая золотистая вчера луна, исчезли звезды, померкли краски, окутанные туманом скалистые кручи бледны и тусклы, как холодный металл. Только у самых вершин встревоженно толпятся густые облака; какая-то невидимая сила то растягивает их, то теребит, порой от плотной массы отделяется белое облако и большим комком ваты всплывает в прозрачную высь. И чем выше оно поднимается, тем сочнее окрашивает загадочный свет его зыбкие контуры, выделяя золотую кромку: приближается солнце, оно уже где-то за вершинами, его еще не видно, но в беспокойном дыхании атмосферы уже ощущается его живительное тепло.

Итак, наверх, ему навстречу. Может, прямо вот по этой извилистой дорожке, посыпанной гравием, как в саду, подъем здесь, кажется, нетрудный; и в самом деле, идти можно, ша-

гается легко; не привыкшая к такой ходьбе Кристина с радостным изумлением ощущает, как послушно пружинят ноги в коленях, как дорожка с плавными поворотами и легчайший воздух словно сами несут ее в гору. До чего же быстро от такого штурма разогреваешься. Она срывает с себя перчатки, свитер, шапку: хочется не только губами и легкими, но и кожей впитывать обжигающую свежесть. Чем быстрее она идет, тем увереннее и свободнее становится шаг.

Однако не пора ли передохнуть — сердце гулко колотится в груди, в висках стучит, — и, остановившись, она секундную с восторгом смотрит вниз: леса стряхивают туман со своих прядей, дороги белыми лентами рассекают пышную зелень, блестит кривая, как турецкая сабля, река, а напротив, меж зубцами вершин, наконец-то внезапно прорвался золотой поток утреннего солнца. Великолепно! Кристина в восторге от зрелища, но азарт восхождения, охвативший ее, не терпит перерыва; вперед! — иступленно подгоняет барабан в груди, вперед! — требуют набравшие темп мышцы, и, опьяненная порывом, она карабкается все дальше и дальше, не зная, сколько времени уже прошло, как высоко забралась, куда ведет тропа.

Наконец, примерно через час, добравшись до смотровой площадки, где выступ горы закругляется наподобие ramпы, она валится навзничь на траву: хватит! Хватит на сегодня. У нее кружится голова, подергиваются и пульсируют веки, жгуче саднит обветренная кожа, но странно: несмотря на все эти болезненные ощущения, несмотря на суматошную встряску, ей хорошо, она испытывает какое-то новое, неведомое удовольствие, как никогда, чувствует себя юной и полной жизни. Она даже не подозревала, что сердце может с такой силой проталкивать кровь по жилам, которые податливо пропускают ее буйно-веселый поток, никогда еще не ощущала так остро легкость и упругость своего тела, как именно в эти минуты, когда им овладела безмерно сладостная хмельная усталость.

Открытая горячему солнцу и порывам чистого горного ветра, освещающего ее со всех сторон, погрузив пальцы в студено-душистый альпийский мох, Кристина то созерцает облака

в невообразимой лазури, то скользит взглядом по развертывающейся внизу панораме; она лежит словно оглушенная, грезя и бодрствуя одновременно и наслаждаясь необычайным приливом душевных сил и стихийной мощью природы. Она лежит так час или два, пока солнце не начинает обжигать ей губы и щеки. Поднявшись, она поспешно набирает букет из еще скованных холодом веточек и цветов — можжевельник, шалфей, полынь, — между листьями которых шуршат кристаллики льда, и устремляется вниз. Сначала она идет, соблюдая осторожность, размеренным туристским шагом, однако сила инерции при спуске понуждает ноги бежать вприпрыжку, и Кристина отдается этому сладостно-жуткому притяжению глубины. Все резвее, все шаловливее, все отважнее скачет она с камня на камень; будто подхваченная ветром, с развевающимися волосами и раздувающейся юбкой, веселая, уверенная в себе, готовая петь от избытка счастья, она вихрем летит вниз по серпантину.

Перед отелем в назначенный час — девять утра — молодой инженер-немец, одетый по-спортивно для утренней партии в теннис, ждет тренера. Сидеть на сырой скамейке еще холодно, ветер то и дело запускает свои острые ледяные когти под белую полотняную рубашку с открытым воротом; поэтому он энергично шагает взад и вперед, вертя ракеткой, чтобы разогреть руки. Черт возьми, где же тренер, неужели проспал? Инженер нетерпеливо поглядывает по сторонам. Случайно взглянув на горную дорожку, он замечает сверху нечто диковинное, нечто яркое, кружащееся, похожее издали на пестрого жучка, который странными прыжками несется вниз. Гм, что это? Жаль, нет бинокля. Но оно быстро приближается — яркое, пестрое, окрыленное. Сейчас разглядим.

Инженер приставляет ладонь козырьком ко лбу: вниз по горной дорожке кто-то летит сломя голову, кажется, женщина или молодая девушка; размахивает руками, волосы развеваются; поистине, ее будто ветром несет. Черт возьми, как неосторожно... бежать со всех ног по серпантину... сумасшед-

шая... да, все-таки здорово это у нее получается, лихо. Инженер невольно делает шаг-другой навстречу, чтобы получше увидеть бегунью. Девушка напоминает богиню утренней зари: развевающиеся волосы и взмахи рук, как у менады, вся смелость и порыв. Лицо еще нельзя рассмотреть — мешает скорость движения и восходящее солнце за спиной. Но ей все равно же не миновать теннисного корта, если она направляется в отель, здесь ее финиш. Она все ближе и ближе, он уже слышит, как разлетаются мелкие камешки из-под ног, слышит ее шаги на последнем повороте, а вот и она сама.

Вбежав на площадку, Кристина резко останавливается, чтобы не налететь на человека, который нарочно встал на пути. От внезапной остановки волосы упали на лицо, юбка облепила ноги. Испуганная, запыхавшаяся, она стоит перед ним почти вплотную. И вдруг разражается смехом. Она узнала своего вчерашнего партнера по танцам.

— Ах, это вы, — облегченно вздыхает она. — Извините, я чуть было вас не сшибла.

Он молчит, глядя с удовольствием, даже с восхищением на девушку с обветренными щеками, вздымающейся от частого дыхания грудью, еще распаленную головокружительным спуском с горы. Отдающий должное спорту, он любит этим воплощением молодости и энергии. Улыбнувшись, он наконец говорит:

— Здорово! Вот это темп. За вами не угонится ни один здешний проводник. Но... — он опять смотрит на нее, пристально, одобряюще, с улыбкой, — если б у меня была такая же юная и стройная шея, я бы постарался как можно дольше не ломать ее; вы обращаетесь с собой чертовски неосторожно! Вам повезло, что это видел я, а не ваша тетя. Но главное, такие экстравагантные утренние прогулки вы не должны совершать в одиночку. Если вам понадобится более или менее опытный провожатый, то нижеподписавшийся предлагает свои услуги.

Он снова пристально смотрит на нее, и она чувствует, что смущается под его неожиданным откровенно мужским взглядом. С таким страстным восхищением на нее не смотрел еще

ни один мужчина, этот взгляд проникает до глубины души, оставляя какое-то новое, радостное беспокойство. Чтобы скрыть смущение, она гордо показывает букет:

— Взгляните-ка на мою добычу! Нарвала совсем свежих, ну разве не чудо?

— Да, роскошные цветы, — отвечает он напряженным голосом и смотрит поверх букета ей в глаза.

Она все больше смущается от этого настойчивого, чуть ли не назойливого внимания.

— Простите, мне пора к завтраку, боюсь, я уже опоздала.

Поклонившись, инженер освобождает ей дорогу, но Кристина безошибочным женским инстинктом чувствует, что он смотрит ей вслед; ее тело невольно напрягается, шаг становится легким. Не только крепкий аромат горных цветов и пряный воздух будоражат кровь, но и заставшая ее врасплох встреча: она впервые осознала, что кому-то нравится, что она желанна.

И когда она, еще взволнованная, входит в гостиницу, воздух в холле кажется ей спертым, стены, потолок, одежда вдруг начинают давить на нее. В гардеробе она сбрасывает шапку, свитер, пояс — все, что стесняет, жмет ее, душит, она охотно сорвала бы сейчас с себя всю одежду. Сидящие за столиком пожилые супруги с изумлением взирают на свою племянницу, которая стремительно пересекает зал, щеки у нее пылают, ноздри трепещут, и вся она кажется более высокой, здоровой, ловкой, чем вчера. Она кладет перед тетей букет альпийской флоры, еще влажный от росы, усыпанный пестрыми блестками тающих ледяных кристалликов.

— Вот, нарвала для тебя, лазила на гору... не знаю, как она называется, сходила просто так... Ах, — Кристина глубоко вздыхает, — до чего же это чудесно.

Тетя любит ее.

— Ну, чертенок! Сразу из постели в горы, не позавтракав! Вот с кого пример надо брать, это получше всяких массажей. Энтони, ты только взгляни, ее просто не узнать. От одного

воздуха какие щеки стали. Да ты вся пылаешь, дитя мое! Ну говори же, говори, где ты побывала.

И Кристина рассказывает, даже не замечая, как быстро, как жадно и неприлично много она при этом ест. Масленка, блюдечки с медом и джемом опустошаются на глазах; дядя, показывая на хлебницу, подмигивает улыбающемуся кельнеру, чтобы тот добавил вкусных хрустящих булочек. Но Кристина, увлеченная рассказом, совершенно не замечает, что оба посмеиваются над ее аппетитом, она лишь чувствует, как приятно горят щеки. Расслабившись, беззаботно откинувшись на спинку плетеного кресла, она жует, болтает, смеется, добродушные лица внимательных слушателей вдохновляют ее все больше и больше, пока наконец она внезапно не обрывает свой рассказ, широко раскинув руки:

— Ах, тетя, мне кажется, там я впервые узнала, что значит дышать.

За бурным началом следуют и другие события, столь же увлекательные и радостные. В десять часов — она еще сидит за столиком, в хлебнице ни одной булочки, горный аппетит все подчистил — является генерал Элкинс в спортивном костюме строгого покроя и зовет ее на обещанную автопрогулку. Учтиво пропустив даму вперед, он сопровождает ее к своей машине — фешенебельная английская марка, сверкающий лак и никель; да и шофер под стать автомобилю — светлоглазый и тщательно выбритый, ну просто вылитый джентльмен. Генерал усаживает гостью, укутывает ее колени пледом, затем, еще раз почтительно сняв шляпу, занимает место рядом. От этих учтивых манер Кристина немного теряется, она чувствует себя обманщицей перед генералом с его подчеркнутой, почти смиренной вежливостью. Да кто же я, думает она, что со мной так обращаются? Господи, если бы он знал, где я обычно торчу, пришпиленная к старому казенному стулу, и где должна заниматься постылой одуряющей работой!

Но вот нажата педаль, и нарастающая скорость прогоняет всякие воспоминания. С ребяческой гордостью она замечает,

как на узких улицах курорта, где мотор еще вынужден сдерживать свою силу, прохожие любуются роскошной машиной, которая даже здесь выделяется своей маркой, как они почтительно и чуть завистливо поглядывают на нее, Кристину, полагая, что она владелица. Генерал Элкинс показывает ей окрестности и, будучи географом по образованию, невольно увлекается подробностями, как все специалисты, однако девушка слушает так прилежно, так внимательно, что это доставляет ему явное удовольствие. Его несколько холодное, по-английски замкнутое лицо постепенно теплеет, а чуть суровые складки у тонкогубого рта смягчаются доброй улыбкой, когда он слышит ее непринужденные «ах» или «прелесть» и наблюдает, как она вертится, бросая восхищенные взоры направо и налево. Время от времени он с легкой грустью поглядывает сбоку на это оживленное лицо, и его сдержанность отступает перед бурными восторгами юности.

Словно по ковру, мягко и бесшумно мчится, убыстряя ход, машина, ни единого хрипа, ни стука не слышится в ее металлической груди при малейшем напряжении на подъеме, гибко и послушно выписывает она самые лихие виражи; ускоренный темп замечаешь лишь по тому, как сильнее и сильнее свистит воздух, и к уверенному ощущению безопасности примешивается упоение скоростью. Все темнее становится долина, все суровее сдвигаются скалы. Наконец показывается просвет, и шофер тормозит.

— Перевал Малоя, — объявляет Элкинс и с неизменной учтивостью помогает ей выйти из машины.

Вид в глубине великолепен; причудливо петляя, дорога низвергается водопадом; чувствуется, горы здесь утомились, им не хватает сил громоздить новые вершины и ледники, и они устремляются вниз, в далекую необозримую долину.

— Там, на равнине, начинается Италия, — показывает Элкинс.

— Италия, — изумляется Кристина, — так близко, неужели так близко?



В ее голосе звучит столько жадного любопытства, что Элкинс невольно спрашивает:

— А вы там не были?

— Нет, никогда!

И это «никогда» сказано с таким жаром и горечью, что в нем слышна вся затаенная тоска о несбыточном: я никогда, никогда ее не увижу. Она тут же спохватывается, что голосом выдала себя, что ее спутник может догадаться о ее сокровенных мыслях, о том, что она бедна, и неловко пытается перевести разговор, смущенно спросив:

— Вы, конечно, знаете Италию, генерал?

— Где меня только не носило. — Он серьезно, чуть грустно улыбается. — Я трижды объехал вокруг света, не забывайте, я — старый человек.

— Ну что вы! — испуганно протестует она. — Как вы можете говорить такое!

Испуг ее до того неподделен, протест до того искренен, что у шестидесятивосьмилетнего генерала неожиданно теплеют щеки. Такой пылкой, такой увлеченной он, вероятно, в другой раз ее не увидит и не услышит. Его голос невольно смягчается:

— У вас молодые глаза, мисс ван Боулен, поэтому вам все видится моложе, чем оно есть на самом деле. Возможно, вы правы. Надеюсь, я действительно еще не так стар и сед, как мои волосы. Чего бы я ни отдал, чтобы еще раз увидеть Италию впервые.

Он снова смотрит на спутницу, в его взгляде вдруг проступает какая-то покорная робость, которую пожилые мужчины нередко испытывают перед молодыми девушками, как бы прося снисхождения за то, что сами уже не молоды. Кристина необычайно тронута этим взглядом. Она вдруг вспоминает своего отца, старого, согбенного, вспоминает, как любила иногда ласково погладить его седые волосы и как он, подняв голову, смотрел на нее добрыми благодарными глазами.

На обратном пути лорд Элкинс говорит мало, выглядит задумчивым и немного взволнованным. Когда они подъезжают к

отелю, он с неожиданной для него живостью выскакивает из машины, чтобы опередить шофера и помочь выйти спутнице.

— Я очень признателен вам за чудесную прогулку, — говорит он, прежде чем она успевает открыть рот и поблагодарить его, — уже давно не получал такого удовольствия.

За столом Кристина с восторгом рассказывает тете, каким генерал Элкинс был добрым и любезным. Та участливо кивает:

— Хорошо, что ты его немножко рассеяла, он в жизни перенес много горя, жена у него умерла еще в молодости, когда он был с экспедицией в Тибете. Четыре месяца он продолжал писать ей каждый день, так как весть о смерти еще не дошла к нему, и когда вернулся, то нашел кипу своих писем, нераспечатанных. А его единственный сын погиб, немцы сбили его самолет под Суассоном, причем в тот же день, когда самого генерала ранило. Теперь он живет один в своем огромном замке возле Ноттингема. Понятно, что он почти непрерывно путешествует, стремится убежать от воспоминаний. Только не вздумай заговорить с ним о его семье — сразу прослезится.

Кристина с волнением слушает. Ей и в голову не приходило, что в этом блаженном мире тоже существуют беды (судя по собственной жизни, она полагала, что здесь все должны быть счастливы). Ей захотелось подойти сейчас к этому старому человеку, который с таким достоинством несет свое горе, и пожать ему руку. Она невольно смотрит в другой конец зала. Он сидит там, по-солдатски прямо, в полном одиночестве. Случайно взглянув в ее сторону, он встречается с ней взглядом и чуть заметно кланяется. Она поражена его одиночеством в этом просторном, сверкающем светом и роскошью зале. В самом деле, она должна заботливо относиться к такому доброму человеку.

Но как мало остается времени, чтобы подумать о каждом в отдельности, оно слишком быстротечно здесь, слишком много неожиданного обрушивается на нее, увлекая веселым вихрем; нет такой минуты, которая не одарила бы ее новой радостью. После обеда тетя с дядей уходят к себе в номер передохнуть, а Кристина располагается на террасе в одном из удобных мягких

кресел, чтобы наконец спокойно посидеть и мысленно еще раз насладиться пережитым. Но едва она, облокотившись, начинает медленно, со сладостной мечтательностью перебирать картины насыщенного дня, как перед ней уже стоит вчерашний партнер по танцам, все примечающий инженер-немец, протягивает ей сильную руку: «Вставайте, вставайте!» — его друзья хотят познакомиться с ней. В нерешительности — она еще побаивается всего нового, однако страх прослыть неучливой перевешивает — Кристина уступает и направляется с ним к столу, за которым сидит оживленная компания молодых людей.

К ужасу девушки, инженер представляет ее каждому как фройляйн фон Болен; фамилия дяди, произнесенная с немецким «фон» вместо голландского «ван», кажется, вызвала у всех особое уважение — Кристина замечает это по тому, как господа почтительно поднимаются — вероятно, звучание двух этих слов невольно вызывает в их памяти фамилию богатейшего семейства Германии — Крупп фон Болен.

Кристина чувствует, что краснеет: Боже мой, ну что он говорит?! Но у нее не хватает духу поправить его, нельзя же перед этими незнакомыми учтивыми людьми уличить одного из них во лжи и заявить: нет, нет, я не фон Болен, моя фамилия Хофленер. Так она с нечистой совестью и легкой дрожью в кончиках пальцев допускает непреднамеренный обман. Все эти молодые люди — веселая игривая девушка из Мангейма, врач из Вены, сын директора какого-то французского банка, немного шумный американец и еще несколько человек, фамилии которых она не разобрала, — явно заинтересовались ею: каждый задает ей вопросы, и разговаривают, собственно, только с ней.

В первые минуты Кристина смущена. Всякий раз, когда кто-нибудь называет ее «фройляйн фон Болен», она слегка вздрагивает, как от укола, но постепенно ей передается задор и общительность молодых людей, она рада быстро возникшему доверию и в конце концов втягивается в непринужденную болтовню; ведь все так сердечно относятся к ней, чего же бояться? Потом приходит тетя, радуется, видя, что ее по-

допечную хорошо приняли, добродушно улыбается, подмигивая племяннице, когда ту величают «фройляйн фон Боолен», и наконец уводит ее на прогулку, пока дядя, как обычно в послеобеденные часы, дуется в покер.

Неужели это действительно та самая улица, что и вчера, или же распахнувшаяся душа видит светлее и радостнее, чем стесненная? Во всяком случае, дорога, которой Кристина уже проходила, но как бы с шорами на глазах, кажется ей совсем новой, вид вокруг ярче и праздничнее, будто горы стали еще выше, малахитовая зелень лугов гуще и сочнее, воздух прозрачнее, чище, а люди красивее, их глаза светлее, приветливее и доверчивее. Все со вчерашнего дня утратило свою необычность, чуть горделиво оглядывает она массивные корпуса отелей, так как знает теперь, что лучший из них тот, в котором живут они, к витринам присматривается уже с некоторым понятием, изящные, надушенные женщины в автомобилях больше не кажутся ей столь неземными, принадлежащими какой-то другой, высшей касте, после того как она сама проехала в роскошной машине. Больше она не ощущает себя чужеродной среди других и смело ступает легким, упругим шагом, невольно подражая беззаботной походке стройных спортсменов.

В кафе-кондитерской они делают привал, и тетя еще раз изумляется аппетиту Кристины. То ли это действие разреженного горного воздуха, то ли бурные эмоции — химическое горение тканей, после которого надо восстановить силы, так или иначе она шутя уплетает за чашкой какао три-четыре булочки с медом, а потом еще пирожные с кремом и шоколадные конфеты; ей кажется, что она могла бы вот так и дальше, без конца, есть, говорить, смотреть, наслаждаться, будто все-все, по чему она чудовищно изголодалась за долгие-долгие годы, нужно возместить, предаваясь именно этой грубой, плотоядной усладе. Временами она ощущает на себе мужские взгляды, которые скользят по ней приветливо и вопрошающе; она инстинктивно напрягает грудь, кокетливо откидывает голову, ее улыбающиеся губы с любопытством встречают их любопытство: кто вы, кому я нравлюсь, и кто же я сама?

В шесть часов, покончив с новыми покупками (тетя обнаружила, что племяннице не хватает всяких мелочей), они возвращаются в отель. Щедрая дарительница, которую все еще забавляет разительная перемена в состоянии ее подопечной, хлопает ее по руке.

— Вот теперь ты, пожалуй, сможешь избавить меня от одной тяжелой обязанности! Не трусишь?

Кристина смеется. Что здесь может быть тяжелого? Здесь, в этом благословенном мире, где все делается играючи.

— Не воображай, что это так просто! Тебе предстоит войти в логово льва и осторожно вытащить Энтони из-за карточного стола. Предупреждаю: осторожно, а то, когда ему мешают, он, бывает, рычит, и довольно сердито. Но уступать нельзя, врач велел, чтобы он принимал таблетки за час до еды, не позже, в конце концов, резаться в карты с четырех до шести в душевой комнате более чем достаточно. Значит, так: второй этаж, номер сто двенадцатый, это апартаменты мистера Форнемана, винный трест. Постучишь и скажешь Энтони, что пришла по моему поручению, он все поймет. Может, сначала и поворчит, хотя нет, на тебя не поворчит! Тебя он еще послушает.

Кристина берется за поручение без особого восторга. Если дядя любит играть в карты, почему именно она должна его беспокоить! Но возражать не осмеливается и, подойдя к нужному номеру, тихо стучит. Господа, сидящие за прямоугольным столом с зеленой скатертью, удивленно поднимают глаза: молодые девушки, видно, редко сюда вторгаются. Дядя, поначалу изумившись, смеется во весь рот:

— О, I see\*, тебя подослала Клер! Вот на что она тебя подбивает! Господа, это моя племянница! Жена велела ей сообщить, что пора кончать; предлагаю (он вынимает часы) еще ровно десять минут. Ты не возражаешь?

Кристина неуверенно улыбается.

— Ладно, на мой страх и риск, — важно заявляет Энтони,

---

\* Понятно (англ.).

не желая ронять своего авторитета. — Молчи! Садись-ка сюда и принеси мне счастье, что-то не везет сегодня.

Кристина робко присаживается чуть позади него. Она ничего не понимает в том, что здесь происходит. Один из игроков держит в руке какую-то продолговатую штуку — не то лопатку, не то совок, — берет с нее карты и при этом что-то говорит; потом круглые целлулоидные фишки — белые, красные, зеленые, желтые — странствуют по столу туда-сюда, передвигаемые граблями. В общем, это скучно, думает Кристина, богатые, знатные господа играют на какие-то кругляшки. И все же она испытывает некоторую гордость оттого, что сидит здесь, в широкой тени дяди, рядом с людьми, несомненно, могущественными, это видно по их массивным перстням с бриллиантами, по золотым карандашам, по твердым чертам лица и энергичным движениям, да и по кулакам тоже — чувствуется, как такой кулак может грохнуть по столу, словно молот; Кристина почтительно разглядывает одного за другим, совершенно не обращая внимания на непонятную ей игру, и неожиданный вопрос дяди застает ее врасплох.

— Ну что, взять?

Кристина успела усвоить, что тот, которого называют банкометом, играет один против всех, стало быть, ведет крупную игру. Посоветовать дяде взять? Охотнее всего она бы прошептала: «Нет, ради Бога, нет!» — лишь бы не брать на себя ответственность. Но ей стыдно показаться трусихой, и она нерешительно лепечет:

— Да.

— Ладно, — смеется дядя. — Под твою ответственность. Выигрыш пополам.

Снова начинается перебрасывание карт, она ничего не понимает, но ей кажется, что дядя выигрывает. Его движения становятся живее, из горла вылетают какие-то странные булькающие звуки, он выглядит чертовски довольным. Наконец, передав дальше лопатку с картами, он поворачивается к ней:

— Ты поработала отлично. За это справедливо поделимся, вот твоя доля.

Из своей кучки фишек он выбирает две желтые, три красные и одну белую. Смеясь, Кристина берет их без каких-либо размышлений.

— Еще пять минут, — предупреждает господин, перед которым лежат часы. — Вперед, вперед, без скидок на усталость.

Пять минут проходят быстро, все встают, собирают фишки, обменивают их. Кристина, оставив свои кругляшки на столе, скромно ждет у двери. Дядя у стола окликает ее:

— Ну а твои chips?\*

Кристина подходит к нему в недоумении.

— Обменяй же их.

Кристина по-прежнему ничего не понимает. Тогда дядя подводит ее к господину, который, бегло взглянув на фишки, говорит: «Двести пятьдесят пять», — и кладет перед ней две стофранковые купюры, одну пятидесятифранковую и тяжелый серебряный талер. Девушка растерянно оглядывает чужие деньги на зеленом столе, потом с удивлением смотрит на дядю.

— Бери же, бери, — чуть ли не сердито говорит он, — ведь это твоя доля! А теперь пошли, не то опоздаем.

Кристина испуганно зажимает в непослушных пальцах купюры и серебряную монету. Она все еще не верит. И, придя к себе в номер, снова и снова разглядывает как с неба свалившиеся радужные прямоугольные бумажки. Двести пятьдесят пять франков — это (она быстро пересчитывает) примерно триста пятьдесят шиллингов; четыре месяца, треть года, ей надо работать, чтобы набралась такая огромная сумма, каждый день торчать в конторе с восьми до двенадцати и с двух до шести, а здесь никакого труда, десять минут — и деньги в кармане. Неужели это правда, и справедливо ли? Непостижимо! Но банкноты действительно хрустят в ее руках, они настоящие и принадлежат ей, так сказал дядя, ей, ее новому «я», этому непонятному другому «я». Столько денег сразу в ее

---

\* Фишки (англ.).

распоряжении еще не бывало. Чуть дрожа, со смешанным чувством — и боязно и приятно, — она прячет шуршащие бумажки в чемодан, словно краденые. Ибо совесть ее не может постигнуть того, что эта уйма сомнительных денег, тех самых денег, которые она дома с педантичной бережливостью откладывает по грошам, монетку за монеткой, достается здесь как бы дуновением ветра. Страх, будто она совершила святотатство, тревожным ознобом пронизывает все ее существо до самых глубин подсознания, что-то в ней мучительно ищет объяснения, но времени на это нет, пора одеваться, выбрать платье, одно из роскошных, и снова туда, в зал, опьяняться новыми чувствами, переживаниями, с головой окунуться в жгуче-сладостный поток расточительства.

Бывает, что в фамилии заключена таинственная сила превращения; на первых порах она кажется случайной и не обязывающей, подобно кольцу, надетому на палец, но, прежде чем сознание обнаружит ее магическое действие, она врезается в кожу и срастается с духовной сущностью человека, влияя на его судьбу. Поначалу Кристина отзывается на свою новую фамилию со скрытым озорством («Если б вы знали, кто я! Нет, не узнаете!»). Она носит ее легкомысленно, как маску на карнавале. Но вскоре, забыв о неумышленном обмане, она как бы обманывает самое себя и становится той, за кого ее принимают. Если в первый день она еще испытывала неловкость, прослав не по своей воле богачкой с аристократической фамилией, а на другой день это уже тешило ее самолюбие, то на третий и четвертый все воспринималось как нечто само собой разумеющееся.

Когда кто-то спросил, как ее имя, ей показалось, что Кристина (дома ее звали Кристль) не очень созвучно заимствованному титулу, и она не без нахальства ответила: «Кристиана». И вот отныне за всеми столами, во всем отеле ее называют Кристианой фон Болен; так ее представляют, так с ней здороваются, она привыкла к новому имени и фамилии без сопротивления, как привыкла к светлой просторной комнате с по-



лированной мебелью, к роскоши и легкой жизни в отеле, к вполне естественному наличию денег и ко всему, сложенному из разнообразных цветков, дурманящему букету соблазнов. Если бы сейчас кто-нибудь вдруг назвал ее «фройляйн Хофленер», она вздрогнула бы как сомнамбула и рухнула с вершины своей иллюзии, настолько она сжилась с новой фамилией и уверовала, что она теперь другая, уже не та, прежняя.

Но разве она действительно не стала другой за эти несколько дней, разве высокогорный воздух не очистил, а разнообразное и обильное питание не обогатило ее кровь новыми, здоровыми клетками? Бесспорно, Кристиана фон Боулен выглядит иначе, она моложе, свежее, чем ее сестра Золушка, почтарка Хофленер, и вряд ли похожа теперь на нее. Бледная, почти пепельного оттенка кожа сделалась под горным солнцем смуглой, посадка головы горделивой, в новых нарядах изменилась и походка, движения стали мягче и женственнее, шаг свободнее, вся осанка исполнилась чувства собственного достоинства. Постоянные прогулки на лоне природы поразительно освежили тело, танцы сделали его гибким, и вот открылся источник сил; внезапное пробуждение молодости, когда пылко бьется сердце, вздымается грудь, и в тебе все бродит, бурлит, пенится, и ты беспрестанно стремишься испытать себя, вкушая еще не изведенную, могучую радость жизни.

Сидеть на месте, за покойным занятием Кристина уже не может, ей все время хочется куда-то выехать, резвиться, она вихрем носится по комнатам, всегда чем-то увлеченная, подстегиваемая любопытством, то там, то здесь, то в дверь, то из дверей, то вниз, то вверх, и по лестнице она никогда не ходит шагом, а скачет через две ступеньки, словно боится что-то упустить, куда-то не поспеть. Ее руки все время жаждут к кому-то или к чему-то прикоснуться, так сильна в ней потребность поиграть, приласкать, поблагодарить: порой она даже одергивает себя, чтобы невзначай не вскрикнуть или не расхохотаться. И такая исходит от нее сила молодости, что как бы волнами передается окружающим, и любого, кто приблизится к ней, тут же затягивает в круговорот веселья и озорства.

Там, где она, всегда смех и шум, там тотчас начинают подзадоривать друг друга, любой разговор сразу оживляется звонкими голосами; едва появляется она, всегда задорная, с шуткой, всегда светящаяся счастьем, то не только дядя с тетей, но и совершенно незнакомые люди благосклонно поглядывают на ее безудержную веселость. В гостиничный холл она влетает словно камень, разбивший окно; позади еще крутится от сильного толчка вращающаяся дверь, маленького боя, который хотел придержать, Кристина хлопает по плечу перчаткой, в два приема срывает с себя шапку, стаскивает свитер, все жмет, стесняет ее стремительное движение. Потом беспечно останавливается перед зеркалом, поправляет платье, встряхивает взъерошенной гривой, все готово, и еще в довольно растрепанном виде, с пылающими от ветра щеками направляется к какому-нибудь столику — она уже со всеми перезнакомилась, — чтобы рассказывать.

У нее всегда есть о чем рассказать, всегда у нее есть новое приключение, всегда все было замечательно, чудесно, неопишимо, всем она горячо восхищается, и даже самому постороннему слушателю ясно: человек не в силах вынести переполняющее его чувство благодарности, если не поделится им с другими. Она не пройдет мимо собаки, не погладив ее, каждого малыша посадит себе на колени и приласкает, для любой горничной или официанта у нее найдется приветливое слово. Если кто-нибудь сидит хмурый или безучастный, она тут же растормошит его добродушной шуткой, она любит каждый платок, с восхищением разглядывает всякое кольцо, фотоаппарат и портсигар, смеется над любой остротой, все блюда находит превосходными, каждого человека — хорошим, какую угодно беседу — занимательной: все, все без исключения великолепно в этом высшем, в этом бесподобном свете.

Никто не может устоять перед ее страстными порывами доброжелательности, каждый, общаясь с ней, попадает в излучаемое ею силовое поле добра, даже у ворчливой тайной советницы, вечно спящей в кресле с подлокотниками, теплеют глаза, когда она наводит на Кристину лорнет; портье здорова-

ется с ней особенно любезно, накрахмаленные официанты предупредительно пододвигают ей стул, и, между прочим, пожилым, более строгим людям нравится столь сильное проявление радостной и впечатлительной натуры. Кто-то, конечно, покачивает головой по поводу ее наивных и экзальтированных выходок, но в целом Кристина встречает благожелательное отношение, и по прошествии трех-четырех дней все — от лорда Элкинса до последнего мальчика-лифтера — выносят единодушный приговор, что фройляйн фон Боолен милейшее, обворожительное создание, «charming girl». Всеобщую симпатию к себе она воспринимает как утверждение своего права быть и находиться здесь, среди этих людей и чувствует себя от этого еще счастливее.

Личный интерес к ней и склонность к ухаживанию проявляет наиболее откровенно человек, от которого она менее всего смела ожидать такого поклонения, — генерал Элкинс. С нежной и трогательной неуверенностью мужчины, давно перешагнувшего критический полувековой возраст, он постариковски робко все время ищет удобного случая побыть возле нее. Даже тетя замечает, что тон его костюмов стал светлее, моложе, а галстуки ярче, она полагает также (а может, и ошибается?), что седина на его висках, очевидно искусственным способом, исчезла. Под разными предлогами он часто подходит к столику, ежедневно присылает обеим дамам в номер — чтобы не привлекать лишнего внимания — цветы, приносит Кристине книги на немецком, специально для нее купленные, главным образом о восхождении на Маттерхорн, потому лишь, что она как-то в разговоре спросила, кто первый покорил эту вершину, и об экспедиции Свена Гедина в Тибет. Однажды утром, когда из-за внезапного дождя отменились все прогулки, он уселся с Кристиной в углу холла и начал показывать ей фотографии своего дома, парка, собак. Причудливый высокий замок, пожалуй, еще норманнских времен. По стенам круглых боевых башен вьется плющ. Внутри простор-

ные залы с атлантами и старомодными каминами, семейные портреты в рамах. Модели кораблей. Наверное, жить там зимой, одному, тоскливо, подумала она, и, словно угадав ее мысли, он говорит, показывая на снимок своры охотничьих псов:

— Если бы не они, я бы совсем один остался.

Это первый намек на смерть жены и сына. Кристина чуть вздрагивает, заметив, как его взгляд застенчиво скользит по ее лицу (он тут же опять смотрит на фотографии). Зачем он все это мне показывает и почему так странно, словно боится, спрашивает, понравилось ли бы мне в таком вот английском доме, неужели он, богатый, знатный, хочет этим намекнуть... Нет, она даже не смеет додумать.

Откуда ей, неопытной, знать, что этот лорд, этот генерал, который кажется ей почти небожителем, сейчас охвачен малодушием стареющего мужчины, не уверенного, можно ли ему на что-то еще рассчитывать, и боящегося показаться смешным в роли жениха, что он ждет хотя бы малейшего знака от нее, какого-нибудь ободряющего слова; но откуда ей понять, что происходит в его душе, когда она сама в себе толком не разобралась? Она воспринимает эти намеки как знак особой симпатии, со страхом и радостью одновременно, не решаясь в них поверить, а он между тем терзается, пытаясь правильно истолковать ее смущение и уклончивость. После каждой встречи с ним она чувствует себя весьма озадаченной, иной раз ей кажется, по выражению его робкого взгляда, что он действительно хочет просить ее руки, но тут же ее сбивает с толку его внезапно вернувшаяся холодность (ей и невдомек, что пожилой человек заставил себя сдержаться). Надо во всем разобраться: что он от меня хочет, возможно ли это? Надо бы все продумать и выяснить до конца.

Но когда, как? Когда здесь можно подумать, разобраться, ведь ей и времени на это не дадут. Стоит только появиться в холле, как ее тут же подхватывает кто-либо из их веселой банды и тащит куда-нибудь: на экскурсию, фотографироваться, играть, болтать, танцевать, то и дело раздается «алло! ау!»,

и пошло, и поехало. Целый день трещит и сверкает этот фейерверк праздной суеты, всегда находится какое-нибудь занятие — покурить, посмеяться, что-нибудь погрызть, посоревноваться в спорте, и она, не противясь, включается в круговерть, если один из молодых людей крикнет: «Фройляйн фон Боолен!» — ну как ответишь «нет», все они такие милые, эти молодые, здоровые парни и девушки, ведь она прежде не знала такой молодежи, всегда беспечной, веселой, всегда красиво и по-новому одетой, всегда с шуткой на устах, с деньгами в кармане и с новой забавой в голове; стоит только им собраться, как граммофон зовет танцевать или машина уже стоит наготове и в нее набиваются по пять-шесть человек, да так, что не повернешься, ничего, все молодые, и мчатся шестьдесят, восемьдесят, сто километров в час. А то сидят, развалившись, закинув нога на ногу, в баре с сигаретой в зубах, потягивая коктейли, лениво переговариваясь, ничем себя не утруждая; каких только историй, забавных и щекотливых, тут не услышишь, все это так просто делается, так чудесно расслабляет, и Кристина, как бы обретя новое дыхание, наслаждается этой бодрящей атмосферой.

Порой она ощущает внезапные, словно зарницы крови, приливы тепла, особенно вечерами на танцах или когда в темноте молодой человек вдруг решительно обнимает ее; приятельские отношения в их среде не лишены ухаживания, только оно иное — более откровенное, смелое, плотское, такое ухаживание ее, непривычную, иной раз пугает; например, когда в полумраке машины чья-нибудь твердая ладонь ласково погладит ее колено или когда на прогулке ее держат под руку нежнее, чем полагается. Однако другие девушки, американка и немка из Мангейма, относятся к этому терпимо и в крайнем случае лишь дружески шлепают по пальцам, когда те становятся слишком нахальными; да и зачем ломаться, ведь, в конце концов, и так, наверное, заметно, что инженер ведет себя с ней все настойчивее, а маленький американец деликатно пытается заманить ее на прогулку в лес. Она не уступает ни тому, ни другому, однако все же чуточку гордится новым,

впервые испытанным чувством: что она желанна и ее теплое, сбнаженное, нетронутое тело под одеждой — нечто, что мужчины хотят осязать, ощущать, чем жаждут насладиться. Сколько их, чарующе элегантных незнакомцев, возбужденным роем окружает ее, она чувствует все это как тонкий дурман из неведомых пьянящих эссенций, постоянно кружащий ее голову; очнувшись на мгновение, она с ужасом вопрошает себя: кто я? Да кто же я такая?

Кто же я такая? И что они во мне находят? — изо дня в день спрашивает она себя, все больше недоумевая. Каждый день ей оказывают новые и новые знаки внимания. Едва она просыпается, как горничная приносит цветы от лорда Элкина. Вчера тетя подарила ей кожаную сумку и прелестные золотые часики, незнакомые силезские помещики, супруги Тренквиц, пригласили ее погостить к себе домой, маленький американец тайком положил ей в сумочку миниатюрную золотую зажигалку, которой она так восхищалась. Немочка из Мангейма относится к ней нежнее родной сестры, вечерами она прибегает к Кристине в номер с шоколадными конфетами, и они болтают до полуночи. Инженер танцует почти всегда только с ней. Что ни день, людей вокруг нее прибавляется, и все так милы, сердечны, обходительны; ее нарасхват приглашают в машину, в бар, на танцы, ни на час, ни на минуту не оставляют одну.

И опять она с недоумением спрашивает себя: кто же я такая? Годами люди проходили мимо меня по улице, и никто не обращал внимания на мое лицо, годами я сижу в деревне, и никто ничего не подарил мне и не заинтересовался мною. Может, это оттого, что все там бедны, может, люди от бедности такие усталые и недоверчивые, или во мне вдруг появилось что-то, что и прежде было, да только не показывалось? Может, я действительно красивее, чем смела вообразить, и умнее, и симпатичнее и только не решалась поверить в это? Кто я, кто же я такая?

Она беспрестанно задает себе вопрос в те редкие мгнове-

ния, когда удастся побыть одной, и вот тут с ней происходит нечто странное, чего сама она понять не в силах: ее появившаяся было уверенность вновь сменяется неуверенностью. В первые дни она лишь удивлялась и поражалась тому, что все эти незнакомые люди, знатные, нарядные и обаятельные, принимают ее как свою. Но теперь, почувствовав, что она особенно нравится, что больше других, больше, чем эта рыжеволосая, сказочно одетая американка, больше, чем веселая, блистающая остроумием немочка из Мангейма, возбуждает любопытство, симпатию и пристальный интерес у мужчин, Кристина вновь ощущает тревогу. «Что им от меня надо?» — спрашивает она себя, все больше волнуясь в их присутствии. Странно, дома она не интересовалась мужчинами, во всяком случае, они никогда не вызывали у нее волнения. Ни разу не шевельнулась у нее какая-нибудь тайная мысль, не пробудились эмоции при виде неотесанных провинциалов с их ручищами, которые лишь после пива обретают иногда кое-какую ловкость, с их грубыми, вульгарными шутками и наглостью. Ничего, кроме физического отвращения, она не испытывала, когда какой-нибудь подвыпивший парень, встретив ее на улице, громко чмокал губами вслед или расточал ей слащавые комплименты на почте. Но вот молодые люди здесь, гладко выбритые, с маникюром, с изысканными манерами, они умеют так весело и непринужденно говорить о самых пикантных вещах, а их руки могут быть такими нежными даже при самом мимолетном прикосновении. Все эти молодые люди порой вызывают у нее какое-то совсем иное волнение и интерес. Она даже замечает, что ее собственный смех вдруг звучит как-то иначе или она вдруг отодвигается в испуге. Как-то беспокойно чувствует она себя в этой только с виду дружеской, но на самом деле весьма небезопасной компании, а рядом с инженером, который столь явно и настойчиво ее домогается, ее охватывает нечто вроде легкого, хотя и сладостного головокружения.

К счастью, Кристина редко остается с ним наедине, обычно здесь находятся две-три женщины, и в их присутствии она чувствует себя увереннее. Иногда, очутившись в затрудне-

нии, она краешком глаза подглядывает, как обороняются другие в подобной ситуации, и невольно учится у них всякого рода уловкам — притворно обидеться или, весело рассмеявшись, сделать вид, что не заметила слишком дерзкой вольности, — а главное, искусству вовремя уклониться, когда соседство становится опасным.

Но даже без мужчин она теперь острее чувствует атмосферу, особенно когда болтает с Карлой, немочкой из Мангейма, которая с совершенно непривычной для Кристины прямоотой говорит на самые щекотливые темы. Студентка химического факультета, умная, с хитринкой, озорная, чувственная, однако умеющая овладеть собой в последний момент, видит своими пристальными черными глазами все, что происходит вокруг. От нее Кристина узнает о всех закулисных делишках в отеле: о том, что ярко накрашенная девица с вытравленными пергидролом волосами, оказывается, вовсе не дочь французского банкира, а его любовница, и хотя у них две комнаты, но вот ночью... А у американки было на пароходе что-то со знаменитым немецким киноактером, там три американки заключили между собой пари, кто его подцепит... А вон тот майор-немец — гомосексуалист, горничная кое-что слышала об этом от лифтера; будто рассуждая о вполне естественных вещах, без малейшего возмущения, девятнадцатилетняя студентка непринужденно выбалтывает двадцативосьмилетней всю скандальную хронику.

Кристина, стесняясь удивляться, чтобы не выдать свою неопытность, слушает с любопытством и лишь искоса поглядывает на эту юную, очень живую девушку со смешанным чувством ужаса и восхищения. Ее худенькое тельце, думает Кристина, должно быть, испытало уже кое-что, чего я не знаю, иначе она не говорила бы так уверенно. И от невольных мыслей о всех этих вещах в нее опять вселяется тревога. Иногда у нее даже возникает ощущение, будто в ней открылись тысячи новых крохотных пор, через которые проникает тепло, так бывает с ней во время танцев — кожа горит и кружится голова. «Что со мной?» — спрашивает она себя, в ней



пробудилось любопытство к себе, жажда узнать, кто она такая, и после открытия этого нового мира открыть самое себя.

Пролетают еще три, четыре дня, целая бурная неделя. В ресторане за обедом сидит облаченный в смокинг Энтони с женой и ворчит:

— Мне уже надоела ее неаккуратность. Ну, первый раз ладно, с каждым случается. Но шататься целыми днями и заставлять других ждать — это невоспитанность. Черт возьми, что она, собственно, о себе думает!

Клер успокаивает его:

— Господи, ну что ты хочешь, молодежь сейчас вся такая, ничего не поделаешь, послевоенное воспитание, только и знают гулять да развлекаться.

Энтони со злостью швыряет вилку на стол.

— К черту эти вечные развлечения. Я тоже был молод и тоже повесничал, но не позволял себе переходить рамки приличия, да и не мог позволить. Те два часа в день, когда твоя фройляйн племянница благоволит почитать нас своим присутствием, она обязана соблюдать пунктуальность. И еще попрошу об одном: растолкуй ей, наконец, вразумительно, чтобы она не таскала каждый вечер к нашему столу всю свою ораву; меня несколько не интересует ни этот тупой немец с арестантской стрижкой и прусской картавостью, ни ироничный еврейчик с надеждами на служебную карьеру, ни эта девчонка из Мангейма, которая выглядит так, будто ее взяли напрокат в баре. Невозможно даже почитать газету, вечно вокруг шум и гам, ну какая я им, соплякам, компания? Сегодня, во всяком случае, прошу оставить меня в покое, и если хоть один из их горластой банды сядет за мой стол, я пошибаю все рюмки.

Клер не возражает ему прямо, когда видит, что у него на лбу вдруг начинают пульсировать синие жилы; а злит ее, в сущности, то, что она вынуждена признать его правоту. Ведь вначале она сама же подталкивала Кристину в этот круговорот, ей доставляло удовольствие смотреть, как ловко примеряла наряды ее манекенщица, как преображалась в них, — это смутно напоминало Клер собственную молодость и восторг,

какой она испытывала, когда впервые, шикарно разодетая, отправилась со своим покровителем в ресторан Захера. Но, в самом деле, за последние два дня Кристина утратила всякое чувство меры: в своем упоении она помнит только себя и свое головокружительное блаженство, она, например, не замечает, что в вечерний час дядя начинает клевать носом, не замечает, даже когда тетя настойчиво повторяет: «Пойдем, уже поздно». Лишь на секунду угомонившись, она отвечает: «Да, тетя, конечно, еще только один танец, я его обещала, только один». И уже в следующую секунду она все забыла, не заметила даже, что дяде надоело ждать и он встал из-за стола, не пожелав ей спокойной ночи, она и не подумала, что он может рассердиться; да и можно ли вообще сердиться и обижаться в этом чудесном мире! Для нее просто непостижимо, что не все шалят и режутся, не все охвачены азартом веселья, не все пылают от восторга, когда у нее голова идет кругом. Впервые за свои двадцать восемь лет она открыла себя, и это открытие настолько опьянило ее, что она забыла о существовании других людей.

Вот и сейчас, в горячке, крутясь волчком, она врывается в ресторан, бесцеремонно стаскивает на ходу перчатки (ну кому здесь может что-то не понравится?), весело кричит двум молодым американцам «хеллоу» (кое-чему она выучилась), направляется через весь зал к тете и, нежно обняв ее сзади за плечи, целует в щеку. Лишь после этого восклицает с легким испугом:

— О, вы уже давно начали? Извините!.. Я же говорила им, Перси и Эдвину, что на их убогом «форде» за сорок минут до отеля не доехать, как ни пыхти! А они еще со мной спорили... Да, кельнер, подайте мне оба блюда сразу, чтоб я догнала... Значит, инженер сам был за рулем, он замечательно водит, но я-то заметила, что старая колымага больше восьмидесяти не выжимает, вот «роллс-ройс» лорда Элкинса совсем другое дело, а какие у него рессоры... Впрочем, по правде говоря, я тоже виновата, потому что сама пробовала вести чуточку, Эдвин, конечно, был рядом... это совсем легко... знаешь, дядя, когда

научусь, я тебя первого повезу, не бойся, что с тобой, дядя? Ты ведь не сердись, что я чуть-чуть опоздала, нет?.. Клянусь, это не по моей вине, я же им сразу сказала, что за сорок минут не доехать... нет, полагаться можно только на себя... Пирожки — просто объеденье... Господи, как пить хочется!.. Ах, кто бы знал, до чего у вас хорошо. Завтра днем опять собираются, кажется до Ландека, но я сказала, что не поеду, надо же с вами погулять, в самом деле, никакого покоя нету...

Ее болтовня похожа на фейерверк. Лишь через некоторое время, вконец истощившись, Кристина замечает, что ее вдохновенный рассказ встречен упорным, холодным молчанием. Дядя неподвижным взглядом уставился на корзину с фруктами, будто апельсины интересуют его больше, чем ее болтовня, а тетя нервно поигрывает ножом и вилкой. Ни один не произносит ни слова.

— Ты на меня не сердись, дядя? — спрашивает Кристина.

— Нет, — ворчит он, — только давай поторапливайся.

Это вырвалось у него с таким раздражением, что Кристина мгновенно притихла, как побитая собачонка. Она опустила глаза, разрезанное яблоко испуганно положила на тарелку, губы у нее задрожали. Тетя, сжалившись над ней, задает отвлекающий вопрос:

— А что слышно от Мэри? Дома все благополучно? Давно уже хотела тебя спросить.

Кристина бледнеет еще больше, ее охватывает дрожь. Господи, ведь она совсем забыла об этом! Уже целую неделю торчит здесь и даже не задумывалась, что до сих пор не получила ни одного письма, то есть иногда мысль об этом мелькала, и она все собиралась написать, но опять закружилась, завертелась. У нее сжалось сердце.

— Сама не понимаю, пока что из дому нет ни строчки. Может, письмо затерялось?

Теперь уже лицо тети строго вытягивается.

— Странно, — говорит она, — очень странно! Но, может быть, это потому, что тебя здесь знают только как мисс ван

Болен и письма для Хофленер лежат у портье не востребованными? Ты у него спрашивала?

— Нет, — выдыхает Кристина в тихом отчаянии.

Она четко помнит, что раза три или четыре намеревалась спросить, но ее куда-то увлекали, и она опять забыла.

— Извини, тетя, минутку! — Она вскакивает из-за стола. — Сейчас узнаю.

Энтони опускает газету, он все слышал. И гневно смотрит ей вслед.

— Вот тебе пожалуйста! Мать тяжело больна, сама нам говорила, и даже не поинтересовалась, только порхает целыми днями! Теперь ты видишь, что я прав.

— Просто не верится, — вздыхает тетя, — за восемь дней ни разу не справилась, и ведь знает, каково дома. А вначале так тревожилась, со слезами на глазах рассказывала, как ей было страшно оставлять мать одну. Просто невероятно, до чего она изменилась.

Тем временем Кристина вернулась. Уже иными, мелкими шажками, растерянная, сконфуженная, подошла к столу и, сжавшись, словно ожидая заслуженного удара, села в широкое кресло. Действительно, у портье лежали три письма и две открытки; каждый день Фуксталер с трогательной заботливостью сообщал подробные сведения, а она — Боже, стыд-то какой! — лишь однажды наскоро черкнула карандашом одну-единственную открытку из Челерины. Ни разу она больше не взглянула на любовно начерченную, красиво заштрихованную карту, которую преподнес ей добрый, надежный друг, она вообще не вынимала его маленький подарок из чемодана; произвольно стремясь забыть свое прежнее «я», она забыла все, что стояло за Кристиной Хофленер, — мать, сестру, друга.

— Ну что, — спрашивает тетя, увидев, что письма в дрожащей руке племянницы еще не вскрыты, — не собираешься их читать?

— Да, да, сейчас, — бормочет Кристина.

Она послушно разрывает конверты и, не посмотрев на число, пробегает глазами ровные, аккуратные строчки. «Се-

годня, слава Богу, немного лучше», — сообщает Фуксталер в одном письме, и в другом: «Поскольку я вам клятвенно обещал, уважаемая фройляйн, достоверно писать о самочувствии Вашей почтенной матушки, должен, к сожалению, сообщить, что вчера мы были обеспокоены. Волнение в связи с Вашим отъездом вызвало небезопасное возбужденное состояние...» Она лихорадочно листает дальше: «После инъекции наступило некоторое успокоение, и мы надеемся на лучшее, хотя опасность повторного приступа полностью не исключена».

— Ну, — спрашивает тетя, заметив волнение Кристины, — как себя чувствует Мэри?

— Хорошо, вполне хорошо, — говорит она, смутившись, — то есть маме было неважно, но все прошло уже, она кланяется вам, а сестра целует вам руку и очень благодарит вас.

Но она сама не верит тому, что говорит. Почему мать не написала ни строчки своей рукой, думает она, может, послать телеграмму или попробовать дозвониться к нам на почту, сменщица наверняка все знает. Во всяком случае, надо сейчас же написать, Господи, какой стыд. Она не осмеливается поднять голову, чтобы не встретиться взглядом с тетей.

— Да, тебе, пожалуй, надо написать им поподробнее, — говорит тетя, словно угадав ее мысли. — И передай самый сердечный привет от нас обоих. Кстати, сегодня после ужина мы не останемся в холле, а сразу пойдем к себе. Энтони очень устает от этих ежевечерних сборищ. Вчера вообще не мог заснуть, а ведь, в конце концов, он приехал сюда отдыхать.

Почувствовав скрытый упрек, Кристина пугается. Она сконфуженно подходит к Энтони.

— Пожалуйста, дядя, не обижайся на меня, я даже не подозревала, что тебя это утомляет.

Сердитый пожилой человек, смягчаясь от ее покорного тона, примирительно ворчит:

— А, чего там, мы, старики, всегда плохо спим. Разок-другой мне, конечно, интересно повеселиться с вами, но не каждый же день. Да ты теперь и без нас обходишься, тебе своей компании хватает.

— Нет, нет, я с вами.

Она провожает дядю к лифту, ведя его под руку так бережно и заботливо, что тетя постепенно оттаивает.

— Ты должна понять, Кристль, — говорит она в лифте, — никто не собирается лишать тебя развлечений, но и тебе полезно хоть раз как следует выспаться, иначе переутомишься и весь твой отпуск пойдет насмарку. Передохни от своей карусели, вреда не будет. Посиди спокойно в комнате, напиши письма. Откровенно говоря, не годится, что ты всегда разъезжаешь одна с этими людьми, к тому же я не в восторге от твоих приятелей. Предпочла бы видеть тебя с генералом Элкинсом, чем с этим молодчиком бог весть откуда. Поверь, лучше тебе побыть сегодня дома.

— Хорошо, тетя, обещаю, — покорно соглашается Кристина. — Ты права, теперь сама вижу. Понимаешь, так получилось, что... не знаю почему... меня вдруг завертело, закружило, может, это от воздуха и прочего. Но я рада, что сегодня отдохну, спокойно разберусь во всем, напишу письма. Сейчас же иду к себе, обязательно. Спокойной ночи!

Тетя права, конечно, думает Кристина, отпирая дверь своего номера, она желает мне только добра. В самом деле, зря я так закрутилась, к чему эта спешка, ведь есть еще время, восемь-девять дней, пошлю, в конце концов, телеграмму, что заболела, и попрошу продлить отпуск, вряд ли откажут, я же еще ни разу не была в отпуске и ни одного рабочего дня не пропустила. В дирекции поверят, да и заместительница будет только рада. Какая здесь чудесная тишина в комнате, снизу ни звука не долетает, наконец-то можно опомниться, спокойно подумать. Да, надо же прочитать книги, которые мне дал лорд Элкинс... нет, сначала письма, ведь я пришла ради них. Стыд какой, за неделю ни строчки, ни маме, ни сестре, ни доброму Фуксталеру, и заместительнице надо послать открытку с видом, так уж полагается, да и детям сестры обещала. И что-то обещала еще, но что... Господи, совсем запуталась, что кому наобещала... ах да, инженеру, что завтра утром

поедем на прогулку. Нет, вдвоем с ним ни в коем случае, только не с ним, и потом, завтра же я должна быть с дядей и тетей, нет, с ним вдвоем больше не поеду... Тогда надо отменить, может, быстренько сбежать вниз и сказать ему, чтобы не ждал напрасно... Но я обещала тете, нет, не пойду...

Можно, впрочем, позвонить портье, чтобы передал... да, лучше всего позвонить. Нет, не годится... Еще подумают, что я заболела или сижу под домашним арестом, и вся компания меня засмеет. Лучше черкну ему записку, ага, так лучше, а заодно отправлю письма, чтобы портье прямо утром сдал их на почту... Черт... где же тут почтовая бумага?... Папка пустая, ничего себе, в таком роскошном отеле... Вообще-то позвоню горничной, она принесет... но можно ли вызывать ее в такой час, после девяти, кто знает, вдруг они уже спят, а я трезвоню из-за каких-то листков бумаги, даже смешно... нет, пожалуй, сбегаю вниз и возьму в конторке...

Только бы не натолкнуться на Эдвина... тетя права, не надо было его так близко подпускать... Неужели он с другими так же ведет себя, как сегодня со мной, в машине... все время гладил по коленкам, не пойму, как это я могла допустить... надо было отодвинуться или оттолкнуть его... мы же знакомы всего несколько дней. Но меня будто парализовало... ужас какая вдруг слабость охватывает, совсем безвольной становишься, когда мужчина вот так прикасается... даже не представляя себе, что вдруг все силы теряешь...

Интересно, у других женщин так же... нет, в этом ни одна не признается, хотя и держатся развязно, и уж такие истории рассказывают... Что-то мне надо было все же сделать, иначе он подумает, что я каждому позволю хватать себя... или вообразит еще, что сама напрашиваюсь... Жуть, по всему телу мурашки бегали, с головы до пяток... если он так с молоденькой девушкой сделает, представляю себе, она совсем голову потеряет... а как он мне руку сжимал, ужас... ведь у него совсем тонкие пальцы и ногти холеные, как женские, никогда таких у мужчин не видела, но когда он хватает, словно клещи... неужели он так с каждой...

Наверное, с каждой... надо обязательно понаблюдать за ним, когда будет танцевать... Ужасно, когда ничего не понимаешь, любая другая в моем возрасте уже во всем этом разбирается и знает, как держаться... Впрочем, Карла рассказывала, как здесь всю ночь двери хлопают... ой, надо закрыть на задвижку... Если бы они честно себя вели, а не просто вокруг да около... знать бы, как это с другими бывает, неужели их тоже захватывает до умопомрачения... Со мной такого никогда не бывало! Хотя нет, было, года два назад, какой-то элегантный господин заговорил со мной на Верингерштрассе, очень похожий на Эдвина, такой же высокий, подтянутый... ничего в этом особенного не было, пригласил, ну поужинала бы с ним... ведь все так знакомятся.

Но тогда я боялась, что поздно вернусь домой... всю жизнь не могла отделаться от этого дурацкого страха, считалась со всеми, с каждым... а время уходит, у глаз уже морщинки... Другие, те были умнее, лучше разбирались... В самом деле, ну какая девушка будет торчать в комнате одна, когда внизу свет, веселье... лишь потому, что дядя устал... Ни одна не запрется так рано... а который теперь час?.. Девять, всего девять... нет, наверняка не усну... так вдруг жарко стало... да, открою окно... хорошо как обдувает... вот только бы не простудиться...

Ах, опять этот дурацкий страх, вечно будь осторожнее, берегись... Зачем, для чего?.. Господи, какое блаженство, прохлада, словно нагишом стоишь и ветерок по всему телу гуляет... а зачем я, собственно, надела красивое платье, для кого?.. Надо же взять бумаги или прямо написать там, в конторке... Ничего особенного в этом нет... Брр, какой холодище, пожалуй, закрою окно... И что теперь рассиживать в кресле?.. Чепуха, сбегая вниз, сразу согреюсь... А вдруг меня увидит Элкинс или еще кто и завтра расскажут тете?.. Ну и что... Скажу, относилась письма портье... и возразить нечего... я же внизу не останусь... Да, а где пальто? Ах нет, зачем пальто, ведь я задерживаться не буду, разве что цветы взять... нет, они от Элкинса... Ну и пусть, зато подходят к платью... Может, на всякий случай пройти мимо тетиной двери, взглянуть, не спит



ли... Ерунда, к чему это?.. Я же не школьница... Вечно этот дурацкий страх! Спрашивать разрешения, чтобы отлучиться на три минуты, чепуха какая... Ладно, пойду...

Торопясь и робея, будто наперегонки с собственной нерешительностью, она сбегает по лестнице.

Из холла, бурлящего людьми и танцевальной музыкой, ей действительно удалось незаметно прошмыгнуть в комнату, где к услугам постояльцев есть все письменные принадлежности. Первое письмо готово, второе вот-вот будет закончено. В эту минуту на ее плечо опускается чья-то рука.

— Вы арестованы. Куда запряталась — надо же ухитриться. Целый час шарю по всем углам, всех расспрашиваю, где фройляйн фон Болен, надо мной уже смеются, а она тут затаилась, как зайчишка в кустах. Подъем, марш-марш!

За спиной ее стоит высокий, стройный мужчина, и опять она с дрожью ощущает его роковую хватку. Кристина бессильно улыбается, испуганная его внезапным появлением и в то же время польщенная, что за полчаса он успел соскучиться по ней. Но у нее еще есть силы для обороны.

— Нет, сегодня я танцевать не могу, занята. Надо еще написать письма, чтобы отправить с утренним поездом. И потом, я обещала тете, что вечером никуда не выйду. Нет, ни в коем случае. Она рассердится, если узнает, что я спускалась в холл.

Делиться секретами всегда опасно, ибо, доверяя секрет постороннему, ломаешь барьер между ним и собой. Ты чего-то лишаешься и тем самым даешь ему преимущество. И правда, страстный, настойчивый взгляд сменяется доверительным.

— Ага, удрали! Без увольнительной. Не бойтесь, не наябедничаю. Но уж теперь, после того как я с ног сбился по вашей милости, я вас так просто не отпущу, и не мечтайте. Сказавший «а» должен сказать и «б». Раз вы пришли сюда без разрешения, то без одного и с нами останетесь.

— Да вы что?! Это невозможно. Вдруг тетя придет. Нет, нет, исключено!

— А мы сейчас документально установим, почивает ваша тетушка или нет. Вы знаете, где их окна?

— Но при чем тут?..

— Очень просто: если в окнах темно, значит, тетя спит. А если уж человек разделся и лег в постель, то он не будет специально вставать, чтобы проверить, послушно ли ведет себя племяшечка... Господи, сколько раз мы удирали из интерната! Хорошенько смажешь ключи от комнаты, от ворот дома и в одних носках крадешься по коридору, по лестнице... Такой вечерок казался в семь раз веселее, чем официально дозволенный. И так, вперед, в разведку!

Кристина невольно улыбнулась. Как легко и просто решаются здесь любые проблемы, любые трудности! Словно проказнице-девчонке, ей вдруг захотелось поводить за нос слишком уж суровых стражей. Только не торопись уступать, подсказывает ей внутренний голос.

— Ничего не получится, у меня нет с собой пальто. Не могу же я вот так, на мороз.

— Найдется замена. Минутку. — Он бежит в гардероб и возвращается со своим мягким, ворсистым полупальто. — Пожалуй, подойдет, надевайте.

«Но ведь я должна...» — думает Кристина и тут же забывает о том, что она, собственно, должна, — ее руку уже всунули в мягкий рукав, так что сопротивляться теперь вроде поздно, и она, кокетливо посмеиваясь, закутывается в чужое мужское пальто.

— Нет, не через парадный подъезд, — говорит он с улыбкой, — вот сюда, в боковую дверь, сейчас мы прогуляемся под тетиным окошком.

— Но только на минутку, — говорит она и, едва ступив в темноту, ощущает, как он уверенно взял ее под руку.

— Так где окна?

— На третьем этаже, слева, вон та угловая комната с балконом.

— Темно, совершенно темно, ура! Ни малейшего просвета, дрыхнут вовсю. Так, слушать мою команду: сначала — назад, в холл!

— Нет, ни в коем случае! Если меня увидит лорд Элкинс или кто еще, завтра же передадут дяде с тетей, а они и без того на меня сердиты. Нет, я пойду к себе.

— Ну тогда еще куда-нибудь, в бар, в Санкт-Морице. На машине доедем за десять минут, там вас никто не знает и, стало быть, никто не проболтается.

— Да вы что?! Ничего себе придумали! А если кто-нибудь увидит, как я сажусь с вами в авто, — да весь отель две недели только об этом и будет судачить.

— Не беспокойтесь, предоставьте это мне. Разумеется, вам не подадут машину к парадному подъезду, где уважаемая дирекция отеля водрузила дюжину трескучих дуговых ламп. Пройдите по этой лесной дорожке шагов сорок, вон туда, в тень, через минуту я подкачу к вам, а через пятнадцать будем в баре. Все, договорились.

И вновь Кристина подивилась тому, как легко здесь все решается. Ее сопротивление наполовину поколеблено.

— Как у вас все просто...

— Просто или не просто, но так оно есть, и так мы сделаем. Я пойду возьму машину, а вы ступайте вперед.

Она еще раз, уже слабее, робко подает голос:

— Но когда же мы вернемся?

— Не позднее полуночи.

— Честное слово?

— Честное слово.

Честное слово мужчины всегда служит женщине перилами, за которые она цепляется перед тем, как упасть.

— Ну хорошо, я полагаюсь на вас.

— Держитесь левой стороны, где нет фонарей, и выходите к шоссе. Через минуту я подъеду.

Шагая в указанном направлении (и почему я так его слушаюсь?), Кристина вдруг подумала: ведь я должна была... должна была... но больше ей ничего не приходит в голову, она не может припомнить, что, собственно, была должна, ибо ее уже захватила новая игра; закутавшись в чужое мужское пальто, она крадется, как индеец в зарослях, ведь это опять

что-то новое, небывалое, не похожее ни на что в ее прежней жизни. Лишь несколько мгновений ждет она в тени деревьев, и вот два вспыхнувших луча, словно щупы, пробуя дорогу, двинулись вперед и посеребрили ели, возле которых она стоит; шофер, очевидно, уже заметил ее, так как слепящие фары сразу погасли и массивная черная машина, шурша, затормозила рядом. Тактично погасли и лампочки внутри салона, в непроглядной тьме светился только крохотный синеватый кружочек спидометра.

Во внезапно наступившей после яркого света черноте Кристина ничего не может различить, но тут открывается дверца автомобиля, чья-то протянутая рука помогает ей войти, и дверца захлопывается — все это происходит фантастически быстро и захватывающе, будто в кино; не успела она перевести дух и вымолвить хоть слово, как машина резко трогается с места, Кристина невольно откидывается назад и попадает... в объятия. Она противится, испуганно показывая на спину шофера, который таким монументом застыл за рулем, — она стесняется свидетеля, а с другой стороны, чувствует себя благодаря его присутствию защищенной от любой крайности. Но мужчина, сидящий рядом, не отвечает ни слова. Она лишь ощущает, что ее горячо и настойчиво обнимают, ощущает его ладони на своих пальцах, плечах, груди, а вот уже и его рот — жаркий, влажный — жадно ищет ее губы, и те постепенно поддаются властному напору. Неосознанно она ждала и ждала этого — этих крепких до боли объятий и лавины поцелуев, обжигающих ее плечи, шею, щеки, а то, что в присутствии свидетеля приходится вести себя тихо, почему-то лишь усиливает упоение этой пылкой игрой.

Закрыв глаза, безвольно и бессовестно, она всем существом отдается ненасытным губам, впивающим ее дыхание и слабые стоны, и впервые с наслаждением познает страсть поцелуев. Сколько это длится, она не замечает, все происходит словно вне пространства и времени и сразу обрывается, когда шофер, дав предупредительный гудок, въезжает на освещенную улицу и останавливается у бара большого отеля.

Кристина вылезает из машины, растерянная, сконфуженная, быстро оправляет смятое платье и растрепавшиеся волосы. Она смущенно оглядывается — не заметил ли кто, но нет, никто не обратил на нее внимания в полутемном переполненном баре. Ее учтиво проводят к столику. И вот ей открывается нечто новое: какой непроницаемой тайной может быть жизнь женщины, как под маской светских манер можно ловко скрыть даже самое страстное возбуждение. Она никогда не поверила бы, что, еще пылая от поцелуев, сможет вот так открыто, спокойно, сдержанно сидеть возле него и вести непринужденную беседу с его хорошо выглаженной манишкой, а ведь несколько минут назад эти губы впивались в нее, касаясь стиснутых зубов, ее сжимали в бурных объятиях, и ни один человек здесь об этом даже не догадывается.

«Сколько женщин вот так же притворялись передо мной, — подумала она со страхом, — сколько из тех, кого я знала дома и в деревне. Все были двуличными, пяти-, двадцатилетними, все вели жизнь открытую и тайную, а я, доверчивая дура, еще ставила их, скромниц, себе в пример». Кристина почувствовала, как под столом к ее ноге многозначительно прижалось его колено. Она тотчас взглянула ему в лицо, будто увидев его впервые, — загорелое, энергичное, с резкими чертами и властным ртом под тонкими усиками, и ощутила его пытливый, проникающий взгляд. Все это невольно вызвало в ней чувство гордости. Этот сильный, мужественный человек хочет меня, меня одну, и никто об этом не знает, только я.

— Потанцуем? — спрашивает он.

— Да, — соглашается она, и это «да» значит гораздо больше.

Впервые ей мало танца, умеренное соприкосновение — лишь нетерпеливое предчувствие более страстных и безудержных объятий, она вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать себя.

Кристина поспешно выпивает один коктейль, второй, охлаждая губы, горячие то ли от полученных поцелуев, то ли от тех, которых она еще жаждет.

Наконец ей надоело сидеть среди толпы.

— Пора домой, — говорит она.

— Как ты хочешь.

В первый раз он говорит ей «ты», это действует на нее как нежный толчок в сердце, и, войдя в машину, она, само собой разумеется, падает в его объятия. Поцелуи теперь прерываются настойчивой речью. Она должна заглянуть к нему, всего на часок, ведь их номера на одном этаже, никто не увидит, вся прислуга уже спит. Его страстные мольбы проникают в нее, словно огонь. Еще успею отбиться, думает она в полузабытьи, захлестнутая жаркой волной, и лишь молча внимает словам, которые впервые в жизни слышит от мужчины.

Ее доставляют на то же место, откуда увезли. Так же неподвижна, как и прежде, спина шофера, когда Кристина выходит из машины. Она в одиночестве направляется к отелю — фонари у подъезда уже потушены — и быстро проходит через вестибюль; она знает, что он наверняка следует за ней, уже слышит его шаги по лестнице: он легко, по-спортивному прыгает через две ступеньки — вот уже совсем близко.

Сейчас догонит, чувствует она, и ее вдруг охватывает дикий, безумный страх. Она пускается бегом, оставляя преследователя позади, влетает в дверь и молниеносно запирает задвижку. И, упав в кресло, блаженно переводит дух: спасена!

«Спасена, спасена! — Кристина все еще дрожит. — Еще немного — и было бы поздно, ужас до чего я стала слабой, любой мог бы взять меня в такую минуту, такого со мной никогда не бывало. Ведь всегда держала себя в руках... ужас, как от этого нервничаешь, ну просто вся расстраиваешься. Счастье, что хватило сил добежать до комнаты и что успела запереться, а то Бог знает что бы еще случилось».

Она проворно раздевается в темноте, сердце у нее громко стучит. И даже потом, когда она, закрыв глаза и расслабленно вытянувшись, лежит в мягкой теплыни пуховиков, по ее телу все еще пробегает дрожь постепенно затихающего волнения.

«Глупости, и чего только я так перепугалась, на самом деле? Двадцать восемь лет, и все берегусь, отказываю, не решаюсь, все чего-то боюсь, жду. Зачем беречь себя, для кого? Ну ладно, в те страшные годы и отец, и мать, и я — все берегли, жалели, экономили, а другие в это время наслаждались жизнью; я никогда не могла решиться ни на что, и какова же награда за все? Так вот увянешь, состаришься и умрешь, не пожив и ничего не узнав, дома опять начнется жалкое прозябание, а здесь есть все, и надо это брать, а я боюсь, запираю дверь, берегусь, как девчонка, глупая трусиха, дура... дура? Может, все-таки открыть задвижку, может... нет, нет, не сегодня. Ведь еще уйма времени, целая неделя, восемь чудесных, бесконечных дней! Нет, больше не буду такой дурой, такой трусихой, надо взять все, всем насладиться, всем-всем...»

Вытянув руки, с улыбкой на губах, словно раскрывшихся для поцелуя, Кристина засыпает, не ведая, что это ее последний день, ее последняя ночь в этом высшем свете.

Тот, кто переполнен радостью, не наблюдателен: счастливицы — плохие психологи. Только беспокойство предельно обостряет ум, только ощущение опасности заставляет быть зорче и проницательнее. А Кристина и не догадывалась, что с некоторых пор ее присутствие здесь стало кое для кого причиной беспокойства и опасности. Та самая девушка из Мангейма, энергичная и целеустремленная Карла, чью приятельскую откровенность она доверчиво принимала за чистосердечную дружбу, была крайне озлоблена триумфальным успехом Кристины в обществе. До приезда этой американской племянницы инженер бурно флиртовал с ней и даже намекал на серьезные намерения — возможно, женитьбу. Но ничего окончательного сказано не было, не хватило, пожалуй, нескольких дней и одного подходящего часочка для решающего объяснения.

Тут появилась Кристина, что оказалось весьма некстати, ибо с этой поры интерес инженера переметнулся на Кристину: то ли на его расчетливый ум повлиял ореол богатства и аристократическое имя, то ли искрометная веселость девушки и

излучаемые ею волны счастья, — во всяком случае, немочка из Мангейма с ревнивым чувством завистливой школьницы и озлобленной женщины поняла, что ей дали отставку. Инженер танцевал теперь почти только с Кристиной и каждый вечер сидел за столиком ван Бооленов. И соперница рассудила, что если она не хочет его упустить, то пора принять экстренные меры. К тому же охотничьим инстинктом тертая девица уже давно почуяла, что в восторженности Кристины кроется что-то странное, не свойственное светскому обществу, и, пока все остальные пленялись обаянием непосредственной природы, Карла решила проверить свои подозрения.

Начала с того, что стала шаг за шагом навязываться в задушевные подруги. Днем, на прогулке, она нежно брала Кристину под руку и рассказывала о себе всякие интимности, мешая правду с ложью, чтобы выудить из той что-либо компрометирующее. Вечерами она приходила к ничего не подозревающей девушке в номер, присаживалась к ней на кровать, гладила ее руку, и Кристина, жаждущая осчастливить весь мир, принимала эту сердечную привязанность с благодарным восторгом и откровенно отвечала на все вопросы, не замечая ловушек; она инстинктивно уклонялась лишь от таких, которые касались ее сокровенной тайны. Например, когда Карла поинтересовалась, сколько у них в доме служанок и сколько комнат, Кристина сказала, что теперь из-за болезни матери они живут в сельской местности в полном уединении, раньше, конечно, было иначе.

Однако любопытная недоброжелательница все крепче цеплялась за мелкие ошибки и постепенно нащупала уязвимое место, а именно: что эта пришлая особа, которая своим сверкающим платьем, жемчужными бусами и ореолом богатства грозила затмить ее в глазах Эдвина, происходит на самом деле не из богатой среды. Кристина невольно оплошала в некоторых деталях светской жизни: она не знала, что в поло играют верхом на лошадях, не знала названий наиболее популярных духов, как «Коти» и «Убиган», не разбиралась в ценах



на автомобиле, никогда не бывала на скачках; десять или двенадцать подобных промашек показали, что она плохо осведомлена в этой области. Скверно обстояло и с образованием по сравнению со студенткой-химиком: ни гимназии, ни языков, то есть Кристина сама чистосердечно призналась, что несколько слов и фраз по-английски, выученных в школе, давным-давно забыты. Нет, с элегантно-фройляйн фон Боолен что-то не так, надо будет копнуть поглубже. И маленькая интриганка взялась за дело со всей энергией и хитростью юной ревнивицы.

Наконец (два дня ей пришлось говорить, слушать и выслеживать) сыщица ухватила за ниточку. По роду своих занятий парикмахерши любят поговорить; когда работают только руки, язык редко молчит. Проворная мадам Дювернуа, чей парикмахерский салончик был одновременно и главным рынком новостей, колоратурно рассмеялась, когда Карла во время мытья головы справилась о Кристине.

— Ah, la nièce de madame van Boolen, — серебристый смех разливался колокольчиком, — ah, ell était bien drôle à voir quand elle arrivait ici...\* У нее была прическа как у деревенской девушки, толстые косы, собранные в пучок шпильками, железными, тяжелыми, мадам Дювернуа даже не знала, что в Европе еще изготавливается такое уродство, две шпильки лежат где-то в ящике, она сохранила их как историческую редкость.

Это был уже вполне четкий след, и маленькая стервочка почти со спортивным азартом двинулась по нему. Он привел к горничной Кристины. Ловкий подход и чаевые развязали горничной язык, и вскоре Карла разузнала все: что Кристина приехала с одним плетеным чемоданчиком, что всю одежду и белье ей срочно купила или одолжила госпожа ван Боолен. Мангеймская студентка выведала малейшие детали, вплоть до зонтика с роговой ручкой. А поскольку злонамеренному человеку всегда везет, она случайно оказалась рядом с Кристиной,

---

\* А, племянница мадам ван Боолен. О, она выглядела очень забавно, когда пришла сюда... (фр.)

когда та осведомлялась у портье о письмах на имя Хофленер; тонкий, нарочито небрежный вопрос и неожиданное разъяснение, что фамилия Кристины вовсе не фон Боулен.

Этого было достаточно, даже с излишком. Пороховой заряд был готов, Карле оставалось лишь правильно подвести запальный шнур. В холле день и ночь, как на посту, сидела вооруженная лорнетом тайная советница Штротдман, вдова знаменитого хирурга. Ее кресло-коляска (старая женщина была парализована) считалось общепризнанным агентством светских новостей, последней инстанцией, которая решала, что допустимо, а что нет; этот разведывательный центр в тайной войне всех против всех работал круглосуточно, с фанатичной точностью.

К нему и обратилась коварная студентка, чтобы срочно и ловко сбыть ценный груз; разумеется, она притворилась, что делает это из самых добрых побуждений: какая очаровательная девушка эта фройляйн фон Боулен (то есть так ее, кажется, называют в здешнем обществе), да ведь, глядя на нее, нипочем не скажешь, что она из самых низов. И как, в сущности, замечательно со стороны госпожи ван Боулен, что она по доброте выдает эту продавщицу, или кто она там, за свою племянницу, шикарно разодела ее в свои платья и пустила в плавание под чужим флагом. Да, американцы в сословных вопросах мыслят демократичнее и великодушнее нас, остальных европейцев, которые все еще играют в «высший свет» (тайная советница вскинула голову, как бойцовый петух), где в конечном счете котируется не только платье и деньги, но образование и происхождение. Естественно, не обошлось без веселого описания деревенского зонтика, и вообще все вредоносно-забавные детали были вверены в надежные руки.

В то же утро эта история начала циркулировать по отелю, обрастая, как и всякий слух, всевозможным сором и грязью. Одни говорили, что американцы, мол, часто так делают: возьмут и выдрессируют какую-нибудь машинистку в миллионерши, лишь бы досадить аристократам, — есть даже какая-то пьеса на эту тему; другие утверждали, что она, вероятно,

любовница старика или его жены, короче говоря, дела пошли блестяще, и в тот вечер, когда Кристина, ни о чем не ведая, совершала эскападу с инженером, она стала во всем отеле главным предметом обсуждения. Разумеется, каждый, не желая отстать от других, заявлял, что тоже заметил в ней много подозрительного, никто не хотел оставаться в дураках. А так как память охотно прислуживает желаемому, то каждый, кто еще вчера чем-то восхищался в Кристине, сегодня находил это же смешным. И пока она, убаюканная юными грезами о счастье и улыбаясь во сне, продолжала себя обманывать, все уже знали о ее невольном обмане.

Тот, о ком пущен слух, всегда узнает об этом последним. Кристина не чувствует, что она шагает по холлу под перекрестным обстрелом язвительных и шпионящих взглядов. Доверчиво присаживается на самое опасное место, к госпоже тайной советнице, не замечая коварных вопросов — изо всех углов сюда уже направлены любопытные уши, — которые задает ей старая дама. Она почтительно целует седовласой неприятельнице руку и отправляется, как договаривалась, с тетей и дядей на прогулку. Здороваясь по пути со знакомыми, она опять-таки не замечает их легких ухмылок — а почему бы людям не быть в хорошем настроении? Коварство встречает светлый, радостный взор безмятежных глаз, излучающих праведную веру в доброту мира.

И тетя поначалу ничего не замечает; правда, ей в это утро кое-что показалось неприятным, но о причине она не догадалась. В отеле живет супружеская пара силезских помещиков Тренквиц, которые строго придерживаются феодальных правил, общаясь только с высшими классами и безжалостно игнорируя третье сословие. Для ван Боленов они сделали исключение, во-первых, потому, что те — американцы (то есть своего рода аристократы), вдобавок не евреи, и еще, пожалуй, потому, что завтра должен приехать их второй по старшинству сын Харро, чье имя тяжело обременено закладными и для кого знакомство с американской наследницей может оказать-

ся отнюдь не бесполезным. На десять часов утра они условились с госпожой ван Боулен о совместной прогулке и вдруг (после информации, поступившей от агентства советницы) без каких-либо объяснений передали в половине десятого через портье, что, к сожалению, прийти не могут. Однако, вместо того чтобы объяснить свой запоздалый отказ и хотя бы извиниться, они, проходя в обед мимо столика ван Боуленов, лишь сухо поздоровались.

— Странно, — с подозрением проворчала госпожа ван Боулен, весьма щепетильная в вопросах светского тона. — Чем мы их обидели? Что тут стряслось?

И опять странно: в холле после обеда (Энтони отправился вздремнуть, Кристина писала письмо) никто к ней не подошел. Ведь обычно к ней подсаживаются поболтать Кинсли или другие знакомые, а сейчас, словно по уговору, все остались за своими столиками, и она сидит одна-одинешенька в глубоком кресле, поражаясь, что никто из приятелей не показывается, а чванный Тренквиц даже не намерен извиниться.

Наконец кто-то подходит, но и он сегодня не такой, как всегда: весь натянутый, чопорный — генерал Элкинс. Как-то странно прячет глаза под усталыми покрасневшими веками, а ведь обычно у него прямой, открытый взгляд, что это с ним? Он чуть ли не церемонно кланяется.

— Вы позволите присесть подле вас?

— Ну конечно, милорд. Что за вопрос?

Она снова удивлена. Он так скованно держится, пристально разглядывает носки своих башмаков, расстегивает сюртук, поправляет складки на брюках. «Странно, что с ним? — думает она. — Будто готовится произнести торжественную речь».

Но вот старый генерал решительно поднимает тяжелые веки, открыв ясные, светлые глаза, это действительно похоже на всплеск света, на сверкание клинка.

— Дорогая миссис Боулен, мне хотелось бы обсудить с вами кое-что приватное, здесь нас никто не услышит. Но вы должны позволить мне быть вполне откровенным. Я все время разду-

мывал, как бы вам на это намекнуть, но в серьезных делах намеки не имеют смысла. Когда говоришь о личных и неприятных вещах, надо быть ясным и откровенным вдвойне. Так вот... я чувствую, что мой долг как друга — сказать вам, ничего не скрывая. Вы позволите?

— Ну разумеется.

Видимо, разговор этот дается старому человеку все же не очень легко, он делает еще небольшую паузу — вынимает из кармана курительную трубку и тщательно набивает ее. Причем его пальцы — от возраста или волнения? — почему-то дрожат.

Наконец, подняв голову, он четко произносит:

— То, что я хочу вам сказать, касается мисс Кристианы.

И снова умолкает.

Госпожа ван Боолен слегка испугана. Неужели мужчина, которому почти семьдесят лет, полагает всерьез... Она уже обратила внимание, что Кристина очень занимает его, неужели это зашло так далеко, что он... но лорд Элкинс, устремив на нее пытливый взор, спрашивает:

— Она действительно ваша племянница?

Госпожа ван Боолен чуть ли не оскорблена.

— Разумеется.

— И ван Боолен ее настоящая фамилия?

Вопрос застаёт госпожу ван Боолен врасплох.

— Нет, нет... она же моя племянница, а не мужа, она дочь моей сестры в Вене... Но позвольте, лорд Элкинс, вы ведь наш друг, что означает этот вопрос?

Англичанин сосредоточенно разглядывает трубку, его, кажется, чрезвычайно заинтересовало, равномерно ли горит табак, и он как следует уминает его пальцем. Затем, не меняя согбенной позы и почти не разжимая тонких губ, говорит, словно обращаясь к своей трубке:

— Видите ли... Здесь вдруг возник весьма странный слух, будто... и я почел своим дружеским долгом выяснить, в чем суть дела. После того как вы сказали, что она действительно ваша племянница, вопрос для меня исчерпан. Я был убежден,

что мисс Кристиана не способна на ложь, меня лишь... ну, понимаете, здесь болтают довольно странные вещи.

Госпожа ван Боолен, побледнев, ощутила дрожь в коленях.

— Что... скажите откровенно... что говорят?

Трубка, кажется, постепенно раскурилась, вспыхнул алый кружочек.

— Вы знаете, общество вроде здешнего, которое, в сущности, является случайным, всегда ригористичнее, чем общество постоянное. Этот двуличный болван Тренквиц, например, считает для себя оскорбительным сесть за один стол с человеком, у которого нет ни дворянского происхождения, ни денег; кажется, именно он и его супруга больше всех орали по вашему адресу: мол, вы позволили себе подшучивать над ними — нарядили какую-то мешаночку в шикарные платья и представили ее им под чужим именем как даму... будто этот чурбан понимает, что такое настоящая дама. Полагаю, мне не надо подчеркивать, что глубокое уважение и большая... очень большая... искренняя симпатия, которую я питаю к мисс Кристиане, ничуть не уменьшатся, если она в самом деле происходит... из неимущих кругов... пожалуй, у нее никогда не было бы того изумительного чувства радости и благодарности, если бы она была избалована роскошью, как этот тщеславный сброд. Так что я лично не усматриваю абсолютно ничего в том, что вы по доброте одарили ее своими платьями, и если я вообще спросил вас, насколько все это верно, то лишь затем, чтобы беспощадно пресечь гнусную болтовню.

Госпоже ван Боолен страх теперь уже перехватил горло, ей пришлось трижды вздохнуть, прежде чем она нашла в себе силы спокойно ответить:

— У меня нет никакого основания, милорд, скрывать от вас что-либо о происхождении Кристины. Мой зять был очень крупный коммерсант, один из самых уважаемых и знатных в Вене (тут она сильно преувеличила), однако в войну, как многие наиболее порядочные люди, он потерял состояние. Семье его пришлось несладко, но из гордости они предпочли

работать, нежели пользоваться нашей поддержкой. Вот так случилось, что Кристина теперь на государственной службе, в *post office*\*. Надеюсь, это не позор?

Генерал Элкинс с улыбкой поднимает глаза, выпрямляет спину, ему явно легче.

— Вы спрашиваете человека, который сам провел сорок лет на государственной службе. Если это позор, то я разделяю его с вашей племянницей. Теперь, когда мы ясно высказались, давайте хорошенько подумаем, что делать. Я сразу понял, что все их злобные наветы — гнусная ложь, ведь с годами редко полностью ошибаешься в людях, это одно из многих преимуществ старости. Взглянем на вещи трезво: боюсь, что положение мисс Кристианы будет отныне нелегким, нет ничего мстительнее и коварнее малого круга людей, которому хочется казаться знатным обществом. Такой спесивый олух, как Тренквиц, еще лет десять не простит себе, что был любезен с какой-то почтовой служащей, это будет донимать старого дурака хуже зубной боли. Не исключено, что и остальные будут допускать по отношению к вашей племяннице бестактности, по меньшей мере холодность и неприязнь она почувствует. Мне хотелось бы помешать этому... ведь я, как вы, наверное, заметили, очень ценю мисс Кристиану... очень... и я был бы счастлив избавить ее, такую доверчивую, от разочарований.

Лорд Элкинс умолк и задумался, его лицо опять вдруг становится старым и мрачным.

— Но удастся ли мне защитить ее надолго... этого я обещать не могу. Это зависит от... обстоятельств. Во всяком случае, я желаю наглядно показать чванным господам, что ценю ее больше, чем их денежную знатность, и что тот, кто позволит себе какую-нибудь грубость по отношению к ней, будет иметь дело со мной. Есть шутки, которых я не терплю, и пока я здесь, пусть эти шутники поостерегутся.

Он резко поднимается, решительный, молодцеватый, каким госпожа ван Боулен никогда его не видела.

---

\* Почтовое ведомство, контора (англ.).

— Вы позволите, — спрашивает он учтиво, — пригласить сейчас вашу племянницу на автопрогулку?

— Ну конечно.

Поклонившись, он направляется — госпожа ван Болен провожает его озадаченным взглядом — к конторке, щеки у него порозовели, как от сильного ветра, кулаки сжаты.

Что он задумал? Госпожа ван Болен смотрит ему вслед словно за гипнотизированная.

Кристина, занятая письмом, не слышит его шагов. Он видит склоненную над столом голову, красивые светлые волосы, видит облик девушки, которая пробудила в нем давно угаснувший пыл. Бедняжка, думает он, совсем беззаботная, ни о чем не знает, а ведь они, выбрав момент, нападут на тебя, и никто тебе не поможет. Он легко дотрагивается до ее плеча.

Кристина удивленно оглядывается и тотчас встает: она всегда, с момента знакомства, испытывает потребность оказывать этому необыкновенному человеку видимые знаки почтения. Он с усилием заставляет себя улыбнуться.

— Я к вам с просьбой, милая фройляйн Кристиана. Мне сегодня что-то нездоровится, с самого утра болит голова, не спится, не могу читать. И я подумал, может, на свежем воздухе станет лучше, проедусь куда-нибудь на машине, и, пожалуй, будет совсем хорошо, если вы составите мне компанию. Ваша тетушка разрешила пригласить вас. Так что, если вы согласны...

— Ну конечно... с удовольствием... это для меня честь...

— Тогда пойдете.

Он церемонно предлагает ей руку. Кристина удивлена и немного сконфужена, но как можно отказаться от такой чести! Твердо, уверенно и неторопливо лорд Элкинс идет с ней через весь холл. На каждого встречного он бросает зоркий быстрый взгляд, что ему несвойственно; всем своим видом он явно грозит: не трогайте ее! Всегда любезный, приветливый, он проходит мимо других молчаливым серым силуэтом, так что его едва замечаешь, но сейчас он с вызовом пристально смотрит в каждый встречный зрачок. Все сразу поняли демонстра-



тивность этого шествия рука об руку. Тайная советница виновато уставилась на них, Кинсли почти с испугом поздоровались, увидев, как бесстрашный, убеленный сединами паладин, холодно поглядывая, шагает с молодой девушкой; она — гордая и счастливая, не подозревающая ничего дурного; он — с жесткой командирской складкой у рта, словно идущий во главе полка в атаку на окопавшегося противника.

Когда они выходят из отеля, у дверей их случайно встречает Тренквиц и, растерявшись, здоровается. Лорд Элкинс подчеркнуто скользит мимо него, поднимает руку и, не донеся ее до шляпы, небрежно опускает, словно отвечая на угодливый поклон официанта. Жест, полный крайнего презрения, это похоже на пощечину. Он сам открывает дверцу автомобиля и, сняв шляпу, помогает Кристине войти; с таким же почтением он в свое время помог сесть в машину невестке английского короля, когда она прибыла с визитом в Трансвааль.

Госпожа ван Боолен испугалась тактичного сообщения лорда Элкинса гораздо сильнее, чем это было заметно по ней, ибо он, не подозревая того, задел самое больное ее место. Глубоко в сумраке сознания, где запрятано то, в чем признаешься себе наполовину и что хочется забыть, в том подземелье, куда собственное «я» соскальзывает лишь против воли, с содроганием, у Клер ван Боолен, давно обуржуазившейся заурядной дамы, затаился многолетний неискоренимый страх, который изредка оживает в кошмарных снах: страх, что раскроется ее прошлое.

Ибо тридцать лет назад, когда хитроумно удаленная из Европы манекенщица Клара, встретив ван Боолена, собралась за него замуж, у нее не достало мужества признаться этому человеку, из какого мутного источника явился небольшой капитал, который она отдала в качестве своего приданого. Она, не задумываясь, соврала ему, что эти две тысячи долларов унаследовала от деда, и доверчивый влюбленный муж за все годы супружеской жизни ни на минуту не усомнился в правдивости ее слов. При его флегматичном добродушии опа-

саться было нечего, но чем выше поднималась Клер по социальной лестнице, тем больше и больше пугала ее навязчивая мысль, что из-за какой-нибудь глупой случайности, неожиданной встречи, анонимного письма может вдруг всплыть давнишняя история. Поэтому она годами с маниакальным упорством избегала встреч с соотечественниками. Когда муж хотел представить ей какого-нибудь компаньона или заказчика из Вены, она уклонялась от беседы и, как только научилась бегло говорить по-английски, отказалась понимать немецкий. Она решительно прервала переписку с родными, ограничиваясь даже в самых важных случаях краткими телеграммами.

Однако страх не уменьшался, напротив, чем прочнее она чувствовала свое положение в американском обществе, чем больше приспособлялась к его строгим обычаям, тем чаще нервничала, боясь, что случайные, небрежно брошенные слова раздуют в пламя опасную искру, тлеющую под злой забвения; стоило какому-нибудь гостю упомянуть за столом, что он долгое время жил в Вене, и она не спала всю ночь, ощущая жжение этой искры в груди.

Потом грянула война, которая одним махом отодвинула все былое в недостижимую, почти мифическую даль. Газеты и журналы тех лет истлели, у людей появились иные заботы и темы для разговоров; все миновало, все забылось. Подобно тому как осколок снаряда постепенно инкапсулируется в ткани — поначалу он еще причиняет боль при смене погоды, но со временем теплая плоть перестает ощущать его как что-то инородное, — так и она, ведя здоровый образ жизни, богатая, счастливая, забыла о щекотливом эпизоде своей молодости; мать двух сыновей-молодцов, временами помощница мужу в делах, член филантропического союза, вице-президент общества содействия вышедшим на свободу заключенным, она пользовалась уважением и почетом в городе; ее долго сдерживаемые честолюбивые замыслы смогли наконец воплотиться также в новом доме, где охотно бывали самые знатные семейства.

Но главным было то, что постепенно она сама забыла о

грехе молодости. Наша память подкупна, она идет на поводу у желаемого, и намерение мысленно устранить какую-то неприятность медленно, но верно осуществляется; манекенщица Клара окончательно умерла в безупречной супруге торговца хлопком ван Боолена. Она настолько забыла о том эпизоде, что, едва сойдя на европейский берег, немедленно отправила сестре письмо с приглашением повидаться. Теперь же, когда из непостижимого коварства начали расследовать происхождение ее бедной племянницы, почему и не предположить, что заодно поинтересуются ею самой и станут выяснять ее происхождение?

Страх — как кривое зеркало, в котором любая случайная черта отражается чудовищно увеличенной и карикатурно четкой и воображение, стоит его только подстегнуть, выискивает несуразнейшие варианты. Самое абсурдное вдруг видится ей вполне возможным, и она с ужасом задумывается: в ресторане отеля за соседним столиком сидит какой-то старый господин из Вены, директор коммерческого банка, лет семидесяти или восьмидесяти, по фамилии Леви. Клер внезапно припоминает, что девичья фамилия жены ее умершего покровителя как будто тоже была Леви... что, если она сестра или кузина этого директора?.. Ведь он (а старики любят поболтать о скандальных историях времен своей молодости) по какому-нибудь намеку легко может вмешаться в разговоры. Клер даже похолодела от этой мысли, а страх продолжал коварно нашептывать: старик Леви необычайно похож на жену ее покровителя, такие же мясистые губы, такой же крючковатый нос... Доведя себя чуть ли не до бредового состояния, Клер уже не сомневается, что Леви — брат той женщины и, конечно, узнает бывшую манекенщицу, разворошит старую историю, на радость Кинсли и Гугенхаймам, а на следующий день Энтони получит анонимное письмо, которое разом перечеркнет тридцать лет благополучного брака.

Клер ухватилась за спинку кресла, ей показалось, что она теряет сознание; но тут же с силой отчаяния оттолкнулась от кресла. Ей стоило большого напряжения пройти мимо столика

Кинсли и любезно поздороваться. Те дружески улыбнулись в ответ по американскому стереотипу, который она сама тоже давно усвоила. Но навязчивый страх внушает Клер, что Кинсли улыбнулись как-то не так — коварно, иронически, вероломно что-то затаив; неприятным показался ей даже взгляд мальчика-лифтера и то, что встретившаяся в коридоре горничная случайно не поздоровалась с ней. Обессиленная, словно ей пришлось пробираться по глубокому снегу, Клер наконец распахнула спасительную дверь.

Ее супруг, только что поднявшийся после сиесты, стоит перед зеркалом и причесывается; воротник расстегнут, подтяжки переброшены через плечо, лицо еще помятое от лежания.

— Энтони, — говорит она, переводя дух, — нам надо кое-что обсудить.

— Ну что там еще? — Смазав бриолином гребешок, он расчесывает волосы на пробор, стараясь сделать это с геометрической точностью.

— Кончай, пожалуйста. — Ее терпение иссякло. — Надо спокойно все продумать. Дело очень неприятное.

Давно привыкший к темпераментным излияниям своей супруги, флегматик ван Боулен, как всегда, не склонен горячиться и принимать опрометчивые решения.

— Так уж очень? — спрашивает он, по-прежнему глядя в зеркало. — Надеюсь, не депеша от Дикки или Элвина?

— Нет. Да прекрати же наконец! Одеться потом успеешь.

— Ну? — Энтони кладет расческу и покорно усаживается в кресло. — Что там?

— Случилось ужасное. Кристина то ли вела себя неосторожно, то ли совершила еще какую глупость, короче — все открылось, весь отель судачит об этом.

— А что, собственно, открылось?

— Ну как же — с платьями! Что она носит мои платья, что приехала сюда обыкновенной продавщицей, а мы раздели ее с головы до ног и выдаем за благородную даму... чего только не болтают... Теперь ты понимаешь, почему Тренквицы избегают нас... конечно, их взбесило, ведь они на что-то рассчиты-

вали со своим сыном и думают, что мы им наврали... Теперь мы оказались в неловком положении перед всем отелом. Что-то натворила эта недотепа! Боже, какой позор!

— Почему позор? У всех американцев есть бедные родственники. Мне и в голову не придет разглядывать в лупу племянников Гугенхаймов, Роски или этих Розенштоков, которые из Ковно; держу пари, вид у них куда беднее. Не понимаю, почему должно быть позорным, если мы ее прилично одели.

— Потому... — нервничая, Клер повышает голос, — потому, что они правы, ведь все сразу видно, если кто-то пришелся здесь не ко двору, не из их общества... ну, тот, кто не умеет вести себя так, что незаметно, откуда он... Это ее вина; если бы она не повела себя вызывающе, держалась так же скромно, как вначале, то никто ничего бы не заметил... Но она все время носится туда-сюда, всегда лезет вперед, хочет быть везде первой, во все ей надо вмешаться, со всеми переговорить... С каждым готова подружиться... и неудивительно, что у всех в конце концов возникает вопрос: кто она такая, собственно, откуда, и вот... и вот в результате скандал. Все только о ней говорят и потешаются над нами... болтают ужасные вещи.

Энтони весело смеется:

— Пусть болтают... мне это безразлично. Она славная девушка и нравится мне, несмотря ни на что. Бедная она или нет, никого не касается. Я никому здесь не должен ни цента, и мне наплевать, считают они нас знатными или нет. Если мы кому-то не по нраву, пусть пеняют на себя.

— А вот мне совсем не безразлично, да, да! — Клер, сама того не замечая, говорит еще громче и пронзительнее. — Я не потерплю, чтобы про меня сплетничали, будто я одурачила всех и выдала бедную Золушку за герцогиню. Не позволю, чтобы какой-то Тренквиц вел себя со мною по-хамски: мы его приглашаем, а он посылает к нам портье, вместо того чтобы лично извиниться. Нет, я не собираюсь ждать, пока все отвернутся от нас, этого мне не надо. Видит Бог, я приехала сюда ради удовольствия, а не для того, чтобы злиться и нервничать. Нет уж, увольте.

— И что же, — он слегка зевнул, прикрыв рот рукой, — ты предлагаешь?

— Уехать!

— Как? — Грузный, невозмутимый, он прямо подсакивает в кресле, будто ему отдавили ногу.

— Да, уехать, завтра же, с утра. Они заблуждаются, если думают, что я стану ломать перед ними комедию, объяснять, что и почему, а в конце концов еще и извиняться... Будь это еще другая публика, а не такие, как Тренквиц и ему подобные... Здешнее общество меня так и так не устраивает, исключая лорда Элкинса, это какое-то случайное сборище, сплошная скука и серость, и уж перебивать мне косточки не их ума дело. Кроме того, я здесь неважно себя чувствую, две тысячи метров высоты не для меня, я вся изнервничалась, ночами не сплю... ты, конечно, не замечаешь этого, ложишься и тут же засыпаешь, мне бы твои нервы, всю неделю мечтаю выспаться. Мы уже три недели здесь — более чем достаточно! Что касается девочки, мы выполнили свой долг по отношению к Мэри с избытком. Мы ее пригласили, она отдохнула и повеселилась, даже слишком, и хватит. Мне не в чем себя упрекнуть.

— Но куда... куда же ты собираешься?

— В Интерлакен! Там не так высоко, к тому же там Линсеи, с которыми мы так хорошо провели время на пароходе. Очень милые люди, в самом деле, не то что эта разношерстная компания... кстати, позавчера я получила от них письмо, зовут нас. Если рано утром выедем, к обеду уже будем с ними.

Энтони еще сопротивляется:

— Вечно у тебя все вдруг! Ну зачем ехать в такую рань? У нас же есть время!

Но вскоре он уступает. Он всегда уступает, зная по долгому опыту, что Клер, если чего-то сильно хочет, непременно добывается своего, и всякое сопротивление — лишь напрасная трата сил. Вдобавок ему все равно. Тот, кто находит отдых в самом себе, не слишком остро воспринимает окружающий

мир; сидит ли он за покером с Линсеями или с Гугенхаймами, называется ли гора за окном Шварцхорн или Веттерхорн, а отель — «Астория» или «Палас», старому флегматику, в сущности, безразлично, ему лишь бы не спорить. Прекратив борьбу, он терпеливо слушает, как Клер по телефону отдает распоряжения портье, поглядывает, забавляясь, как она поспешно вытаскивает чемоданы и с непонятым азартом укладывает одежду, потом он закуривает трубку и отправляется на карточную игру; тасуя и сдавая карты, он больше не думает ни об отъезде, ни о жене и менее всего о Кристине.

В то время как в отеле и чужие люди, и родственники Кристины возбужденно обсуждают ее появление и необходимость отъезда, серый автомобиль лорда Элкинса бороздит ветреную синеву высокогорной долины; ловко и отважно спускаясь по белому серпантину в Нижний Энгадин, он приближается к Шульс-Тараспу. Пригласив девушку, лорд, собственно говоря, намеревался публично взять ее под свою защиту и после недолгой прогулки привезти назад; но, видя ее рядом с собой, оживленную, разговорчивую, с беззаботными глазами, в которых отражалось небо, он решает, что нет смысла укорачивать ей, да и себе, радостные часы, и потому велит шоферу ехать дальше и дальше.

Не надо торопиться, узнать все равно успеет, думает старик, с неодолимым чувством нежности поглаживая ее руку. Вообще-то стоило предупредить ее заранее, осторожно, исподволь подготовить к тому, чего ей следует ожидать от этого общества, чтобы внезапное охлаждение к ней причинило меньшую боль. Он как бы невзначай намекает на злобный характер тайной советницы и тактично предупреждает о коварстве приятельницы-немочки; но наивная, доверчивая душа со всем пылом юности заступает за своих лютых врагов: она же такая добрая, старая советница, принимает такое искреннее участие во всем, а немочка из Мангейма — лорд Элкинс и не подозревал об этом, — какая она смышленная, веселая, остроумная, просто она, видимо, робует в его присутствии. И вообще все здесь такие чудесные, веселые, такие доброжелательные к ней. Кри-

стине, в самом деле, порой даже совестно за то, что ей все это досталось.

Старик сосредоточенно разглядывает кончик своей трости. Со времен войны у него сложилось суровое мнение о людях и нациях: он обнаружил, что все они эгоистичны и не задумываются о том, что бывают несправедливы к другим. В кровавом болоте Ипра и в известняковом карьере под Суассоном (где погиб его сын) навсегда погребен идеализм его юности, воспитанный на лекциях Джона Стюарта Хилла и его учеников, веровавших в моральную миссию человечества и духовный расцвет белой расы. Политика вызывает у него отвращение, равнодушная атмосфера клуба и натянутость официальных банкетов опротивели ему. После смерти сына он избегает новых знакомств; в собственном поколении его злит упрямое нежелание признать правду и неспособность жить новым временем, а не довоенным, молодое же поколение раздражает своим легкомыслием и нахальным всезнайством.

Встретив Кристину, он впервые опять почувствовал, что у человека есть вера, есть неуловимая и святая благодарность только за саму молодость, и, общаясь с ней, понял, что разочарование в жизни, которое с болью испытывает одно поколение, остается, к счастью, непонятным и недействительным для последующего и с каждой новой юностью переживается заново. Она поразительно умеет быть благодарной за самое малое, думает он радостно, и ему, как никогда еще, страстно, мучительно захотелось погреться возле живительного огонька и, кто знает, быть может, удержать его для себя. Несколько лет я смогу ее оберегать, думает он, и она, возможно, никогда или только когда-нибудь узнает о подлости общества, которое пресмыкается перед именитым и презирает бедного. Ах, — он любит, как, по-детски приоткрыв рот и зажмурившись, она глотает свистящий горный воздух, — еще хотя бы несколько лет молодости, и с меня хватит. И пока она, снова повернувшись к нему, весело болтает, он слушает ее лишь краем уха, обдумывая с внезапно охватившей его решимостью, как бы



поделикатнее в этот час, который может и не повториться, завести речь о совместном будущем.

В Шульс-Тараспе они выпили чаю. Потом, сидя на парковой скамейке, лорд Элкинс осторожно, обиняком, приступил к делу. В Оксфорде у него две племянницы, примерно ее возраста, если она захочет приехать в Англию, то сможет пожить у них; ему доставит удовольствие пригласить ее к ним, ну а потом, если, конечно, ей не будет в тягость общество старого человека, он будет счастлив показать ей Лондон. Правда, он не уверен, есть ли у нее возможность вообще покидать Австрию, не связана ли она чем-нибудь дома, он имеет в виду: душевно связана. Вопрос поставлен ясно. Однако Кристина в своей восторженности не поняла его. О нет, ей очень хочется посмотреть мир, и Англия, говорят, замечательная, она так много слышала об Оксфорде с его гребными гонками, ведь нет другой страны, где так любят спорт, где так прекрасно быть молодым.

Лицо старика омрачилось. Ни слова она не сказала о нем самом. Думала только о себе, о своей молодости. Решимость снова покинула его. Нет, думает он, это преступно — заточить молодое существо, в котором жизнь бьет ключом, в древний замок, к старому человеку. Нет, не дожидайся отказа, не будь смешным! Простись с этим, старик! Не воротись! Поздно!

— Не пора ли нам вернуться? — спрашивает он изменившимся вдруг голосом. — Боюсь, ваша тетушка будет беспокоиться.

— Хорошо, — отвечает она и с восторгом добавляет: — Ах, было так чудесно, здесь все так бесподобно красиво.

Он садится в машину рядом с ней; на обратном пути старик больше молчит, грустя о ней, грустя о себе. Но она не догадывается, что происходит в нем, и не подозревает, что произойдет с ней; раскрасневшиеся щеки подставлены свистящему ветру, ясный взгляд устремлен на пейзаж.

Когда они вышли из машины, в отеле только что прозвучал гонг. Благодарно пожав почтенному человеку руку, Кристина бежит наверх переодеться: теперь это уже стало у нее привыч-

кой. В первые дни занятие туалетом всякий раз вызывало страх, напряжение, озабоченность и в то же время было веселой, волнующей игрой. Всякий раз она дивилась в зеркале какому-то новому, наряженному существу, в которое неожиданно преображалась. Теперь же для нее быть каждый вечер красивой и элегантной — нечто само собой разумеющееся. Несколько движений — платье легкой цветной волной стекает по тугой груди, уверенный мазок по красным губам, волосы откидываются назад, шаль набрасывается на плечи, и она готова, в земной роскоши она чувствует себя столь же естественно, как в собственной коже! Еще один взгляд через плечо в зеркало: хорошо! Довольна! И она мчится к тете звать ее на ужин.

Но, открыв дверь, она в изумлении застывает: в комнате, отличавшейся педантичным порядком, царит полнейший хаос, на полу раскрытые чемоданы, на стульях, на кровати, на столе разбросаны шляпы, туфли и всевозможная одежда. Тетя в домашнем халате, склонясь над чемоданом, пытается коленом закрыть упрямую крышку.

— Что... что случилось? — удивляется Кристина.

Тетя намеренно не поднимает глаз и с покрасневшим лицом продолжает ожесточенно давить на чемодан. Пыхтя и чертыхаясь, она отвечает:

— Мы... о черт!.. Ты закроешься или нет?.. Мы уезжаем.

— Да?.. Почему? — Рот у Кристины невольно открывается.

Тетя еще раз бьет по замку, наконец он защелкнулся. Тяжело дыша, она распрямляется.

— Да, Кристль, жаль, конечно, я тоже огорчена! Но ведь я с самого начала говорила Энтони, что он плохо перенесет высокогорье. Для пожилых людей это не годится. Днем у него опять был приступ астмы.

— Боже мой! — Кристина устремляется навстречу старику, который, ни о чем не подозревая, выходит в эту минуту из смежной комнаты. Дрожа от испуга, она с пылкой нежностью берет его за руки. — Как ты себя чувствуешь, дядя? Тебе

лучше? Господи, если б я знала, никуда бы не поехала! Но сейчас ты хорошо выглядишь, честное слово, тебе лучше, да?

В полной растерянности он смотрит на нее: испуг ее неподделен. Она совершенно забыла о себе. И еще не осознала, что должна уезжать. Только одно поняла, что добрый старый человек болен. И испугалась за него, не за себя.

Энтони, как всегда невозмутимый и уж совсем не хворый, испытывает неловкость от столь искреннего опасения за его здоровье и ласкового участия. Он начинает догадываться, в какую отвратительную комедию его втянули.

— Ну что ты, деточка, — бурчит он (черт побери, почему Клер все валит на меня?), — ты же знаешь Клер, она вечно преувеличивает. Я чувствую себя вполне здоровым, и, если б от меня зависело, мы бы остались. — И, скрывая досаду на жену, поставившую его в ложное, не совсем еще понятное ему положение, он почти грубо добавляет: — Клер, да брось ты наконец, время еще есть. Давай посидим спокойно последний вечер с нашей доброй девочкой.

Клер тем не менее продолжает возиться и молчит, видимо опасаясь неизбежных объяснений. Энтони, в свою очередь (пусть сама выпутывается, я тут ни при чем), сосредоточенно смотрит в окно. Между обоими, как нечто ненужное и тягостное, молча и растерянно стоит Кристина. Что-то случилось, она это чувствует, что-то, чего она не понимает. Ярко сверкнула молния, Кристина с бьющимся сердцем ждет грома, а его все нет и нет, но ведь он должен быть. Она не осмеливается спросить, боится подумать, однако каждым нервом чувствует: случилось что-то скверное. Может, они поссорились? Может, плохие вести из Нью-Йорка? Что-то на бирже, какие-нибудь дела, банкротство, об этом сейчас каждый день пишут газеты. Или у дяди действительно был приступ и он молчит, только чтобы меня не тревожить? Стою как истукан и не знаю, что мне тут делать. Но ничего не меняется, по-прежнему молчание, молчание; тетя продолжает суетиться, дядя беспокойно шагает взад-вперед, а в груди Кристины гулко колотится сердце.

Вот оно — избавление! — раздается стук в дверь. Входит

коридорный, за ним второй с белой скатертью, салфетками и приборами. К удивлению Кристины, они убирают со стола курительные принадлежности, покрывают его скатертью и расставляют приборы.

— Ты знаешь, — говорит наконец тетя, — Энтони решил, что будет лучше поужинать сегодня в номере. Терпеть не могу эти бесконечные прощания и расспросы — куда, надолго ли, кроме того, я почти все свое упаковала, и смокинг Энтони уже в чемодане. Да и спокойнее нам здесь, уютнее, не правда ли?

Официанты вкатывают столик на колесах и подают кушанья из горячих никелированных кастрюль. Когда эти выйдут за дверь, думает Кристина, должны же мне, в конце концов, все объяснить. Она робко поглядывает на лица близких ей людей: дядя, низко склонившись над тарелкой, усердно орудует ложкой, тетя выглядит бледной и смущенной.

И вот она говорит:

— Ты, наверное, удивлена, Кристль, что мы так быстро решились. Но у нас в Америке все делается quick\*, это одна из хороших привычек, которые там приобретаешь. Главное — не затягивать то, к чему не лежит душа. Не идет какое-то дело — бросай его, начинай новое; неуютно тебе на этом месте — собирай чемоданы, уезжай куда-нибудь еще. Вообще-то я не хотела тебе говорить, потому что видела, как ты здесь превосходно отдохнула, но мы уже давно неважно себя чувствуем, я все время плохо сплю, а Энтони... не выносит этого разреженного воздуха. Да еще вот неожиданно телеграмма пришла сегодня от наших друзей из Интерлакена, ну, мы и решили: съездим туда на несколько деньков, а потом еще в Экс-ле-Бен. Да, у нас... понимаю, тебе это в диковинку... все делается quick.

Кристина наклоняется над тарелкой: лишь бы не смотреть сейчас тете в глаза! Что-то покорило ее в тоне, в лихости болтовни: в каждом слове звучала какая-то фальшь, какая-то неестественная бодрость. За этим наверняка что-то кроется,

---

\* Живо, проворно (англ.).

чувствует Кристина. Должно еще что-то последовать — и следует.

— Конечно, лучше всего, если б ты могла поехать с нами, — продолжает тетя, отделяя от пулярки крылышко. — Но Интерлакен, думаю, тебе не понравится, это не место для молодых людей, и еще вопрос: стоит ли тебе мотаться на два-три денька, которые остались от отпуска. Здесь ты замечательно отдохнула, чистый воздух пошел тебе весьма впрок... да, я всегда говорю, для молодежи ничего нет лучше высокогорья, надо, чтобы Элвин и Дикки разок сюда приехали, а вот для старых, изношенных, отбарабанивших сердец Энгадин-то и не годится. Да, конечно, мы бы были очень рады, ведь Энтони очень к тебе привязался, но, с другой стороны, туда семь часов и обратно семь, для тебя это многовато, в конце концов, на следующий год мы опять сюда приедем... Разумеется, если ты хочешь с нами в Интерлакен...

— Нет, нет, — отвечает Кристина, вернее, отвечают ее губы, машинально, как продолжают считать вслух под наркозом, когда сознание уже давно отключилось.

— Я даже думаю, тебе лучше бы поехать прямо домой, отсюда есть один необычайно удобный поезд — я справлюсь у портье, — отходит около семи утра, завтра вечером будешь в Зальцбурге, а послезавтра дома. Представляю, как мать обрадуется, дочка такая загорелая, посвежевшая, юная, в самом деле, выглядишь ты роскошно, и лучше всего, если ты доведешь себя в таком отдохнувшем виде домой.

— Да, да, — еле слышно капают два слога с губ Кристины. И зачем она еще сидит здесь? Ведь оба явно хотят отделаться от нее, и поскорее. Но почему? Что-то случилось, что-то наверняка случилось. Она машинально продолжает есть, ощущая в каждом куске какую-то горечь, и думает только об одном: я должна сейчас что-нибудь сказать, что-нибудь такое легкое, небрежное, чтобы только не показать, что сердце обливается слезами и горло сжимает от обиды, и сказать это как бы между прочим — холодно, равнодушно.

Наконец ей приходит на ум:

— Я принесу сейчас твои платья, мы их сразу уложим. — И она поднимается из-за стола.

Но тетя спокойно усаживает ее обратно.

— Не стоит, деточка, время еще есть. Третий чемодан я уложу завтра. Оставь все у себя в номере, горничная принесет. — И, внезапно устыдившись, добавляет: — Впрочем, знаешь, одно платье, красное, оставь себе, да, мне оно больше не нужно... Оно так идет тебе... ну и, конечно, мелочи — свитер, белье, это само собой разумеется. Только два других, вечерних, понадобятся мне еще для Экс-ле-Бен, там, знаешь, непрерывная смена туалетов, кстати, изумительный отель, говорят... и для Энтони, надеюсь, там будет лучше, теплые ванны, и дышать гораздо легче, и...

Тетя говорит без умолку. Сложное для нее препятствие преодолено. Кристине деликатно внушено, что завтра ей надо уехать. Теперь все опять вошло в привычную колею и покатилося легко, без помех, она весело рассказывает одну за другой разные скандальные истории, приключившиеся в отелях, в поездках, рассказывает об Америке, а Кристина, храня тягостное молчание, с большим трудом выдерживает этот поток крикливо-равнодушной болтовни. Скорее бы конец. И вот, воспользовавшись краткой паузой, она встает.

— Не хочу вас больше задерживать. Пусть дядя отдохнет, да и ты устала от сборов. Может, чем-нибудь помочь тебе?

— Нет, нет. — Тетя тоже поднимается. — Осталась ерунда, сама управлюсь. Тебе лучше сегодня лечь пораньше. Ведь вставать-то, думаю, часов в шесть придется. Не обидишься, если мы не проводим тебя на вокзал, а?

— Нет, что ты, зачем же, это ни к чему, — глухим голосом отвечает Кристина, глядя в пол.

— Напишешь мне, как дела у Мэри, правда? Сразу напиши, когда приедешь. Ну а в будущем году, как договорились, опять увидимся.

— Да, да, — говорит Кристина. Слава Богу, теперь можно и уходить. Еще один поцелуй дяде, который почему-то до крайности смущен, поцелуй тете, и она — быстрее прочь,

быстрее! — идет к двери. Но тут в последний момент, когда она уже взялась за ручку, ее догоняет тетя. Еще раз (и это заключительный удар) страх ударил ее молотком в грудь.

— Кристль, ты сразу же пойдешь к себе, да? Ляжешь и как следует выспишься. Вниз больше не ходи, не то... понимаешь, не то завтра с утра все набегут прощаться... а мы этого не любим... Лучше просто уехать, без долгих церемоний, потом можно послать открытки... а то всякие букеты, проводы... терпеть не могу этого. Значит, вниз ты не пойдешь, сразу в постель. Обещаешь?

— Да, да, конечно, — отвечает Кристина еле слышно и закрывает дверь.

И только по прошествии нескольких недель она вспомнит, что, прощаясь, не сказала им ни слова благодарности.

Едва Кристина закрывает за собой дверь, остатки самообладания покидают ее. Как подстреленный зверек, который, прежде чем рухнуть замертво, делает по инерции еще несколько нетвердых шагов, так и она, опираясь о стену, плетется до своей комнаты и там падает в кресло, обессиленная, окаменевшая. Она не понимает, что с ней случилось. Почти оглушенным сознанием она ощущает только боль от коварно нанесенного удара, но не ведает, кто его нанес. Что-то произошло, что-то совершилось против нее. Ее выгоняют, и она не знает почему.

Она изо всех сил пытается размышлять. Но мозг остается оглушенным. Что-то там смутное, оцепеневшее не дает ответа. И то же оцепенение вокруг нее — стеклянный гроб, еще более страшный, чем темная сырая могила, потому что в нем издевательски яркий свет, ослепительная роскошь, язвительный комфорт и — тишина, леденящая тишина, и никакого ответа на кричащий в ее душе вопрос: что я сделала? Почему они прогоняют меня? Невыносимо думать об этом, выдерживать нестерпимую тяжесть в груди, словно на нее навалился весь гигантский дом со своими стенами, балками, огромной крышей, с четырьмя сотнями жильцов, и еще этот ядовито-ле-

дяной белый свет, и кровать с вышитым пуховым одеялом, зовущая ко сну, и мебель, располагающая к безмятежному отдыху, и зеркало, манящее счастливым взгляд; ей кажется, что она окоченеет, если останется сидеть в этом кресле, или начнет вдруг в приступе ярости бить стекла, или расплчется навзрыд, в голос, так что переполошит весь отель. Нет, надо бежать отсюда! Бежать! Куда... Она не знает. Но главное — прочь отсюда, из этого жуткого, удушающего безмолвия.

И внезапно, сама не зная, чего хочет, она вскакивает и выбегает в коридор; позади качается распахнутая дверь, и в свете люстры бесцельно блистают друг перед другом латунь и стекло.

Она спускается по лестнице как сомнамбула. Обои, картины, ступеньки, перила, вазы, лампы, постояльцы, официанты, горничные — все предметы и лица призрачно плывут мимо. Кое-кто из встречных удивлен: с ней здороваются, а она не замечает. Но взгляд ее незрячий, она не сознает, что видит, куда идет и чего хочет, только ноги с необъяснимым проворством несут ее вниз по лестнице.

Оборвался какой-то контакт, который обычно разумно регулирует ее действия, она идет без всякой цели, только вперед, вперед, гонимая невыразимым, безотчетным страхом. У дверей в холл она вдруг резко останавливается; что-то пробуждается в ее сознании, она вспоминает, что здесь танцуют, смеются, весело проводят время, и тут же спрашивает себя: зачем? Зачем я сюда пришла? И об этот вопрос разбивается сила, гнавшая ее вперед. Кристина чувствует, что не может сделать больше ни шагу, но едва она останавливается, как внезапно начинают шататься стены, ковер убегает из-под ног, бешено качаются люстры, описывая какие-то круги. Я падаю, мелькает в ее сознании, падаю. Инстинктивно она хватается за портьеру и сохраняет равновесие. Однако ноги ее не слушаются. Прижавшись всем телом к стене, то открывая, то закрывая глаза, она стоит в оцепенении, тяжело дышит и не может двинуться с места.



В эту минуту инженер-немец, направлявшийся к себе в номер за фотографиями, которые хотел показать одной даме, увидел прижавшуюся к стене странную фигуру, застывшую, с неподвижным, невидящим взглядом; в первое мгновение он не узнал Кристину. Но затем в его голосе вновь зазвучал прежний развязно-игривый тон:

— А-а, вот вы где! Что ж не заходите в холл? Или выслеживаете какую-нибудь тайну? Но почему... что... что с вами?

Он изумленно уставился на нее.

При первом же звуке его голоса Кристина вздрогнула, будто сомнамбула, которую неожиданный оклик поразил словно выстрел. Испуганно вытаращенные глаза, высоко взметнувшиеся брови, рука, заслонившая лицо, как от удара.

— Что с вами? Вам нездоровится?

Кристина пошатнулась, но он успел поддержать ее. В глазах у нее потемнело. Однако, ощутив его руку, человеческое теплое прикосновение, она сразу оживилась.

— Мне надо поговорить с вами... немедленно... только не здесь... не при посторонних... я должна поговорить с вами наедине.

Она не знает, что должна ему сказать, ей необходимо поговорить, поговорить хоть с кем-нибудь, выкричаться.

Зная ее обычно спокойный голос, инженер несколько озадачен столь изменившимся тоном. Вероятно, она больна, размышляет он, ее уложили в постель, поэтому и не пришла, а после все-таки решила спуститься тайком... у нее наверняка жар, по блеску глаз видно. Или истерический припадок, чего только с женщинами не насмотришься... в любом случае прежде всего успокоить, успокоить, не дать ей почувствовать, что считаешь ее больной, делать вид, что согласен на все.

— Ну конечно, с удовольствием, фройляйн, — говорит он ей, как ребенку, — только, пожалуй (лучше, чтобы нас не видели), пожалуй, выйдем на улицу... на свежий воздух... Вам станет легче... Здесь в холле ужасно жарко топят...

Прежде всего успокоить, успокоить, думает он и, взяв ее под руку, как бы случайно нащупывает на запястье пульс,

чтобы проверить, есть ли жар. Нет, рука холодна как лед. Странно, думает он, еще более озадаченный, очень странно.

Перед отелем высоко покачиваются яркие фонари, слева темнеет лес. Там, под деревьями, она стояла вчера, но ей кажется, это было тысячу лет назад, ни одна кровинка в ней не вспоминает об этом. Он осторожно ведет ее туда (лучше, где темно, кто ее знает, что с ней), она безвольно подчиняется. Сначала отвлечь, размышляет он, говорить о чем угодно, не пускаться ни в какие дискуссии, болтать просто так, это успокаивает лучше всего.

— Здесь куда приятнее, не правда ли?.. вот, накиньте мое пальто... ах, какая чудесная ночь... взгляните на звезды... до чего же глупо, что мы целыми вечерами торчим в отеле.

Но дрожащая девушка не слышит его. Что звезды, что ночь — она чувствует только самое себя, только свое годами заглушаемое, подавляемое «я», которое внезапно, в муках, взбунтовалось и разрывает ее грудь. И тут она, совершенно помимо воли, с ожесточением хватается за руку.

— Мы уезжаем... завтра... совсем... больше я никогда сюда не приеду, никогда... вы слышите, никогда... нет, я этого не вынесу... никогда больше... никогда...

У нее жар, думает с беспокойством инженер, ее всю трясет, она больна, надо срочно вызвать врача. Пальцы Кристины с еще большей силой впиваются в его руку.

— ...Но почему... не понимаю, почему я так внезапно должна уехать... что-то, видимо, случилось... но что, не знаю. Еще днем они были так милы со мной и ни слова об этом не говорили, а вечером... вечером сказали, что завтра я должна уехать... завтра утром... немедленно, а почему — не знаю... почему так вдруг — гонят... гонят... словно выбрасывают в окно ненужную вещь... не понимаю, просто не понимаю... что могло случиться?..

Ах вот что, инженеру все становится ясно. Как раз незадолго до этого ему сообщили сплетни о ван Боуленах, и он невольно испугался: ведь чуть не сделал ей предложение! Теперь он понял,

что дядя с тетей в спешном порядке отсылают бедняжку, чтобы она в дальнейшем не причинила им неудобств. Гром грянул.

Только не поддаваться, быстро соображает он, не связываться. Отвлекать и отвлекать! Он начинает говорить вокруг да около: мол, это, наверное, не окончательно, ее родственники, возможно, еще передумают, и на будущий год...

Но Кристина совсем не слушает и не думает, она хочет избавиться от переполняющей ее боли, она протестует во весь голос, резко, неистово, топая ногой, как беспомощный ребенок в гневе.

— Но я не хочу! Не хочу... Не поеду сейчас домой... что мне там делать, я там больше не выдержу... нет... я там погибну, сойду с ума... Клянусь вам, я не могу, не хочу... Помогите мне... Помогите!

Это крик утопающего, пронзительный и уже полузадушенный, голос внезапно захлебывается в потоке слез, она сотрясается в безудержных рыданиях.

— Не надо, — просит он, растроганный против своей воли. — Не плачьте! Не надо!

И, чтобы успокоить, машинально привлекает ее к себе. Она податливо и как-то вяло и грузно приваливается к его груди. В этой податливости нет радости, только бесконечное изнеможение, невыразимая усталость. Ей хочется всего лишь прислониться к живому человеку, чтобы чья-нибудь рука погладила ее по голове, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной, такой ужасно одинокой и отверженной. Постепенно она успокаивается, судорожные рыдания переходят в тихий плач.

Инженеру весьма неловко. Он, посторонний мужчина, стоит в тени деревьев, всего в двадцати шагах от отеля (в любую минуту их могут увидеть, кто-то пройдет мимо), и держит в объятиях плачущую девушку, ощущая теплое дыхание прильнувшей к нему груди. Его охватывает жалость, а жалость мужчины к страдающей женщине всегда проявляется в нежности, пусть невольной. Только бы успокоить, думает

он, только бы успокоить. Лево́й руко́й (за правую Кристина все еще держится, чтобы не упасть) он, как гипнотизер, гладит ее по голове. Потом, наклонившись, целует волосы, затем виски и, наконец, дрожащие губы. И тут у нее бессвязно вырывается:

— Возьмите меня с собой, заберите меня... Уедем отсюда... куда хотите... куда хочешь... только чтобы не возвращаться... не возвращаться домой... Увезите, куда вам захочется, на любое время... Только увезите! — В лихорадочном возбуждении она трясет его, словно дерево. — Возьми меня с собой!

Инженер испуган. Надо прекратить, думает этот человек практического ума, быстро и решительно прекратить. Как-нибудь подбодрить и отвести в отель, а то дело становится неприятным.

— Да, деточка, — говорит он. — Конечно, деточка... не нужно только спешить... мы все непременно обсудим. До утра есть еще время подумать... может быть, ваши родственники тоже сожалеют и примут иное решение... завтра нам все покажется яснее.

— Нет, не завтра, нет! — настаивает она. — Завтра я должна уехать, рано утром, совсем рано... Они выпроваживают меня... отправляют, как почтовую посылку, срочную, быстро, быстро... А я не позволю, чтобы меня вот так отсылали... не позволю... — И, вцепившись в него еще крепче: — Возьмите меня с собой... сейчас же... сейчас... помогите мне... я... я больше не вынесу.

Пора кончать, размышляет инженер. Только ни во что не ввязываться. Она не в своем уме, не сознает, что говорит.

— Да, да, деточка, — гладит он ее по голове, — само собой разумеется, понимаю... мы обо всем сейчас там поговорим, не здесь, здесь вам нельзя больше оставаться. Вы можете простыть... без пальто, в тонком платье... Идемте, сядем в холле... — Он осторожно высвобождает свою руку. — Ну пойдете, деточка.

Кристина пристально смотрит на него. Она вдруг перестала всхлипывать. В состоянии охватившего ее отчаяния, когда

рассудок не способен что-либо воспринимать, она не расслышала, что он говорит, и ничего не поняла, но ее тело почувствовало, что теплую нежную руку боязливо убирают. Тело первым поняло то, что с испугом только сейчас уловил инстинкт, а за ним осознал и мозг: этот человек покидает ее, он струсил, он опасается, что все здесь хотят ее отъезда, все. Опыянение прошло, она очнулась. Собравшись с духом, она сухо и отрывисто говорит:

— Благодарю. Благодарю, я дойду сама. Извините за это минутное недомогание, тетя права, высокогорный воздух на меня плохо действует.

Он хочет что-то сказать, но Кристина, повернувшись к нему спиной, уходит. Лишь бы не видеть его лицо, никого больше не видеть, никого, прочь, прочь, не унижаться больше ни перед кем из этих высокомерных, трусливых, сытых людей, прочь, прочь, ничего у них не брать, никаких подарков, не заблуждаться на их счет, не позволять себя обманывать, никому из них, никому, прочь, прочь, лучше околеть, лучше сдохнуть где-нибудь в темном углу. Она входит в обожаемый отель, в любимый холл и, проходя мимо людей, как мимо каких-то наряженных, размалеванных фигур, испытывает лишь одно: ненависть. К нему, к каждому здесь, ко всем.

Всю ночь Кристина неподвижно сидит у стола. Мысли угрюмо кружат вокруг одного и того же: все кончено. Острой, отчетливой боли нет, осталась лишь какая-то оцепенелость, но что-то с ней самой происходит, она смутно ощущает подобие боли, как ощущают на операционном столе в первую минуту анестезии жгучее прикосновение ножа, рассекающего тело. Ибо, пока она сидит, уставившись взглядом в стол, с ней происходит то, что не осознается еще оцепеневшим рассудком: другое, поддельное существо, та нереальная и все же реальная фройляйн фон Боолен, жившая девять сказочных дней, сейчас в ней умирает.

Она еще сидит в комнате, принадлежащей той, другой, и телесная оболочка ее пока что другая — с ниткой жемчуга на

застывшей шее, с ярким мазком кармина на губах, облаченная в любимое, почти невесомое вечернее платье, но вот уже легкий озноб пробегает от него по коже, оно кажется чужеродным на ней, как простыня на трупе. Ничто здесь из этого высшего, счастливого мира больше не подходит ей, все опять, как и в первый день, чужое, полученное взаймы. Рядом стоит кровать с чистым, отглаженным бельем, с нежными пуховиками — тепло и нега в цветочках, но Кристина не ложится в постель: она больше не принадлежит ей. Блестит мебель, тихо дышит ковер, но все это окружение из латуни, шелка и стекла она больше не воспринимает как свое, как перчатку на руке и жемчуг на шее, — все принадлежит той, другой, той убитой, «двойнику», Кристиане фон Боолен, каковой она больше не является и тем не менее остается.

Вновь и вновь пытается она отделиться от своего искусственного «я», возвращаясь к настоящему, заставляет себя думать о матери, больной или уже мертвой, но, как ни насилует она себя, ей не удастся вызвать в душе ни тревогу, ни боль: лишь одно чувство переполняет ее — злоба, глухая, судорожная, бессильная злоба, которая не может вырваться наружу и ропщет взаперти, беспредельная злость — она не знает на кого — на тетку, на мать, на судьбу, — злость человека, которого обидели. Истерзанной душой она чувствует только, что у нее что-то отняли, что из счастливой, окрыленной она снова должна превратиться в ползающую по земле слепую гусеницу; что-то миновало, и миновало безвозвратно.

Всю ночь сидит она на деревянном стуле, окаменев от своей злости. Сквозь обитые двери до ее слуха не доносятся звуки другой жизни, продолжающейся в этом доме, — безмятежное дыхание спящих, стоны любовников, криктение больных, беспокорные шаги страдающих бессонницей; сквозь закрытую балконную дверь она не слышит предрассветного ветра, овевающего сонный дом, она ощущает только себя, свою одиночество в этой комнате, в этом доме, этом мире, себя — кусочек живой, трепетной плоти, еще теплый, как отрубленный палец, но уже бессильный и бесполезный. Идет жестокое мед-

ленное умирание, частица за частицей застывает в ней и отмирает, а она сидит неподвижно, будто вслушиваясь в себя, когда же, наконец, перестанет стучать в ней горячее сердце ван Боулен.

Спустя тысячу лет наступает утро. Слышно, как в коридорах начала уборку прислуга, как садовник шаркает граблями по гравию дорожек; начинается неизбежно реальный день, конец, отъезд. Пора собирать вещи и съезжать, пора стать прежней — почтовой служащей Хофленер из Кляйн-Райфлинга — и забыть ту, чье дыхание маленькими незримыми волнами касалось здесь утраченных отныне драгоценностей.

Поднимаясь со стула, Кристина почувствовала огромную усталость, руки и ноги одеревенели: четыре шага до стенного шкафа показали ей путешествием с одного континента на другой. С немалым усилием открыв дверцу, она испугалась: словно труп повешенной, качалась там невзрачная, белесая юбка из Кляйн-Райфлинга с ненавистной блузкой, в которой она приехала. Снимая ее с вешалки, Кристина вздрагивает от омерзения, точно прикоснулась к какой-то гнили: и в эту мертвую шкуру Хофленер она снова должна влезть! Однако выбора нет. Она быстро сбрасывает вечернее платье, и оно, шурша, как шелковая бумага, соскальзывает по бедрам, затем откладывает в сторону одно за другим остальные платья, белье, свитер, жемчужные бусы — десяток-два очаровательных вещиц; только явные подарки берет с собой — горстка, легко уместившаяся в жалком плетеном чемоданчике.

Все готово! Она еще раз внимательно оглядывается вокруг. На кровати валяются вечерние платья, бальные туфли, пояс, розовая сорочка, свитер, перчатки — все в таком диком беспорядке, словно призрачную фройляйн фон Боулен взрывом разнесло на сотни кусочков.

С отвращением взирает Кристина на остатки призрака, которым была она сама. Затем проверяет, не забыла ли чего-нибудь из того, что принадлежит ей. Нет, больше ничего ей не принадлежит: здесь, на этой кровати, будут спать другие, другие будут любоваться в окно на золотой пейзаж, а в зерка-

ло — на свое отражение, она же никогда больше, никогда! Это не прощание, это своего рода смерть.

Коридор был еще пуст, когда она вышла со старым чемоданчиком в руке. Машинально направилась к лестнице, но тут же подумала, что бедно одетая Кристина больше не вправе спускаться по этой парадной лестнице с ковровой дорожкой и окантованными латуною ступеньками; лучше она скромно сойдет по железной винтовой, что возле уборной для прислуги. Внизу, в сумеречном, наполовину убранном холле, дремавший ночной портье настороженно приподнимается. Что это? Какая-то девица, заурядно, а вернее, плохо одетая, с убогим чемоданом, явно стесняясь, украдкой пробирается к выходу, не поставив его в известность. Так не пойдет! Он проворно догоняет ее и загораживает дверь.

— Куда изволите спешить?

— Я уезжаю семичасовым поездом.

Портье озадачен: он впервые видит, чтобы постоялец отеля, к тому же дама, собственноручно нес багаж на вокзал. Почувяв неладное, он спрашивает:

— Позвольте узнать... из какого вы номера?

Теперь Кристина догадывается, в чем дело. Портье принял ее за мошенницу, что ж, он, пожалуй, прав, разве она не такая? Но она не обижается, напротив, даже испытывает какое-то горькое удовлетворение от того, что ее, гонимую, еще подхлестывают, ее, униженную, еще оскорбляют. Чем больше неприятностей, чем больше огорчений — тем лучше!

Совершенно спокойно она отвечает:

— Я Кристина Хофленер. Снимала номер двести восемьдесят шесть за счет моего дяди Энтони ван Боолена, номер двести восемьдесят один.

— Минуточку, пожалуйста.

Портье освобождает проход, однако не спускает глаз с подозреваемой (она это чувствует), чтобы та не удрала, пока он листает книгу записей. Неожиданно его тон меняется; следует поспешный поклон и — очень вежливо:

— О, милостивая барышня, прошу прощения, теперь ви-



жу, дневной портье, оказывается, был уведомлен об отъезде... я только потому подумал, что вы так рано... и... барышня не понесет же чемодан сама, машина доставит его вам за двадцать минут до отправки поезда. А сейчас пройдите, пожалуйста, в столовую, барышне вполне хватит времени, чтобы позавтракать.

— Нет, мне больше ничего не надо. Прощайте!

Она выходит, не оглядываясь на удивленного портье, который, качая головой, возвращается за свою конторку.

«Мне больше ничего не надо». Она почувствовала себя лучше после этих слов. Ничего и ни от кого. С чемоданом в одной руке, с зонтиком в другой, устремив напряженный взгляд на дорогу, она идет на станцию. Горы уже освещены, беспокойно толпятся облака, вот-вот покажется синева, божественная, несказанно любимая энгадинская лазурь, но Кристина, сторбившись, упрямо смотрит на дорогу: ничего больше не видеть, ни от кого больше не брать милостей, даже от Бога. Ни на что больше не заглядываться, не напоминать себе, что отныне и навеки эти горы предназначены для других; спортивные площадки, игры, отели с их сверкающими комнатами, грохот лавин и дыхание лесов — все для других и ничего для нее, никогда больше, никогда! Отвернувшись, она проходит мимо теннисных кортов, где — она знает — и сегодня будут состязаться в ловкости другие — легкие, загорелые, в ярко-белых костюмах; идет мимо еще закрытых магазинов с тысячами сокровищ (для других, для других!), мимо отелей, рынков и кондитерских, идет в своем дешевом пальто, со старым зонтиком, к поезду. Прочь, прочь. Только бы ничего больше не видеть, только бы ни о чем больше не вспоминать.

На станции она прячется в зале ожидания третьего класса; здесь, в вечном третьем классе, одинаковом во всем мире, с деревянными скамьями и убогим однообразием, она чувствует себя уже наполовину дома и, когда подъезжает поезд, торопливо выходит: никто не должен ее здесь видеть, не должен узнать. Но тут — не галлюцинация ли это? — она вдруг слышит: «Хофленер, Хофленер!» Кто-то, бегая вдоль вагонов,

выкрикивает (возможно ли!) ее фамилию, ее ненавистную фамилию. Она задрожала. Неужели над ней хотят поиздеваться и на прощание? Но фамилия отчетливо повторяется, тогда она выглядывает из окна вагона: на перроне стоит портье и машет телеграммой. Он просит извинения, телеграмма пришла еще вчера вечером, но тот портье не знал, кому ее передать, а ему только сейчас стало известно, что фройляйн уезжает. Кристина вскрывает конверт: *«Внезапное ухудшение, приезжайте немедленно. Фуксталер»*. И вот поезд трогается... кончено. Все кончено.

У каждого материала есть свой предел выносливости, сверх которого он больше не сопротивляется нагрузке; этому непреложному закону подвластна и человеческая душа. Радость может достигнуть такой степени, когда любая добавка становится уже неощутимой, так же — горе, отчаяние, уныние, отвращение и страх. Наполненная до краев чаша не приемлет больше ни капли.

Так Кристина, прочтя телеграмму, не огорчилась. Она, конечно, понимала, что должна бы испугаться, встревожиться, однако, несмотря на бодрствующий мозг, чувство не включилось, не восприняло известия, не отозвалось. Обследуя больного с парализованной ногой, врач проверяет иглой чувствительность омертвевшей ткани; больной видит иглу и знает, что она острая, жалящая; вот-вот она вонзится, будет больно, очень больно, и он уже весь сжался, готовясь стерпеть муку. Но жгучая игла входит в мышцу, а нерв не реагирует — ткань мертва, и больной с ужасом осознает, что его нога стала совершенно нечувствительной, что в нем, живом и теплом, угнездилась уже частица смерти.

Такой вот ужас от своего равнодушия испытывает Кристина, вновь и вновь перечитывая вслух телеграмму. Мать больна, состояние ее наверняка безнадежно, иначе бережливые родственники не потратились бы на срочную телеграмму. Возможно, и умерла, даже вполне вероятно. Но при этой мысли (которая еще вчера повергла бы ее в отчаяние) ничто не ше-

лохнулось в ее душе, ни слезинки не выкатилось из глаз. Она оцепенела, и эта оцепенелость словно распространилась на все вокруг.

Она не слышит ритмичного стука колес, не замечает, что на скамье напротив сидят краснощекие мужчины, жуют колбасу и смеются, она не видит, что горы за окном то вырастают до облаков, то съеживаются в цветистые холмики, и подножия их омываются белоснежным горным молоком — будто на рекламных картинках, которые она по дороге из дому воспринимала как живые и которые теперь окоченели перед ее неподвижным взглядом. И только на границе, побеспокоенная вошедшим таможенником, она очнулась, ей вдруг захотелось выпить горячего. Чтобы хоть немножко оттаять, избавиться от невыносимой окоченелости, сдавившей горло, вздохнуть полной грудью, наконец выстонать все, что наболело.

В станционном буфете Кристина выпивает чашку чаю с ромом. И тотчас блаженное тепло разливается в крови, оживляя даже застывшие клеточки мозга; она опять способна думать, и у нее мелькает мысль, что надо бы телеграфировать домой о приезде. Она спрашивает, где находится почтовое отделение.

— Направо, за углом, — говорит ей буфетчик. Да, да, она вполне успевает.

Кристина подходит к окошку. Матовое стекло опущено. Она стучит. За перегородкой слышатся медленные шаркающие шаги, стекло, звякнув, поднимается.

— Что вам угодно? — ворчливо спрашивает мрачная женская физиономия в очках в железной оправе.

Кристина медлит с ответом, настолько она поражена внешностью женщины. Ей показалось вдруг, что дряхлая, костлявая старая дева с потускневшими глазами, с пергаментными руками, которая механически протягивает ей бланк, — это она сама лет через десять—двадцать; точно в каком-то дьявольском зеркале перед ней предстал призрак ее собственной старости. Непослушными пальцами она еле держит ручку. «Это я, такой я стану», — неотступно думает она и украдкой

косится на тощую коллегу, которая с карандашом в руке терпеливо ждет, склонившись над столом, — о, как знакомы ей эта поза и эти минуты, пропавшие втуне, крадущие радость и счастье, каждая из них приближает старость, превращая тебя в такой вот изнуренный призрак.

Волоча ноги, Кристина возвращается к поезду. Ей будто приснился кошмарный сон: она увидела себя в гробу на катафалке и с криком ужаса проснулась в холодном поту.

В Санкт-Пёльтене, утомленная бессонной ночью, Кристина выбирается из вагона. Навстречу ей через рельсовые пути уже кто-то спешит, это учитель Фуксталер, наверное, ждал здесь всю ночь. С первого же взгляда Кристина все поняла — на нем черный сюртук, черный галстук; и когда она протягивает учителю руку, он пожимает ее соболезнующе, а глаза смотрят сквозь очки участливо и беспомощно. Кристина ни о чем не спрашивает, его замешательство сказалось все. Но странно, она не испытывает ни потрясения, ни скорби, ни волнения. Умерла мать. Может быть, оно и хорошо — умереть...

В поезде на Кляйн-Райфлинг Фуксталер обстоятельно и деликатно рассказывает о последних часах усопшей. Вид у него усталый, лицо серое, небритое, одежда мятая и пыльная. Каждый день он (ради нее) по три-четыре раза навещал мать, дежурил ночами (ради нее). Заботливый друг, думает Кристина. (Хоть бы уж замолчал, оставил меня в покое, надоело слушать его проникновенно-сентиментальный голос, видеть желтые, плохо запломбированные зубы.) Ее вдруг охватывает почти физическое отвращение к этому человеку, прежде внушавшему ей симпатию, она понимает, что ее чувство постыдно, но ничего поделать с собой не может, это как привкус желчи во рту.

Невольно она сравнивает его с мужчинами там — здоровыми, стройными, загорелыми, ловкими кавалерами в приталенных пиджаках, с ухоженными руками — и с каким-то злорадным любопытством разглядывает комичные детали его траурного облачения: сюртук с протертыми локтями, явно перелицованный, дешевая несвежая сорочка, дешевый чер-

ный галстук. Невыносимо смехотворным кажется ей вдруг этот тощий человек, этот деревенский учитель с бледными оттопыренными ушами, неровным пробором в жидких волосах, очками в стальной оправе на бледно-голубых глазах с воспаленными веками, его пергаментное остроносое лицо над продавленным воротничком из желтого целлулоида. И он еще собирался... он... Нет, думает Кристина, — никогда! Чтобы он дотронулся до нее? Невозможно! Поддаться робким, недостойным ласкам вот такого переодетого причетника с трясущимися руками? Ни за что! Ее тошнит при одной мысли об этом.

— Что с вами? — озабоченно спрашивает Фуксталер, заметив, что она вздрогнула.

— Ничего... Нет, нет... Просто я слишком устала. Не хочется сейчас ни говорить... ни слушать...

Кристина закрыла глаза. Ей сразу стало легче, едва она перестала видеть его, перестала слышать этот утешающе-кроткий, нестерпимый именно своей смиренностью голос. Какой стыд, думает она, ведь он так хорошо относится ко мне, такой самоотверженный, а я... ну не могу я больше смотреть на него, напротив, не могу! Такого... таких, как он... ни за что! Никогда!

Льет дождь, священник скороговоркой читает у открытой могилы заупокойную. Могильщики, держа лопаты, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу в вязкой глине. Дождь усиливается, священник говорит еще быстрее; наконец все кончено, и четырнадцать человек, провожавших старуху на кладбище, молча, чуть ли не бегом возвращаются в деревню. Кристина в ужасе от самой себя — вместо того чтобы скорбеть и горевать, она во время церемонии думала о разных пустяках: о том, что она без калош — в прошлом году хотела купить, но мать отговорила, предложив свои; что у Фуксталера воротник пальто протерся на сгибе; что зять Франц растолстел и при быстрой ходьбе пыхтит, как астматик; что зонтик у невестки прохудился, надо бы отдать в починку; что лавочница присла-

ла на похороны не венок, а всего лишь букетик полуувядших цветов из палисадника, связанных проволочкой; что на лавке пекаря Гердлички появилась новая вывеска... Все мелочи того отвратительного мирка, в который ее впихнули обратно, острыми когтями вонзаются в нее и причиняют такую мучительную боль, что не остается сил для горестных переживаний.

У ее крыльца провожавшие прощаются и, уже не стесняясь, разбегаются, забрызганные грязью, по домам; лишь сестра, зять, вдова брата и столяр — ее второй муж — поднимаются по скрипучей лестнице наверх. В комнате всего четыре стула, и хозяйка, пятая, усаживает на них гостей. Помещение тесное, мрачное. От мокрых пальто на вешалке и капающих зонтиков несет сыростью, в окна барабанит дождь, в углублении сереет опустевшая кровать.

Все молчат.

— Может, кофе выпьете? — спрашивает Кристина, преодолев смущение.

— Да, Кристль, — говорит зять, — чего-нибудь горяченького теперь в самый раз. Только поторопись, долго мы ждать не можем, в пять — поезд.

Закурив сигарету, он облегченно вздыхает. Этот добродушный и веселый муниципальный чиновник, служа фельдфебелем в армейском обозе, наел себе брюшко, округлившееся еще стремительнее в мирную пору; уютно он чувствует себя только без пиджака и только дома. На похоронах он держался строго, с подобающе печальным лицом, что было нелегко. Теперь же, немного расстегнув траурный сюртук, который придавал ему какой-то маскарадный вид, он уселся поудобнее.

— Все-таки хорошо, что мы не взяли детей. Хоть Нелли и считает, что внуки непременно должны быть на похоронах бабушки — полагается, мол, — но я ей сказал: такие грустные вещи детям показывать нельзя, они этого еще не понимают. Да и поездка в оба конца стоит кучу денег, а при нынешней дороговизне...

Кристина судорожно вертит ручку кофейной мельницы.

Прошло всего пять часов, как она приехала, а уже, наверное, в десятый раз слышит проклятое, ненавистное «слишком дорого». Фуксталер говорил, что было бы слишком дорого приглашать главного врача из санкт-пёльтенской больницы, он все равно ничем бы не помог; невестка говорила, что надгробный крест из камня не стоит заказывать, обойдется слишком дорого; сестра то же самое сказала о панихиде, а теперь вот и зять — о поездке. Все беспрерывно твердят это слово, оно назойливо барабанит по ушам, как дождь по крыше, унося радость. И ей придется теперь слушать это изо дня в день: слишком дорого, дорого, дорого... Кристина яростно крутит ручку, срывая злость на хрустящей зернами мельнице: уехать бы только отсюда, чтобы ничего не слышать и не видеть!

За столом в ожидании кофе пытаются завязать разговор. Столяр из Фаворитена, что женился на вдове брата, сидит, скромно потупившись, среди полуродственников — он вообще не был знаком с покойной; разговор ведется с трудом, то и дело спотыкаясь о вопросы и ответы, будто о камни на дороге. Наконец кофе готов, Кристина ставит четыре чашки (больше в доме нет) и снова отходит к окну. На нее угнетающе действует сконфуженное молчание гостей, то странное молчание, за которым все неловко прячут одну и ту же мысль. Кристина знает, затылком чувствует, что сейчас последует, — в прихожей видела, что каждый принес по два пустых рюкзака, — она знает, что сейчас начнется, и омерзение сдавливает ей горло.

И вот раздается приветливый голос зятя:

— Собачья погода! А Нелли, по растерянности, конечно, не захватила зонтик. Может, выручишь, Кристль, дашь ей материн? Или самой надо?

— Нет, не надо, — дрожа отвечает Кристина. Ну, началось, только бы скорее!

— Вообще-то, — вступает, будто по уговору, сестра, — мне кажется, самое разумное будет сейчас и поделить мамины вещи, а? Кто знает, когда мы соберемся опять вчетвером, ведь у Франца столько дел по службе, и у вас ведь (она обращается к столяру), наверно, тоже. А еще раз ехать сюда ради этого

вряд ли стоит, да и тратиться опять же. Давайте прямо сейчас и поделим, не возражаешь, Кристль?

— Конечно, нет. — Голос у Кристины вдруг становится хриплым. — Только прошу, делите все между собой, все! У вас дети, мамины вещи вам больше пригодятся, мне ничего не надо, я ничего не возьму, делите между собой.

Отперев сундук, она вытаскивает несколько поношенных платьев и кладет — другого места в тесной мансарде нет — на кровать умершей (вчера постель была еще теплой). Наследство невелико: немного постельного белья, старый лисий мех, штопаное пальто, плед, трость с рукояткой из слоновой кости, венецианская брошь, обручальное кольцо, серебряные часики с цепочкой, четки и эмалевый медальон из Мариацелля, затем чулки, ботинки, войлочные туфли, нижнее белье, старый веер, мятая шляпка и захватанный молитвенник. Все вынула, ничего не забыла, все заложенное и перезаложненное старье — его было так мало у матери, — и быстро отошла к окну.

За ее спиной обе женщины тихо переговариваются, оценивают, делят. Сестра откладывает свое направо, невестка — налево, между ними на кровати умершей остается незримая пограничная межа.

Кристина, глядя на дождь, тяжело дышит. Ее обостренный слух улавливает перешептывания торгующихся родственниц, хотя они стараются говорить как можно тише; она ясно видит их руки, перебирающие вещи, хотя стоит спиной к кровати. К жгучему гневу, бушевающему ее, примешивается жалость. Какие же они бедные, убогие и даже не подозревают об этом. Делят клам, которого иные побрезговали бы коснуться ногой; старые отрезы фланели, изношенные туфли — и все это нелепое барахло для них драгоценность! Ну что они знают о настоящей жизни? Понятия не имеют! А может, так лучше — не понимать, как ты беден, как отвратительно, как позорно беден и жалок!

Зять подходит к ней.

— Что поделаешь, Кристль... Но так же нельзя, ты ничего



не берешь. Ну что-нибудь должна ж ты оставить себе в память о матери... хотя бы часы или цепочку?

— Нет, — твердо отвечает она, — ничего не хочу и не возьму. У вас дети, им нужнее. А мне не надо. Мне вообще ничего больше не надо.

Потом, когда она обернулась, все уже было поделено, сестра и невестка запихали свою долю в рюкзаки — лишь теперь умершую похоронили окончательно. Гости топчутся в комнате, смущенные, даже слегка пристыженные; они рады, что так быстро и в согласии уладили щекотливое дело, и все же чувствуют себя не очень уютно. Перед уходом надо бы сказать что-нибудь этакое торжественное, как-то загладить неловкость происшедшего и вообще потолковать по-родственному. Наконец, вспомнив, зять спрашивает Кристину:

— Да, а ведь ты не рассказала, как там было, в Швейцарии?

— Прекрасно, — выдавливая она сквозь зубы.

— Еще бы, — вздыхает Франц, — вот бы разок съездить туда и вообще постранствовать! Но с женой и двумя детьми об этом и мечтать нечего, дороговато, тем более в такие шикарные места. Сколько там в отеле за сутки берут?

— Не знаю. — Кристина чувствует, что силы ее на исходе, вот-вот она сорвется. Хоть бы скорей ушли, хоть бы скорей!

К счастью, зять смотрит на часы.

— Ого, пора по вагонам. Кристль, давай без лишних церемоний, провожать нас незачем, при такой погоде-то. Оставайся дома, лучше как-нибудь навестишь нас в Вене. Теперь, после смерти матери, надо держаться вместе!

— Да, да, — нетерпеливо отвечает Кристина и провожает их до двери.

Деревянная лестница скрипит под тяжелыми шагами, каждый что-то тащит за плечами или в руках. Наконец-то ушли. Едва за ними закрылась дверь, Кристина рывком распахнула окно. Она задыхалась от запаха табачного дыма, сырой одежды, запаха страхов, тревог и стонов больной старухи, омерзительного запаха бедности. Какая пытка — жить здесь, да и зачем, для кого? Для чего вдыхать это день за днем,

зная, что где-то там есть другой мир, настоящий, что и в ней самой живет другой человек, который задыхается, словно отравленный этим чадом. Не раздеваясь, она бросилась ничком на кровать и вцепилась зубами в подушку, чтобы не разреваться от жгучей бессильной злобы. Она вдруг возненавидела всех и все, и себя, и других, богатство и нищету, всю тяжелую, невыносимую и непонятную жизнь.

— Надутая индюшка, дура! — Владелец мелочной лавки Михаэль Пойнтнер с треском захлопывает за собой дверь. — Это ж неслыханно, что она себе позволяет, нахалка. Вот гадюка.

— Ну, ну, не заводись, — улыбается пекарь Гердличка, поджидавший Пойнтнера на улице перед почтовой конторой. — Какая тебя муха укусила?

— Вот именно, муха. Такой нахалки, такой стервы еще свет не видывал. Каждый раз к чему-нибудь да прицепится. То одно ей не так, то другое. Лишь бы придраться и гонор свой показать. Позавчера ее не устроило, что я заполнил накладную к посылке чернильным карандашом, а не чернилами, сегодня расшумелась, что не обязана принимать плохо упакованные посылки, что ответственность, мол, несет она. Да на черта мне ее ответственность, я отправил отсюда, клянусь, уже тысячу посылок, когда эта дура еще сопливой девчонкой бегала. А каким тоном она разговаривает, все свысока, с манерами, «по-книжному», все норовит показать, будто наш брат дерьмо против нее. Да соображает она, с кем имеет дело? Нет уж, хватит. Я ей не игрушка.

Толстяк Гердличка насмешливо щурится.

— А может, ей как раз с тобой и охота поиграть, мужчина ты что надо. У этих засидевшихся девок не разберешь. Нравишься ей, вот она и кочевряжится.

— Не валяй дурака, — ворчит лавочник, — я не первый, с кем она этак «крутит». Вчера мне управляющий с фабрики рассказал, как она его отбрила только за то, что он малость пошутил. «Как вы смеете, я здесь на службе», — будто он

мальчик на побегушках. Бес в нее вселился, не иначе. Но уж я его выгоню, будь спокоен. Заставлю эту гордячку сменить тон, а не сменит, такое ей устрою... даже если мне придется пешком топать отсюда в Вену, к директору почт.

Он прав, добрый Пойнтнер, что-то действительно случилось с почтаркой Кристиной Хофленер, вот уже две недели как об этом все село судачит. Сперва помалкивали — Господи, ведь у бедняжки умерла мать, — все понимали: тяжело ей, удар-то какой. Священник заходил к ней два раза. Фуксталер каждый день справлялся, не нужна ли ей какая помощь, соседка вызвалась посидеть с Кристиной вечерами, чтобы ей не было так одиноко, а хозяйка «Золотого быка» даже предложила переехать к ней и столоваться у нее же, в трактире, вместо того чтобы мыкаться с хозяйством. Но Кристина никому даже толком не ответила, и каждый понял: с ним не хотят иметь дела.

Что-то стряслось с почтаркой Кристиной Хофленер — она больше не ездит, как прежде, раз в неделю на спевку хора, объясняет, что охрипла; уже три недели не ходит в церковь, даже панихиду по умершей не заказала; Фуксталеру, когда тот предлагает почитать вслух, говорит, что у нее разболелась голова, а если он приглашает на прогулку, отвечает, что устала. Она теперь ни с кем не общается, а когда бывает в лавке, то ведет себя так, будто спешит на поезд; если прежде у себя в конторе была услужлива и любезна, то теперь стала резка и придирчива.

Что-то с нею произошло, она и сама чувствует. Словно кто-то тайком, во сне, накапал ей в глаза что-то горькое, злое, ядовитое — таким видится ей теперь мир, отвратительным и враждебным. Утро начинается с раздражения. Как только она открывает глаза, взгляд упирается в закопченные балки мансарды. Все в комнате — старая кровать, одеяло, плетеный стул, умывальник, треснувший кувшин, облезлый ковер, дощатый пол, — все ей опротивело, хочется закрыть глаза и снова погрузиться в сон. Но будильник не дает, сверля звоном уши. Она с раздражением встает, с раздражением одевается —

старое белье, постылое черное платье. Под мышкой дыра, однако ее это не волнует. Она не берет иголку, не штопает. Зачем, для кого? Для здешних деревенских увальней она еще слишком хорошо одета. Ладно, скорее прочь из ненавистой мансарды, в контору.

Но и контора теперь не та, что была, не то равнодушно-спокойное помещение, в котором медленно, на бесшумных колесиках, бежит время. Когда Кристина, повернув ключ, входит в невыносимо тихую комнату, которая словно подкарауливает ее, она всякий раз вспоминает фильм под названием «Пожизненно», что видела год назад. Особенно ту сцену, где тюремный надзиратель в сопровождении двух полицейских вводит в камеру арестанта; надзиратель — бородатый, суровый и неприступный, арестант — тщедушный, дрожащий парень, камера — голая, с решеткой. Тогда, в кино, у Кристины, да и у других зрителей, мороз по коже прошел, и теперь она снова ощутила эту дрожь: ведь она сама — и тюремщик и арестант в одном лице. Впервые она обратила внимание, что и здесь зарешеченные окна, впервые голые побеленные стены казенного помещения показались ей стенами тюремной камеры.

Все предметы обрели какой-то новый смысл, хотя она тысячу раз видела стул, на котором сидела, тысячу раз — стол в чернильных пятнах, где сложены бумаги и почтовые принадлежности, тысячу раз — матовое стекло, которое она поднимает к началу рабочего дня. И настенные часы она видит будто впервые, отмечая, что стрелки не убегают куда-то в сторону, а ходят только по кругу — от двенадцати к единице, от единицы к двойке и опять к двенадцати, затем опять от единицы к двойке и обратно к двенадцати, по одному и тому же кругу, не удаляясь ни на шаг; от завода до завода часы несут бессменную вахту и никогда не увидят свободы, замурованные навеки в прямоугольный коричневый футляр.

И когда Кристина в восемь утра садится за рабочий стол, она уже чувствует усталость — не от какой-то проделанной работы, а от того, что еще предстоит, все те же лица, те же вопросы, те же операции, те же деньги. Ровно через четверть

часа седой, всегда веселый Андреас Хинтерфельнер принесет почту для сортировки. Раньше она делала это механически, а теперь подолгу разглядывает конверты и открытки, особенно те, что адресованы в замок графине Гютерсхайм. У той три дочери, одна замужем за итальянским бароном, другие две незамужние и разъезжают по всему свету. Последние открытки из Сорренто: лазурное море, сверкающими заливами глубоко врезавшееся в берега. Адрес: отель «Рим». Кристина ищет отель на открытке (окна своего номера молодая графиня пометила крестиком) — ослепительно белое здание с широкими террасами, вокруг сады, шпалеры апельсиновых деревьев. Кристина невольно воображает, как хорошо там прогуляться вечером, когда с моря веет синей прохладой, а нагретые за день камни отдают тепло, хорошо бы там прогуляться...

Но работа не ждет, не ждет. Вот письмо из Парижа. Кристина сразу догадывается от кого — от дочери господина... О ней мало кто хорошо говорит. Сначала вроде путалась с каким-то богатым евреем, нефтепромышленником, потом была где-то наемной партнершей для танцев и, возможно, кое для чего еще, а сейчас у нее опять кто-то завелся; да, письмо из отеля «Морис», шикарнейшая бумага. С раздражением Кристина швыряет письмо на стол. Теперь журналы. Те, что адресованы графине Гютерсхайм, она откладывает. «Дама», «Элегантный мир» и другие модные журналы с картинками — ничего не случится, если госпожа графиня получит их вечером.

Когда в конторе нет посетителей, Кристина извлекает журналы из оберток и листает их, рассматривая одежду, фотографии киноартистов и аристократов, ухоженные виллы английских лордов, автомашины знаменитых художников. Она вдыхает все это словно аромат духов, вспоминает своих знакомцев, с любопытством глядит на женщин в вечерних платьях и почти со страстью — на мужчин, этих избранных с отполированными роскошью или озаренными умом лицами, с дрожью в руках она закрывает журналы, потом снова листает их, и в глазах ее попеременно отражаются любопытство и

злоба, наслаждение и зависть при виде мира, который еще близок и уже так далек.

Всякий раз она испуганно вздрагивает, когда ее соблазнительные видения прерываются топотом тяжелых башмаков и перед окошком появляется какой-нибудь крестьянин с сонными воловьими глазами, с трубкой в зубах и просит почтовых марок; вот тут-то Кристина, сама того не ожидая, взрывается и кричит на оторопевшего беднягу: «Читать умеете? Здесь запрещено курить!» — или бросает ему в лицо еще какую-нибудь грубость.

Это происходит помимо ее воли, она просто вымещает на первых встречных свою злость на весь мир с его мерзостью и подлостью. После она стыдится этого. Они ж не виноваты, бедняги, в том, что такие некрасивые, неотесанные, чумазные от работы, погрязшие в деревенской трясине, думает она, ведь я сама такая же. Но злость и отчаяние настолько завладели ею, что она, не желая того, срывается по всякому поводу. Удар, нанесенный Кристине, в силу вечного закона инерции как бы передается дальше, и вот на единственном посту, где почтарка обладает крохотной властью, в этой убогой конторке она обрушивает свой гнев на невиновных.

Там, в другом мире, пробудившаяся в ней потребность самоутверждения питалась вниманием и домогательствами поклонников, здесь же эту потребность она могла утолить, лишь когда пускала в ход частицу власти, какой обладала по должности. Она понимает, что важничать перед этими добрыми простыми людьми убого и низко, но, вспылыв хоть на секунду, тем самым дает себе разрядку. А злобы скопилось столько, что если не представляется случая выплескивать ее на людей, то Кристина вымещает ее на неодушевленных предметах. Не вдевается нитка в иголку — она рвет ее, застрял выдвинутый ящик — с грохотом вгоняет его в стол; почтовая дирекция прислала не те товарные накладные — она, вместо того чтобы вежливо указать на ошибку, шлет письмо, полное возмущения и негодования; если ее сразу не соединяют по телефону — она грозит коллеге, что немедленно подаст на

него жалобу. Грустно все это, она сама ужасается происшедшей в ней перемене, но ничего с собой поделывать не может, ей надо как-то избавиться от переполняющей ее злобы, иначе она задохнется.

После работы Кристина спешит домой. Раньше она часто прогуливалась с полчаса, пока мать спала, беседовала с лавочницей, играла с детьми соседки, а теперь запирается в четырех стенах, сажая на цепь свою враждебность к людям, чтобы не бросаться на них, как злая собака. Она больше не в силах видеть улицу, где вечно одни и те же дома, вывески и физиономии. Ей смешны бабы в широких ситцевых юбках, с высокими взбитыми прическами, с аляповатыми кольцами на руках, нестерпимы мужики, пыхтящие, толстобрюхие, и всего противнее парни, которые на городской манер помадят волосы; невыносим трактир, где пахнет пивом и скверным табаком и служанка — ядреная девка — глупо хихикает и краснеет, когда помощник лесничего и жандармский вахмистр отпускают сальные шутки или дают волю рукам.

Кристина предпочитает не видеть опостылевших вещей. Сидит молча и думает все время об одном и том же. Ее память с удивительной силой и ясностью рисует мельчайшие подробности, которых она там, в круговерти, толком не разглядела. Она вспоминает каждое слово, каждый взгляд, воскрешает с пронзительной остротой вкус каждого блюда, которое отведала, аромат вина, ликера. Вызывает в воображении ощущение легкого шелкового платья на голых плечах и мягкость белоснежной постели. Оживляет в памяти множество мелочей: как однажды маленький американец упорно следовал за ней по коридору и в поздний час стоял перед ее дверью, как немочка из Мангейма нежно проводила пальцами по ее руке... Кристина вздрагивает, словно от ожога, — где-то она слышала, что женщина может влюбиться и в женщину. Восстанавливая час за часом каждый тогдашний день, она только сейчас осознает, сколько непредвиденных и неиспользованных возможностей таило в себе то время.

Так вечерами сидит она в одиночестве, переносясь мысля-

ми в недавнее прошлое, вспоминает, какой была, понимая, что сейчас уже не такая, и ей не хочется этого знать, но тем не менее она это знает. Когда стучат в дверь — это Фуксталер уже не раз пытается ее навестить, — она, затаив дыхание, не двигается с места и облегченно переводит дух, услышав его шаги, удаляющиеся по скрипучей лестнице; мечты — единственное, что у нее осталось, и она не желает с ними расставаться. Намечтавшись до изнеможения, Кристина ложится, и сразу ее, отвыкшую от холода и сырости, пробирает дрожь; она так мерзнет, что укрывается поверх одеяла еще платьем и пальто.

Засыпает она не скоро, спит беспокойно, тревожно, и снится ей все один и тот же кошмарный сон: будто она мчится в автомашине по горам, вверх, вниз, мчится с жуткой скоростью, ей и страшно и весело, а рядом, обняв ее, сидит мужчина — то инженер-немец, то кто-то другой. Потом вдруг она с ужасом обнаруживает, что сидит совершенно голая, машина остановилась, их обступили какие-то люди и смеются, она кричит на спутника, чтобы завел мотор, — давай быстрее, быстрее! — наконец мотор заводится, его шум сладостно отзывается в сердце, и ее охватывает чувство восторга, они совсем низко летят над полями, в темный лес, и она уже не голая, а он все крепче прижимает ее к себе, так крепко, что она стонет и, кажется, теряет сознание.

Тут она просыпается, обессиленная, смертельно усталая, все у нее болит, и видит мансарду, закопченные балки с паутиной по углам, и лежит не отдохнувшая, опустошенная, пока не зазвенит будильник, этот безжалостный вестник утра; она слезает с постылой старой кровати, влезает в постылую старую одежду, вступает в постылый день.

Целый месяц Кристина пребывает в состоянии болезненной раздражительности и вынужденного уединения. Больше она не выдерживает — чаша грез исчерпана, каждая секунда той жизни пережита вновь, прошлое не придает сил. Измученная, с постоянной головной болью, она ходит на работу, выполняя ее механически, в полудреме. Вечером сон не идет к



ней, безмолвие мансардного гроба не для ее натянутых нервов, горячему телу неуютна холодная постель. Терпение ее иссякло. Неодолимым становится желание хоть раз увидеть из окна не осточертевшую вывеску «Золотого быка», а что-нибудь другое, поспать на другой кровати, встретиться с чем-то новым, стать хоть на несколько часов другой. И внезапно она решается: вынимает из ящика стола две стофранковые купюры, которые достались ей от дядиногo выигрыша, берет свое самое хорошее платье, самые хорошие туфли и в субботу сразу после службы отправляется на станцию, где покупает билет до Вены.

Она не знает, зачем едет в город, не знает точно, чего хочет. Только бы вырваться отсюда, из села, со службы, удрать от самой себя, от человека, обреченного прозябать в этой глуши. Только бы опять услышать звук вагонных колес, увидеть огни, других людей, ярких, нарядных. Лучше опять хоть раз поймать удачу, чем быть пригвожденной, как доска в заборе. Двигаться, почувствовать жизнь, почувствовать себя — другой.

В семь часов приехав в Вену, она оставила чемоданчик в небольшом отеле на Мариахильферштрассе и еще успела до закрытия в парикмахерскую. Ею овладела охота повториться, сделать то же, что и тогда, вспыхнула сумасбродная надежда, что с помощью искусных рук и румян она еще раз преобразится в ту, которой была. Снова она ощущает теплые, влажные дуновения, и проворные пальцы нежно прикасаются к ее волосам, ловкий карандаш вычерчивает на бледном, усталом лице прежние губы, столь желанные и целованные, немного румян освежают щеки, темноватая пудра воскрешает воспоминание об энгадинском загаре.

Когда Кристина, окутанная ароматным облаком, встает, она ощущает в ногах прежнюю твердость. Теперь она шагает по улице выпрямившись, с достоинством. Будь на ней подходящее платье, она чувствовала бы себя, пожалуй, прежней фройляйн фон Болен. Сентябрьским вечером еще светло, сейчас хорошо идти по вечерней прохладе, и порой Кристина

замечает, что на нее с интересом поглядывают. Я еще живу, вздыхает она радостно, я еще живу. Время от времени она останавливается у витрин, рассматривая меха, одежду, обувь, и в стекле отражаются ее горящие глаза. А может, все еще вернется, думает она, взбодрившись.

По Мариахильферштрассе она выходит на Ринг, ее взгляд все больше светлеет при виде людей, которые, беззаботно болтая, прогуливаются здесь. Это они, думает она, и отделяет меня от них лишь тонкий слой воздуха. Где-то есть невидимая лестница, по которой надо подняться, сделать только один шаг, один-единственный. У Оперы она останавливается; судя по всему, скоро начало спектакля, подкатывают машины — синие, зеленые, черные, сверкающие стеклами и лаком. У подъезда их встречает слугитель в ливрее.

Кристина входит в вестибюль, чтобы посмотреть на публику. Странно, в газетах пишут о венской культуре, думает она, о любящих искусство венцах, об Опере, которую они создали, а я, почти всю жизнь прожившая в этом городе, за двадцать восемь лет здесь впервые, да и то в «прихожей». Из двух миллионов, наверное, не больше ста тысяч ходят в Оперу, остальные только читают о ней в газетах, слушают чьи-то рассказы, видят на картинках, но сами так никогда и не бывают здесь. А кто же эти, другие? — Она разглядывает женщин взволнованно и не без возмущения. — Нет, они не красивее меня, я тогда выглядела лучше, и походка у них не легче, не свободнее, вот только одежда и что-то еще невидимое, придающее им уверенность. Нужно сделать лишь шаг, один-единственный шаг, и ты поднимешься с ними по мраморной лестнице в ложу, в золотой шатер музыки, в мир беззаботных, в мир наслаждения.

Звонок — опаздывающие, снимая на ходу пальто, спешат к гардеробам. Вестибюль пустеет, все там, в зале, перед нею опять встает невидимая стена. Кристина выходит на улицу. Над Рингом белыми лунами парят фонари, на тротуарах еще многолюдно. Поток прохожих влечет ее дальше по бульварному кольцу. У какого-то большого отеля она останавливается,

словно притянута магнитом. Только что сюда подъехала машина, выскочившие из отеля бой-носильщики подхватывают чемоданы и сумку у прибывшей дамы восточной наружности, дверь-вертушка поглощает их.

Кристина не в силах двинуться с места, эта дверь гипнотизирует ее, ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть вожделенный мир хотя бы на минутку. Ничего не случится, думает она, если войду и спрошу портье, приехала ли госпожа ван Боолен из Нью-Йорка, ведь такое вполне возможно. Только взглянуть, не больше, еще раз все вспомнить, хорошенько вспомнить, на секунду опять почувствовать себя другой. Она входит, портье, занятый прибывшей дамой, не замечает Кристины, и она беспрепятственно идет через вестибюль, рассматривая публику. В креслах, беседуя и дымя сигаретами, сидят господа в хорошо сшитых, элегантных дорожных костюмах или смокингах, в изящных лаковых туфлях. В нише расположилась целая компания: три молодые женщины громко разговаривают по-французски с двумя молодыми людьми, то и дело звучит смех, беспечный, нестесненный смех — музыка беззаботности, упивающейся собою.

Позади них просторный зал с мраморными колоннами — ресторан. Официанты во фраках стоят у дверей на страже. Можно зайти поужинать, думает Кристина и машинально ощупывает сумку — там ли кошелек с двумя стофранковыми бумажками и семьюдесятью шиллингами. Конечно, можно, а сколько это будет стоить? Зато еще раз посидеть в таком зале, где за тобой ухаживают, восхищаются, балуют, послушать музыку, — да, оттуда в самом деле доносится музыка, легкая и негромкая.

Но в ней опять оживает знакомый страх: у нее нет платья, нет талисмана, который раскроет перед ней эту дверь. Мимолетное чувство уверенности исчезает, и опять внезапно вырастает незримая преграда, магическая пентаграмма страха, которую она не осмеливается переступить. Вздвогнув, она быстро, словно убегая от погони, выходит из отеля. Никто не взглянул на нее, никто не остановил, и оттого, что ее просто

не заметили, она чувствует себя еще более неудобно, чем когда вошла сюда.

И опять она шагает по улице. Куда пойти? Да и зачем я, собственно, иду? Улицы постепенно пустеют, ее обгоняют прохожие, видно, торопятся к ужину. Зайду в ресторан, решает Кристина, но не в такой шикарный, а куда-нибудь попроще, где светло, где обычные люди и где на меня не будут коситься». Вскоре она находит такое заведение и садится за свободный столик. Никто не обращает на нее внимания. Официант приносит ей заказанные блюда, она что-то жует, безучастно и раздраженно. И для этого я пришла, думает она, ну что здесь делать? Сидеть и смотреть на белую скатерть? Нельзя же все время есть, что-то еще заказывать, рано или поздно придется встать и идти дальше. Но куда? Всего лишь девять часов.

К ее столику подходит разносчик газет — уже разнообразие, предлагает вечерние выпуски, она покупает две-три газеты, не для того чтобы читать, а просто поглядеть и сделать вид, будто занята, будто кого-то ждет. Она равнодушно просматривает новости. Какое ей дело до трудностей при формировании правительственного кабинета, до кражи с убийством в Берлине, биржевых сводок, что ей эта болтовня о солистке Оперы: останется ли она в труппе или нет, будет ли она выступать двадцать или семьдесят раз в год — Кристина все равно никогда ее не услышит. Уже отложив газету, она замечает на последней странице крупный заголовок: «Развлечения — куда пойти сегодня вечером», а ниже объявления театров, танцбаров, кабаре. Она снова берет газету и читает: «Танцевальная музыка — кафе «Оксфорд», «Сестры Фредди — бар «Карлтон», «Капелла венгерских цыган», «Знаменитый негритянский джаз-банд, открыто до трех утра, рандеву с лучшим венским обществом!» Может, еще раз побывать там, где развлекаются, потанцевать, сбросить невыносимый панцирь, сковавший грудь? Она записывает адреса двух заведений — оба недалеко отсюда, как ей сказал официант.

Она сдает в гардеробе пальто и сразу чувствует себя легче, избавившись от надоевшего страха. Снизу, из полуподвала,

доносится быстрая, четкая музыка, Кристина спускается по ступенькам в бар. Увы, разочарование: здесь еще почти пусто. Оркестр — полдюжины парней в белых куртках — старается вовсю, словно хочет насильно заставить пуститься в пляс нескольких нерешительных посетителей, сидящих за столиками. Но на квадратной площадке одна-единственная пара: явно наемный партнер — чуть подведенные веки, чуть-чуть слишком тщательно причесан, чересчур броски заученные па — без воодушевления снует вдоль средней линии со здешней «дамой».

Из двадцати столиков четырнадцать-пятнадцать пустуют. За одним сидят дамы определенной профессии: одна с обесцвеченными до пепельного цвета волосами, вторая в весьма мужской экипировке — черное платье и облегающий жилет, похожий на смокинг, третья — жирная, грудастая еврейка, медленно потягивающая виски через соломинку. Все три, смеясь наметанным взглядом Кристину, тихо посмеиваются и перешептываются, по своему многолетнему опыту они принимают ее за новенькую или провинциалку. Мужчины, сидящие врозь за столиками, по-видимому, коммивояжеры, у них усталый вид, они плохо побриты, перед каждым чашка кофе или рюмочка шнапса, сидят развалившись и словно ждут чего-то, что поможет им встряхнуться.

Когда Кристина вошла в пустой зал, ей показалось, будто она ступила в пустоту.захотелось повернуть назад, но к ней тотчас услужливо подбегает официант, спрашивает, куда барышне угодно сесть, она садится за первый попавшийся столик и ждет, как и другие, в этом невеселом увеселительном заведении чего-то, что должно произойти и не происходит. Лишь раз один посетитель (в самом деле представитель пражской текстильной фирмы) неуклюже поднялся со стула и, пригласив Кристину, потоптался с ней под музыку, а потом отвел ее на место: то ли решимости не хватило, то ли не было охоты, но он почувствовал в этой незнакомке какую-то половинчатость — что-то странное и нерешительное, колеблющееся между желанием и нежеланием, в общем, для него слишком

сложный случай (учитывая, что в шесть тридцать утра надо ехать дальше, в Аграм). Тем не менее Кристина сидит здесь уже час. Двое недавно вошедших мужчин подсади к «дамам», только она по-прежнему в одиночестве. Она вдруг подзывает официанта, расплачивается и уходит прочь, озлобленная, провожаемая любопытными взглядами.

Опять улица. Поздний вечер. Она идет, не зная куда. Ей сейчас все равно. Безразлично, бросят ли ее в Дунайский канал, когда ее задавит машина (это едва не случилось только что при переходе улицы). Ей вдруг показалось, что полицейский как-то странно взглянул на нее и даже было направился к ней, будто собираясь что-то спросить, и она подумала, что ее, наверное, приняли за одну из этих самых женщин, которые медленно выходят из сумрака и заговаривают с мужчинами. Она идет дальше и дальше. Пожалуй, вернись-ка в гостиницу, думает она, что тут делать? Неожиданно она слышит шаги за спиной. Рядом возникает чья-то тень, мужчина смотрит Кристине в лицо.

— Уже домой, фройляйн, так рано?

Она молчит. Но он не отступает, продолжая настойчиво и весело уговаривать. Не согласна ли она куда-нибудь заглянуть? Кристина ловит себя на том, что ей приятно его слушать.

— Нет, ни в коем случае.

— Но кто же в такое время идет домой? Только в кафе.

В конце концов она соглашается, лишь бы не оставаться одной. Славный парень, думает она, сказал, что служит в банке... наверняка женат, вон и кольцо на руке. Ах, все равно, ей ничего не надо от него, просто не хочется сейчас быть одной, пусть рассказывает анекдоты, можно и послушать вполуха. Время от времени она разглядывает его: не первой молодости, под глазами морщины, лицо усталое, и вообще вид такой же поношенный и помятый, как у его костюма. Но болтает очень мило.

Впервые она опять разговаривает с человеком, вернее, выслушивает его и все же понимает: это не то, что ей хочется. Его

веселость отдается в ней какой-то болью. Да, кое-что из его рассказов забавно, однако она чувствует, что горечь прежней озлобленности еще дает о себе знать, и постепенно в ней зреет что-то вроде ненависти к этому незнакомцу, который рад и беззаботен, в то время как ей гнев застит глаза. Когда они выходят из кафе, он берет ее под руку и прижимает к себе. Точно так же, как сделал тогда, перед отелем, другой человек, и волнение, охватившее Кристину, вызвано не сегодняшним разговорчивым кавалером, а воспоминанием о том, другом. Внезапно она почувствовала страх. Ведь она, чего доброго, может поддаться первому встречному, который вовсе ей не нужен, уступить только лишь от злости, оттого, что иссякло терпение... Увидев приближающееся такси, она вдруг резко взмахивает рукой и, оттолкнув озадаченного кавалера, ныряет в машину.

Позднее она долго лежит без сна на гостиничной койке, прислушиваясь к уличному шуму, к проезжающим машинам. Конечно, туда уже не вернуться, невидимый барьер не перешагнуть. Кристине не спится, она то и дело тяжело вздыхает, сама не зная о чем.

Воскресное утро тянется так же долго, как и беспокойная бессонная ночь. Большинство магазинов закрыты, соблазны их спрятаны за опущенными жалюзи. Чтобы убить время, Кристина идет в кафе и сидит там, листая газеты. Она уже забыла, что предвкушала, отправляясь в Вену, зачем приехала сюда, где ее никто не ждет, где она никому не нужна. Вспомнила только, что надо бы навестить сестру и зятя, ведь обещала, неудобно не зайти. И лучше всего сделать это после обеда, ни в коем случае не раньше, а то еще подумают, что нарочно пришла к накрытому столу. Сестра так изменилась с тех пор, как у нее появились дети, дрожит над каждым куском. Еще есть часа два-три, можно погулять.

На Ринге, у картинной галереи, Кристина видит объявление, что вход сегодня бесплатный; она равнодушно бродит по залам, присаживается на бархатные скамейки, разглядывает

публику. Потом снова шагает по улице, заходит в какой-то парк, и чувство одиночества в ней становится все сильнее и сильнее. Когда же наконец в два часа она подходит к дому зятя, то чуть не валится с ног от усталости, словно полдня тащила по сугробам. И прямо у ворот неожиданно встречает все семейство; сестра, зять, дети — все нарядно, по-воскресному одеты и все искренне (к удовольствию Кристины) рады ее приходу.

— Вот это да, ну и сюрприз! А я еще на той неделе говорил жене, надо бы написать, чего она не показывается, и вот... Что ж ты не пришла к обеду? Ну ладно, мы собрались в Шёнбрунн, хотим показать детям зверушек, да и прогуляемся заодно, день-то какой... Идем с нами.

— С удовольствием, — соглашается Кристина.

Хорошо, когда знаешь, куда идти. Хорошо, когда ты с людьми. Нелли ведет детишек, а Франц, взяв под руку Кристину, развлекает ее всякими историями. Он говорит без умолку, широкое лицо лучится добродушием; издали видно, что живется ему неплохо, что он доволен жизнью и собой. Еще не дойдя до трамвайной остановки, зять успел под большим секретом сообщить ей, что завтра его выберут председателем районного бюро, но ведь он заслужил это — доверенным лицом в партийной организации он стал сразу же, вернувшись с войны, и если дела пойдут успешно и на ближайших выборах удастся победить католиков, то он войдет в местный совет.

Кристина любезно слушает зятя. Она всегда симпатизировала этому простому, небольшого роста человеку, обходительному и доверчивому. Ей понятно, что товарищи Франца охотно избирают его на скромную должность, он действительно этого заслуживает. И все же, поглядывая сбоку на него — краснощекого, спокойного, с двойным подбородком и брюшком, которое колышется при каждом шаге, Кристина не без испуга думает о сестре: ну как она может... Чтобы ко мне прикасался такой мужчина — я бы не вытерпела. Но днем, среди людей с ним хорошо. У решеток зверинца в окружении детишек он сам становится ребенком. И с тайной завистью



Кристина подумала, что, изводя себя несбыточными мечтами, разучилась радоваться таким простым вещам.

Наконец в пять часов (детям надо рано ложиться спать) решено возвращаться. В переполненный по-воскресному трамвай сначала впихивают детей, затем втискиваются сами. Под торопливый стук колес в давке, Кристина невольно вспоминает: ясное утро, сверкающий автомобиль, упоительно пряный воздух, ветерок, овевающий лоб и щеки, упругое сиденье, мелькающий ландшафт... В трамвайной давке, зажмурившись, она мысленно витает в далеких сферах, не замечая времени, и открывает глаза, лишь когда зять трогает ее за плечо.

— На следующей вылезает. И сразу к нам, выпьем кофейку, на поезд еще успеешь. Погоди-ка, я первый, расчищу дорогу.

Выставив вперед локоть, он стал проталкиваться; низенькому здоровяку в самом деле удалось пробуравить узкий проход между еле-еле уступающими напору животами и спинами. И когда он уже был почти у дверей, вспыхнул скандал.

— Осторожнее, болван, локтем своим живот пробуровил! — крикнул, озлившись, высокий худой мужчина в плаще.

— Кто болван? — возмутился Франц. — Все слышали, все?.. Кто болван?

Человек в плаще с трудом протиснулся ближе, пассажиры с любопытством уставились на них в ожидании перебранки. Но гневный голос Франца вдруг осекся.

— Фердинанд, ты?.. Это же надо, чуть было не разругались, ну и дела!

Человек в плаще тоже изумленно улыбается. Оба смотрят друг на друга, взявшись за руки, и никак не могут насмотреться.

Кондуктор, видя затянувшуюся встречу, предупреждает:

— Господа, кому выходить, прошу побыстрее! Вагон ждать не может.

— Пошли с нами, я живу тут рядом... Это ж надо!.. Пошли, пошли!

Высокий, улыбаясь, кладет руку низенькому Францу на плечо.

— Конечно, Францль, конечно.

Выходят вместе. Франц шумно сопит от волнения, лицо его блестит, словно смазанное жиром.

— Это ж надо, свела нас все-таки жизнь — повстречались, уж сколько раз о тебе вспоминал, думал: напишу-ка ему, да все откладывал, откладывал, сам знаешь, как это бывает. И вот наконец встретились. Это ж надо, Господи, как я рад.

Знакомый Франца тоже радуется, это заметно по тому, как у него подрагивают губы. Только он моложе и более сдержан.

— Ну ладно, ладно, Францль, — он похлопывает друга по плечу, — а теперь представь-ка меня дамам, одна из них наверняка Нелли, твоя жена, о которой ты мне так часто рассказывал.

— Да, да, конечно, извини, совсем растерялся... Господи, до чего же я рад! — И, обращаясь к Нелли: — Это Фердинанд Барнер, ну тот самый, о котором я тебе говорил. Два года мы провели вместе в бараках, там, в Сибири. Он был единственный — да, да, Фердинанд, ты сам знаешь, — единственный порядочный парень среди всего австро-венгерского сброда, с которым мы угодили в плен, единственный, с кем можно было поговорить, на кого можно было положиться... Это ж надо!.. Чего мы стоим, пошли, не терпится послушать, что с тобой приключилось. Нет, это ж надо! Если б кто-нибудь сегодня сказал, что меня ждет такая радость... Нет, ты представь: сядь я на следующий трамвай, и мы вообще могли больше ни разу в жизни не встретиться!

Никогда еще Кристина не видела спокойного, уравновешенного зятя таким оживленным и проворным. Он чуть ли не бегом поднялся по лестнице и распахнул дверь перед своим фронтальным товарищем, который со снисходительной улыбкой принимал его восторги.

— Снимай пиджак, располагайся поудобнее, садись вот сюда, в кресло... Нелли, кофе, водку, сигареты!.. Ну-с, дай-ка

я на тебя погляжу. Да-а, не помолодел и чертовски тощий. Откормить бы тебя как следует не мешало.

Гость добродушно позволял себя рассматривать, ребячливость хозяина явно была ему по душе. Суровое, напряженное лицо с выпуклым лбом и выступающими скулами постепенно смягчалось.

Глядя на него, Кристина вспомнила портрет какого-то испанского художника, который видела сегодня в галерее: такое же аскетическое, костлявое, почти бесплотное лицо с глубокими складками у рта.

Гость, улыбаясь, похлопал Франца по руке.

— Пожалуй, ты прав, нам бы с тобой опять поделиться, как тогда консервами: немного жирка можешь мне уступить, тебе не повредит, и Нелли, надеюсь, не будет против.

— Ладно, дружище, рассказывай, а то я сгорю от любопытства: куда же вас тогда Красный Крест завез, я ведь попал в первый эшелон, а ты и еще семьдесят человек должны были приехать на следующий день. Мы двое суток простояли у австрийской границы. Не было угля. С часу на час ждали, что ты появишься, десять, двадцать раз ходили к начальнику станции, требовали, чтобы запросил телеграфом, но там была жуткая неразбериха, в общем, двинулись мы только на третий день, семнадцать часов тащились от чешской границы до Вены. Так что с вами стряслось?

— Ты мог бы с тем же успехом еще два года ждать у границы, вам повезло, а нам дали от ворот поворот. Через полчаса после вашего отъезда полетели телеграммы: пути взорваны чехословацким корпусом, и нас завернули обратно в Сибирь. Не шутка, но мы не отчаивались. Думали — еще неделька, ну месяц. Но что это протянется два года, никто и вообразить не мог. Из семидесяти дожили человек пятнадцать. Красные, белые, Колчак, война не затихала, нас перебрасывали то вперед, то назад и трясли, как горох в мешке. Только в двадцать первом Красный Крест вызволил нас через Финляндию. В общем, помыкались немало, и, сам понимаешь, обрасти жирком не пришлось.

— Вот незадача, ты слышишь, Нелли! И все из-за какого-то получаса. А я знать ничего не знал, понятия не имел, что приключилось такое, да еще с тобой! Как раз с тобой! Ну и что же ты делал эти два года?

— Эх, дружище, если начну все рассказывать, до завтра не кончу. Пожалуй, я занимался всем, чем вообще может заниматься человек. Помогал косить, работал на строительстве, разносил газеты, стучал на пишущей машинке, две недели воевал за красных, когда они подошли к нашему городу, потом отправился по деревням — милостыню просил... Вспомнишь, и даже не верится, что сижу тут с вами и покуриваю.

Франц страшно разволновался.

— Нет, это ж надо! Я только сейчас понял, как мне повезло: ведь, если подумать, что ты с детьми еще два года была бы тут одна, без меня... Нет, это ж надо! Чтобы жизнь этак огрела по башке, и какого славного парня! Слава Богу, хоть выкарабкался, хоть цел и невредим.

Гость положил горящую сигарету в пепельницу и резким движением потушил ее. Его лицо внезапно помрачнело.

— Да, можно считать, что повезло, и цел, и почти невредим, вот только два пальца сломали в последний день. Да, можно считать, выпала удача, отделался легко. Случилось это в день окончательного отъезда, собрали всех, кто жив остался, на станции, самим пришлось от пшеницы товарный вагон очищать, ждать больше сил не было, всем хотелось поскорее уехать, и погрузили нас в этот вагон семьдесят человек вместо сорока по норме. Повернуться негде, и если кому приспичило по нужде... нет, при дамах не расскажешь. Но все-таки мы ехали, и на том спасибо. На следующей станции к нам посадили еще двадцать человек. Вталкивали их прикладами, одного за другим, пятеро или шестеро уже на полу валялись — затоптали, и так вот ехали семь часов, прижатые друг к другу, кругом стонут, кричат, хрипят, вонь страшная. Я стоял лицом к стенке, изо всех сил упирался руками, чтобы грудь не продавили, два пальца сломал, на третьем сухожилие лопнуло, шесть часов стоял, полузадохнувшийся. На следующей оста-

новке чуть полегчало — выкинули пять трупов: двоих затоптали, трое задохлись, — вот так и ехали до самого вечера... Да, можно считать, повезло, два сломанных пальца и порванное сухожилие... Пустяк.

Он показал правую руку: средний палец был дряблый и не сгибался.

— Пустяк, правда? Всего один палец после мировой войны и четырех лет Сибири... Но вы не поверите, что значит один мертвый палец для живой руки. Нельзя рисовать, если хочешь стать архитектором, нельзя печатать на машинке, нельзя браться за тяжелую работу. Какая-то несчастная жилка, а на этой жилке вся карьера висит. Все равно что в проекте здания ошибиться на миллиметр — пустяк вроде, а дом может рухнуть.

Франц потрясен, то и дело беспомощно повторяет свое: «Это ж надо! Это ж надо!» Видно, больше всего ему хочется погладить руку Фердинанда. Женщины озабоченно и с интересом поглядывают на гостя. Наконец к Францу возвращается дар речи:

— Ну а дальше, дальше, чем ты занимался после, когда приехал?

— Тем, что еще тогда тебе говорил. Хотел продолжать техническое образование, связать нить там, где она порвалась, в двадцать пять лет снова сесть за парту, из-за которой встал в девятнадцать. В конце концов научился рисовать левой, но тут опять кое-что помешало, тоже мелочь.

— Что именно?

— Видишь ли, в этом мире так заведено, что учение стоит немалых денег, вот как раз этой мелочи мне и не хватило... Вечно эти мелочи.

— Да, но почему вдруг? У вас же всегда водились деньги — дом в Меране, земли, трактир, мелочная лавка, табачный киоск. Сам рассказывал... И еще бабушка, которая на всем сэкономила, каждую пуговицу берегла и спала в холодной комнате, потому что жалела бумагу и лучину для растопки. Что с ней?

— Она живет в прекрасном доме, вокруг чудесный сад, я

как раз ехал на трамвае оттуда, это дом для престарелых в Лайнце, поместили ее в богадельню с огромным трудом. А кроме того, у нее куча денег, полная шкатулка. Двести тысяч крон в добрых старых тысячных банкнотах. Днем она держит их в ящике, ночью под кроватью. Врачи смеются над ней, потешаются и сиделки. Двести тысяч крон... она была хорошей патриоткой и все продала — виноградники, трактир, лавку, — потому что не желала стать итальянкой. И все вложила в красивые, новехонькие тысячные банкноты, с такой помпой появившиеся на свет в войну. А теперь прячет их под кроватью и убеждена, что они когда-нибудь снова поднимутся в цене, что иначе быть не может: ведь то, что однажды было двадцатью или двадцатью пятью гектарами, хорошим каменным домом, добротной старинной мебелью и сорока или пятьюдесятью годами труда, не может превратиться навеки в ничто. Да, в свои семьдесят пять лет бедняга не понимает этого. Она по-прежнему верит в доброго боженьку и его земную справедливость.

Вынув из кармана курительную трубку, он быстро набил ее и начал вовсю дымить. В его стремительных движениях Кристина сразу почувствовала хорошо знакомую ей озлобленность — хладнокровную, жестокую, язвительную, это было приятно и как-то роднило с ним. Нелли сердито отвернулась. В ней явно росла неприязнь к пришельцу, который бесцеремонно дымит в комнате и обращается с ее мужем, как со школьником. Ее раздражала покорность мужа перед этим плохо одетым, ершистым и — она ощущала это инстинктивно — переполненным бунтарским духом человеком, который будоражил их уютную заводь. Франц же, будто оглушенный, не отрываясь смотрит на своего товарища, добродушно и в то же время испуганно, и то и дело бормочет:

— Это ж надо! Нет, это ж надо! — Немного успокоившись, он снова задает все тот же вопрос:

— Ну а дальше, что ты потом делал?

— Да всякое. Сначала решил подрабатывать, думал, хватит на оплату лекций, но оказалось, что едва хватало на про-

питание. Да, милый Франц, банки, государственные учреждения и частные фирмы отнюдь не дожидались тех мужчин, которые прихватили две лишние зимы в Сибири, а потом вернулись на родину с покалеченной рукой. Повсюду: «Сожалею, сожалею», повсюду уже сидели другие — с толстыми задницами и здоровыми пальцами, повсюду я с моей «мелочью» оказывался в последнем ряду.

— Но... ведь у тебя есть право на пенсию по инвалидности, ты же нетрудоспособен или трудоспособен ограниченно, тебе же должны оказать помощь, ты имеешь на это право.

— Ты полагаешь? Впрочем, я тоже так думаю. И думаю, что государство до некоторой степени обязано помочь человеку, если тот потерял дом, виноградники, один палец и вычеркнул из жизни шесть лет. Но, мой милый, в Австрии все дорожки кривые. Я тоже не сомневался, что оснований у меня достаточно, пошел в инвалидное ведомство, сказал, где и когда служил, показал палец. Но не тут-то было: во-первых, надо представить справку о том, что увечье я получил на войне или же оно является следствием войны. А это не просто, поскольку война окончилась в восемнадцатом, а палец покалечили в двадцать первом в обстановке, когда составлять протокол было некому. Ну ладно, это еще полбеды. Но вот затем господа сделали великое открытие — да, Франц, сейчас ты обалдеешь, — оказывается, я вовсе не австрийский подданный. Согласно метрике, я родился в Меранском округе и подлежу его юрисдикции, а чтобы стать гражданином Австрии, мне следовало своевременно оптировать\*.

— Так почему... почему ты не оптировался?

— Черт возьми, ты задаешь мне тот же дурацкий вопрос, что и они. Будто в сибирских избах и бараках в девятнадцатом году вывешивали для нас австрийские газеты. В нашей таежной деревне мы, дорогой Франц, понятия не имели, отойдет ли

---

\* Оптировать — выбрать гражданство; право выбрать по своему желанию (оптация) гражданство обычно предоставляется населению территории, переходящей от одного государства к другому. — *Примеч. ред.*

Вена к Богемии или к Италии, да нам, честно говоря, было наплевать, нас интересовало только, как бы раздобыть кусок хлеба и избавиться от вшей. Да еще сходить в соседнюю деревню за коробком спичек или пригоршней табака — пять часов туда и обратно. Вот и оптируй там австрийское гражданство... В конце концов мне все-таки выдали бумажку, в которой значилось, что я «согласно статье шестьдесят пятой, равно как статьям семьдесят первой и семьдесят четвертой Сен-Жерменского мирного договора от десятого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года, предположительно являюсь австрийским гражданином». Готов уступить тебе эту бумажонку за пачку египетских сигарет, ибо во всех ведомствах мне не удалось выцарапать ни гроша.

Франц оживился. Ему сразу стало легче — он почувствовал, что теперь-то сумеет помочь.

— Ну, это я устрою, не сомневайся. Это мы провернем. Лично я могу засвидетельствовать твою военную службу, а депутаты — мои однопартийцы, — они уж найдут ход, и рекомендацию от магистрата ты получишь... Это мы провернем, будь уверен.

— Спасибо тебе, дружище! Но хлопотать я больше не стану, с меня хватит. Ты даже не представляешь, сколько я приволок всяких бумаг — военных, гражданских, от бургомистра, от итальянского посольства, справку об отсутствии средств к существованию и еще Бог знает что. На гербовые марки и почтовые сборы потратил больше, чем выклянчил за целый год, набегался так, что пятки до сих пор горят. В государственной канцелярии был, в военном министерстве был, ходил и в полицию и в магистрат, там нет ни одного кабинета, куда бы меня не отослали, ни одной лестницы, по которой бы не протопал вверх и вниз, ни одной плевательницы, в которую бы не плюнул. Нет, мой милый, лучше подохнуть, чем еще раз таскаться по инстанциям.

Франц растерянно смотрит на приятеля, словно тот поймал его на вранье. Ему неловко за собственное благополучие, он чувствует себя чуть ли не виноватым.



— Да, но что же ты теперь делаешь? — спрашивает он, придвинувшись ближе к Фердинанду.

— Что придется. Пока работаю во Флоридсдорфе десятиником на стройке, так — полуархитектор, полунадзиратель. Платят вполне сносно, будут держать, пока закончат строительство или же разорятся. А там что-нибудь найду, сейчас это меня не волнует. Но вот главное, о чем я тебе говорил тогда в Сибири, на нарах, о моей мечте стать архитектором, строить мосты — на этом поставлен крест. Время, которое там, за колючей проволокой, прошло впустую, теперь уже не наверстать. Дверь в институт закрыта, мне ее не отпереть, ключ выбила из рук война, он остался в сибирской грязи. И хватает об этом... Налей-ка мне лучше коньяку, пить и курить — единственное, чему мы научились на войне.

Франц послушно наливает рюмку. Руки его дрожат.

— Это ж надо, нет, это ж надо! Такой парень, умный, работающий, честный, и должен так мыкаться. Это ж истинный позор! Я готов был поклясться, что ты далеко пойдешь, уж если кто этого заслужил, так это ты. Иначе и быть не может. Должно же все в конце концов образоваться.

— Должно? Я тоже так думал, все пять лет с тех пор, как вернулся. Только «должно» — твердый орешек, не всем по зубам. В жизни ведь все выглядит немножко по-другому, чем мы учили в хрестоматии: «Будь верным и честным до гроба...» Мы не ящерицы, у которых обломленный хвост мигом отрастает. Когда отняли шесть лет жизни, Франц, шесть лучших лет — с девятнадцати до двадцати пяти — вырезали из живого тела, то становишься вроде калеки, даже если, как ты говоришь, удалось благополучно вернуться домой. Знаний у меня не больше, чем у любого юного ремесленника или беспутного гимназиста, — с такими знаниями я нанимаюсь на работу, а выгляжу на все сорок. Нет, в плохие времена мы родились на свет, и никакой врач тут не поможет, шесть лет молодости, вырванных живьем, — кто их возместит? Государство? Эта шайка воров и подлецов? Назови хоть одно среди ваших сорока министерств — юстиции, социального обеспечения, любое

из ведомств мирных или военных дел, которое было бы за справедливость. Сначала они погнали нас под марш Радецкого и «Боже, храни», а теперь трубят совсем другое. Да, милейший, когда твои дела дрянь, мир выглядит не очень-то розовым.

Франц сидит подавленный. Не замечая сердитых взглядов жены, он смущенно принимается оправдывать друга:

— Вот слушаю тебя и не узнаю... Эх, посмотрели бы вы, какой он был там — добрее и талантливее его не было, единственный порядочный малый среди всего сброда. Помню, как Фердинанда привели к нам, худенький парнишка девятнадцати лет, другие на радостях чуть не плясали, что заваруха для них кончилась, только один он был бледный от злости, что его схватили при отступлении, вытащив прямо из вагона, не дали довоевать и погибнуть за отечество. В первый же вечер он, помнится, стал на колени и начал молиться, такого мы еще не видали... да, на войну он попал прямо из рук пастора и матушки. Если кто-нибудь смеялся над императором или армией, он готов был вцепиться тому в горло. Вот таким он был, самый порядочный, еще верил во все, что писали в газетах и в приказах по полку... а теперь вот что говорит!

Фердинанд хмуро посмотрел на него.

— Да, я верил всему, как школьник. Но вы меня отучили. Разве не вы сказали мне в первый же день, что все — обман, наши генералы ослы, а интенданты воры, что дурак тот, кто не сдался в плен? А кто был там главным агитатором? Я или ты? Кто держал речи о мировой революции и мировом социализме? Кто первым взял красный флаг и отправился в офицерский лагерь срывать с офицеров кокарды? Ну-ка вспомни, вспомни! Кто вместе с красным комиссаром у губернаторского дворца обратился с речью к пленным австрийцам, говорил, что они больше не наемники императора, а солдаты мировой революции, что они поедут домой для того, чтобы разрушить капиталистический строй и создать царство порядка и справедливости? Ну и что же стало после того, как тебе снова подали твою любимую рульку с кружкой пива? Где же, по-

звольте покорнейше спросить, господин обер-социалист, ваша мировая революция?

Нелли резко встает и начинает возиться с посудой. Она уже не скрывает своего раздражения тем, что ее муж в собственном доме позволяет чужаку распекать его, как мальчишку. Кристина замечает, что сестра рассержена, но ей самой почему-то весело, даже хочется смеяться, глядя, как зять, будущий председатель районного бюро, сидит понурившись и смущенно извиняется.

— Мы же сделали все, что было надо. Сам знаешь, революцию начали в первый же день...

— Революцию? Да вся ваша революция выеденного яйца не стоит. На императорско-королевском балагане вы только сменили вывеску, а внутри все оставили по-старому, с покорством и почтением: господ — аккуратненько наверху, низы — точненько внизу, вы побоялись грохнуть кулаком и перевернуть все до основания. Не революция у вас получилась, а фарс Нестроя\*.

Поднявшись, он в сильном волнении ходит взад-вперед по комнате, потом внезапно останавливается перед Францем.

— Не пойми меня превратно, я не из «красных». Я слишком близко видел гражданскую войну и, даже если б ослеп, все равно этого не забуду... Одна деревня трижды переходила от красных к белым, и когда наконец красные ее взяли, то нас заставили хоронить трупы. Я собственными руками закапывал их, обугленных, искромсанных детей, женщин, лошадей — все вперемешку, вонь, ужас... С тех пор я знаю, что такое гражданская война, и предложи мне сейчас кто добыть вечную справедливость с неба такой ценой, я бы напрочь отказался. Мне до этого больше нет дела, я не за большевиков и не против них, я не коммунист и не капиталист, меня интересует судьба только одного человека — самого себя, и единственное государство, которому я хотел бы служить, — это моя

---

\* Нестрой, Иоганн (1801 — 1862) — австрийский комедиограф. — *Примеч. пер.*

работа. А каким путем добьется счастья следующее поколение, мне совершенно наплевать, моя забота — наладить свою исковерканную жизнь и заняться тем, на что я способен. Когда в моей жизни наступит порядок и появится свободный часок, тогда я, быть может, после ужина поразмышляю о том, как навести порядок в мире. Но сначала мне надо найти свое место. У вас есть время беспокоиться о чужих делах, у меня же — только о своих.

Франц порывается возразить.

— Да нет, Франц, я это не в укор тебе. Ты славный парень, я не сомневаюсь, что если бы ты мог, то очистил бы для меня Национальный банк и сделал бы меня министром. Знаю, ты добрый, но ведь это наша вина, наш грех, что мы были такими добрыми, такими доверчивыми, что с нами делали все что хотели. Нет, дружище, меня больше не проведешь уверениями, что, мол, другим хуже, что мне еще повезло — руки-ноги целы, без костылей бегаю... Мол, будь доволен, что дышишь и не голодный, значит, все в порядке. Нет, меня не обманешь. Я больше ни во что не верю: ни в Бога, ни в государство, ни в какой-либо смысл жизни — ни во что, и не поверю, пока не почувствую, что отстоял свое право на жизнь, а пока этого не произойдет, буду утверждать, что меня обманули и обокрали. Я не уступлю, пока не почувствую, что живу настоящей жизнью, а не довольствуюсь чужими отбросами и объедками. Тебе это понятно?

— Да!

Все удивленно поднимают глаза. «Да» прозвучало громко и страстно. Кристина замечает, что любопытные взгляды устремлены на нее, и краснеет. Ведь она не собиралась говорить — только мысленно, всей душой произнесла это «да», но оно само собой сорвалось с языка. И вот она сидит смущенная, оказавшись неожиданно в центре внимания. Все молчат. И тут Нелли вскакивает с места. Наконец-то улучила минутку разрядить свой гнев:

— А тебя кто спрашивает? Будто ты имела какое-то отношение к войне, что ты в этом понимаешь?

Атмосфера в комнате сразу накалилась. Кристина тоже рада возможности сорвать злость:

— Ничего! Ровным счетом ничего! Только то, что мы из-за войны все потеряли. Что у нас был брат, ты уже забыла, и как отец разорился — тоже, и что все пропало... все.

— Только не ты, тебе не на что жаловаться, у тебя есть хорошее место, и радуйся этому.

— Так, значит, мне надо радоваться. И еще благодарить за то, что прозябаю в жалкой дыре. Видно, тебе не очень там нравилось, если выбиралась к матери раз в год по праздникам. Все, что сказал господин Барнер, — правда. У нас украли годы жизни и ничего не дали взамен; ни минуты покоя, радости, ни отпуска, ни передышки.

— Ни отпуска? Сама была в Швейцарии, в шикарных отелях, а еще жалуется.

— Я никому не жаловалась, вот твои жалобы всю войну только и слышала. А насчет Швейцарии... Именно потому, что я там видела, мне есть что сказать. Только теперь я поняла... что у нас отняли... как нам исковеркали жизнь... чего мы...

Кристина вдруг почувствовала пристальный взгляд гостя и смутилась. Она подумала, что слишком уж разоткровенничалась, и сбавила тон:

— Понятно, я не собираюсь равняться с теми, кто воевал, конечно, они пережили больше. Хотя каждому из нас хватало своей доли. Я никогда не жаловалась, не ныла и никому не была в тягость. Но когда ты говоришь, что...

— Тихо, дети! Не ссорьтесь, — вмешивается Франц. — Толку от этого чуть, нам, вчетвером, уже ничего не поправить: не надо о политике, тут всегда начинаются раздоры. Поговорим о чем-нибудь другом, и, пожалуйста, не лишайте меня удовольствия. Вы не представляете, до чего мне приятно снова видеть его, даже если он ругает и поносит меня, все равно я рад.

В маленьком обществе вновь воцаряется мир.

Некоторое время все наслаждаются тишиной.

Затем Фердинанд поднимается.

— Мне пора, позови-ка твоих мальчуганов, хочу еще раз на них взглянуть.

Детей приводят, они удивленно и с любопытством смотрят на гостя.

— Вот этот, Родерих, довоенный. О нем я знаю. А второй малыш, так сказать, новенький, как его зовут?

— Иоахим.

— Иоахим! Слушай, Франц, разве его не собирались называть иначе?

Франц вздрагивает.

— Боже мой, Фердинанд! Забыл, начисто забыл. Ты подумай, Нелли, как же это у меня из головы вылетело, ведь мы обещали друг другу, что если вернемся домой, то он будет тезкой моего новорожденного, а я — его. Ну совершенно забыл. Ты обиделся?

— Милый Франц, думаю, мы никогда больше не сможем обижаться друг на друга. В прошлом у нас было достаточно времени для ссор. Видишь ли, суть в том, что все мы забываем прошлое, увы. А может быть, это к лучшему, — он гладит мальчика по голове, взгляд его теплеет, — может, мое имя не принесло бы ему счастья.

Теперь он совершенно спокоен. После прикосновения к ребенку в лице его появилось что-то детское. Он миролюбиво подходит к хозяйке дома.

— Простите великодушно, сударыня... Увы, я оказался малоприятным гостем, видел, вам не очень нравилось, как я разговаривал с Францем. Но поймите, два года кряду мы с ним ели из одного котелка, вместе давили вшей, брили друг друга, и если после всего этого начнем расшаркиваться и делать реверансы... Когда встречаешь старого товарища, говоришь с ним так же, как говорил в былое время, и если я его малость отчитал, стало быть, погорячился. Но он знает и я знаю: мы никогда не разойдемся. Прошу извинить, понимаю, что вам не терпится поскорее меня спровадить. Ох как понимаю!

Нелли скрывает досаду. Он сказал именно то, что она думала.

— Нет, нет, заглядывайте, всегда рада вас видеть, а Фран-

цу так хорошо с вами. Заходите как-нибудь в воскресенье, на обед, будем очень рады.

Но слово «рады» звучит не вполне искренне, и рукопожатие холодное, сдержанное. С Кристиной он прощается молча. Лишь на секунду она ловит его взгляд, пытливый и теплый. Гость направляется к двери, следом за ним Франц.

— Я провожу тебя до ворот.

Едва они вышли, как Нелли порывистым движением распахнула окно.

— Ну и надымили, задохнуться можно, — сказала она Кристине, будто оправдываясь, и вытряхнула полную пепельницу, стукнув ею о жестяной подоконник, который отозвался таким же трескучим и резким, как голос Нелли, звуком. Кристина подумала, что, распахивая окно, сестра жаждала немедленно проветрить дом от всего, что вошло сюда вместе с чужаком. Она критически, словно постороннего человека, оглядела Нелли: как очерствела, какой стала тощей и сухопарой, а ведь была веселой, проворной девушкой. Все от жадности, вцепилась в мужа, как в деньги. Даже его другу не хочет уступить ни капельки. Франц должен целиком принадлежать ей, быть покорным, усердно работать и копить, чтобы она поскорей стала госпожой председательшей. Впервые Кристина подумала о старшей сестре (которой всегда охотно подчинялась) с презрением и ненавистью, ибо Нелли не понимала того, чего понимать не желала.

Но тут, к счастью, вернулся Франц. Почувствовав, что в комнате опять нависла предгрозовая тишина, он нерешительно направляется к женщинам. Мягкими мелкими шагами, как бы ступая по нетвердой почве.

— Долго же ты с ним торчал. Ну что ж, мне все равно, это удовольствие, по-видимому, нам предстоит испытать еще не раз. Теперь повадится ходить, адрес известен.

Франц ужаснулся.

— Нелли... как ты смеешь, да ты не понимаешь, что это за человек. Если бы он захотел прийти ко мне, о чем-то попро-

сильно, то давно бы пришел. Отыскал бы мой адрес в официальном справочнике. Неужели тебе непонятно, что Фердинанд не приходил именно оттого, что ему плохо. Ведь он знает: я для него сделал бы все.

— Да уж, для таких тебе ничего не жаль. Встречайся с ним, пожалуйста, я не запрещаю. Только не у нас дома, с меня хватит, вот, смотри, какую дырку прожог сигаретой, и вот видишь, что на полу творится, даже ног не вытер дружок твой... Конечно, я могу подмести... Что ж, если тебе это нравится, мешать не буду.

Кристина сжала кулаки, ей стыдно за сестру, стыдно за Франца, который с покорным видом пытается что-то объяснить жене, повернувшейся к нему спиной. Атмосфера становится невыносимой. Она встает из-за стола.

— Мне тоже пора, а то не успею на поезд, не сердись, что отняла у вас столько времени.

— Ну что ты, — говорит сестра, — приезжай опять, когда сможешь.

Она говорит это так, как говорят постороннему «добрый день» или «добрый вечер». Какое-то отчуждение встало между сестрами: старшая ненавидит бунтарство младшей, младшая — закоснелость старшей.

На лестнице у Кристины внезапно мелькает смутная мысль, что Фердинанд Барнер поджидает ее внизу. Она пытается отогнать от себя эту мысль — ведь тот человек всего лишь бегло взглянул на нее с любопытством и не сказал ни слова, — да и сама она толком не знает, хочется ей этой встречи или нет, однако, по мере того как Кристина спускается со ступеньки на ступеньку, предчувствие переходит почти в уверенность.

Поэтому она не была поражена, когда, выйдя из ворот, увидела перед собой развевающийся серый плащ, а затем взволнованное лицо Фердинанда.

— Простите, фройляйн, что я решил дождаться вас, — говорит он каким-то другим, робким, смущенным, сдержанным голосом, совершенно непохожим на тот прежний, резкий,



энергичный и агрессивный, — но я все время беспокоился, что вам... что не рассердилась ли на вас ваша сестра... Ну, из-за того, что я грубо разговаривал с Францем, и еще потому... потому что вы были согласны со мной... Я очень сожалею, что напустился на него... Знаю, так не полагается себя вести в чужом доме и с незнакомыми людьми, но, даю слово, я сделал это без злого умысла, напротив... Ведь Франц — славный, добрый парень, замечательный друг, он очень, очень хороший человек, другого такого вряд ли найдешь... Когда мы с ним неожиданно встретились, мне захотелось броситься ему на шею, расцеловать, в общем, выразить свою радость хотя бы так, как это сделал он... Но, понимаете, я постеснялся... постеснялся вас и вашей сестры, ведь это выглядит смешно в глазах других, когда разводят сантименты... вот из-за этой стеснительности я и стал на него наскакивать... но я не виноват, все получилось само собой, нечаянно. Посмотрел на него, кругленького, с брюшком, сидит довольный, попивает кофе под граммофон, и тут меня словно подтолкнули, думаю: дай-ка его подразню, расшевелю немного... Вы же не знаете, какой он был там — самый яркий агитатор, с утра до ночи только и говорил о революции: разобьем врагов, наведем порядок... и вот когда я увидел его здесь, такого пухленького, домашнего, уютного, довольного всем — женой, детьми, своей партией и квартирой с цветами на балконе, такого блаженствующего обывателя, то не удержался и решил его чуть пощипать, а ваша сестра подумала, что я просто завидую ему, их благоустроенной жизни... Но, клянусь вам, я рад, что ему так хорошо живется, и если я пощипал его, то лишь потому, что... что на самом деле мне очень хотелось обнять Франца, похлопать его по плечу, по брюшку, но я стеснялся вас...

— Я это сразу поняла, — с улыбкой говорит Кристина, чтобы успокоить его. — Да, было не очень ловко, когда Франц выражал такой бурный восторг, он чуть не взял вас на ручки. Тут любой застесняется.

— Спасибо... рад, что вы меня поняли. А вот ваша сестра этого не заметила, вернее, заметила, что ее муж, как только

меня увидел, тут же переменялся, стал другим... Таким, которого она совершенно не знает. Ведь она понятия не имеет, что мы с ним пережили в то время... С утра до вечера, с вечера до утра мы были неразлучны, словно два арестанта в камере, я узнал о нем столько, сколько его жене никогда не узнать, и если бы я захотел, он пошел бы ради меня на все, как и я ради него. Она это почувствовала, хотя я повел себя так, будто зол на Франца или завидую ему... Наверное, во мне много злости, что правда, то правда... Но зависти нет, ни к кому, такой зависти, когда себе желаешь добра, а другим пусть будет плохо... Я желаю добра каждому, только ведь всякий человек, когда видит, что его ближний живет в достатке, припеваючи, обычно задается вопросом: а почему и не я?.. Вопрос вполне естественный, винить тут некого... Вы меня понимаете... я не спрашиваю: почему не я вместо него?.. Нет, только: а почему и не я?

Кристина невольно остановилась. Этот человек в который уже раз сказал именно так, как думала она сама. Совершенно ясно выразил то, что она лишь смутно чувствовала: ничего чужого мне не надо, но и у меня есть право на свою долю счастья, почему я всегда должна прозябать в голоде и холоде, когда другие сыты и в тепле?

Ее спутник тоже остановился, решив, что наскучил ей и она хочет спровадить его. Он неуверенно потянулся к шляпе. Кристина одним взглядом охватывает и это медленное, нерешительное движение руки, и его плохие, стоптанные ботинки, неглаженные, обтрепанные внизу брюки, она понимает, что только лишь из-за бедности и поношенной одежды этот энергичный молодой человек чувствует себя перед ней столь неуверенно. В эту секунду она вновь увидела себя у швейцарского отеля и вспомнила, как тогда дрожала ее рука с чемоданчиком, его неуверенность ей так понятна, словно она сама перевоплотилась в него. И захотелось тотчас же прийти на помощь ему, то есть себе в нем.

— Мне пора на поезд, — сказала она и не без гордости отметила его испуг. — Но если вам угодно проводить меня...

— О, пожалуйста, с огромным удовольствием!

Кристина уловила в его голосе счастливо-испуганную нотку, и ей опять почему-то стало приятно.

Теперь он идет с ней опять под руку и продолжает извиняться:

— Все-таки я вел себя глупо, ах, как досадно... Не замечал вашу сестру, игнорировал ее, так же нельзя, ведь она его жена, а я совершенно посторонний человек. Сначала надо было спросить ее о детях, в каком они классе, какие у них отметки, и вообще поговорить о том, что касается обоих супругов... Не удержался вот... Как только увидел его, обо всем забыл, я так обрадовался, ведь он единственный человек, который знал меня, понимал... собственно, мы не то чтобы похожи... Он совсем другой, гораздо лучше меня, порядочнее... правда, мы росли и воспитывались в разных условиях, и ему невдомек, чего я хочу и к чему стремлюсь... Но вот жизнь свела нас, два года мы были отрезаны от мира, как на острове... Наверное, не все из моих объяснений было ему доступно и ясно, но он чутьем постиг это лучше, чем кто-либо. Нам даже порой не требовалось разговаривать, мы понимали друг друга без слов... И в тот миг, когда я сегодня вошел в их квартиру, я знал о нем все — быть может, больше, чем он сам о себе, и Франц это понял... вот почему он так смутился, будто я поймал его на чем-то нехорошем, и стеснялся все время... уж чего, не знаю, то ли своего брюшка или того, что превратился в образцового бургера... Но в тот миг он опять был прежним, и уже не существовало ни жены, ни вас, мы с радостью остались бы вдвоем и говорили бы, говорили всю ночь напролет... Конечно, ваша сестра это почувствовала... Ну и что? Я теперь знаю, что он жив-здоров, он знает, что я вернулся, нам обоим стало легче, теплее. Мы оба уверены, что если одному из нас придется туго, то ему есть куда пойти излить душу. А другие... нет, вам этого не понять, да и объяснить я толком, пожалуй, не сумею, но с тех пор, как я здесь... у меня такое ощущение, будто я возвратился с Луны. Люди, с которыми я жил прежде бок о бок, стали мне какими-то чужими... Сижу с родственни-

ками или бабушкой и не знаю, о чем с ними говорить, не понимаю, чему они радуются, все, что они делают, кажется мне крайне чуждым, бессмысленным, ну... все равно как смотришь на танцующих в кафе с улицы, через окна: движения видишь, а музыки не слышно. И удивляешься: чего они там дергаются с такими восторженными лицами. В общем, что-то я перестал понимать в людях, а они перестали понимать меня и потому, наверное, считают завистливым и злым... Будто я говорю на другом языке и требую чего-то непонятного от них... Впрочем, извините меня, фройляйн, это все чепуха, я просто заболтался, и не надо вам в это вникать, незачем.

Кристина опять остановилась и посмотрела на него.

— Ошибаетесь, — сказала она, — я вас очень хорошо понимаю. Понимаю каждое слово. То есть еще год, вернее, месяца три назад, я бы вас, возможно, не поняла, но после того как вернулась из...

Опомнившись, она внезапно умолкла. Она чуть не начала рассказывать все постороннему человеку и поэтому быстро сменила тему:

— Между прочим, должна признаться, что сейчас я иду не на вокзал, а в гостиницу, забрать чемодан. Я приехала вчера вечером, а не сегодня утром, как они подумали... Сестре я этого не стала говорить, она бы обиделась, что я ночевала не у них, но я не люблю обременять кого-либо и... прошу вас... не говорите об этом Францу.

— Ну разумеется.

Она почувствовала, что он рад и благодарен ей за доверие. Они сходили за чемоданом, Фердинанд хотел было нести его, но Кристина воспротивилась.

— Нет, нет, с вашей рукой, вы же сами говорили...

Заметив его смущение, Кристина сообразила, что напрасно это сказала, и тут же передала ему чемодан.

Когда они пришли на вокзал, до отправления поезда оставалось еще три четверти часа. Сидя в зале ожидания, они говорили о Франце, о почтовой конторе, о политическом положении в Австрии и о всяких мелких и несущественных

вещах. Острота и наблюдательность в рассуждениях собеседника произвели на Кристину должное впечатление. Но вот время истекло, она поднимается со скамьи.

— Кажется, мне пора.

Он торопливо, чуть ли не испуганно встает, ему явно не хочется прерывать беседу. Сегодня вечером он будет совсем один, думает с сочувствием Кристина. Ей приятно, что неожиданным образом в ее жизни появился человек, который ухаживает за ней, приятно и даже лестно, что она, никчемное создание, простая почтарка, существующая, чтобы продавать марки, отбивать телеграммы и отвечать на телефонные вызовы, еще что-то для кого-то значит. Его огорченное лицо внезапно пробуждает в ней жалость, и она порывисто говорит:

— Впрочем, я могу поехать и следующим поездом — в десять двадцать, — так что есть еще время прогуляться и где-нибудь неподалеку поужинать... Если, конечно, вы не против...

В его глазах мгновенно вспыхнула радость, озарившая все лицо.

— О нет, нисколько! — восклицает он.

Сдав чемодан в камеру хранения, они бродят по улицам и переулкам. Темнеющей синей дымкой надвигается сентябрьский вечер, между домами белеют шарики фонарей.

Они идут рядом неторопливым прогулочным шагом и ведут легкий прогулочный разговор. В пригороде они обнаруживают дешевый ресторан с небольшим двориком, где можно посидеть под открытым небом за столиками, разделенными живыми стенками из побегов плюща. Сидишь как бы в отдельной ложе, соседи тебя видят, но все-таки не слышат. Кристина со спутником обрадовались, найдя свободную «ложу». Двор окружен домами, где-то играет граммофон — из открытого окна неясно доносится треньканье вальса, в «ложах» кто-то весело смеется, а кто-то тихо и мирно пьет в одиночку, блаженно икая; на каждом столике, подобно стеклянному цветку, стоит свеча в колпаке, вокруг которого черными дробинками жужжат любознательные насекомые. В воздухе приятная прохлада.

Сняв шляпу, Фердинанд садится напротив Кристины. Ей хорошо видно его лицо, высветленное спокойным огоньком свечи: по-тирольски суровые, чеканные черты, в уголках глаз и рта мелкие морщинки, — строгое и вместе с тем какое-то изношенное лицо. Но так же, как у него меняется от гнева голос, так и лицо становится другим, когда он улыбается, когда морщинки расходятся веером и непреклонный взгляд светлеет. Тогда в лице появляется почти детская мягкость, что-то ласковое, доверчивое; Кристина невольно вспоминает, что таким его знал Франц, что именно таким он был в ту пору.

Во время беседы эти два лика удивительным образом сменяют друг друга. Когда он хмурится или сердито сжимает губы, лицо внезапно мрачнеет, и кажется, будто над лугом повисла туча и свежие зеленые краски сразу померкли. Странно, думает Кристина, в одном человеке словно живут двое, возможно ли это? Но тотчас она вспоминает о своем собственном преображении и о том забытом зеркале, которое стоит в комнате далеко-далеко отсюда и в которое смотрится сейчас кто-то другой.

Официант приносит заказ: простые блюда и два бокала белого вина «Гумпольдскирхнер». Фердинанд, глядя Кристине в глаза, поднимает бокал, чтобы чокнуться. Но едва он протянул руку, как раздался легкий стук. От пиджака оторвалась болтавшаяся пуговица, покатилась по столу и, хотя он пытался ее схватить, упала на землю. Заметив, что это мелкое происшествие не укрылось от Кристины, он смутился и помрачнел. Она старается не смотреть на него. Женское чутье мгновенно подсказало ей, что о нем никто не заботится. Еще раньше она обратила внимание, что его шляпа не почищена — лента покрылась пылью, что брюки мятые, неглаженные, и ей понятно его смущение, сама испытала такое.

— Поднимите ее, — говорит она. — У меня в сумке есть иголка и нитки, всегда ношу с собой, нам же приходится все делать самим, давайте прямо тут и пришью.

— Нет, нет, — возражает он с испугом, хотя нагибается все же за пуговицей. Но, подняв, упрямо сжимает ее в кулаке. —

Нет, нет, — он будто оправдывается, — дома пришьют. — А когда она еще раз предложила свою помощь, вспылил:

— Нет, не надо! Не хочу! — и судорожно застегнул остальные пуговицы на пиджаке.

Кристина больше не настаивает. Она видит, что он смущен. Непринужденная беседа расстроилась, по его сжатым губам она вдруг почувствовала, что он сейчас скажет что-нибудь злое, нагрубит, потому что стыдится.

Так и случилось. Он будто ошетинился и посмотрел на нее с вызовом.

— Я знаю, что одет неподобающим образом, но я же не предполагал, что меня станут разглядывать. Для визита в богадельню это еще вполне сойдет. Если б знал, оделся бы получше... впрочем, это неверно. По правде говоря, у меня нет денег, чтобы прилично одеваться, ну нет их... по крайней мере на все сразу. Куплю новые ботинки, тем временем шляпа обтрепалась, куплю шляпу, пиджак износился, раз то, раз другое, за всем не успеваю. Моя это вина или нет, мне безразлично. Так что примите к сведению: я одет плохо.

Кристина не успевает даже раскрыть рот, чтобы ответить, как он продолжает:

— Пожалуйста, без утешений. Я наперед знаю, что вы скажете. Мол, бедность — не порок. Но это неправда, бедность позорна, если вы не можете ее скрыть, и тут ничего не поделаешь, все равно стыдно... По заслугам она или нет, достойная или жалкая, все равно дурно пахнет. Да, она пахнет полуподвальной комнатой, выходящей на задворки, пахнет одеждой, которую меняешь не так уж часто. Этот запах неистребим, словно ты сам — помойка... И ничего не поможет, хоть прикрывайся новой шляпой, хоть целый день чисти зубы — запахом из желудка. Это въелось в тебя, прилипло, каждый встречный чувствует это, замечает сразу. Вот и ваша сестра сразу почувствовала, знаю я эти провинциальные взгляды женщин, когда они смотрят на твои обтрепанные манжеты, понимаю, как неприятно смотреть на такое, но, черт возьми, ведь самому-то еще неприятнее. И никуда от этого не денешься, не

убежишь, остается только напиться, а в этом... — Он хватает бокал и демонстративно, жадными глотками, осушает его. — В этом заключена огромная социальная проблема, почему так называемые низшие классы сравнительно больше потребляют алкоголя. Проблема, над которой за чашкой чаю ломают себе голову графини, патронессы благотворительных обществ... На несколько минут, на часок забываешь, что ты в тягость другим и самому себе. Я понимаю, невелика честь, когда вас видят с человеком, так плохо одетым, мне это тоже не в радость. Если я вас стесняю, скажите, только прошу без жалости и церемоний!

Он резко отодвигает стул и опирается рукой о стол, чтобы встать. Кристина быстро кладет ладонь ему на руку.

— Не надо так громко! Соседям ни к чему это слышать. Сядьте поближе.

Он повинуется. Вызывающая поза сменяется нерешительной. Стараясь скрыть чувство жалости, Кристина продолжает:

— Зачем вы себя мучаете и почему вам хочется мучить меня? Ведь это все нелепо. Неужели вы действительно считаете меня так называемой «дамой»? Если бы я была ею, то не поняла бы ни слова из того, что вы говорили, решила бы, что вы просто раздраженный, несправедливый и вздорный человек. Но я поняла вас, почему — сейчас расскажу. Подвиньтесь поближе, соседям это незачем слушать.

И она рассказывает ему о своей поездке, рассказывает все: о восторге, о превращении, об обиде и горечи унижения. Ей доставляет удовольствие возможность впервые заговорить о своем опьянении богатством, а под конец она испытывает даже некоторое злорадство от самобичевания, когда описывает, как портье задержал ее, приняв за воровку лишь потому, что на ней была убогая одежда и она сама несла свой чемодан.

Фердинанд слушает молча, только подрагивающие ноздри выдают его напряжение. Кристина чувствует, что он впитывает каждое слово. Он ее понимает, так же как понимает его она, их связывает чувство гнева отверженных. И, открыв пло-



тину, она уже не в силах сдержать хлынувший поток. Она поведала о себе больше, чем, собственно, хотела: ее речь, образная и сильная, питалась ненавистью к деревне и злобой на весь мир из-за погубленных лет. Никогда и никому еще она не раскрывала так свою душу.

Он слушает молча, наклонив голову, все больше и больше погружаясь в себя.

— Простите, — говорит он наконец, словно откуда-то снизу, — простите, что я так глупо напустился на вас. Ну что мне с собой делать, всегда вот так по-дурацки получается, сразу же злюсь, налетаю на первого встречного, будто он во всем виноват и будто я единственный несчастливец. Ведь знаю, что я всего лишь один из миллионов. Каждое утро, когда иду на службу, вижу легионы других, как они выходят из ворот и подъездов, невыспавшиеся, с хмурыми лицами, как нехотя спешат на работу, которую не любят, которая им не интересна, а вечером снова встречаю их в трамваях, когда они возвращаются, словно налитые свинцом от усталости, измотанные бессмысленно или ради смысла, который им неведом. Вот только они не сознают и не ощущают так сильно, как я, эту страшную бессмысленность. Для них прибавка на десять шиллингов в месяц или новое звание (новый собачий жетон) — уже удача; вечерами они ходят на собрания, где им внушают, что капитализм на пороге гибели, что идея социализма завоюет мир, еще десять—двадцать лет — и это свершится... но я не такой терпеливый, я не могу столько ждать. Мне тридцать лет, из них одиннадцать пропали. Мне тридцать, а я еще не знаю, кто я, не знаю, для чего устроен этот мир, я ничего не видел, кроме грязи, крови и пота. Ничего не делал, только ждал, ждал, ждал. Я больше не в силах жить поверженным и отверженным, это доводит меня до бешенства, я чувствую, как время ускользает из-под ног, пока я обречен быть подручным у архитектора, хотя знаю не меньше его... ведь у тех, что сидят наверху, такая же кровь, такие же легкие, как и у тебя, только ты явился слишком поздно; выпал из вагона и догнать его не можешь, как ни беги. Знаю, я сумел бы

многое сделать — кое-чему научился, наверное, я не глуп, в гимназии был первым, в монастырской школе неплохо занимался музыкой, а заодно выучил французский у одного патера из Оверни. Но рояля у меня нет, играть с моей рукой не могу — вот и разучиваюсь, по-французски мне говорить не с кем — забываю. Два года я усердно изучал технику, пока другие увлекались фехтованием и попойками, потом, в сибирском плену, тоже работал и тем не менее продвинуться не могу. Мне нужен был год, один свободный год, как разбег перед прыжком... Год, и я был бы наверху, не знаю где, не знаю как, только знаю, что теперь я сумел бы стиснуть зубы, напрячь все силы и занимался бы по десять, четырнадцать часов в сутки... а еще несколько лет — и я стану таким же, как другие, усталым и довольным и, обозрев достигнутое, скажу: хватит! Кончено! Но сегодня я этого еще не могу, сегодня я ненавижу всех этих довольных, они до того бесят меня, что иногда руки чешутся, так бы и разнес вдребезги их уют. Взгляните на этих троих, рядом. Все время, что мы здесь, они раздражают меня, почему — не знаю, может, от зависти, что они так бездумно веселы и довольны собой. Взгляните: вон тот, скорее всего, приказчик в галантерейной лавке, целый день достает с полок рулоны, кланяется и тараторит: «Самый модный, метр — шиллинг восемьдесят, настоящий английский товар, прочный, ноский», — потом забрасывает рулон обратно наверх, достает второй, третий, потом еще какую-нибудь мелочь, а вечером возвращается домой в полной уверенности, что жить надо только так; другой, наверное, служит в сберегательной кассе или на таможне, целый день считает цифры, цифры, сотни тысяч, миллионы цифр, проценты, проценты на проценты, дебет, кредит, понятия не имеет, кому принадлежат счета, кто получает, а кто вносит, кто должен, кому и за что, ничего не знает, а вечером идет домой, уверенный, что это и есть жизнь; третий — не знаю, где служит, возможно, в магистрате или где-нибудь еще, но по его рубашке вижу, что и он целый день пишет бумаги, бумаги, бумаги, на одном и том же деревянном столе, той же рукой. Но сегодня по случаю воскресенья у них

напомажены волосы и сияют лица. Они побывали на футболе, на бегах или у девочек, а теперь рассказывают друг другу, и каждый выхваляется, какой он умный, ловкий и деловой... Вы только послушайте, как они самодовольно гогочут, эти машины на воскресном отдыхе, рабы по найму, нет, вы послушайте их, какой у них смех, взмыленный, жирный, несчастные, разок их пустили без повода, так они вообразили, что и рестораны, и весь мир принадлежат им. Дал бы им по морде... — Он переводит дух. — Глупости, опять я не то говорю, не на тех нападаю. Конечно, они несчастные и вовсе не болваны, и поступают они разумнее всего — довольствуются тем, что есть. Они согласны мертветь заживо, тогда ведь становишься нечувствительным, но меня, дурака, все время подмывает поиздеваться над каждым таким мелким удачником, вывернуть его наизнанку... а почему? Наверное, потому, что надоело быть одному, тянет в стаю. Понимаю, что это глупо, что тем самым действую себе во вред, но иначе не могу, за эти одиннадцать лет я весь пропитался злостью, как ядом, чуть что — и она брызжет из меня, спасаюсь тем, что удираю домой или в Народную библиотеку. Только вот книги, теперешние романы, меня больше не радуют. От рассказиков, как Ханс женится на Грете, а Грета выходит за Ханса и как Паула изменяет Иоганну, а Иоганн — Пауле, меня тошнит... книги о войне — о ней мне тем более рассказывать не надо... Настоящей охоты учиться тоже нет, ведь знаю, что ничего не поможет, пока не получу диплом, без этого ярлыка не продвинешься, но для него у меня нет денег... вот и получается: без денег деньги не заработаешь... Такое зло берет, что поневоле залегаешь в конуру, чтобы не кусаться. И больше всего бесит, что ты бессилен, ведь против тебя что-то недоступное, чего не схватишь руками, и исходит это что-то от людей вообще, а не от отдельного человека, которому можно вцепиться в глотку. Франц — тот знает, что это такое. Наверняка помнит, как мы иногда ночами, забравшись на чердак сибирского барака, чуть не выли от бессильной ярости, даже думали убить киркой нашего охранника Николая, хотя этот тихий добродушный

парень по-дружески относился к нам... а все потому, что он был единственным доступным из тех, кто держал нас взаперти, только потому... Думаю, теперь вам ясно, почему меня взбудоражила встреча с Францем. Ведь я уж и забыл, что существует человек, который способен меня понять, а тут сразу стало ясно — он меня понял... Ну и вы.

Подняв глаза, она почувствовала, что растворяется в его взгляде. Фердинанд тут же смутился.

— Извините, — говорит он другим голосом, мягким, робким, так удивительно контрастирующим с только что звучащим, твердым и вызывающим, — извините, я все о себе, понимаю, это невежливо. Но я, наверное, за целый месяц так много ни с кем не разговаривал.

Кристина смотрит на чуть дрожащий огонек свечи. От порыва холодного ветра синяя сердцевина пламени вдруг вытянулась кверху.

— Я тоже, — отвечает она после паузы.

Некоторое время они молчат, мучительно напряженный разговор утомил обоих. Рядом в «ложах» уже погашены свечи, в окнах домов темно, граммофон умолк. Официант демонстративно убирает с соседних столиков. Кристина спохватывается.

— Мне, кажется, пора идти, в десять двадцать последний поезд, сколько сейчас времени?

Он смотрит на нее сердито — но лишь мгновение — и улыбается.

— Вот видите, я уже исправляюсь, — говорит он почти весело, — если б вы спросили меня об этом час назад, я бы огрызнулся, но теперь могу вам признаться по-товарищески, как Францу: свои часы я заложил. Не столько ради денег — часы очень красивые, золотые с бриллиантами. Отец получил их однажды на охоте, в которой участвовал эрцгерцог, причем мой родитель, к их высочайшему благоутворению, обеспечил всю жратву и даже сам руководил кухней... Сверкать такими часами на стройке — все равно что негру щеголять во фраке. Вы меня поймете, вы все понимаете... Вдобавок там, где я

живу, не очень безопасно держать при себе золото с бриллиантами. Но продавать я их не стал, это мой, так сказать, неприкосновенный запас. Короче, заложил.

Он улыбается с видом человека, довольного совершенной работой.

— Вот видите, я делаю успехи, рассказал вам об этом с полным спокойствием.

Напряжение прошло, наступили ясность и успокоение. Они больше не смотрят друг на друга настороженно, с опаской, между ними возникло доверие и даже нечто вроде нежной дружбы. Они направляются к вокзалу. Сейчас хорошо идти, темнота скрывает от любопытных взоров глазниц-окон; нагретые за день камни вновь дышат прохладой. Но по мере того как они приближаются к цели, шаг их становится резче и торопливее: над только что сплетенными душевными узами навис сверкающий меч разлуки.

Она купила билет и, обернувшись, посмотрела ему в лицо. Оно опять переменялось, брови нахмурены, глаза, излучавшие благодарность, погасли; не замечая ее пристального взгляда, он зябким движением запахивает на груди плащ. Кристину охватывает жалость.

— Я скоро опять приеду, — говорит она, — наверное, в следующее воскресенье. И если у вас будет время...

— У меня всегда есть время. Это, пожалуй, единственное, чем я располагаю, притом в избытке. Но мне не хотелось бы... — Он запнулся.

— Что не хотелось?

— Что... чтобы вы из-за меня беспокоились... Вы были так добры ко мне... понимаю, общаться со мной — невелика радость... и, возможно, сегодня в поезде или завтра вы спросите себя: к чему мне еще чужие горести... По себе знаю, когда человек рассказывает мне о своей беде, я сочувствую, переживаю, но потом, когда он уйдет, я говорю себе: да черт с ним, чего он взваливает на меня свои заботы, каждому собственных хватает... Так что не принуждайте себя, не думайте: мол, ему надо помочь... Уж я сам справлюсь...

Кристина отвернулась. Ей мучительно смотреть, когда он терзает самого себя. Но Фердинанд превратно истолковал ее движение, решив, что она обиделась. И сразу сердитый голос сменился тихим голоском робкого мальчика:

— Нет, разумеется... мне будет очень приятно... я только подумал, что если...

Он бормочет, запинаясь, смотрит на нее как провинившийся ребенок, словно моля о прощении. И она понимает его лепет, понимает, что этот суровый, страстный человек хочет, чтобы она приехала, но стесняется, не смеет просить ее об этом.

Ею овладевает чувство материнской теплоты и жалости, потребность утешить каким-нибудь словом, жестом, не оскорбив его гордости. Ей хочется погладить его по голове и сказать: «Глупенький!» — но она боится обидеть его, ведь он такой ранимый. И в замешательстве она говорит:

— Как ни жаль, а мне пора на поезд.

— Вам... вам действительно жаль? — спрашивает он, в ожидании глядя на нее.

Но во всем его облике уже чувствуется беспомощность, отчаяние покинутого, она уже видит, как он будет стоять на перроне один, с тоской смотря вслед поезду, увозящему ее, один-одинешенек в этом городе, на всем свете, и она чувствует, что он всей душой привязался к ней. Кристина в смятении. Чутье безошибочно подсказывает ей, что она нужна ему, нужна как женщина и как человек, что опять желанна, и притом гораздо сильнее, чем когда-либо прежде, жизнь снова обрела для нее смысл, наконец-то. До чего же чудесно, когда тебя любят!

Внезапно в ней вспыхнуло ответное чувство. Этот порыв возник молниеносно, опередив мысль. Вдруг, разом. Она подошла к нему и сказала как бы в раздумье (хотя подсознательно все уже было решено):

— Собственно... я могу еще побыть с вами и уехать утренним поездом, в пять тридцать, я успею на свою ненаглядную почту.

Она даже не подозревала, что глаза могут так мгновенно загореться. Словно в темной комнате вспыхнула спичка, так засветилось и ожило его лицо. Он понял, все понял прозорливым чувством. Осмелев, он берет ее под руку.

— Да, — говорит он, сияя, — останьтесь, останьтесь...

Кристина не против, что он взял ее под руку и уводит. Рука у него теплая, сильная, она дрожит от радости, и эта дрожь передается Кристине. Она не спрашивает, куда они идут, зачем спрашивать, ей теперь все равно, она решилась. Она отдала свою волю, сама, и наслаждалась ощущением радостной покорности. В ней все расслаблено, будто выключено — воля, мысли, она не рассуждает, любит ли этого человека, с которым едва познакомилась, хочет ли его как мужчину, она лишь наслаждается полным отрешением от собственной воли и несознанностью чувства.

Ее не заботит, что будет впереди, она только ощущает руку, которая ее ведет, отдается этой руке бездумно, словно несомая потоком щепка, которая на бурных перекатах испытывает головокружительную радость падения. Порой Кристина зажмуривается, чтобы полнее проникнуться этим чувством, когда ты безвольна и желанна.

Но вот еще один напряженный момент. Остановившись, Фердинанд смущенно говорит:

— Я с большим удовольствием пригласил бы вас к себе, но... это невозможно... я живу не один... там проходная комната... может, пойдем в какой-нибудь отель... не в тот, где вы вчера... в другой...

— Хорошо, — соглашается она не задумываясь.

Слово «отель» вызывает у нее не страх, а какое-то радужное видение. Будто в тумане всплывает сверкающая комната, блестящая мебель, оглушительная тишина ночи и могучее дыхание Энгадина.

— Хорошо, — повторяет она мечтательно.

Они идут дальше. Улочки становятся все уже, Фердинанд не очень уверенно вглядывается в дома. Наконец он останавливается у какого-то задремавшего в полумраке здания со

светящейся вывеской. Кристина послушно входит вместе с ним в подъезд, словно в темное ущелье.

Они вступают в коридор, освещенный — вероятно, с умыслом — одной-единственной тусклой лампочкой. Навстречу из-за стеклянной двери выходит портье, неопрятного вида, без пиджака. Он перешептывается с Фердинандом, будто договаривается о какой-то запретной сделке. Что-то тихо звякает — деньги или ключ. Кристина тем временем ждет в полутемном коридоре, уставившись в облезлую стену, невыразимо разочарованная этой убогой дырой. И невольно — она об этом и не думает — ей вспоминается холл того, другого отеля, зеркальные стекла, потоки света, богатство и комфорт.

— Девятый номер, — трубно объявил портье и столь же громогласно, будто хотел, чтобы его слышали во всем доме, добавил: — На втором этаже.

Фердинанд подходит к Кристине, та умоляюще смотрит на него.

— А нельзя... — Она не знает, что сказать еще.

Но он видит в ее глазах отвращение и желание убежать.

— Нет, они все такие... другого не знаю... не знаю.

Он поднимается с ней по ступенькам, крепко держа ее под руку. Кристина чувствует, что у нее подгибаются колени, она еле переставляет ноги.

Дверь в номер распахнута. Там стоит неряшливая служанка с заспанным лицом.

— Минутку, сейчас принесу свежие полотенца.

Они все-таки входят, спешно прикрывая за собой дверь. Узкая прямоугольная конура с одним окном, единственный стул, вешалка, умывальник и еще, как бы нахально демонстрируя, что она здесь единственно важный предмет мебелировки, — широкая кровать. С невыразимым бесстыдством подчеркивая свою целесообразность, она заполняет почти все помещение. Ее нельзя не заметить, нельзя избежать, она неминуема. Воздух спертый, пахнет табачным дымом, скверным мылом и еще какой-то кислятиной. Кристина невольно сжимает губы, чтобы не вдыхать эту затхлость. Боясь, что от



омерзения упадет в обморок, она делает шаг к окну, распахивает створки и с жадностью, словно отравленная газом, глотает свежую ночную прохладу.

Тихий стук в дверь. Кристина вздрагивает. Входит служанка и кладет чистые полотенца на умывальник. Заметив, что окно в освещенной комнате открыто, она с некоторой опаской предупреждает:

— Прошу тогда опустить шторы. — И вежливо выходит.

Кристина по-прежнему смотрит в окно. Слово «тогда» задело ее — так вот для чего заходят сюда, в эти вонючие трущобы, вот для чего. И у нее мелькает страшная мысль: а вдруг он подумал, что она тоже пришла ради этого, только ради этого.

Хотя ему и не видно ее лица, вся ее сжавшаяся фигура, вздрагивающие плечи говорят о том, что она сейчас переживает. Он подходит к ней и молча, боясь каким-нибудь словом обидеть, нежно проводит ладонью по ее руке от плеча до холодных дрожащих пальцев. Кристина чувствует, что он хочет ее успокоить.

— Извините, — говорит она, не оборачиваясь, — у меня вдруг закружилась голова. Сейчас пройдет. Только отдышусь немного... это оттого, что...

Она чуть было не сказала: оттого, что я впервые в таком доме, в такой комнате, но прикусила язык — зачем ему это знать. Закрыв окно, она оборачивается и приказывает:

— Погасите свет.

Он поворачивает выключатель, наступает ночь, стирая очертания всех предметов. Самое страшное исчезло, постель уже не бросается так нагло в глаза, а лишь смутно белеет в пространстве. Но страх остается. Тишина неожиданно наполняется звуками: смех, вздохи, скрип, шорохи, чуть слышный топот босых ног и журчание воды. Кристина чувствует, что вокруг вершится распутство, что дом предназначен исключительно для спаривания. Страх легким ознобом постепенно пронизал все тело; сначала дрожь пробежала по коже, потом захватила суставы и обездвижила их и вот сейчас, должно

быть, уже подбирается к мозгу, к сердцу, ибо она ощущает, что ни о чем не в силах больше думать, ничего больше не чувствует, все ей безразлично, бессмысленно и чуждо, даже человек, который дышит рядом с ней, и тот кажется чужим. К счастью, он деликатен и не торопит ее, он только бережно усаживает ее на край постели и садится сам. Оба сидят молча, не раздеваясь, он лишь нежно поглаживает край ее рукава и пальцы. Он терпеливо ждет, пока у нее не пройдет страх, не растает сковавший ее лед отчуждения. Его смирение и покорность трогают Кристину. И когда он наконец обнимает ее, она не сопротивляется.

Но его горячие, страстные объятия не сумели полностью вытеснить ее безразличный ужас. Слишком глубоко он засел. Что-то в ней не оттаивает, что-то не поддается опьянению, сопротивляется, даже когда он снял с нее одежду, она ощутила не только его обнаженное, сильное, жаркое тело, но и прикосновение влажной гостиничной простыни, словно мокрой губки. Даже отдаваясь его ласкам, она не может забыть жалкого, убогого пристанища, которое оскверняет их. Нервы ее натянуты, и, когда он привлекает ее к себе, она испытывает желание убежать — не от него, не от пылающего страстью мужчины, а из этого дома, где люди за деньги спариваются, как животные, — скорее, скорее, следующий, следующий, — где бедные продают себя как почтовые марки, как газеты, которые потом выбрасываются.

Она задыхается в этом спертом, влажном воздухе, пропитанном запахами кожи, дыхания и похоти множества людей. И ей стыдно, но не потому, что она отдается, а потому, что это торжество происходит здесь, где все противно и позорно. Она больше не выдерживает нервного напряжения. Горечь и разочарование разрежаются внезапным стоном, заглушенным плачем. Всхлипывая, она прижимается к лежащему рядом Фердинанду. Он чувствует себя виноватым и, чтобы успокоить ее, гладит по плечу, не осмеливаясь произнести ни слова. Кристина видит его растерянность.

— Не обращай на меня внимания, — говорит она, — просто я немного расклеилась, сейчас пройдет, это потому... что... — и, помолчав, добавляет: — Не упрекай себя, ты тут ни при чем.

Он молчит, он понимает все. Понимает ее разочарование, понимает отчаяние, сковавшее ее душу и тело. Но ему стыдно признаться, что он не искал отеля получше и не взял лучшего номера потому, что у него было с собой не более восьми шиллингов, и он даже решил отдать портье в залог свое кольцо, если бы комната стоила дороже. Но он не может и не хочет говорить о деньгах и потому предпочитает молчать; он ждет терпеливо и смиренно, пока она успокоится.

До обостренного слуха Кристины все время доносятся всевозможные звуки — слева и справа, сверху и снизу, из коридора — шаги, смех, кашель, стоны. Рядом, за стеной, вероятно, подвыпивший клиент, он то и дело горланит, слышатся шлепки по голому телу и грубовато-игривый женский голос. Это невыносимо, и оттого что единственно близкий ей человек продолжает молчать, эти звуки становятся громче.

Не выдержав, она толкает его:

— Пожалуйста, говори! Расскажи что-нибудь. Не могу больше слушать этого за стеной, Господи, как здесь омерзительно. Какой ужасный дом, просто жуть берет, ну, пожалуйста, говори что-нибудь, рассказывай, чтобы я этого не... чтобы слышала только тебя... Господи, какой ужас!

— Да, — он глубоко вздохнул, — ужас, мне стыдно, что я привел тебя сюда. Не надо было этого делать... но я сам не знал.

Он нежно гладит ее тело, ей становится теплее, уютнее, но дрожь не проходит. Кристина мучается, старается унять ее, побороть чувство брезгливости от сырой постели, от похотливой болтовни за стеной, от всего мерзкого дома, но ничего не получается. Озноб волнами пробегает по телу.

— Понимаю, как тебе должно быть противно, — говорит Фердинанд, — сам однажды пережил такое... когда в первый раз был с женщиной... это не забывается... До армии я еще не знал женщин, ну а на фронте сразу попал в плен... Все потешались надо мной, твой зять тоже, называли девицей, не

знаю — со злости или отчаяния, — но мне все время об этом говорили. Да ни о чем другом они не могли разговаривать, день и ночь только о бабах, как это было с одной, как с другой, как с третьей, и каждый рассказывал про это сто раз, все уже наизусть знали. Картинки показывали, а то и рисовали всякую похабщину, вроде той, что арестанты в тюрьме на стенах малюют.

Конечно, слушать было противно, но ведь мне исполнилось уже девятнадцать: ведь об этом думаешь, к этому тянет. Потом началась революция, нас отвезли еще глубже в Сибирь, твой зять уже уехал, а нас гоняли туда-сюда, как стадо баранов... И вот однажды вечером ко мне подсел солдат... Он собственно, охранял нас, но куда там убежишь?.. Вообще-то Сергей — его так звали — хорошо к нам относился, заботливый был... Как сейчас вижу его лицо: широкие скулы, нос картошкой, большой рот, добродушная улыбка... О чем я начал?.. Да, так вот однажды вечером подсел он ко мне и по-дружески спрашивает, давно ли у меня не было женщины... Я, конечно, постеснялся сказать: «Еще ни разу»... Любой мужчина стыдится в этом признаться (женщина тоже, подумала она), ну и ответил: «Года два». «Боже мой», — говорит он и даже рот разинул с испугу... Придвинулся ближе и потрепал меня по плечу: «Бедняга ты, бедняга... так и заболеть недолго...» Треплет меня по плечу, а сам думает, напряженно думает, даже лицо потемнело, видно, тяжкая для него работа — думать. Наконец говорит: «Погоди, браток, я устрою, найду тебе бабу. В деревне их много, солдатки, вдовы, свожу тебя к одной вечером. Знаю, сбежать ты не сбежишь». Я не сказал ему ни да, ни нет, особого желания не было... ну кого он мог найти, какую-нибудь простую грубую крестьянку... да вот только хотелось человеческого тепла, чтобы тебя кто-то приласкал... одиночество до того уже измучило... Понимаешь ли ты это?

— Да, — вздохнула она, — понимаю.

— И в самом деле, вечером он пришел к нашему бараку. Тихо свистнул, как мы условились, я вышел. В темноте рядом с ним стояла женщина, низенькая, плотная, на голове цветной

платок, волосы сальные. «Вот он, — говорит ей Сергей, — нравится?» Женщина пристально посмотрела на меня чуть раскосыми глазами и сказала: «Да». Мы пошли втроем, Сергей немного проводил нас. «Далеко же вы затащили его, беднягу, — сказала она Сергею. — И ни одной женщины, все время среди мужиков, ох, ох...» Голос у нее был теплый, грудной, приятно было слушать. Я понимал, что она позвала меня к себе из жалости, а не по любви. «Мужа моего убили, — сказала она потом, — ростом был под потолок, сильный, как молодой медведь. Не пил, ни разу руки на меня не поднял, лучше его во всей деревне не было. Живу теперь одна с детишками да со свекровью, не пожалел нас Господь Бог».

Подошли к ее дому... крытая соломой изба с крохотными окошками. Она взяла меня за руку, и мы вошли. Глаза заслезились, духота, жара, как в котельной. Она потянула меня дальше, постель была на печке, туда мне предстояло залезть. Вдруг что-то шевельнулось, я вздрогнул. «Это дети», — успокоила она. Только теперь я услышал, что здесь дышат несколько человек. Потом раздался кашель, и я опять вздрогнул. «Это бабушка, — объяснила она, — хвораю, грудью чахнет». Не знаю, сколько человек тут было, пять или шесть, в общем, от их присутствия и от жуткой духоты я словно окаменел. Я чувствовал, что не смогу обнять женщину, когда тут же в комнате дети, старуха мать — ее или мужа, ну просто не смогу. Она, не поняв, отчего я медлю, стала передо мной на коленки, стащила с меня башмаки, затем френч и все гладила меня как ребенка, так ласково... потом медленно, но со страстью притянула меня к себе. Грудь у нее были мягкие, теплые и пышные, как свежие булки... губы очень нежные, она тихо целовала меня и так покорно прижималась... Очень трогательная женщина, мне было с ней хорошо, я был ей благодарен, но все время прислушивался, был настороже — то ребенок повернулся во сне, то старуха застонала... когда едва начало светать, я ушел... Я страшно боялся увидеть глаза больной старухи, детей... для нее было вполне естественно, что мужчина лежал рядом с женщиной, а я... я больше не мог и ушел. Она

проводила меня к воротам, смиренная как овечка, милыми движениями изобразила, что отныне она моя, завела еще в хлев, надоила молока, дала хлеба и курительную трубку, возможно оставшуюся от мужа, а потом спросила, нет, вернее, покорно и почтительно попросила: «Придешь сегодня вечером, а?...»

Но я больше не пришел, не мог себя превозмочь, перед глазами все время была душная изба, дети, старуха, тараканы, бегающие по полу... А ведь я был благодарен ей, даже теперь думаю о ней с каким-то нежным чувством... вспоминаю, как она доила корову, как дала мне хлеба, как отдала свое тело... Сознаю, я обидел ее тем, что не пришел... А другие... другие этого не поняли... Все мне завидовали, такие они были несчастные, заброшенные, что даже в этом завидовали. Каждый день я собирался пойти к ней, всякий раз...

— Господи, ну что там еще! — воскликнула Кристина, рывком села и прислушалась.

«Ничего», — хотел было сказать он, но тоже насторожился. Где-то за стеной вдруг раздались громкие голоса, шум, началась суматоха, кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то приказывал. Что-то случилось.

— Подожди. — Фердинанд спрыгнул с кровати. Мгновенно одевшись, подошел к двери и прислушался. — Сейчас узнаю, что там.

Что-то случилось. Подобно тому как человек со стоном и криком просыпается в испуге от кошмарного сна, так и в тихо урчавшем пока что гостиничном притоне вдруг раздались глухие раскаты и началось непонятное клокотание. Шум, беготня по лестнице, дребезжание окон, телефонные звонки, топот в коридорах. Громкие разговоры, крики, требовательный стук в дверь и резкие голоса, явно не принадлежавшие клиентам этого дома, твердые шаги, не похожие на шлепанье босых ног. Что-то случилось. Взвизгнула женщина, шумно заспорили мужчины, что-то опрокинулось, наверное стул, на улице затарахтела автомашина. Весь дом взбудоражен. Наверху кто-то пробежал по комнате, за стеной подвыпивший клиент что-

то испуганно говорит своей приятельнице, справа и слева двигают стулья, скребут ключом в замке, весь дом гудит от подвала до чердака, каждая ячейка этого человеческого улья.

Фердинанд возвращается от двери. Он побледнел, нервничает, у рта обозначились две глубокие складки.

— Ну что? — спрашивает Кристина, все еще сидя на кровати.

Когда он включает свет, она испуганно прикрывается одеялом.

— Ничего, — цедит он сквозь зубы. — Патруль, очередная проверка отеля.

— Кто?

— Полиция!

— К нам тоже зайдут?

— Вероятно. Ты не бойся.

— Нам что-нибудь будет за это?.. За то, что я с тобой?

— Нет, не бойся. Документы у меня при себе, у портье я записал свою фамилию, не волнуйся, я все улажу. В мужском общежитии в Фаворитене, где я жил, такие проверки бывали, обычная формальность... Правда... — лицо его помрачнело, — эти формальности всегда касаются только нас. Только нашего брата они поднимают среди ночи, только за нами гоняются, как собаки... Но ты не бойся, я все улажу... а сейчас оденься, пожалуй...

— Потуши свет.

Она все еще стесняется его. Руки у нее будто свинцовые, ей стоит немалых усилий натянуть на себя белье и платье. В изнеможении она опять садится на постель. С первой же секунды в этом ужасном доме чувство страха не покидало ее, и вот теперь оно стало паническим.

На первом этаже продолжают стучаться в двери. Слышно, как там ходят из комнаты в комнату. И каждый стук отдается ударом в перепуганном сердце Кристины. Фердинанд подсаживается к ней, гладит ее руки.

— Я виноват, прости. Я должен был предвидеть, но... я не

знал ничего другого, а мне хотелось... мне так хотелось побыть с тобой. Прости.

Он гладит ее руки, по-прежнему холодные и дрожащие.

— Не бойся, — успокаивает он, — тебе ничего не сделают. А если... хоть один из проклятых псов обнаглеет, я им покажу. Со мной у них не выйдет, не для того я четыре года валялся в грязи, чтобы позволить каким-то ночным сторожам в мундирах измываться над собой, нет уж, они у меня попляшут.

— Не надо! — испугалась Кристина, увидев, как он нащупывает в кармане револьвер. — Умоляю тебя, не горячись! Если ты хоть немножко любишь меня, веди себя спокойно, лучше я... — Она не договаривает.

Теперь слышно, как шаги поднимаются по лестнице. Кажется, будто совсем рядом. Их комната третья, в первую уже стучат. Оба затаили дыхание, сквозь тонкую дверь слышен каждый звук. С первой комнатой разделались быстро, вот и вторая. Тук-тук-тук, трижды по дереву, потом распахивается дверь, и чей-то пьяный голос кричит:

— Вам больше делать нечего, как приставать к порядочным людям по ночам? Ловили бы лучше бандитов!

— Ваши документы! — звучит в ответ строгий бас. Затем, чуть тише, что-то добавляет.

— Моя невеста, да-да, невеста, — громко и с вызовом говорит пьяный голос, — могу доказать. Мы уже два года встречаемся.

По-видимому, этого достаточно, дверь с шумом захлопывается.

Сейчас их черед. От соседнего порога четыре-пять шагов. Вот они: топ, топ, топ... У Кристины замерло сердце. Стучат. Фердинанд спокойно идет навстречу полицейскому инспектору, который тактично стоит в дверях. У него круглое, вполне добродушное лицо с кокетливыми усиками, только вот воротник мундира, наверное, ему давит, и приятное в общем-то лицо побагровело. Нетрудно представить себе, как он выглядит в штатском костюме или без пиджака, как приглашает на



танец, качнув чуть захмелевшей головой... Но сейчас он, нахмутив брови, спрашивает:

— Документы при вас?

Фердинанд останавливается перед ним.

— Вот. Если угодно, могу предъявить и военные, они всегда при мне, мы, фронтовики, привыкли, что к нам из-за всякой чепухи придираются.

Инспектор, не обращая внимания на резкий тон, слышит удостоверение с регистрационным бланком, потом мельком оглядывает Кристину, которая, отвернувшись, сидит на стуле, будто на скамье подсудимых. Еще раз взглянув на Кристину, уже мягче инспектор спрашивает:

— Вы знаете даму лично... то есть... давно знакомы с ней? — Он явно хочет проявить снисходительность.

— Да, — отвечает Фердинанд.

Козырнув, инспектор поворачивается к двери. Взглянув на Кристину, униженную, спасенную лишь его словом, Фердинанд в ярости делает шаг к полицейскому.

— Позвольте спросить... вот такие ночные налеты устраивают также в отеле «Бристоль» и других отелях на Ринге или только здесь?

Инспектор, с подчеркнуто служебной миной, пренебрежительно отвечает:

— Я не обязан давать вам справки, я лишь исполняю приказ. Скажите спасибо, что я не очень придираюсь, ведь может оказаться, что данные о вашей даме в регистрационном бланке не столь уж, — он подчеркнул это слово, — основательны.

Фердинанд сжимает кулаки, его душит злоба, он прячет руки за спиной, чтобы не ударить по физиономии посланца государства; однако инспектор, судя по всему, привык к подобным вспышкам и, не удостоив его взглядом, спокойно закрывает за собой дверь. Разъяренный Фердинанд даже не сразу вспоминает о Кристине, которая не сидит, а скорее лежит бездыханным трупом на стуле. Он ласково гладит ее по плечу.

— Видишь, он даже не спросил твою фамилию... Обычная

формальность... вот только этими формальностями они отравляют жизнь и доводят людей до отчаяния. Неделю назад я читал, что... да, вспомнил... одна девушка выбросилась из окна, испугалась, что ее отведут в полицию, будут проверять на венерические заболевания... сообщат матери... И она предпочла броситься с третьего этажа... Я прочитал об этом в газете, две строчки, всего две строчки... Действительно, мелкое происшествие, мы ведь люди не избалованные... по крайней мере, похоронят в отдельной могиле, а не в общей, как прежде... да, дело привычное... в день умирает десяток тысяч, чего уж там один человек, тем более такой, как мы, с которыми все дозволено. Да, в хороших отелях государство щелкает каблуками и держит детективов, только чтобы у дам не украли драгоценности, там никто не выслеживает ночью так называемого гражданина... А меня стесняться нечего.

Кристина еще ниже опускает голову. Ей вдруг вспомнились слова немочки из Мангейма: «...ночью тут только и ходят из номера в номер». И еще вспомнилось: белоснежные широкие постели и утренний свет, двери, которые закрываются легко и бесшумно, будто резиновые, мягкие ковры и ваза с цветами у кровати. Конечно, там все могло быть красиво, хорошо и легко, а здесь...

Ее передергивает от омерзения. Фердинанд, не зная, чем помочь, бессмысленно повторяет:

— Ну успокойся, успокойся. Все прошло.

Но застывшее тело не перестает вздрагивать под его ладонью. Что-то в ней оборвалось, нервы не выдержали чрезмерного напряжения и трепещут, как телеграфные провода на ветру. Она не слушает его, она только прислушивается к стуку, который продолжается от дверей к дверям, от человека к человеку.

Теперь они на верхнем этаже. Стук внезапно усиливается. Все громче и громче повторяется: «Откройте! Именем закона!» Наступает короткая пауза, Кристина и Фердинанд напряженно слушают. Опять барабанят в дверь, но уже не костяшками пальцев, а кулаками. «Откройте! Откройте!» —

повелительно рявкает голос. Судя по всему, там отказываются подчиняться. Раздается свисток, топот множества ног вверх по лестнице, и — четыре, шесть, восемь кулаков начинают молотить в дверь: «Немедленно откройте!» Затем следуют оглушительные удары, треск дерева и — женский крик, панический, душераздирающий, пронзивший весь дом насквозь. Грохочут упавшие стулья, кто-то с кем-то борется, шмякаются на пол тела, будто мешки с камнями, женский крик переходит в глухой вой.

Кристина и Фердинанд переживают все так, словно это происходит с ними самими. Рассвирепевший мужчина борется там с полицейскими, полуодетую женщину схватили за руку заученным приемом, и она, извиваясь, кричит: «Не пойду, не пойду!» — кричит, как затравленный зверек. Звенит разбитое стекло, Наверное, выдавили окно в схватке. А теперь вдвоем или втроем тащат ее, волокут по полу... через все стены слышно, как она барахтается и как они пыхтят. И вот — ее тащат по коридору, по лестнице, все тише, все подавленнее звучат вопли перепуганной жертвы: «Не пойду, не пойду! Пустите! На помощь!» — пока совсем не замирают внизу. Заводится мотор автомашины. Все. Птичка в клетке.

Стало тихо, гораздо тише, чем раньше. Страх тучей окутал весь дом. Фердинанд, подняв Кристину со стула, целует ее в холодный лоб. Она лежит в его объятиях вялая, неподвижная, словно утопленница. Он целует ее в губы, но они сухие, бесчувственные. Он сажает ее на постель, она валится навзничь, бессильная, опустошенная. Он гладит ее по голове. Наконец она открывает глаза.

— Пойдем! — шепчет она. — Уведи меня отсюда, больше не могу, я не выдержу здесь больше ни секунды. — И внезапно, в приступе отчаяния, бросается перед ним на колени. — Уйдем, прошу тебя, уйдем из этого проклятого дома.

— Деточка, но куда... только начало четвертого, до поезда еще два с половиной часа. Куда мы пойдем, лучше отдохни немного.

— Нет, нет. — Она бросает безумный, полный отвращения

взгляд на смятую постель. — Прочь, прочь отсюда! И больше никогда... вот так... никогда!

Внизу, у конторки портье, полицейский делал какие-то пометки на регистрационных бланках. Подняв глаза, он кольнул быстрым зорким взглядом спустившуюся по лестнице парочку. Кристина покачнулась, Фердинанд поддержал ее, но полицейский опять склонился над бумагами. И в тот миг, когда Кристина, выйдя на улицу, почувяла свободу, она вздохнула с таким наслаждением, будто ей еще раз подарили жизнь.

До утра еще далеко. Но фонари, кажется, уже устали гореть. Все, кажется, устало: переулки — от своей пустоты, дома — от погруженности во мрак, магазины — от запертости, а несколько блуждающих фигур устали нести самих себя. Тяжелой рысью, опустив головы, лошади везут к рынку длинные крестьянские повозки с овощами; встречного прохожего они обдают на миг влажным терпким запахом; потом по брусчатке громяют молочные фургоны, дребезжа оцинкованными бидонами, и снова все тихо, серо и мрачно. У редких прохожих — подручных пекарей, уборщиков каналов и еще каких-то рабочих — невыспавшиеся, сердитые лица, похожие на серые маски; глядя на них, Кристина и Фердинанд остро ощущают это предрассветное настроение — взаимную неприязнь сонного города и спешащих на работу людей. Молча шагают они в темноте к вокзалу. Там, в приюте для бесприютных, можно посидеть и отдохнуть.

В зале ожидания они присаживаются в углу. Вокруг на скамьях спят мужчины, женщины, обложившись сумками, пакетами, свертками, да и сами спящие напоминают смятые пакеты, заброшенные какими-то судьбами в пустоту. Снаружи время от времени слышится пыхтение, лязганье, стоны: это перегоняют локомотивы, пробуют пар в котлах, сцепляют вагоны.

— Ну что ты все об этом думаешь, — говорит Фердинанд. — Забудь, в следующий раз постараюсь, чтобы такого не было. Вижу, что обиделась, но ведь моей вины тут нет.

— Да, конечно, — говорит она, глядя перед собой, — вина не твоя. Но чья же? Почему это всегда случается с нами, ведь мы никому не сделали ничего плохого... Стоит только ступить шаг, как на тебя накидываются... Никогда я так много не требовала от жизни, один раз поехала в отпуск, хотела отдохнуть неделю-другую как люди, весело и легко, и вот беда с матерью... И один раз... — Она умолкла.

— Деточка, будь же разумной, ну что особенного стряслось... кого-то искали, проверяли документы, это же чистая случайность.

— Да, конечно. Всего лишь случайность. Но то, что произошло... тебе этого не понять, нет, Фердинанд, тебе этого не понять, для этого надо родиться женщиной. Ты не представляешь, что думает об этом женщина... ведь всякая девушка, даже девочка, еще ничего не понимая, мечтает, что когда-нибудь это произойдет: она останется наедине с мужчиной, которого любит... Все об этом думают... и ни одна не знает, не может вообразить, как это будет, сколько бы ни рассказывали ей подруги. Но каждая девушка, каждая женщина представляет себе это как праздник... как что-то красивое... самое красивое в жизни... Как что-то, не могу точно сказать... ну что-то, для чего, собственно, и существуешь, что придает смысл жизни... Годы и годы мечтаешь об этом, рисуешь себе, нет, не рисуешь, тут ничего не придумаешь, немыслимо, можно только мечтать, как о чем-то прекрасном, грезить — знаешь, так смутно, неясно... и вот... и вот теперь... ужас, мерзость... Нет, когда все рушится, это невообразимо, невозможно... ведь если все осквернили, замарали, этого уже ничем больше не поправить, никогда...

Он гладит ее руку, но Кристина, словно не замечая его, оцепенело смотрит на грязный пол.

— Подумать только, что это зависит исключительно от денег, от гнусных, презренных денег. Две-три банкноты — и можно было бы уехать за город на машине... Куда-нибудь, где за тобой никто не следит, где мы одни, свободны... Ах, как это было бы чудесно, полное приволье, блаженство... Да и ты бы чувствовал себя иначе, ничего бы тебя не смущало, не тяготи-

ло... Но мы как бездомные собаки — вынуждены забираться в чужой сарай, откуда нас выгоняют плеткой... Господи, если б я знала, что все получится так ужасно... — Но, увидев его лицо, она быстро добавила: — Нет, нет, ты не виноват, просто я не могу избавиться от ужаса, он еще сидит во мне... Теперь ты понимаешь, почему у меня так мерзко на душе. Дай мне немного времени, это пройдет...

— Но ты приедешь... приедешь еще?

Тревога, прозвучавшая в его вопросе, была ей приятна как первый теплый отклик.

— Да, — говорит она. — Приеду, не сомневайся. В следующее воскресенье, только... Ну ты сам знаешь... только об одном прошу...

— Да, — вздыхает он, — понимаю, понимаю.

Она уехала. Фердинанд поплелся в буфет и выпил две рюмки водки. Пересохшую глотку обожгло как огнем. Он снова обрел способность двигаться и вышел на улицу. Шагая все быстрее и быстрее, он энергично размахивал руками, будто сражался с невидимым противником. Прохожие удивленно оглядывались на него. На стройке тоже обратили внимание, что обычно скромный и сдержанный десятник был в тот день груб с подчиненными и раздражался по всякому поводу. Кристина сидит на почте, как и прежде, молчаливая, подавленная, выжидающая. И вспоминают они друг о друге не с любовью и страстью, а с некой жалостью и сочувствием. Так думают не о возлюбленном, а о товарище по несчастью.

После той первой встречи Кристина каждое воскресенье ездит в Вену. Это ее единственный выходной день, летний отпуск уже использован. Они хорошо понимают друг друга. Слишком усталые, слишком разочарованные, чтобы воспылать страстной, всепоглощающей и преисполненной надежды любовью, оба уже счастливы тем, что нашли, кому можно довериться. Всю неделю они копят на это воскресенье. Копят деньги, ибо этот единственный день хотят провести вместе, отказавшись от вечной экономии, зайти в ресторан, в кафе, в

кино, не скупясь особенно на траты, не подсчитывая каждый шиллинг. И всю неделю они сберегают слова и чувства, обдумывают, что расскажут друг другу, зная и радуясь заранее, что будут выслушаны с искренним сочувствием и пониманием. После долгих лишений уже одно это значит для них очень много, и этого маленького счастья они ждут, отсчитывая с нетерпением понедельник, вторник, среду и еще нетерпеливее четверг, пятницу и субботу. Между собой они соблюдают некоторую дистанцию. Они не произносят известных слов, которые обычно легко слетают с уст влюбленных, не говорят о свадьбе и о том, что навеки будут вместе, — все это так нереально и далеко, да, собственно, еще и не началось как следует.

Приезжает она обычно около девяти; ночевать с субботы на воскресенье в Вене она не хочет, для одной номер в гостинице слишком дорого стоит, а вдвоем боится — еще не забылись те ужасные часы. Он встречает ее, они ходят по улицам, сидят на скамейках в парке, ездят на электричке за город, обедают, бродят по лесу. Им не надоедает смотреть друг на друга. Они счастливы прогуляться вдвоем по лужайке, счастливы самыми простыми вещами в жизни, которые принадлежат даже беднейшим из бедных, — голубым осенним небом и золотистым солнцем, букетиками цветов и свободным праздничным днем. Это для них уже много, и каждый раз они ожидают следующей встречи с долготерпением людей, умудренных жизнью и непритязательных.

В последнее воскресенье октября осень, утомившись от радушия к людям, задула сильным ветром и собрала на небе тучи. Дождь зарядил с самого утра, и они вдруг почувствовали себя лишними в мире. Нельзя же целый день слоняться по улицам в плаще и без зонтика; нет смысла, да и обидно сидеть в переполненных кафе, где при посторонних и не поговоришь, где лишь украдкой коснешься коленями друг друга под столиком, где мучительно ощущаешь, как уходит время, драгоценное время.

Оба знают, чего им недостает. До смешного малого: крохот-

ной комнатухи, каких-нибудь трех метров уединенности, четырех стен, которые принадлежали бы им сегодня. Они осознают, как бессмысленно двум молодым телам, жаждущим друг друга, весь день таскаться в мокрой одежде по городу или сидеть в переполненном помещении, а еще раз купить на ночь такую комнатуху они не рискуют. Проще всего Фердинанду было бы снять комнату для их свиданий. Но он получает лишь сто семьдесят шиллингов, а живет у старушки в смежной с ее комнатой каморке, от которой нельзя отказаться. В ту пору, когда он был безработным, добрая хозяйка, поверив ему в долг, не брала с него ни за жилье, ни за стол; он должен еще двести шиллингов, выплачивает ежемесячно и раньше чем через три месяца не расплатится. Обо всем этом он Кристине не говорит, даже ей, близкому человеку, он стесняется признаться в своей бедности и долгах. Кристина догадывается, что, вероятно, какие-то денежные обстоятельства мешают ему съехать оттуда и снять другую комнату. Она охотно предложила бы ему денег, но боится оскорбить его мужское самолюбие и потому не заикается об этом.

Так они и сидят безутешно в прокуренных залах, поглядывая в окна, не кончился ли дождь. Как никогда еще, оба чувствуют безграничную власть денег, могучих, когда они есть, и еще более могучих, когда их нет, чувствуют божественность свободы, которую деньги могут дать, и сатанинское коварство, с каким они вынуждают отказаться от этой свободы. Ожесточение охватывает обоих, когда в утренних сумерках они глядят на светящиеся окна, где за золотистыми гардинами сотни тысяч мужчин, и у каждого есть кров и желанная женщина, а они, бесприютные, должны бесцельно бродить под дождем — так жестоко в природе лишь море, в котором можно умереть от жажды.

В городе множество комнат, светлых, теплых, с мягкими кроватями, полное уединение и тишина, здесь десятки, сотни тысяч таких комнат, наверное, не счесть, сколько из них пустует, и лишь у них одних нет ничего, даже уголка, где можно хоть на секунду прижаться друг к другу в поцелуе, ничего,



чтобы утолить иссушающую жажду и остыть от бессмысленной злости на мир; ничего им не остается, кроме как обманывать себя, что вечно так продолжаться не может, и вот — оба начинают лгать.

В кафе, читая объявления, он делает себе какие-то пометки и сообщает ей, между прочим, что у него блестящие шансы на великолепное место: друг-однополчанин обещал устроить его в секретариат большой строительной фирмы, получать он будет там столько, что сможет учиться дальше и стать наконец архитектором. Кристина, в свою очередь, рассказывает — и это не ложь, — что подала в почт-дирекцию прошение о переводе в Вену, а дядя, к которому она ходила, обещал помощь — у него там большие связи. Через неделю-другую придет ответ, наверняка благоприятный.

Но Кристина умолчала о том, как дядя встретил ее на самом деле. Однажды вечером в половине девятого она подошла к дому, где он жил: судя по шуму, доносившемуся из открытых окон его квартиры, семья была в сборе, и Кристина уверенно позвонила. Через некоторое время в переднюю вышел слегка раздраженный дядя: жаль, что она пришла сегодня, когда тетя и кузины в отъезде (Кристина видела на вешалке их пальто и поняла, что это неправда), а он пригласил к ужину двух друзей, поэтому принять ее не может, но если у нее есть какая-нибудь просьба... Она изложила просьбу, дядя выслушал, сказал: «Да, да, конечно», — и она ясно почувствовала: он боится, что племянница попросит денег, и хочет поскорее отделаться от нее.

Обо всем этом Кристина не стала рассказывать Фердинанду, к чему лишать надежды человека, который и без того пал духом. Не сказала она ему и про то, что купила лотерейный билет, от которого, как все бедняки, ждет чуда. Ей легче было солгать, что она написала тете — вдруг та поможет найти ей приличное место или пригласит к себе в Америку, тогда он поедет вместе с ней и наверняка хорошо устроится, там нужны энергичные деловые люди. Фердинанд слушает и не верит, так же как не верит ему она. Пустые разговоры, радость словно

смыло дождем, взгляд затемнен помрачневшим небом, ясна обоим лишь полная безысходность. Порой они заговаривают о рождестве, о национальном празднике, у нее два свободных дня, можно куда-нибудь съездить, но это еще когда будет — в конце ноября и в конце декабря, еще ждать и ждать, долго, без всякой надежды.

Они обманывают себя словами, но в глубине души не обманываются, оба понимают, как изнурительно сидеть в шумном помещении среди людей, когда хочется быть наедине, сочинять друг другу небылицы, когда душа и тело жаждут правды и полной близости.

— В следующее воскресенье наверняка будет хорошо, — говорит она, — не может же вечно лить дождь.

— Да, — отвечает он, — конечно, будет хорошо.

Но радости они не чувствуют: надвигается зима, враг бесприютных, так что лучше не будет. С воскресенья до воскресенья оба надеются на чудо, но чуда не происходит, они лишь по-прежнему гуляют, обедают и разговаривают, и эти свидания постепенно превращаются из удовольствия в муку. Иной раз они ссорятся, правда сознавая, что это не от досады друг на друга, а от злости на свою нелепую участь, и им делается стыдно; всю неделю они радостно предвкушают новую встречу, а расставаясь, еще острее ощущают, что в их жизни что-то неправильно и противно здравому смыслу. Бедность почти совсем остудила в них чувственный пыл, но неприязни между ними нет, хотя порой они едва лишь терпят друг друга.

Хмурый ноябрьский день тускло светится за плохо протертыми окнами почтовой конторы, Кристина у стола подсчитывает расходы. Жалованья хватает еле-еле, с тех пор как она каждое воскресенье стала ездить в Вену; поезд, кафе, трамвай, обед, разные мелочи — вот и набегают. Порвался зонтик, перчатку потеряла, наконец — она все-таки женщина — купила новую блузку и пару изящных туфель. В итоге недочет небольшой, всего лишь двенадцать шиллингов, и хотя они с избытком покрываются оставшимися швейцарскими франка-

ми, тем не менее возникает вопрос: удастся ли ей продолжать ежевоскресные свидания, не прося аванса и не залезая в долги. Инстинктом, унаследованным от трех поколений бережливых предков, она боится и того и другого. Но где же тогда выход?

В прошлую встречу, два дня назад, был такой ужасный дождь и ветер, они почти все время сидели в кафе и стояли под навесами, даже укрывались в церкви, она вернулась промокшая, страшно усталая и огорченная. Фердинанд был каким-то необычайно растерянным, то ли у него неприятности на работе, то ли еще что, держался неласково, чуть ли не грубо. Был замкнут, неразговорчив, и ходили они молча, словно поссорившись. Что его так расстроило? Обиделся, что она не в силах превозмочь отвращение и еще раз пойти с ним в такой же омерзительный отель, или причина была в погоде, в надоевшем до отчаяния блуждании из одного кафе в другое, в проклятой бесприютности, лишаящей их встречи всякого смысла и радости? Что-то в их отношениях, она чувствует, начинает угасать: не дружба, не товарищество, нет, но какая-то сила в них обоих почти одновременно ослабевает — они больше не решаются обманывать друг друга надеждами. Сначала они воображали, что тем самым помогут друг другу, поддержат друг в друге уверенность, что можно найти выход из тупика бедности, но теперь они в это больше не верят, а зима с ее промозглой сыростью надвигается, как беспощадный враг.

Кристина не знает, где еще взять надежду. В левом ящике ее стола лежит напечатанное на машинке письмо, оно пришло вчера из почт-дирекции Вены:

«В ответ на Ваше прошение от 17.9.1926 мы вынуждены, к сожалению, сообщить, что перевести Вас в почтовый округ Вены в настоящее время не представляется возможным, так как согласно постановлению министерства (номер, дата) увеличение количества штатных мест в венских почтовых отделениях не предусмотрено и в данный момент вакансий нет».

Иного она не ждала. Возможно, дядя ходатайствовал за нее, возможно, забыл — во всяком случае, он единственный мог ей помочь, больше некому. Значит, придется оставаться

здесь год, пять лет, а чего доброго, и всю жизнь. Как бестолково устроен мир.

Все еще с карандашом в руке, она раздумывает, сказать ли об этом Фердинанду. Странно, он ни разу не спросил, как обстоит с ее прошением, скорее всего, не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Нет, лучше не говорить, он и так поймет, если она промолчит. Только лишнее огорчение для него. Нет смысла. Теперь ни в чем нет больше смысла, ни в чем.

Скрипнула дверь. Кристина распрямляет спину и наводит на столе порядок; это у нее получается уже как бы механически, когда кто-нибудь входит и надо от грез переключаться на работу. Но что-то ей сейчас показалось странным: дверь открывается не так, как обычно, когда входят крестьяне, — те распахивают ее, как дверь в сарай, и с треском захлопывают за собой. В этот раз она открывается осторожно, робко и очень медленно, будто от легкого ветерка, только чуть поскрипывают петли. Кристина с невольным любопытством поднимает глаза и вздрагивает от испуга. За стеклянной перегородкой стоит человек, которого она меньше всего ожидала здесь увидеть, — Фердинанд.

Кристина перепугалась не на шутку. Фердинанд не раз предлагал, чтобы она не моталась все время в Вену, лучше он будет приезжать сюда. Но она всегда возражала, стеснялась, наверное, предстать перед ним в этой убогой конторе и в самодельном рабочем халате, короче, из-за женского тщеславия и стыдливости. Вероятно, опасалась она и болтовни деревенских кумушек; что скажут хозяйка дома и соседка, если увидят ее с каким-то незнакомцем из Вены в лесу, а Фукстлер, тот просто обидится. И вот он все же приехал, это не к добру.

— Удивляешься, не ожидала? — Это должно было прозвучать весело, но в горле что-то мешает, и получается хриповато.

— Что?.. Что случилось? — спрашивает она в страхе,

— Ничего. А что должно случиться? Просто выпал свободный день, и я подумал: съезжу-ка разок. Ты не рада?

— Да, да, — лепечет она, — конечно.

Он оглядывает помещение.

— Значит, это твое царство. Гостиная в Шёнбрунне красивее и шикарнее, но зато ты здесь одна и над тобой нет повелителя. А это уже немало!

Не отвечая, она думает только об одном: что ему надо?

— У тебя сейчас, кажется, обеденный перерыв? Я подумал: может, прогуляемся немного и поговорим?

Кристина смотрит на часы. Без четверти двенадцать.

— Еще нет, но скоро... Только вот... по-моему... будет лучше, если мы выйдем отсюда не вместе. Ты не представляешь, какой здесь народ; если увидят меня с кем-то, тут же пойдут расспросы, лавочник, бабы — все подряд начнут приставать: с кем это я, да откуда он... а врать я не люблю. Лучше ступай вперед, иди сразу направо по Церковной улице, дойдешь до холма, а оттуда по дорожке наверх, нет, не заблудишься, к церкви Святого Михаила, она на горе. Возле леса стоит большое распятие, его сразу видно, как выйдешь из деревни, а перед ним скамейки, садись и жди меня. В полдень там никого нет, все обедают. Ну и... никто внимания не обратит на постороннего, там бывают только богомольцы. Жди, я приду вслед за тобой минут через пять, у нас будет время до двух часов.

— Ладно, — говорит он. — Найду. Пока.

Он прикрывает за собой дверь. Резкий, лаконичный тон его ответов еще звучит у Кристины в ушах. Что-то случилось. Без причины он бы не приехал, у него же рабочий день. Да и поездка стоит денег... Шесть шиллингов сюда, шесть обратно. Наверняка есть причина.

Она опускает стекло, руки дрожат, с трудом поворачивают ключ в двери. Ноги как свинцовые.

— Куда ж это собралась? — любопытствует идущая с поля крестьянка Хубер, видя, как почтовая барышня в обеденное время направляется к лесу, чего за ней раньше не примечалось.

— Гулять, — отвечает она.

За каждый шаг надо оправдываться, ни на секунду с тебя

не спускают глаз. Подгоняемая тревогой, она идет все быстрее и под конец почти бежит. Фердинанд сидит на каменной скамье. Над ним распростертый Христос, в руки вколочены гвозди, голова в терновом венце с трагической покорностью свешивается набок. Силуэт Фердинанда на скамье под высоченным распятием кажется частью печальной скульптуры. Угрюмо склоненная на грудь голова и вся фигура словно окаменели в сосредоточенном, упорнейшем раздумье. Палка в его руке глубоко вонзилась в землю. Не услышав сначала ее шагов, он затем выпрямляется, выдергивает палку и, повернувшись, смотрит на Кристину. Без любопытства, без радости, без ласки в глазах.

— А-а, пришла, — говорит он. — Садись, здесь никого нет.

— Ну что, что случилось, скажи? — спрашивает она.

— Ничего. — Он смотрит прямо перед собой. — А что должно случиться?

— Не мучай меня. Я же по тебе вижу. Что-то наверняка случилось, раз ты сегодня свободен.

— Свободен... пожалуй, ты права. Я действительно свободен.

— Но почему... Ведь тебя не уволили?

Он желчно смеется:

— Уволили? Нет. Увольнением это, пожалуй, не назовешь. Это лишь конец стройки.

— То есть как конец, что это значит, почему конец?

— Конец — это конец. Наша фирма разорилась, подрядчик исчез. Теперь его называют мошенником, аферистом, а еще позавчера перед ним лебезили. Я уже в субботу кое-что заметил: он долго названивал в разные места по телефону, пока не привезли жалованье для рабочих; нам выплатили только половину — ошибка, мол, в расчетах, сказал доверенный фирмы, выписали в банке меньше, чем надо, в понедельник доплатят. Ну а в понедельник ни гроша не привезли, и во вторник тоже, и в среду... Сегодня все прикрыли, подрядчик сбежал, стройка временно прекращена, и вот можно хоть раз позволить себе роскошь — прогуляться.

Она неподвижно смотрит на него. Больше всего ее пугает, что он говорит об этом так спокойно и насмешливо.

— Но ведь в таком случае тебе обязаны по закону выплатить компенсацию?

— Да, кажется, в законах что-то похожее есть, ладно, поглядим. Пока им нечем платить даже за почтовые марки, от долгосрочного кредита остались рожки да ножки, пишущие машинки и те отданы в залог. Мы-то, конечно, можем подождать, время у нас есть.

— Что же ты собираешься делать?

Он молча выковыривает палкой из земли мелкие камешки и неторопливо, один за другим, сгребает их в кучу. Кристине становится страшно.

— Ну говори же... что теперь будешь делать?

— Что буду делать? — Опять этот странный короткий смешок. — Ну что в таких случаях делают. Обращусь к своему банковскому счету, буду жить на «сбережения». Правда, еще не знаю как. Потом, через полтора месяца, будет, вероятно, дозволено воспользоваться благодатным установлением, именуемым пособием по безработице. Попытаюсь существовать на это, как существуют триста тысяч других в нашем благословенном придунайском государстве. А если доблестная попытка кончится неудачей, придется подышать.

— Чушь. — Его хладнокровие бесит Кристину. — Зачем принимать все так близко к сердцу? Тебе не найти места?.. Да такой человек, как ты, всегда устроится, сто мест взамен одного найдет.

Неожиданно всплыв, он бьет палкой по земле.

— А я не желаю больше устраиваться! Сыт по горло! Само это слово приводит меня в бешенство, уже одиннадцать лет меня устраивают и пристраивают, и все на разные места, но ни разу я не попал на такое, которое *устроило* бы меня самого. Четыре года на войне, а потом Бог знает где еще. И всегда я исполнял чужую волю, никогда не действовал по своей собственной, всегда ждал свистка: вон! Хватит! На другое место! Начинать заново, каждый раз сначала. Все, больше не могу. Не хочу, надоело.

Она порывается остановить его, но он продолжает:

— Не могу больше, Кристина, клянусь тебе, не могу. Лучше подохнуть, чем снова в посредническую контору и снова часами, как нищий, стоять в очереди за одной бумажкой, за другой. А после таскаться вверх и вниз по этажам, писать письма, на которые никто не ответит, и рассылать предложения, которые по утрам выгребают из мусорных баков. Нет, мне больше не выдержать этой собачьей жизни: топчешься в приемной, пока тебя не соизволят впустить к какому-нибудь мелкому чинуше; и вот он важно оглядывает тебя с этакой заученной, холодной, равнодушной улыбкой, чтобы ты сразу понял: вас, мол, таких — сотни, скажите спасибо, что вас вообще слушают. Потом с замиранием сердца — это повторяется каждый раз — ждешь, а он небрежно листает твои бумаги с таким видом, будто плевать на них хотел, и наконец изрекает: «Буду иметь вас в виду, загляните завтра». Заглядываешь и завтра, и послезавтра — все без толку; в конце концов куда-то тебя ставят и опять выставляют.

Нет, мне этого больше не вынести. Я многое выдержал: в рваных ботинках семь часов топал по русским проселкам, пил воду из луж, тащил на горбу три пулемета, попрошайничал в плену, закапывал трупы. Я чистил сапоги всей роте, продавал похабные фотографии только ради жратвы, я все делал и все выдерживал, так как верил, что когда-нибудь это кончится, когда-нибудь найду себе место, одолею первую ступеньку, вторую. Но нашего брата все время сшибают. Я сейчас до того дошел, что скорее убью, пристрелю кого-либо, чем стану у него попрошайничать. Нет у меня больше сил шататься по приемным и выстаивать на бирже труда. Мне уже тридцать, не могу больше.

Она дотрагивается до его плеча. Ей бесконечно жалко его, и она не хочет, чтобы он это почувствовал. Но Фердинанд сейчас, словно окаменев, погруженный в собственные переживания, вовсе и не замечает Кристины.

— Ну вот, теперь ты знаешь все, но не думай, что я приехал



поплакаться. Жалости мне не надо. Побереги ее для других, кому-нибудь пригодится. Мне уже ничего не поможет. Я пришел проститься с тобой. Наши встречи не имеют больше смысла. Вводить тебя в расходы я себе не позволю, у меня еще есть гордость. Лучше разойтись по-хорошему и не взваливать друг на друга свои заботы. Вот что я хотел тебе сказать. И еще — поблагодарить за все...

— Фердинанд! — Она в отчаянии обнимает его, прижимается к нему со всей силой. — Фердинанд, Фердинанд, — только и повторяет она, не находя другого слова, охваченная безумным страхом.

— Ну скажи честно, какой смысл? Разве тебе самой не горько, когда мы топаем по грязным улицам, торчим в кафе и, не находя выхода, врем друг другу? Сколько еще может так продолжаться, чего нам ждать? Мне тридцать, но с каждым месяцем я чувствую, что постарел еще на год. Я не видел мир, жил только мечтой, верил, что придет наконец мой час и жизнь начнется. Но теперь знаю: ничего больше не придет, ничего хорошего. Я выдохся, мне уже не подняться. С таким связываться не стоит... Твоя сестра это сразу почувяла и встала между мной и Францем, чтобы я его не трогал и не увлекал. И тебя я только увлеку, и зря. Так что давай кончим по-хорошему, по-человечески.

— Да, но... как же ты будешь дальше?

Фердинанд молча, сосредоточенно ковыряет палкой землю. Взглянув вниз, Кристина цепенеет от страшной догадки. Он пробуравил в земле дырку и завороченно смотрит на нее, будто собрался туда провалиться. Кристина все поняла.

— Неужели ты...

— Да, — спокойно отвечает он. — Это единственный разумный выход. Начинать опять с начала у меня нет охоты, но подвести черту я еще в силах. Я знал четверых, которые это сделали. Одно мгновение... Видел их лица. После. Добрые, довольные, ясные. Это не трудно. Легче, чем так жить.

Она по-прежнему обнимает его, но вдруг ее руки слабеют и опускаются.

— Тебе непонятно? — спрашивает он, спокойно глядя на нее. — Ты всегда была со мной откровенна.

Помолчав, она признается:

— Часто я думала о том же. Только боялась высказать себе все четко и ясно, как ты. Ты прав, жить так дальше нет смысла.

Он с сомнением смотрит на нее и спрашивает тоном, в котором слышится отчаяние и какой-то соблазн:

— Ты решилась бы?..

— Да, с тобой. — Она произносит это совершенно спокойно и твердо, словно речь идет о прогулке. — Одной мне не хватит мужества, не знаю... я не задумывалась о том, как это делается, иначе давно бы, наверное, сделала.

— Ты со мной... — блаженно бормочет он и берет ее руки.

— Да, — по-прежнему спокойно отвечает она, — когда захочешь, но вместе. Не хочу больше тебя обманывать. Перевод в Вену не разрешили, а здесь, в деревне, я пропаду. Так лучше сразу, чем медленно. А в Америку я не писала. Они мне не помогут, ну пришлют десять—двадцать долларов — что это даст? Лучше уж сразу, чем мучиться, ты прав!

Он долго разглядывает ее. Никогда еще он не смотрел на нее с такой нежностью. Жесткие черты его лица разгладились, суровые глаза светятся ласковой улыбкой.

— Мне и в голову не приходило, что ты... согласишься сопровождать меня в такую даль. Теперь мне вдвое легче, ведь я за тебя тревожился.

Они сидят, взявшись за руки. Глядя на них, можно подумать, что это любовная парочка, только что обручились и взошли по тропинке сюда, чтобы скрепить помолвку перед распятием. Никогда они не чувствовали себя так беззаботно и так уверенно. И впервые у них появилась уверенность друг в друге и в будущем. Они долго сидят, сплетя руки, глядя в глаза друг другу, и лица у них добрые, довольные и ясные. Потом она тихо спрашивает:

— А как ты это... сделаешь?

Он достает из заднего кармана револьвер. Гладкий ствол

блестит в лучах ноябрьского солнца. Оружие кажется ей совсем не страшным.

— В висок, — говорит он. — Не бойся, рука у меня твердая, не дрогнет... Потом себя в сердце. Это армейский револьвер самого крупного калибра, вполне надежный. Раньше, чем в деревне услышат два выстрела, все будет кончено. Бояться не надо.

Она без всякого волнения, с деловитым любопытством рассматривает револьвер. Потом переводит взгляд на возвышающийся в нескольких метрах от скамейки огромный крест из темного дерева, на котором распятый Христос мучился три дня.

— Не здесь, — поспешно говорит она. — Не здесь и не сейчас. Понимаешь... — Она смотрит на него и нежно сжимает его пальцы. — Прежде я хочу еще раз побыть с тобой... по-настоящему, без страха, без всяких ужасов... Целую ночь... нам надо, наверное, еще много сказать друг другу... напоследок... то, чего в жизни обычно никогда не говорят... Хочу побыть с тобой, целую ночь с тобой... А утром пусть нас найдут.

— Хорошо, — соглашается он. — Ты права, надо взять лучшее от жизни, прежде чем покончить с собой. Прости, об этом я не подумал.

Опять они сидят молча. Легкий ветерок овеивает их. Даже чуть пригревает солнце. На душе у них хорошо и поразительно безмятежно. Но тут с колокольни доносятся три удара. Кристина спохватывается:

— Без четверти два!

Фердинанд весело смеется:

— Вот видишь, каковы мы. У тебя хватает храбрости умереть, но опоздать на службу ты боишься. Как же глубоко засело в нас рабство. В самом деле, пора освободиться от всей этой чепухи. Неужели ты собираешься идти туда?

— Да, — говорит она. — Так лучше. Хочу все привести в порядок. Глупо, но... понимаешь, мне будет легче, если я все приберу, надо еще письма написать. К тому же... если я буду сидеть там до шести часов, меня никто не хватится. А вечером

поедем в Кремс, или в Санкт-Пёльтен, или в Вену. У меня есть еще деньги на приличный номер и ужин, поживем разок так, как хочется... только пусть все будет хорошо, красиво... а завтра утром, когда нас найдут, нам уже будет безразлично... В шесть часов зайди за мной, теперь мне все равно, пусть смотрят, пусть говорят и думают что угодно. В шесть я запру дверь и освобожусь от всего, от всех... стану по-настоящему свободна... мы оба станем свободны.

Он не спускает с нее глаз, ее неожиданная стойкость нравится ему.

— Ладно, — говорит он. — Приду к шести. А пока погуляю, погляжу еще раз на мир. До свидания.

Весело и проворно она сбегает по дорожке и внизу оборачивается. Он стоит наверху, глядя ей вслед, потом вынимает носовой платок и машет.

— До свидания! До свидания!

Кристина вошла в контору. Неожиданно все стало легко. Без всякой враждебности встречают ее письменный стол, конторка, стул, весы, телефон и груды бумаг. Они теперь не издеваются и не злорадствуют втихомолку: «Тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз», ибо она знает, что дверь открыта, один шаг — и перед ней свобода.

Она вдруг обрела удивительный покой, тот светлый покой, которым дышит луг, когда на него опускаются вечерние тени. Все у нее получается легко, словно играючи. Она пишет несколько прощальных писем — сестре, почтовому ведомству, Фуксталеру — и сама удивляется, какой у нее каллиграфический почерк, как ровно ложатся строчки и одинаковы пробелы между словами. Так же чисто и аккуратно, как в домашних заданиях, которые она писала в школьные годы, не вникая в смысл. Одновременно она обслуживает посетителей, ей сдают письма, посылки, вносят деньги, заказывают телефонные разговоры. И каждого она обслуживает необычайно старательно и вежливо. У нее появилось неосознанное желание оставить о себе этим чужим, посторонним людям — Томасу, крестьянке

Хубер, помощнику лесничего, ученику из мелочной лавки, жене мясника — приятное воспоминание, это ее последняя маленькая дань женскому тщеславию. Она непринужденно улыбается, когда ей говорят: «До свидания», и отвечает еще сердечнее: «До свидания!», потому что в ней все дышит уже другим воздухом, воздухом избавления.

Потом она доделывает невыполненную работу, подсчитывает задолженности, выписывает счета, сортирует письма. Никогда на ее столе не было такого порядка, она даже стерла чернильные пятна и поправила висевший криво календарь — ее преемнице не придется жаловаться. Никому не придется жаловаться теперь, когда она счастлива. Наводя порядок в своей жизни, она и здесь должна все упорядочить.

Увлечшись работой, она забыла о времени и была немало удивлена, когда на пороге появился Фердинанд.

— Уже шесть? Господи, а я и не заметила. Еще минут десять—двадцать, и я готова, понимаешь, хочется все оставить так, чтобы ни к чему не придрались. Мне только подвести баланс, подсчитать кассу, и я в твоём распоряжении.

Он говорит, что подождет ее на улице.

— Нет, нет, посиди здесь, я опущу жалюзи. А если кто и увидит, что мы вышли отсюда вместе, теперь это неважно, завтра они больше удивятся.

— Завтра, — улыбается он. — Я рад, что завтра не будет. По крайней мере, для нас... Чудесно прогуляться, небо, краски, лес... гм, а он был неплохим архитектором, милый боженька, немного старомодным, но все-таки лучше, чем мог бы стать я.

Она впускает его в священную служебную зону за стеклянной перегородкой, куда ни разу не ступал ни один посторонний.

— Стул предложить тебе не могу, наша республика не настолько щедра, садись на подоконник и покури, через десять минут я разделаюсь, — она облегченно вздыхает, — разделаюсь со всем.

Кристина быстро суммирует цифры, колонку за колонкой. Потом достает из несгораемого шкафа черную сумку, похо-

жую на волынку, и начинает считать деньги. Она складывает их отдельными стопками — пятерки, десятки, сотенные, тысячные — и, смачивая палец о губку, с профессиональной сноровкой пересчитывает синие бумажки, помечая карандашом общее число банкнот в каждой стопке, торопясь сверить наличность с кассовой книгой и подвести черту, последнюю, избавительную.

Неожиданно она услышала за спиной стесненное дыхание и обернулась. Оказывается, Фердинанд слез с подоконника, тихо подошел к столу и вот — заглядывает ей через плечо.

— Ты что?

— Разреши, — сдавленным голосом говорит он, — я возьму на минуту одну бумажку. Давно не держал тысячу и вообще никогда не видел столько денег сразу.

Он осторожно, как нечто хрупкое, берет купюру, и Кристина замечает, что его рука дрожит. Что с ним? Он так странно уставился на синюю бумажку, ноздри трепещут, в глазах непонятный блеск.

— Сколько денег... У тебя здесь всегда столько?

— Конечно, сегодня даже мало, одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят шиллингов. Но к концу квартала, когда винограда-ри вносят налоги или фабрика перечисляет заработную плату, набирается сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч, а один раз было даже восемьдесят.

Взгляд его прикован к столу. Словно испугавшись, он убирает руки за спину.

— И ты... не боишься держать здесь такую сумму?

— А чего бояться? Окна зарешечены, смотри, какие толстые прутья, на втором этаже живут Вайденхофы, рядом мелочная лавка, наверняка услышат, если кто полезет. А на ночь запираю сумку в шкаф.

— Я бы боялся.

— Ерунда, чего?

— Самого себя.

Он отвел глаза от ее недоуменного взгляда и стал ходить взад-вперед по комнате.

— Я бы не выдержал, ни одного часа, дышать бы не мог рядом с такой кучей денег. Все время считал бы: вот тысяча, бумажка как бумажка, но если я прикарманю ее, то смогу привольно жить три месяца, полгода, год и делать что хочу... а на эти — сколько ты сказала? — одиннадцать с половиной тысяч мы смогли бы жить два-три года, посмотреть мир, пожить настоящей жизнью, так, как хочется, как человеку положено жить от рождения, ничем не стесненному, не скованному. Только протянуть руку — и полная свобода... нет, я бы не выдержал, сошел с ума, все время смотреть на них, трогать, нюхать и знать, что они принадлежат этому дурацкому пугалу, государству, которое не дышит, не живет, ничего не хочет и не понимает, этому глупейшему изобретению человечества, которое измалывает людей. Я бы сошел с ума... я бы привязывал себя на ночь от соблазна взять ключ и отпереть шкаф... И ты могла спокойно жить рядом! Неужели ни разу не подумала об этом?

— Нет, — говорит она испуганно, — ни разу не думала.

— Значит, государству повезло. Негодяям всегда везет. Ну ладно, собирайся; — говорит он чуть ли не с яростью, — убери деньги. Видеть их больше не могу.

Она быстро запирает контору. Теперь и у нее вдруг задрожали руки. Оба направляются к станции. Уже стемнело, в освещенные окна видно, как люди сидят за ужином; а когда они проходят мимо последнего дома, до них доносится тихое ритмичное бормотание — вечерняя молитва. Оба шагают молча, будто идут не вдвоем. Одна и та же мысль следует за ними как тень. Они чувствуют ее в себе, вокруг себя, и, когда, сворачивая с деревенской улицы, невольно ускоряют шаг, она не отстает от них.

За последними домами они внезапно оказались в полной темноте. Небо светлее земли, на его прозрачном фоне аллея прорисовывается силуэтами оголенных деревьев. Черные сучья, словно обожженные пальцы, хватают неподвижный воздух. По дороге встречаются редкие прохожие и повозки, но их почти не видно, слышен только шум колес и шаги.

— Есть тут еще дорога на станцию? Какая-нибудь тропинка, где нет ни души?

— Есть, — отвечает Кристина, — вот, направо.

Ей стало немного легче оттого, что он заговорил. Можно хоть на минуту отвлечься от мысли, которая грозной тенью преследует ее от самой конторы, неслышно, упорно, шаг за шагом.

Некоторое время Фердинанд идет молча, будто забыв о ней, даже не касается рукой. И вдруг, точно съалившийся с неба камень, звучит вопрос:

— Ты полагаешь, к концу месяца может набраться тысяч тридцать?

Она сразу поняла, о чем он думает, и, чтобы не обнаружить своего волнения, постаралась ответить твердым голосом:

— Да, пожалуй.

— А если задержать перечисления... Если ты придержишь на несколько дней налоги или что там еще, я ведь знаю нашу Австрию, проверяют не так уж строго, сколько наберется тогда?

Она задумывается.

— Тысяч сорок наверняка. Возможно, и пятьдесят... Но зачем?..

— Сама понимаешь зачем, — отвечает он почти сурово.

Она не решается возражать. Он прав, она понимает зачем. Они молча идут дальше. Где-то рядом в пруду как сумасшедшие расквакались лягушки, от этой какофонии даже больно ушам. Внезапно Фердинанд останавливается.

— Кристина, нам незачем притворяться друг перед другом. Положение у нас чертовски серьезное, и мы должны быть откровенными до конца. Давай подумаем вместе, спокойно и ясно.

Он закуривает сигарету. На мгновение пламя спички освещает его напряженное лицо.

— Итак, поразмыслим. Сегодня мы решили покончить с собой, или, как красиво пишется в газетах, «уйти из жизни». Это неверно. Мы вовсе не собирались уходить из жизни, ни ты, ни я. Мы лишь хотели выбраться наконец из нашего жалкого



прозябания, и другого выхода не было. Не из жизни мы решили уйти, а из нашей бедности, из этой отупляющей, невыносимой, неизбежной бедности. И только. Мы были уверены, что револьвер — последний, единственный путь. Но мы ошибались. Теперь мы оба знаем, что в крайнем случае есть еще один путь, предпоследний. Вопрос теперь вот в чем: хватит ли у нас мужества ступить на этот путь и как мы его пройдем. — Он помолчал, затягиваясь сигаретой. — Нужно спокойно, по-деловому все взвесить и продумать, как арифметическую задачу... Разумеется, я не хочу вводить тебя в заблуждение. Говорю честно: второй путь потребует, вероятно, больше мужества, чем первый. Там дело просто: нажал пальцем, выстрел — все. Второй путь тяжелее, потому что куда длиннее. Тут надо напрячься не на секунду, а на недели, на месяцы, и придется постоянно укрываться, прятаться. Выдержать неизвестность всегда труднее, чем определенность, кратковременный сильный страх легче долгого, нескончаемого. Необходимо заранее взвесить, хватит ли сил выдержать это напряжение и стоит ли оно того. Стоит ли быстро покончить с жизнью или еще раз попробовать все сначала. Вот мои соображения.

Он шагает дальше, Кристина машинально следует за ним. Ее ноги передвигаются сами по себе, рассудок молчит, она лишь безвольно ждет, что он скажет, ловит каждое его слово. Перепуганная насмерть, она бессильна что-либо соображать.

Фердинанд снова останавливается.

— Пойми меня правильно. Я не испытываю ни малейших нравственных угрызений перед нашим государством, чувствую себя совершенно независимым от него. Оно совершило такие чудовищные преступления перед нами, перед нашим поколением, что мы имеем право на все. Сколько бы мы ему ни вредили, все равно это будет лишь возмещением ущерба за нашу погубленную молодость. Если я краду, то кто побудил и научил меня этому, как не государство? На войне это называли реквизицией и экспроприацией, в мирном договоре — регресом. Если мошенничаем, то кому мы обязаны этим искусством? Только ему, нашему наставнику. Государство показало, как

накопленные тремя поколениями деньги можно за две недели превратить в дерьмо, как ловко можно выманить у семейства принадлежавшие ему лет сто дома, луга и поля. Даже если я кого-нибудь убью, кто меня на это натаскал и вымуштровал? Шесть месяцев в казарме и годы на фронте! Клянусь Богом, наш процесс против государства идет отлично, мы выиграем его во всех инстанциях, государству никогда не погасить своего огромного долга, не вернуть того, что отнято у нас. Совестьливость по отношению к государству была хороша в давние времена, когда оно выступало добрым опекуном, порядочным, бережливым, корректным. Теперь же, когда оно обошлось с нами подло, каждый из нас имеет право быть подлецом. Ты понимаешь?.. У меня нет ни малейших сомнений — и у тебя их тоже не должно быть, — что мы вправе взять реванш. Я заберу наконец свою пенсию по инвалидности, которая положена мне на законном основании и в которой мне отказало высокочтимое казначейство, возьмем деньги, украденные у твоего отца и моего, вернем себе естественные человеческие права, которые отняли у нас, живых. Клянусь тебе, моя совесть будет спокойна, ведь и государству безразлично, живы мы или подохли, и бедняков не прибавится, сколько бы мы ни взяли — сто, тысячу или десять тысяч синих бумажек, для государства это не более ощутимо, чем для лужайки, где корова съест несколько лишних травинок. Меня это совершенно не тревожит, и если б я украл десять миллионов, то спал бы так же безмятежно, как директор банка или генерал, проигравший три десятка сражений. Я думаю лишь о нас, о нас с тобой. Нельзя только действовать безрассудно, как какой-нибудь пятнадцатилетний мальчишка-приказчик, который, стянув десять шиллингов из хозяйской кассы, промотает их через час, не зная, зачем это сделал. Для подобных экспериментов мы староваты. У нас лишь две карты в руках, ставим либо на одну, либо на другую. И выбор надо хорошенько обдумать.

Отведя душу, он идет дальше. Кристина чувствует, как напряженно работает его мозг, ей даже не по себе от его спо-

койных логичных рассуждений, от острого сознания его превосходства и своей покорности.

— Итак, не торопясь, шаг за шагом. Никаких скачков. Никаких надежд и фантазий. Давай рассуждать. Если мы сегодня покончим с собой, то сразу отделаемся от всего. Одно движение — и жизнь позади... вообще говоря, мысль любопытная, я всегда вспоминаю нашего учителя в гимназии, он часто повторял: единственное превосходство человека над животным состоит в том, что он может умереть, когда хочет, а не когда должен. Наверное, это единственная свобода, которой располагаешь всю жизнь, — свобода расстаться с жизнью. Но мы оба еще молоды и, собственно, толком не понимаем, с чем расstaемся. В сущности, мы хотим расстаться лишь с той жизнью, которую не приемлем, отвергаем, но ведь, возможно, есть и такая, что нам понравится. С деньгами жизнь иная, так я по крайней мере думаю, да и ты тоже. Но раз уж мы еще о чем-то думаем — понимаешь, что я имею в виду? — значит, наш отказ от жизни преждевремен, значит, мы покушаемся на то, на что у нас нет права, другими словами, на зародыш непрожитой жизни, на какую-то новую и, вероятно, замечательную возможность. Как знать, может, благодаря деньгам из меня еще что-нибудь получится, может, во мне кое-что заложено, но еще не проявилось и погибает, как вот эта травинка, которую я сорвал, сорвал, не дав ей вырасти. Ведь что-то во мне смогло бы еще развиваться, да и в тебе... Ты, например, могла бы иметь детей, могла... Кто бы знал... Удивительное именно в том, что никто не знает... Понимаешь, я хочу сказать, что... ну, образ жизни, который мы вели, не стоит того, чтобы его продолжать, это жалкое прозябание от воскресенья до воскресенья, от отпуска до отпуска. Но как знать, вдруг нам удастся все изменить, для этого надо только мужество, и мужества побольше, чем для мгновенной смерти. В конце концов, если дело сорвется, револьвер всегда при мне. Так как ты думаешь, раз деньги, что называется, сами плывут в руки, стоит их взять?

— Да, но... куда мы с ними денемся?

— За границу. Я знаю языки, говорю по-французски, даже очень хорошо, свободно говорю по-русски, немного по-английски, остальное приложится.

— Да, но... будут же разыскивать... Тебе не кажется, что они могут найти нас?

— Не знаю, и никто не может знать этого. Возможно, даже вероятно, найдут, а возможно, и нет. Думаю, это в первую очередь зависит от нас самих: сумеем ли выдержать, будем ли действовать с умом, осторожно, все ли верно рассчитаем. Конечно, потребуется неимоверное напряжение. Спокойной жизни, видимо, не ожидается, будет вечное бегство, уход от погони. Тут я тебе ничего не могу сказать, решай сама, хватит ли у тебя мужества.

Кристина задумывается. Так трудно все вдруг обдумать.

— Одна я ни на что не решусь. Я женщина, ради самой себя я не осмелюсь — только ради другого, вместе с этим другим. Для двоих, для тебя я смогу все. Стало быть, если ты хочешь...

Он убыстряет шаг.

— Вот то-то и оно, что я не знаю, хочу ли. Ты говоришь: вдвоем тебе легче. А мне было бы легче сделать это одному. Я бы знал, чем рискую — исковерканной, пропащей жизнью, — и черт с ней. Но я боюсь увлечь с собой тебя, ведь все это задумал я, а не ты. Я не хочу ни подбивать тебя, ни втягивать, и если ты что-то решишь, то должна сделать это по своей воле, а не по моей.

За деревьями мелькают огоньки. Тропинка кончается, скоро станция.

Кристина идет будто оглушенная.

— Но... как ты собираешься все это сделать? — спрашивает она. — Не представляю, куда мы денемся, судя по газетам, всех всегда ловят. Что ты предлагаешь?

— Да я вовсе и не думал еще об этом. Ты меня переоцениваешь. Идея рождается в секунду, но только дураки спешат ее осуществить. Потому их всегда и ловят. Есть два вида правонарушений — или преступлений, как обычно говорят, — одни

совершаются в азарте, со страстью, другие расчетливо, продуманно. Азартные, пожалуй, красивее, но они в основном не удаются. Так поступают мелкие ворюжки, хватают в хозяйственной кассе десятку и бегут на ипподром, надеясь на выигрыш или на то, что шеф не заметит пропажи, — все они верят в чудо. А я в чудеса не верю, я знаю, нас двое, а против нас гигантская организация, которая создавалась веками и вобрала в себя ум и опыт тысяч сыщиков; я знаю, что каждый сыщик в отдельности болван, что я в сто раз умнее и хитрее его, но за ними стоит опыт, система. Если мы — видишь, я еще говорю «мы» — все-таки решимся на это, необходимо полностью исключить любое мальчишество. Поспешишь — людей насмешишь. План операции надо продумать до мелочей, рассчитать любую возможность. Это как в математике, исчисление вероятностей. Так что давай сначала все хорошенько обдумаем, а в воскресенье приезжай в Вену, и тогда уж решим. Не сегодня.

Фердинанд останавливается. Его голос вдруг опять звучит звонко, по-детски чисто, что так нравится Кристине.

— Вот ведь странное дело. Днем, когда ты пошла в контору, я отправился гулять. Глядел на мир и думал: вижу его в последний раз. Светлый, солнечный, полный горячей жизни, прекрасный мир — вот он, и вот я — довольно молодой, еще живой, здоровый. Подвел я итоги и спросил себя: а что ты, собственно, сделал в жизни? Ответ был горьким. Грустно, что сам я, в сущности, ничего не сделал и не придумал. В школе за меня думали учителя, учили тому, что считали нужным. На войне каждый шаг делал по команде, в плену была только безумная мечта: скорей бы на свободу! — и мучительная бездеятельность. А после я все время вкалывал на других, без цели, без смысла, только ради куска хлеба и чтоб заплатить за воздух, которым дышишь. И вот теперь я впервые буду целых три дня, до воскресенья, думать о том, что касается только меня, меня и тебя; признаться, я даже рад. Знаешь, хочется сконструировать все так, как строят мост, где каждый болт, каждая заклепка должны быть на своем месте и ошибка на

миллиметр может нарушить законы статики. Хочется построить все на годы. Понимаю, ответственность большая, но впервые в жизни я отвечаю за себя и за тебя. Справимся мы или нет, будет видно, но уже то, что есть идея и надо ее продумать, предусмотреть все возможные последствия и комбинации, доставляет мне такое удовольствие, о котором я и не мечтал. Хорошо, что я приехал к тебе сегодня.

Станция совсем близко уже, видны отдельные фонари. Они останавливаются.

— Дальше тебе идти не стоит, — говорит он. — Еще полчаса назад было все равно, увидят нас вместе или нет. А теперь никто не должен видеть тебя со мной, этого требует, — он засмеялся, — наш великий план. Никто не должен догадываться, что у тебя есть помощник, знать приметы моей персоны нежелательно. Да, Кристина, теперь нам придется учитывать все, будет нелегко, я тебе сразу сказал... Правда, с другой стороны, я еще... мы еще понятия не имеем, что такое настоящая жизнь. Я никогда не видел моря, за границей был только пленным, не знаю, что значит жить, не думая на каждом шагу: а сколько это стоит? Словом, мы никогда не были свободны. Может быть, совершив это, мы только и узнаем цену тому, что называется жизнью. Жди спокойно, не терзайся, я все разработаю до мельчайших деталей, даже в письменном виде, потом мы вместе изучим пункт за пунктом, взвесим все «за» и «против» и уж тогда примем решение. Согласна?

— Да, — твердо отвечает она.

Дни, оставшиеся до воскресенья, тянулись для Кристины невыносимо. У нее впервые появился страх перед самой собой, перед людьми, перед вещами. Отпирать по утрам шкаф с кассой, прикасаться к деньгам было для нее мукой. Кому они принадлежат — ей? государству? В целости ли они еще? Снова и снова она пересчитывает синие бумажки, но каждый раз сбивается со счета. То рука дрожит, то пропускает какую-нибудь цифру. Она утратила всякую уверенность в себе, а заодно и всякую непринужденность в поведении. Ей кажется, будто

все вокруг догадываются о ее замысле, о сомнениях, подглядывают, выслеживают.

Тщетно рассудок твердит: «Все это бред. Я же ничего не сделала. Мы ничего еще не сделали. Все в порядке, деньги в шкафу, счет сходится грош в грош, никакая ревизия не подкопается». И тем не менее она не выдерживает внимательных взглядов, вздрагивает, когда звонит телефон, ей стоит больших усилий поднести трубку к уху. А когда в пятницу утром в контору неожиданно вошел жандарм, топя сапогами, звякая штыком, у Кристины потемнело в глазах, и она обеими руками вцепилась в стол, словно испугалась, что ее оторвут от него. Но жандарм, пожевывая сигару, хочет всего-навсего отправить денежный перевод, алименты одной девице, у которой от него внебрачный ребенок; он добродушно посмеивается по поводу своего долгосрочного обязательства за столь кратковременное удовольствие. Но Кристине не до смеха, цифры пляшут на бланке, который она заполняет. Лишь после того, как за ним с треском захлопывается дверь, она переводит дух и, выдвинув ящик стола, убеждается, что деньги на месте, все тридцать две тысячи семьсот двенадцать шиллингов и сорок грошей, точно по кассовой книге. Ночью к ней подолгу не идет сон, а когда она засыпает, ей мерещатся кошмары, ибо намерение всегда кажется страшнее поступка, еще не свершившееся волнует сильнее, чем уже свершенное.

В воскресенье утром Фердинанд встречает ее на вокзале. Он пытливо всматривается в ее лицо.

— Бедняжка! Ты плохо выглядишь, совсем замученная. Небось страху натерпелась? Да, зря я тебя напугал заранее. Ничего, скоро все пройдет, сегодня мы решим — да или нет!

Она искоса взглянула на него: ясные глаза, необычно бодрый вид — и у нее полегчало на душе. Он заметил ее взгляд.

— Да, настроение у меня хорошее. Давно себя не чувствовал так прекрасно, как эти три дня. В сущности, я только сейчас понял, до чего же здорово, когда можешь придумывать и делать что-то свое, по своему разумению, для себя. Не кусочек целого, которое ничуть тебя не трогает, а все здание, от

фундамента до крыши, сам и для себя. Хотя бы и воздушный замок, который через час рухнет. Может, ты его сдунешь одним словом, а может, мы его вместе развалим. Но в любом случае работа была по мне. Было чертовски увлекательно разрабатывать план этакой кампании против полиции, государства, прессы, против сильных мира сего; поломал я себе голову, и сейчас мне охота объявить настоящую войну. В худшем случае нас победят, а мы ведь и так уже давно побежденные. Пойдем, сейчас все увидишь!

Они выходят с вокзала. Туман окутал дома серым холодом, с тусклыми лицами стоят в ожидании носильщики. Все дышит сыростью, с каждым словом изо рта вылетает струйка пара. Мир без тепла. Он берет ее под руку, чтобы перевести через улицу, и чувствует, как она вздрогнула от его прикосновения.

— Что с тобой?

— Ничего, — говорит она. — Просто мне было очень страшно в эти дни. Решила, что все наблюдают за мной, что каждый догадывается, о чем я думаю. Понимаю, это глупые страхи, но мне казалось, что все написано у меня на лице, что вся деревня уже знает. На станции встретила помощника лесничего, он спросил: «Чего это вы собрались в Вену?» — и я так смутилась, что он захохотал. А я обрадовалась: пусть лучше об этом думает, чем о другом... Скажи, Фердинанд, — она внезапно прижалась к нему, — неужели так будет всегда потом... после того, как мы это сделаем? Я уже чувствую, что не выдержу. У меня не хватает сил все время жить в страхе, бояться каждого, не спать, ожидая стука в дверь... Скажи, так не будет продолжаться вечно?

— Нет, — отвечает он, — думаю, что нет. Это страхи временные, пока ты живешь здесь, прежней жизнью. Как только ты окажешься в другом мире, в другой одежде, под другой фамилией, то сразу забудешь, какой была... Сама же рассказывала, как однажды стала совсем другой. Опасность только вот в чем: если ты сделаешь то, что мы задумали, с нечистой совестью. Если ты чувствуешь, что поступаешь несправедливо, обкрадывая самого главного грабителя, то есть



государство, тогда, конечно, дело плохо, тогда я воздержусь. Что до меня, то я считаю себя абсолютно правым. Я знаю, что со мной обошлись несправедливо, и рискую головой за мое собственное дело, а не за дохлую идею вроде реставрации Габсбургов, или за Соединенные штаты Европы, или еще за какое-нибудь политическое устройство, на которое мне начхать... Однако у нас ничего пока не решено, мы пока только играем с идеей, а в игре унывать нельзя. Выше голову, я же знаю, ты умеешь быть храброй.

Кристина глубоко вздыхает.

— Ты прав, кое-что, пожалуй, смогу выдержать, я ведь понимаю, что терять нам нечего. В жизни мне пришлось немало вынести, но вот что трудно, так это неизвестность. А после того как все будет сделано, можешь на меня наверняка рассчитывать. Куда мы идем? — спросила она.

— Странная штука, — улыбнулся он. — Составить план было совсем нетрудно, и я с удовольствием прикидывал разные варианты, как и куда мы скроемся, кажется, учел все детали. Рассчитал чуть ли не каждый шаг в нашей жизни, когда у нас будут деньги, и это тоже было просто, но вот одного я не сумел: найти комнату, где бы мы могли сейчас спокойно все обсудить. Я лишний раз убедился, что гораздо легче прожить десять лет с деньгами, чем один-единственный день без них, да, да, Кристина, — он почти с гордостью улыбнулся ей, — найти четыре стены, в которых нас никто бы не слышал и не видел, оказалось сложнее всей нашей авантюры. Ехать за город — холодно, в гостинице могут подслушать, да и тебе там будет опять беспокойно; в ресторане если пусто, то все время на виду у официантов, в парке сейчас тоже не посидишь, вот видишь, Кристина, как трудно, не имея денег, уединиться в городе с миллионным населением. Чего я только не придумывал, была даже абсурдная идея подняться на колокольню собора Святого Стефана, в такую погоду там ни души... В конце концов я подъехал к знакомому сторожу, который присматривает за нашей обанкротившейся стройкой. Дежурит он в дощатой будке с чугунной печкой, есть стол и, кажется, один

стул. Сочинил историю, будто мне надо повидать одну знатную польскую даму, с которой я познакомился на войне, сейчас она с мужем живет в отеле «Захер», ее здесь многие знают, и потому ей неловко показываться со мной на улице. Представляешь, как был изумлен этот дурень! И он, разумеется, счел за честь оказать мне услугу. Мы с ним давно знакомы, раза два я выручал его. Он сказал, что оставит мне на всякий случай свое удостоверение, положит в условленное место ключ и с утра затопит печку. Комфорта там нет, но ради лучшей жизни стоит часа на два забраться в эту конуру. Мы будем одни, никто нас не увидит и не услышит.

Строительная площадка на окраине Флоридсдорфа была безлюдна, заброшенное кирпичное здание тупо глазело сотнями пустых оконных проемов. Бочки с гудроном, тачки, груды кирпича и кучи цемента в диком беспорядке лежали на мокрой земле; казалось, какое-то стихийное бедствие прервало рабочую суету и здесь воцарилась неестественная для стройки тишина.

Ключ был на месте, туман надежно скрывал их от посторонних взглядов. Фердинанд отпер будку — печка в самом деле горит, тепло, приятно пахнет свежим деревом. Он закрыл за собой дверь и подбросил в печку поленьев.

— Если кто войдет, я успею кинуть бумаги в огонь. Не бойся, ничего не случится, да и некому сюда заходить, никто нас не услышит.

Кристина растерянно оглядывается, все здесь кажется ей неправдоподобным, единственно реальное — Фердинанд. Он вынимает из кармана несколько сложенных листов бумаги и разворачивает их.

— Сядь, пожалуйста, Кристина, и слушай хорошенько. Это план всей операции, я тщательно разработал его, раз пять переписал, думаю, теперь он вполне ясен. Прошу тебя, прочитай самым внимательным образом, пункт за пунктом, если возникнут сомнения или вопросы, запиши на полях, потом обсудим. Дело очень серьезное, импровизация исключена. Но

сначала поговорим о том, что в плане не записано. О тебе и обо мне. Мы совершаем это дело вместе и, следовательно, будем виновны одинаково, хотя боюсь, что по закону прямой виновницей считаешься ты. Ты ответственна как должностное лицо, разыскивать и преследовать будут тебя; тебя будут считать преступницей твоя родня и все прочие, и пока нас не схватят, обо мне, как зачинщике и сообщнике, никто знать не будет. Так что твоя ставка больше моей. У тебя есть должность, которая обеспечивает тебе средства к жизни и пенсию, у меня нет ничего. Стало быть, я рискую гораздо меньше перед законом и... как бы это выразиться... и перед Богом. Наши доли участия неравны. Ты подвергаешься большей опасности, и мой долг предупредить тебя об этом. — Он замечает, что она опустила глаза. — Я обязан сказать это со всей суровостью, не буду утаивать от тебя опасностей и впредь. Во-первых, то, что ты сделаешь, непоправимо. Пути назад нет. Даже если мы с этими деньгами наживем миллионы и в пятикратном размере возместим ущерб, тебе не вернуться обратно и никто тебя не простит. Мы навсегда изгнаны из рядов благонадежных граждан, нам всю жизнь будет грозить опасность. Это ты должна помнить. И как бы мы ни были осторожны, случай, непредвиденный, непредсказуемый случай, всегда может вырвать нас из пленительной беспечности, бросить в тюрьму и заклеить, что называется, позором. Гарантии при таком риске не существует, мы не застрахованы ни здесь, ни там, за границей, ни сегодня, ни завтра, никогда. Ты должна смотреть этому в лицо, как дуэлянт смотрит на пистолет противника. Он может промазать, может попасть, но ты под прицелом.

Умолкнув, он пытается поймать ее взгляд. Глаза Кристины опущены, но Фердинанд замечает, что ее рука, лежащая на столе, не дрожит.

— Итак, повторяю: я не хочу зря тебя обнадеживать. Не могу дать никаких гарантий ни тебе, ни себе. Если мы вместе пойдем на риск, это не значит, что мы будем связаны пожизненно. Мы идем на это дело ради свободной жизни и, кто знает, может, однажды захотим освободиться друг от друга. Возмож-

но, даже вскоре. Ручаться за себя не могу, я себя не знаю, и тем более не знаю, каким стану, когда вдохну свободу. Что-то во мне сидит и не дает покоя, утомлюсь я или, может, еще больше взбунтуюсь, не берусь предсказывать. Мы пока не так уж хорошо знаем друг друга, и было бы самообманом утверждать, что мы можем и хотим вечно жить бок о бок. Могу тебе лишь обещать, что буду хорошим товарищем, то есть никогда тебя не предаю и никогда не попытаюсь принуждать к тому, чего ты сама не захочешь. Пожелаешь уйти от меня — удерживать не буду. Но и я не обещаю, что останусь с тобой. Ничего не могу обещать: ни того, что нас ждет удача, ни того, что ты будешь потом счастливой и беззаботной, ни того, что мы не расстанемся, ничего. Как видишь, я тебя не уговариваю, наоборот, предостерегаю, ибо твое положение невыгоднее, ты главная преступница, а кроме того, женщина. Ты рискуешь многим, страшно многим, и мне не хочется тебя подстрекать... Прочти, пожалуйста, план, обдумай и решай, но помни: решение должно быть окончательным и бесповоротным. — Он кладет перед ней листки. — Когда будешь читать, отнесись ко всему с крайним недоверием, с чрезвычайной настороженностью, как если бы кто-то предлагал тебе скверное дело и опасный контракт. Я выйду, погляжу на стройку, чтобы своим присутствием не оказывать на тебя давления.

Он поднимается и, не оглянувшись на нее, выходит. Перед Кристиной лежат листки канцелярского формата, исписанные аккуратным почерком и сложенные вдвое. Выждав, когда успокоится заколотившееся вдруг сердце, она приступает к чтению.

Рукопись напоминает деловую бумагу прошлого века. Названия глав подчеркнуты красным карандашом.

**I. Проведение операции.**

**II. Заметание следов.**

**III. Поведение за границей и дальнейшие планы.**

**IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.**

**V. Заключение.**

Каждая глава разделена на пункты — а, б, в и т. д.

## **I. Проведение операции:**

а) срок исполнения. Проводить операцию следует только накануне воскресенья или какого-нибудь праздника. Это задержит обнаружение недостачи минимум на сутки и даст необходимый выигрыш во времени для бегства. Поскольку контора закрывается в шесть часов, есть возможность еще успеть на ночной экспресс, следующий во Францию или в Швейцарию. Самый удобный месяц — ноябрь. Во-первых, рано темнеет, во-вторых, в ноябре наименьший поток пассажиров на железных дорогах и можно наверняка ожидать, что всю ночь, проезжая по территории Австрии, мы будем в купе одни; таким образом, маловероятно, что окажутся свидетели, которые сообщат о встрече с нами, узнав из газетных сообщений о наших приметах. Особенно благоприятный срок — десятое ноября, канун национального праздника (почта не работает), так как в этом случае мы прибываем за границу в будний день, что позволит нам, не привлекая особого внимания, сразу же приобрести необходимые вещи для маскировки. Надо постараться (под благовидным предлогом) затянуть сдачу поступившей наличности в банк, чтобы к этой дате набралась как можно большая сумма;

б) отъезд. Выезжаем, разумеется, врозь. Билеты берем поэтапно на короткие перегоны: до Линца, от Линца до Инсбрука или до границы и от границы до Цюриха. Желательно, чтобы ты приобрела билет до Линца за несколько дней, или лучше его куплю я, чтобы кассир на твоей станции, который тебя, несомненно, знает, не смог сообщить об истинном маршруте. Другие меры по запутыванию и заметанию следов см. в главе II. Я сажусь в поезд в Вене, ты — в Санкт-Пёльтене, во время пути по Австрии друг с другом не разговариваем. Это важно вот почему: никто не должен знать или догадываться, что у тебя есть сообщник; ведь розыск будет направлен только по следам женщины с твоей фамилией и твоими приметами, а не по следам супружеской пары, в качестве которой мы появимся за границей. Ни проводники, ни другие железнодорожные

служащие в Австрии не должны и заподозрить, что мы едем вместе. Наш общий паспорт мы предъявим только пограничному контролю;

в) документы. Вернее всего было бы, конечно, запастись фальшивыми паспортами вдобавок к настоящим. Но у нас нет времени. Это мы попытаемся сделать потом, за границей. Разумеется, фамилия Хофленер ни при каком контроле фигурировать не должна; я же, как лицо с незапятнанной репутацией, могу повсюду указывать свою настоящую фамилию. В моем паспорте я сделаю небольшие исправления, чтобы можно было вписать твое имя и вклеить фотокарточку. Резиновую печать изготовлю сам. Кроме того, могу изменить первую букву своей фамилии Барнер на В (уже пробовал начерно), так что получится «Варнер». Этим паспортом мы будем пользоваться как муж и жена до тех пор, пока где-нибудь в портовом городе не достанем фальшивые документы. Через два-три года, если еще хватит денег, сделать это будет нетрудно;

г) деньги. В оставшиеся дни надо по возможности собрать наиболее крупные банкноты (по тысяче, по десять тысяч). В поезде распределишь их в разные места: в чемодан, в сумку и часть зашьешь в шляпу. Это вполне достаточно, учитывая, что таможенный досмотр на границе сейчас проводится поверхностно. Несколько купюр я обменяю на вокзалах в Цюрихе и Базеле, чтобы во Францию мы приехали уже с иностранной валютой и не обратили на себя внимания обменом крупной суммы в австрийских шиллингах;

д) куда бежать сначала. Я предлагаю Париж. Его преимущества: во-первых, доберемся мы туда легко, без пересадки, за шестнадцать часов до обнаружения недостачи и, пожалуй, за сутки до публикации о розыске, так что будет время приобрести все необходимое снаряжение для полной маскировки (она касается только тебя). Я свободно говорю по-французски, поэтому нам незачем останавливаться в специальных отелях для иностранцев, поселимся скромно в какой-нибудь пригородной гостинице. Во-вторых, в Париже огромное количество приезжих, и уследить за каждым практически невоз-

можно; регистрация и прописка, как мне рассказывали друзья, ведутся небрежно, не то что в Германии, где домохозяйева, как и вся нация, любопытны от природы и склонны к пунктуальности. Кроме того, немецкие газеты, вероятно, сообщат о краже на австрийской почте подробнее, чем французские. А пока они об этом напечатают, мы успеем уехать из Парижа (см. главу III).

## II. Заметание следов.

Самое главное — затруднить полиции розыск, направив ее по ложному следу; каждый неправильный след затормозит поиск, и тогда через несколько дней о приметах забудут и в Австрии, и особенно за границей. Значит, с самого начала важно представить себе возможные действия властей и предпринять контрмеры.

Полиция, как обычно, поведет расследование в трех направлениях: а) тщательный обыск в конторе и дома, б) опрос всех знакомых, в) поиски других лиц, причастных к краже. Таким образом, недостаточно только уничтожить все бумаги дома, надо еще принять меры, чтобы запутать поиски, увести их на ложный путь. Сюда относятся:

а) паспортные визы. При любом деликте\* полиция немедленно запрашивает все консульства, не была ли в последние дни выдана виза соответствующему лицу (в данном случае — Хофленер). Так как я испрашиваю французскую визу не для паспорта «Х», а для себя (см. главу V) и пока что нахожусь вне подозрений, то можно обойтись без всякой визы для паспорта «Х». Но поскольку мы хотим направить поиск следов на восток, то для твоего паспорта понадобится румынская виза. Тем самым розыск будет в первую очередь сосредоточен в направлении Румынии и вообще Балкан;

б) для подкрепления этой версии было бы неплохо накануне национального праздника отправить телеграмму некоему Бранко Ризику, Бухарест, вокзал — до востребования: «Приеду завтра после полудня со всем багажом, встречай». По-

---

\* Деликт — правонарушение, преступление. — *Примеч. ред.*

лиция наверняка станет проверять все отправленные в последние дни с твоей почты телеграммы, все телефонные вызовы и сразу же наткнется на эту крайне подозрительную депешу, из которой ясно, кто твой соучастник и куда ты сбежала;

в) чтобы еще усилить это важное для нас заблуждение, я напишу тебе измененным почерком длинное письмо, которое ты порвешь на мелкие клочки и выбросишь в корзину. Полицейский, несомненно, покопается в ней и склеит клочки. Тем самым подтвердится ложный след;

г) накануне отъезда невзначай поинтересуйся в станционной кассе, можно ли купить прямой билет до Бухареста и сколько он стоит. Вне всякого сомнения, кассир заявит об этом как свидетель, что нам опять-таки на руку;

д) чтобы полностью исключить как сообщника мою персону, чьей супругой ты будешь официально в наших странствиях, необходима еще одна мелочь: насколько мне известно, никто не видел нас вместе и никто, кроме твоего зятя, вообще не знает, что мы знакомы. Чтобы сбить его с толку, я сегодня же зайду к нему и попрошаюсь. Скажу, что наконец-то нашел подходящее место в Германии и уезжаю туда. С квартирной хозяйкой я полностью расплачусь и покажу ей какую-нибудь телеграмму.

Учитывая, что я исчез за неделю до операции, всякое наше сообщничество в этом деле исключается.

### III. Поведение за границей и дальнейшие планы:

а) внешний вид. В одежде, манерах и поведении мы не должны отличаться от людей из средних слоев общества, так как они практически не привлекают к себе внимания. Выглядеть не слишком элегантно и не слишком бедно. Я буду выдавать себя за представителя социальной прослойки, которую менее всего можно заподозрить в денежных аферах: буду играть роль художника. Куплю в Париже этюдник, складной стул, холст, палитру, так что, где бы мы ни появились, моя профессия ни у кого не вызовет сомнений. А во Франции, в ее романтических уголках, круглый год бродят тысячи художников. Никого это не удивляет, и с самого начала они вызывают



к себе известную симпатию как люди своеобразные и безвредные;

б) соответственной должна быть и наша одежда. Бархатная или холщовая куртка, легкий намек на профессию художника, в остальном же полная неприметность. Ты, как помощница, будешь носить фотоаппарат и кассеты. Таких людей не спрашивают, откуда они, чем занимаются, никого не удивляет, что они залезают в самые отдаленные уголки и что среди них попадаются иностранцы;

в) наше общение с тобой. Разговаривать друг с другом, только когда поблизости никого нет, — это чрезвычайно важно. Во всяком случае, никто не должен слышать, что мы разговариваем по-немецки. Можно общаться на людях старым школьным кодом, например: бе-КРИС-бе-ТИ-бе-НА или ка-ФЕР-ка-ДИ-ка-НАНД и тому подобное, окружающие не поймут ни слова и сочтут его загадочным иностранным языком. В гостиницах желательно снимать угловые номера или такие, где соседям ничего не слышно;

г) частая смена местожительства. Местопребывание желательно менять чаще, так как по истечении определенного срока власти могут потребовать от нас уплаты налогов или предъявить какие-либо еще формальные требования; пусть это и не связано с нашим делом, но тем не менее может вызвать осложнения. Неделя-две, и в маленьких городках до месяца — за такой срок никто не успеет познакомиться с нами поближе, в том числе гостиничный персонал;

д) деньги. Деньги носить при себе до тех пор, пока не арендуем в каком-нибудь банке сейф для хранения (в первое время это опасно). Разумеется, держать их все не в бумажнике, не в сумке, а зашить в одежду, в шляпы, в обувь, чтобы при непредвиденном обыске или несчастном случае не обнаружилась подозрительно крупная сумма в австрийской валюте. Обменивать деньги надо постепенно и осмотрительно, причем только в центрах — Париже, Монте-Карло, Ницце, но никак не в маленьких городах;

е) по возможности избегать знакомств, хотя бы на первых

порах, пока не обзаведемся новыми документами (это нетрудно сделать в портовых городах) и не уедем из Франции в Германию или любую другую страну;

ж) намечать цели и строить сейчас планы на будущее мне кажется излишним. По предварительным подсчетам, взятой суммы при скромном образе жизни хватит лет на пять, за это время решится дальнейшее. Поначалу необходимы чрезвычайная осторожность, постоянный строжайший самоконтроль, максимальная незаметность; через полгода всякие объявления о розыске забудутся, и мы обречем неограниченную свободу передвижения. Тогда и начнем совершенствоваться в языках, систематически тренироваться в изменении почерка и преодолевать в себе неуверенность и ощущение чужеродности. При случае стоит научиться какому-нибудь делу, что позволит переменить образ жизни и заняться другой деятельностью.

#### IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.

В таком рискованном деле необходимо с самого начала учитывать вероятность неудачи. В какой момент и с какой стороны придет опасность, заранее рассчитать нельзя, решение надо будет каждый раз принимать в зависимости от ситуации. Вот основные принципы, которых следует придерживаться:

а) если из-за какой-нибудь случайности или ошибки мы потеряем друг друга в пути, разлучимся на новом месте, то каждый из нас немедленно возвращается туда, где мы ночевали в последний раз: там либо ждем на вокзале, либо извещаем друг друга о встрече открыткой на главный почтамт этого города;

б) учитывая возможность провала, преследования и ареста, мы должны быть всегда готовы осуществить наше прежнее решение. С револьвером я не расстанусь (днем в кармане, ночью у изголовья). Тебе я достану яд, цианистый калий, который будешь носить в пудренице. Это постоянное чувство готовности придаст нам силы. Я, во всяком случае, не пойду за решетку.

Если же одного из нас арестуют в отсутствие другого, то

другой должен немедленно бежать. Было бы грубейшей ошибкой, поддавшись ложной сентиментальности, явиться с повинной, чтобы разделить судьбу товарища, потому что на каждом в отдельности лежит меньшая вина и ему будет легче отговориться на предварительном следствии. К тому же у оставшегося на свободе есть возможность оказать помощь: заметить следы, передать весточку, в крайнем случае помочь при побеге. Было бы безумием добровольно отказываться от свободы, ради которой все это и делалось. Для самоубийства время всегда найдется.

#### V. Заключение.

Мы идем на это, рискуя головой, чтобы свободно жить, хотя бы некоторое время. В понятие «свободы» входит также свобода человеческих отношений. Если по каким-либо внутренним или внешним причинам одному из нас совместная жизнь станет в тягость, он, естественно, вправе уйти. Каждый из нас идет на этот риск добровольно, без принуждения со стороны другого, каждый в ответе только перед самим собой и потому не может в чем-либо и когда-либо упрекать другого. Как мы с первой минуты делим деньги, чтобы каждому быть свободным, точно так же мы делим ответственность и опасность — каждый за себя.

Вся наша жизнь будет строиться на сознании, что мы не совершили ничего несправедливого по отношению к государству и друг к другу — мы лишь сделали то, что в нашем положении было единственно правильным и естественным. Отважиться на подобный риск против своей совести было бы безрассудством. Только если каждый из нас по зрелому размышлению, самостоятельно придет к убеждению, что путь этот единственный и правильный, только тогда мы вправе и должны вступить на него.

Отложив последний листок, Кристина поднимает глаза. Фердинанд уже вернулся и закурил сигарету.

— Прочти еще раз, — предлагает он и после того, как она прочитала вторично, спрашивает: — Все ясно и понятно?

— Да.

— Может, чего не хватает?

— Нет, мне кажется, ты обо всем подумал.

— Обо всем? Нет, — он улыбнулся, — кое-что забыл.

— Что?

— Гм, если б я знал. В любом плане всегда чего-то не хватает. В каждом преступлении какой-нибудь шов да лопнет, только заранее не знаешь какой. Каждый преступник, каким бы хитроумным он ни был, почти всегда допускает маленькую ошибку. Скажем, все документы уничтожит, а паспорт оставит; предусмотрит все препятствия, а самое очевидное, само собой разумеющееся не заметит. Каждый всегда что-нибудь забывает. Вероятно, я тоже забыл подумать о самом важном.

В ее голосе звучит изумление:

— Так ты думаешь, что... что это не удастся?

— Не знаю. Знаю только, что будет очень трудно. То, другое было бы легче. Почти неизбежно тебя ждет неудача, когда восстанешь против своей судьбы, своего собственного закона — я имею в виду не юридические параграфы, не конституцию и не полицейских. С этими можно справиться. Но в каждом из нас заложен свой внутренний закон: один идет в гору, другой — вниз, кому суждено преуспеть, тот преуспевает, кому упасть, тот падает. Мне до сих пор ничего не удавалось, тебе тоже. Возможно, даже вероятно, что нам суждено погибнуть.

Признаться честно, я не верю, что когда-нибудь стану вполне счастливым, может быть, я для этого и не гожусь. Я не мечтаю о далеких днях, когда, убеленный сединой, в уютной вилле буду дожидаться праведного конца, нет, я заглядываю вперед лишь на месяц, на год-два, которые мы решили взять в долг у револьвера.

Она устремляет на него спокойный взгляд.

— Благодарю тебя, Фердинанд, за откровенность. Если бы ты говорил с увлечением, я бы не поверила тебе. Я тоже не думаю, что нам повезет надолго. Меня всегда сшибали по пути. Быть может, то, что мы намерены сделать, напрасно и

не имеет смысла. Но не сделать этого и жить по-прежнему было бы еще бессмысленнее. Ничего лучшего я не вижу. Итак, можешь на меня рассчитывать.

Он смотрит на нее светло, но без радости.

— Бесповоротно?

— Да.

— Значит, десятого, в среду, в шесть часов?

Выдержав его взгляд, она протягивает ему руку.

— Да.





## ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СТЕФАНА ЦВЕЙГА

Любовь автора к своим читателям всегда взаимна. В наше время появилось немало писателей, для которых всего важнее самовыражение. Им безразлично, поймет ли их читатель, не заблудится ли он в стилистических дебрях, откроет ли в себе и для себя нечто существенное, что укрепит его волю к жизни.

Стефан Цвейг, как и другие его великие современники, старомодно доброжелателен и учтив по отношению к своему читателю. Он стремился привить своими книгами гуманность в социальных поступках и терпимость в повседневном поведении. Ему хотелось, чтобы его читатель был честным с самим собой и искренним в общении с близкими. Будучи образованнейшим автором, Стефан Цвейг мечтал сделать читателей людьми просвещенными, помогал им постичь во всех подробностях давнюю историю, чтобы здраво судить злободневную современность. Сам он старательно сторонился политики, но она не пощадила его в юности, когда разразилась первая мировая война, и настигла оголтелым фашизмом в конце жизни, когда ему казалось, что все духовные ценности уничтожены безвозвратно.

Творческое наследие Стефана Цвейга принадлежит мировой культуре. Он знал несколько языков, он исколесил чуть ли не весь мир, путешествуя по европейским столицам, посещая Индию и Северную Америку, США, Латинскую Америку и Канаду. Там зачастую разворачиваются события, представленные в его новеллах и очерках. Но истоки творчества Стефана Цвейга следует искать прежде всего в австрийской тра-

диции. Однако существует ли австрийская литература? Этот парадоксальный вопрос время от времени возникает в дискуссиях о специфике языка и культуры Австрии. Казалось бы, ответ должен быть безусловно утвердительным. Но теоретики пангерманизма пытаются доказать, что поскольку австрийская литература создавалась на немецком языке и заметно тяготела к немецким традициям, ее следует рассматривать как одну из составных частей общегерманской культуры. Но логично возразить, что существуют же отдельные самостоятельные литературы, созданные на одном языке, как, например, английская и американская.

Противники австрийского суверенитета в мировой культуре выдвигают аргумент и чисто исторического свойства. Как известно, австрийская государственность прошла сложный путь развития. Австро-Венгерская империя в течение долгого периода представляла собой пестрый конгломерат народностей. Габсбургская монархия угнетала венгров, чехов, итальянцев. Одним из результатов первой мировой войны явилось падение Австро-Венгерской империи и освобождение от австрийского гнета. В период наступления фашизма из-за предательской политики своего правительства австрийцы попали в зависимость от гитлеровского рейха и оказались втянуты в развязанную нацистской Германией агрессию.

Было бы совершенно ошибочно, как это делают ниспровергатели австрийской культуры, отождествлять нацию с государственной верхушкой. Напротив, в условиях социальных антагонизмов и национального угнетения прогрессивные художники Австрии остались хранителями исконных традиций своего народа, их творчество формировало духовную культуру нации. Такие крупнейшие писатели, как Ф. Кафка, Р.М. Рильке, Р. Музиль, П. Целан, И. Бахман завоевали мировую известность именно как представители своей отечественной литературы.

Самым популярным австрийским писателем в период между двумя мировыми войнами оставался Стефан Цвейг. Его известность не оскудела и сегодня, достаточно сказать, что только в нашей стране трижды выходило в различных издатель-

ствах многотомное Собрание сочинений Стефана Цвейга. Последнее — четвертое, — завершаемое этим послесловием, — самое полное. Оно вместило все, что было опубликовано в собрании сочинений тридцатых годов, выходявшем при активном участии А. М. Горького и А. В. Луначарского, и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций, включая статьи, очерки, книгу воспоминаний «Вчерашний мир» и оставшийся незавершенным роман «Кристина Хофленер».

Впрочем, наследие Стефана Цвейга до сего времени полностью не собрано, не изучено и соответственно еще не опубликовано на языке оригинала. Так что в дальнейшем нас, возможно, еще ждет продолжение знакомства с этим удивительно разносторонним и плодовитым писателем.

В мемуарной книге «Вчерашний мир» Стефан Цвейг подчеркнуто скупно рассказывает о своем детстве и отрочестве. У него нет столь свойственной автобиографии сентиментальности. Когда заходит речь о родительском доме, гимназии, а затем университете, писатель сознательно не дает волю чувствам, подчеркивая, что в начале его жизни все было точно так же, как и у других европейских интеллигентов рубежа веков, выросших в благополучных состоятельных семьях. Вглядываясь в ушедший вчерашний мир, он осуждает себя и своих единомышленников за то, что малая родина и большой мир казались им прочными, устойчивыми, надежно застрахованными от каких-либо катаклизмов. Это было заблуждением.

Писатель родился в 1881 году в семье богатого европейского негодцианта, владевшего текстильной мануфактурой. Мало сказать, что в доме царил достаток. Состоятельные предприниматели в третьем поколении, его родители сумели создать в доме атмосферу утонченной духовной культуры, столь свойственной высшему венскому обществу конца века. Частые посещения театра, домашнее музицирование, произведения искусства в интерьере фешенебельной квартиры — вот та обстановка, в которой воспитывался будущий писатель. Неудивительно, что самыми большими неприятностями подрост-



ку казались придирки какого-нибудь чересчур свирепого гимназического наставника.

Но вот в последний год столетия захлопнулись двери гимназии, и Стефан Цвейг, теперь студент Венского университета, усердно постигающий философию, шагнул навстречу желанной свободе. Но что такое свобода для молодого человека прекрасной эпохи, — так чуть ли не официально именовали начало нового века? Для Стефана Цвейга это была возможность посещать музеи, театры и библиотеки в Венеции и Милане, Париже и Лондоне. Эрудиция Стефана Цвейга и сегодня покоряет и восхищает. Впечатление такое, что он видел любой архитектурный памятник, держал в руках множество манускриптов, досконально изучил все архивные документы, проливающие свет на судьбы его исторических персонажей.

Так оно и было на самом деле. Путешествуя, он с редкостным рвением и настойчивостью удовлетворял свою любознательность. Свобода, рожденная ощущением собственной одаренности, которая рано или поздно будет признана самыми уважаемыми коллегами в искусстве, побуждает его к сочинительству стихов, а солидное состояние родителей позволяет без затруднений издать первую книгу. Так появились на свет «Серебряные струны» (1901), изданные на собственные средства автора.

Стефан Цвейг рискнул послать первый сборник стихов своему кумиру — великому австрийскому поэту Райнеру Марии Рильке. Тот любезно прислал в ответ свою книгу. Так завязалась дружба, продолжавшаяся до самой кончины Рильке.

Секрет необычайной осведомленности Стефана Цвейга во всех течениях и направлениях художественной жизни Европы первых десятилетий нашего века в том, что он не просто читал творения маститых авторов, но знал всех лично, со многими был дружен.

Посмотрите, как внушителен список друзей Стефана Цвейга, если выбирать только тех, кого он упомянул в воспоминаниях и очерках: Э. Верхарн, Р. Роллан, Ф. Мазерель, О. Роден, Т. Манн, З. Фрейд, Д. Джойс, Г. Гессе, Г. Уэллс, П. Валери. Вся культура единого европейского дома, переживав-

шего встряски и разрушения, заключена в этих знаменитых именах. Стефану Цвейгу в высшей степени была свойственна художественная самоотверженность. Он забывал о собственных замыслах и незавершенных произведениях, когда испытывал потрясение от новых книг, созданных его друзьями в разных странах.

В юности он пережил страстное увлечение поэзией Эмиля Верхарна. Открыв для себя талантливое поэта, Цвейг стал страстным пропагандистом его творчества, перевел ряд стихотворений на немецкий язык, посвятил ему большую монографию, которую высоко оценили все истинные любители поэзии. В частности, Валерий Брюсов так отозвался об этой книге начинающего литератора: «Цвейг старается охватить образ Верхарна полностью, представить его и как поэта, и как человека, выясняя в то же время связь его творчества с переживаемой нами эпохой». Верхарн был обязан Цвейгу своей прижизненной известностью в странах немецкого языка, а после смерти поэта Цвейг написал о нем восторженные воспоминания.

Когда Стефан Цвейг прочитал эпопею Ромена Роллана «Жан-Кристоф», у него возникло непреодолимое желание узнать автора лично. В годы первой мировой войны Стефан Цвейг опубликовал проникновенный очерк о Р. Роллане, назвав писателя «совестью Европы». Он воздал должное мужеству французского писателя, который накануне кровавой распри изобразил в качестве подлинных героев эпохи гениального немецкого композитора Жана-Кристофа и его друга — талантливого французского поэта Оливье Жанена.

Прекрасные эссе Стефан Цвейг посвятил Францу Мазерлю, Томасу Манну, Марселю Прусту и Йозефу Роту. Но, пожалуй, ни о ком из своих современников Цвейг не писал с таким восхищением и уважением, как о Горьком.

Австрийский писатель прекрасно знал многие произведения Горького, сумел оценить их новаторство, гордился своей дружбой с великим русским писателем. Удивительно пронзительно оценил Стефан Цвейг то новое, что внес в литературу по сравнению со своими великими предшественниками

автор романа «Мать»: «Революция не была для него, как Достоевского и Тургенева, делом кучки чрезмерно горячих, анархически настроенных интеллигентов или осуществлением точно продуманных теорий, и только у него будущий историк найдет документальные свидетельства о том, что возмущение и восстание в России было органическим созданием народа. Он показал, как в массе, у миллионов отдельных единиц, напряжение возросло до невыносимого. В романе «Мать» мы видим, как именно среди неученых и необразованных, в бесчисленных, безымянных подвигах наполняется и напрягается воля и как она мощно разряжается, наконец, в могучей грозе. Не отдельный человек, но всегда множество, всегда масса является в его вещах носителем силы». Сегодня стало принято походя перечеркивать все горьковское творчество, отмечать «Мать» как очень ненужную и несовременную книгу. Но, может быть, полезно прислушаться к этим словам, сказанным человеком с безупречным вкусом и художественным чутьем, чтобы оценить вклад А. М. Горького в мировую литературу более объективно.

В дни горьковского юбилея Стефан Цвейг говорил о нем как об истинно народном писателе земли русской: «Неудержимое восхождение Горького из народных глубин стало символом для миллионов, а его творчество свидетельствовало о воле целого народа подняться и осознать себя».

Стефан Цвейг полюбил русскую литературу еще в гимназические годы, а затем он внимательно читал русских классиков в период учебы в Венском и Берлинском университетах. Его поразил Ф. М. Достоевский, у которого он многому научился, его восхищал А. П. Чехов, а затем навсегда его кумиром сделался Л. Н. Толстой. Когда в конце двадцатых годов в нашей стране стало выходить Собрание сочинений Цвейга, он, по его собственному признанию, был счастлив. «Меня глубоко обрадовало, — писал он, обращаясь к русскому читателю, — что мои книги, опередив меня, вступили в ту страну, которую увидеть и духовно сродниться с которой я стремлюсь уже много лет».

Предисловие к этому многотомному изданию произведений Цвейга, едва ли не самому полному в то время, написал А. М. Горький. «Стефан Цвейг, — подчеркнул Горький, — редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника». Горький особенно высоко оценил новеллистическое мастерство Цвейга, его удивительное умение откровенно и вместе с тем максимально тактично рассказать о самых интимных переживаниях человека: «Мне кажется, что, до него, никто еще не писал о любви так проникновенно, с таким изумительным милосердием к человеку. И, повторю, с таким глубоким уважением к женщине, в чем она давно нуждается и чего всемерно заслужила, как товарищ и как неутомимый возбудитель творческой энергии мужчины».

А. М. Горький воспринял новеллистику Стефана Цвейга не только как маститый художник, сам не раз обращавшийся к жанру рассказа. Время подтвердило справедливость высоких горьковских оценок.

Прошло уже более полувека с тех пор, как были созданы лучшие рассказы Цвейга. История не пощадила тот устойчивый уклад жизни, на фоне которого обычно разворачиваются драматические происшествия, случившиеся давным-давно с дамами и господами, проживавшими в респектабельных кварталах Вены, Лондона и Парижа. Изменился характер мышления, люди стали более свободны в проявлении своих чувств, но всякий раз, когда сегодняшний читатель открывает для себя новеллистические шедевры Стефана Цвейга, он испытывает глубокое волнение, потому что писатель отстаивает нетленные нравственные ценности. Такие новеллы Цвейга, как «Закат одного сердца», «Амок», «Гувернантка», «Мендель-букинист», «Шахматная новелла», сделали имя автора популярным во всем мире.

Есть еще одно достоинство этих и многих других произведений Цвейга: они интересны читателям самого взыскательного вкуса и людям почти неискушенным в литературе. Новеллы Цвейга поражают драматизмом, увлекают необычными сюжетами и заставляют всерьез размышлять над превратно-

стями человеческих судеб. Из рассказа в рассказ Стефан Цвейг не устает убеждать в том, насколько беззащитно человеческое сердце, на какие подвиги, а порой преступления, толкает человека страсть. В героях Стефана Цвейга, всегда таких корректных, чопорных, застегнутых на все пуговицы, вдруг прорываются мятежные человеческие чувства, сметающие все установленные обществом препоны. И вот уже перед читателем исповедуются не холодные, самодовольные обыватели, а счастливые и страдающие влюбленные, готовые раскрыть свою измученную душу нараспашку, лишь бы кто-нибудь выслушал и пожалел их.

Стефан Цвейг создал и детально разработал собственную модель новеллы, отличную от произведений общепризнанных мастеров короткого жанра. События большинства его историй происходят во время путешествий, то увлекательных, то утомительных, а то и по-настоящему опасных. Все, что случается с героями, подстерегает их в пути, во время коротких остановок или небольших передышек от дороги. Цвейг, как и многие писатели, воспринявшие затем его традиции, всегда сжимает и уплотняет действие. Драмы разыгрываются в считанные часы, во время пересадки с одного рейса на другой, как это произошло, например, в рассказе «Улица в лунном свете». В течение нескольких мучительных ночей откровенничает перед случайным попутчиком герой рассказа «Амок». Самый характерный пример в этом плане время действия, обозначенное уже заголовком рассказа — «Двадцать четыре часа из жизни женщины». Но это всегда главные часы и дни всей жизни, когда происходит испытание личности, проверяется способность к самопожертвованию.

Сердцевиной каждого рассказа Цвейга становится монолог, который произносят в состоянии аффекта, когда человек вдруг забывает себя. Он уже не тот, каким еще вчера был для всех окружающих, он открывает вдруг тайное тайных. Героиня новеллы «Письмо незнакомки», потрясенная смертью сына, признается в любви отцу своего ребенка, который прожил жизнь в слепом эгоистическом неведении.

Чтобы уяснить новизну новелл Стефана Цвейга необходимо хотя бы в самых общих чертах представить себе жизненные устои европейской интеллигенции начала века, австрийской в частности.

В ту пору девушки рано выросли, а мужчины старались выглядеть старше своих лет, отпуская для солидности бороды и облачаясь в сюртуки дедовского покроя. Женская фигура была стянута безжалостным корсетом, а шляпа с широкими полями и обязательной вуалью прикрывала лицо. Это было не просто данью моде, а своеобразным нравственным запретом: тело было спрятано как нечто изначально греховное. Чувства были позволительны только в случае их матримониальной направленности, а в браке любовь к детям была заведомо предпочтительнее супружеской. Чувственность мужчины удовлетворялась самым низменным образом, к чему общество проявляло ханжескую снисходительность. Стефан Цвейг не раз писал об этом.

Все эти устоявшиеся принципы подверг ревизии Зигмунд Фрейд, заметно повлиявший на то, как Стефан Цвейг стал рассматривать и трактовать личность. Вслед за знаменитым австрийским психиатром, но вовсе не иллюстрируя его, а как бы проводя параллельное художественное исследование, писатель открывает человека в конфликте с самим собой. Тело вдруг предъявляет ему свои властные требования, и светская дама, прожившая спокойно и достойно сорок лет, внезапно в двадцать четыре часа совершает моральное падение. Или, напротив, все годы бесчисленных падений объясняются одной всепоглощающей страстью таинственной незнакомки, чья чистая любовь оказалась неостребованной. Почти во всех новеллах Стефана Цвейга размеренное течение жизни его героев, будто бы погасивших страсти, сменяется взрывом, ибо нечто подспудное, неведомое им самим, вдруг прорывается наружу, неодолимо влечет благополучных персонажей к катастрофе.

На мировосприятие австрийского писателя значительное воздействие оказала также философия Фридриха Ницше. Стефан Цвейг не только основательно изучил опубликованные труды Ницше, но и работал в архиве, результатом чего

явился очерк, посвященный тому, как понимал Ницше суть трагического. Стефан Цвейг назвал знаменитого творца сверхчеловека «Дон Жуаном познания», ему импонировала неуспокоенность Ницше, его страсть подвергать все сомнению: «Его отношение к истине исполнено демонизма, трепетная, наполненная горячим дыханием, гонимая нервами, любознательная жажда, которая ничем не удовлетворяется, никогда не иссякает, нигде не останавливается, ни на каком результате, и, получив ответ, нетерпеливо и безудержно стремится вперед, вновь и вновь вопрошая. Никакое познание не может привлечь его надолго, нет истины, которой он принес бы клятву верности, с которой бы он обручился как со «своей системой», со «своим учением». Все истины чаруют его, но ни одна не в силах его удержать».

В очерке, посвященном Ф. Ницше, он истолковывает особенно обстоятельно трактат «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). При чем для Цвейга это не было сухим теоретизированием, видно, что он пытается идеи Ницше применить и в художественном творчестве, особенно в новеллах.

Генезис трагедии Ф. Ницше связывал с культом двух олимпийских богов — Аполлона и Диониса, провозгласив аполлоническое и дионисийское начала двумя ипостасями человеческого сознания. Это два взаимосвязанных подхода человека к действительности и к себе самому.

Аполлону Ф. Ницше вверяет творческое начало, фиксирующее мир осязаемых простых вещей, явлений, фактов. Аполлон примиряет художника с действительностью, помогает отыскать в ней идеал. Потому аполлоническое начало олицетворяет красоту, порядок и рассудочность. Бог света и добра, как трактует его Ницше, — устроитель государств, следовательно, он воспринимается как воплощенная сопричастность всеобщим интересам.

Напротив, Дионис — воплощение свободы, от него исходит снятие всяческих запретов и табу, он дарует экстатическое ощущение собственной очистительной силы. Вместе с тем бог плодоносящих сил земли указывает путь в непостижимое, скры-

тое от разума. Дионис позволяет человеку проникнуть под покров видимых явлений, обнаружить некие извечные, обычным способом непостижимые законы. Человек постигает свою сопричастность с мирозданием, в бездны которого и позволяет заглянуть Дионис, олицетворяющий телесное и темное, злое и стихийное, словом, все то, что у Стефана Цвейга расшифровано понятием амок.

По сути, большинство действующих лиц в новеллах Стефана Цвейга поклоняются двум богам. Следуя общепринятым законам, они верны Аполлону, но мгновения свободы отдают их во власть Диониса. Измена самому себе — правильному и праведному — вызывает трагическое переживание.

Новеллы Стефана Цвейга обладают особым временным пространством. Годы проходят поспешно и незаметно, но отдельные роковые моменты бытия вдруг становятся равновеликими целой жизни по интенсивности переживаний и насыщенности событиями. Конечно, все эти коллизии подстроены автором, и не заметить иной раз нарочитости, а то и надуманности цепочки событий невозможно. Читатель наших дней стал более прозорлив и не столь доверчив, как это было в годы создания новелл.

Нельзя не заметить и мелодраматизма многих новелл Цвейга. Его персонажи преподносят себя как героев трагических. Но это далеко не так, потому что они явно преувеличивают масштаб конфликтов. Будучи по своему воспитанию и привычкам, по характеру и складу мышления типичными просвещенными бюргерами, они не в состоянии подняться до понимания общечеловеческих проблем. Они, в конце концов, всего-навсего нарушители буржуазных норм жизни, а мнят, будто преступили законы человечности. Но истории, рассказанные Стефаном Цвейгом, и сегодня впечатляют тем, как автор воспроизводит состояние стресса, вызванного страстью, затмевающей разум.

В новеллах Стефана Цвейга не всегда понятно, когда разворачивается сюжет. Обычно время действия — канун первой мировой войны. Но даты отсутствуют, исключение составляет его последний шедевр. В «Шахматной новелле» ясно сказано, что случайный достойный соперник чемпиона мира выучился



играть в шахматы по самоучителю в одиночной тюремной камере, куда его бросили гитлеровцы.

Новеллы Стефана Цвейга представляют собой своего рода конспекты романов. Автор умышленно стремился быть предельно кратким, извлекая из биографий героев лишь кульминационные эпизоды. Но когда он пытался развернуть отдельное событие в пространное повествование, то его романы превращались в растянутые многословные новеллы. Поэтому романы Стефану Цвейгу, в общем, не удавались. Он это понимал и к жанру романа обращался редко. В этом собрании сочинений помещено два его современных романа: «Нетерпение сердца», заверченный в 1939 году, и «Угар преображения», опубликованный на немецком впервые спустя сорок лет после смерти автора, в 1982 году. Переводчик, публикуя этот роман в журнале «Иностранная литература» в 1985 году, дал ему название «Кристина Хофленер». Под таким заголовком он опубликован и в этом собрании сочинений.

Если бы эти оба сюжета, каждый из которых, как выражался сам Стефан Цвейг, «величиной с каплю росы», обрели форму новеллы, успех им был бы обеспечен.

Но истории, превращенные автором в романы, обнаруживают, на наш взгляд, ложную многозначительность.

Любовь прелестной богатой хромоножки, обитающей в роскошном замке, к юному бедному лейтенанту австрийской армии изначально надуманна. Но Стефан Цвейг придает сюжету убедительность и психологическую тонкость. Сочувствие офицера глубоко человечно, он откликается сердцем на страдания девушки. Но, оставаясь в рамках фальшивых условностей, он сам не позволяет себе, чтобы сочувствие переросло в подлинное чувство. Особую остроту сюжету придает то, что конфликт двух предназначенных друг для друга сердец происходит летом четырнадцатого года. Самоубийство героини происходит в тот же час, что и убийство австрийского престолонаследника. История, рассказанная в романе «Нетерпение сердца», подводит черту под определенной эпохой, когда еще сохранялось рыцарское отношение к даме, когда

кодекс чести чтити строже воинского устава, а горе неизменно вызывало в душе воспитанного человека сострадание.

Герой романа «Нетерпение сердца» под занавес совершает подвиг. Но героический поступок не освобождает офицера, награжденного орденом Марии Терезии, от чувства вины за одну невольную загубленную жизнь, которое будет мучить его всю жизнь.

Действие романа развивается замедленно, отношения героев читателю более понятны, чем им самим. Чувствуется в повествовании явная дидактичность. Все это заметные недостатки в книге мастера. Но сегодняшний читатель получит от романа «Нетерпение сердца» удовольствие при условии, если у него есть интерес к той психологической атмосфере, которая господствовала в благородном обществе почти сто лет назад.

Нетрудно понять, почему Стефан Цвейг не торопился с публикацией романа «Угар преображения». История почтовой барышни, которая служит где-то в глухомани, при этом страдает от отсутствия средств и чувств, конечно же, тривиальна.

Когда ей по мановению волшебной палочки удастся на какое-то короткое время попасть в высший свет и там вскружить голову самым блистательным кавалерам, читатель это воспринимает как еще одну версию сказки о Золушке. Но Кристине Хофленер не удалось подцепить принца и пришлось возвращаться восвояси. На этом, собственно, сюжет мог бы быть и закончен. Это была бы новелла, привлекательная не новизной, но своеобразной кинематографической стилистикой.

Однако автор продолжает тему в неожиданном направлении. Кристине на ее жизненном пути встречается неудачник, потерявший человеческое достоинство на фронте и в плену. У Стефана Цвейга намечается тут перекличка с писателями потерянного поколения, Ремарком в частности. Но Цвейг-романист предложил детективное продолжение, которое, очевидно, написать не успел. Роман этот интересен тем, что показывает творчество знаменитого писателя в совершенно непривычном ракурсе.

Нынешняя популярность Стефана Цвейга проистекает и по той причине, что он словно бы провидел, какие литературные жанры будут любимы в конце двадцатого столетия. В наше

время, как никогда, вызывают интерес биографические произведения, посвященные замечательным людям. Здесь Стефан Цвейг истинный классик. Он писал на стыке документа и искусства, создавая поучительные, увлекательные биографии Магеллана и Марии Стюарт, Эразма Роттердамского и Бальзака.

Стефан Цвейг создал целый ряд жизнеописаний знаменитых писателей, но биография Оноре де Бальзака, несомненно, его лучшее создание в этом жанре. Вместе с тем можно утверждать, что, хотя о Бальзаке написано немало биографических очерков до Стефана Цвейга и после него, произведение австрийского писателя и сегодня остается непревзойденным. Творческий облик Бальзака обрастает постепенно всевозможными наслоениями, сочинители легенд и творцы концепций подгоняют создателя грандиозной «Человеческой комедии» в соответствие с собственными представлениями, как жил и творил Бальзак. У Стефана Цвейга совершенно иной принцип: быть предельно точным, создавая портрет художника в ранние и зрелые годы.

Конечно, о великом писателе достойно может написать только тот, кто сам большой писатель. Вольно или невольно, но Стефан Цвейг доверяет Бальзаку собственные размышления о том, как действительность перевоплощается в искусство. Иные восклицания Бальзака произнесены явно с интонацией самого Стефана Цвейга: «Книги в комнате, люди на улице и всевидящее око Бальзака — этого довольно, чтобы воссоздать вселенную!» Не так ли думал и начинающий беллетрист Стефан Цвейг, когда он поселялся в какой-нибудь парижской мансарде, сочиняя ранние рассказы и очерки?

Бальзак в изображении Стефана Цвейга — простодушный авантюрист, обаятельнейший урод, гениальный дилетант. Противоречия личности рождают драматизм повествования. Бальзаку на роду было написано стать великим человеком, ему оставалось только решить, в какой области. Он выбрал литературу, чтобы сделаться могущественным творцом и повелителем двух с лишним тысяч бальзаковских персонажей.

Читая цвейговскую биографию Бальзака, не устаешь сокрушаться, сколько деловых неудач, финансовых катастроф

и любовных поражений пришлось ему пережить. Как жаждет Бальзак сочинить счастливый любовный роман не на бумаге, а в жизни, и сколь долго эти усилия остаются тщетными. Он жаждет золота и роскоши, славы и успеха, они ему до поры до времени столь же недоступны, как и героям «Человеческой комедии» — провинциальным честолюбцам, ринувшимся завоевывать Париж.

Но жизнь Бальзака доказывает, что любая неудача — это ступень, возвышающая гения, чья целеустремленность будет непременно вознаграждена, хотя иной раз это происходит после его смерти.

Любой школьник или студент, лишь заглянувший в предисловие к «Гобсеку» или «Отцу Горио», знает, что Бальзак идеализировал аристократию как класс, уходящий с исторической арены. Но этот вымученный тезис Стефан Цвейг наполняет такими великолепными подробностями, что тоска Бальзака по идеалу обретает воистину трагикомический характер. В симпатиях к аристократии, как показывает Цвейг, главенствует не политическая мысль, а чувство преклонения, которое вызывает у Бальзака знатная тридцатилетняя женщина. Он служил прекрасным аристократкам с истинно куртуазной почтительностью и самоотверженностью, и кажется, сам всерьез верил, что красавица графиня или герцогиня навсегда останется тридцатилетней, ничуть не старея.

В книге о Бальзаке, естественно, большое место занимают его взаимоотношения с графиней Ганской, при этом Стефан Цвейг дает им афористичную исчерпывающую оценку: «Госпожа Ганская в своей гордыне, вероятно, больше любила переписку с Бальзаком, чем самого Бальзака». Поклонницы писателя пытались обуздать гения, свести его величие до посредственности и вместе с тем во что бы то ни стало занять местечко в пантеоне вблизи своей обожаемой жертвы. Не в этом ли причина несостоявшегося счастья Бальзака да и других прославленных героев в жизнеописаниях Стефана Цвейга?

Лучшие страницы книги о Бальзаке посвящены тому, как работал создатель «Человеческой комедии». Азарт, упоение,

страсть к совершенству, торжество придуманного и тщательно выстроенного мира над реальным — вот что делает таким увлекательным творческий процесс, когда на свет появлялись Евгения Гранде и Луи Ламбер, Эжен де Растиньяк и Люсьен Шардон, более реальные, чем их прототипы.

Стефан Цвейг очень проницательный читатель бальзаковских текстов. Какое бы обличье ни принимал автор, как бы ни прятал свое «я», его биограф умеет заметить в героях, будто бы не схожих со своим творцом, глубоко личное, порой исповедальное.

Так, Стефан Цвейг интерпретирует многие произведения Бальзака, делая порой очень неожиданные наблюдения: «Утраченные иллюзии» — картина эпохи, исполненная такого реализма и такой жизненной широты, каких французская литература доселе еще не знала. И наряду с этим это самый глубокий и беспощадный анализ собственной личности. Ведь создав два образа в этой книге, Бальзак показал, чем становится и чем может стать писатель, если он строг к себе и верен себе и своему творчеству, и, наоборот, что случится с ним, если он поддастся соблазну мгновенной и незаслуженной славы. Люсьен де Рюампре — воплощение всего опасного для Бальзака, Даниэль д'Артез — сокровенный его идеал.

Создавая биографию Бальзака, как, впрочем, и других великих писателей, Стефан Цвейг проделывал гигантскую работу. Из романов и новелл чутьем художника он извлекал сокровенные характеристики, данные Бальзаком и Диккенсом под видом суждений об их персонажах. Он использовал в своих жизнеописаниях все автобиографические моменты, так или иначе присутствующие в их художественных текстах. Тщательно исследовались мемуары и письма, документы и исторические сочинения, относящиеся к той или иной эпохе.

В тридцатые годы, когда крупнейшие писатели вынуждены были, спасаясь от нацизма, покинуть Германию и Австрию, необычайно широкое распространение в немецкоязычной литературе получил жанр исторического романа. Это объясняется тем, что добровольным изгнанникам, скитавшимся вдали от родины, трудно было писать о том, что творилось дома. Они

этого, к счастью, уже не видели, и самой кошмарной фантазии недоставало, чтобы изобразить все преступления гитлеровцев. Обращение к историческому материалу позволяло с помощью аналогий и ассоциаций разобраться в текущем моменте, осознать, что времена варварства случались и в прошлом, но торжество тиранов преходяще, и возмездие за насилие и жестокость неотвратимо.

К жанру исторического повествования обратились тогда Томас Манн и Генрих Манн, Лион Фейхтвангер, Бертольд Брехт и, конечно же, Стефан Цвейг. Творческий метод последнего отличался от подхода к материалу авторов исторических романов. Стефан Цвейг всегда подчеркивал документальную достоверность своих книг.

В исторических романах принято было домысливать исторический факт силой творческой фантазии. Где не хватало документов, там начинало работать воображение художника.

Стефан Цвейг, напротив, виртуозно работал с документами, обнаруживая в любом письме или мемуарах очевидца психологическую подоплеку.

Глыбы книг посвящены Марии Стюарт. У Стефана Цвейга, когда он в начале тридцатых годов взялся за жизнеописание шотландской королевы, были такие именитые предшественники, как Вальтер Скотт, Фридрих Шиллер, Юлиуш Словацкий да еще немало сочинителей рангом пониже. В те же годы, а именно:

В конце большой войны не на живот,  
когда что было жарили без сала,  
Мари, я видел мальчиком, как Сара  
Леандр шла топ-топ на эшафот...

Так лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский цикл из двадцати сонетов к Марии Стюарт начинает с воспоминаний о фильме «Дорога на эшафот», который просто ошеломил тогда военное поколение.

Загадочная личность и судьба Марии Стюарт, королевы Франции, Англии и Шотландии, всегда будет волновать воображение потомков. Но чтобы узнать правду о Марии Стюарт,

надо прочитать ее жизнеописание, составленное Стефаном Цвейгом. Автор обозначил жанр книги как романизованная биография. В драме Ф. Шиллера «Мария Стюарт» кульминацией является встреча двух королей. Это беспощадный поединок двух женщин, где узница бросает в лицо самые обидные обвинения своей тюремщице. Одержав нравственную победу над Елизаветой, Мария понимает, что теперь последует приглашение на казнь. В действительности же и, соответственно, в романизованной биографии Стефана Цвейга такой встречи не было. «Сестры» никогда не видели друг друга. Так пожелала Елизавета Английская. Но между ними на протяжении четверти века шла интенсивная переписка, внешне корректная, но полная скрытых уколов и колких оскорблений. Письма и положены в основу книги. Стефан Цвейг воспользовался также свидетельствами друзей и недругов обеих королей, чтобы вынести беспристрастный вердикт обеим.

«Мария Стюарт» была издана впервые в Вене в 1935 году. Есть ли в историческом повествовании Стефана Цвейга связь с современностью? Да, безусловно, хотя не следует искать каких-либо прямых совпадений. Рассказывая о счастливых днях и горестных годах Марии Стюарт, Стефан Цвейг раздумывал о свободе и ее границах, о борьбе за власть, о том, что скорее лишает человека свободы: трон или тюрьма? Трагедия Марии Стюарт затмевает трагедию Елизаветы. Но ведь и английская королева сама в юности отведала гостеприимства в Тауэре. Она ненавидит Марию за то, что, став королевой, она посмела остаться свободной женщиной, пренебрегающей не только дворцовым этикетом, но и законами, вершить которые она же и призвана. Елизавета в трактовке Стефана Цвейга умна, коварна, жестока, властолюбива, но, как убеждает автор, она не свободна и никогда в жизни ни единого мгновения не ощущала себя свободной. А далее Стефан Цвейг подводит своего читателя к глубоко философской и политически прозорливой мысли. Правитель, лишенный собственной свободы, лишает свободы своих подданных, превращаясь в тирана. Жертвой тирании в первую очередь оказывается свободная личность, в данном сюжете Мария Стюарт.

Не автор, а сама судьба соединила в лице королевы преступницу и мученицу. Вина Марии очевидна, и автор не пытается ее оправдать. Но Стефан Цвейг заставляет любоваться шотландской королевой как одним из самых совершенных созданий природы. Истоки трагедии в том, что эта вольнолюбивая, удивительно талантливая женщина не была любима человеком, равным ей по уму, темпераменту и благородству. Снова, как в новеллах, ослепление страстью толкает героиню на преступление.

Почему же читатель категорически не приемлет возмездия Марии за ее участие в убийстве супруга — отца наследника и правящего государя? Очевидно, это происходит потому, что судьи Марии совершают подобные же преступления, но действуют лицемерно, скрытно, не оставляя улик. Чего стоит поведение Елизаветы, которая добивается казни чужими руками, милостиво позволяя парламенту обвинять Марию в покушении на жизнь ее монаршей особы.

Мария — жертва, убеждает нас Стефан Цвейг, а жертвам беззакония читатель будет всегда сочувствовать.

В романизированной биографии «Мария Стюарт» проявилось редкостное мастерство Стефана Цвейга — исторического живописца. С каким печальным великолепием изображена церемония казни! Действие разворачивается нарочито замедленно, плавно ступает узница, устремляясь в вечность, изысканными красками сверкает туалет королевы, величественны ее жесты. Наступает мгновение, которому суждено навсегда отпечататься в истории.

Завершив жизнеописание королевы, обезглавленной впервые за всю историю человечества и открывшей счет казненным монархам, Стефан Цвейг предается итоговым размышлениям и вывод его горек: «У морали и политики свои различные пути. События оцениваются по-разному, смотря по тому, судим мы о них с точки зрения человечности или с точки зрения политических преимуществ». Для писателя в начале тридцатых годов конфликт морали и политики носит уже не умозрительный, а вполне ощутимый характер, касающийся лично его самого.



В том же 1935 году выходит книга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», где герой особенно близок автору, ибо он воспринимал себя продолжателем традиций великого нидерландского гуманиста.

Жизненный путь Эразма небогат увлекательными событиями. Как подчеркнул в самом начале своего повествования Стефан Цвейг, «человек, живущий в тиши и неустанных трудах, редко имеет колоритную биографию». Эразм провел всю жизнь в кабинетных штудиях и неспешных путешествиях. Авторитетнейший мыслитель, он написал великое множество философских памфлетов и трактатов, однако в памяти потомков сохранился благодаря бессмертной сатире «Похвала Глупости», сочиненной им в часы отдохновения.

Книга Стефана Цвейга представляет собой как бы «интеллектуальный портрет» Эразма: вчитываясь в нее, проникаешь в глубины сознания гениального писателя, понимаешь склад его мышления, его идеологические и жизненные позиции.

Стефан Цвейг напоминает, что Эразм считал себя гражданином мира. Он не принадлежал к подданным ни одной страны, его родным языком была латынь — своеобразное эсперанто, доступное всем просвещенным людям того времени. Эразм отказывался от самых престижных должностей на церковном и светском поприще. Чуждый суетных страстей и тщеславия, он употребил все свои усилия на то, чтобы добиться независимости. Своими книгами он покориł эпоху, ибо сумел сказать проясняющее слово по всем большим проблемам своего времени.

Эразм порицал фанатиков и схоластов, мздоимцев и невежд. Но особенно ненавистны ему были те, кто разжигал рознь между людьми, кто во имя корысти и честолюбия норовил раздуть пожар войны. Великий писатель был страстным борцом за мир. Может быть, это определение звучит слишком современно, но оно как нельзя более подходит Эразму, который был одним из первых европейских гуманистов, взявших на себя эту благородную миссию. Он верил в «творческую силу

разума», пишет Стефан Цвейг. И в этом — секрет его прижизненной и посмертной славы.

Однако, как подчеркнуто уже в заголовке книги, Эразм не только добился триумфа, но и вкусил горечь трагедии. Долгие годы он проявлял осмотрительность, избегал крайностей, не высказывал впрямую резких суждений. Эразм судил о пороках современников со снисходительностью скептика, произносил опасные истины, прикрывшись шутовским колпаком.

Но наступил момент, когда «срединная позиция» стала невозможна. Началась Реформация, Лютер и его сподвижники яростно стремились внедрить в повседневный обиход осторожные наставления Эразма. Протестанты надеялись, что он будет их могучим союзником. Этого, как известно, не произошло. Пристально анализируя поведение своего героя в период Реформации и Великой крестьянской войны, Стефан Цвейг показывает, почему для Эразма Роттердамского был неприемлем путь Мартина Лютера.

Последний призывал в исступленных проповедях и гневных посланиях бороться против папы и всего католического клира. По справедливой оценке Стефана Цвейга, он стал «символом Германии, глашатаем всех антиримских, национальных чаяний и устремлений». Эразм же в эту пору предпринимал тщетные попытки утихомирить Лютера и его сподвижников.

Эразм игнорировал прогрессивное общественное движение, на склоне лет ему едва не угрожало забвение. Но Стефан Цвейг не спешит выносить приговор своему герою; для него Эразм все равно остается гуманистом, ибо он предвидел пагубные последствия лютеровских подстрекательств. Вследствие чудовищного религиозного раздора Германия, а вслед за ней и вся Европа были обогрены кровью.

По концепции Стефана Цвейга, трагедия Эразма в том, что он не сумел предотвратить эти побоища.

Стефан Цвейг долгое время верил, что первая мировая война — трагическое недоразумение, что она останется послед-

ней войной в мире. Он полагал, что вместе с Роменом Ролланом и Анри Барбюсом, вместе с немецкими писателями-антифашистами он сумеет предотвратить новое мировое побоище.

На страницах газеты «Роте Фане» 29 июня 1930 года он писал: «Я глубоко убежден, что агитация отдельных безответственных личностей, стремящихся послать сотни тысяч или миллионы людей под пулеметы или газовые атаки, потерпит самую жалкую неудачу; однако этот безусловный оптимизм не должен помешать нам оставаться бдительными и со всей строгостью преследовать любую попытку военной интервенции даже в предварительной стадии газетной пропаганды и затуманивания мозгов».

Но нацисты шли по трупам к власти, и не только в Германии, но и на родине Стефана Цвейга, в Австрии. В те дни, когда он трудился над книгой об Эразме, у него в доме в Зальцбурге произвели обыск. Искали оружие... Это был первый сигнал тревоги.

В двадцатые—тридцатые годы у многих западных писателей усиливается интерес к СССР. Они видели в нашей стране единственную реальную силу, которая может противостоять фашизму. Этим во многом объясняются поездки в Москву видных писателей, которых у нас тогда называли прогрессивными мастерами культуры. Стефан Цвейг впервые приехал в нашу страну в 1928 году на торжества по случаю столетия со дня рождения Льва Толстого. Он понимал, что это политический поступок, и все-таки решился на него. В оценках западных писателей того, что им показывали у нас, часто проявлялись крайности — от брани и хулы до неумеренных восторгов. Стефан Цвейг и тут проявил осмотрительность. Критицизм ему не изменил, он весьма скептически оценил бурную бюрократическую деятельность руководящей верхушки советских республик: «Молодые руководители, призванные навести «порядок», еще вкушали радость от сочинительства записок и разрешений, что тормозило дело».

Но энтузиазм масс даже его не оставил равнодушным: «Две недели пробыл я в России, не переставая ощущать этот внут-

ренный подъем, этот легкий туман духовного опьянения. Но что же, что вызвало такое волнение? Вскоре я понял: дело было в людях и в порывистой сердечности, которую они излучали. Все, как один, были убеждены, что участвуют в грандиозном, всемирно-историческом деле, всех воодушевляла мысль, что они идут на выпавшие им лишения и ограничения во имя высокой цели». В общем, его отношение к Стране Советов можно было тогда охарактеризовать как доброжелательно-критическое любопытство.

Но с годами доброжелательность убывала, а скептицизм нарастал. Объяснялось это просто. Стефан Цвейг не мог понять и принять обожествление вождя, а лживость инсценированных политических процессов его, в отличие, например, от Лиона Фейхтвангера или Романа Роллана, не ввела в заблуждение. Он категорически не принимал идею диктатуры пролетариата, которая узаконивала любые акты насилия и террора.

Положение Стефана Цвейга в конце тридцатых годов было между серпом и молотом, с одной стороны, и свастикой — с другой. Вот почему столь элегична его заключительная мемуарная книга: вчерашний мир исчез, а в настоящем мире он всюду чувствовал себя чужим. Последние его годы — годы скитаний. Он бежит из Зальцбурга, избирая временным местом жительства Лондон. Но и в Англии он не чувствовал себя защищенным. Он отправился с чтением лекций в Латинскую Америку. Затем переехал в США, но потом решил поселиться в небольшом бразильском городе Петрополисе, расположенном высоко в горах. 22 февраля 1942 года он уходит из жизни вместе с женой, приняв большую дозу снотворного. Наверное, прав был Эрих Мария Ремарк, так написавший об этом трагическом эпизоде в романе «Тени в раю»: «Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить кому-нибудь душу хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей». Но это не просто результат отчаяния. Стефан Цвейг

ушел из этого мира, категорически его не принимая. Прежде он писал о двойном самоубийстве Гейнриха фон Клейста и Генриетты Фогель. В какой-то мере причины трагического жизненного итога объясняет то, как Цвейг мотивировал уход из жизни немецкого романтика Клейста: «На высшей ступени своего искусства, в год появления «Принца Гомбургского», Клейст роковым образом достиг и высшей ступени одиночества. Никогда он не был так забыт миром, так бесцелен в своей эпохе, в своем отечестве: службу он бросил, журнал ему запретили, его заветная мечта — вовлечь Пруссию в войну на стороне Австрии — остается тщетной. Его злейший враг — Наполеон — держит Европу в руках, как покоренную добычу, прусский король из вассала Наполеона превращается в его союзника».

Поправки на ситуацию самого Стефана Цвейга не столь уж существенны: то же одиночество, то же насильственное забвение. Пруссия, иначе говоря Германия, на этот раз подчинила Австрию, заставила воевать на своей стороне, только Наполеона следует заменить Гитлером...

После разгрома фашизма произошло возвращение произведений Цвейга во всех странах мира. В наше время он признан классиком как писатель-гуманист, с болью и трепетом отстаивавший свободу человеческой личности, прославивший своими книгами подвиги выдающихся ученых, мыслителей и художников. Его триумф продолжается.

Стефан Цвейг считал книгу самым величайшим изобретением человеческого гения, ибо благодаря книгам человек осознает свою сопричастность к людям, живущим сегодня и жившим много-много лет назад. Он сам коллекционировал редкие издания, в его библиотеке хранилось множество книг с автографами его друзей, а также рукописи великих писателей прошлого. В последние годы жизни он написал несколько статей о значении книги в жизни человека. Одна из них называлась «Книга, как врата в мир». Писатель, боготворивший книгу, утверждал: «Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал

каждой науки. И чем теснее ты связан с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее чудесной помощи твой собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь и проникаешь в мир во сто крат полней и глубже».

К таким книгам, духовно необходимым современному человечеству, принадлежат все лучшие произведения и самого Стефана Цвейга.

*В. Пронин*



**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТЕФАНА ЦВЕЙГА,  
ВКЛЮЧЕННЫХ в 1 — 10 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

|   | Том | Стр. |
|---|-----|------|
| <b>Америго</b>  | 9   | 359  |
| <b>Амок</b>   | 1   | 135  |
| <b>Артуро Тосканини</b>   | 10  | 201  |
| <b>Артюр Рембо</b>  | 10  | 346  |
| <b>Бальзак</b>  | 3   | 181  |
| <b>Бегство к богу</b>   | 10  | 41   |
| <b>Беззаботные</b>  | 10  | 252  |
| <b>Берта фон Зутнер</b>   | 10  | 258  |
| <b>Бессонный мир</b>  | 10  | 247  |
| <b>Благодарность книгам</b>   | 10  | 365  |
| <b>Благодарность шестидесятилетнего</b>   | 10  | 11   |
| <b>Борьба за Южный полюс</b>  | 2   | 401  |
| <b>Борьба с безумием: Гёльдерлин, Гейнрих фон Клейст,<br/>Фридрих Ницше</b>         | 5   | 5    |
| <b>Бруно Вальтер. Искусство самоотдачи</b>  | 10  | 234  |
| <b>Брюгге</b>   | 10  | 9    |
| <b>Брюгге</b>   | 10  | 10   |
| <b>Бузони</b>   | 10  | 221  |
| <b>Возвращение Густава Малера</b>   | 10  | 85   |
| <b>Воскресение Георга Фридриха Генделя</b>  | 10  | 19   |
| <b>Воспоминания о Эмиле Верхарне</b>  | 10  | 142  |
| <b>Врачевание и психика: Франц Антон Месмер,<br/>Мери Бекер-Эдди, Зигмунд Фрейд</b> | 6   | 7    |
| <b>Вчерашний мир. Воспоминания европейца</b>  | 8   | 403  |
| <b>Гений одной ночи</b>   | 2   | 473  |
| <b>Гимн путешествию</b>   | 10  | 7    |
| <b>Глаза извечного брата</b>  | 2   | 307  |
| <b>Гувернантка</b>  | 1   | 41   |
| <b>Данте</b>  | 10  | 307  |
| <b>Двадцать четыре часа из жизни женщины</b>  | 1   | 333  |

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Дирижер  | 10 | 13  |
| Драматизм «Тысячи и одной ночи»                    | 10 | 95  |
| <b>Ж</b> гучая тайна                               | 1  | 57  |
| Желание  | 10 | 9   |
| Женщина и природа                                  | 1  | 190 |
| Жизнь Поля Верлена                                 | 10 | 423 |
| Жозеф Фуше   | 6  | 349 |
| <b>З</b> авоевание Византии                        | 2  | 423 |
| Закат одного сердца                                | 1  | 393 |
| Заметки об «Улиссе» Джойса                         | 10 | 341 |
| <b>И</b> озеф Рот                                  | 10 | 125 |
| <b>К</b> нига, как врата в мир                     | 10 | 281 |
| Кристина Хофленер                                  | 10 | 367 |
| Легенда о сестрах-близнецах                        | 2  | 283 |
| Легенда о третьем голубе                           | 2  | 353 |
| Лепорелла  | 2  | 7   |
| Летняя новелла                                     | 1  | 122 |
| Лионская легенда                                   | 2  | 343 |
| Лорд Байрон  | 10 | 407 |
| «Лотта в Веймаре»                                  | 10 | 445 |
| Лучезарная ночь                                    | 10 | 7   |
| <b>М</b> агеллан                                   | 9  | 435 |
| Мариенбадская элегия                               | 2  | 374 |
| Мария Антуанетта                                   | 7  | 167 |
| Мария Стюарт                                       | 8  | 5   |
| Марселина Деборд-Вальмор                           | 7  | 5   |
| Мендель-букинист                                   | 2  | 161 |
| Миг Ватерлоо                                       | 2  | 360 |
| Мое собрание автографов                            | 10 | 415 |
| Монтень  | 9  | 675 |
| «Моцарт» Бела Балаша                               | 10 | 136 |
| <b>Н</b> ежность                                   | 10 | 8   |
| Незабываемое событие<br>(День у Альберта Швейцера) | 10 | 223 |
| Незримая коллекция                                 | 2  | 32  |
| Неожиданное знакомство с новой профессией          | 2  | 188 |



|   |    |     |
|---|----|-----|
| Нетерпение сердца   | 3  | 5   |
| «Нильс Люне» Иенса Петера Якобсена                        | 10 | 111 |
| Огонь   | 10 | 267 |
| Осенние строфы  | 10 | 11  |
| Осенняя флейта  | 10 | 10  |
| О стихотворениях Гёте                                     | 10 | 318 |
| Открытие Эльдорадо  | 2  | 384 |
| Памятник Карлу Либкнехту                                  | 10 | 12  |
| Первое слово из-за океана                                 | 2  | 488 |
| Письмо незнакомки   | 1  | 274 |
| Пломбированный вагон                                      | 10 | 72  |
| Побег в бессмертие  | 2  | 449 |
| Поездка в Россию  | 10 | 367 |
| Прекраснейшая могила в мире                               | 10 | 279 |
| Принуждение   | 2  | 47  |
| Прощание с Александром Моисси                             | 10 | 121 |
| Рассказ в сумерках  | 1  | 11  |
| Речь к шестидесятилетию Максима Горького                  | 10 | 213 |
| Ромен Роллан. Жизнь и творчество                          | 5  | 263 |
| Ромен Роллан. Речь к шестидесятилетию                     | 5  | 490 |
| Сент-Бев  | 10 | 328 |
| Слово у гроба Зигмунда Фрейда                             | 10 | 404 |
| Случай на Женевском озере                                 | 2  | 85  |
| Смертный миг  | 2  | 394 |
| Смысл и красота рукописей                                 | 10 | 357 |
| Смятение чувств   | 1  | 424 |
| Снежная зима  | 10 | 12  |
| Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина         | 9  | 155 |
| Страх   | 2  | 93  |
| Тайна Байрона   | 2  | 139 |
| Трагическая жизнь Марселя Пруста                          | 10 | 438 |
| Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский                | 4  | 5   |
| Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль,<br>Лев Толстой | 3  | 371 |
| Триумф и трагедия Эразма Роттердамского                   | 9  | 5   |
| Улица в лунном свете                                      | 1  | 313 |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| <b>Фантастическая ночь</b>                      | <b>1</b>  | <b>212</b> |
| <b>Франс Мазерель</b>                           | <b>10</b> | <b>237</b> |
| <b>Шатобриан</b>                                | <b>10</b> | <b>106</b> |
| <b>Шахматная новелла</b>                        | <b>2</b>  | <b>225</b> |
| <b>Эрнест Ренан. К столетию со дня рождения</b> | <b>10</b> | <b>290</b> |
| <b>Э.Т.А. Гофман</b>                            | <b>10</b> | <b>108</b> |

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

|   |    |
|---|----|
| Лучезарная ночь. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> . . . . .                 | 7  |
| Гимн путешествию. <i>Перевод Г. Погожевой</i> . . . . .                 | 7  |
| Нежность. <i>Перевод Г. Погожевой</i> . . . . .                         | 8  |
| Желание. <i>Перевод Г. Погожевой</i> . . . . .                          | 9  |
| Брюгге. <i>Перевод Н. Коробицыной</i> . . . . .                         | 9  |
| Брюгге. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> . . . . .                          | 10 |
| Осенняя флейта. <i>Перевод В. Эльснера</i> . . . . .                    | 10 |
| Осенние строфы. <i>Перевод Г. Петникова</i> . . . . .                   | 11 |
| Благодарность шестидесятилетнего. <i>Перевод Л. Гинзбурга</i> . . . . . | 11 |
| Снежная зима. <i>Перевод В. Швырева</i> . . . . .                       | 12 |
| Памятник Карлу Либкнехту. <i>Перевод А. Эфроса</i> . . . . .            | 12 |
| Дирижер. <i>Перевод С. Ошерева</i> . . . . .                            | 13 |

### ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

|   |    |
|---|----|
| Воскресение Георга Фридриха Генделя. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . . | 19 |
| Бегство к богу. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                      | 41 |
| Пломбированный вагон. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                | 72 |

### ПУБЛИЦИСТИКА

|   |     |
|---|-----|
| Из книги «ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР» . . . . .                                      | 85  |
| Возвращение Густава Малера. <i>Перевод С. Ошерева</i> . . . . .           | 85  |
| Драматизм «Тысячи и одной ночи». <i>Перевод С. Шлапоберской</i> . . . . . | 95  |
| Шатобриан. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                           | 106 |
| Э.Т.А. Гофман. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> . . . . .                   | 108 |

|  |     |
|--|-----|
| «Нильс Люне» Иенса Петера Якобсена. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . .                 | 111 |
| Прощание с Александром Моисси. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                  | 121 |
| Иозеф Рот. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                                      | 125 |
| «Моцарт» Бела Балаша. <i>Перевод С. Ошерова</i> . . . . .                            | 136 |
| <b>Из книги «ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ, ГОРОДАМИ, КНИГАМИ»</b> . . .                          | 141 |
| Предисловие . . . . .  | 141 |
| Воспоминания о Эмиле Верхарне. <i>Перевод Г. Еременко</i> . . . . .                  | 142 |
| Артуго Тосканини. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                               | 201 |
| Речь к шестидесятилетию Максима Горького. <i>Перевод В. Топер</i>                    | 211 |
| Бузони. <i>Перевод С. Ошерова</i> . . . . .  | 221 |
| Незабываемое событие. День у Альберта Швейцера. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . . | 223 |
| Бруно Вальтер. Искусство самоотдачи. <i>Перевод С. Ошерова</i> . . .                 | 234 |
| Франц Мазерель. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .                                   | 237 |
| Бессонный мир. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                                  | 247 |
| Беззаботные. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .                                      | 252 |
| Берта фон Зутнер. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                               | 258 |
| Огонь. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .  | 267 |
| Прекраснейшая могила в мире. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .                      | 279 |
| Книга, как врата в мир. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                         | 281 |
| Эрнест Ренан. К столетию со дня рождения. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .       | 290 |
| Данте. <i>Перевод С. Ошерова</i> . . . . .   | 307 |
| О стихотворениях Гёте. <i>Перевод С. Ошерова</i> . . . . .                           | 318 |
| Сент-Бев. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .                                       | 328 |
| Заметки об «Улиссе» Джойса. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                     | 341 |
| Артур Рембо. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                                    | 346 |
| Смысл и красота рукописей. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .                        | 357 |
| Благодарность книгам. <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .                             | 365 |
| <b>Из книги «ВРЕМЯ И МИР»</b> . . . . .  | 367 |
| Поездка в Россию. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                               | 367 |
| Слово у гроба Зигмунда Фрейда. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                  | 404 |
| Лорд Байрон. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                                    | 407 |
| Мое собрание автографов. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .                        | 415 |

|   |     |
|---|-----|
| Жизнь Поля Верлена. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .  | 423 |
| Трагическая жизнь Марселя Пруста. <i>Перевод Л. Миримова</i> . . . . .  | 438 |
| «Лотта в Веймаре». <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . . . .   | 445 |
| <b>КРИСТИНА ХОФЛЕНЕР. Роман из литературного наследия.</b>  |     |
| <i>Перевод Н. Бунина</i> . . . . .  | 449 |
| <i>В. Пронин. Триумф и трагедия Стефана Цвейга</i> . . . . .  | 701 |
| <b>Алфавитный указатель произведений Стефана Цвейга,<br/>включенных в 1—10 тт. Собрания сочинений</b> . . . . . | 726 |

**СТЕФАН ЦВЕЙГ**

**Собрание сочинений  
в десяти томах**

**Том десятый**

**Редактор**

*И. Шурыгина*

**Художественный редактор**

*И. Марев*

**Технический редактор**

*Г. Шитова*

**Корректоры**

*Н. Кузнецова, И. Сахарук*

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.

Подписано в печать 20.12.96 г. Уч.-изд. л. 38,31.

Цена 36 000 р.

Цена для членов клуба 32 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

**Издательский центр «Терра»  
предлагает:**

**Лот № 182**

*С. Жапризо*

**Собрание сочинений в четырех томах**

Французский писатель Себастьян Жапризо известен как великолепный мастер головоломной психологической прозы. В четырехтомное Собрание сочинений включены лучшие произведения писателя: «Купе смертников», «Дама в автомобиле в очках и с ружьем», «Западня для Золушки», «Прощай, Друг», «Бег зайца по полям», «Гибельное лето», «Помолвка долгим воскресным днем», «Любимец женщин», «Пассажир дождя».

## Лот № 340

*Г. Эмар*

### Собрание сочинений в двадцати пяти томах

В Собрание сочинений французского писателя Гюстава Эмара (1818–1883) вошел обширный цикл историко-приключенческих романов и рассказов: «Арканзасские трапперы», «Валентин Гиллуа», «Золотая лихорадка», «Вождь окасов», «Дикая кошка», «Периколя» и др. Это наиболее полное и систематизированное Собрание сочинений Г. Эмара в отечественном книгоиздании.



*Книги издательства «ТЕРРА»  
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.  
*Тел. 304-57-98, 304-61-13*

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.  
*Тел. 712-34-54*

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.  
*Тел. 252-03-50*

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.  
*Тел. 281-81-01*

*или заказать по адресу:*

*109033, Москва, а/я 66.*